

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН

АНТРОПОНИМЫ  
В РУССКОЙ  
СЛОВЕСНОЙ  
КУЛЬТУРЕ  
XVIII ВЕКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2023

***К 300-летию основания  
Российской Академии наук***





Институт  
Лингвистических  
Исследований  
Российской академии наук

**АНТРОПОНИМЫ  
В РУССКОЙ  
СЛОВЕСНОЙ  
КУЛЬТУРЕ  
XVIII ВЕКА**

Под редакцией:  
П. Е. Бухаркина,  
С. С. Волкова,  
Е. М. Матвеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2023

УДК 81.373.23:821.161.1

ББК 81.4/84 (2=411.2)

Рецензенты:

доктор филологических наук

*Т. С. Садова*

(Санкт-Петербургский государственный университет)

доктор филологических наук

*Г. А. Мольков*

(Институт лингвистических исследований РАН)

### **Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века /**

под ред. П. Е. Бухаркина, С. С. Волкова и Е. М. Матвеева. —  
СПб.: ИЛИ РАН, 2023. — 584 с.

ISBN 978-5-6047999-1-8

Коллективная монография посвящена комплексному исследованию антропонимов в русской словесной культуре XVIII века. Исследование имеет отчетливый междисциплинарный характер: имена изучались с точки зрения разных наук (литературоведения, истории, лингвистики, теории литературы, нарратологии, этнологии). В книге рассматриваются проблемы функционирования антропонимов в различных фикциональных и нефикциональных текстах XVIII века, в художественном мире отдельных писателей (А. П. Сумарокова, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина и др.), в фольклорном дискурсе.

Издание адресовано лингвистам, литературоведам, студентам-филологам, а также всем интересующимся проблемами истории русского языка и русской литературы XVIII века.

**ББК 81.4/84(2=411.2)**

Научно-техническое редактирование текста:

*Н. В. Ткачева, М. Г. Шарихина*

doi: 10.30842/9785604799918

ISBN 978-5-6047999-1-8

© Авторы статей, 2023

© Институт лингвистических исследований РАН, 2023

## ВВЕДЕНИЕ

---

---

### 1

Настоящее издание представляет собой итог трехлетнего (2018–2020) научно-исследовательского проекта «Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века (историко-литературный и лингвистический аспекты)». Проект этот был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований и реализовывался силами участников научно-исследовательского семинара «Русский XVIII век». Этот семинар, представляющий неформальное объединение филологов, занимающихся изучением языка, литературы, культуры и истории России XVIII века, существовал на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета с 2007 года по лето 2022 года, ныне он представляет собою независимое творческое содружество; в него входят прежде всего преподаватели, аспиранты и студенты филологического факультета СПбГУ, а также ряд ученых из других научных и учебных центров Петербурга и Москвы и некоторые иностранные специалисты. Главными целями семинара были и остаются: создание благоприятной и творческой обстановки для комплексного рассмотрения русского языка и литературы XVIII столетия в широком культурно-историческом и мультязыковом контексте; обновление учебно-методической базы преподавания литературы и языка XVIII века, создание учебников и учебно-методических комплексов нового типа, в том числе видео- и аудиокурсов; выпуск регулярного издания, отражающего основные результаты исследований этого творческого содружества, каковым стал периодический сборник «Литературная культура России XVIII века» (Вып. 1–8. СПб., 2007–2019) и т. п.

Достижение всех этих целей с обязательностью требует активизации научно-аналитических штудий, поэтому чисто исследовательские направления неизменно занимали самое существенное

место в деятельности семинара. Среди уже осуществленных мероприятий такого рода следует в первую очередь назвать коллективные монографии «Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века» (СПб., 2010), «Риторика М. В. Ломоносова» (СПб., 2017), «“Blessed Heritage”: The Classical Tradition and Russian Literature / «Блаженное наследство»: Классическая традиция и русская литература» (Wiesbaden, 2018). Монографии 2010 и 2017 гг. были созданы в сотрудничестве с институтами Российской академии наук (первая — с Институтом русской литературы (Пушкинским Домом), вторая — с Институтом лингвистических исследований) и Университетом Грейфсвальда (Германия), а также при участии исследователей из разных стран. Впрочем, последнее можно сказать и о книге 2018 года. В этом отношении издания, подготовленные в рамках семинара, вполне можно назвать удачными примерами научной интеграции. Следует также отметить, что и многие учебно-образовательные публикации участников семинара имеют несомненное научное значение. К подобным, достаточно масштабным, научным начинаниям семинара следует отнести и проект «Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века (историко-литературный и лингвистический аспекты)», итогом которого является представляемая ныне читателям книга.

К исследованию антропонимов в русском языке и литературе XVIII века обратилось большинство постоянных участников семинара «Русский XVIII век»; несложно заметить среди авторов настоящей книги имена ученых, присутствующие и в только что названных трудах, и во многих (чтобы не сказать — в большинстве) выпусках серии «Литературная культура России XVIII века». Это сотрудники Института лингвистических исследований РАН, преподаватели филологических факультетов СПбГУ и РГПУ имени А. И. Герцена, а также наши зарубежные коллеги из университетов Грейфсвальда (Германия), Лодзи (Польша), Милана (Италия). Совместные усилия по реализации общего нашего замысла, т. е. в конечном счете результаты трудов нашего семинара, и представлены на нижеследующих страницах.

Главной целью проекта «Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века (историко-литературный и лингвистический аспекты)» было выявление культурной и языковой специфики функционирования антропонимов в русской словесности XVIII века на

примере творчества ряда писателей этой эпохи (М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина и др.) и на материале отдельных жанров (пастораль, анакреонтика, исторические сочинения, трагедия, ода, повесть, риторический трактат, деловой документ). В ходе реализации проекта было проведено многоаспектное исследование антропонимов как части формирующегося русского литературного языка и литературной культуры (разные жанры, разные языковые личности и др.), что позволило панорамно представить место антропонимов в языковом и культурном сознании русского XVIII века и специфику употребления антропонимов в разных регистрах словесности этого периода. Исследование было комплексным не только с точки зрения синхронии, но и с точки зрения диахронии: хронологически оно охватывает — пусть и пунктирно — весь XVIII век (от Петровской эпохи до Державина и Карамзина). Хочется надеяться, что оно оказалось достаточно представительным и в несколько ином отношении — в плане отбора материала. Термин «антропоним» понимался участниками широко: помимо собственно антропонимов, в исследовательское поле включались также мифоантропонимы и теонимы.

Имея в виду актуальность нашего общего труда, хочется в первую голову напомнить, что в филологической науке в течение уже нескольких десятилетий активно развивается антропоцентрический подход к языку и литературе; можно говорить о все большем распространении антропоцентрической парадигмы, «в которой изучаемая система рассматривается с учетом того, что обязательным компонентом либо самой системы, либо среды, в которой она функционирует, является человек» (Арнольд 1999: 172–173). Соответственно, в разных аспектах словесной культуры видят прежде всего различные проявления речемыслительной деятельности человека. Подход этот базируется на достижениях лингвистики текста, лингвистической прагматики, теории речевых актов, неориторики, он также связан с концепцией языковой личности и, с другой стороны, с культурно-антропологическими исследованиями в области литературы.<sup>1</sup> Распространение антропоцентризма

---

<sup>1</sup> Из ярких примеров последнего времени здесь можно привести недавнюю книгу: (Зорин 2016).



в области филологических изысканий требует тщательного рассмотрения целого ряда проблем на другом, нежели прежде, уровне — уровне, учитывающем современные научные достижения в перечисленных сферах гуманитарного знания. Одна из таких проблем — проблема антропонимов — приобретает здесь особое значение, так как появление имени в тексте становится сигналом диалога языковой личности с другими.

Рассматривая функционирование антропонимов в языке и литературе, следует всегда помнить о том, что, каждая эпоха формирует свой корпус антропонимов, а также то, что базовые принципы номинации исторически изменчивы. В истории русской письменности как раз в этом разрезе несомненный интерес представляет XVIII столетие; проблема личных имен в словесной культуре того времени является крайне важной по многим причинам. Во-первых, антропонимы XVIII века менее изучены по сравнению с антропонимами древнерусской словесности и литературы XIX–XX веков. Об этом свидетельствуют, в частности, данные двух обширных библиографических указателей работ по русской литературной ономастике — С. И. Зинина (Зинин б. д.) и Г. Ф. Ковалева (Ковалев 2014): в первом указателе насчитывается 1326 наименований, во втором — 3244 наименования, при этом работ, непосредственно связанных с антропонимикой в русской словесности XVIII века, не более тридцати. Важно отметить, что имена собственные либо не включаются в словник исторических словарей XVIII века («Словарь Академии Российской»), либо включаются весьма фрагментарно («Словарь русского языка XVIII века» и др.), в связи с чем в них ограничено отражаются случаи апеллятивации (т. е. перехода имен собственных в имена нарицательные), хотя необходимость этого осознавалась уже в XVIII веке. Известно, например, что Д. И. Фонвизин в письме О. П. Козодавлеву, которое имело во многом публичный характер (письмо в защиту «Начертания для составления толкового словаря славяно-русского языка», 1784), настаивал на включении имен собственных в «Словарь Академии Российской»: «Я желал бы, например, чтоб в словаре нашем было истолковано, что имя Нерон заключает в себе идею лютого тирана, Тит — государя милосердного, Сарданапал — тирана сладострастного; что Зоилом именуется злобный и презрительный

критик; что имя Катилина сделалось титулом высокомерного врага отечеству» (Фонвизин 1959: 254).<sup>2</sup>

Во-вторых, именно в XVIII веке русская культура активно усваивает общеевропейский антропонимический культурный тезаурус — имена мифологических персонажей, исторических и культурных деятелей, — который органично соединяется с национальной традицией. Процесс такого слияния занял длительное время и проходил в несколько этапов, каждый из которых представляет большой культурный интерес. На исходе века мы видим уже достаточно гармоничную картину, выразительным свидетельством чему может, в частности, служить рассуждение А. Н. Радищева из «Жития Федора Васильевича Ушакова»: «Равно имяниты для нас Нерон и Марк Аврелий, Калигула и Тит, Аристид и Шемяка, Картуш, Александр, Катилина и Стенька Разин; все славны, все живут на памяти потомства и не возмущаются тем, что о них мыслят» (Радищев 1938: 178). Следует отметить здесь большую роль, которую сыграла переводная литература; значение и удельный вес переводов и переложений в русской литературной жизни XVIII столетия трудно преувеличить. Вместе с тем вопрос о передаче имен персонажей русскими переводчиками исследовался крайне мало, хотя он сам по себе представляет актуальную научную проблему.

В-третьих, к концу XVIII века создается культурно-исторический антропонимический канон, т. е. формируется круг значимых для национального сознания исторических персонажей. Наиболее полно он представлен в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, но начало его формирования относится к предшествующим историческим трудам (М. В. Ломоносов, В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Представляется важным то, что этот канон нашел отражение в художественных текстах XVIII века (торжественной оде, трагедии, ораторской прозе, героической поэме).

В-четвертых, в завершающие век десятилетия начинает складываться новый антропонимический канон литературных героев. До 1780-х годов большинство литературных имен носили или условный и заимствованный характер, или были «говорящими»

---

<sup>2</sup> Благодарим С. С. Волкова за напоминание об этом высказывании Д. И. Фонвизина.

и содержали в себе однозначную оценку героя. В эпоху сентиментализма имя героя принципиально меняется: антропонимы из живого языка (например, *Лиза, Евгений, Юлия, Маша, Нина* и др.) активно проникают в литературу, получая своеобразный эстетический статус, что требует специального изучения. Кроме того, в литературных произведениях конца XVIII века обнаруживаются примеры заимствования имен из других текстов в целях литературной игры (хрестоматийным примером этого является *Фелица* Г. Р. Державина).

Мы указали лишь некоторые основные причины, обуславливающие особое значение XVIII столетия для дальнейшего исследования истории русской антропонимики. Однако и их достаточно для того, чтобы признать важным и необходимым дальнейшее изучение антропонимов в языке и литературе XVIII столетия. Несмотря на то, что это направление находится в поле зрения ученых уже достаточно давно (об этом см. ниже), перед исследователями личных имен в русской словесности XVIII столетия стоит еще немало вопросов самого серьезного свойства. Так, дальнейших разысканий и уточнений требует комментирование антропонимов в произведениях XVIII века; целый ряд существующих комментариев (даже в самых авторитетных изданиях) содержит в себе не только пропуски, но и прямые неточности. В качестве примера приведем досадные ошибки подготовки текста и примечаний к «Оде российскому воинству в феврале 1769» М. М. Хераскова. Здесь, в обращении к туркам, читаем:

Ты в гордых мыслях и словах  
Прямую славу заключаешь,  
Вселенную разрушить в прах  
От стен Византских угрожаешь;  
Продерзкий род! иль ты забыл,  
Каков у россов Минин был,  
Свою напасть и их победы?  
(Херасков 1964: 65)

Антропоним прокомментирован следующим образом: «*Минин* — Кузьма Минич Захарьев-Сухорук (ум. 1616), один из руководителей русского народного ополчения, освободившего в 1612 г.

Россию от польских интервентов» (Херасков 1964: 377). Возникает вопрос: почему турки должны вспомнить о Кузьме Минине, который не имеет никакого отношения к русско-турецким войнам, о которых идет речь в оде? Недоумение разрешается при обращении к тексту оды в полном собрании сочинений Хераскова, в котором вместо имени *Минин* напечатано *Миних* (Херасков 1796–1803: 7, 136). То есть в оде речь идет о генерал-фельдмаршале Б. К. Минихе, участнике русско-турецкой войны 1735–1739 годов, главнокомандующем русской армией в ходе знаменитого взятия Хотина (1739), воспетого М. В. Ломоносовым. События этой войны, связанные с самыми громкими победами русского оружия, упоминаются в следующей строфе:

Хотин еще в крови стоит,  
Бендерских стен верхи дымятся,  
Азов разрушенный лежит,  
Брега дунайски гробом зрятся...  
(Херасков 1964: 65)

Эти реалии прокомментированы вполне корректно («*Хотин, Бендеры, Азов* — турецкие крепости, взятые штурмом русскими войсками в войну 1736–1739 гг., но затем снова возвращенные Турции» (Херасков 1964: 377)), что никак не мотивирует упоминание К. Минина, тем самым подчеркивая ошибочность предшествующего комментария. В той же оде Хераскова чуть ниже помещен следующий фрагмент:

Летите, росские орлы,  
Карать рушителей спокойства!  
Во всех странах гремят хвалы  
И слухи вашего геройства;  
Весь свет бы Фридрих победил  
И больше б Александра был,  
Коль россов не было бы в свете:  
Победоносной их рукой  
Европе мир дан и покой;  
Их слава ныне в полном цвете  
(Херасков 1964: 66).

К имени *Фридрих* приводится следующий комментарий: «Фридрих — прусский король Фридрих-Вильгельм II (1712–1786)» (Херасков 1964: 377). В действительности речь идет не о Фридрихе Вильгельме II (1744–1797), а о его дяде Фридрихе II Великом (в комментарии приведены его годы жизни: 1712–1786, ошибочно приписанные Фридриху Вильгельму); именно его, увеличившего территорию Пруссии вдвое, могли сравнить с Александром Македонским.

Подобные случаи среди прочего ясно демонстрируют необходимость дальнейших и многоаспектных исследований в области русской антропонимики XVIII столетия.

## 2

Литературная ономастика — одно из популярных и перспективных направлений современной русистики, которое начало формироваться еще задолго до появления самого термина и до сих пор сохраняет свою актуальность (Скуридина 2019: 55).<sup>3</sup> На протяжении XX в., особенно с 50-х годов, внутри этого направления появляются разные подходы, которые знаменуют переход от прикладного характера исследований к общетеоретическому (Там же: 57); имея в виду последний, необходимо, в частности, назвать исследования, посвященные анализу семантической ауры антропонимов, возникающей в текстах разного типа (Имя 2007).

И хотя, как уже отмечалось, антропонимика XVIII века изучалась с меньшей интенсивностью, нежели антропонимы других историко-культурных эпох, тем не менее связанные с ней проблемы затрагивались в том или ином виде в ряде фундаментальных исследований, посвященных русской литературе этой эпохи.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> О международном интересе к проблеме русской литературной ономастики свидетельствует, например, вышедшая в 2013 г. в Германии коллективная монография (Namen 2013).

<sup>4</sup> См., например: (Берков 1936; Пигарев 1954; Серман 1973; Берков 1977; Стенник 1981; Лотман, Успенский 1992; Лебедева 1996; Живов 2002; Успенский 2008). Ср. также некоторые ключевые работы о русской литературе XIX века, в которых комментируется традиция использования имен в XVIII веке: (Фомичев 1983; Лотман 2003).

Существует также ряд работ, непосредственно обращенных к проблемам литературной антропониими XVIII века, причем в поле внимания ученых попадали произведения разных периодов литературной истории той эпохи — от петровского времени до рубежа XVIII–XIX веков.<sup>5</sup> Исследования употребления антропонимической лексики в русской литературе XVIII в. проводились на материале произведений различных авторов: Феофана Прокоповича (Калинкин 2000), А. Д. Кантемира (Никольская 2009), М. В. Ломоносова (Рогалев 2007), А. П. Сумарокова (Никольская 2008), Д. И. Фонвизина (Зинин 1967), А. Н. Радищева (Глухов 1999), М. Д. Чулкова (Галиева 2010), Г. Р. Державина (Лаппо-Данилевский 2002), И. А. Крылова (Волкова 1975; Шерешевская 1972; Морозова 1971) и других.

Обозначая круг теоретических проблем, имеющих большое значение для исследования литературной ономастики, В. А. Никонов выделил четыре системы, в соотношении с которыми возможно рассмотрение имен персонажей художественного произведения: «1) с антропонимической системой периода, изображаемого в произведении, 2) с антропонимической системой, современной автору, 3) со стилем произведения, 4) с литературной традицией употребления имен персонажей» (Никонов 1974: 419). Современные научные работы в области литературной антропониими XVIII столетия так или иначе соответствуют этим методам. Не претендуя на всеохватность обзора, укажем основные направления исследований, при этом отметим, что для рассматриваемой эпохи наибольшую актуальность представляет последний, четвертый,

---

<sup>5</sup> См., например: (Абрамзон 2003; Абрамзон, 2004; Архангельский 1997; Богданович 2006; Войнова 1977; Волкова 1975; Галиева 2010; Глухов 1999; Горнакова 2008; Зинин 1967; Зинин 1968; Калинкин 2000; Ковалевская 1973; Кондратьева 1967; Кузнецов 1993; Лаппо-Данилевский 2002; Лемешев 2010; Михайлов 1956; Морозова 1971; Николаев 1991; Николаева 2008; Никольская 2008; Никольская 2009; Постоутенко 1994; Рогалев 2007; Сазонова 2002; Словарь 1996; Словарь 2000; Топоров 2006; Фаткуллина 1991; Хазова 1974; Шанский, Соловьева, Филиппов 1990; Шарихина 2013; Шерешевская 1972; Keipert 1988).

метод: в большинстве работ в разных аспектах изучается проблема влияния литературной традиции на формирование и функционирование антропонимов в художественных произведениях XVIII века.

Влияние традиции русской литературы XVII в. постулируется в статьях Г. Кайперта (Keipert 1988) и Л. И. Сазоновой (Сазонова 2002). В частности, в них на материале текстов XVII в., в том числе риторических трактатов, рассматриваются случаи этимологизации имени собственного. Этот прием использовался в различных функциях: для разработки поэтической темы, в качестве аллегории, конструктивного жанрообразующего элемента (анаграмматической эпиграммы, акростиха) и др. Впоследствии, как отмечает Л. И. Сазонова, он получил развитие в литературной традиции XVIII в.

Установление более широкого влияния (в контексте мировой литературы) предполагает изучение имен собственных в интертекстуальном пространстве (например, выбор имени персонажа на основе готового образа, закрепленного за именем), а также семантический анализ аллюзивных имен собственных. Чаще всего исследователи обращались к имени Лизы («Бедная Лиза» Н. М. Карамзина), на материале которого разрабатывали следующие проблемы: традицию употребления имени, его историю; имя Лизы в контексте мировой литературы и влияние образа имени на его употребление в русской литературе (Топоров 2006; Горнакова 2008; Николаева 2008).

Особое направление в изучении имен персонажей в художественных произведениях XVIII века представлено исследованием мифонимов и теонимов<sup>6</sup> (Ковалевская 1972; Фаткуллина 1991; Живов 2002; Абрамзон 2003; Богданович 2006; Шарихина 2013), поскольку эта группа онимов, являясь объектом культурной аккумуляции, реализует широкий спектр художественных функций.

Исследование имени персонажа как тексто- и стилеобразующего фактора, а также взаимовлияние жанрово-стилистической

---

<sup>6</sup> Поскольку мифологические персонажи в литературе XVIII века изображаются антропоморфно, эти единицы могут быть отнесены к антропонимам в широком смысле.

характеристики произведения и его антропонимикона составляют другой, при этом не менее обширный, круг исследований, который является наиболее традиционным в литературной ономастике. Основные задачи такого рода исследований были сформулированы, например, в кандидатской диссертации В. Н. Михайлова «Собственные имена персонажей русской художественной литературы XVIII и первой половины XIX вв., их функции и словообразование»: «выявить ... основные стилистические функции собственных имен»; «показать, как писатель обрабатывает материал общенародного языка, подвергает его “образно-эстетической трансформации”» и другие (Михайлов 1956: 32). Наиболее исследованным аспектом этого направления является употребление писателями XVIII века «говорящих» имен: семантика основ, мотивировка таких номинаций, функции наименования персонажей в образной системе произведения; роль культурно-исторических факторов в создании имени (Шершевская 1972). Развитие этого подхода на современном этапе привело к формированию равноуровневого, системного характера исследований. С одной стороны, в анализ вовлекаются разные уровни текста: изучается роль антропонимической лексики в развитии сюжета, семантической композиции всех уровней, в создании смысловой многоплановости текста, в выражении важнейших художественных идей (Глухов 1999). Роль антропонимической лексики в освоении литературного жанра рассматривается в статье Т. Е. Никольской (Никольская 2009), в которой анализируется использование А. Д. Кантемиром русских календарных имен, имен российских императоров, императриц и великих князей в качестве средства русификации сатиры.

С другой стороны, производится систематизация полного инвентаря ономастического пространства текста и дальнейший анализ антропонимической лексики по различным параметрам. К таким параметрам обычно относятся: частотная характеристика каждого элемента и описание способов наименования имен собственных (например, по профессиональной или социальной принадлежности, психологическим свойствам и т. д.), их стилистических функций (см., напр.: Морозова 1971). К этому направлению примыкают работы, связанные с лексикографическим аспектом (Зинин 1968; Хазова 1974; Лемешев 2010; Матвеев 2020).



Круг проблем, проанализированных авторами настоящей коллективной монографии, соотносится с основными вышеописанными направлениями, а в некоторых отношениях, даже и выходит за их пределы. Это относится, прежде всего, к чисто языковым аспектам функционирования антропонимов — и они привлекли к себе внимание нашего творческого сообщества. Тут следует отдельно отметить, что присутствие лингвистического анализа в литературоведческих исследованиях текстов XVIII в. составляет непреходящую особенность многих работ участников семинара «Русский XVIII век», одной из важнейших задач которого является как раз многоаспектное и даже междисциплинарное описание словесной культуры этого времени.

Предпринятое нами исследование русской антропонимики XVIII в., итоги которого содержит предлагаемая ныне читателю книга, началось с систематизации предмета будущего изучения — на первом этапе научной работы всеми членами коллектива на различном материале был отобран и описан инвентарь ономастического пространства. Затем, подготовив базы данных разного типа (некоторые из них размещены на сайте семинара «Русский XVIII век» (<https://18vek.spb.ru/projects>)), авторы монографии перешли непосредственно к изучению употребления антропонимики в различных функциях: в развитии сюжета, семантической композиции, в создании смысловой многоплановости текста (А. Ю. Тираспольская — на материале творчества Н. М. Карамзина и П. И. Шаликова; П. Е. Бухаркин — на материале трагедий русского классицизма); в интертекстуальном пространстве (Е. М. Матвеев и М. Г. Шарихина — на материале оды; С. С. Волков — на материале проповедей Стефана Яворского); в освоении литературного жанра (П. Е. Бухаркин — на материале трагедии, частных писем и sentimentalной повести; М. В. Пономарева — на материале державинской анакреонтики; Н. А. Гуськов — на материале эклог Сумарокова; А. Ю. Тираспольская — на материале sentimentalной повести; Д. В. Руднев — на материале документов). Исследование мифонимов и теонимов было предпринято С. С. Волковым и И. С. Веселовой; к проблемам этимологизации имени обратились Е. М. Матвеев и А. Ю. Тираспольская; притяжательные прилагательные и родительный принадлежности в русском языке рассматриваемой эпохи стали предметом анализа Д. В. Руднева и т. д.

Даже это простое перечисление свидетельствует о панорамности создаваемой в книге картины русской антропонимики XVIII века. Конечно, монография «Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века» далека от фронтальной систематичности в характеристике своего объекта. В ней выявлены и проанализированы лишь некоторые стороны функционирования антропонимов в языке и литературе той эпохи. Однако в своей совокупности составляющие ее разделы значительно расширяют наши представления о корпусе личных имен, сформировавшемся в то время, и о многих особенностях их функционирования в текстах разных типов.

### 3

Задачи, которые стремились по мере сил и возможностей решить авторы монографии, определи ее композицию: предлагаемая читательскому вниманию книга состоит из пяти разных по объему частей.

Первый раздел «*Антропонимы в словесности Петровской эпохи*» содержит статьи, в которых анализируются антропонимы в литературе начала XVIII века — достаточно цельного периода, за которым давно и прочно закрепилось наименование Петровской эпохи. Открывают раздел две статьи, посвященные одному из центральных жанров этого времени — ораторской прозе. В статье С. С. Волкова «*Библейские антропонимы в ораторской прозе Петровской эпохи*» предлагается описание указанной группы лексики в церковной панегирической ораторской прозе митрополита Стефана Яворского. На материале текста проповеди рассматриваются случаи проявления в семантике библейских антропонимов семантической трансформации, которая служит для выражения новых культурных смыслов. В статье А. Е. Трофимова «*Употребление античных имен в прозаическом панегирике начала XVIII века*» анализируются особенности употребления античной антропонимики в русской панегирической литературе 1710–1720 гг. на материале произведений Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и Гавриила Бужинского. В статье продемонстрировано изменение отношения авторов к именам героев античной истории и мифологии (от приятия в начале до отрицания в конце анализируемого периода). В третьей статье раздела — в статье Д. В. Руднева «*О сем*

Томазий, закона учитель, глаголет...” (особенности употребления антропонимов в “Разговоре дву приятелей о пользе науки и училищах” В. Н. Татищева)» — исследуются тематические группы, синтаксические особенности и функции антропонимов. В ходе анализа произведения В. Н. Татищева выделены тематические группы использованных антропонимов. В этих группах представлены русские, европейские и античные правители, учителя церкви, мудрецы и философы, ученые, законодатели, создатели училищ и т. д. Писатель апеллирует к этим группам антропонимов при раскрытии основной темы своего произведения — темы пользы науки. В результате исследования синтаксических функций антропонимов делается вывод о том, что они в подавляющем большинстве случаев употребляются в качестве подлежащего. Выявлена корреляция между тематическими группами антропонимов и семантикой предикатов. Антропонимы в позиции дополнения, определения и обстоятельства представлены в тексте Татищева гораздо реже. Кроме того, исследовано употребление антропонимов в составе пояснительных конструкций с элементами *яко* и *как то*. Завершается статья описанием функций антропонимов в тексте «Разговора», которые имеют стилистический, интегрирующий, риторический и культурно-идентифицирующий характер.

Второй раздел коллективной монографии *«Имя и жанр в литературе русского классицизма»* содержит статьи, посвященные функционированию антропонимов в поэтических панегирических жанрах и в трагедии. В статье *Е. М. Матвеева «Антропонимы в русской торжественной оде XVIII века»* описаны, классифицированы и проанализированы личные имена в торжественных одах М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. П. Петрова, М. М. Хераскова, А. А. Ржевского, Н. Н. Поповского и в отдельных панегирических произведениях Г. Р. Державина. Выделено четыре группы личных имен: 1. Античные мифологические имена. 2. Библейские имена. 3. Наименования христианского Бога. 4. Исторические имена. 5. Прочие имена. Анализ формульных элементов одической поэзии Ломоносова и Петрова, включающих антропонимы, проясняет одну из основных стратегий Петрова, которую он использовал при переработке од Ломоносова. Петров часто заимствует имена, как и другие структуры, в составе готовых композиционных блоков, но никогда не заимствует их буквально, обычно подбирая вариант

наименования, варьируя состав словесного окружения имени (апеллятивный конвой), меняя тип риторического осложнения контекста и т. д. В статье проанализированы основные типы семантических преобразований антропонимов в одической поэзии: антономазия, олицетворение, перифраза и др. В качестве особого типа семантического преобразования антропонима в панегирической поэзии рассматриваются уподобления персонажей соименным героям, которые включают панегирические произведения в определенный политический или религиозный контекст. В статье М. Г. Шарихиной «Герои русской истории допетровского периода в торжественной поэзии XVIII в.: темы и образы» рассматриваются способы художественного переосмысления событий допетровского периода русской истории в торжественной поэзии XVIII в., а также в ораторской прозе того же периода (в качестве сопоставительного материала). Проведенный анализ показал, что в целом принципы создания поэтических образов русских правителей восходят к литературным традициям предшествующих эпох. Их развитие в творчестве отдельных авторов характеризуется движением от принципа исторической достоверности (своей поэзии М. В. Ломоносова) к формированию поэтических обобщений и нравственно-духовных оценок, отражающих индивидуально-авторский поиск закономерностей исторического процесса. В статье П. Е. Бухаркина «Имя и "память жанра"» рассматриваются тропологические трансформации личных имен в трагедиях А. П. Сумарокова, преимущественно связанные с антономазией и перифразой. Благодаря этим тропам происходит актуализация темы рода и родовой ответственности, нарушение которой наделяет героя трагической виной. Данная тематическая линия связывает трагедию классицизма с архаическим типом трагедии, оживляя тем самым жанровую память. В завершающей раздел статье А. В. Шиян «Специфика использования антропонимов в русских сказочных комических операх XVIII века» рассматриваются особенности функционирования антропонимов в комическом драматическом жанре. Проведенное исследование выявило, что имена персонажей опер являются основным средством формирования национального колорита анализируемых текстов.

Статьи третьего раздела книги «Имя в истории — имя в литературе — имя в документе» продолжают начатые во втором разделе

исследования, в центре которых — изучение функционирования имен в различных типах дискурса. В открывающей раздел статье П. Е. Бухаркина «*Историческое имя в трагедии классицизма: между абстракцией и реальностью*» рассматриваются исторические и мифологические антропонимы в русской трагедии середины XVIII — начала XIX в. Основное внимание уделяется трансформации семантики имен собственных в поэтическом тексте, в котором можно обнаружить действие двух противоположных тенденций. Первая состоит в ослаблении референциальных связей антропонимов с исторической и мифологической сферами, вторая — в конкретизации их исторической конкретности; сложное взаимодействие этих тенденций способствует полисемантизму художественного мира трагедии и одновременно с этим наделяет пьесы злободневным политическим смыслом. У. Екуч в статье «*Имя Потемкина в одах В. Петрова и Г. Державина*» исследует именование Г. А. Потемкина в похвальных одах обозначенных авторов. Выявлена стратегия обоих поэтов избегать использования фамилии «Потемкин», осложненной ненужными этимологическими ассоциациями, и найти более подходящие для похвалы именование. В статье М. В. Пономаревой «*От исторической личности к образу (на материале антропонимов в лирике Г. Р. Державина)*» анализируется использование личного имени как приема для создания художественного образа и функции антропонимов в лирике Г. Р. Державина. Рассматриваются исторические антропонимы, взаимовлияние формы имени и жанровой принадлежности текста: формы имени, использующиеся Державиным, могут, с одной стороны, отражать представление о жанровой иерархичности, с другой стороны, создавать особенности текстов, повышая или понижая его «статусность». Исследуются случаи употребления античных и псевдославянских мифонимов, при этом в державинской анакреонтике обнаруживается ряд аллегорических уподоблений, состоящий из псевдославянских мифонимов и параллельный античному. Также рассматриваются литературные имена, как заимствованные Державиным из культурного фонда, так и вымышленные им самим. Отдельное внимание уделяется именованию Екатерины II — реальному имени, мифонимам, литературным именам, ее обозначающим. Анализ антропонимов императрицы

показывает, в чем Державин остается верен традиции использования личных имен в XVIII в., а где нарушает и обогащает ее. Статья П. Е. Бухаркина «Имя героя: литература и социолект» посвящена вопросу о соотношении человека и его имени в литературном тексте и в одном из социолектов второй половины XVIII века, наиболее близком литературе сентиментализма. Этот социолект отражает разговорный язык, свойственный культурно-социальной элите той эпохи. Предметом рассмотрения являются письма Д. И. Фонвизина и М. Н. Муравьева к сестрам, написанные в 1760–1770-е гг. Создающиеся в них образы адресатов — юных, чувствительных, нравственно сильных девушек-интеллектуалок — свидетельствует о зарождении в русской культуре нового культурно-исторического типа героини, который нашел свое воплощение в художественных текстах значительно позднее. На примере именовании Е. Пугачева в различных документах 1770-х гг., где он предстает в разных социальных ролях — допрашиваемого, царя-самозванца, обвиняемого, — в статье Д. В. Руднева «Имя человека в деловой коммуникации XVIII в. (особенности именовании Пугачева в документах 1770-х гг.)» исследуется зависимость формы официального именовании человека от занимаемого в обществе положения, типа документа и места имени в составе документа. Официальные формы антропонимов в XVIII в. начали противопоставляться формам именовании человека в неофициальной коммуникации, демонстрируя постепенное отчуждение деловой коммуникации от живой речи. Правильное именование человека в разных типах деловых текстов требовало умения и выучки и было знаком приобщения к официальной коммуникации. В статье проанализированы изменения в формах именовании Пугачева в документах, относящихся к разным этапам восстания, и сделан вывод, что постепенно в документах, исходивших от бунтовщиков, при выборе форм его номинации уменьшается число отклонений от сложившейся традиции употребления антропонимов в официальной коммуникации. Анализ документов, относящихся к следствию над Пугачевым, обнаруживает ряд серьезных отклонений в его именовании, которые свидетельствовали о том, что власти рассматривали преступление Пугачева как преступление особой тяжести и, как следствие, лишили Пугачева привычных форм официального

именования. Для номинации преступника чаще всего использовалась презрительно-уменьшительная форма имени *Емелька* или оценочное существительное *злодей*. Завершает раздел лингвистическое исследование *Д. В. Руднева «Притяжательные прилагательные и родительный принадлежности в сочинениях по русской истории XVIII в.»*. На основе исторических сочинений XVIII в., в силу своего содержания включающих большой массив антропонимов, исследуется динамика притяжательных прилагательных и родительного принадлежности в русском языке XVIII в. Анализируется их текстовое употребление, случаи конкуренции друг с другом, особенности сочетаемости этих форм, порядок следования притяжательных прилагательных относительно определяемого существительного, употребление падежных форм притяжательных прилагательных и система их окончаний.

Четвертый раздел настоящей монографии — *«Имя и идиолект»* — открывается обширным исследованием *Н. А. Гуськова «Антропонимы в поэзии А. П. Сумарокова»*. В статье обобщены результаты изучения функционирования личных имен в поэзии А. П. Сумарокова, проанализировано применение библейских антропонимов и иностранных имен исторических лиц, отмечены стилистические закономерности использования имен. В статье *А. Варды «Антропонимы в “Сказке о царевице Хлоре” Екатерины II»* анализируются антропонимы, которые появляются в сказке, созданной Екатериной II в 1781 году для своего внука, будущего императора Александра I. Прототипом ее произведения была любовно-приключенческая французская сказка *«Florine ou la Belle Italienne, conte de fées»* мадам Ле Маршан, написанная в 1713 году. В «Сказке» использована сюжетная линия из первой части первоисточника, связанной с мотивом поисков розы без шипов как символа добродетели, а также некоторые антропонимы, отвечающие ее литературному замыслу. Однако Екатерина подвергла некоторой модификации личные имена из французской сказки, меняя форму их родовой принадлежности, а также ввела некоторые новые имена. Вне внимания императрицы остался ряд антропонимов, экзотическая форма которых могла усложнять юным читателям рецепцию и была чуждой русской культуре. Статья *Л. Росси «К пониманию антропонимического мира М. Н. Муравьева»* обращена к анализу антропонимов в творческом наследии М. Н. Муравьева,

писателя в художественном мире которого антропонимы играли чрезвычайно важную роль. В работе имена в прозе и поэзии Муравьева рассматриваются в нескольких важнейших аспектах, включая анализ роли имен собственных в формировании интертекстуальных полей муравьевских текстов. В завершающих раздел четырех статьях А. Ю. Тираспольской рассмотрены антропонимы в прозе Н. М. Карамзина и П. И. Шаликова. Статья «*Имя Лиодор в двух повестях Н. М. Карамзина*» посвящена рассмотрению функций, которые имя Лиодор (Илиодор) приобретает в двух произведениях Н. М. Карамзина: в ранней незавершенной повести «Лиодор» (1792) и поздней повести-притче «Анекдот» (1802). Анализ произведений показывает, что в повести «Лиодор» вместе с именем главного героя (означающего ‘дар солнца’) актуализируются мотивы «солнечности», борьбы света и огня с мраком, тьмой: с определенного момента печальный герой начинает выступать в повествовании как «дар солнца», омраченный трагическими событиями его жизни. В повести «Анекдот» данное герою (еще большему страдальцу и несчастливцу) имя Лиодор создает связи с широким пластом явлений духовно-религиозной христианской культуры и позволяет сопоставить историю решившегося принять монашеский обет молодого человека с жизнеописаниями святых мучеников, носивших данное имя. Статья «*Об античных именах в этюде Н. М. Карамзина “Посвящение куци”*» содержит анализ малоизвестного раннего прозаического этюда Н. М. Карамзина (1791). Рассматривается пласт антропонимов — имен богов, титанов и героев древнегреческой и древнеримской мифологии, — использованных писателем для насыщения произведения античными аллюзиями. Особое внимание уделяется мифологическим «ипостасям», в которых богиня Фантазия является повествователю в его воображении, в частности, образу «нежноулыбающейся Горы». Статья «*О “немудрой” Софии в драме Н. М. Карамзина (художественная функция имени)*» посвящена анализу художественной функции имени София в единственной драме Н. М. Карамзина. В ходе исследования выясняется, что поведение и поступки главной героини — от проявлений безрассудности в начале до откровенного безумия и распада личности в финале — полностью противоречат значению ее имени (‘мудрость, разумность’). Наконец, в статье «*О роли имен собственных*»



в «Путешествии в Кронштадт» князя П. И. Шаликова» рассматриваются ряды антропонимов, фигурирующих в «Путешествии в Кронштадт» П. И. Шаликова, и их художественные функции. Первая часть посвящена изучению цепочки мифонимов, служащих для шуточного сравнения героя и его друзей с легендарными и литературными мореплавателями: Эней — аргонавт — Робинзон Крузо — Улисс. Во второй части анализируются представленные образы российских монархов: Петра I, Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II, вдовствующей императрицы Марии Федоровны и Александра I. Также внимание уделяется роли, которую играет в тексте упоминание имени Н. М. Карамзина.

Завершает монографию пятый раздел, озаглавленный «Фольклор и мифология в русской словесности XVIII века». Открывающая его статья С. С. Волкова «Восточнославянские теонимы в текстах М. В. Ломоносова» посвящена рассмотрению списка русских и античных мифонимов в «Материалах к Российской грамматике» М. В. Ломоносова. Анализ текстов Ломоносова показывает, что ни один из мифонимов, включенных в данный список, не употребляется в тексте «Российской грамматике». Автор делает предположение, что эта заметка М. В. Ломоносова связана не с текстом «Российской грамматике», а с текстом «Древней Российской истории» (в частности, с главой 7 «О княжении Владимирове прежде крещения»). Во второй части статьи анализируются особенности употребления теонима *Перун* в поэтических текстах Ломоносова, демонстрируется семантическое развитие мифоантропонима от онима к апеллятиву в словесной культуре XVIII века. Последняя статья раздела и монографии в целом — работа И. С. Веселовой ««Кумерические» боги, аптекари и кузнецы на одной сцене: мимесис государевой службы (на материале севернорусских вариантов народной пьесы «Царь Максимилиан»)». В статье анализируемая народная пьеса рассмотрена в нескольких аспектах. Во-первых, описан социальный контекст бытования пьесы — сословная приуроченность (солдатская, матросская и затем крестьянская) и территориальный вектор распространения постановок и списков пьесы: в конце XVIII в. — начале XIX в. она была распространена в столичных воинских частях и на городских заводах, к концу XIX в. — в селах. Во-вторых, проанализированы прагматические

характеристики пьесы как речевого высказывания — в ее сценическом и рукописном изводах (кто и зачем ставил и переписывал пьесу, социальные и эмоциональные связи акторов). В-третьих, изучены антропонимы (номинации и обращения) в составе первичных речевых жанров, используемых в пьесе, — сценических обращениях к публике, приказах и рапортах, надгробных эпитафиях. На основании выявленных речевых компетенций подтверждена гипотеза о пьесе как о своего рода «культурном и речевом лифте», перемещающем бывших крестьян в солдатское / городское сословие.

Нетрудно заметить, что разделы монографии существенно отличаются друг от друга и своим предметом, и индивидуальной исследовательской манерой. Более того, в известной мере ее композиция гетерогенна: ее части выделяются на основании различных критериев. Вместе с тем книга отмечена и несомненным единством — в частности, методологической ее основой стало объединение историко-культурного и филологического принципов, объединение, позволившее проанализировать и культурную специфику антропонимов XVIII века (как определенного периода в истории русской антропоники), и особенности их функционирования в конкретных словесных текстах этой эпохи. Действительно, антропонимы в русской литературе и русском языке XVIII столетия рассмотрены здесь сразу в двух взаимодополняющих друг друга планах (микро- и макро-): в плане текста и в плане эпохи. Это, хочется надеяться, придает создаваемой в коллективной монографии картине необходимую в гуманитарной (как, впрочем, и в любой другой) науке объемность, а выводам, сделанным в ней авторским содружеством, — большую аргументированность и осторожность.

*Бухаркин П. Е., Матвеев Е. М., Шарихина М. Г.*

## **Литература**

1. Абрамзон 2003 — *Абрамзон Т. Е.* Мифологические образы как составляющие ломоносовского одического этоса // Проблемы истории, филологии, культуры. 2003. № 13. С. 425–429.
2. Абрамзон 2004 — *Абрамзон Т. Е.* Одический тезаурус антропонимов, теонимов и топонимов (на материале 20-ти торжественных од М. В. Ломоносова). Магнитогорск, 2004.

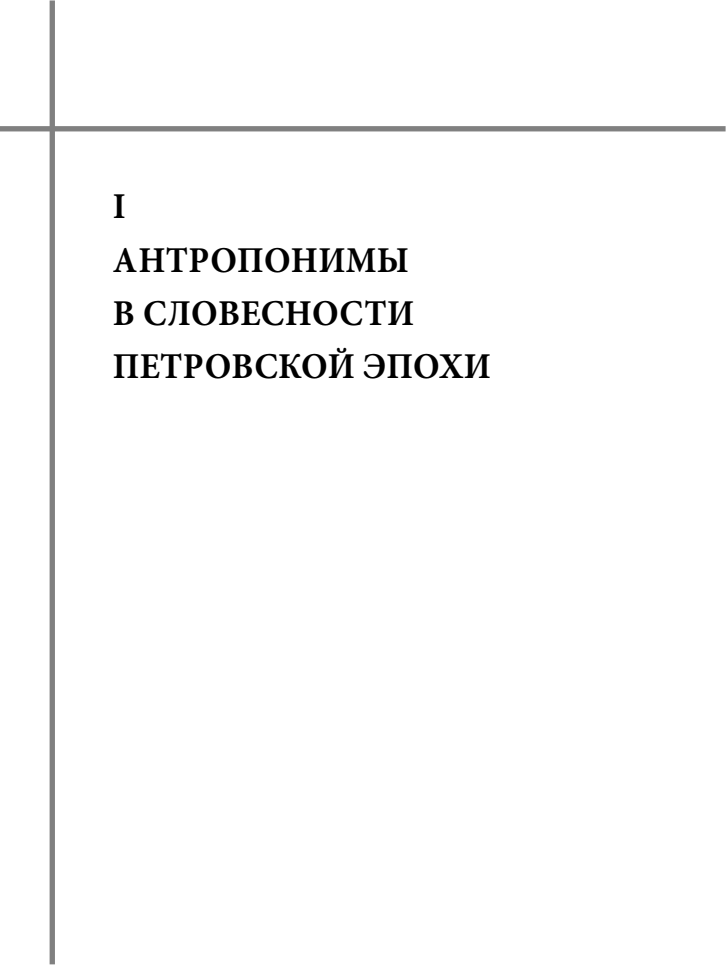
3. Аверинцев 1966 — *Аверинцев С. С.* Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1966.
4. Арнольд 1999 — *Арнольд И. В.* Парадигма антропоцентризма, прагмалингвистика и стилистика декодирования // Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб., 1999. С. 172–173.
5. Архангельский 1997 — *Архангельский А. Н.* Энциклопедия литературных героев. Русская литература XVII — перв. пол. XIX в. М., 1997.
6. Берков 1936 — *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени: 1750–1765. М., 1936.
7. Берков 1977 — *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII в. Л., 1977.
8. Богданович 2006 — *Богданович О. В.* Имена Аполлон и Феб в русской лирике XVIII — первой трети XX в. // Ономастическое пространство и национальная культура. Улан-Удэ, 2006. С. 180–181.
9. Бондалетов 1983 — *Бондалетов В. Д.* Русская ономастика. М., 1983.
10. Бухаркин 2001 — *Бухаркин П. Е.* Риторика и смысл. СПб., 2001.
11. Васильева 2005 — *Васильева Н. В.* Собственное имя в мире текста. М., 2005.
12. Верещагин, Костомаров 2005 — *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Язык и культура. М., 2005.
13. Виноградов 1959 — *Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М., 1959.
14. Виноградов 1963 — *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
15. Виролайнен 2007 — *Виролайнен М. Н.* Исторические метаморфозы русской словесности. СПб., 2007.
16. Войнова 1977 — *Войнова Л. А.* Функционально-семантические особенности мифологических собственных имен и показ их в историческом словаре XVIII в. // Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977. С. 121–129.
17. Волкова 1975 — *Волкова Л. П.* Имя героя комедии (И. А. Крылов) // Вопросы русской литературы. Львов, 1975. Вып. 2. С. 67–74.
18. Галиева 2010 — *Галиева М. А.* Семантика имени в повести М. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» // Ословесненный космос. Иваново; Шуя, 2010. С. 185–196.
19. Глухов 1999 — *Глухов В. И.* Имена персонажей в «Путешествии из Петербурга в Москву» // Русская речь. 1999. № 5. С. 3–8.
20. Горбаневский 1987 — *Горбаневский М. В.* В мире имен и названий. М., 1987.
21. Горбаневский 1988 — *Горбаневский М. В.* Ономастика в художественной литературе. Филологические этюды. М., 1988.
22. Горнакова 2008 — *Горнакова Л. Ю.* Специфика актуализации аллюзивного антропонима в художественном тексте // Проблемы семан-

- тики и функционирования языковых единиц разных уровней. Иваново, 2008. Вып. 5. С. 61–65.
23. Григорьев 1965 — *Григорьев В. П.* Словарь языка русской советской поэзии. Проспект. Образцы словарных статей. Инструктивные материалы. М., 1965.
  24. Григорьев, Колодяжная, Шестакова 2005 — *Григорьев В. П., Колодяжная Л. И., Шестакова Л. Л.* Собственное имя в русской поэзии XX века. Словарь личных имен. М., 2005.
  25. Ефимов 1961 — *Ефимов А. И.* Стилистика художественной речи. М., 1961.
  26. Живов 1996 — *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
  27. Живов 2002 — *Живов В. М.* Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII — XVIII вв. // Живов В. М. Разыскания в области истории и предьстории русской культуры. М., 2002. С. 461–531.
  28. Зинин 1967 — *Зинин С. И.* О личных именах в произведениях Д. И. Фонвизина // Научные труды Ташкентского университета. 1967. Вып. 317. С. 106–124.
  29. Зинин 1968 — *Зинин С. И.* О «Словаре личных имен русской художественной литературы XVIII века» // Научные труды Ташкентского ун-та. Ташкент, 1968. Вып. 319. С. 40–42.
  30. Зинин б. д. — *Зинин С. И.* Поэтическая ономастика (собственные имена в художественной литературе и фольклоре). Библиография литературы на русском языке 1905–2006 гг. [Электронный ресурс]. URL: <http://imja.name/roehthonimy/roehthonimy.shtml> (дата обращения: 30.04.2020).
  31. Зорин 2016 — *Зорин А. Л.* Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016.
  32. Имя 2007 — *Имя.* Семантическая аура. М., 2007.
  33. Калинин 1999 — *Калинкин В. М.* Поэтика онима. Донецк, 1999.
  34. Калинин 2000 — *Калинкин В. М.* У пошуках витоків поетики оніма (Ф. Прокопович про власні імена як стилістичний засіб) // Лінгвістичні студії. Випуск 6. Донецьк, 2000. С. 165–171.
  35. Клейн 2005 — *Клейн И.* Пути культурного импорта. М., 2005.
  36. Ковалев 2014 — *Ковалев Г. Ф.* Библиография ономастики русской литературы по 2010 год. Воронеж, 2014.
  37. Ковалевская 1972 — *Ковалевская Е. Г.* Имена античной мифологии и художественные образы античной литературы в текстах светских переводных драм Петровской эпохи // Герценовские чтения. Т. XXV. М., 1972. С. 3–5.
  38. Кондратьева 1967 — *Кондратьева Т. Н.* Ломоносов о собственных именах как стилистическом средстве // Очерки по истории русского языка и литературы XVIII века (Ломоносовские чтения). Вып. 1. Казань, 1967. С. 97–115.

39. Кузнецов 1993 — *Кузнецов В. А.* Поэтические уподобления в русской литературе XVIII века: (К вопросу о персонифицированности классицистического эстетического сознания) // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1993. Вып. 1. № 2. С. 73–78.
40. Курбанов 1986 — *Курбанов А. М.* Поэтическая ономастика. Учебное пособие. Баку, 1988.
41. Курциус 2021 — *Курциус Э. Р.* Европейская литература и латинское Средневековье: в 2 т. М., 2021.
42. Кухаренко 1988 — *Кухаренко В. А.* Интерпретация текста. М., 1988.
43. Лаппо-Данилевский 2002 — *Лаппо-Данилевский К. Ю.* Пифон или Тифон? (из комментария к стихотворению Г. Р. Державина «Любителю художеств») // НЛО. 2002. № 55 (3). С. 132–150.
44. Лахманн 2001 — *Лахманн Р.* Демонтаж красноречия. СПб., 2001.
45. Лебедева 1996 — *Лебедева О. Б.* Русская высокая комедия XVIII века: Генезис и поэтика жанра. Томск, 1996.
46. Левитт 2015 — *Левитт М.* Визуальная доминанта в России XVIII века. М., 2015.
47. Лемешев 2010 — *Лемешев К. Н.* Лексикографическое описание антропонимов в «Словаре языка М. В. Ломоносова» // Русское слово в историческом развитии (XIV–XIX века). Вып. 5. СПб., 2010. С. 55–61.
48. Лотман 1996 — *Лотман Ю. М.* Очерки по русской культуре XVIII века // Из истории русской культуры. Т. IV: XVIII — начало XIX века. М., 1996. С. 11–346.
49. Лотман 2003 — *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 2003.
50. Лотман, Успенский 1992 — *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Имя — миф — культура // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 58–75.
51. Магазаник 1978 — *Магазаник Э. Б.* Ономапозитика или «говорящие имена» в литературе. Ташкент, 1978.
52. Матвеев 2020 — *Матвеев Е. М.* О проекте словаря антропонимов в русской панегирической поэзии XVIII века // Материалы языкового семинара ИЛИ РАН. Выпуск 3. 2017–2019 годы / отв. ред. С. С. Волков, Н. В. Карева, Е. М. Матвеев. СПб., 2020. С. 71–117.
53. Михайлов 1956 — *Михайлов В. Н.* Собственные имена персонажей русской художественной литературы XVIII и первой половины XIX века, их функции и словообразование: дис. ... канд. филол. наук. Симферополь, 1956.
54. Михайлов 2007 — *Михайлов А. В.* Языки культуры. СПб., 2007.
55. Морозова 1971 — *Морозова М. Н.* Имена собственные в баснях И. А. Крылова // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971. С. 88–95.

56. Николаев 1991 — *Николаев С. И.* «Зоил в российских градах» (От Симона Полоцкого до Кантемира) // XVIII век. Сб. 17. СПб., 1991. С. 17–27.
57. Николаева 2008 — *Николаева Е. Г.* «Лизин» текст Достоевского: традиции и новаторство // Текст — комментарий — интерпретация. Новосибирск, 2008. С. 124–129.
58. Никольская 2008 — *Никольская Т. Е.* Ономастическое пространство сатир А. П. Сумарокова // Проблемы общей и частной теории текста. Бийск, 2008. С. 74–80.
59. Никольская 2009 — *Никольская Т. Е.* Имя собственное как средство трансплантации жанра // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2009. Вып. 4. С. 240–247.
60. Никонов 1974 — *Никонов В. А.* Имя и общество. М., 1974.
61. Пигарев 1954 — *Пигарев К. В.* Творчество Фонвизина. М., 1954.
62. Пиккио 2003 — *Пиккио Р.* Slavia orthodoxa: Литература и язык. М., 2003.
63. Подольская 1978 — *Подольская Н. В.* Словарь русской ономастической терминологии. М., 1978.
64. Постоутенко 1994 — *Постоутенко К.* Об одном псевдониме С. П. Боброва // Stanford Slavic Studies. Vol. 8. 1994. P. 277–282.
65. Радищев 1938 — *Радищев А. Н.* Житие Федора Васильевича Ушакова // Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 153–212.
66. Рогалев 2007 — *Рогалев А. Ф.* Идея, образ, имя в русской литературе XVIII века (в аспекте художественного творчества М. В. Ломоносова) // Традиции М. В. Ломоносова и современность: материалы международной научно-практической конференции. Гомель, 2007. С. 56–64.
67. Сазонова 2002 — *Сазонова Л. И.* Имя в риторике и поэзии XVIII века у восточных славян // Славяноведение. М., 2002. № 1. С. 4–22.
68. Сазонова 2003 — *Сазонова Л. И.* Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006.
69. Серман 1973 — *Серман И. З.* Русский классицизм: поэзия, драма, сатира. Л., 1973.
70. Скуридина 2019 — *Скуридина С. А.* У истоков литературной ономастики // Неофилология, 2019. Т. 5. № 17. С. 54–61.
71. Словарь 1996 — Словарь литературных персонажей / сост. и отв. ред. В. П. Мещеряков. Ч. 1 (XVIII век). М., 1996.
72. Словарь 2000 — Словарь персонажей русской литературы. Вторая пол. XVIII — XIX в. М.; СПб., 2000.
73. Стенник 1981 — *Стенник Ю. В.* Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма. Л., 1981.
74. Суперанская 2009 — *Суперанская А. В.* Общая теория имени собственного. М., 2009.

75. Топоров 2006 — *Топоров В. Н.* Имя и образ Лизы в русской литературе XVIII в. // Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. Опыт прочтения. М., 2006. С. 321–389.
76. Успенский 2008 — *Успенский Б. А.* Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры. М., 2008.
77. Фаткуллина 1991 — *Фаткуллина Ф. Г.* Мифологизмы в русском литературном языке XVIII в.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1991.
78. Фомичев 1983 — *Фомичев С. А.* Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»: Комментарий. М., 1983.
79. Фонвизин 1959 — *Фонвизин Д. И.* [В защиту «Начертания»] // Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 252–259.
80. Фоякова 1990 — *Фоякова О. И.* Имя собственное в художественном тексте. Л., 1990.
81. Хазова 1974 — *Хазова Л. Н.* К созданию антропонимического словаря русской литературы XVIII века // Труды Самаркандского ун-та. Самарканд, 1974. Вып. 264. С. 67–71.
82. Херасков 1796–1803 — *Херасков М. М.* Творения: в 12 частях. М., 1796–1803. Ч. 7.
83. Херасков 1964 — *Херасков М. М.* Избранные произведения / Вступ. статья, подг. текста и прим. А. В. Западава. Л., 1964 (Библиотека поэта. Большая серия).
84. Шанский, Соловьева, Филиппов 1990 — *Шанский Н. М., Соловьева В. С., Филиппов А. В.* Учебный словарь античных имен в русской поэзии. Ашхабад, 1990.
85. Шарихина 2013 — Шарихина (Маматова) М. Г. Мифонимы в одической поэзии М. В. Ломоносова и проблемы их лексикографического описания // Вопросы русской исторической грамматики и славяноведения: к 175-летию со дня рождения Ватрослава Ягича: материалы международного научного семинара (19–20 сентября 2013 г., г. Петрозаводск). Петрозаводск, 2013. С. 117–120.
86. Шерешевская 1972 — *Шерешевская Е. Б.* «Говорящие» собственные имена в языке комедий и сатирической прозы И. А. Крылова // Актуальные проблемы лексикологии. Новосибирск, 1972. С. 245–255.
87. Gardiner 1954 — *Gardiner A. H.* The theory of proper names. Oxford, 1954.
88. Keipert 1988 — *Keipert H.* Nomen est omen. Etymologie als Denkform bei russischen Autoren des 17. Jahrhunderts // Sprache, Literatur und Geschichte der Altgläubigen. Akten des Heidelberger Symposions vom 28. bis 30. April 1986 / Hrsg. von B. Panzer. Heidelberg, 1988. S. 100–132.
89. Namen 2013 — *Namen in der russischen Literatur.* Имена в русской литературе / Hrsg. von M. Freise. Wiesbaden, 2013 (Opera Slavica. Neue Folge. 57).



**I**  
**АНТРОПОНИМЫ**  
**В СЛОВЕСНОСТИ**  
**ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ**





## БИБЛЕЙСКИЕ АНТРОПОНИМЫ В ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЕ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

---

---

Столп церкви восточная, истинный ревнитель,  
В России патриарша престола блюститель.  
Стефан Яворский силен муж делом и словом  
Пастырем добрым образ, честь и Богословом  
Степь лица его плоти, можешь здесь зреть  
А ума невозможна хитрость изыскать.

(«Камень веры», 1749)

В статье «Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII—XVIII вв.» внимание В. М. Живова, рассуждавшего о влиянии культуры западного барокко на русскую духовную культуру начала XVIII века, было привлечено тем, что в проповедях митрополита Стефана Яворского (1658–1722) употребляются мифоантропонимы *Меркурий*, *Юпитер*, *Сатурн*, *Плутон*, *Нептун*, *Аполлон*, *Венус*, *Паллас* (т. е. Паллада), *Марс* и даже «кавалер» *Геркулес*. От себя добавим еще *Прозерпину*, *Харона*, *Эскулапия* — и все равно, список прецедентных мифологических имен в текстах преосвященного Стефана не будет полным. То же характерно как для Феофана Прокоповича, так и для других юго-западнорусских деятелей, принесших в петровскую Россию европейскую культуру. Формируется, таким образом, традиция употребления в русском духовном красноречии XVIII века новых античных мифоантропонимов, которая продолжается далее, уже в отрыве от юго-западнорусского влияния, входя в обычное употребление в текстах подобного жанра (Живов 2002: 487). Но, как

известно, ораторская проза периода барокко подразумевает синтез, смешение, пересечение различных языковых стихий: встречаются и взаимодействуют, порождая новые культурные смыслы как античные, так и традиционные, христианские элементы: цитаты из Священного Писания, творений святых отцов, многочисленные обращения к истории церкви (и, следовательно, и разнообразные библеизмы и христианские, агиографические, святительские и пр. антропонимы) оказываются «на своем месте в проповеди» митрополита Рязанского и Муромского Стефана Яворского (Самарин 1880: 365).

1. В 1867 году историк церкви И. А. Чистович писал об ораторской прозе митрополита Стефана: «Схоластические проповедники поразят вас богословскою ученостию, начитанностию, протянут слово в бесконечность и, в конце концов, не скажут ничего, прямо относящегося к случаю или применимого к жизни. Это какая-то *калейдоскопическая* <выделено мной — С. В. > игра понятий, в которой можно удивляться пестроте и разнообразию картин, живости воображения, фантастически-затейливым сближениям, но в которой, если всмотреться ближе, все бесконечно-разнообразные фигуры образуются небольшим числом необделанных камушков»<sup>1</sup> (Чистович 1867: 261). Написано довольно эмоционально; важно же здесь то, что автор, по-видимому, называет «камушками» некоторые языковые «монады» или «первоэлементы», которые используются Стефаном Яворским в процессе риторического изобретения или украшения. И далее: «В проповедях Стефана вообще преобладает образность. Но образы заимствуются преимущественно из Библии. Хочет ли он изобразить победу? Он берет образ колесницы<sup>2</sup> из Библии. Хочет ли похвалить победителя?

---

<sup>1</sup> Позднее этот же образ калейдоскопа — постоянно варьируемых и пересмысляемых формул и мотивов — относительно сочинений митрополита Стефана Яворского использует А. А. Морозов (Морозов 1971: 44).

<sup>2</sup> Речь идет о четырех известных проповедях Стефана Яворского, посвященных «новолетию» 1703, 1704, 1705 и 1706 годов и объединенных образом видения небесной колесницы пророком Иезекииелем (Иез. 1: 1–28). Любопытно, что И. А. Чистович, разбирая в архиве подготовительные материалы и черновики Яворского, обнаружил сделанный им рисунок Иезекииелевой колесницы (Чистович 1867: 419).

Он ищет в Библии лицо, к которому в каком-нибудь отношении подходит изображаемый им герой: большей частью для целей автора в этом отношении служат истории Моисея, Гедеона и Давида». А вот еще: «У проповедника есть свои любимые образы, к которым он постоянно обращается» (Чистович 1867: 416–417). Итак, если мы берем на себя ответственность правильно интерпретировать мысль И. А. Чистовича, за один из краеугольных камней или, даже можно точнее сказать, краеугольных камней создания образности в изысканных поучительных, похвальных и торжественных «казаниях» преосвященного Стефана, он принимает библейские синкретичные «лица — образы», т. е. личные имена в Книге книг (антропонимы) в их экспрессивных, расширенных, тропеических осмыслениях, преобразованиях. И камни эти, как представляется, «испытаны, краеугольны, драгоценны, крепко утверждены» (Ис. 28: 16) для гомилетики и для всей высокой словесной культуры XVIII века.

2. Литература, посвященная жизни и творчеству Стефана Яворского, довольно обширна и разнообразна. О нем много писали историки русской церкви как о церковном иерархе, образованном богослове-полемисте, искусном проповеднике. Его сочинения были объектом внимания историков русской литературы и исследователей культуры петровской поры, так как Стефан Яворский в силу, как говорится, «жизненных обстоятельств» был «и самовидец, и свидетель» (Сумароков 1787: 193) многих событий этого полного конфликтов периода отношений Церкви и государства, а его ораторская проза сыграла заметную роль в формировании барочной культуры петровского времени<sup>3</sup>. Часто жизнь и деятельность митрополита Стефана рассматривалась в сопоставлении с деятельностью его выдающегося современника — архиепископа Феофана Прокоповича, как, например, в монографиях «Феофан Прокопович и его время» И. А. Чистовича (СПб., 1868), «Феофан Прокопович как писатель» (СПб., 1880) П. О. Морозова, «Стефан

---

<sup>3</sup> По словам В. М. Живова, «русская духовная культура нового времени формируется в русле влияния западного барокко. Эта культура в значительной степени создается выходцами из Юго-Западной Руси, носителями барочной традиции» (Живов 2002: 485).

Яворский и Феофан Прокопович как проповедники» (М., 1844) Ю. Ф. Самарина и весьма претенциозном сочинении того же автора «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» (М., 1880), в современном исследовании протоиерея П. В. Ходзинского «Митрополит Стефан Яворский и архиепископ Феофан Прокопович (по следам диссертации Ю. Ф. Самарина)» (СПб., 2011). Также укажем кратко на «Сказание о творце книги сия» верного последователя Яворского архиепископа Феофилакта Лопатинского (Живов 2004: 122), предпосланное «Камню веры», био- и библиографические очерки, подготовленные митрополитом Евгением (Болховитиновым) в «Словаре историческом о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви» (Евгений 1818: 631–641), Ф. А. Терновским в «Трудах Киевской духовной академии» (Терновский 1864) и акад. С. И. Николаевым в «Словаре русских писателей XVIII века» (Николаев 2010), статью Юрия Шереха<sup>4</sup> «Stefan Yavorsky and the Conflict of Ideologies in the Age of Peter I» (Šerech 1951: 40–62), занимательную книгу В. М. Живова «Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы» (Живов 2004). Однако часть многочисленных и разнообразных сочинений Яворского, к большому сожалению, до сих пор не издана и остается малоизвестной историкам словесной культуры XVIII столетия. В частности, не изданы многие его проповеди (см. мнение В. М. Живова по этому поводу (Живов 2002: 374)), упоминания о которых находим, например, в статье работавшего с синодальным архивом Яворского И. А. Чистовича «Неизданные проповеди Стефана Яворского» (Чистович 1867, см. также Белокуров 1863: 249–270). С. И. Николаев приводит сведения о том, что Яворский был автором более 320 проповедей (Николаев 1996: 5). Из этого значительного числа, свидетельствующего о необыкновенном трудолюбии автора, только в начале XIX века было опубликовано всего 29 проповедей (Яворский 1804; 1805); в том числе и чудесные «колесницы» Яворского наконец увидели свет в третьей части этого издания. П. П. Пекарский в описании славяно-русских книг и типографий 1698–1725 годов указал на издание ранней проповеди Яворского «Виноград Христов» в 1698 году (Пекарский 1862: 2–4).

---

<sup>4</sup> Юрий Шерех — псевдоним слависта Ю. В. Шевелева.

Наиболее известные торжественные слова Яворского — «Моисей Российский», «Рука Христова, Петру простираемая», «Три сени, от Петра святого созданныя», «Жатва торжественная», «Слово благодарственное о взятии Слютельбурга» и др. — позднее были опубликованы в «Трудах Киевской духовной академии» (Яворский 1874; 1874–1875; 1875а; 1875б; 1877). Не попали панегирические сочинения Стефана Яворского в издание «Панегирическая литература петровского времени» (М., 1979). В. М. Живов опубликовал проповедь «О соблюдении заповедей Божиих», произнесенную на день св. Алексея, человека Божия 17 марта 1712 года в Успенском соборе в Москве с собственноручными пометками Петра Первого в приложении № 2 к его книге «Из церковной истории времен Петра Великого: исследования и материалы» (Живов 2004: 266–281). В 2014 году саратовский историк Н. Н. Бородкина подготовила новое издание трехтомника трудов Яворского 1804–1805 годов с большой вступительной статьей, комментариями, словарем и указателями (Яворский 2014). В эту фундаментальную книгу также включены духовное завещание и поэтические опыты Яворского и его посмертная «Эпитафия». Кроме того, в издании представлены документы из истории известной дискуссии по вопросу объединения Русской православной и католической церквей (1717–1718). Тексты Стефана Яворского на церковнославянском языке или гибридном регистре славяно-русского языка (Живов 2017 II: 947) модернизированы, т. е. переведены автором с церковнославянской на современную графику; через год Н. Н. Бородкина выпустила в свет еще одну подготовленную по тем же издательским принципам книгу (Яворский 2015); эти полезные издания, заметим, уже стали источниками «Национального корпуса русского языка». О. А. Крашенинникова (Крашенинникова 2015) посвятила статью анализу одной из первых панегирических проповедей Яворского 1702 года — проповеди о победе над корпусом В. А. фон Шлиппенбаха под Дерптом и о российском гербе, однако текст самой проповеди, к большому сожалению, так и не был ею опубликован.

3. Собственно системному описанию языка, индивидуального стиля такой яркой языковой личности, как преосвященный Стефан, внимания уделялось удивительно мало. Представляется, что интересные сведения о библейской составляющей антропонимикона

языковой личности Петровской эпохи нам поможет предоставить рассмотрение ораторской прозы Стефана Яворского в контексте сложных взаимодействий и взаимовлияний традиционной — «славенской», и новой — европейской традиций, тем более что Стефан Яворский, равно как и Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович, Филофей Лещинский, Гедеон Вишневский (Смоленский) и другие, был одним из т. н. «латинствующих» — православных священнослужителей, приехавших в Петровскую эпоху в Россию с Юга и Запада, т. е. из Малой и Белой Руси (см. Харлампович 1914: 459–504). Они были носителями европейской учености и начитанности, учились в Киево-Могилянской академии, в католических коллегиумах, побывали в европейских университетах, хорошо владели польским и латинским языками, глубоко интериоризировали культуру и литературу античности (Стефан Яворский, например, в письме к гетману И. С. Мазепе цитирует строки из «Скорбных элегий» Овидия (Кочегаров 2016: 418)), освоили теоретическую и практическую риторику, познакомились со схоластикой, логикой и католическим богословием (в списке келейных книг свт. Дмитрия Ростовского числятся Томас Аквинас и Иоаннес Бонавентура). Многие из них «были, возможно, европейски наиболее образованными культурными деятелями из тех, которые находились в то время в наличии. Притом они были явными сторонниками просвещения<sup>5</sup>. Кроме того, воспитанные в полонизированной украинской культуре интеллектуалы этого типа были хорошо знакомы с секуляризированной придворной культурой, и не только ей не противостояли, но прямо сочувствовали и могли помочь в создании ее русского варианта. Панегирическая культура зарождающегося абсолютизма рассчитывала найти в них главных своих основателей (Бухаркин 2009: 105–107). Как считает В. П. Зубов, эти священнослужители всей своей деятельностью доказывали, «что

---

<sup>5</sup> Вот как, например, преосвященный Стефан представлял своим слушателям не военную, политическую и экономическую, а именно культуртрегерскую задачу флота: «Флотом морским мощно ведати, что на свете деется, мощно узрети различныя государства и в них поведения, политику, красоту градов, различие нравов в людех различных и премногия иныя прежде невиданные диковенки (Яворский 1874–1875: II, 123).

“окна” в Европу — не ввоз военной амуниции и протестантизма, а действительное приобщение к культуре Европы и что настоящие “окна” давно были прорублены юго-западным православием (Зубов 2001: 16).

4. *Библеизмами* (у этого термина, впрочем, есть и другие значения) принято называть лексические, фразеологические и афористические единицы разного типа, вошедшие в русский язык из Библии или возникшие на ее основе — как бы подвергшиеся «индукции» библейских текстов, в том числе и единицы, уже не ассоциируемые с Библией в современном языковом сознании (Верещагин 1993: 97; Мокиенко 2017: 7). Соответственно, *библеизмы-антропонимы* или *библейские антропонимы* (далее — БА) — это любые личные имена, почерпнутые из текстов Ветхого Завета и Нового Завета (*Адам, Валтасар, Даниил, Иаков, Иов, Лазарь, Мардохей, Марфа, Петр, Сусанна, Юдифь* и мн. др.) и формирующие в русском ономастиконе особую группу, прежде всего благодаря их наднациональности, сакральности и высокому семантическому потенциалу. По-видимому, имеет смысл также включить в число библейских антропонимов производные от них, в том числе притяжательные и относительные прилагательные, например, *Авраамль* в устойчивом словосочетании *лоно Авраамле*: «Нашему Петру ты, всесильная десница Христова, раем еси; ты еси ему лonom Авраамлим; ты еси ему небом» (Яворский 1875а: 504); *Адамов* в сочетании *ребро Адамово*: «егда Господь Бог творил праматерь нашу Еву от ребра Адамова, глаголет Писание» (Яворский 1874: 517); *Иудов* в *колени Иудово*: «Лев от колена Иудова, победоносный Орел сокруши главы морскаго зверя<sup>6</sup> сего» (Яворский 1805: III, 244); *Маккавейский* в *книги Маккавейские*: «Маттафай и сынове его како подвизашеся за братию свою, за люди свои, за храм Божий, мощно всякому видеть в книгах Маккавейских» (Яворский 1874–1875: I, 135); *Христов* в сочетании *имя Христово*, *Давидов* в сочетании *псалом Давидов*, *Ноев* в сочетании *голубица Ноева* и подобные.

---

<sup>6</sup> «Зверь из моря есть король Шведский, имел глав семь главнейших генералов» (Яворский 1805: III, 244).



5. Источниками настоящего раздела коллективной монографии послужили 23 проповеди митрополита Стефана Яворского, соотносящихся с событиями церковного года и православными праздниками, представленные в издании «Проповеди блаженной памяти преосвященного митрополита Рязанского и Муромского Стефана Яворского» (Яворский 1804; 1805), и торжественные слова, слова «на случай», опубликованные в «Трудах Киевской духовной академии» (Яворский 1874; 1875а; 1875б). В результате сплошной ручной выборки из этого корпуса текстов была сформирована коллекция из приблизительно 400 разнообразных антропонимов. Предварительный анализ этой коллекции показал, что библейские антропонимы — это, бесспорно, самая большая и наиболее полно представленная в качественном отношении, т. е. насчитывающая большое количество разрядов, группа антропонимов в ономастическом пространстве сочинений митрополита Стефана. Так, например, в проповедях Яворского, черпающих содержание из идей церковного года (например, «Слово во святую и великую неделю пасхи», «Слово в неделю Фомины», «Слово в неделю мироносиц увещательное к воину, надходящу походу воинскому», «Слово в неделю пятидесятницы» и пр.), библеизмы составляют примерно 70–75% всех антропонимов. Но особенно энергично обращается Яворский к библейским антропонимам в своих «викториальных», «парадных» панегирических словах:

- ♦ в «Слове благодарственном о победе восприятой над Шведами 1708 году сентября месяца» — 78%;
- ♦ в «Слове о победе над королем Шведским под Полтавою 1709 года» — 90%, включая такие интересные случаи употребления БА, когда он выступает заместителем другого антропонима (как особая форма олицетворения): *Навуходносор Шведский* ‘шведский король Карл XII’;
- ♦ в «Руке Христовой, Петру простираемой» — торжественном слове, произнесенном Стефаном Яворским «по получении веселыя вести от Полтавы» 14 июля 1709 года в Успенском соборе московского Кремля — 87,5%;
- ♦ в проповеди «Три сени, от Петра святого созданных проповедническим художеством в похвалу Всепресветлейшаго Монарха Петра Перваго, Самодержца Всероссийскаго показанныя чрез

преосвященного Стефана, митрополита Рязанского и Муромского всенародне в С.-Петербурге 1708 года месяца мая»<sup>7</sup> — тексте, который Р. Николози оценивает как *первый* петербургский панегирик (Николози 2009: 63) — из 101 антропонима 82 относятся к библейским, что составляет 81% и т. д.

6. Каковы особенности употребления библейских антропонимов у Стефана Яворского? Чтобы ответить на этот вопрос, очевидно следует прежде всего решить самую простую задачу — задачу реального описания БА, исчисления и составления их «реестра», «коллекции» в сочинениях Яворского, а также установления их основных групп и, соответственно, роли в сложении культурно-исторического антропонимического тезауруса новой европеизированной культуры. Этого до нас пока еще никто не делал: О. В. Саломатова ограничилась только довольно поверхностным исследованием антропонимов небиблейского происхождения в сочинениях Стефана Яворского (Саломатова 2014: 116–121), при этом за пределами ее внимания, что очень жаль, осталось самое интересное — семантическое развитие антропонимов.

Подобное описание БА, возможно, будет полезным по крайней мере для историков словесной культуры XVIII века, так как, например, «Словарь русского языка XVIII века», по-видимому, под влиянием архаичных императивов «научного» атеизма и всеобщей, даже лексикографической, секуляризации, игнорирует словарное описание БА, хотя, как мы предполагаем, его корпус значительно бы украсили, например, словарные очерки, показывающие перспективу употребления антропонима *Моисей* и сочетаний типа *новый Моисей*, *второй Моисей*, *российский Моисей* и под. в русском языке XVIII века (отметим, что идеологи словаря в свое время все-таки задумывались над этой проблемой — см. (Войнова 1977)). В целом есть основания говорить о формировании в церковной ораторской прозе петровского времени своеобразного «банка данных» или «фонда» библейских антропонимов, из которого позднее стала черпать ресурсы панегирическая поэзия XVIII века: «почти

---

<sup>7</sup> Текст также имеет латинское название: «*Tria tabernacula a Petro aedificata. Concio panegyrica in laudem Serenissimi Petri Alexievicz Caesaris Rosiarum dicta Peterburgi anno 1708 in maio*».

все библейские реминисценции, ставшие одическими штампами, еще до Ломоносова были штампами гомилетическими» (Живов 2002: 654). Во-вторых, конечно, нас будет особенно интересовать способность БА к семантическому разворачиванию и трансформации, появление в семантике БА синкретических, переносных, переносно-характеризующих, аллегорических и символических употреблений, их роль в формировании нового культурного кода XVIII столетия. В-третьих, возможно удастся сделать некоторые осторожные наблюдения относительно, так сказать, антропонимических симпатий и антипатий Яворского как яркого представителя ораторской прозы начала XVIII столетия. В-четвертых, актуальным остается пожелание Р. Николози обратить внимание на библейский пласт петербургского панегирика и, соответственно, панегирика вообще (Николози 2009: 8). Да и вообще, можно заметить, что в штудиях в области словесной культуры XVIII века всегда почему-то преобладает исследовательский интерес к самым разнообразным новым явлениям этого периода — становлению новых жанров, появление новых лексических групп и разрядов, процессам словообразования, морфологии и т. п., хотя не меньшего внимания достойна и стихия традиционного, адаптация ее к реалиям XIX столетия.

7. Сделаем попытку хотя бы очень кратко перечислить ниже основные разряды БА в текстах проповедей и слов Стефана Яворского (за основу берем классификацию, предложенную Ю. В. Митиной (Митина 2000: 9–10)):

- ◆ Символы веры, наименования высших небесных сил: *Иисус Христос, Иисус, Спас, Христос Спаситель, приснодева Мария, пречистая, пресветлая Дева Мария, Господь Саваоф* и др., например: «Един только истинный подражатель Христов и пречистой Девы Марии есть благочестивый Государь наш Царь и великий Князь Петр Алексеевич всея России: в нем точию едином сия мудрствуются, яже и во Христе Иисусе, и в пречистой Матери его» (Яворский 1804: 239);
- ◆ Архангелы: *Михаил, Рафаил, Гавриил*;
- ◆ Имена первосвященников: *Аарон, Анна, Каиафа, Садок* и др.: «Не посрамился <Иисус> учения своего пред архиереем Анною» (Яворский 1804: I, 107);

- ◆ Имена Судей Израилевых (израильских): *Варак, Гедеон, Иеффай, Самгар* <Самегар<sup>8</sup> — С. В. >, *Сампсон, Самуил* и др.: «Вспомните себе, слышатели, разговоры Ангела, которые имел с Гедеоном: прииде некогда Ангел к Гедеону, млатящему пшеницу на гумне, и по обыкновению своему, егоже всегда употребляют при посещении кого Ангели, поздравляет Гедеона и глаголет: Господь с тобою, мужу сильный!» (Яворский 1804: II, 202); «Провиде Самуил, и позна вся, яже бяху в сердцы Саула, якоже о сем пишется пространно в книзе 1 Царств, в главе 9» (Яворский 1804: I, 144);
- ◆ Имена праотцев, праматерей и патриархов: *Авраам, Иаков, Исаак, Лиа, Лот, Ной, Рахиль, Сарра*, например: «Поминайте жену Лотову, глаголет Христос Спаситель: а что есть Лот; а что есть жена Лотова; Лот есть дух человеческ: Лотова жена есть плоть сладострастна. Лот дух человеческ скоро и легко исходит из Содомы, вспять не озирается: но жена Лотова, плоть сладострастия, егда в нечистой Содоме водворится и сквернодействие себе стяжет и возлюбит, о коль трудно ее извести оттуду!» (Яворский 1804: I, 112); «Первым начальником корабля и флота морскаго бысть Ное, великий угодник Божий, муж праведен и преподобен» (Яворский 1874–1875: II, 120);
- ◆ Имена царей Иудеи и Израиля: *Аса, Давид, Езекия, Иоас, Иосафат, Иосиа, Ирод Великий, Манассия, Охозия, Саул, Соломон* и др.: «Святое похваляет Езекию, что он первый во Израили идолы сокрушил, и вся капища и кумиры искоренил, и змию медяну, еще от Моисеа создану, юже Иудеи вместо Бога почитаху, и кадыху ей, испроверже. Сим преславным делом Езекия всех царей Иудиных превосходит. Не испразднил Давид идолослужение. Во дни Давидовы не бысть сицевая мерзость. Иосиа царь испроверже идолы, но имеяше пред собою образец Езекию, а Езекия сотворил то сам о себе, никоего же образца прежде себе имущи» (Яворский 1805: 171); «Явно всем есть, что сотвори Охозия царь Израильский; Впал в великую он немощь, молися изобильно Господеви, да воздвигнет его от одра болезни» (Яворский 1804: I, 235);

---

<sup>8</sup> См.: Суд. 3: 31.

- ◆ Имена больших и малых пророков и пророчиц: *Аввакум, Анна* ‘мать пророка Самуила’, *Даниил, Девора, Елисей* <так! — С. В. >, *Захария, Иезекиль, Иеремия, Илия* также *Илия Фесвитянин, Иоанн Креститель, Иоиль, Иона, Исаия, Моисей*: «Весте и сами противляющиися истине, како позна Даниил пророк сон Царя Навуходоносора, и сказа толкование его»<sup>9</sup> (Яворский 1804: I, 146); «А о колеснице что глаголет Иезекииль Пророк: и видех на ней яко подобие престола, и яко видение сапфира, и образ сына человеческого на нем»<sup>10</sup> (Яворский 1805: 150); «Моисей жезлом отверзе путь морской, Илия и Елисей милотию, или одеждою отверзоша себе путь Иорданский<sup>11</sup> а наш Монарх Российский отверзает путь морской не жезлом, но мечем» (Яворский 1805: 173). Укажем здесь также на перифразу *царствующий пророк* ‘Давид’.
- ◆ имена ближайших апостолов: *Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн Зеведеев* (также *Богослов*), *Иуда (Иуда проклятый), Матфей, Павел, Петр, Филипп*. Здесь также нужно указать перифразу *сыны громовы* ‘Воанергес, перифрастическое имя-прозвище, данное Господом апостолам Иакову и Иоанну’: «Прошу о прощении вас, Апостоли святии, сынове громовы, Иакове и Иоанне! вы некогда ревностию непохвальною воспалистесь на люди и град Самарийский» (Яворский 1805: 266). «Симона нарече Христос Петром, си есть, камнем, яко на его исповедании хотяше недвижиму свою утвердити церковь; сынов Зеведеевых нарече громами, яко проповедию хотяху гремети» (Яворский 1874: 138)<sup>12</sup>;
- ◆ имена апостолов от семидесяти: *Анания, Карп, Клеопа, Стефан, Иаков Младший*, например: «Христос воскресе, имущ третие дарование тела своего обоженного скорость, яко исполин тещи путь. Егда и в Галилею предуспе ученики своя, и за Иерусалимом явися Луце и Клеопе, и инде на многих местех» (Яворский 1804: I, 31);
- ◆ имена евангелистов: *Иоанн (Иоанн Богослов, Богослов), Лука, Марк* (также *Марко*), *Матфей*: «Болезноваше и неразумная вся тварь, солнце оное весь мир лучами своими просвещающее

---

<sup>9</sup> См.: Дан. 2: 1–49.

<sup>10</sup> Иез. 1: 26.

<sup>11</sup> См.: Исх. 14: 16; 4 Цар. 2: 8.

<sup>12</sup> См. Мк. 3: 17

угасло быше, угасшу душ наших пресветлому солнцу: ныне паки, егда из гроба красное правды нам возсия солнце, светлейшие свои простирает лучи, якоже свидетельствует Марко евангелист» (Яворский 1804: I, 4); в обращении: «Скажи, Богослове святыи, нам поне сие: есть ли некий смак, яже яси; Горька ли, или сладка книга та; Зде отвещает нам Богослов, яко есть в книзе той вкус и сладкий и горький» (Яворский 1804: I, 123); «Христос воскрес, имущ третие дарование тела своего обоженного скорость, яко исполин теши путь. Егда и в Галилею предупе ученики своя, и за Иерусалимом явися Луце и Клеопе<sup>13</sup>, и инде на многих местех» (Яворский 1804: I, 32);

- ♦ имена праведных жен; жен-мироносиц: *Есфирь, Иудифь, Ревекка, Сусанна; Мария Магдалина, Мария, Марфа* и др.: «Велия жителем Вефулийским торжества вина быше, егда Иудиф непобедимаго уби Олоферна. Радовахуса зело Иудеи, егда от убийства Аманова избави их Есфирь царица» (Яворский 1804: I, 7); «Любимии бяху ученицы Христовы Мария и Марфа: а и с теми долгих разговоров Христовых не читаем в евангелии» (Яворский 1804: I, 105); «Припадем и мы, слышателие, не на выю, но на нозе Иисусове, с Магдалиною теплыми слезами омакающе их» (Яворский 1874: 519);
- ♦ довольно большую, но относительно недифференцированную группу составляют личные имена протагонистов и антагонистов Ветхого и Нового Завета, среди которых внимание Стефана Яворского в наибольшей степени привлекают, например, *Авель, Вениамин, Голиаф* (сюжет Давид vs Голиаф относится к числу самых излюбленных Яворским), *Иисус Навин* (более 30 употреблений), *праведный Иов многострадальный* (43 употребления), *Иосиф, Иуда Маккавей, Лазарь, Пилат, Товия праведный* (14 употреблений) и мн. др. Есть и единичные БА — например, *Неман Сирианин*, которого пророк Елисей чудесным образом излечил от проказы (4 Цар. 5: 1–19), *Халев* ‘один из 12-ти разведчиков, посланных Моисеем в Ханаан (Нав. 14: 6–11)’, *Дафан, Авирон* и др.

Таковы основные разряды БА в сочинениях Стефана Яворского. Классификация показывает, что среди них есть как небольшие, так

---

<sup>13</sup> См. Лк. 24: 13–35.

и довольно большие и разнообразные по составу (например, имена пророков и пророчиц). В будущем, наверное, следует разработать более глубокую и четкую классификацию, основанную, например, на том, какие книги Ветхого и Нового Завета наиболее «востребованы» для духовной и светской панегирической ораторской прозы, а какие — для одической панегирической поэзии, а также какие « типовые » библейские сюжеты привлекают, например, внимание как духовных ораторов, так и поэтов XVIII столетия.

8. Бесспорно, что имена больших и малых пророков — одна из самых ярких и продуктивных в плане образности групп антропонимов в проповедях и торжественных словах Яворского и, соответственно, назовем ее одной из самых больших групп в его авторском антропонимиконе. Среди наиболее почитаемых и предпочитаемых Яворским пророков, чьи имена он активно вплетает в ткань своих «казаний» — *Даниил* (37 употреблений), *Исаия* (37 употреблений), *Иезекиль* (54 употребления), *Илия* (63 употребления) и *Моисей* (более 150 употреблений). Так, пророк *Илия Фесвитянин* в интерпретации преосвященного Стефана — это не только «приснопоминаемый и приснохвалимый Илия» (Яворский 1805: 262), «ревнитель» и «преславный чудодейственный» (Яворский 1804: 70), но и *Илия-воин*, «огненный, огнепальный Илия» (Яворский 1874–1875: III, 646), «весь марсовый» (акцентируем сочетание библеизма с античным мифонимом), ведущий справедливую, богоугодную войну, защищающий истинную веру, отстаивающий правду, обличающий и истребляющий жрецов Ваала<sup>14</sup>: «Ведаете, какой то был человек Илия, — весь марсовый, весь воинской, весь огненной, весь до бою, до кровопролития горящий; умеет он гораздо с ножом, будто со шпагою, около Вааловых пророков увиватися; умеет он двоих пятьдесятников и людей сто, с ними пришедших, огнем палити» (Яворский 1874–1875: III, 632). И далее: «Он жесток и на себе и на тех, котории закону Божию противнии, — прямой подвижник, прямой воин, огнем, крещением и убийством дышущий» (Там же). И поэтому Стефан Яворский в третьей части его панегирического слова «Три сени, от Петра святого созданныя, ... в похвалу Всепресветлейшаго

---

<sup>14</sup> См.: 3 Цар. 18: 19–40.

Монарха Петра первого» (1708 г.) помещает пророка Илию среди русских огнепальных<sup>15</sup>, т. е. в данном конкретном случае, как мы предполагаем, артиллерийских полков (хотя семантика этого прилагательного у Яворского может быть значительно шире): «Се уже имате, слышателие, третью сень, которую Петр <уже, подчеркнем, не апостол Петр, а царь Петр I, т. е. *соименство* — каламбуризация антропонимов, называющих персонажей у которых одинаковые имена<sup>16</sup> — С. В. > огнепальному Илию в полках своих огнепальных поставил; понеже бо Илия весь марсовый, весь военный, весь огнепальным духом, весь прещением и убийством дышет, и с ножом, яко с шпагою около неприятеля умеет гораздо увиватися. *Где может ему быти приличнейшая сень, яко в полках между воинством?* <выделено нами — С. В. > (Яворский 1874–1875: III, 646). Именно так библейский антропоним *Илия* через «остроумную» риторическую актуализацию идеи «огонь» перемещается у Яворского из традиционного библейского контекста в новый панегирический, втягиваясь, таким образом, в систему выражения новых панегирических отношений и смыслов. В панегирических текстах Яворского заслуживает внимания также апеллативизация БА *Илия*, т. е. употребление его в значении нарицательного существительного (автономазия): «Всяк воин, за правду, за благочестие воинствующий, может ся нареци Илиею» (Яворский 1805: 207), «всяк из вас Илия огненный» (Яворский 1875в: 483).

Следует указать также на особый род экспрессивной семантической деривации — замену антропонима мифонимом или БА, при котором тот/та, кто обозначается мифонимом (библейским антропонимом) по воле поэта или ритора волшебным образом преобразуется, приобретает некоторое внешнее или внутреннее сходство с носителем антропонима. Классический пример такой

---

<sup>15</sup> «Словарь русского языка XVIII века» объясняет устойчивое словосочетание *огнепальная наука* как ‘артиллерийская наука’ (Сл. РЯ XVIII в. 16: 166); этим прилагательным Яворский также пользуется при описании *неопалимой купины* (Исх. 3:2): «Что только начнет приближаться Моисей к одной купине огнепальной, в тот час слышит глас» (Яворский 1875б: 133), т. е. такой, который *обжигает, опаляет огнем*.

<sup>16</sup> См. о соименных персонажах в русской одической поэзии XVIII в. в статье Е. М. Матвеева в наст. изд. С. 124–137.



семантического изменения антропонима — «Во образе Екатерины / Сама Минерва се грядет» (Петров 2016: 116), т. е. грядет богиня войны и мудрости, имеющая или, точнее, принявшая на себя, так сказать, в силу способности к волшебной *трансфигурации* или как бы сказали в XVIII веке «*претворства*» внешность императрицы Екатерины II. Поэт при этом, заметим, наделяется особо пронизательным, можно сказать панегирическим зрением, чтобы эту трансфигурацию увидеть; он также может наградить этим «высшим» зрением своего читателя (примеры см. ниже).

Семантическая модель антропонимическо-панегирической *трансфигурации* также может иметь вид: «в ком-то проявляются черты кого-то + уточняющий античный антропомифоним / библейский антропоним»: так вот, такой прием использует пресвященный Стефан, например, в «Слове панегирическом похвальном на святого благоверного князя Александра Невского», вовлекая в создание трансфигурации имена библейских пророков: «равную ревность и zde увидите в Александре <Невском — С. В. >, исходящем противу врагов своих: в едином Александре Моисея, Илию, Павла и Маккавеов (увидите)» (Яворский 1805: 263). Также: «Восхваляются ради различных своих добродетелей различными похвалами оные первенствующаго мира патриархи. Но кто их в живом образе увидети хочет, да зрит единаго Александра <Невского — С. В. >: в нем увидит Авраама, уже не сына своего в жертву Богу приносящаго, но себе самага за целость отечества предающаго» (Яворский 1805: 300). Отметим здесь, что *трансфигурация* связана с контекстом «умных очес»<sup>17</sup>, а также может иметь императивный характер, как, например, у А. П. Сумарокова: «Престань <Пруссия — С. В. >, во удивленьи свету, / Стремиться делать чудеса! / Зевесом зри Елизавету (Сумароков 2009: 43); или у М. В. Ломоносова: «У храма, у цветов, у счастливого леса, / Ты видишь <т. е. должен видеть — С. В. > щедрю дочь Российского Зевеса <т. е. Екатерину II — С. В. >. / Минерва по всему <подчеркнуто мной — С. В. >: в ней всех доброт союз» (Ломоносов 1959: 735). Панегирическая трансфигурация всегда подразумевает соположение,

---

<sup>17</sup> О фразеологизме *умные очи, мысленные очи, душевные очи* в языке XVIII века см. Шарихина 2021: 98–104.

поэтому является двуплановой, двукомпонентной по своему «устройству» или «организации» и обычно выражается типичными для панегирической литературы сочетаниями типа *Петр I — Моисей, Елизавета Петровна — Диана* и пр.

Библейский антропоним *Илия* также используется С. Яворским в образном сравнении, а именно в сравнении царя Ивана IV Грозного с этим пророком: «Мы же кую имама воздати похвалу второму нашему Моисею, второму Гедеону, бессмертныя славы взыскателеви, приснопамятному Российскому монарху, прехраброму Российскому царю и великому князю Иоанну Васильевичу, иже, не терпя зрети род благословенный в толиком уничижении, воста аки вторый Сампсон на отмщение своих супостатов, воста аки вторый Илия <подчеркнуто мной — С. В. > на заклятие жерцов Вааловых, и ... смири татарскую гордость, укроти зверообразную агарян лютость и отверг богомерзкое их иго (Яворский 1874: 140), также «Не точию же не стыдяшися, но ниже бояшися, обличающих сильныя, державныя, крепкия, аки вторый Иоанн Предтеча, безбоязненно древле обличающ Ирода, и его беззаконную жену Иродиаду: или яко вторый ревнитель Илия <подчеркнуто мной — С. В. >, обличающ Ахава и Иезавелю (Яворский 1805: 130). Сравнительная модель «*сравнительный союз + вторый + библейский антропоним*» весьма продуктивна в сочинениях митрополита Стефана Яворского (см. примеры выше). Весьма жаль, что имя такого харизматичного пророка Ветхого Завета как *Илия* не «прижилось» в образно-антропонимическом ресурсе русской поэзии XVIII века: такой вывод позволяет сделать анализ материалов поэтического подкорпуса «Национального корпуса русского языка» и базы данных «Антропонимы в русской панегирической поэзии XVIII века», подготовленной сотрудниками отдела «Словарь языка М. В. Ломоносова» ИЛИ РАН (С. С. Волковым, Е. М. Матвеевым, М. Г. Шарихиной). Возможно, это связано с эстетическими принципами некоторых литераторов XVIII века (напомним здесь, например, о полемике В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова о мифологических образах в высоких жанрах — см. Гринберг, Успенский 2001: 72–77); возможно сыграл свою роль духовный и эмоциональный ореол образа Ильи-пророка в народной мифологии и фольклоре восточных славян — повелителя грома,

небесного огня, дождя, истребителя нечистой силы, подателя обильного урожая и т. д. (Славянские древности 1999: 405–407). В заключение заметим, что, например, такой харизматический пророк как *Нафан* (2 Цар. 7: 2–4; 12: 1–25), тем более связанный библейским сюжетом с главным библейским любимцем Стефана Яворского царствующим пророком Давидом, не упоминается в проповедях и торжественных словах митрополита Рязанского и Муромского ни разу.

9. Совершенно иную красочную картину семантического развития антропонима в первую четверть XVIII века показывает нам уже упоминавшийся кратко выше библеизм *Самсон* (церк.-слав. *Сампсон*, 26 употреблений), который в ораторской прозе Стефана выступает не только как праведный судия Израиля или грозный для филистимлян богатырь («сильный был Сампсон, который единою щекою <челюстью — см. Суд. 15: 15–16, ср. польск. *szczęka* — ‘челюсть’> ослею многое множество побил Филистинов» — Яворский 1805: 225), но и как бесстрашный победитель льва (Суд. 14: 6). В викториальном «Слове о победе над королем Шведским под Полтавою 1709 года» находим следующее: «Лютый оный зверь лев, король Шведский, рыкаше и зияше устами своими, хотя поглотити Россию: но прехрабрый Сампсон наш Государь Царь <подчеркнуто мной — С. В. > заградил есть уста тому льву, паче же растерза Льва Шведскаго (Яворский 1805: 242). Традиционная библейская оппозиция *Самсон — лев* в этом панегирическом слове преобразуется и экспрессивно обогащается просопопеей<sup>18</sup> (или, возможно,

---

<sup>18</sup> *Олицетворением* или *просопопеей* обычно называют вид метафоры, связанный с переносом свойств человека (живого существа) на неодушевленные и абстрактные предметы (см. Хазагеров 2009: 270); см. также: «**Олицетворение, прозопопея, или просопопея** заключается в том, что при *изображении* (курсив наш — С. В.) предметов, растений, животных и явлений природы последние наделяются свойствами людей — к примеру, такими, как дар речи, способность мыслить, чувствовать, совершать определенные поступки и т. д. Иными словами, просопопея «одушевляет то, что не одушевлено» (Москвин 2007: 498–500). Довольно спорное определение олицетворения, явно выходящее за рамки терминологической нормы, предлагает «Большой академический словарь русского языка»: **Олицетворение** ... Воплощение (sic!) какой-л. стихийной

все-таки особой формой *трансфигурации*, о которой мы писали выше) и, в дополнение к последней, предикативно-характеризующим употреблением БА. Уподобление Петра Первого Самсону обычно считается смелым риторическим решением, можно сказать своеобразным «открытием» другого, не менее известного церковного златоуста начала XVIII века — Феофана Прокоповича (Панегирическая литература петровского времени 1979: 25). Можно, конечно, гадать, кому первому в голову пришла такая «креативная» идея; более того, и Стефан Яворский, и Феофан Прокопович были представителями единой церковной культуры, единой европейской учености, европейской риторической науки с ее готовыми образцами и моделями. Но, во-первых, тенденция к панегирическому уподоблению с использованием библейских антропонимов характерна и для более ранней, «дополтавской» ораторской прозы Стефана Яворского (укажем хотя бы на неоднократно упоминавшийся нами выше панегирик «Три сени» 1708 года, где уже можно наблюдать панегирическое уподобление царя Петра апостолу Петру: действует характерный для всей панегирической литературы прием семантически-экспрессивного переосмысления антропонимов, который можно назвать приемом или фигурой «соименства»). Во-вторых, Стефан Яворский одним из первых откликнулся на Полтавскую победу в особой проповеди — «Рука Христова, Петру простираемая», которую он произнес 14 июля 1709 г. в Успенском соборе Московского Кремля при большом, как принято писать в подобных случаях, стечении народа. И в этой проповеди он, отметим, на неделю раньше, чем Феофан Прокопович вводит в риторический текст библейский антропоним *Сампсон* в имплицитном сопоставлении с царем Петром I: «И Сампсон аще бы агнца растерзал, не великую бы оттуду восприял славу; но то его слава, егда льва ярящегося восхитил и растерзал, якоже безсильнаго козлища». И далее проповедник вопрошает: «А что растерзали есте? Что попрали? О, не агнца короткаго, не козлища безсильнаго, но льва

---

силы, явления природы и т. п. в образе живого (sic!) существа (божества, мифологического персонажа и т. п.) (том 13, стр. 684), при этом предлагается пример без указания автора: Перун в славянской мифологии — олицетворение грома и молнии (там же).

ярящегося, рыкающего и ненасытный свой гортань на поглощение наше отверзающего. Того победисте, преславнии наши воины, пред которым потрясошася и княжения и царствия, вострепеташа тьмочисленная иных воинства. Тому сопротивостасте сердцем неустрашенным, которому Литва, Жмудь, Польша малая, Польша великая, Вольтынь, Подлесие, Саксония, воинством так крепка, Силезия, провинция цесарская так преславная, опретися не возмогоша (Яворский 1875а: 490–491). В-четвертых, сам Феофан Прокопович в «Панегирикосе, или слове похвальном о преславной над войсками свейскими победе», произнесенном 10 июля 1709 года в Киеве в церкви Св. Софии в присутствии священной особы Его Величества, для панегирической актуализации антропонимической пары *Самсон — царь Петр I* достаточно осторожно пользуется таким выразительным приемом, как сравнение: «Яко убо иногда Самсон в растерзанном от себе льве обрете пчелы и мед ... подобне и Тебе Пресветлейший Монархо Божиим благословением случися. Растерзал еси аки второй Самсон<sup>19</sup> (не без смотрения же, мню, Божия и в день сей Самсона случися победа Твоя) растерзал еси мужественне льва Свейского (Прокопович 1760: 46), в то время как у Яворского это более ясный и выразительный (семантически двуплановый) троп с аппозитивной конструкцией поясняющего характера в постпозиции: *прехрабрый Сампсон* ‘могучий богатырь, победитель’ *наш Государь Царь*.

Уподобления правителей России Самсону Яворский также развивает вполне в духе Прокоповича с помощью определительно-сравнительной конструкции «*сравнительный союз + второй + библейский антропоним*», которую мы уже упоминали выше: «Мы же кую имамы воздати похвалу ... приснопамятному Российскому монарху, прехраброму Российскому царю и великому князю Иоанну Васильевичу, иже, не терпя зрети род благословенный в толиком уничижении, воста аки второй Сампсон <подчеркнуто мной — С. В. > на отмщение своих супостатов (Яворский 1874: 140). Таким образом, библейский антропоним в похвальных словах митрополита Стефана Яворского показывает семантическое развитие, обогащение семантики, появление и развитие новых

---

<sup>19</sup> Подчеркнуто мной — С. В.

добавочных смыслов, связанных с новой общественно-политической реальностью и, в результате этого, даже начинает подвергаться апеллятивизации в составе групповой антономазии *‘великие, мужественные, неустрашимые воины’*, охватывающей целую созданную Яворским галерею антропомифонимов и библейских антропонимов: «Живут онии доселе преславнии кавалеры Юлии Августы, Помпеи, Аяксы: живут Киры, Дарии, Маккавеи, Сампсоны, Давиды, Гедеоны, Навины, которые аще уже и в прах обратишася, но славу их безсмертну ни земля покрыти, ни смерть испразднити, ни время, гортанем своим вся поглощающее, потребити может (Яворский 1805: 206), которые в дальнейшем становятся обязательными константами панегирических текстов XVIII века.

Изящная актуализация Яворским и Прокоповичем библейского антропонима *Сампсон (Самсон)* в новом панегирическом контексте не осталась незамеченной панегирической поэзией XVIII века. Приведем несколько примеров, в которых БА *Сампсон (Самсон)* в новом контекстном окружении трансформируется семантически: так, в торжественной оде «На победы Государя Императора Петра Великого» у А. П. Сумарокова: «Близ пещер вода играет, / Флора свой возносит трон: / Там пресильно раздирает / Львовы челюсти Самсон: / Тако ПЕТР по Вышней воле, / Льва терзал в Полтавском поле (Сумароков 2009: 23); в галерее библейских образов, пронизанных семантикой героической борьбы и подвига в оде «На Мальтийский орден» (1798) Г. Р. Державина: «В броню незриму облеченна, / Юдифь Олферна жнет главу; / Самсона мышца напряженна / Дерет зубасту челюсть льву; / Бег солнца Навин воспрещает, / Труб гласом грады сокрушает (Державин II: 221); также у Г. Р. Державина, но теперь уже в аллегорическом сравнении («На Новый 1798 год»): И, как Сампсон, столпы дебелы / Сломив, падет под ними сам! (Державин II: 147).

Совместное употребление БА *Иисус Навин* и *Самсон* находим и в одической поэзии М. В. Ломоносова. Вот, например, величественная библейская картина, которая переносит фокус одического повествования на Восток в «Оде на день тезоименитства Его Императорскаго Высочества Государя Великаго князя Петра Федоровича 1743 года» (только лев заменен на тигра, по-видимому, ради версификации): «Мой дух течет к пределам света, / Охотой

храбрых дел пленен, / В восторге зрит грядущи лета / И грозный древних вид времен: / Холмов Ливанских верьх дымится! / Там Наввин иль Сампсон стремится! / Текут струи Евфратски вспять! / Он Тигров челюсти терзает, / Волнам и вихрям запрещает, / Велит луне и солнцу стать» (Ломоносов 1959: 107). В «Оде Императору Петру Феодоровичу» (1762) Ломоносов выводит на панегирическую сцену уже целых три библейских антропонима: «Великолепно облекися, / Российский радостный Сион, / Главой до облак вознесися: / Сампсон, Давид и Соломон / В Петре тобою обладают / И Голияфов презирают» (Ломоносов 1959: 759), где *Сампсон* 'сила, могущество, военный успех', *Давид* 'кротость, незлобивость, божественный певец', т. е. поэт, творческая личность<sup>20</sup> и *Соломон* 'мудрец и справедливый судья, строитель храма'<sup>21</sup> правят Сионом — Российской империей<sup>22</sup>, причем эти почтенные библейские герои в силу панегирической трансфигурации получают своеобразную реинкарнацию в Петре III и, как и положено, «презирают

---

<sup>20</sup> Возможна и другая интерпретация этого антропонима в контексте торжественной оды Ломоносова: царь Давид — величайший из царей Израиля, победитель филистимлян, основатель династии Давидидов. Объединив Израиль и Иудею, он создал империю, которая простиралась от Египта до Месопотамии.

<sup>21</sup> См. у М. В. Ломоносова в «Оде ... Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской, которою Ея Величество в новый 1764 год всенижайше поздравляет ... Михайло Ломоносов»: «Премудрый глас сей Соломонов, / Монархия, сей глас есть Твой» (Ломоносов 1959: 795).

<sup>22</sup> *Сион* — это Российская империя, воздвигнутый Богом храм: царственность охраняет ее и является залогом ее цельности, поэтому природный хаос не может ей навредить (Николози 2009: 52). Ср. у Стефана Яворского в торжественном слове «Торжественной колесницы путь сугубый» (1706): «Блаженною ты и треблаженною нареку, тривенечная держава российская, *Сионе* <выделено мной — С. В.>, благочестием сияющий, храме, десницею вышняго Архитектора созданный, егда имаша во основании своем камня, — в первых убо камня Христа, на нем же верою православною утверждаеши; потом же *каменя именем и истинною Петра*, нынешняго всеавгустейшаго Монарха и всероссийскаго Повелителя, на нем же, аки на недвижимом камени, целость твоя пребывает неувредима» (Яворский 1874: 142). Здесь, конечно, «категориальный» или «главный» семантический компонент — 'благочестие'.

Голиафов» (это тоже библейский антропоним, но только подвергнутый семантической трансформации с помощью антономазии: *Голиафы*: ‘враги (в т. ч. нечестивцы, враги «истинной» веры — православия), недоброжелатели России»<sup>23</sup>). Ломоносов здесь уверенно следует описанным им самим риторическим канонам, так как в его «Кратком руководстве к Красноречию» в главе «Изобретение» (§ 29) при изобретении вторичных идей к первичной идее «сила» уравнием присоединяется вторичная «Сампсон, Геркулес» (Ломоносов 1952: 113, 114). И далее, в разделе «О тропах речений»: «Антономазия есть взаимная перемена имен собственных и нарицательных, что бывает, ... когда употребляется имя собственное вместо нарицательного, например: *Сампсон* или *Геркулес* вместо *сильного*» (Ломоносов 1952: 248).

10. Что касается библейских антропонимов в трактате преосвященного Стефана Яворского «Риторическая рука» (этот текст оставался в рукописи до конца XIX века), то они крайне немногочисленны: Яворский «допустил» в текст только пять БА: *Ирод*, *Лука*, *Матфей*, *Соломон* (в цитате), *Христос* и перифразу *Блаженная дева*: «в небо пророцы, и апостоли, и мученицы, и исповедницы, и благочестивии, и Блаженная Дева, и Христос, многими скорбми вниде» (Яворский 2003: 352). Это может быть объяснено, прежде всего, задачами самого текста — дать своеобразный дайджест риторики, представить краткий обзор ее основных положений: всю риторическую хитрость одной рукой объять — как пишет сам автор в «Предисловии» (Яворский 2003: 349), во-вторых, дидактической направленностью и гибридностью текста «Риторической руки», в частности, БА в нем мирно соседствуют с античными теонимами и мифоантропонимами (*Геркулес*, *Марс*, *Нептун*, *Овиш* ‘Юпитер’, *Паллада*, *Фазтон*, «*стоочитый Арюс*», т. е. Аргус), а также именами реальных исторических лиц. Даже в этом тексте,

---

<sup>23</sup> Таких антономазий в сочинениях преосвященного Стефана изобилие: (см., например, «Торжественной колесницы путь сугубый», 1706): «Что же возглаголю о вразех посторонних? Что о ярящихся и полку Бога жива поношающих Голиафах? Что о бесах полуденных? Что о зверях рыкающих? На вся сия идолы имать Россия камень, от горы небесныя данный, им же безстудное Голиафов и горделивое чело десница Вышняго может поразити» (Яворский 1874: 144).



написанном на латинском языке, как указывает В. И. Аннушкин, еще в 1698 году (Аннушкин 2003: 117), т. е. до «великоросского» периода деятельности Яворского, и в 1705 году переведенном на церковнославянский язык Ф. П. Поликарповым, уже есть первые, но заметные импульсы семантического изменения мифоантропонимов — стремление автора «приспособить» их для обозначения новых общественных реалий и ситуаций. Так, например, при описании фигуры попущения (снисхождения) появляется *российский Ираклий* — победитель не немейского, а шведского льва (Яворский 2003: 360), а в примере аллегии (иносказания) — *новый Нептун*, т. е. Петр I: «новаго ныне круг россияский ужасается и благоговеет Нептуна, сиречь тишайшего монарха нашего» (Яворский 2003: 355). Складывается впечатление, что либо сам автор, либо Ф. Поликарпов, известный нам как высокообразованный человек и опытный ритор, в процессе работы над церковнославянским переводом вносили в текст необходимые конъюнктурные правки, так как в разделе «О фигурах сентенциарум» упоминается *Нотрейбургский град и дерптовские стены* (Яворский 2003: 360), т. е. осада крепости Нотебург в 1702 году и крепости Дерпт в 1704 году. В связи с этим можно поставить вопрос о реальной роли Ф. Поликарпова в этом риторическом проекте: был ли он только переводчиком (и нужен ли он был именно как переводчик, ведь сам пресвященный Стефан прекрасно знал и латинский, и «славенский» языки) или он являлся своего рода редактором и «генератором креативных идей»?

**11. Выводы.** Отличительные черты торжественной ораторской прозы Стефана Яворского состоят не столько в использовании большого числа библейских антропонимов (это вполне типичная черта церковного красноречия первой трети XVIII века), по сравнению с которыми в значительно меньшей степени употребляются античные антропонимы и наименования реальных исторических лиц, сколько в стремлении придать им новые оттенки и звучание, переосмыслить их применительно к новым задачам, адаптировать к новой культурной ситуации. Яворский прилагает усилия, чтобы сохранить сакральность и величественность БА, и одновременно, совмещая традиционный и современный планы, встроить их в новую систему ценностей и отношений России первой четверти XVIII века.

Одним из ведущих приемов подобной «актуализации» или образно-метафорического переосмысления БА становится использование осложненных антономазией определительных конструкций с отэтнонимическим прилагательным, например: *шведский Голиаф, шведский Навуходonosор, российский Моисей, российский Ной, российский Сампсон, российский Авраам* ‘св. князь Владимир’, *российский Давид* ‘собирательный образ российского войска, возглавляемого царем Петром I и пр.: «О Давиде российский, льву свейскому сопротивоборче!» (Яворский 1874: 150). В числе определительных моделей с библейским антропонимом в панегирических сочинениях Яворского следует указать на активность традиционной оппозиции *христианский — бусурманский*, например, в проповеди «Моисей Российский», произнесенной Яворским перед Прутским походом Петра I (1711 г.): *бусурманский Голиаф* ‘турки’: «А что есть крест святыи? Есть жезл Моисейский, который ... Божиею помощию, введет нас в землю оную обетованную Палестинскую. Крест святыи есть палица Давидова на бусурманскаго Голиафа» (Яворский 18756: 139).

Не менее высокую продуктивность имеет семантическая модификация библейских антропонимов в определительных конструкциях со словом *второй* в значении ‘новый’, ‘современный’, ‘тот, который сейчас’ в контексте уподобления или сравнения: *второй Адам, второй Давид, второй Гавриил, второй Гедеон* ‘св. кн. Александр Невский’, *второй Давид, второй Иов, второй Илия, второй Иосиф, второй Иуда, второй Каин* ‘Мазепа’, *второй Сампсон* и мн. др., например: «Проображение мною быти то, еже о Давиде чтем, нашему случаю. Восхитив бо лев свейский природным си хищением от стада российскаго овцу едину, си есть, Ижорскую землю, Ливонскую провинциею обладаше неправедно, чуждим млеко питашеся, но не от своего стада, — волною одевашеся, но от овцы похищенныя: объемяше виноград, его же не посади ... Призре милосердным си оком Господь Бог на свой виноград, призре на свое стадо, о восхищении овец зело сетующее, воздвиге второго Давида <подчеркнуто мной — С. В. > на взыскание льва хищнаго овчате. О Давиде наш российский! Кто исповесть, коликие труды восприял еси, иский восхищеннаго» (Яворский 1874: 150) или в сравнении: «Воззрите ныне, иностраннии народи! на сие

благочестивое государство, обратите ныне зеницы ваша, и вперивше ум разсудите, какo второй Давид <подчеркнуто мной — С. В. >, непреодоленный, Благочестивейший Монарх наш, Всероссийский Император всегда враги своя побеждает, и всегда торжествует, от державы своя прогоняет» (Яворский 1804: 113).

Антономазия становится в текстах преосвященного Стефана эффективным средством переосмысления и семантического обновления библейских антропонимов. Например, в проповеди «Колесница четырехколесная, многоочитая, Иезекиилем пророком виденная» (1704 г.): «О коль изрядными были колесами онии вельможи, Амани под Артаксерксами, Сеяни под Траянами, Евтропии над Аркадиями, Велизарии под Юстинианами! Какую почесть у света, какую милость у своих царей те вельможи имели! каким благополучием изобиловали! Только что колесами были, а не многоочитыми: не имели очес на все стороны быстро зрительных: не имели предуведения, настоящая только смотрели, а не будущая ... И для того бедне погибоша» (Яворский 1805: 196).

Начав статью словами И. А. Чистовича: «У проповедника <Стефана Яворского — С. В. > есть свои любимые образы, к которым он постоянно обращается» (Чистович 1867: 416–417), — признаем, что у Стефана Яворского действительно находим ряд излюбленных образов и сюжетов, своеобразных «краеугольных камней», с помощью которых создается панегирический текст в принадлежащих вдохновенному перу Яворского торжественных словах, похвальных речах и панегирических проповедях. Число таких образов или, скорее, панегирических «формул», довольно велико, но все-таки не бесконечно. Это, прежде всего, как мы уже отмечали выше, поединок Давида и Голиафа, схватка Самсона со львом, исход еврейского народа из Египта, Моисей, переводящий еврейский народ через море (все это было подмечено уже В. М. Живовым (Живов 2002: 654)); мы бы добавили сюда Юдифь и Олоферна, Авраама и Иакова, праведного Товию и архангела Рафаила, победу Гедсона над мадианитянами, историю об Есфире, Мардохее, коварном Амани и справедливости царя Артаксеркса, таинственный сон царя Навуходоносора, а также нек. др. Как мы видим, библейские антропонимы в сочинениях Стефана Яворского не только аккумулируют в своей семантике сакральное

содержание, но и «заряжаются» опытом употребления в новых контекстах, накапливают новые ассоциативные связи. Благодаря этому, библейские антропонимы немного позднее охотно переселяются из духовного в светское красноречие и «с огоньком» воспринимаются светскими панегирическими жанрами, и прежде всего — высоким одическим красноречием.

### Источники

1. Державин I, II, III — *Державин Г. Р.* Сочинения с объяснительными примечаниями Я. Грота: в 9 т. СПб., 1864–1883. Т. 1. 1864. Т. 2. 1865. Т. 3. 1866.
2. Ломоносов 1952 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950–1983. Т. VII: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л., 1952.
3. Ломоносов 1959 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950–1983. Т. VIII: Поэзия, ораторская проза, надписи 1732–1764. М.; Л., 1959.
4. Петров 2016 — *Петров В. П.* Оды; Письма в стихах; Разные стихотворения / Василий Петров; выбор [и вступ. ст.] Максима Амелина. М., 2016.
5. Прокопович 1760 — *Феофан (Прокопович).* Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. Часть I. СПб., 1760.
6. Прокопович 1761 — *Феофан (Прокопович).* Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные собранные и некоторые вторым тиснением, а другие вновь напечатанные. Часть 2. СПб., 1761.
7. Сумароков 1787 — *Сумароков А. П.* IV Олимпийская ода Пиндара // Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. Изд. 2-е. Часть 2. М., 1787. С. 193–194.
8. Сумароков 2009 — *Сумароков А. П.* Оды торжественныя. Елегии любовныя / издание подготовил Р. Вроон. М., 2009.
9. Тредиаковский 1963 — *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.; Л., 1963. (Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание)
10. Яворский 1804 — *Стефан (Яворский).* Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворскаго, преосвященнаго митрополита Рязанскаго и Муромскаго, бывшаго местоблюстителя престола патриашаго высоким учением знаменитаго, и ревностию по благочестии преславнаго. Ч. 1–2. М., 1804.
11. Яворский 1805 — *Стефан (Яворский).* Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворскаго, преосвященнаго митрополита Рязанскаго и Муромскаго, бывшаго местоблюстителя престола патриашаго высоким

- учением знаменитого, и ревностию по благочестии преславного. Ч. 3. М., 1805.
12. Яворский 1874–1875 — *Стефан (Яворский)*. Три сени, от Петра святого созданныя, проповедническим художеством в похвалу Всепресветлейшаго Монарха Петра перваго, Самодержца Всероссийскаго показанныя чрез преосвященнаго Стефана, митрополита Рязанскаго и Муромскаго всенародне в С. — Петербурге 1708 года месяца мая отъ ниже: I) Первая сень Христу Спасителю нашему, яже есть церковь святая, в торжественный день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небеса проповеданная // Труды Киевской духовной академии. 1874. № 4. С. 505–520; II) Сень вторая, Моисею от Петра созданная, яже есть флот морской, в неделю первую по сошествии Святаго Духа // Труды Киевской духовной академии. 1875. № 1. С. 118–128; III) Третья сень, от Петра Илии созданная, яже есть армия сухопутная, июня 29 дня проповеданная // Труды Киевской духовной академии. 1875. № 3. С. 631–647.
  13. Яворский 1874 — *Стефан (Яворский)*. Торжественной колесницы путь сугубый: наследие и взыскание, пред всем Сенатом российским словом проповедническим показанный лета Господня 1706, генваря 1-го дня. Проповедася Преосвященным Стефаном, митрополитом рязанским и муромским // Труды Киевской духовной академии. 1874. Т. 4. Октябрь. С. 123–154.
  14. Яворский 1875а — *Стефан (Яворский)*. Рука Христова, Петру простираемая, си есть, Собственное пособие Петру Первому, пресветлейшему Монарху Всероссийскому во одолении неприятелей, похвальным словом всенародне за торжественную над шведами победу под Полтавою, в лето 1709 июня в 27 день восприятую, явленна тогож лета июля в 14 день в Москве, по получении веселыя весты от Полтавы, в соборном Успенском храме преосвященным Стефаном Рязанским и Муромским проповеданная // Труды Киевской духовной академии. 1875. № 3. С. 486–505.
  15. Яворский 1875б — *Стефан (Яворский)*. Моисей Российский к освобождению людей христианских от работы египетския-турецкия Богом избранный, си есть, Всепресветлейший Монарх Всероссийский Петр Первый, по разрушении турками мира, на тех же турков праведную войну воздвигающий, проповедию всенародне в церкви Успенской соборной чрез Преосвященнаго Стефана, митрополита Рязанскаго и Муромскаго, в Москве явленный, 1711 года, февраля 25 дня // Труды Киевской духовной академии. 1875. Т. 9. С. 124–145.
  16. Яворский 1875в — *Стефан (Яворский)*. Камень, идола Навуходоносорова сокрушивший, т. е. Петр первый, Император Всероссийский,

- шведского короля со всем воинством под Полтавою лета Господня 1709, июня 27-го, преславно победивший // Труды Киевской духовной академии. 1875. Т. 3. № 9. С. 463–492.
17. Яворский 1877 — *Стефан (Яворский)*. Слово на воспоминание торжественных виктории Полтавския. Лета 1716 году июня 27 в Санкт-Петербурге // Труды Киевской духовной академии. 1877. Т. 2. С. 123–142.
  18. Яворский 2003 — *Стефан (Яворский)*. Риторическая рука (перевод Феодора Поликарпова, 1705) // Аннушкин В. И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003. С. 348–367.
  19. Яворский 2014 — *Стефан (Яворский)*. Сочинения / публ., вступ. статья, словарь терминов и указ. имен Н. Н. Бородкиной. Саратов, 2014.
  20. Яворский 2015 — *Стефан (Яворский)*. Похвальные и торжественные слова, переписка / публ., вступ. ст., словарь терминов и указ. имен Н. Н. Бородкиной. Саратов, 2015.

## Литература

1. Аннушкин 2003 — *Аннушкин В. И.* Русская риторика: исторический аспект. М., 2003.
2. Белокуров 1863 — *Никодим (Белокуров Н. П.)*. Неизданные проповеди местоблжженного патриаршего престола, рязанского митрополита Стефана Яворского // Прибавление к творениям Святых отцов. 1863. Том 2. № 22. С. 249–270.
3. Бородкина 2013 — *Бородкина Н. Н.* Петровская эпоха в церковной публицистике начала XVIII века. Хрестоматия. Саратов, 2013.
4. Бухаркин 2009 — *Бухаркин П. Е.* Феофан Прокопович и духовно-интеллектуальные движения Петровской эпохи // Христианское чтение. 2009. № 9–10. С. 100–121.
5. Бухаркин 2010 — *Бухаркин П. Е.* Торжественное красноречие петровской эпохи: барочное слово между Церковью и Империей // Оказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века / под ред. П. Е. Бухаркина, У. Екуч, Н. Д. Кочетковой. СПб., 2010. С. 19–32.
6. Введенский 1912 — *Введенский С. Н.* К биографии митрополита Стефана Яворского // Христианское чтение. 1912. № 7–8. С. 892–919.
7. Верещагин 1993 — *Верещагин Е. М.* Библейская стихия русского языка // Русская речь. 1993. № 1. С. 90 — 98.
8. Войнова 1977 — *Войнова Л. А.* Функционально-семантические особенности мифологических собственных имен и показ их в историческом словаре XVIII в. // Проблемы исторической лексикографии. / отв. ред. Ю. С. Сорокин. Л., 1977. С. 121–129.

9. Гринберг, Успенский 2001 — *Гринберг М. С., Успенский Б. А.* Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х — начале 1750-х годов. М., 2001.
10. Евгений 1818 — *Евгений (Болховитинов).* Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина, грекороссийския церкви. СПб., 1818.
11. Живов 2002 — *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.
12. Живов 2004 — *Живов В. М.* Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М., 2004.
13. Живов 2017 — *Живов В. М.* История языка русской письменности: в 2 т. М., 2017.
14. Зубов 2001 — *Зубов В. П.* Русские проповедники. Очерки по истории русской проповеди. М., 2001.
15. Кагарлицкий 1997 — *Кагарлицкий Ю. В.* Текст Св. Писания в проповедях Ф. Прокоповича // Изв. РАН. Серия языка и литературы. 1997. Т. 56. № 5. С. 39–48.
16. Киселева 2011 — *Киселева М.* Имперские темы в барочных проповедях Стефана Яворского: «Царство как колесница четырехколесная» // Киселева М. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011. С. 342–359.
17. Кочегаров 2016 — *Кочегаров К. А.* Неизвестное письмо патриаршего местоблюстителя Стефана Яворского гетману И. С. Мазепе // Славянский альманах. 2016. № 3–4. С. 412–425.
18. Кочеткова 1974 — *Кочеткова Н. Д.* Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век. Сб. IX: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974. С. 50–80.
19. Крашенинникова 2015 — *Крашенинникова О. А.* Неизвестная проповедь Стефана Яворского о российском гербе // Культурное наследие России. 2015. № 2. С. 29 — 38.
20. Матвеев 2009 — *Матвеев Е. М.* Русская ораторская проза середины XVIII века: (Панегирик в светской и духовной литературе). СПб., 2009.
21. Матвеев 2007 — *Матвеев Е. М.* Церковный панегирик в русской ораторской прозе середины XVIII века // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Серия 9. Вып. 2. Часть II. С. 35–41.
22. Митина 2000 — *Митина Ю. В.* Лексика с религиозной семантикой и ее стилистические функции в житийных памятниках XV века: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2000.

23. Мокиенко 2017 — *Мокиенко В. М.* Библизмы в современной русской речи. М., 2017.
24. Морозов 1971 — *Морозов А. А.* Метафора и аллегория у Стефана Яворского // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971. С. 35–44.
25. Морозов 1880 — *Морозов П. (О.)* Феофан Прокопович как писатель. Очерк из истории русской литературы в эпоху преобразования. СПб., 1880.
26. Москвин 2007 — *Москвин В. П.* Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры: Терминологический словарь. М., 2007.
27. Николаев 1996 — *Николаев С. И.* Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996.
28. Николаев 2010 — *Николаев С. И.* Семен Иванович Яворский // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. СПб., 2010. С. 456–458.
29. Николози 2009 — *Николози Р.* Петербургский панегирик XVIII века. М., 2009.
30. Панегирическая литература петровского времени 1979 — Панегирическая литература петровского времени. М., 1979.
31. Пекарский 1862 — *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 2: Описание славяно-русских книг и типографий 1698–1725 гг. СПб., 1862.
32. Саломатова 2014 — *Саломатова О. В.* Антропонимы небиблейского происхождения в проповедях Стефана Яворского // Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16). С. 116 — 121.
33. Самарин 1844 — *Самарин Ю. Ф.* Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. М., 1844.
34. Самарин 1880 — *Самарин Ю. Ф.* Сочинения Ю. Ф. Самарина. Том 5. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. М., 1880.
35. Славянские древности 1999 — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / под ред. акад. Н. И. Толстого. Т. 2. М., 1999.
36. СлРЯХVIII — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–6. Л., 1984–1991. Вып. 7–22. СПб., 1992–2019 (издание продолжается).
37. Сморжевских-Смирнова 2013 — *Сморжевских-Смирнова М.* Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи. Таллин, 2013.
38. Солосин 1913 — *Солосин И. И.* Отражение языка и образов Св. Писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова // Известия ОРЯС. 1913. Т. 18. Кн. 2. С. 238–293.



39. Терновский 1864 — *Терновский Ф. А. М. Стефан Яворский* (Биографический очерк) // Труды Киевской духовной академии. 1864. Т. 1. С. 36–70, 237–290.
40. Терновский 1879 — *Терновский Ф. А. Очерки из истории русской иерархии в XVIII веке: Стефан Яворский* // Древняя и новая Россия. Год 5 (1879). Т. 2. № 8. С. 305–320.
41. Хазагеров 2009 — *Хазагеров Г. Г. Риторический словарь*. М., 2009.
42. Харлампович 1914 — *Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь*. Том 1. Казань, 1914.
43. Хондзинский 2011 — *Хондзинский П. Митрополит Стефан Яворский и архиепископ Феофан Прокопович (по следам диссертации Ю. Ф. Самарина)*. СПб., 2011.
44. Чистович 1867 — *Чистович И. А. Неизданные проповеди Стефана Яворского* // Христианское чтение. 1867. № 1–2. С. 259–279.
45. Чистович 1868 — *Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время*. СПб., 1868.
46. Шарихина 2021 — Шарихина М. Г. Устойчивое сочетание *умные очи* и его синонимы в русском языке XVIII века (на материале текстов М. В. Ломоносова) // Славянская историческая лексикология и лексикография. 2021. Вып. 4. С. 98–104. DOI: 10.30842/26583755202198104
47. Šerech 1951 — *Šerech Jurij. Stefan Yavorsky and the Conflict of Ideologies in the Age of Peter the Great* // The Slavonic and East European Review. 1951. Vol. 30. № 74. P. 40–62.

**УПОТРЕБЛЕНИЕ АНТИЧНЫХ ИМЕН  
В ПРОЗАИЧЕСКОМ ПАНЕГИРИКЕ  
НАЧАЛА XVIII ВЕКА**

---

---

Наследие античности, как известно, имело для становления русской культуры в начале XVIII в. исключительное значение. Усвоение литературы, истории и мифологии Древней Греции и Рима позволило открыть России путь в семью европейских культур, объединенных идеалом античного искусства как внеположенной по отношению к конкретной нации ценностью. Парадоксально при этом, что трансляторами античного наследия (в том числе — греко-римского язычества) в России первой трети XVIII в. стали деятели православной церкви с западнорусских земель.

В исследованиях, посвященных восприятию античности в России раннего Нового времени, неоднократно выдвигался тезис о стихийном усвоении античного наследия через западноевропейское посредство в Петровскую эпоху. Характеризуя подобный микс, прежде всего языковой, В. М. Живов использует понятие «петровский пул»: «Те элементы, которые ранее были распределены по разным письменным традициям (по разным регистрам письменного языка), теперь оказываются сваленными в одну кучу, которую я, в перспективе дальнейшего развития, предпочитаю называть “петровским пулом”» (Живов 2002: 7). Как видится, данный термин может быть использован не только в сугубо лингвистическом смысле, но и для описания культуры этой эпохи в целом. Кроме того, В. М. Живов и Б. А. Успенский выдвигают тезис о том, что основными проводниками античной культуры на раннем этапе Нового времени в России были представители духовного сословия, а именно — носители барочной культуры западнорусских

земель: «неограниченное употребление мифологических образов и свободное смешение христианских и мифологических элементов характеризует именно духовную культуру <...> Поскольку для барокко характерно смешение христианских и мифологических элементов, это смешение оказывается принятым в духовной культуре» (Живов, Успенский 2002: 485).

Действительно, роль античных образов и сюжетов в произведениях церковных авторов неоспорима. Как показало наше предыдущее исследование, в абсолютном большинстве случаев использование античных и библейских антропонимов обусловлено стремлением провести аналогии между современными автору историческими событиями и сюжетами из древней истории и мифологии (Трофимов 2019: 8). На раннем этапе своего творчества авторы начала XVIII в. смешивают античные образы с сюжетами и персонажами из библейской истории и мифологии. Мифологические сюжеты, образы и имена выполняли в панегириках функцию риторических прикладов — примеров, с которыми автор сопоставлял образ современности, как, например, Феофан Прокопович при характеристике Петра I в «Слове похвальном о преславной над войсками свейскими победе» (1709 г.): «Не великий победитель Домитиан, о нем же повествуют, яко мухи убивати обыкляше; великий же — Самсон, иже льва растерза, великий, аще истинный, Иракий, иже многия неукротимыя зверы и змия седьмоглавнаго умертви» (Прокопович 1961: 24). Здесь истинный герой (Геракл) противопоставлен ложному (Домициану), однако по функции своей античный Геракл сопоставлен с библейским Самсоном. Оба героя, согласно мифологической традиции, участвуют в поединке со львом, который, в контексте обстоятельств написания панегирика, становится аллегорией Швеции. Схожую стратегию избирает и Стефан Яворский в сочинении «Колесница торжественная» (1703 г.) при описании годовичного цикла: «Хвалю я сию звездочетцов мудрость, что время жатвенное львом изобразили, и по их разумению без льва жатва быти не может. А о Марсовой победительной что возглаголем жатве: о воистинну без льва Марсовой быти несть мощно! <...> Христос Спаситель наш различная даючи подобия царствию небесному, уподобил его зерну горчичному, у Матфея святаго в гл. 13. Подобно, рече, есть царствие

небесное зерну горчичному, егоже взем человек вся на селе своем, еже малейшее есть всех семян, егда же возрасте, болший всех селий есть, и бывает древо, яко приити птицам небесным и витати на ветвех его» (Яворский 1702–1716: 35). В этом контексте античное имя Марса органично вписывается в контекст христианской проповеди и соседствует с именем Иисуса Христа. Заслуживают внимания также те случаи упоминания античных имен, когда проповедник апеллирует к античному автору как к авторитетному источнику. Приведем в качестве примера другой фрагмент из «Колесницы торжественной», где Стефан Яворский уравнивает Библию и труды римского историка Аммиана Марцеллина, считая оба источника исторически достоверными: «Читайте о том Историю Аммиана Маркеллина в книзе 16: тожде и в писаниях Божественных видим, егда преславнаго мира победителя Илию Фесвитянина огненною небо прият колесницею» (Яворский 1702–1716: 31). Историческим источником для Феофана Прокоповича служит «Энеида» Вергилия: «Повествует славный стихотворей римский Вергилий, яко, егда греки пленяху и раздрушаху град Трою, неции от троянов, побивше шедшихся со собою некия воя греческия, броня их и щити на себе возложиша и, таковым покровенным суще видом, многих инных супостатов нечаянно побиваху; мняху бо тыи, яко свои суть, и без опаства схождахуся» (Прокопович 1961: 27).

В рамках настоящей статьи стоит обратить внимание также на следующий тезис Живова и Успенского. Исследователи считали, что в истории восприятия античности в России XVIII в. необходимо противопоставлять авторов светского и духовного сословий. В цитируемой выше работе приведены неоспоримые факты, доказывающие, что церковная среда, наследующая традиции восточнославянского барокко, сохраняла привязанность к античной культуре, в то время как среди светских писателей начала распространяться неприязнь к античности. Происходило это под влиянием эстетики классицизма, однако принимало вид отрицания язычества. Например, В. К. Третьяков в «Эпистоле от Российской поэзии к Аполлину» четко разграничивает греческий пантеон и христианскую веру, уточняя, что мир античных богов принадлежит в XVIII в. исключительно сфере поэтического вымысла: «Эпистолу мою пишет стихотворчество, или поэзия российская,

к Аполлину, вымышленному богу стихотворства. Но чтоб кому имя сие не дало соблазна, того ради я объявляю, что чрез Аполлина должно здесь разуметь желание сердечное, которое я имею, чтоб и в России развелась наука стихотворная, чрез которую многие народы пришли в высокую славу. А в прочем все в ней как ни написано, то по-стихотворчески написано, что искусные люди довольно знают; и для того ревнующим нам по благочестию христианам нет тут никакого повода к соблазну» (Живов, Успенский 2002: 490).

Тезисы Живова и Успенского распространяются, в первую очередь, на литературную ситуацию в России середины и конца XVIII в. и, действительно, подтверждаются избранным исследователями материалом. Вместе с тем, анализ как последующих сочинений Феофана Прокоповича, так и панегириков других духовных авторов начала века — Петровской эпохи — демонстрирует, что в их произведениях античное и библейско-христианское оказываются резко противопоставленными друг другу. Приведем несколько примечательных, на наш взгляд, отрывков из прозаических панегириков о Полтавской победе конца 1710-х гг.: «Буди нам не в пример древний еллинских и римских и протчих славолюбивых людей обычай, которые великим иждивением сооружали столпы, и врата, и обелиски, и пирамиды, и иныя тропеи, или победоносныя знаменья, еже бы в них оставити неумирающую славных дел своих память последним веком. <...> Буди не в образец нам, яко христианом, и вышшей и не суетной небесной бо славе простирающымся, не в образец, не в приклад нам, глаголю, буди обычай язык славы истинныя не познавших» («Слово похвальное о баталии Полтавской» Феофана Прокоповича, 1717 г.); «Не воспоминаем во утверждение сего слова мирских витий оных Цицеронов, Димосфенов, Овидиев, Виргилиев, разогнем книгу оную пророчеств, углем от <предела — ?> славы Божия очищагося пророка Исаяи, его же красноречие премудрых его слов познавается...» («Слово на воспоминание торжественныя виктории Полтавския» Стефана Яворского, 1716 г.); «...да хвалят инии богов своих жертвами и кадилы, мы же с великим учителем языков боговдохновенным Павлом апостолом восклицаем: Богу благодарение, давшему нам победу Господем нашим Иисус Христом!» («Слово

благодарственное Богу Триипостасному...» Гавриила Бужинского, 1719 г.).

Для полноты картины объединим в таблице ряд текстов, посвященных светским событиям — военным победам первой трети XVIII в.: «Колесница торжественная многоочитая, четырьмя животными движима, от Иезекииля Пророка виденная...» Стефана Яворского 1703 г., «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе...» Феофана Прокоповича 1709 г., «Слово на воспоминание торжественныя виктории Полтавския...» Стефана Яворского 1716 г., «Слово похвальное о баталии Полтавской» Феофана Прокоповича 1717 г., «Слово благодарственное Богу Триипостасному о полученной победе над Каролом, королем шведским, и войски его под Полтавою» Гавриила Бужинского 1719 г., «Слово похвальное о флоте российском» Феофана Прокоповича 1720 г., «Слово о победе, полученной у Ангута, егда галеры российския взяли фрегат шведский и несколько ботов» Гавриила Бужинского 1720 г. и «Слово о победе, полученной у Ангута галерами» Гавриила Бужинского 1726 г. (далее для удобства будут указываться только имя автора и год написания панегирика). В таблице приведем некоторые статистические данные, в которых покажем, насколько часто анализируемые авторы обращаются к античным именам и сюжетам и с какой оценочной коннотацией они используются (в тех случаях, когда оценка в тексте выражена; положительная оценка обозначена знаком +, отрицательная — знаком -). Имена, употребляющиеся в одном смысловом ряду, помещены в одну ячейку таблицы.

Опуская большую часть упоминаний античных имен, приведем лишь ряд примечательных, на наш взгляд, фрагментов из представленных панегириков — из «Слова на воспоминание торжественныя виктории Полтавския» Стефана Яворского, «Слова похвального о баталии Полтавской» Феофана Прокоповича и «Слова благодарственного Богу Триипостасному» Гавриила Бужинского.

Стефан Яворский в «Слове на воспоминание торжественныя виктории Полтавския» пишет: «Не воспоминаем во утверждение сего слова мирских витий оных Цицеронов, Димосфенов, Овидиев, Виргилиев, разогнем книгу оную пророчеств, углем от <предела — ?> славы Божия очищагося пророка Исайи, его же

Автор, произведение (год создания)	Стефан Яворский (1703 г.)	Феофан Прокопович (1709 г.)	Стефан Яворский (1716 г.)	Феофан Прокопович (1717 г.)	Гавриил Бужинский (1719 г.)	Феофан Прокопович (1720 г.)	Гавриил Бужинский (1720 г.)	Гавриил Бужинский (1726 г.)
Имена	Навуходоносор, Дарий, Александр Македонский, Юлий Цезарь (-)	Домитиан (-)	Цицерон, Демосфен, Овидий, Вергилий (-)	Фабриций и Пирр (-)	Гален (+)	Квинт и Фабриций (+)	Марс, Беллона (-)	Агамемнон, Ифигения, Улисс, Пеламп, Калхант, Аякс, Менелай
	Аммиян Марцеллин (+)	Вергилий (+)	Симонид Кеосский и Гиерон Сиракузский	Александр Македонский, Бесс, Набарзан и Дарий (-)		Тантал (-)	Геракл, Ахиллес (-)	
	Александр Македонский (+)	Ганнибал (+)	Юлий Цезарь (-)			Геракл (-)	Нептун	
	Марс (+)	Геракл (+)				Марк Аврелий (+)	Октавиан, Тит, Веспасиан, Каракала, Пертинакс, Септимий Север	
	Август (+)	Марс (+)						
	Сенека (+)							
	Геракл (+)							
	Александр Македонский, Филипп Македонский (-)							

красноречие премудрых его слов познавается...». Здесь имена античных авторов маркируют если не язычество, то сферу профанного, которая постулируется как неприемлемая для христианского оратора. В том же произведении читаем следующее: «Вопросил некогда Иерон король сицилийский преславного в тья времена философа Симонида, свидетельствует Цицерон: что есть Бог, понеже толика дивная о Нем повествует; философ на разсуждение и ко удобнейшему ответу испросил себе един день глаголя: ответ дам после дня единого, прешедшу день едином паки вопрошен отвеща яко еще немогл познати, два дни паки испросил, после двох дней егда вопрошаше его Иерон, три дни испросил; тым прешедшим четыре дни, после оных пять...». В данном контексте демонстрируется неспособность античного философа, по мысли Стефана Яворского, познать сущность Бога, что имплицитно делает его ущербным по сравнению с христианскими мыслителями.

Феофан Прокопович в «Слове похвальном о баталии Полтавской» выражает схожую точку зрения: «Неприятель наш начался одним своим замахом все дело совершити, начался силу российскую в малом времени испразднити, начался скоро величавое оное Иулия кесаря воспети торжество: “приидох, видех, победих”». В этом контексте знаменитые слова Юлиа Цезаря как бы присваиваются вероломным врагом, что, снова, придает деятелю римской истории отрицательную коннотацию. В том же слове читаем: «Слышал еси в историях, как Фабриций, вожд римский, поступил на войне с Пирром, царем Епиротским? Когда прибег к нему изменник от Пирра, обещаая, что может погубити государя своего, Фабриций его отослал к Пирру, за студ себе имея так побеждати неприятеля. Слышал ли еси о Александре Великом, как отверг послество Бесса и Набарзана, Дариевых изменников, которые ему Дария предати обещаали? Самих же, по том убивших государя своего, смерти предаде». Эпизоды истории Пунической войны и Восточных походов Александра Македонского привлекаются Феофаном с целью показать измену и предательство (в самой проповеди Феофана Прокоповича они упоминаются в связи с предательством Мазепы).

Отметим необычный контекст употребления античного имени в проповеди Гавриила Бужинского «Слово благодарственное



Богу Триипостасному»: «Что древний оный и преславный начальник врачей Гален, рассуждая предивно устроенную систему тела человеческого, с великим удивлением изрече: да хвалят инии богов своих жертвами и кадилы, аз же такового странного дела Творца восхваляю рассуждением и удивлением» (Бужинский 1901: 322). На первый взгляд кажется, что отношение оратора к античности в данном панегирике исключительно положительное, однако, во-первых, это единственный случай обращения к античности в данном панегирике, во-вторых, сам образ Галена, как кажется, трактуется скорее в христианском ключе — как человека, сделавшего первый шаг на пути к познанию Единого Творца. Для доказательства отрицательного отношения к античности в поздних текстах Гавриила приведем выдержку из другого панегирика, не на полтавскую тему, но объединенного с предыдущими общей военной тематикой — из «Слова о победе, полученной у Ангута» (1719 г.): «Не наречем, еллинским последующе обикновения побед и торжеств отцем Марса или материю Беллону, ихже тамо именовашу неверствующи, мы простым именем, но истинным, якоже всякому известно, всех викторий и триумфов матер и вину правильную, праведную и законную бран или обще войну именовати обыкохом» (Бужинский 1901: 338). Подобно Стефану Яворскому и Феофану Прокоповичу, Гавриил Бужинский при упоминании античных имен (в данном контексте — имена богов) реализует противопоставление «античная вера (ложь) — христианство (истина)».

Положительной оценкой наделены римские диктаторы Квинт и Фабриций<sup>1</sup> в позднем панегирике Феофана Прокоповича 1720 г.: «А где уже онии римский Квинтии и Фабрикии, которым удивляются историки, что, бывше на время диктаторы, не возгнушались паки трудиться в земледелии?» (Прокопович 1961: 106). В этой цитате римские политические деятели приведены в качестве аналогии для Петра, не чуждавшегося ручного труда. Положительно оценивает автор панегирика также римского императора Марка Аврелия, ставя его в один ряд с правителями христианской Европы

---

<sup>1</sup> Вероятно, имеются в виду военачальник и консул Квинт Фабий Максим Кунктатор (ум. 203 г. до н. э.) и консул Гай Фабриций Лусцин (ок. 313 — после 275 гг. до н. э.).

при проведении аналогий удачной морской битвы при плохих погодных условиях: «И большую zde видим милость Господню, нежели где провиденция ветры на помощь посылала. Помогли тучы Марку Антонину на Немцов; пособили ветры Феодосию Великому на Евгения; послужила буря Елисаветы британской на испанов» (Прокопович 1961: 111). (Вероятно, здесь передается сюжет из истории Маркоманской войны 166–180 гг., установить точный источник сюжета в рамках настоящей статьи мы не беремся.) Марк Аврелий Антонин (121–180 гг.) известен как добродетельный император-философ и, видимо, по мысли Феофана Прокоповича, достоин того, чтобы служить исторической параллелью Петру I.

Заслуживает внимания двоякое отношение панегирических авторов к Александру Македонскому. В следующем фрагменте из цитированного выше панегирика Стефана Яворского 1703 г. имя греческого полководца упоминается в одном ряду с именами Навуходоносора, Дария и Юлия Цезаря: «Читайте и изследуйте все книги так писаний Божественных, яко и мирских историй, не вем аще где обрящете велико имя, великое титло, без страдания, без терпения, без крове. Первоначальнии четыре Монархи: Ассирийский Навуходоносор, Персидский Дарий, Греческий Александр Великий, Римский Юлий, всех тех высокие титлы бяху не без крове» (Яворский 1702–1716: 29). Здесь констатируется факт, что большинство древних правителей добивались своего положения и расширяли империю путем кровопролития. Ясно, что такое сравнение не делает чести Александру Македонскому. В то же время имя полководца возникает в следующем фрагменте: «Сие знамение орлеа дедичное и родственное есть высокой Царской Монархов наших Российских породе. Родится великий Александр, а орел сидит на царских габинетах или полатах» (Яворский 1702–1716: 30). Сравнение с российскими монархами, разумеется, наделяет имя Александра Македонского положительной коннотацией. Тем не менее отрицательная коннотация не пропадает и вновь всплывает при третьем употреблении этого имени в панегирике: «А о величавом Ироде что глаголют деяния Апостольския в главе 12: в нарочит же день оболкся Ирод во одежду царску, и сед на судищи пред народом, с гордостью глаголаше к ним, народ же возглашаше: глас Божий, а не человек, и внезапно порази его Ангел Господен:

зане не даде славу Богу. Таково же безумие помрачи ум и Александру Великому, иже быти себе сыном не Филиппа, но Иовиша Бога Еллинска глаголаше, и солнце братом своим, луну же сестрою нарицаше» (Яворский 1702–1716: 34). В этом отрывке сравнение с Иродом по признаку гордости вновь очерняет имя Александра Македонского. Для полноты сравнения приведем фрагмент из панегирика Феофана Прокоповича 1717 г., в котором также фигурирует имя полководца: «Слышал ли еси о Александре Великом, как отвергл посольство Бесса и Набарзана, Дариевых изменников, которые ему Дария предати обещали?» (Прокопович 1961: 57–58). Здесь, при упоминании сюжета из истории Восточных походов, фигура греческого правителя наделяется честью и благородством, поскольку тот отверг государственных изменников, несмотря на возможность повернуть ход войны в свою пользу. Таким образом, можно констатировать, что за конкретным именем не всегда закрепляется однозначная коннотация, что наблюдается даже в пределах одного произведения.

Особняком стоят в анализируемых произведениях имена античных богов. Их употребление отличается от употребления имен исторических и других мифологических персонажей преимущественно тем, что имена богов прочно вошли в панегирические тексты на уровне фразеологии и практически не выделяются в самостоятельные сюжеты. Приведем ряд упоминаний имени Марса в панегирике Стефана Яворского 1703 г.: «Хвалю я сию звездочетцов мудрость, что время жатвенное львом изобразили, и по их разумению без льва жатва быти не может. А о *Марсовой* (здесь и далее курсив мой — А. Т.) победительной что возглаголем жатве: о воистинну без льва *Марсовой* быти несть мощно! Свидетельствуйте истинне вы все, которые духом *Марсовым* дышаете, непреодоления кавалери Российстии! Может ли жатва ваша победительна быти без льва, без мужества. Орете мужественнии воины мечем аки ралом, по шиях неприятельских аки по нивах мещете семена трудов ваших, кровавыми дождями орошаете *Марсовую* ниву, а победоносная жатва под таким знаменем созревает» (Яворский 1702–1716: 35); «Досталось сие зерно в руки добрых земледельцов, Монархов Российских, начнут добре орати железом *Марсовым*, начнут нивы Казанския, Астраханския, Сибирския мечем управлять, многотрудным потом и кровоточными дождями орошати

и омакивати» (Яворский 1702–1716: 35); «Простите ми прехрабрии воины, что вас тельцами нареку, а тельцами не простыми, но херувимское имя от Иезекииля Пророка имущими, колесницу движущими, от Христа не отступающими, но дыханием своим *Марсовым* онаго согревающими» (Яворский 1702–1716: 36); «Жилище их могила, кровля небо распростертое, надгробное пение, *Марсова* музыка, самых слез над собою не имели: ничто же бо достойно слез сотворили» (Яворский 1702–1716: 37). Как можно заметить, во всех случаях имя божества войны являются частью более крупных фразеологических единиц: «Марсова жатва», «Марсов дух», «Марсова нива», «Марсово железо», «Марсово дыхание», «Марсова музыка». Сугубо фразеологическое значение имя Марса имеет также в панегирике Феофана Прокоповича 1709 г.: «Не тожде ли вси народи славяху и о побежденном ныне супостате нашем? Кто не отъяти ему из рук оружия, но издалече на меч его возрети дерзну? Твой же Марс, о монархо всероссийский, мужественне того из рук ему исторже» (Прокопович 1961: 33–34). Здесь Марс предстает скорее как синоним военной силы, сюжеты античной мифологии с его участием также отходят на второй план. В то же время вполне зрим и персонифицирован этот образ наравне с древнеримской богиней войны и подземного мира Беллоной в панегирике Гавриила Бужинского: «Не наречем, еллинским последующе обикновениям, побед и торжеств отцем Марса онаго или материю Беллону, ихже тамо именовашу неверующии, мы простым именем, но истинным, якоже всякому известно, всехъ викторий и триумфов мать и вину правильную, праведную и законную брань или обще войну именовати обыкохом» (Бужинский 1901: 338). Отметим, что в данном контексте конкретность мифологических отсылок при упоминании имен богов необходима для дискредитации их статуса в глазах православного реципиента. Однако в этом же произведении совершенно фразеологично упоминание имени Нептуна при описании сражения на Балтийском море: «Изыйде флот российский малый; сей флот, помощью Божию огражден, скоро на Балтийском море распростерл своя паруси, скоро Нептуново покорял владение, абие победоносныя процветоша лявры» (Бужинский 1901: 352).

Подводя итоги, следует оговорить, что далеко не все случаи употребления имен позволяют дать однозначную оценку тому или иному античному образу. Иногда одни античные герои предстают нейтральными или наделенными как положительными, так и отрицательными чертами (в таблице имена таких героев не сопровождаются знаками + или -). Таковы, к примеру, царь Гиерон Сиракузский и философ Симонид Кеосский из панегирика Стефана Яворского 1716 г.: «Вопросил некогда Иерон король сикилийский преславнаго в тыя времена философа Симонида, свидетельствует Цицерон; что есть Бог, понеже толика дивная о Нем повестует; философ на разсуждение и ко удобнейшему ответу испросил себе един день, глаголя: ответ дам после дня единого, прешедшу дне единому паки вопрошен: отвеща яко еже немогл познати, два дни паки испросил, после двох дней егда вопрошаше его Иерон, три дни испросил; тым прешедшим четыре дни, после оных пять, и тако поступая даде напоследок сицевый даде ответ» (Яворский 1702–1716: 186). В этом фрагменте дать однозначную оценку Гиерону Сиракузскому трудно, а образ философа, с одной стороны, дискредитируется в связи с его (язычника) невозможностью дать ответ о сущности христианского Бога, с другой — за философом остается его почтенный статус.

В целом, как можно заметить, с течением времени (от первого десятилетия XVIII в. ко второму) авторы начинают проводить более отчетливую идеологическую грань между античным язычеством и христианством. В поздних панегириках, во-первых, резко сокращается число упоминаний античных героев (пропорционально которым увеличивается количество реально-исторических и библейских имен, что не отражено в таблице), во-вторых, сравнения с героями античности сопровождают сюжеты с негативной коннотацией. Так, у Феофана Прокоповича имя Юлия Цезаря вспоминается в связи с рассуждением о военной дерзости Карла, а для характеристики темы предательства привлекаются античные сюжеты о восточных походах Александра Македонского и Пирровой войны. Стефан Яворский противопоставляет имена античных ораторов и поэтов пророку Исаии как не способных выразить христианскую истину. То же касается и образа Симонида Кеосского. Разумеется, в поздних панегириках также встречаются

отступления от этой закономерности. Так, в упоминании Гавриилом Бужинским медика Галена дается положительная оценка античному ученому, однако, как было показано выше, употребление имени античного медика приобретает характер исключительного случая и требует дополнительных пояснений. Положительными чертами наделяются в позднем панегирике Феофана Прокоповича римские политические деятели, что также является редким исключением из правил. Причина, по которой в поздних панегириках авторов раннего XVIII в. вдруг начинает ощущаться неприятие античности, на данный момент нам не вполне ясна и требует дальнейшего исследования. Возможно, ослабление античного влияния на русскую культуру в целом и возникновение ее негативной оценки в конце 1710-х гг. связано с ослаблением в духовной среде барочного начала, воспринявшего западную культуру, вследствие чего античности вновь придается языческий ореол. По замечаниям Г. С. Кнабе, в Петровскую эпоху русская культура четко различала благородную переработанную античность современной Европы и языческую мифологию настоящего античного мира (Кнабе 2000: 100–119). Обращаясь к концепции Жана Старобинского, справедливо разделявшего античный контекст общеевропейской цивилизации Нового времени на «миф» и «мифологию» (Старобинский 2002: 85–109), можно сказать, что «миф» (как компонент литературного языка раннего Нового времени, ассоциирующийся с миром профанного — в противовес миру вышнему) в русском прозаическом панегирике конца 1710-х гг. лишен своей профанной природы и актуализирован в языке уже в качестве чужеродного объекта, а не составного элемента художественного языка.

Как было показано выше на примерах конкретных текстов, взгляды духовных авторов первой трети XVIII в. на античное наследие заметно различались в 1709 г. и в конце 1710-х гг.: от приятия античных образов и сюжетов как равноценных библейским духовные авторы переходят к упоминанию античности почти исключительно с негативным оттенком. По-видимому, выводы Живова и Успенского относительно четкого разделения духовных и светских авторов XVIII в. по принципу отношения к античности видятся не вполне применимыми к литературной ситуации в России Петровской эпохи.

## Литература

1. Бужинский 1901 — *Гавриил Бужинский*. Проповеди / изд. Е. В. Петухов. Юрьев, 1901.
2. Живов 2002 — *Живов В. М.* Литературный язык и язык литературы // *Russian Literature*. Vol. 52. Issues 1–3. 2002. P. 1–53.
3. Живов, Успенский 2002 — *Живов В. М., Успенский Б. А.* Мета-морфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII века // *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предьстории русской культуры. М., 2002. С. 461–531.
4. Кнабе 2000 — *Кнабе Г. С.* Русская античность: Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М., 2000.
5. Прокопович 1961 — *Феофан Прокопович*. Сочинения / под ред. И. П. Еремина. М.; Л., 1961.
6. Старобинский 2002 — *Старобинский Ж.* «Мифы» и «мифология» в XVII–XVIII веках // *Старобинский Ж.* Поэзия и знание: История литературы и культуры. Т. 1. М., 2002. С. 85–109.
7. Трофимов 2019 — *Трофимов А. Е.* Употребление античных и библейских имен в «Слове похвальном о преславной над войсками свейскими победе» Феофана Прокоповича // *Литературная культура России XVIII века*. Вып. 8. СПб., 2019. С. 7–18.
8. Яворский 1702–1716 — Проповеди Стефана Яворского за 1702–1716 годы // ОР РГБ. Ф. 173. Карт. 2. Ед. хр. 112. Л. 1–199 об.

Д. В. Руднев

**«О СЕМ ТОМАЗИЙ, ЗАКОНА УЧИТЕЛЬ, ГЛАГОЛЕТ...»  
(ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНТРОПОНИМОВ  
В «РАЗГОВОРЕ ДВУ ПРИЯТЕЛЕЙ О ПОЛЬЗЕ НАУКИ  
И УЧИЛИЩАХ» В. Н. ТАТИЩЕВА)<sup>1</sup>**

---

---

Одной из примечательных черт «Разговоров дву приятелей о пользе науки и училищах» Татищева является высокая частотность употребления в тексте антропонимов. Если принимать во внимание широкую трактовку этого класса слов, а именно наименование человека по имени, кличке, прозвищу, всякому единичному наименованию, играющему роль собственного имени, то согласно нашим подсчетам в тексте встретилось 424 словоупотребления антропонимов. Учитывая объем текста (около 80 страниц обычного формата<sup>2</sup>) и его жанр (*разговоры*<sup>3</sup>), плотность употребления антропонимов в тексте Татищева оказывается высокой.

Антропонимы понимаются нами широко — в их число мы включили также имена языческих богов (теонимы), а кроме того, притяжательные прилагательные, образованные от собственного имени человека. Наиболее часто в «Разговорах» употребляется имя Христа (38 раз) (одной из причин частотности имени *Христа* является его употребление при указании времени — всего 13 таких случаев), вслед за ним по частотности следуют имена апостола

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано: Литературная культура России XVIII века. Вып. 8 / под ред. П. Е. Бухаркина, Е. М. Матвеева. СПб., 2019. С. 19–45.

<sup>2</sup> Цитаты даются по изданию (Татищев 1979); в круглых скобках после цитат указана страница этого издания.

<sup>3</sup> Ср.: разговоры — «особенно называется род сочинения, в котором содержится разлагольствования между двумя или многими лицами. *Платоновы, Лукиановы разговоры. Писать, сочинять разговоры*» (САР 2, 156).



Павла (19 раз), Петра Первого (17 раз) и Адама (14 раз). Подавляющая часть антропонимов употреблена по одному разу.

Анализ выделенных из текста «Разговора» антропонимов проводится в трех аспектах: вначале делается попытка сгруппировать использованные антропонимы в тематические группы, далее описываются способы введения антропонимов во фразу (их синтагматика), в последней части статьи описывается функциональный потенциал антропонимов в тексте Татищева.

## 1. Тематические группы антропонимов в «Разговоре»

Под тематической группой понимается «группа слов, объединенных на основе классификации самих реалий, а не лексико-семантических связей» (Филин 1957: 526), «совокупность слов разных частей речи по их сопряженности с одной темой на основе экстралингвистических параметров» (Апресян 1974: 119).

Применительно к антропонимам использование понятия тематической группы может показаться не вполне удачным, поскольку «имена собственные относятся к номинативным, а не к коммуникативным единицам языка» (Бондалетов 1983: 20). Кроме того, кажется очевидным, что во всех случаях за антропонимами стоит одна и та же реалья — человек.

В тексте «Разговоров» антропонимы называют человека, к которому они относятся, не во всей полноте его признаков, а по его социокультурной роли, параметрированно — как правителя конкретной эпохи и государства, как философа, как отца церкви, как ученого и т. д. Таким образом, возникает возможность сгруппировать антропонимы по тем социальным ролям, а точнее — по достижениям при выполнении носителями имен своих социальных ролей, которые оказываются актуальными и важными для Татищева и его времени. Это делает возможным распределение антропонимов по тематическим группам.

На первом этапе все использованные в «Разговоре» антропонимы можно разделить на две большие группы — потенциальные («развоплощенные») и реализованные («телесные, воплощенные»). «Воплощенные» имена собственные, согласно А. Гардинеру, — это имена, прикрепленные к определенным, конкретным

предметам, «развоплощенные» имена — те же слова-имена, но рассматриваемые вне связи с конкретными лицами или предметами, не имеющие конкретного денотата (например, имена собственные в словаре) (Бондалетов 1983: 13).

Развоплощенные антропонимы фигурируют в тексте «Разговора» лишь в одном фрагменте: *И ныне многие знающие, что имена давать нет никакова закона, дают своего языка, яко Богдан, Нечай, Любим, Славим, Вера, Надежда, Любовь и пр.* (98). Эти потенциальные имена объединены в тематическую группу «антропонимы русского происхождения».

Остальные антропонимы имеют конкретных денотатов, и их можно разделить на следующие группы:

- ◆ библейские персонажи (Адам, Енох, Ной, Авель, Каин, Авраам, Лот, Моисей, Соломон, Давид);
- ◆ раннехристианские святые и апологеты (Татиан, Феофил Антиохийский, Афенагор [Афинагор Афинский], Иустин, Игнатий Богоносец, Дионисий Ареопагит);
- ◆ учителя церкви (Иоанн Креститель, апостол Ияков [Иаков], апостол Павел, Тимофей, Назианзин [Григорий Назианзин], Афонасий Великий, Василий Великий, Григорий папа римский, Ефрем Сирийский, Тертулиан, Героним [Иероним], Августин);
- ◆ мудрецы и философы (Дицаарх, Ксенократ, Диогор [Диагор], Феодор Киренаик [Феодор из Кирены], Анаксимандр, Сократ, Платон, Диоген, Епикур [Эпикур], Пифагор(ос), Сенека, Давид, Соломон, Сирах, Гоббзый [Гоббс], Ориген, Томазий [Фома Аквинский]);
- ◆ ученые (Евклид [Эвклид], Архимедес [Архимед], Картезий [Декарт], Малебражнь [Николя Мальбранш], Коперник(ус), Галлилей, Браго [Тихо Браге], Дергам [Уильям Дерем], Феофраст Парацельс, Санториус [Санторио], Вергилий епискуп [епископ Виргилий Зальцбургский]);
- ◆ законодатели (Ликург, Драконт (вар. Драко), Нумо Помпилиус [Помпилий], Конфуций, Минус [Минос], Зароастер [Зороастр], Залек Локренский [Залевк Локрский], Устиниан [император Юстиниан]) и правоведы (Гуго Гроций, Пуфендорф);
- ◆ основатели религии и еретики (Магомет, Кальвин, Лютер, Виклев [Уиклиф], Гус, Старх [Шторх], Бекель, фон Лейден [Ян Бейкелзон = Иоанн Лейденский], роснопа Аввакум, великий плут Никита [Никита Пустосвят]);

- ◆ греческие, римские и византийские правители (*Ромул, Август, Тиберий, Германик, Нерон, Птоломей [Птоломей I Сотер], Константин Великий, Адриан [император Адриан], Феодосий Младший [император Флавий Феодосий II Младший];*
- ◆ европейские правители (*Карл Великий, Оттон, Генрих Великий (вар. Генрик Четвертый, Генрих 4, Генрик IV), Людовик 14 (вар. Людвиг XIV), Генрих VIII (вар. Генрик 8), Елизавета (вар. Елисавета), Карл I, Густав, Кристина [Кристина], Фридерик Барбаросса);*
- ◆ русские правители (*Гостомысл, Рюрик, Ольга, Владимир Великий, Ярослав Первый, Владимир второй (вар. Владимир II) [Владимир Мономах], Константин Мудрый [вел. кн. Константин Всеволодович], Иван III и Великий (вар. Иван III и Великий именованный), Иоанн Первый и Грозный именованный, царь Феодор Иванович, Борис [Борис Годунов], Василий Шуйский, царь Михаил Федорович, царь Алексей Михайлович, царь Феодор II, царица София, Петр Великий, Анна Иоанновна);*
- ◆ бунтовщики («воры») (*Отрепьев, Болотников, Баловня, Заруцкой, Разин, Иван Хованский, Гагарин, Кромвель);*
- ◆ русские митрополиты и епископы (*Михаил, Леонтий, Иев первый [патриарх Иов], Макарий, Филарет, Никон, Иоаким, Иосиф, Филофей [архиепископ сибирский], Димитрий Ростовский, Феофан Прокопович (вар. Феофан Новгородский), Стефан Яворский, Питирим новгородской);*
- ◆ создатели письменности (*Иероним, Кирилл);*
- ◆ путешественники (*Карпеин [Плано Карпини], Асцелеин [Асцелин], Рублин [Гильом де Рубрук?], Венет [Винцентий Бовезский?]);*
- ◆ создатели училищ и академий (*Карл Великий, король Альфред [Альфред Великий], Баллиол [Джон де Баллиол], Дебис [?], Нерс [François Sublet de Noyers], Кольберт [Жан Батист Кольбер], Рауль [Raoul d'Harcourt, основатель Collège d'Harcourt], Суттон [Томас Саттон, основатель Charterhouse School]);*
- ◆ античные писатели и ораторы (*Цицерон, Ливий [Тит Ливий], Тацит, Флор [Луций Анней Флор]);*
- ◆ историки и хронисты (*Иосиф Флавий [Иосиф Флавий], Геродот, Юстин [Марк Юниан Юстин], Полидор Вергилий, Гагаций [Венцеслав Гагаций], Бароний [Цезарь Бароний]);*

- ♦ языческие боги (*Сатурн, Бахус [Вакх], Венера, Веста, Приап, Юпитер, Аскулапий [Асклепий], Янус, Осирис*).

Некоторые группы не имеют устойчивых социокультурных ролей и созданы Татищевым для аргументирования того или иного утверждения, т. е. с риторической функцией. Например:

- ♦ люди с феноменальной памятью (*Кир Великий, кардинал дю Перрон [Jacques Davy du Perron], Никита Демидов*);
- ♦ люди, оклеветавшие Сократа (*Анита [Анит], Мелит*);
- ♦ *Борджиа, Фарнезе*. Последние два имени объединены признаком «папешские выbleдки»: ...как то о **Фарнезии, Боргии** и других таких папешских выbleдках читаем... (81).

Не входят в группы такие имена, как: *Христос, Максим Грек, Пронский, Симеон Полоцкий, Блюментрост, Нарышкины* и др. По функции и сочетаемости имя *Христа* сближается с группой «учители церкви». Имена *Максима Грека* и *Симеона Полоцкого* могли бы быть включены в группу церковных деятелей, однако в тексте Татищева они употреблены вне этого контекста. Некоторые имена могут входить в разные группы. Так, говоря о государях, Татищев в одних случаях говорит об их управленческой деятельности, а в других случаях специально подчеркивает их вклад в создание училищ или в законодательную деятельность.

Вхождение антропонима в ту или иную группу определяет не только его функцию в тексте «Разговора», но и особенности синтаксической организации фразы с его участием.

Татищев нередко поясняет при помощи приложений и определений ту социальную роль, в связи с которой его интересует называемый антропонимом персонаж. В ряде случаев определения при антропонимах имеют развернутый характер и содержат, среди прочего, и оценку персонажа. Например:

*У нас некоторый выбранный из плутов плут роснопа Аввакум новую ересь имянующихся староверов, а паче пустоверов, произнес и простой народ в погибель привел (81); В Англии преславный вор и бунтовщик Кромвель лицемерным благочестием и молитвою, коварными поучении и толковании простой народ в то привел, что совершенно верили (88); Но блаженная Ольга, бывшая от рода князей славянских, прияв владение, паки славянский язык не что возобновила (96).*

## 2. Синтагматические особенности антропонимов в «Разговоре»

Сочетаемость антропонимов в первую очередь определяется их принадлежностью к личным существительным. Для них типичными являются позиции субъекта, реже объекта и атрибутивная позиция.

### 2.1. Антропонимы в позиции подлежащего

Для текста «Разговора» употребление антропонима в позиции грамматического субъекта является преобладающим. В качестве грамматического субъекта антропонимы обладают широчайшей сочетаемостью со многими видами предикатов. Так, в сочетании с ними глагольный предикат может выражать самые разнообразные действия — конкретно-физические, речемыслительные, нравственно-поведенческой сферы, интерсубъектные, перемещения в пространстве и т. д. (Золотова и др. 1998: 107). Принадлежность антропонима к той или иной тематической группе провоцирует проявление его валентности относительно тематических групп глаголов.

Имена учителей церкви (к ним по своей сочетаемости примыкает имя *Христа*) регулярно сочетаются с такими предикатами речевой деятельности, как *глаголать, говорить, изъяснять* ‘объявить, сообщить; изъяснить’ (СлРЯ XVIII 9, 68), *именовать, сказывать, утверждать* и др.:

*А Христос притчею во оном преступление закона изъяснил, глаголя...* (64); *Павел не о той премудрости говорит, о которой Соломон* (52); *О первом святей Назианин тако глаголет* (68); *Апостол Павел имянует премудрость сокровищем таинств божественных* (80); *...к чему нам сей видимый мир за наилучшую книгу служить может, о чем и учителя христианские многие утверждали, особливо Тертулиан, Антоний Великий, Августин и Златоуст в их книгах, и наш Дмитрий Ростовский архиепископ утверждает* (74).

Реже в сочетании с ними встречаются другие глаголы:

*Павел, пиша о вдовстве, повелевает* (63); *сам Христос повелевает испытати писание* (82); *духовное Христос проповедал и научил* (76); *Апостол Ияков учит* (80); *как то нас Соломон учит* (52).

В контексте Святого писания предикат *учить* практически не отличается от глаголов речевой деятельности.

Имена ученых и философов имеют близкую, но несколько отличную от предыдущей группы сочетаемость: предикаты могут содержать указание на субъективный характер деятельности. Например:

*...сие мнение, видится, в новых от Платона **Феофраст Парацельс возобновил** (53); Зане славнейшия древняя и новыя философы, а особливо **Невтон и Лейбниц, решить отрелися** (53–54); А **Левенгок**, чрез его весьма хитро сочиненное микроскопиум, или увеличительное стекло, **усмотрел** (54); **Пифагор умыслил** для благонравия **учить** (73) и пр.*

Имена историков и путешественников сочетаются с глаголами, указывающими фиксацию информации в их сочинениях:

*...как **Полидор Виргилий** о многих филозофах, признавших бога, **описал** (75); **Геродот** гисторик, которой жил до Христа более 400 лет, **сказует** (96); о чем **Карпеин, Рублин, Венет, Асцелсин** и пр. **удостоверяют** (101).*

Имена правителей обнаруживают очень широкую сочетаемость, они регулярно сочетаются с предикатами, включающими каузативную сему, в том числе и с глаголами повеления, указывая на наличие власти у представителей этой группы:

*Которое вечно достойныя памяти его императорское величество **Петр... пресек** и немалую государству **пользу учинил** (76); Даки також были славяне и сарматы, но **цесарь Тиверий, победа, италианцами населил** (97); И хотя в Германии прехвальный **цесарь Карл Великий** и по нем многие о **распространении наук трудились** (113).*

Отдельно отметим особенности предикирования к антропонимам, обозначающим бунтовщиков и еретиков. Выше уже были отмечены особенности определений к этим антропонимам. Предикаты, как и определения, содержат отчетливую оценку их деятельности:

*Вы прежде слышали, что **плуты, начальники ереси анабаптистов, в немецком городе Минстере, Николай Старх, Бекель, Иоанн фон Лейден** хотя **самое безумное учение произнесли**, но оно **пред глупую черню и крестьянством коварными толки и притворными***

чудесами так удостоверили, что многия тысячи от подлости к ним пристали (88); Плут **Милославский** с единомышленники хотя, Петра Великого престола лишиа, царевне Софии правление или паче сам възпрять, **разсеял**, якобы Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили, от чего великое смятение учинилось (88); за которое холоп Пронскаго **Баловня**, собрав свою братью и крестьянства немалое войско, великие **пакости поделал** (125).

Антропонимы в «Разговоре» сочетаются не только с глагольными сказуемыми, выступая в качестве источника глагольного признака, но и изредка с именными сказуемыми. Сочетаясь с составным именным сказуемым, подлежащее-антропоним выступает носителем признака, который ему приписывает говорящий. В одних случаях такая информация дается для характеристики конкретных исторических персонажей:

...между которыми [законодателями] на Востоке, в Персии и Индии, **Зароастер был первейший**, в Египте **Осирис**, в Греции **Минус**, в Риме **Янус** или **Нумо Помпилиус** (72); ...и хотя до Пифагора **именовались магос**, или волсвии, **Пифагорос** первый **филозов**, или любомудрый, **имяноваться начал** (73); Что же веры принадлежит, то **Виклев** и **Гус**, хотя с несчастливым окончанием, **начинатели явились...** (78); Во-первых, **Димитрий Ростовский**, архиепископ, **был человек добраго состояния и самага христианского жития**, но наука его весьма невелика была (109).

В следующем отрывке составное именное сказуемое служит иллюстрацией важной для Татищева мысли о том, что вера и ученость (в том числе в философии) могут совмещаться:

...по нем же [апостоле Павле] **Дионисий Ареопагит**, **Игнатий богоносец**, **Иустин мученик**, и **Афенагор**, **Феофил Антиохийский**, **Татиян** и другие, которые от самых апостол веру прияли, довольно философии **учены были** (80).

## 2.2. Антропонимы в позиции второстепенных членов предложения

Антропонимы встречаются в позиции всех членов предложения, однако позиция обстоятельства для них в целом не типична, так как антропонимы как личные имена лишены признакового значения.

### 2.2.1. Позиция дополнения

В позиции дополнения антропонимы представлены в «Разговоре» значительно реже, чем в позиции подлежащего (всего около 70 раз). В целом ряде случаев употребление антропонима в позиции объекта (рассматриваются все объектные позиции, включая обособленные конструкции) обусловлено семантикой предиката, предполагающей актантную позицию объекта, выраженного личным существительным. К числу таких предикатов относятся глаголы речи и речевого воздействия:

*Адаму* диавол чрез змию **сказал** (52); как и *Христос* к апостолу *Петру* исповедовашаго его быть сына божия **сказал** (60); Егда апостоли **рекли** ко *Христу* (63); и апостол Павел **Тимофею**, ученику его, для слабости **повелевает** пить вино (63); и для того Павел, **утверждая** ученика своего **Тимофея**, глаголет (63); чтоб **Никона** паки взять на престол и **имяновать** **папою**, **Иоакима** же патриарха **оставить при том же титуле** и еще вместо митрополитов трех патриархов **прибавить** (81); апостолу **Павлу** Фист **рек**: «беснуешися Павле, многие тя книги в неистовство прелагают» (83); а заклинания обречение Иосиф Влавий **приписует** **Соломону** (93); А наипаче, что по убиении Отрепьева некоторые от властолюбия, не хотя под прежнюю властию быть, выбранному **Шуйскому** царю **Василию** законы некоторые государству вредительные **предписали** (120); и сей [брак] между письменными есть первый закон, от бога **Адаму повеленный** (123).

Личной семантикой антропонимов обусловлено их употребление в качестве субъектного дополнения при глаголах в пассивном залоге (чаще используется форма «от + Р. п.», реже беспредложный Тв. п.):

Второй закон божеский письменный, еже потом от бога чрез пророков нам преданный и **Христом** спасителем **возобновлен** и **изъяснен** (61); как то видим из их празднеств в честь Сатурну, Бахусу, Венере, Весте и пр. отправляемых, и законов, **Солоном**, **Драконом** и **Ликургом написанных** (74); за то он **от Аниты** и **Мелита** злочестиями и безбожеством **оклеветан** (75); Начало же оных римляне кладут якобы **от Ромула учреждены** (85); Между прочим



в Лондоне **от** господина **Суттона** устроенная гошпиталь в его имя... есть весьма чести достойная (114); Сего государства начало в науках **от** цесаря **Карла Великого** положено (114); Четвертая Академия наук подобием аглинского Общества королевского имянуемаго **от** господина **Кольберта** в 1666-м году **основана** (114) и др.

Одушевленного объекта требуют также некоторые другие предикаты, например, со значением лишения жизни, провоцируя появление при них антропонимов в позиции дополнения:

*Плут Милославский с единомышленники... разсеял, якобы Нарышкины царевича **Иоанна Алексеевича** задушили, от чего великое смятение учинилось* (88); *по убиении **Отрепьева*** (120).

Остальные предикаты, при которых употреблены антропонимы в позиции дополнения, не ограничивают семантику объектного распространителя, который может быть выражен как одушевленным, так и не одушевленным существительным. Среди этих случаев самым частотным оказывается употребление антропонимов в качестве делиберативного объекта (объекта при глаголах речемыслительной деятельности). Например:

*...и если б я тебе хотел **сказывать** о мерских их богах, о **Приапе** и **Венере**, да и о **Юпитере**, котораго за высшаго почитали* (72); *Подлинно же известие имеем о **Пифагоре**, что* (73); *как то о **Фарнезии**, **Боргии** и других таких папежских выbledках **читаем*** (81); *О **Стефане Яворском** и весьма **инаго** мнения* (109); *О **Феофане Прокоповиче** можно **сказать**, что Россия едва так ученаго архиерея когда имела ль* (110).

Прочие случаи употребления антропонимов в позиции дополнения связаны с разнообразными предикатами:

*Мы все **знали** кузнеца, а потом дворянина **Никиту Демидова*** (56); *Им же бог **чрез Моисея** закон письменный **предал*** (71); *и если бы все люди в состоянии **Еноху**, **Ною**, **Аврааму**, **Лоту** и прот. **подобные** были* (71); *от **Авраама** происшедшую* (73); *надеяся на согласнаго с ними князя **Ивана Хованскаго*** (88–89); *И как колено славенских князей **Гостосмыслом** пресеключь, **взяли** к себе князя **Рюрика** от варяг, или финнов* (96) и т. д.

Отдельно выделим конструкцию с глаголом *видеть*, который может иметь при себе перцептивный объект, выраженный как одушевленными, так и неодушевленными именами: как *то видим Езона и других многих* (73); *Противно же тому, видим Михаила и Леонтия, первых русских митрополитов, Иева перваго, а по нем Филарета патриархов, яко мужей искусных, благочестных и пользу государства более оных разумеющих* (99). Глагол *видеть* в таких случаях употребляется в значении 'иметь в качестве примера' и имеет по сути служебную функцию, выступая одним из показателей пояснительной конструкции. В примере ниже эта служебная функция подчеркивается сравнительной частицей *яко*, вводящей перечисление:

*Потом видим многих, яко Афонасия и Василия Великих, Григория Назианзина, Златоустаго, Иеронима, Августина, Григория папу римскаго и пр., все сии и по ним многие философию учили и языческих философов книги читали* (80).

К подобным случаям мы вернемся в разделе, посвященном употреблению антропонимов в пояснительных конструкциях.

### 2.2.2. Позиция определения

Употребление в тексте «Разговора» антропонимов в позиции определения количественно сопоставимо с позицией дополнения — около 60 случаев. В данном разделе мы объединяем атрибутивное употребление антропонимов в форме Р. п. и образованных от них притяжательных прилагательных. Родительный принадлежности встречается в 1,4 раза чаще, чем притяжательные прилагательные, а главное — от значительно большего числа антропонимов.

В тексте встретилось 13 притяжательных прилагательных, которые употреблены в общей сложности 25 раз. Обращает на себя внимание высокая частотность прилагательного *Христов* (9 раз, и лишь один раз употреблена форма Р. п. *Христа*): *слова Христовы* (60), *из словес Христовых* (62), *пришествие и учение Христово* (70), *по пришествии же Христове* (71), *до пришествия Христова* (71), *пред пришествием Христовым* (77), *слова Христовы* (79), *противо точных Христовых слов* (80), *противу учения и повеления Христова* (97) — и *суща словеса Христа спасителя* (61).

В последнем примере замена на притяжательное прилагательное невозможна, так как имя *Христа* имеет при себе приложение *спасителя*. Аналогичный случай в сочетании *по словам Спасителя нашего* (61), где у существительного есть определение *нашего*.

С исключением прилагательного *Христов* число оставшихся притяжательных прилагательных оказывается невелико (причем некоторые из них употреблены неоднократно): *мнение Лейбницова* (54), *с душою Адамлею*, *приклад Диогенов* (69), *закон Моисеева* (70), *до закона Моисеева* (71), *учитель Неронов* (75), *Августовых наследников* (77), *Августова внука* (77), *Магометова учения* (77), *о библиотеке Птоломеевой* (78), *смерть Никонова* (81), *книг Гроциевых, Пуфендорфовых* и тому подобных (108), *до царства Борисова* (125), *законы Драконовы* (125), *законы Солоновы* (126 — дважды), *из законов Солоновых* (126).

Наряду с притяжательными прилагательными в «Разговоре» трижды употреблены относительные прилагательные, образованные от антропонимов: *опровержение Аристотелической философии* (76), *в тех же Моисейских законах* (122). Не исключено, что подобные примеры отражают сохранявшуюся способность суффикса *-ьск-* выражать притяжательное значение, присущее ему в древнерусскую эпоху (см. Eckhoff 2011: 39–40). В этих двух примерах вместо относительных прилагательных могли бы использоваться притяжательные, на что указывает параллельное употребление *Моисеев* (закон) — *Моисейские* (законы). Следует отметить, что притяжательные прилагательные в целом ряде приведенных выше примеров не имеют притяжательного значения и употреблены в относительном значении. Еще одно относительное прилагательное, образованное от антропонима, употреблено в тексте Татищева в качественном значении: *мохиовелическими плевелы насенного сердца* (83)<sup>4</sup>.

Приведенные примеры интересны тем, что показывают ограниченную сочетаемость притяжательных прилагательных в тексте «Разговора»: они появляются в сочетании с группой существительных, содержащих сему 'продукт речевой деятельности' (*слово, закон, книга, учение*, к ним примыкают *мнение, приклад, библиотека*),

---

<sup>4</sup> Прилагательное *мохиовелический* образовано от имени Никколо Макиавелли.

и существительных, обозначающих родственные отношения (*внук, наследники*, к ним примыкает *учитель*. Впрочем, в случае со словом *учитель* возможно также влияние со стороны слова *учение*).

Абстрактные существительные встречаются редко (*смерть, царство*), и, судя по всему, в этих случаях с притяжательными прилагательными успешно конкурирует родительный принадлежности: *приклад правления Августа* (77); *по восстании ж Лютора* (126). Имя в Р. п. во всех этих случаях имеет субъектно-определяющее значение. Притяжательные прилагательные с объектным значением, возможные в древнерусском языке, в тексте Татищева не встречаются, в этих случаях употребляется только существительное в Р. п.: *при сотворении Адама* (118); *по убиении Отрепьева* (120).

Из оставшихся примеров употребления родительного принадлежности конкуренция с притяжательным прилагательным возможна лишь в двух случаях: *под именем Аскулания* (72), *в храме Юпитера* (126). Однако в первом случае замена на притяжательное прилагательное невозможна по семантическим причинам: носитель имени выступает не в качестве субъекта обладания именем, а в качестве объекта имянаречения.

В остальных случаях атрибутивное употребление существительного в Р. п. не конкурирует с притяжательным прилагательным в силу разных причин.

Чаще всего эта невозможность обусловлена тем, что в форме Р. п. стоит именная группа — либо антропоним имеет составной характер, либо антропоним имеет при себе определение или приложение (или сразу оба зависимых компонента). Например: *в училище Константина Мудраго* (78), *по смерти царя Алексея Михайловича* (81), *учитель царя Федора Алексеевича* (81); *по смерти царя Федора Ивановича* (84), *до воцарения царя Михаила Федоровича* (84); *слов премудраго Соломона* (112), *Нумы Помпилия на дву таблицах законы* (126), *из законов цесарей Оттона и Генрика* (127) и пр. В последнем случае невозможность замены обусловлена также тем, что в форме Р. п. выступает перечислительный ряд. Ср. также: *во время Августа и Тиберия* (77).

Еще один случай невозможности замены наблюдается в тех случаях, когда антропоним по происхождению является прилагательным (речь идет о русских фамилиях), например: *во время*

*Шуйскаго* (88); *Гагарина... коварство и злопредприятие* (89), холл *Пронскаго* Боловня (125).

### 2.2.3. Позиция обстоятельства

Антропонимы ограниченно употребляются в качестве обстоятельства. Типичным является использование антропонимов в качестве обстоятельства времени. В таких случаях антропоним метонимически обозначает эпоху, в которую жил носитель имени:

Мы уже отмечали использование имени Христа для обозначения дат — типичное явление метонимии при сокращении развернутого высказывания (*до Христа, от Христа, по Христе* и др.): *Сократ жил пред Христом за 400 лет* (75).

В качестве обстоятельства времени встречаются главным образом имена правителей и иных персонажей, наделенных властью, и, таким образом, антропоним выступает как обозначение времени правления:

*В России же едины жидвы от Владимира II доднесь не терпятся* (88); *что по малой мере при Рюрике письменные законы имели* (95); *которое хотя от царя Иоанна 1-го все государи пресечь прилежали, но ни един возможе* (101); *что до Петра Великаго такого единовластного правления у нас не бывало* (113); *И паки, что у нас при патриархах Иосифе, Никоне и других многократно латинские книги зжены и люди, читающие оные, наказываны* (99); *а при Разине черемиса многую противо бунтовщиков усугу государству показали* (87).

Темпоральное значение обстоятельства может подчеркиваться словом *время* в составе оборота:

*а паче во время Августа и Тиберия было* (77); *однако ж до времени короля Генрика IV весьма мало успевал* (114); *во время его императорскаго величества Петра Великаго по усмотрению обстоятельств нуждных многие из того Уложения главы особливими указами и уставами уничтожены* (127–128).

К такому употреблению близки случаи, когда антропоним выступает в атрибутивной (еще точнее — субъектно-атрибутивной) функции при девербативе *царство*:

*Например, до царства Борисова в России крестьянство было все вольное* (125); *В царство Михаила Феодоровича також нечто*

пополнено (127); чрез что оных новых законов, особливо **в царство Феодора II и во время царевны Софии**, так умножилось (127).

Последний пример интересен соположением двух обстоятельств времени с одинаковым значением, но выраженных по-разному — применительно к времени царевны Софья невозможно употребить слово *царство*.

### 2.3. Антропонимы в пояснительных конструкциях

Одной из особенностей антропонимов в «Разговоре» является высокая частотность их употребления в составе пояснительных конструкций, к числу которых в данном случае мы относим как предикативные, так и непредикативные конструкции. Встречаются два синтаксических показателя пояснительных конструкций — сочетание *как то* и союз *яко*. Сочетание *как то* встретилось 15 раз. В составе предикативных конструкций элемент *то* выполняет анафорическую функцию относительно предшествующего фрагмента и первоначально занимает позицию прямого дополнения:

...[римские папы] *цесарю на шею ногою становились или у дверей босо и без одежды просить прощения принуждали, как то читаем о цесарях Фридерике Барбароссе и Гендрике* (80); *Да и у нас патриархи такую же власть над государи искать не оставили, как то Никон с великим вредом государства начал было, за которое судом духовным чина лишен и в заточение послан* (81).

Однако синтаксическая позиция прямого дополнения местоимения *то* ослаблена в составе предикативной пояснительной конструкции, что видно из следующих примеров, где *то* не может быть рассмотрено в качестве прямого дополнения к предикату в пояснительной части:

*Сего ради многие благоразумные государи неусыпно о распространении наук прилежали, как то видим во Франции Генрик 4 и Людовик 14, в Англии Генрик 8 и Елизавета, в Гишпании Карл I, в Швеции Густав и Крестина* (84); *И для того о умножении сего полезного стана государи прилежно старались, как то царь Алексей Михайлович несколько тысяч гусар, рейтар и копейщиков, собранных перво из крестьянства и убожества, по прекращении польской войны деревнями пожаловал и в дворянство причел* (85).

В составе непредикативных конструкций элемент *то* окончательно утрачивает самостоятельную синтаксическую функцию и тесно сливается с союзом *как* — на этой основе образовался современный пояснительный союз *как то*. В «Разговоре» встретился единственный случай непредикативной конструкции, вводимой сочетанием *как то*:

*...видим бо высокога ума и науки людей невинно тем оклеветанных и проклятию от пап преданных, как то Вергилий епискуп за учение, что земля шаровидна, Коперникус за то, что написал земля около солнца, а месяц около земли ходит, Картезий за опровержение Аристотелической философии и за учение, чтоб все сущими доказательствами, а не пустыми силлогисмы доводить, Пуфендорф за изъяснение естественнаго права (76).*

Эта конструкция показывает возможный путь образования непредикативных пояснительных конструкций с союзом *как то* на основе предикативных конструкций.

Реже для введения перечислительных конструкций используется союз *яко*. В силу многозначности этого союза его пояснительная функция выражена неотчетливо, однако в тексте «Разговора» встречаются перечислительные ряды антропонимов, вводимых этим союзом с пояснительной целью. Например:

*Что же ты оных древних философов афеистами, или безбожниками, имянуешь, оное правда, что некоторые древние философы тако от других именованы, яко Ксенократ, Диогор, Феодор Киренаик, Анаксимандр и другие (74); Сей от многих учителей церковных, яко Тертулиана, Геронима, Августина и пр., похвален (75); И ныне многие знающие, что имяна давать нет никакова закона, дают своего языка, яко Богдан, Нечай, Любим, Славим, Вера, Надежда, Любовь и пр. (98); латинских необходимо нуждных имянуемых авторов классических, яко Ливия, Цицерона, Тацита, Флора и пр., не читают (108).*

Пояснительная (конкретизирующая) функция *яко* в этих примерах выступает очень отчетливо. В одном из примеров встречаются оба пояснительных синтаксических показателя — *как то* и *яко*:

[Что же касается до бунтов, то вы сами можете сказать, что никогда никаков бунт от благоразумных людей начинания не имел, но равномерно ересям от коварных плутов с прикрытием лицемерного благочестия начинается, которое, между подлостью разсеяв, производят.] **Как то** у нас довольно прикладов имеем, что редко когда шляхтич в такую мерзость вмешался, но более подлость, **яко Болотников и Баловня, холопи, Заруцкой и Разин**, казаки, а потом стрельцы и чернь, все из самой подлости и невежества (84).

Употребление *как то* и *яко* в составе пояснительных конструкций различается тем, что *яко* вводит перечислительный ряд, лишенный предикативных признаков, а *как то* встречается почти исключительно в составе предикативных конструкций. Кроме того, *как то* тяготеет к совместному употреблению с глаголом *видеть*, который, возможно, первоначально выступал в качестве предиката конструкции *как то видим*. В дальнейшем глагол *видеть* десемантизировался и стал лишним компонентом устойчивого сочетания с общим пояснительным значением, вследствие чего стал заменяться другими предикатами в составе предикативной конструкции или опускаться. Даже в тех случаях, где используется глагол *видеть*, он может употребляться с нарушением сочетаемости, что говорит о его частичной десемантизации и утрате у него семы перцептивного восприятия:

Другие же нравоучение людем в фабулах, или баснях, прикладами представляли, **как то видим Езона** и других многих (73); Святые отцы многие других языков учились, **как то видим о Герониме, Ефреме Сирине** и протчих многих, что разных языков учились (99).

В первом примере у глагола *видеть* оказывается два прямых дополнения (*то* и *Езона*), во втором случае он имеет нехарактерную сочетаемость «о + Пр. п.»<sup>5</sup>.

В целом можно констатировать, что текст «Разговора» отражает тот этап формирования пояснительного союза *как то*, когда элемент *то* уже перестал быть полноценным элементом предложения, но еще не слился с союзом *как*, но что указывает тот факт, что подавляющее большинство конструкций с сочетанием *как то* являются предикативными.

---

<sup>5</sup> В Словаре русского языка XVIII века такая сочетаемость не отмечается. См.: (СлРЯ XVIII 3, 155–156).



### 3. Функции антропонимов в «Разговоре»

«Разговор» Татищева имеет признаки антропонимического текста, под которым понимается «текст, в котором преобладают антропонимы, объединенные в речевые последовательности и сочетающиеся с обязательными или факультативными аппеллятивными компонентами» (Подольская 1988: 34). Широкое введение антропонимов в «Разговор» несет разную функциональную нагрузку.

#### 3.1. Функционально-стилистическая функция

«Разговор» Татищева имеет признаки научного текста. В свое время Г. В. Плеханов отметил, что это произведение содержит «гораздо больше, нежели обещает его заглавие. Это чуть ли не целая энциклопедия. В нем излагается все мирозерцание этого замечательного человека» (Плеханов 1925: 64). Думается, что сравнение «Разговора» с энциклопедией — это больше чем метафора: он действительно имеет некоторые признаки этого типа текстов. Под энциклопедией подразумевается «научное справочное пособие по всем или отдельным отраслям знания (преимущественно в форме словаря)», а в переносном смысле «свод, совокупность знаний, сведений по какому-л. вопросу» (МАС 4, 762).

Излагая то или иное знание или мнение, Татищев указывает на его источник. В этом случае введение антропонима выполняет авторизирующую функцию, связанную с реализацией такой черты научного стиля, как объективность. Например, в ответе на 13 вопрос «Из чего человек состоит?» (53) даны четыре различных точки зрения — 1) Дицеарха и Гоббса («Гоббезия»), 2) «пифагориков», платоников, стоиков и г. Маруса, 3) Платона и Парацельса, 4) Святого писания. Аналогичным образом в ответе на 14 вопрос «Я вас прошу изъяснить мне о душе и ея свойстве, состоянии, месте пребывания и как она в тело приходит» (53) также даны четыре разных ответа.

В таких случаях с привлечением антропонимов реализуется также такая черта научной речи, как некатегоричность изложения, «которая выражается во взвешенности оценок... как в отношении степени изученности темы, эффективности теории и путей решения исследуемых проблем, степени завершенности (“окончателности”) результатов исследования, так и в отношении

упоминаемых в работе и цитируемых мнений других авторов-ученых и своих личных» (Кожина 2006: 246). Отметим, что в традициях той эпохи для Татищева не противопоставлены знания, полученные эмпирически и через откровение.

### 3.2. Интегрирующая функция

Важнейшей функцией антропонимов в «Разговоре» является функция интеграции, соединения веры и разума, истории и современности, различных стран и России, наконец, что очень важно, двух разных эпох — допетровской и послепетровской. Произведение Татищева «пронизано цитатами и ссылками на Библию в такой же степени (если не в большей), в какой он насыщен фактами, почерпнутыми из европейской науки, и философскими рассуждениями. <...> Это и делает татищевский “Разговор...” открытым как прошлым, прежде всего книжным, учениям, так и новым философским и естественно-научным влияниям, делает его, в полном смысле этого слова, памятником переходной эпохи от книжности к учености» (Киселева 2011: 371).

Согласно приведенным выше подсчетам, имена Христа и апостола Павла являются наиболее частотными в тексте.

Особенно отчетливо интегрирующая функция проявляется в перечислительных рядах антропонимов, ведь «любое перечисление есть множество», которое характеризуется важным свойством — «гомогенностью элементов» (Калинкин 2009: 71).

### 3.3. Риторическая функция

Антропонимы участвуют в построении аргументации татищевского текста. Можно отметить их использование в двух типах аргументации — аргументации к действительности и аргументации к авторитету. Приведем пример аргументации к действительности, в котором Татищев показывает, как вслед за римскими папами русские патриархи пытались подчинить себе светскую власть:

*Да и у нас патриархи такую же власть над государя искать не оставили, как то **Никон** с великим вредом государства начал было, за которое судом духовным чина лишен и в заточение послан. И хотя по смерти царя **Алексея Михайловича** собеседники его **Симеон Полоцкий**, учитель царя **Федора Алексеевича**, привел государя на то,*

чтоб **Никона** паки взять на престол и имяновать папою, **Иоакима** же патриарха оставить при том же титуле и еще вместо митрополитов трех патриархов прибавить. Но все оное противу их труда смерть **Никонова** пресекла, а **Петр Великий** последний путь к тому уставом церковным и учреждение Синода запер (81).

Возможно, такая подробность описания, проявляющаяся в том числе в употреблении многочисленных антропонимов, обязана навыкам Татищева как историка.

В аргументах к авторитету Татищев обращается к словам Христа, апостолов, примерам святых отцов и т. д. Обращение к авторитетам христианской церкви обусловлено двумя причинами. Во-первых, для Татищева знание, полученное от церкви, не противопоставлено научному знанию. Во-вторых, ссылка на авторитет связана с жанром разговора, один из участников которого представляет старую, допетровскую эпоху и выражает точку зрения, согласно которой вера и научное знание противопоставлены друг другу, так как только вера дает истинное знание, ведущее к спасению души. Для Татищева вера и знание не противопоставлены, поэтому, например, он ссылается на то, что многие отцы церкви и церковные иерархи были учеными людьми и изучали языческую философию. Наиболее яркий пример такого употребления антропонимов представлен в ответе на 44 вопрос «Я есче хочу вас спросить, что я от многих духовных и богобоязных людей слышал, еже науки человеку вредительны и пагубны суть» (79), когда звучит целый ряд имен учителей христианской церкви, начиная с апостола Павла, изучавших философию:

*Святыи же отцы, которых мы наибольшими учителями по апостолах почитаем и от них неоцененную пользу спасения приобрели, все других языков и многие философии научены были, а особливо св. апостол **Павел** видимо, что языческую философию учил или по малой мере их книги читал, зане в его посланиях многие из филозовских книг доказательства, истинныи нравоучения наставления и притчины писаны; по нем же **Дионисий Ареопагит**, **Игнатий** богоносец, **Иустин** мученик, и **Афенагор**, **Феофил Антиохийский**, **Татиян** и другие, которые от самых апостол веру прияли, довольно философии учены были (80).*

Наконец отметим еще одну риторическую функцию антропонимов — их участие в фигуре перечисления. «В тексте любого литературного жанра перечни, состоящие из собственных имен, не могут быть случайностью или неоправданным “украшательством”» (Калинкин 2009: 70). Одна из функций перечисления антропонимов, о которой мы говорили выше, — это функция уравнивания и объединения (интегрирующая). Это связано с мыслью Татищева об универсальности знания. Однако это не исключает и другой функции перечисления — эмоционального воздействия на адресата при помощи этой фигуры. При употреблении антропонимов эта функция усиливается, поскольку автор обнаруживает перед адресатом знание большого числа имен незнакомых людей, т. е. проявляет свое коммуникативное превосходство.

#### 3.4. Функция приобщения к новой культуре (культурно-идентифицирующая функция)

Эта функция проявляется в тексте Татищева двояко. Во-первых, сам факт неймдроппинга указывает на принадлежность автора к новой европейской культуре антропоцентрического типа, в которой человек становится мерой вещей. Трудно представить себе текст с таким антропонимическим квантитативом в допетровской культуре. Отмеченная выше интегрирующая функция антропонимов прямо вытекает из антропоцентризма, поскольку связывание друг с другом различных антропонимов производит именно автор текста.

Во-вторых, культурно-идентифицирующая функция проявляется в том, что, используя различные группы антропонимов, Татищев обнаруживает знание референтных групп новой культуры и, как следствие, приписывает себя к этой культуре. «Называя культурно значимое имя, мы указываем, во-первых, на наше знание его культурной значимости, во-вторых, на принадлежность к определенной референтной группе, для которой это знание важно» (Васильева 2018: 98).

Демонстрируя свою начитанность в евангельских текстах, в текстах античной культуры и в европейских научных и философских текстах, свое знание русской, европейской и античной истории, Татищев являет себя человеком новой послепетровской культуры и вместе с тем не обрывает свои связи с культурой

и историей допетровской Руси. Он неуклонно утверждает важность учености для правильного поведения человека в обществе. Неслучайно, говоря о раскольниках и бунтовщиках, Татищев акцентирует внимание на их невежестве и на невежестве тех людей, которых они вовлекли в раскол и бунт, т. е. знание выступает в его тексте как этическая категория. Он избегает оценок при описании Лютера и Кальвина, зато не сдерживает себя при описании «папешской веры», считая пап лютыми врагами истины:

*В правоучении Гуго Гроций, а потом Пуфендорф в физике или всей философии, Картезий в математике, а паче астрономии Коперник и Галилей, яко же и Браго, несмотря на папешские пресечения и не боясь проклятия его, истинну доказали и так утвердили, что наконец и сами паписты со стыдом принуждены истинну оных признать (78–79).*

#### 4. Выводы

Антропонимы в «Разговоре» Татищева являются важным элементом поэтики и выполняют целый ряд функций, связанных как с выражением главной идеи произведения (важность знания), так и с убеждением читателя в ее правильности. Характерно, что в сильной текстовой позиции конца произведения Татищев, отводя возможный упрек в отсутствии пользы от его труда, ссылается на Соломона, т. е. использует аргументацию к авторитету:

*А наконец представляю вам на таковых слова премудраго Соломона: «Не обличай безумнаго, да не возненавидит тя, сказуй праведному, и приложит приимати» (Притчи, гл. 9, ст. 9) (132).*

Использование многочисленных антропонимов разных тематических групп обнаруживает принадлежность Татищева к новой европеизированной культуре. Однако это следствие татищевского текста не задается автором, а выявляется при сравнении «Разговора» с предшествующей литературной традицией.

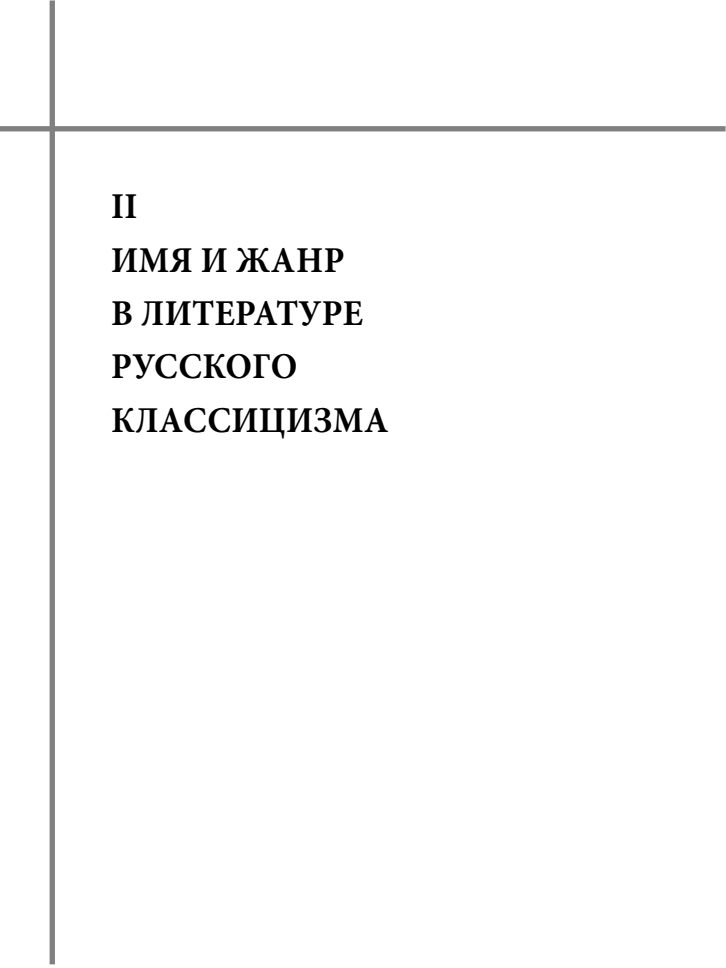
Вводя в текст большое число антропонимов, Татищев сталкивается с задачей их синтаксической организации. Исследование материала показывает, что способы введения антропонимов различны, однако ведущей для них является позиция грамматического

субъекта, т. е. сильная позиция в предложении. Отчасти это обусловлено семантикой антропонимов, но не в меньшей степени это было вызвано их повышенной смысловой нагрузкой в тексте. Отдельного внимания заслуживают перечислительные ряды антропонимов — в этих случаях от Татищева требовалось проявить особое мастерство, ведь «не так просто ввести каталог в текст» (Харченко 2016: 41). Это тем более касается перечисления антропонимов.

## Литература

1. Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.
2. Бондалетов 1983 — *Бондалетов В. Д.* Русская ономастика: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М., 1983.
3. Васильева 2018 — *Васильева Н. В.* Прагматика и поэтика антропонимического текста // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2018. № 3 (34). С. 88–102.
4. Золотова и др. 1998 — *Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
5. Калинин 2009 — *Калинкин В. М.* Семантика имен и поэтика их перечислений // Логос ономастики. 2009. № 1 (3). С. 70–83.
6. Киселева 2011 — *Киселева М. С.* Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011.
7. Кожина 2006 — *Кожина М. Н.* Научный стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожинной. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006. С. 242–248.
8. МАС 4 — Словарь русского языка: в 4 т. Изд. 3-е, стереотип. Т. 4. С — Я. М., 1988.
9. Плеханов 1925 — *Плеханов Г. В.* Движение русской общественной мысли после петровской реформы // Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 21. М.; Л., 1925.
10. Подольская 1988 — *Подольская Н. В.* Словарь русской ономастической терминологии. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1988.
11. САР 2 — Словарь Академии Российской. Ч. 2. От Г до З. СПб., 1790.
12. СлРЯ XVIII 3 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 3. Вѣк — Воздувать. Л., 1987.
13. СлРЯ XVIII 9 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 9. Из — Каста. СПб., 1997.

14. Татищев 1979 — *Татищев В. Н.* Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах (1733) // Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 51–132.
15. Филин 1957 — *Филин Ф. П.* О лексико-семантических группах слов // Езиковедски исследования в чест на акад. Стефан Младенов. София, 1957. С. 523–538.
16. Харченко 2016 — *Харченко В. К.* Перечни, списки, каталоги в художественном тексте // Теория языка и межкультурная коммуникация. 2016. № 3 (22). С. 36–43.
17. Eckhoff 2011 — *Eckhoff H. M.* Old Russian possessive constructions. A Construction Grammar approach. Berlin, Boston, 2011.



**II**  
**ИМЯ И ЖАНР**  
**В ЛИТЕРАТУРЕ**  
**РУССКОГО**  
**КЛАССИЦИЗМА**





## АНТРОПОНИМЫ В РУССКОЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОДЕ XVIII ВЕКА

---

---

### 1

Предметом настоящей статьи являются антропонимы в торжественных одах русских поэтов XVIII века. Под антропонимом в данном исследовании понимаются:

1) собственно антропонимы в узком смысле (антропоним — «любое собственное имя, которое может иметь человек» (Подольская 1978: 30));

2) мифоантропонимы как частный случай мифонима (мифологическое имя (мифоним) — «имя вымышленного объекта любой сферы ономастического пространства в мифах и сказках, в том числе мифоантропоним, мифотопоним, мифозооним, мифофитоним, мифоперсоним, а также теоним» (Подольская 1978: 125));

3) теонимы (теоним — «собственное имя божества в любом пантеоне» (Подольская 1978: 131)).

Причиной такого широкого понимания термина «антропоним» является то обстоятельство, что важной отличительной особенностью русской торжественной оды было объединение реальной и нереальной ономастики. Примеров такого объединения множество. Ломоносов в «Оде на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года» пишет: «В полях кровавых **Марс** страшился, / Свой меч в **Петровых** зря руках, / И с трепетом **Нептун** чюдился, / Взирая на Российский флаг» (Ломоносов 2011: 8, 180<sup>1</sup>). Марс

---

<sup>1</sup> Далее ссылки на издание (Ломоносов 2011) оформляются в тексте статьи сокращенно: первая цифра в скобках обозначает том, вторая страницу.

и Нептун оказываются такими же героями ломоносовской оды, каким является император Петр I<sup>2</sup>. Так же антропоморфно изображается в одах и христианский Бог. Например, в «Оде на прибытие Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации» Бог разговаривает с императрицей: «Благословенна вечно буди, — / Вещает **Ветхий деньми** к Ней, — / И все твои с тобою люди, / Что вверил власти я Твоей. / Твои любезные доброты / Влекут к себе Мои щедроты. / Я в гневе Россам был Творец, / Но ныне паки им Отец; / Души Твоей кротчайшей сила / Мой гнев на кротость преложила» (8, 77).

Ломоносовский одический тезаурус имен был описан Т. Е. Абрамзон в специальном исследовании (Абрамзон 2004). Нами были описаны антропонимы в торжественных одах А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова и В. П. Петрова. Имена собственные были разделены на следующие условные группы: 1. Античные мифологические имена. 2. Библейские имена. 3. Наименования христианского Бога. 4. Исторические имена. 5. Прочие имена. Статистические подсчеты велись с учетом следующих принципов:

1. Отдельно учитывалось три показателя: количество персонажей, количество различных имен, количество употреблений имен в анализируемом материале.

2. При подсчете количества имен отдельно учитывались все варианты именованья того или иного персонажа, например: *Амфитрида / Амфитрита, Алцид / Алкид / Иракл, Марс / Градив*.

3. При подсчете количества имен омонимы не разграничивались, например, *Екатерина (Екатерина I и Екатерина II), Елизавета (Елизавета Алексеевна и Елизавета Петровна), Константин (Константин Великий и Константин Павлович)* в каждом случае учитывались как одно имя (но как разные персонажи).

4. Персонажи греческой и римской мифологии разграничивались как разные персонажи, например, *Афина и Минерва, Геракл и Геркулес*.

---

<sup>2</sup> С другой стороны, образы Марса и Нептуна можно квалифицировать как аллегии. Такая двойственность интерпретации является неотъемлемой чертой мифа как вида поэтического иносказания, при котором некая общая идея мыслится в виде живого существа (Лосев 1995: 174). О семантике мифологических имен в русской литературе XVIII века см., в частности: (Войнова 1977).

5. Для таких именований, как *муза, нимфа, аквилон, зефир, бо-рей, грация* и др., фиксировались все случаи употребления — без учета степени апеллиативации и орфографического облика (маю-скульного и минускульного написания).

6. Формы отыменных притяжательных прилагательных учтены в статистике соответствующих им антропонимов (например, прилагательное «Зевесов» отражено в статистике антропонима «Зевес»).

Общие статистические данные по антропонимам в торжественных одах М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова и В. П. Петрова представлены ниже в таблице, перечни персонажей и имен — в приложении к статье.

Группы персонажей / антропонимов		Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Имена античных мифологических персонажей	количество персонажей	34	50	18	38
	количество имен	38	51	18	40
	количество употреблений имен	106	182	71	139
Имена библейских персонажей	количество персонажей	10	4	7	6
	количество имен	10	4	8	6
	количество употреблений имен	13	7	11	7
Наименования христианского Бога	количество имен	23	21	10	15
	количество употреблений имен	87	106	55	73
Имена исторических персонажей	количество персонажей	40	56	18	61
	количество имен	38	60	18	61
	количество употреблений имен	278	313	169	231
Прочее	количество персонажей	3	1	1	3
	количество имен	3	1	2	5
	количество употреблений имен	3	2	3	10

Прокомментируем данные.

1. Наибольшее число античных персонажей и имен встречаем в одической поэзии А. П. Сумарокова. Видно, что в русской одической поэзии XVIII века формировался устойчивый тезаурус античных имен. Из 81 попавшего в нашу базу данных мифологического персонажа 29 встречаются более чем у одного автора. Это *Аврора, Аквилон, Амфион, Амфитрида, Аполлон, Астрея, Атлант, Афина, Ахилл, Беллона, Борей, Венера, Геракл, Геркулес, Гигант, Диана, Зевс, Зефир, Марс, Минерва, Муза, Нептун, Нимфа, Орфей, Плутон, Тифий, Тритон, Фазтонт, Ясон* (см. приложение, табл. 1). Прослеживаются определенные закономерности в именовании античных персонажей в одической поэзии: так, например, *Афина* обычно именуется эпитетом *Паллада*, а *Аполлон* — чаще всего эпитетом *Феб*, *Зевес* используется значительно чаще, чем *Зевс* и т. д. (см. приложение, табл. 5).

2. Корпус библейских персонажей существенно меньше. Максимальное их число — в одической поэзии М. В. Ломоносова. У нескольких авторов встречаются *Агарь, Иисус Навин, Иисус Христос, Моисей, Самсон, Соломон*. Как видно, абсолютное большинство имен ветхозаветные и относящиеся к числу прецедентных, однако встречаются также имена редкие: например, *Нимврод* у Ломоносова в оде «Первые трофеи Его Величества Иоанна III», *Девора* и *Вельфегор* в Хотинской оде Петрова (см. приложение, табл. 2, 6).

3. Наиболее обширный корпус исторических имен в одической поэзии в целом количественно соотносим с корпусом имен античных (наибольшее расхождение наблюдается у Петрова, у которого исторических персонажей примерно на треть больше, чем античных). Наиболее популярных персонажей (которые встречаются у разных авторов) можно разделить на несколько групп:

а) персонажи античной истории (*Александр Македонский, Гомер, Квинт Курций Руф, Константин I Великий, Пиндар, Платон, Гай Юлий Цезарь*),

б) персонажи древнерусской истории (*Дмитрий Донской, Мамай, Святослав Игоревич*),

в) русские цари, императоры и члены императорской семьи (*Александр I, Анна Иоанновна, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Алексеевна, Елизавета Петровна, Мария Федоровна, Михаил*

Федорович, Наталия Алексеевна (жена Павла I), Павел I, Петр I, Петр III),

г) правители других стран (Карл XII, Мустафа III, Фридрих II Великий),

д) российские государственные деятели и полководцы (Б. К. Миних, Г. А. Потемкин, П. А. Румянцев),

е) ученые (Ньютон).

При анализе корпуса исторических имен выявляются индивидуальные предпочтения отдельных одописцев. Так, например, видно, что в одах Петрова отсутствует пласт древнерусской культуры, представленный у Ломоносова именами древнерусских князей и старейшин; у Петрова шире, чем у других поэтов, представлены группы имен восточных государственных деятелей и т. д. (см. приложение, табл. 3, 7).

4. В группу «Прочие» попали следующие персонажи: *Имармена* (олицетворение рока, образ восходит к учению гностиков), *Магомет* (пророк в исламе), *Осирис* (древнеегипетский бог), *Перун* (единственный в одах персонаж славянского пантеона) и *Семирамида* (в аккадской и древнеармянской мифологиях легендарная царица Ассирии).

5. Отдельно описывались наименования христианского Бога, который в торжественных одах является активным действующим лицом. Именования эти отличаются разнообразием; наиболее разнообразны они в одах Ломоносова, у которого встречаем 23 варианта наименования Бога, включая перифрастические: *Бог*, *Бог Великий*, *Бог мира*, *Божество*, *Ветхий деньми*, *Всевишний*, *Вседержитель*, *Всесильный*, *Вышний*, *Вышний Бог*, *Господь*, *Гремящий над нами*, *Зиждитель*, *Зиждитель мира*, *Зиждитель небес и веков*, *Обладатель Твари*, *Отец*, *Правитель Царей и Царств земных*, *Предвечный*, *Содетель*, *Создатель*, *Творец*, *Царь небес*. Наиболее популярными (встречающимися у нескольких авторов) являются наименования *Бог*, *Бог Великий*, *Божество*, *Всевишний*, *Вышний*, *Господь*, *Содетель*, *Создатель*, *Творец*.

В торжественной оде XVIII века особенно ярко ощутимо функционирование антропонимов в качестве формульных элементов поэтических произведений эпохи «готового слова».<sup>3</sup> Рассмотрим «антропонимическую формульность» в русской поэзии XVIII века на материале античных мифологических имен в одах Ломоносова и Петрова.<sup>4</sup>

Начнем с простого примера традиционной поэтической антономазии у Ломоносова — использования имени *Геркулес* в значении ‘богатырь, воин’:

Там вкруг облег Дракон ужасный,  
 Места святы, места прекрасны  
 И к облакам сто глав вознес!  
 Весь свет чудовища страшится,  
 Един лишь смело устремиться  
 Российский может *Геркулес*.  
 Един сто острых жал притупит  
 И множеством низвержет ран,  
 Един на сто голов наступит,  
 Восставит вольность многих стран.

(М. В. Ломоносов «Ода на рождение Павла Петровича сентября 20 1754 года»; 8, 506)

Аналогичный пример встречаем в оде Петрова:

Вал взят; полночны *Геркулесы*  
 Перунных с местию десниц

---

<sup>3</sup> О формульности русской торжественной оды писали многие исследователи, которые обращались к анализу этого жанра: О. Покотилова, Е. Гречищева, В. Дороватовская, И. И. Солосин, Г. А. Гуковский, Л. В. Пумпянский, И. З. Серман, Е. А. Погосян, Н. Ю. Алексеева, К. Ф. Тарановский, М. Л. Гаспаров, М. И. Шапир и др. Ср. также любопытное новейшее стиховедческое исследование: (Tverianovich 2019).

<sup>4</sup> Настоящий раздел статьи впервые опубликован: (Матвеев 2019: 76–88).

Спускаются через утесы  
На новых ужасы бойниц  
(В. П. Петров «На взятие Измаила декабря  
11 дня 1790 года»; Петров 2016: 189<sup>5</sup>)

Обратим внимание на контекст, в котором использовано имя у Ломоносова и у Петрова. 16 строфа ломоносовской «Оды на рождение Павла Петровича сентября 20 1754 года» посвящена Турции, которую Ломоносов считал наиболее опасным соседом России (8, 944). У Петрова имя *Геркулес* также появляется в антитурецкой оде — после покорения Измаила (по условиям Ясского мира) была установлена русско-турецкая граница по реке Днестр и все северное Причерноморье закрепилось за Россией. Таким образом, в оде Петрова как бы явлено исполнение ломоносовского «пророчества», и включение Петровым в свою оду «ломоносовской» антономазии (правда, с небольшим изменением — с превращением единственного числа во множественное) кажется не случайным.

Частым в русской одической поэзии было использование по отношению к российским императрицам имен античных богинь. Здесь также наблюдается преемственность Петрова по отношению к Ломоносову. Так, имя богини Афины, которая в одической поэзии Ломоносова и Петрова именуется только эпитетом *Паллада*, использовалось в поэзии Ломоносова сначала по отношению к императрице Елизавете, а затем по отношению к императрице Екатерине:

Великая Елисавет  
Дела Петровы совершает  
И глубине повелевает  
В средину недр земных вступить!  
От гласа *Росския Паллады*  
Подвиглись сильныя громады  
Врата пучине отворить!

(М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны ноября 25 дня 1752 года»; 8, 451)

---

<sup>5</sup> Далее ссылки на издание (Петров 2016) оформляются в тексте статьи сокращенно: цифра в скобках обозначает страницу.



Россия оком умиленным  
И сердцем, в счастье услажденным,  
Какой в восторге кажет вид!  
Взирая, как на нежны Крины,  
В объятиях Екатерины  
Младому Павлу говорит:

«О ты, цветущая отрада,  
О верность чайний моих!  
Тебя родила мне *Паллада*  
Для продолженья дней золотых...».

(М. В. Ломоносов «Ода Екатерине  
Алексеевне в новый 1764 год»; 8, 726)

Петров использует то же наименование по отношению к Екатерине, причем снова мы видим легкое варьирование: *Росская Паллады* у него превращается в *российския Паллады*:

И возгласит твои <Потемкина — Е. М.> доброты,  
Душевных многих блеск даров,  
Жар к вере, к воинству щедроты;  
К пришельцам, сиротам покров,  
Гремящая войны науку,  
Рожденную к победам руку,  
Броню твою, твой щит, твой меч;  
Дары *российския Паллады*,  
Чтобы тебе пленити грады  
И под ярем всех варвар влечь.

(В. П. Петров «На взятые Очакова декабря  
6 дня 1788 года»; 167)

Еще один пример заимствования антономазии вместе с окружающими имя словами — это использование имени *Минерва*:

Науки, ныне торжествуйте: <i>Взошла Минерва на Престол.</i> Пермесски воды, ликовствуйте, Шума крутитесь в злачный дол. (М. В. Ломоносов «Ода торжественная Екатерине Алексеевне на ея восшествие на всероссийский императорский престол июня 28 дня 1762 года»; 8, 709)	Встань, Платон, и посмотри, — <i>У нас Минерва на престоле;</i> Ея покорствуем мы воле; Ей ставим с верой олтари. (В. П. Петров «На сочинение нового Уложения»; 38)
--	---

Видно, что Петров не ограничивается заимствованием только одного имени — заимствуется целый словесный комплекс, причем снова имеет место определенное варьирование.

Следующий пример также демонстрирует заимствование вместе с именем определенного композиционного целого. Приведем два фрагмента, в каждом из которых встречается имя *Зевес*:

<p>Что, дым и <i>пепел</i> отрыгая, Мрачил вселенну, Енцелад Ревет, под Етною рыдая, И телом наполняет ад; <i>Зевесовым</i> пронзен ударом, В отчаяньи трясется яром, Не может тяготу поднять, Великою покрыт горою, Без пользы движется под тою И тщетно силится восстать, — Так варварство Твоим Перуном Уже повержено лежит... (М. В. Ломоносов «Ода, в которой Ея Величеству благодарение от со- чинителя приносится за оказанную ему высочайшую милость в Сар- ском селе августа 27 дня 1750 года»; 8, 265–266)</p>	<p>Уж скован Крым; Бендеры срыты, Печальной чернотью покрыты, Лежат, как в <i>пепл</i> сожженный сруб, Как посреди несчастлива леса <i>Пожранный молнией Зевеса</i> Без листия и ветвий дуб! (В. П. Петров «На заключение с Оттоманскою Портою мира»; 76)</p>
--	---

В ломоносовской оде присутствует уподобление: подобно тому, как Энцелад, один из гигантов, сын Тартара и Геи, погибал от Зевса, — так же гибнет варварство благодаря усилиям императрицы Елизаветы (Ломоносов был принят императрицей в Царском Селе и беседовал с ней о развитии науки в России (8, 885)).

Петров в оде «На заключение с Оттоманскою Портою мира» заимствует у Ломоносова сразу несколько элементов:

- а) имя *Зевес* в составе развернутого сравнения;
- б) грамматическое клише (*Зевесовым* пронзен ударом / *Пожранный молнией Зевеса*; у Ломоносова: творительный инструментальный + причастие + притяжательное прилагательное, у Петрова: причастие + творительный инструментальный + родительный принадлежности, который в грамматическом смысле эквивалентен притяжательному прилагательному);

в) словесное окружение (*пепел / пепл*).

В некоторых случаях заимствования, включающие антропоним, могут захватывать различные стиховые уровни текста, в частности рифменный. Приведем пример:

<p>Там Мемель, в виде <i>Фаэтонта</i> <i>Стремглав</i> летя, Нимф прослезил, В янтарного заливах <i>понта</i> Мечтанье в правду претворил. (М. В. Ломоносов «Ода Елисавете Петровне на торжественный праздник тезоименитства сентября 5 дня 1759 года и на преславныя победы, одержанныя над королем прусским нынешняго 1759 года»; 8, 589)</p>	<p>Уа!.. упали <i>Фаэтонты</i> <i>Стремнистых</i> с высоты оград! Не в мягки, им подсланны, <i>понты</i>, <i>Стремглав</i> упали в черный ад! (В. П. Петров «На взятие Очакова декабря 6 дня 1788 года»; 160)</p>
---	---

В оде Петрова обнаруживается редкая узнаваемая ломоносовская рифма: *Фаэтонт* рифмуется с *понтом*. Но заимствования рифмой, как видно, не ограничиваются. Петров, вероятно, сначала использует прием расподобления, заменяя звучное ломоносовское слово *стремглав* на сходное, но все же иное, — *стремнистых* (это слово в поэзии Ломоносова не встречается). О том, насколько ему было важно начать вторую строку с этого энергичного звукосочетания *стр* свидетельствует инверсия (*упали Фаэтонты / Стремнистых с высоты оград!*). Но в четвертой строке автор все же копирует и ломоносовское слово: дополнительно к *стремнистых* появляется еще и *стремглав*.

Заимствования вместе с антропонимом не ограничиваются заимствованиями лексическими или паронимическими — в некоторых случаях заимствуются, говоря терминами ломоносовской «Риторики», «первые идеи», которые могут распространяться различными «вторичными» и «третичными» идеями (7, 87). Например, упоминание *Плутона*, бога подземного царства, влечет за собой у обоих одописцев идею скрытых в земных недрах драгоценностей:

<p>И се Минерва ударяет В верьхи Рифейски копием, <i>Сребро и злато</i> истекает Во всем наследии Твоем. <i>Плутон</i> в расселинах мятется, Что Россам в руки предается <i>Драгой</i> его металл из гор, Которой там <i>натура</i> скрыла; От блеску <i>дневнаго светила</i> Он мрачный отвращает взор. (М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Госуда- рыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»; 8, 185)</p>	<p>Отверз <i>Плутон</i> сокровищ недра, Подземный свет вдруг выник весь; <i>Натура</i> что родит всещедра, Красот ее предстала смесь, <i>Сафиры, адаманты</i> блещут, <i>Рубин с смарагдом</i> искры мещут И поражают взор очей. Низвед зеницы, <i>Феб</i> дивится, Что в зеркалах несчетных зрится, И умножает свет лучей. (В. П. Петров «На карусель»; 25)</p>
--	--

Кроме этого, *Плутон* в обоих фрагментах противопоставлен дневному свету, солнцу. При этом если у Ломоносова используется традиционная перифраза («дневное светило»), то у Петрова солнце персонифицировано в образе *Феба*.

В одических текстах Петрова встречаются случаи, когда он заимствует у Ломоносова целый блок из имен собственных (включающий два или три имени). Приведем один из таких примеров:

<p>Прострешь Свои державны длани Ко Вышнему за нас в церквах, Покажешь мечь и страх в день брани, Подобно, как Твой Дед в полках. &lt;...&gt; Под инну <i>Трою</i> вновь приступит Российский храбрый <i>Ахиллес</i>, Продерский мечь врагов притупит, Хвалою взойдет к верху небес. (М. В. Ломоносов «Ода на день те- зоименитства великого князя Пе- тра Феодоровича 1743 года»; 8, 97)</p>	<p>Коль многи в честь ему лилеи Несет приветственна весна; Толики стяжет он трофеи; Ему вся Азия тесна. Как молнию, свой меч иссунет, Как буря, в Юг от Норда дунет. Вселенна, новых жди чудес! Не в Стиг волшебю погруженный, Броней небесной обложенный Родился новый <i>Ахиллес</i>.  Не <i>Трою</i> рушити назначен; Но гордых варвар победить; И град, кой греками утрачен, От гнусна плена свободить... (В. П. Петров «На всевожден- ное рождение великого князя Константина Павловича 1779 года апреля»; 133)</p>
---	--

В этих фрагментах видно, что Петров заимствует у Ломоносова комбинацию «антропоним + топоним» (*Ахиллес + Троя*). Кроме того, антропоним (*Ахиллес*), использованный в функции антономазии, входит в ритмическое клише (*Российский храбрый Ахиллес — Родился новый Ахиллес*). Представляется важным, что здесь, как и в первом рассмотренном примере (с именем *Геркулес*), повторы имен собственных корреспондируют с определенным повторением сюжета. У Ломоносова идет речь об объявлении Петра Федоровича наследником российского престола и об угрозе начала войны со Швецией — в начале 1743 года Швеция, ведя мирные переговоры, была занята и военными приготовлениями; в Петербурге обсуждался вопрос о возобновлении военных действий (8, 820). Ода Петрова посвящена рождению князя Константина Павловича, которому, как известно, Екатериной было предначертано вернуть Константинополь. Таким образом, в двух одах есть общий сюжетный элемент: появляется наследник (великий князь), с именем которого связаны надежды на военные победы.

В следующем примере имя *Ахиллеса* оказывается рядом с именем *Гомера*:

<p>Хотяб <i>Гомер</i>, стихом парящий,          Что древних Еллин мочь хвалил,  <i>Ахилл</i> в бою как огонь палящий          Искусством чьем описан был,          Моих увидел дней изрядство,          На Пинд взойтиб нашол препятство;          Бессловен был егоб язык          К хвале Твоих доброт прехвальных          И к славе, что в пределах дальных          Гремит, коль разум Твой велик.          (М. В. Ломоносов «Ода, которую          в торжественный праздник высокаго          рождения Иоанна Третьяго          1741 года августа 12 дня веселящаяся          Россия произносит»; 8, 38)</p>	<p>Не тяжек праздных слов примесом,          Красот во слоге он пример;          Когда б он не был <i>Ахиллесом</i>,          Всемерно был бы он <i>Гомер</i>.          (В. П. Петров «Его светлости князю          Григорью Александровичу Потемкину»; 136)</p>
--	--

Оба имени использованы в риторически осложненном контексте. У Ломоносова изображается гипотетическая ситуация: если бы *Гомер*, описавший *Ахилла*, увидел совершенства опекающей малолетнего императора Анны Леопольдовны, то «бессловен был

егоб язык»<sup>6</sup>. У Петрова вслед за Ломоносовым появляется пара *Ахиллес — Гомер*, это тоже риторически осложненный контекст, но тип риторического осложнения иной: это антономазия. Петров говорит следующее: если бы Потемкин не был *Ахиллесом* (‘военачальником’), он непременно был бы *Гомером* (‘поэтом’).

При сопоставлении од Ломоносова и Петрова обнаруживается также любопытный случай повтора группы имен с использованием вариантов имени:

<p>На полночь жает Урагия: «Се здесь, сквозь холмы льдов, сквозь град <i>Руно</i> златое взять Россия Денницы достигае врат; <i>Язоны, Тифисы, Алкиды,</i> В Российской волю Амфитриды Отдавшись, как в способной ветр, Препятства, страхи презируют И счастьем Павловым кончают, Чего желал великий Петр. (М. В. Ломоносов «Ода Екатерине Алексеевне, в новый 1764 год»; 8, 725)</p>	<p>Вдаль <i>Тифис</i> путь отважный правит; Князей на край безвестный ставит: Коль легок их на берег скок! &lt;...&gt;</p> <p><i>Ираклы</i> новы и <i>Язоны</i>, Хвал вечных ищущи <i>руна</i>, Се борют тяжкие препоны; Их труд зрят солнце и луна. (В. П. Петров «На присоединение польских областей к России»; 222)</p>
---	--

<sup>6</sup> Отметим, кстати, что подобный риторический ход, связанный с путешествием героев ломоносовской поэзии из XVIII века в античность и обратно, еще как минимум один раз использовался Ломоносовым — в «Надписи на конное, литое из меди изображение Елисаветы Петровны в амазонском уборе», созданной в 50-е годы: Увидев Аполлон в меди изображенный / Богини Россия великолепный вид / И бодростью того металл одушевленный / Сотщанием спешил к нему с Парнасских гор. / Промолвил восхищен к строителю перунов: / Стоял бы и по днесь мой город и Нептунов, / Когда бы защищать Приямов скиптр и трон / Пришла подобна сей Царица Амазон. / И тщетнаб вся была коварных Греков сила; / Елисаветаб их в один час низложила. («Надпись на конное, литое из меди изображение Елисаветы Петровны в амазонском уборе»; 8, 578). Несмотря на чудовищные инверсии, главная мысль этого текста понятна: если бы Троя защищала Елизавета или царица Амазон, подобная ей, то «тщетнаб вся была коварных Греков сила». Ср. речь Пентесилеи, увидевшей «русских амазонок», в оде Петрова «На карусель» (1782): «...Цвела б поньне Троя, / Прервав молчание, рекла, — / Когда б, сего прекрасна строя / Я вождь, ей в помощь притекла. / От рук бы наших пали греки, / И я б, стустив их кровью реки, / Во лучших лаврах умерла» (27).

Видно, что в одах в функции антономазии использованы имена трех героев: *Язона*, *Тифиса* и *Геракла*. Приведенная строфа из ломоносовской оды посвящена Северной морской экспедиции; под златым руном, которое получает Россия у врат Денницы, подразумевается доход от торговли с дальневосточными странами (8, 1061–1062). У Петрова речь идет о присоединении к России части Польши после второго ее раздела (1793). Таким образом, повторы имен снова сопровождаются общим сюжетным наполнением фрагментов: в обеих одах речь идет о некоем географическом движении (у Ломоносова — на восток, у Петрова — на запад). Однако имена героев не повторяются Петровым буквально: ломоносовские *Алкиды* заменены на *Ираклов*.

Отметим, что стремление к варьированию наименований при заимствованиях встречается у Петрова не только по отношению к античным мифологическим именам. Подобные же примеры можно обнаружить, рассматривая другую группу имен — наименования христианского Бога. Рассмотрим уже цитированный фрагмент ломоносовской «Оды на прибытие Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 г. по коронации», в котором *Бог* разговаривает с *Елизаветой*. Этот фрагмент послужил импульсом для сходного фрагмента Хотинской оды Петрова:

<p>Благословенна вечно буди, —  <i>Вещает Ветхий деньми</i> к Ней, —  И все твои с Тобою люди,  Что вверил власти Я Твоей.  Твои любезны доброты  Влекут к себе Мои щедроты.  Я в гневѣ Россам был Творец,  Но ныне паки им Отец:  Души Твоей кротчайшей сила  Мой гнев на кротость преложила.  &lt;...&gt;  Претящим оком Вседержитель  Возрев на полк вечерний рек:  О дерсский мира нарушитель,  Ты мечь против Меня извлек.  Я правлю солнце, землю, море,  Кто может стать со мною в споре?  <i>Моя десница</i> мечет гром,  Я в пропасть сверг за грех Содом,  Я небо мраком покрываю;  Я Сам Россию <i>защищаю</i>.  (М. В. Ломоносов «Ода на прибытие Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 г. по коронации»; 8, 77–79)</p>	<p>Но предлагай море в сушу  <i>Вещает Сильный</i> от Небес:  «Я скиптр дарю, Я царства рушу;  Вся тварь полна моих чудес.  Герой среди побед преткнется,  Кто к брани без Меня прострется.  Я областям предел нарек,  Судьбы Мои хранятся ввек.  Кому исследна их пучина?  Мой Кир, моя Екатерина!</p> <p>Восстани днесь, восстань, <i>Девора</i>,  Преступны грады разори;  Теки, низвергни <i>Вельфегора</i>,  Мои воздвигни олтари.  От ига Мой народ избави,  Судей над царствами постави  Вселенной возврати покой;  Не бойся, Я — <i>защитник</i> твой.  <i>Моей десницей</i> чудотворной  Казнен египтянин упорной».  (В. П. Петров «На взятие Хотина»; 50–51)</p>
--	--

Фрагменты обладают значительным сходством, однако словесные переключки между двумя одами ограничиваются началом и концом. Во второй строке повторяется слово *вещает*, в последних строках повторяется словосочетание *моя десница* и присутствует корневой повтор (*защищаю — защитник*). Самое заметное отличие — в именовании Бога: у Ломоносова это перифраза *Ветхий деньми*, которую мы только что рассматривали, у Петрова — эпитет *Сильный*. *Сильный* — это один из библейских эпитетов Бога, он обнаруживается, например, в Евангелии от Луки в словах, произнесенных девой Марией после Благовещения: «Яко сотвори Мне величие *Сильный*, и свято имя Его» (Лк 1:49). Таким образом, Петров, вероятно, руководствуясь необходимостью расподобления, заменяет одно наименование на другое. Также видно, что Петров усиливает ветхозаветный колорит оды, используя в ней редкие библейские антропонимы (*Девора, Вельфегор*).

Анализ формульных элементов одической поэзии Ломоносова и Петрова, включающих антропонимы, позволяет на новом материале показать специфику блочного одического мышления, при котором, как писала Н. Ю. Алексеева, «использование одного элемента блока предполагает следующие элементы» (Алексеева 2005: 296). Наш материал не только свидетельствует о формульной зависимости од Петрова от од Ломоносова,<sup>7</sup> но и проясняет одну из основных стратегий В. П. Петрова, которую он использовал при переработке од Ломоносова. Эту стратегию можно называть «уподобление с одновременным расподоблением». Петров часто заимствует имена, как и другие структуры, в составе готовых композиционных блоков, но никогда не заимствует их буквально, обычно подбирая вариант наименования, варьируя состав словесного окружения имени (апеллятивный конвой), меняя тип риторического осложнения контекста и т. д. Из рассмотрения примеров становится очевидным, что заимствования Петровым антропонимов из торжественных од Ломоносова представляют собой лишь один из «этажей» большой системы многоуровневых заимствований, охватывающих фонетический, лексический, грамматический, стиховой и сюжетно-ассоциативный уровни поэтических произведений.

---

<sup>7</sup> О словесных и ритмико-синтаксических формулах в поэзии Петрова, восходящих к одической поэзии Ломоносова, см.: (Матвеев 2018).



Проанализированные выше примеры демонстрируют, что антропонимическая формульность в русской одической поэзии XVIII века нередко связана с устойчивыми употреблениями антропонимов в переносном значении. Рассмотрим основные формы семантических переосмыслений личных имен в одической поэзии В. К. Третьяковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. П. Петрова и М. М. Хераскова.<sup>8</sup> Несколько схематизируя достаточно разнородный материал, можно выделить в нем семь основных типов семантических преобразований.

### 1. Антропоним вместо нарицательного существительного

Антономазия является весьма продуктивным приемом русской оды. Антономазия описана Ломоносовым в «Кратком руководстве к красноречию» в числе одного из «тропов речений»: «Антономазия есть взаимная перемена имен собственных и нарицательных, что бывает, 1) когда употребляется имя собственное вместо нарицательного, например: *Самсон* или *Геркулес* вместо *сильного*, *Крез* вместо *богатого*, *Цицерон* вместо *красноречивого*; 2) нарицательное вместо собственного: *Апостол* пишет, то есть *Павел*; *стихотворец* говорит, то есть *Виргилий*; 3) когда предки или основатели полагаются вместо потомков, напр.: *Славен* вместо *славян*, *Иуда* вместо *еврейского народа*; 4) имя отечественное вместо собственного: *армянин* вместо *Цицерона*, *троянин* вместо *Енея*; 5) стихотворцы нередко полагают свое собственное имя вместо местоимения *я*, как *Овидий* нередко называет себя своим прозванием *Назон*» (7, 194).<sup>9</sup> Антономазия, в основном понимании этого термина, — это собственное имя в значении нарицательного. Приведем некоторые наиболее частотные антропонимы этого типа.

<sup>8</sup> Первоначальный вариант настоящего раздела опубликован: (Бухаркин, Матвеев 2020: 13–19). В разделе цитаты из од приводятся по следующим изданиям: (Ломоносов 2011: 8; Петров 2016; Сумароков 2009; Третьяковский 2009; Херасков 1798). Ссылки даются сокращенно, с указанием фамилии автора и номера страницы издания.

<sup>9</sup> Ср. современное исследование, в котором, как и у Ломоносова, используется широкое понимание термина: (Арутюнян 2010).

*Алид* (*Алкид*), *Ахиллес*, *Геркулес*, *Иракл* 'храбрый воин, герой': «Зришь, *Алиды* уж готовы» (Тредиаковский, 154); «То не матерь басней Троя / Не один тут *Ахиллес*: / Каждый рядовой из строя / Мужеством есть *Геркулес*» (Тредиаковский, 152); «Под инну Трою вновь приступит / Российский храбрый *Ахиллес*» (Ломоносов, 97); «Един лишь может устремиться / Российский может *Геркулес*» (Ломоносов, 506); «*Ираклы* новы и *Язоны*» (Петров, 222); «Пойдет Российский *Ахиллес*» (Сумароков, 139); «Российский будет *Геркулес*» <о великом князе Александре Павловиче> (Херасков, 172).

*Марс* 'армия, военные силы государства и государство в целом': «И *Марс* Российский не гремел» (Сумароков, 45); «Покойся *Марс* Российской ныне, / Под тенью мира отдыхай, / И песни ко Екатерине / В безбранной тишине внимай» (Херасков, 87).

*Моисей* 'великий законодатель': «Щедроты окиян излей / Помазанный святым елеем; / Мафусаилов век владей, / В законах буди *Моисеем*» (Херасков, 204).

*Невтон* 'ученый-естествоиспытатель', *Платон* 'философ': «... может собственных *Платонов* / И быстрых разумом *Невтонов* / Российская земля раждать» (Ломоносов, 185).<sup>10</sup>

*Пиндар* 'одический поэт': «Там новый возгремит *Пиндар*» (Петров, 52).

*Соломон* 'мудрец': «Меж них он был бы *Соломон*» (Петров, 82); «А Ты яви нам *Соломона*, / Будь Павел Первый, Первый Петр» (Херасков, 198).

*Фаетонт* 'безрассудный самонадеянный человек или народ': «Там, видя выше горизонта / Входяща Готфска *Фаетонта*» (Ломоносов, 78; о шведах);<sup>11</sup> «Уа!.. упали *Фаетонты* / Стремнистых с высоты оград!» (Петров, 160; о турках); «А я с горяща горизонта, / Низпадша вижу *Фаетонта*» (Сумароков, 96); «Низвержен гордый *фаетонт*» (Сумароков, 187).

---

<sup>10</sup> Ср. развитие приема у Сумарокова: «Твоя сияюща корона, / В России Локка и Невтона, / И всех премудрых оживит» (Сумароков, 39); см. ниже еще один пример из оды Сумарокова, в котором сохраняется ломоносовская антропонимическая рифма.

<sup>11</sup> Ср. также уподобление *Фаетонту* Мемеля у Ломоносова: «Там Мемель, в виде *Фаетонта* / Стремглав летя, Нимф прослезил» (Ломоносов, 652).

Мифологические имена в значении нарицательных существительных могут в некоторых случаях получать вторичное — метафорическое — переосмысление. Например, имя *Аврора* ‘зря’ в одической поэзии может получать значение ‘о начале новой эпохи’: «Породы Царской Ветвь прекрасна, / Моя Надежда, Радость, Свет, / Щастливых дней *Аврора* ясна, / Монарх-Младенец, райской Цвет» (Ломоносов, 32; к Иоанну Антоновичу); Прекрасно солнце на восходе / Приносит нову жизнь Природе / *Аврора* тако Ваших дней, / Любовь и качества душевны / Сулят нам радости полдненьны» (Херасков, 145; к сочетающимся браком Павлу Петровичу и Наталии Алексеевне).

## 2. Антропоним, замещающий другой антропоним

Следующим распространенным приемом поэтического языка русской оды является использование антропонима вместо другого антропонима. В этих случаях имя выполняет функцию устойчивого эпитета или «имени-титула»<sup>12</sup>, который присваивался тому или иному историческому персонажу.

Об Александре I: «Тебе родился *Аполлон*» (Петров, 120; обращение к музе).

О Екатерине II: «О честь тебе, Орлов, / Содейственник *Астреи!*» (Петров, 64); «Россия оком умиленным <...> Младому Павлу говорит: // “О ты, цветущая отрада, / О верность чаяний моих! / Тебя родила мне *Паллада* / Для продолженья дней златых...”» (Ломоносов, 726); «Мы именем *Семирамиды* / Разсыпем пышны пирамиды» (Сумароков, 143); «*Минерва*, царствующа нами» (Херасков, 186).

## 3. Антропоним в значении этнонима или топонима

В одической поэзии XVIII века встречаются примеры, когда антропоним заменяет собой топоним или этноним (последнее — второй, по Ломоносову, тип антономазии: «когда предки или основатели полагаются вместо потомков» (7, 194)). Чаще всего такой тип преобразования используется при обозначении *Турции* и *турок*:

---

<sup>12</sup> См.: (Проскурина 2006: 59).

а) «И изгнанна *Агарь* из врат» (Сумароков, 143); «И тешишь плачущу *Агарь*» (Петров, 76);

б) «Ражженный яростью *Магмет*» (Ломоносов, 702); «Где нет *Магмеда*, тамо мир» (Петров, 56).

У В. К. Тредиаковского встретился пример необычного использования мифонима *Нептун*: «Станислава <Лещинского> принимает <Гданьск>, / Ищет дважды кой венца, / В свой округ и уповаet / Быть в защите до конца / Чрез востекшего *Нептуна*» (Тредиаковский, 153). Здесь мифологическое имя обозначает топоним — реку Вислу (Тредиаковский, 584).

#### 4. Антропоним в составе перифразы

Перифраза — одна из характерных особенностей поэтического языка русской оды. Наш материал показывает, что в большинстве случаев в состав перифраз входит антропоним, например:

О Екатерине II: «О волн *евксинских Амфитрита!*» (Петров, 161).

О турках: «А ты, *агари племя*, знай» (Сумароков, 183); «Готовься *Агареин род*» (Херасков, 140).<sup>13</sup>

Об Алкивиаде: «*Сократов ученик и друг*» (Сумароков, 96).<sup>14</sup>

Значительное число перифраз в одах включают в себя знаковое для русской панегирической поэзии XVIII века имя *Петр*, которое включается в целый ряд перифрастических моделей: *Петров град*, *Петров дом*, *Петровы стены* и др.

О Петербурге: «Из всех градов везде *Петрову граду*» (Тредиаковский, 164); «Красуются *Петровы стены*» (Ломоносов, 55).

Об императорской семье: «Господь умножил *Дом Петров*» (Ломоносов, 570); «Что вносиши в *Петров ты дом?*» (Петров, 113).<sup>15</sup>

Во многих случаях основой перифраз с именем *Петр* являются термины родства (*дочь*, *дед*, *внук*, *правнук*).

---

<sup>13</sup> Ср. также перифразу у Ломоносова, из которой исключен антропоним: «То *род отверженной рабы*, / В горах огнем наполнив рвы, / Металл и пламень в дол бросает» (Ломоносов, 17).

<sup>14</sup> Здесь мы сталкиваемся с примером «двойного иносказания»: *Сократов ученик и друг* — это перифрастическое именование Алкивиада, который используется в переносном значении ‘военачальник, полководец’.

<sup>15</sup> Ср. о Турции: «Исполнил страхом лес, долины / Отчаяньем *Махметов дом*» (Херасков, 164)

О Елизавете: «Мы славу *Дщери* зрим *Петровой*» (Ломоносов, 75); «О Монарх наш, *дочь Петрова*» (Сумароков, 31).

О Петре Федоровиче: «И тем почти *Петрова внука*» (Ломоносов, 95).

О Екатерине II: «Что ныне, чтя *Петрову Внуку* / Пою, как пел *Петрову Дщерь*» (Ломоносов, 718).

О Павле I: «К нам *Правнук* шествует *Петров!*» (Херасков, 201).

Разумеется, перифразы с терминами родства могут содержать и другие исторические имена (о Екатерине II: «*России всей и Павла Мать*» (Херасков, 222)) или имена мифологические (об Афине: «*Дщерь Зевса* мысли воздымать, / Охоты вашей приумножит»; о Деметре: «*Прекрасной Прозертины мать*, / Свое искусство вам приложит» (Сумароков, 139)).

Двумя другими продуктивными типами являются перифразы с компонентами *российский / росский* (а) и *новый* (б).

а) О Екатерине II: «В *Российской* волю *Амфитриды*» (Ломоносов, 725); «От стрел *Российския Дианы*» (Ломоносов, 679); «От *Росския Семирамиды* / Падут над Нилом пирамиды» (Сумароков, 148); «*Минерва Росска* грома мечет» (Сумароков, 143); «И славно имя возвышал, / *Российской щастливой паллады*» (Сумароков, 153); «*Российская Фетида* вскоре, / Восколебала горы, лес» (Сумароков, 161).

О П. А. Румянцеве: «*Перикл, алькивиад российский*» (Сумароков, 187)

О П. И. Панине: «*Перикла Росска* не забудет» (Сумароков, 157).

О русских воинах: «*Сыны Российския Алькмены*, / Проломят самы тверды стены» (Сумароков, 65).

б) О Елизавете Петровне: «Ты *новый Александр* теперь» (Сумароков, 46).

О военачальнике: «О буди кто из нас готовый, / Нам вождь *Перикл*, иль *Минних новый*, / На нуждны казни внешняя зла!» (Сумароков, 96).

О Платоне Левшине: «И слыша *нова Феофана*» (Сумароков, 157).

О Г. А. Потемкине: «Как в сердце ты моем, *Феб новый*, ощутился» (Петров, 107).

Встречаются случаи, когда две вышеуказанные перифрастические модели соединяются в одном контексте, например: «...*Росския Минервы Внук* 'Александр Павлович' / Умножил древней славы звук» (Херасков, 168).

## 5. Антропоним в составе устойчивого сочетания

Антропонимы в русской оде могут входить в состав устойчивых сочетаний, имеющих мифологический или библейский источник.

*Век Астреи, Астреины часы, Августовы лета* 'золотой век, счастливая пора': «Как пели во златые дни, / Или как в *век Астреин* пели» (Херасков, 195); «Уже Россия дожидалась / Златых *Астреинных часов*» (Херасков, 132);<sup>16</sup> «Настали *Августовы лета*» (Сумароков, 95).<sup>17</sup>

*Затворить Яновы врата, закрыть вход во Янов дом, затворить Янов дом* 'прекратить войну': «Твоей *затворятся* рукою, / Разверсты *яновы врата*» (Сумароков, 164); «Премудрыя минервы персты, / *Закрыли вход во янов дом*» (Сумароков, 186); «И *янов затворили дом*» (Сумароков, 187).

*Мафусаилов век* 'о долголетьи': «*Мафусаилов век* владей, / В законах буди Моисеем» (Херасков, 204; обращение к Павлу I).

## 6. Антропонимические рифмы

В качестве особого поэтического приема поэтического языка русской оды следует рассмотреть антропонимические рифмы, то есть те случаи, когда на рифменной позиции, представляющей композиционно сильное место поэтического текста, оказываются два антропонима. Например: «...может собственных *Платонов* / И быстрых разумом *Невтонов* / Российская земля раждать» (Ломоносов, 185); «Узрим божественна *Платона*, / Сократа, Локка и *Невтона*, / И хитростям да дастся дань, / В Апелле и во Праксителе: Гомеров дух у Росса в теле» (Сумароков, 124); «Не сладким сном в ночи прельщает / Народы дремлющи *Морфей*; / Не басни

---

<sup>16</sup> О связях мифа об Астрее с идеологией в эпоху Екатерины II см., в частности: (Проскурина 2006: 57–104).

<sup>17</sup> Ср. у Ломоносова в незавершенном «Слове благодарственном Елисавете Петровне 1760 года»: «Подвигнется Европа; ученые, возвращаясь в отечество, станут сказывать: мы были во граде Петрове, гроб его видели, мы видели Елисаветы, мы видели чудная дела Божия и Петровы, мы видели там Августово время, Меценатов» (Ломоносов, 619).

Амфион вещает, / Не камни движет здесь *Орфей*» (Херасков, 121). Приведенные примеры из од Ломоносова и Сумарокова демонстрируют, что антропонимическая рифма может быть предметом заимствования одного одического поэта у другого.<sup>18</sup>

Любопытный пример «антропонимической амплификации», соединяющей различные формы поэтического переосмысления одного мифологического имени в одном фрагменте оды, находим у В. П. Петрова в оде П. А. Румянцеву-Задунайскому: «С высот Фракийских гор то видя, *Марс* чудится, / Ровнять с собой вождя россиян не стыдится. / “Сколь долго я, — речет, — с людьми ни обитал, / Не зрел, кто б так побед на крыльях летал. / Отныне на моей я ввек вселюсь планете, / *Румянец* — *Марс*; почто двоим быть в том же свете? <...>” / *Марс* рек, и новый *Марс* вдруг миром брань венчал» (Петров, 99). В этих строках развивается характерная для русской оды тема соперничества русского XVIII века с античностью:<sup>19</sup> бог *Марс* уступает место новому *Марсу* — Румянцеву и отправляется «в ссылку» на одноименную планету. Имя *Марс* используется в трех различных функциях: 1) как имя героя оды, обладающего мифологической двойственностью (*Марс*, как и Румянец, — персонаж одического мира / *Марс* — аллегория войны), 2) как антономазия («Румянец — *Марс*»), 3) в составе перифразы (Румянец — «новый *Марс*»)<sup>20</sup>.

#### 4

Заметным приемом поэтического языка русской панегирической поэзии XVIII века является обыгрывание антропонимов, относящихся к соименным героям. Актуализация внутренней

---

<sup>18</sup> О других примерах заимствования рифмы (в том числе с антропонимами) одного одического поэта у другого см.: (Матвеев 2018: 360–361).

<sup>19</sup> См. другие подобные примеры: (Матвеев 2019: 84–85).

<sup>20</sup> Фиксация вышеописанных форм семантических преобразований антропонимов является одной из главных задач «Словаря антропонимов в русской поэзии XVIII века (на материале поэтических панегирических жанров)», пробный выпуск которого был подготовлен в ИЛИ РАН (Словарь антропонимов 2022).

формы антропонима была излюбленным приемом поэтики барокко. О различных формах такой актуализации писала, продолжая исследования Э. Р. Курциуса (Курциус 2021) и Г. Кайперта (Keipert 1988), Л. И. Сазонова в статье «Имя в риторике и поэзии XVII века у восточных славян» (Сазонова 2002). Сазонова сосредотачивается прежде всего на формах этимологизации имени в поэзии XVII века, однако отмечает и случаи смыслового обыгрывания соименных героев: «Поэтика двоящегося образа, берущая начало в принципе отражения <...> использовала *имя как аллегорию*. Имя царя Алексея Михайловича — также имя Алексея Человека Божия. Зеркальное отражение имен святого и царя-тезки образует лестный для царя аллюзивный образ, и святой выступает уже не только как самостоятельный персонаж, но как аллегория» (Сазонова 2002: 11). Сазонова рассматривает и другие примеры уподобления царей их небесным покровителям: Федора Алексеевича сопоставляли с Федором Стратилатом, Ивана Алексеевича — с Иоанном Предтечей, Петра Великого — с апостолом Петром (Сазонова 2002: 11–12). Хорошо известно о преемственности русской оды XVIII века по отношению к панегирической литературе предшествующего столетия. Проанализируем подобные примеры «двоящихся образов» в русской оде XVIII века на материале антропонимических уподоблений императоров и членов императорской семьи соименным героям<sup>21</sup>.

Самый простой случай соименства — это указание на одинаковые имена, которые носили русские императоры, цари и великие князья. Примеры акцентирования соименности Ивана III и Ивана Грозного приведены в статье М. Г. Шарихиной (см. с. 188 наст. изд.). Приведем также пример из панегирического стихотворения В. П. Петрова, который пишет о соименности Екатерины I и Екатерины II: «Здесь, здесь Господень Дух, Дух той же и един / *Обеих* на главы сошел *Екатерин*» («На торжественное венчание и миропомазание Павла Петровича»; Петров 1811: 2, 221).

---

<sup>21</sup> Для настоящего раздела рассматриваемый материал был расширен как в жанровом отношении, так и в отношении круга поэтов: здесь рассмотрены не только оды, но и другие панегирические стихотворения, в круг рассматриваемых авторов вошли также В. И. Майков, Ф. Я. Козельский, Г. Р. Державин.



Сопоставления соименных героев в русской оде часто связаны с именем *Петр*. Л. И. Сазонова отмечает, что «в русской аллегории <...> закрепились семантическая параллель: Петр Великий — апостол Петр, низвергший дерзкого волхва, что использовано в деревянном барельефе над воротами Петропавловской крепости, выполненного в 1707 г. Конрадом Оснером<sup>22</sup>» (Сазонова 2002: 12; Морозов 1974: 200). Примеров уподобления имени императора апостолу в просмотренных одах Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Поповского, Хераскова, Ржевского, Петрова, Кострова и Державина нам не встретилось. Можно предположить, что имя императора Петра Великого в русской оде уже обладало своей насыщенной семантической аурой и не требовало сопоставлений с кем бы то ни было. Имя *Петр* в русской оде XVIII века, как и имя *Екатерина*, могло функционировать как нарицательное обозначение свойств идеального государя<sup>23</sup>. Такое употребление имени находим, например, у М. М. Хераскова в «Оде на день высочайшего рождения Ея Имп. Величества, 1763 года»:

Екатерина! Ты приводишь  
К концу, что начал делать Петр.  
Сие начало совершится,  
Да вечно славы не лишится  
Благословенной свыше Дом,  
И паче свой народ прославит;  
Великаго *Петра* представит  
Она во Павле молодом  
(Херасков 1798: 89).

Еще один похожий пример встречается у Хераскова в оде на восшествие на престол Павла I (1796):

Чей правнук, Павел не забудет,  
Чей сын, Он станет вспоминать,

---

<sup>22</sup> Придворный скульптор императора Петра I.

<sup>23</sup> Об образе Петра I в русской поэзии XVIII века см.: (Мотольская 1938).

И день от дня отныне будет  
Россия в славе возрастать;  
Вселенна Павлу удивится,  
*Екатерина* в Нем явится,  
Явится в Нем Великий *Петр*  
(Херасков 1798: 194).

В конце этой оды Херасков обращается к Павлу со словами: «Будь Павел Первый, *Первый Петр*» (Херасков 1798: 198). Речь, конечно, не о том, что Павел должен полностью перевоплотиться в Петра, а о том, что он должен стать таким же идеальным и сильным правителем, каким был его прадед.

С Петром Великим по критерию соименности мог напрямую сопоставляться Петр Федорович, император Петр III. Такое сопоставление находим, в частности, в «Оде Петру Федоровичу в день восшествия на престол декабря 25 дня 1761» А. П. Сумарокова:

Тобой наследник утвержденный,  
Монархом нашим наречен:  
Твоею сын Сестрой рожденный,  
Уже в порфиру облечен.  
От Бога, от Петра, толикий,  
И ото Дщерей, нам, Его,  
Дан дар, и для ради того,  
Дабы Ты *Петр* был *Петр великий*  
(Сумароков 2009: 240).

Особенно часто тема «нового Петра» развивалась в одах в честь бракосочетания Павла Петровича и Наталии Алексеевны: авторы обыгрывали соименство матери Петра I, Н. К. Нарышкиной, и супруги Павла Петровича, выражая надежду на то, что «новая Наталия» родит «нового Петра». Например, в оде великой княгине Наталии Алексеевне (1773) А. П. Сумароков писал:

*Наталия* Красой прельстила,  
И нам *Петра* произростила;  
Яви нам новыя цветы,  
Плоды последуют за ними:

*Наталия* судьбами сими,  
Произрости *Петра* и ты!  
(Сумароков 2009: 168)

Как видно, здесь в аллегорической функции выступает Петр I: одописец надеется, что у Павла Петровича и Наталии Алексеевны родится младенец, который станет реформатором, выдающимся правителем и будет во всем подобен своему великому прапрадеду.

Подобные примеры встречаются и у других поэтов. Например, в том же 1773 году в оде на бракосочетание Павла Петровича и Наталии Алексеевны М. М. Херасков писал:

Сердца мы Богу открываем,  
Гремящим гласом все взываем:  
Утешь от *Павла* нас плодом!  
Вели, чтоб в век цвела Россия!  
И от *Наталии* *другия*,  
От Ней и *Павловой* любви,  
Другаго нам *Петра* яви!  
(Херасков 1798: 151)<sup>24</sup>

У В. И. Майкова в «Оде на день брачного сочетания цесаревича великого князя Павла Петровича и великия княгини Наталии Алексеевны» (1773) используется та же модель («вторая Наталия»):

Будь *Наталия* *вторая*  
И роди во свет *Петра* —  
Рождшей *Павла* к утешенью  
И венца ко украшенью!  
(Майков 1966: 239)

Вообще, обыгрывание соименности при помощи конструкции с прилагательными «другой», «второй» встречается неоднократно.

---

<sup>24</sup> Впрочем, А. Л. Зорин предлагает интерпретировать здесь имя *Петр* не как апеллятив, а как указание на то, что Павлу I, учитывая традиции императорского ономастикона XVIII века, должен наследовать Петр IV (Зорин 2001: 62–63).

Выше мы привели два примера использования этой модели при характеристике Наталии Алексеевны — Державин использует тот же прием в стихах «На рождение Ея Высочества Великой княжны Ольги Павловны» (1792):

Любовь! — любовь, или краса,  
Иль *Ольга* к нам пришла *вторая*?  
Минута светлая, золотая  
Блаженного часа!

<...>

Уж зрю я: с севера на юг  
Светильник *Ольга* возвращает!  
(Державин 1864–1883: 1, 501)

Эти строки сам Державин в своих «Объяснениях на сочинения»<sup>25</sup> объясняет так: «Древняя *Ольга*, приняв христианство, принесла просвещение с юга на север, а новорожденная, как можно было предполагать, перенесет свет с севера на юг, т. е. в турецкие владения» (Там же)<sup>26</sup>. Отметим, что державинское пророчество не сбылось, так как великая княжна *Ольга Павловна* не прожила и трех лет.

Как и в русской барочной поэзии XVII века, в торжественных одах XVIII столетия русские императоры могли уподобляться своим небесным покровителям: Павел I — апостолу Павлу, Александр Павлович — Александру Невскому, Михаил Павлович — архангелу Михаилу и др. Рассмотрим примеры.

---

<sup>25</sup> Полное название этого труда Державина: «Объяснения на сочинения <...> относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен; иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна» — показывает, что собственные имена в поэзии, по мнению поэта, требовали особого толкования.

<sup>26</sup> Ср. в «Оде на взятие Измаила» (1791): «Не вновь ли то Олег к Востоку / Под парусами флот ведет / И *Ольга* к древнему потоку / Занятый ею свет лиет?..» (Державин 1864–1883: 1, 356).

Г. Р. Державин в оде «На новый 1797 год» сопоставляет императора Павла I с его небесным покровителем апостолом Павлом.

Христова Церковь *Павла* в нем  
Избранный тот сосуд встречает  
Который мир, любовь и свет,  
Все добродетели во нравы  
И жажду неземных славы  
В благочестивы души льет  
(Державин 1864–1883: 2, 21).

Контекст не вполне ясен, его смысл проясняется самим Державиным в «Объяснениях на сочинения»: «Сосуд избранный — апостол Павел, под именем которого здесь разумеется император Павел, который, по-оказанному им в первый день благочестию, мог почитаться по справедливости благочестивым государем» (Державин 1864–1883: 3, 658).

Великий князь Александр Павлович мог сопоставляться со своим небесным покровителем Александром Невским. Такое уподобление встречается, например, у Хераскова в «Оде на всерадостное рождение великого князя Александра Павловича» (1777):

Се *новый Александр* родился  
И берег Невский возгордился,  
Что Росския Минервы Внук  
Умножит древней славы звук  
(Херасков 1798: 168).

Имя новорожденного великого князя не случайно сопровождается прилагательным *новый*: вторая строка, содержащая топоним *Невский*, одновременно являющийся прозвищем знаменитого новгородского князя, небесного покровителя будущего императора, вводит сопоставление с Александром *древним*. Таким образом, семантика имени, отсылающая одновременно к двум денотатам, раздваивается — реализуется барочный принцип отражения.

То же сопоставление находим в «Оде на рождение его императорского высочества государя великого князя Александра Павловича декабря 12 дня 1777 года» Ф. Я. Козельского:

Не от геройска мнит рожденья  
Гадать Кассандра сновиденья,  
Что обратится в кровь Скамандр,  
Но в знамени сил надежном,  
На невском бреге безмятежном,  
Воскрес нам *Невский Александр*.  
В стенах пожара илионских  
Народ ахейский не возжет,  
Пред ним на холмах гор Ливонских  
Сраженный страхом готф падет  
(Поэты XVIII века 1972: 1, 487).

Вспоминая о вытеснении шведов из Прибалтики в ходе событий Северной войны, Козельский хочет видеть в Александре продолжателя дел Петра.

Еще один крайне интересный пример сопоставления героя пагенирического стихотворения с его небесным покровителем находим в стихах В. П. Петрова «Рождение его императорского высочества Михайлы Павловича» (1798). Начинается это произведение с изображения небесного мира ангелов:

Из тонка облака, прозрачна,  
Которо плавало средь небеси безмрачна,  
Бог духи сотворил,  
Все красны, стройны, превосходны,  
Со Творчим начертаньем сходны;  
Но краше прочих Михаил  
(Петров 1811: 2, 252).

Далее говорится о том, что рожденное в императорской семье дитя наречено именем архангела, который, по Божьему повелению, встречает новорожденного:

Спеши, Господь ему вещает,  
В чертогах Павлих стань, слетя.  
Мария сына днесь Царю сему раждает:  
Ты встреть входящее в мир дитя;  
Как именем твоим он будет нареченный,

Хощу, да силою небесной облеченный  
Он дышет духом весь твоим... <...>

Бог рек: и Михаил вдруг пламенной браздою <...>  
В чертоги Павловы слетел;  
И глас младенческий в чертогах воззвенел  
(Там же: 253–254).

Новорожденный младенец недоумевает, кто из двоих — Павел  
I или тезоименный ему архангел Михаил — даровал ему жизнь:

Младенец с нежною улыбкой,  
С приятной меж отцем и Ангелом ошибкой,  
Не зная, кто из двух на свет его пустил,  
Дары отца одной рукою  
Копье Архангела другою,  
Со напряжением сил малых огорстил  
(Там же: 254).

Помимо небесных покровителей, императоры и члены императорской семьи часто уподоблялись соименным историческим деятелям прошлого, например, великий князь Александр Павлович мог сопоставляться с Александром Македонским, великий князь Константин Павлович — с Константином Великим и Константином XI Палеологом. Рассмотрим пример из «Оды на всерадостное рождение Александра Павловича» (1777) М. М. Хераскова, в котором наследник сопоставлен:

Не прахом царства он развеет  
Сей *новый Александр* посеет  
По всей вселенной тишину,  
Блаженством заменит войну  
(Херасков 1798: 172).

Здесь Херасков, как и в рассмотренном выше случае уподобления Александра Павловича Александру Невскому, также использует прилагательное *новый*, однако имеет место не сопоставление, а противопоставление двух соименных героев.

Сопоставления героев иногда могут быть неожиданны и довольно причудливы. Так, например, А. П. Сумароков в «Епитафии Карлу XII, королю Шведскому» пишет:

Едва от ужаса сей камень не дрожит;  
*Полночный Александр* зарыт под ним лежит.  
*Восточный Александр* с победою вел Греков,  
Где нет уж и зверей, не только человек;  
Но не был бы и сей как оный побежден,  
Когда бы не был Петр во время то рожден  
(Сумароков 1787: 1, 266).

Здесь *полночным Александром* назван Карл XII (принцип соименности не используется), а *Восточным Александром* — Александр Македонский. Само имя *Александр* в этом контексте апеллируется: оно становится нарицательным и получает значение ‘великий полководец’, а потом в сочетании «восточный Александр» как бы возвращается к своему этимону — используется по отношению к Александру Македонскому.

Одним из самых известных антропонимических сюжетов русской панегирической поэзии XVIII века является уподобление двух соименных героев — великого князя Константина Павловича и византийского императора Константина Великого, уподобление, связанное с так называемым «греческим проектом» Екатерины. Как известно, Константин должен был стать императором восстановленной Византийской империи, с территории которой Екатерина мечтала изгнать турок. Как отмечает А. Л. Зорин, «очевидно, что ко времени рождения в 1779 г. великого князя Константина Павловича проект уже существовал в достаточно разработанном виде» (Зорин 2001: 33). Об этом, в частности, свидетельствует ода А. П. Сумарокова «Государыне Императрице Екатерине Второй, на день коронования Ея Сентября 22 дня, 1770 года», где есть такие строки:

Хор ангельский провозгласит:  
Во вышних Богу буди слава.  
Восторжествуй Палеолог;



В Софийский храм нисходит Бог,  
И гибнет адская держава!

Поборствует России рок,  
Возставит имя *Константина*:  
Подвержется Тебе восток,  
Великая Екатерина!

(Сумароков 2009: 153)

Интересно, что сама Екатерина пыталась опровергнуть слухи о значимости имен, данных ею великим князьям. А. Л. Зорин в своей книге «Кормя двуглавого орла...» приводит в русском переводе фрагмент письма Екатерины Гримму (написанного по-французски): «Позволено ли так обсуждать простые имена, которые даются при крещении. Надо иметь расстроенное воображение, чтобы к этому придирааться: должна ли была я назвать господина А. и господина К. Никодемом или Фаддеем? Святой первого находится в его родном городе, а второй родился через несколько дней после праздника своего святого» (Зорин 2001: 64). В переводе Зорина допущена неточность: Екатерина пишет, что Константин родился не «через несколько дней после праздника своего святого», а «за несколько дней до праздника своего святого»<sup>27</sup>. Видно, что императрица в определенном смысле манипулирует цифрами: великий князь Константин родился 27 апреля, а память его небесного покровителя, равноапостольного царя Константина, отмечается 21 мая (ст. ст.). Между этими двумя датами — почти целый месяц, а вовсе не «несколько дней». А. Л. Зорин пишет, что Екатерина пыталась «отрицать очевидное — смысл имени Константин», при том, что, по словам исследователя, «политический смысл имени великого князя Константина Павловича был ясен всем с момента его крещения» (Зорин 2001: 62). Об этом свидетельствуют, в частности, оды, посвященные рождению великого князя. Например, в оде В. П. Петрова «На всевожденное рождение великого князя Константина Павловича» (1779) эксплицирована соименность Константина Павловича с Константином Великим, основателем Константинополя, победителем узурпатора Максенция:

---

<sup>27</sup> «le second est né peu de jours avant la fête du sien» (СБРИО 1878: 148).

Тезоименный исполину,  
Максентий<sup>28</sup> коим побежден,  
Защитник веры, слава Россов,  
Гроза и ужас чалмоносцов,  
Великий Константин рожден  
(Петров 2016: 132).

Далее в этой же оде характерный для «одической механики» прием (Проскурина 2006: 72): разверзаются небеса, и с небес к новорожденному великому князю обращается Константин Великий:

Раскрылось небо! во порфире  
Стоит зря долу *Константин*,  
И слышан глас его в эфире:  
«Петрово Племя, Павлов Сын,  
Кой перстом рока в мир извлекся,  
И именем Моим нарекся;  
Расти, мужайся, стани в бой.  
Град, иже древле Мной основан,  
Тебе во область уготован,  
Определенно то судьбой»  
(Петров 2016: 133).

Феномен соименности становится предметом поэтической рефлексии не только у Петрова, об этом же пишет и Державин в оде «На переход альпийских гор» (1799):

Кто витязь сей багрянородный,  
Соименитый и подобный  
Владыке византийских стран?  
Еще Росс выше вознесется,  
Когда и впредь не отречется  
Несть *Константин* воинский сан  
(Державин 1864–1883: 2, 290).

---

<sup>28</sup> Марк Аврелий Валерий Максенций (лат. Marcus Aurelius Valerius Maxentius; ок. 278–312) — римский император (306–312), узурпатор, сын Максимиана от его жены-сириянки Евтропии.

Здесь идет о речь о том, что великий князь Константин Павлович принимал участие в итальянском походе Суворова.

Важно отметить, что Константином звали не только первого христианского императора Римской империи, но и последнего императора Византии, Константина XI Палеолога, и это соименство также могло быть частью формируемого аллюзивного образа великого князя. Косвенным подтверждением этого является фрагмент из оды Державина «На приобретение Крыма» (1784):

Магмет, от ужаса бледнея,  
Заносит из Европы ногу,  
И возрастает *Константин!*»  
(Державин 1864–1883: 1, 185).

К этим строкам в «Объяснениях на сочинения» Державин помещает следующее примечание: «Отношение к Константину Палеологу, царю константинопольскому, с которого смертью пало греческое царство, и что наместо его возрастает великий князь Константин Павлович, которого государыня желала возвесть на престол, изгнав Турков из Европы» (Там же).

Имя *Константин* упоминается у Державина еще раз — в оде «На взятие Измаила» (1790). В ней есть невероятно пафосная строфа, в которой говорится о важной геополитической роли Российской империи. Здесь, как поясняет Грот, обращаясь «к Англии и Пруссии, которые оказывали самое сильное сопротивление видам России на Турцию» (Державин 1864–1883: 1, 357), Державин пишет:

...Росс рожден судьбою  
От варварских хранить вас уз,  
Темиров попирашь ногою,  
Блюсть ваших от Омаров муз,  
Отмстить крестовые походы,  
Очистить иордански воды,  
Священный гроб освободить,  
Афинам возвратить Афину,  
Град *Константинов* *Константину*  
И мир Афету водворить  
(Там же).

Последние строки строфы сам Державин объясняет следующим образом: «Т. е. город Афины возратить богине Минерве, под которою разумеется Екатерина <...> Константинополь подвергнуть державе великого князя Константина Павловича, к чему покойная государыня все мысли свои устремляла» (Там же). В поэтическом мире Державина предлагается возратить град Константина Великого тому, кто им никогда не обладал — Константину Павловичу, «новому Константину».

М. В. Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» предупреждал своих читателей, что не следует слишком увлекаться уподоблением соименных персонажей: «Когда представляется несколько одноименных, которые имели подобные свойства или приключения, и потому и о прочих того же имени то же заключается, то не имеет никакого основания и совсем тщетно. Ибо, хотя четыре Актеона несчастливый конец имели, как Плутарх в житии Серториевом пишет, что один был от своих псов растерзан, два от диких вепрей убиты, четвертый присушным зелием напоен был и, от того взбесившись, умер, и хотя примечено, что римские кесари, которые Каии назывались, несчастливо умерли, однако из того не следует, чтобы тому же и с другими одноименными случаться должно было, ибо весьма многие примеры противное тому показывают. Константин Великий в Царе-граде утвердил греческую империю, но, напротив того, на Константине Палеологе она окончилась, и между тем были другие государи того же имени, которых ни тому, ни другому уподобить нельзя» (7, 125–126). Рассмотренные нами примеры демонстрируют, что русские панегирические поэты XVIII века не всегда внимали этому мудрому предостережению «российского Пиндара».

## 5

Подведем итоги. Проанализированный материал, во-первых, демонстрирует богатый антропонимический тезаурус русской оды, в который входят мифологические, библейские и исторические имена. «Имя исторической личности в лирическом стихотворении — это редкость в принципе» — заметил С. Г. Бочаров (Бочаров 2005: 416). Русская ода, как жанр риторический, демонстрирует обратное: исторические имена, наряду с именами

мифологическими и библейскими, формируют ее поэтику, входят в число ее общих мест. Во-вторых, видно, что как сами имена, так формы их семантических переосмыслений в представленном корпусе примеров многократно повторяются: на материале антропонимов особенно ярко ощутима специфика блочного одического мышления, при котором «использование одного элемента блока предполагает следующие элементы» (Алексеева 2005: 296). В-третьих, обращает на себя внимание, что большинство выявленных нами форм семантических переосмыслений имен в оде связаны с уподоблением одного персонажа другому. В. А. Кузнецов, который проанализировал характерные для эпохи классицизма поэтические уподобления писателям, «на чей эстетический опыт ориентирована данная национальная литература, с чьим именем связана отправная или функционально важная точка в развитии жанра», отмечал, что «выделимость жанра определяется через отнесенность к лицу, к конкретному имени» (Кузнецов 1993: 74). Та же персонифицированность классицистического сознания проявляется и в уподоблениях героев оды мифологическим, библейским и историческим персонажам. Во многом именно за счет этих описанных нами разнообразных по форме уподоблений в торжественной оде, опирающейся на «готовое слово» и «готовое представление» о действительности» (Михайлов 1997: 117; Алексеева 2005: 197), формируется образ идеальной реальности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Античные мифологические персонажи в одической поэзии  
XVIII века

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Аврора	Аврора	Аврора	
	Агамемнон		
	Аквилон		Аквилон
	Алекто		
	Алкмена		
	Амфион	Амфион	Амфион
Амфитрида			Амфитрида
		Андромеда	
Антей			
Аполлон	Аполлон	Аполлон	Аполлон
	Астрея	Астрея	Астрея
Атлант	Атлант		
Афина	Афина		Афина
Ахилл	Ахилл		Ахилл
Беллона	Беллона	Беллона	Беллона
Борей	Борей	Борей	Борей
Венера		Венера	
	Вакх		
			Гектор
Геракл	Геракл		Геракл
Геркулес		Геркулес	Геркулес
Гермес			
Гигант	Гигант		
	Гидра		
			Грация
			Дафна
Диана	Диана		Диана
	Елена (жена Менелая)		

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Зевс	Зевс	Зевс	Зевс
Зефир	Зефир	Зефир	Зефир
	Икар		
			Ифигения
			Каллиопа
			Клио
			Латона
Марс	Марс	Марс	Марс
	Мегера		
			Медея
	Ментор		
Минерва	Минерва	Минерва	Минерва
		Морфей	
Муза	Муза	Муза	Муза
Нарцисс			
Нептун	Нептун		Нептун
	Нерей		
Нимфа	Нимфа	Нимфа	Нимфа
			Нот
Орфей		Орфей	
	Парис		
			Пентесилея
			Пифон
Плутон	Плутон		Плутон
	Помона		
	Прозерпина		
			Прометей
			Протей
	Сатурн		
	Сирена		
	Сократ		
	Телемак		
	Тисифона		
Титан			
Тифий (кормщик)			Тифий (кормщик)

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
	Тифон (чудовище)		
Тритон	Тритон		
			Улисс
Урания			
Фаэтон	Фаэтон		Фаэтон
			Фемида
	Фетида		
Флора	Флора		
	Фортуна		
	Фурия		
	Цербер		
Церера			
Энцелад			
	Эол		
		Эрот	
	Юнона		
	Янус		
Ясон			Ясон

Таблица 2

**Библейские персонажи в одической поэзии XVIII века**

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Аарон
	Авирон		
		Авраам	
	Агарь	Агарь	Агарь
			Вельфегор
Голиаф			
Давид			
Дафан			
			Девора
Иисус Навин		Иисус Навин	Иисус Навин
Иисус Христос		Иисус Христос	



Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Исая			
		Мафусаил	
Моисей		Моисей	
Нимрод			
Ной			
Самсон	Самсон		
Соломон		Соломон	Соломон

Таблица 3

### Исторические персонажи в одической поэзии XVIII века

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Абдул-Хамид I
	Август, Гай Юлий Цезарь Октавиан		
		Александр I	Александр I
	Александр Македонский	Александр Македонский	Александр Македонский
	Александр Невский		
		Александра Павловна	
	Алкивиад		
Алексей Михайлович			
Анна Иоанновна	Анна Иоанновна		
	Апеллес		
Анна Петровна (дочь Петра I)			
Анна Петровна (дочь Петра III)			
			Ашшурбанипал (царь Ассирии)
	Баязет I Молниеносный (турецкий султан)		

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
	Беринг		
			Бион Борисфенит (античный философ)
	Борис (князь)		
			Васко да Гама
Владимир Мономах			
Владимир Святославич			
			Ганнибал
			Гассан-паша (великий визирь)
			Георгий Победоносец
Гиппократ			
	Глеб (князь)		
		Голицын А. М.	
Гомер	Гомер		Гомер
Гостомысл			
			Грейг С.К. (адмирал)
			Гуссейн-паша
			Густав III, король шведский
	Дарий III Кодоман (персидский царь)		
			Деций, Публий Мус
Дмитрий Донской	Дмитрий Донской		
			Дракон
			Дуилий, Гай (римский флотоводец)
	Евгений Савойский		
			Евстафий (корабль)
Екатерина I		Екатерина I	
Екатерина II	Екатерина II	Екатерина II	Екатерина II

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Елена Глинская			
		Елизавета Алексеевна	Елизавета Алексеевна
Елизавета Петровна	Елизавета Петровна	Елизавета Петровна	Елизавета Петровна
	Еропкин П. Д.		
			Зенон
			Иануарий (корабль)
Игорь (князь киевский)			
		Иосиф Антон Иоганн Габсбург-Лотарингский	
			Ильин Д. С. (герой Чесменского сражения)
Иоанн Антонович			
Иоанн II Комнин			
	Иван Грозный		
	Иван III		
Калчак-паша			
	Калигула		
			Камилл, Марк Фурий
			Камознс
			Каплан-Гирей (крымский хан)
Карл XII	Карл XII		Карл XII
			Катон Младший (Утический), Марк Порций
			Керим-Гирей (крымский хан)
	Кир		Кир
Колумб			
Константин I Великий	Константин I Великий		Константин I Великий

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Константин Павлович
Курций Руф, Квинт	Курций Руф, Квинт		
			Леонид
			Ликург
	Локк		
	Магомет II (османский султан)		
	Мальборо (английский военачальник)		
Мамай	Мамай		
		Мария Федоровна	Мария Федоровна
			Марцелл, Марк Клавдий
Марк Антоний			
			Минин
	Миних Б. К.	Миних Б. К.	
Михаил Федорович			Михаил Федорович
			Мордвинов Н. С.
	Мустафа III (султан Османской империи)		Мустафа III (султан Османской империи)
	Наталия Алексеевна (жена Павла I)	Наталия Алексеевна (жена Павла I)	
	Наталия Кирилловна (мать Петра I)		
	Нерон		
Ньютон	Ньютон		
Овидий, Публий Назон			
Ольга			
			Орлов А. Г.
	Орлов Г. Г.		

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
	Осман I (турецкий султан)		
Павел I	Павел I	Павел I	Павел I
		Панин Н. И.	
	Палеолог		
	Перикл		
Петр I	Петр I	Петр I	Петр I
Петр III	Петр III		
Пиндар	Пиндар	Пиндар	Пиндар
Платон	Платон		Платон
			Пожарский Д. М.
	Помпей, Гней		
	Потемкин Г. А.		Потемкин Г. А.
	Пракситель		
			Рем
			Ромул
			Ростислав (корабль)
	Румянцев П. А.	Румянцев П. А.	Румянцев П. А.
Рюрик			
Салтыков П. С.			
Святослав Игоревич	Святослав Игоревич		
			Святослав (корабль)
			Сократ
			Солон
			Спиридов Г. А.
			Суворов А. В.
Сулейман II (турецкий султан)			
	Сципион, Публий Корнелий Эмилиан Африканский Младший		
	Тамерлан		

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
	Тит		
			Торкват, Тит Манлий
Трувор			
	Тюренн (маршал Франции)		
	Фенелон		
	Феофан Прокопович		
			Фидий, скульптор
Филипп Македонский			
Фридрих II Великий	Фридрих II Великий	Фридрих II Великий	
	Цезарь, Гай Юлий		Цезарь, Гай Юлий
			Цинциннат, Луций Квинций
			Чингисхан

Таблица 4

### Прочие персонажи в одической поэзии XVIII века

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Имармена
Магомет (пророк)		Магомет (пророк)	Магомет (пророк)
			Осирис
Перун			
Семирамида	Семирамида		

Таблица 5

**Имена античных мифологических персонажей  
в одической поэзии XVIII века**

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Аврора	Аврора		
	Агамемнон		
	Аквилон		Аквилон
	Алектона		
Алкид			
Алцид			
	Алькид		
	Алькмена		
	Амфион	Амфион	Амфион
Амфитрида			
			Амфитрита
		Андромеда	
Антей			
	Аполлон		Аполлон
	Астрея	Астрея	Астрея
Атлант			
Атлас	Атлас		
Ахилл			
Ахиллес	Ахиллес		Ахиллес
	Бакх		
Беллона	Беллона	Беллона	Беллона
Борей	Борей	Борей	Борей
Венера		Венера	
			Гектор
Геркулес		Геркулес	Геркулес
Гигант	Гигант		
	Гидра		
Градив			
			Грация
			Дафна

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Диана			Диана
	Дияна		
	Елена		
Енцелад			
	Еол		
Ермий			
Зевес	Зевес	Зевес	Зевес
			Зевс
Зефир	Зефир	Зефир	Зефир
	Икар		
			Иракл
			Ифигения
			Каллиопа
			Клия
			Латона
Марс	Марс	Марс	Марс
	Мегера		
			Медея
	Ментор		
Минерва	Минерва	Минерва	Минерва
		Морфей	
Муза	Муза	Муза	Муза
Нарцисс			
Нептун	Нептун		Нептун
	Нерей		
Нимфа	Нимфа	Нимфа	Нимфа
			Нот
Орфей		Орфей	
Паллада	Паллада		Паллада
	Парис		
			Пентесилея
			Пифон
Плутон	Плутон		Плутон
	Помона		



Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
	Прозерпина		
			Прометей
			Протей
	Сатурн		
	Сирена		
	Сократ		
	Телемак		
Титан			
	Тизифона		
	Тифей		
Тифис			Тифис
Тритон	Тритон		
			Уликс
Урания			
Фаэтонг	Фаэтонг		Фаэтонг
Феб	Феб	Феб	Феб
			Фемида
	Фетида		
Флора	Флора		
	Фортуна		
	Фурия		
	Цербер		
Цереса			
		Эрот	
	Юнона		
Язон			Язон
	Ян		

Таблица 6

**Имена библейских персонажей в одической поэзии  
XVIII века**

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Аарон
	Авирон		
		Авраам	
	Агарь	Агарь	Агарь
			Вельфегор
Голияф			
Даван			
Давид			
			Девора
Исайя			
	Лаван		
		Мафусаил	
Моисей		Моисей	
		Мойсей	
Наввин			
		Навин	Навин
Нимврод			
Ной			
Сампсон			
	Самсон		
Соломон		Соломон	Соломон
Христос		Христос	

Таблица 7

**Имена исторических персонажей в одической поэзии  
XVIII века**

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Абдул
	Август		
Алексей			
	Александр	Александр	Александр
		Александра	
	Алькивияд		
Анна	Анна		
	Анна Великая		
	Апелл		
			Ассур
	Баязет		
	Беринг		
	Борис		
			Вион
Владимир			
			Гама
			Ганнибал
			Гассан
			Георгий
			Гирей
	Глеб		
		Голицын	
Гомер	Гомер		Гомер
Гостомысл			
			Грейг
			Гуссеин
			Густав
	Дарий		
			Декий

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Деций
	Дмитрий		
Дмитрий			
Дмитрий Донской			
			Дракон
			Дуилий
	Евгений		
			Евстафий
Екатерина	Екатерина	Екатерина	Екатерина
Елена			
			Елизавета
Елисавет	Елисавет		
Елисавета	Елисавета	Елисавета	Елисавета
	Ерапкин		
			Зенон
			Иануарий
Игорь			
			Ильин
	Иоан		
Иоанн	Иоанн		
		Иосиф	
Иппократ			
	Иулий		
	Калигула		
Калчак			
			Камилл
			Камозэнс
Карл	Карл		Карл
			Катон
			Керим
	Кир		Кир
	Кодоман		
Колумб			

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Комнин			
Константин	Константин		Константин
Курций	Курций		
			Леонид
			Ликург
	Лок		
	Локк		
	Магомет Второй		
Мамай			
	Мальборуг		
	Мамай		
		Мария	Мария
Марк			
			Маркелл
			Минин
	Миних	Миних	
Михаил			Михаил
Мономах			
			Мордвинов
	Мустафа		Мустафа
Назон			
	Наталия	Наталия	
Невтон	Невтон		
	Нерон		
Ольга			
	Орлов		Орлов
	Оттоман		
Павел	Павел	Павел	Павел
		Павел Первой	
		Панин	
	Палеолог		
	Перикл		
Петр	Петр	Петр	Петр

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
	Петр Великий	Петр Великий	
		Петр Первый	
	Петр Третий		
Пиндар	Пиндар	Пиндар	Пиндар
Платон	Платон		Платон
			Пожарской
	Помпей		Помпей
	Потемкин		Потемкин
	Пракситель		
			Рем
			Ромул
			Ростислав
	Румянцов	Румянцов	Румянцов
Рурик			
Салтыков			
	Светослав		
Святослав			Святослав
Селим			
			Сократ
			Солон
			Спиридов
			Суворов
	Сципион		
	Тамерлан		
	Тит		
Трувор			
			Торкват
	Тюренн		
	Фенелон		
	Феофан		
			Фидий
Филипп			
Фридерик	Фридерик		

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
		Фридрих	
	Цесарь		
			Цинциннат
			Чингиз
			Юлий

Таблица 8

Имена прочих персонажей в одической поэзии  
XVIII века

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
			Имармена
Магмет			Магмет
		Магомет	Магомет
		Махмет	Махмет
			Осирис
Перун			
Семирамида	Семирамида		

Таблица 9

Наименования христианского Бога в одической поэзии  
XVIII века

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Бог	Бог	Бог	Бог
Бог Великий	Бог Великий		
	Бог Всемогущий		
	Бог Всесильный		
	Бог Всещедрый		
Бог Вышний			
Бог мира			
Божество	Божество	Божество	Божество

Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
Ветхий деньми			
			Владыка
Всевышний	Всевышний	Всевышний	Всевышний
Вседержитель			
			Вседержитель мира
			Всемилолюбивый
	Всемогущий		
Всесильный			
Вышний	Вышний	Вышний	Вышний
Господь	Господь	Господь	Господь
			Господь Сил
Гремящий над нами			
Зиждитель			
Зиждитель мира			
Зиждитель небес и веков			
		Источник и Соз- датель света	
	Обладатель при- роды		
	Обладатель про- странства		
Обладатель Твари			
Отец			
			Отец милосердый
			Отец светов
	Податель благ		
Правитель Царей и Царств земных			
Предвечный			
			Сильный
Содетель	Содетель	Содетель	
Создатель	Создатель		



Ломоносов	Сумароков	Херасков	Петров
	Создатель вселенной		
	Создатель нашего мира		
Творец	Творец	Творец	Творец
		Творец благ	
	Творец вселенной		
			Творец победы
		Царь веков	
			Царь всемогущий
Царь небес			
	Царь небесных стран		
	Царь Вышний		

## Источники

1. Державин 1864–1883 — *Державин Г. Р. Сочинения / с объяснительными примечаниями Я. Грота: в 9 т. СПб., 1864–1883.*
2. Ломоносов 2011 — *Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.; СПб., 2011–2012. Т. 7: Труды по филологии. 2011. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи. 2011.*
3. Майков 1966 — *Майков В. И. Избранные произведения. М.; Л., 1966.*
4. Петров 1811 — *Петров В. П. Сочинения: в 3 ч. СПб., 1811.*
5. Петров 2016 — *Петров В. П. Оды; Письма в стихах; Разные стихотворения / Василий Петров; выбор [и вступ. ст.] Максима Амелина. М., 2016.*
6. Поэты XVIII века 1972 — *Поэты XVIII века: в 2 т. Л., 1972.*
7. Сумароков 1787 — *Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений / собраны и изданы Н. Новиковым: в 10 ч. Изд. 2. М., 1787.*
8. Сумароков 2009 — *Сумароков А. П. Оды торжественные. Елегии любовные / издание подготовил Р. Вроон. М., 2009.*
9. Тредиаковский 2009 — *Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы как стихами, так прозою / издание подготовила Н. Ю. Алексеева. СПб., 2009.*
10. Херасков 1798 — *Херасков М. М. Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные: в 12 т. М., 1797–1801. Ч. 7. [1798?].*

## Литература

1. Абрамзон 2004 — *Абрамзон Т. Е.* Одический тезаурус антонимов, топонимов и топонимов (на материале 20-ти торжественных од М. В. Ломоносова). Магнитогорск, 2004.
2. Алексеева 2005 — *Алексеева Н. Ю.* Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005.
3. Арутюнян 2010 — *Арутюнян М. А.* Структура, семантика и прагматика стилистического приема «антономазия» на материалах немецкого языка: дис. ... канд. филол. наук. М., 2010.
4. Бочаров 2005 — *Бочаров С. Г.* А мы, Леонтьева и Тютчева... Об одном стихотворении Георгия Иванова // Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 416–429.
5. Бухаркин, Матвеев 2020 — *Бухаркин П. Е., Матвеев Е. М.* Антропонимы в русской литературе XVIII века: о некоторых аспектах функционирования имени в оде и трагедии // Русская литература. 2020. № 3. С. 5–19.
6. Войнова 1977 — *Войнова Л. А.* Функционально-семантические особенности мифологических собственных имен и показ их в историческом словаре XVIII в. // Проблемы исторической лексикографии / отв. ред. Ю. С. Сорокин. Л., 1977. С. 121–129.
7. Зорин 2001 — *Зорин А.* Кормя двуглавого орла...: Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX в. М., 2001.
8. Кузнецов 1993 — *Кузнецов В. А.* Поэтические уподобления в русской литературе XVIII в. (к вопросу о персонифицированности классицистического эстетического сознания) // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 1993. Вып. 1. № 2. С. 73–78.
9. Курциус 2021 — *Курциус Э. Р.* Этимология как форма мышления // Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье. Т. II. М., 2021. С. 145–153.
10. Лосев 1995 — *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995.
11. Матвеев 2018 — *Матвеев Е. М.* Оды В. П. Петрова и оды М. В. Ломоносова: словесная и ритмико-синтаксическая формульность // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 3. С. 354–366.
12. Матвеев 2019 — *Матвеев Е. М.* Антропонимы в торжественных одах М. В. Ломоносова и В. П. Петрова // Литературная культура России XVIII века. Вып. 8 / под ред. П. Е. Бухаркина, Е. М. Матвеева. СПб., 2019. С. 69–88.

13. Матвеев 2020 — *Матвеев Е. М.* О проекте словаря антропонимов в русской панегирической поэзии XVIII века // *Материалы мета-языкового семинара ИЛИ РАН. Вып. 3. 2017–2019 годы / отв. ред. С. С. Волков, Н. В. Карева, Е. М. Матвеев.* СПб., 2020. С. 71–117.
14. Михайлов 1997 — *Михайлов А. В.* Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // *Михайлов А. В. Языки культуры.* М., 1997. С. 112–175.
15. Морозов 1974 — *Морозов А. А.* Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского времени // XVIII век. Сборник 9. Л., 1974. С. 184–226.
16. Мотольская 1938 — *Мотольская Д. К.* Петр I в поэзии XVIII века // *Учен. зап. пед. ин-та им. А. И. Герцена.* 1938. Т. 14. С. 129–146.
17. Подольская 1978 — *Подольская Н. В.* Словарь русской ономастической терминологии. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978.
18. Проскурина 2006 — *Проскурина В.* Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006.
19. Сазонова 2002 — *Сазонова Л. И.* Имя в риторике и поэзии XVII века у восточных славян // *Славяноведение.* 2002. № 1. С. 4–22.
20. СБРИО 1878 — *Сборник Императорского русского исторического общества.* Т. 23. СПб., 1878.
21. Словарь антропонимов 2022 — *Словарь антропонимов в русской панегирической поэзии XVIII века / С. С. Волков, С. С. Дубова, Н. В. Карева, Н. А. Кузнецова, Е. М. Матвеев, А. С. Смирнова, А. Е. Трофимов, М. Г. Шарихина / науч. ред. С. С. Волков, Е. М. Матвеев, М. Г. Шарихина.* СПб., 2022.
22. Keipert 1988 — *Keipert H.* Nomen est omen. Etymologie als Denkform bei russischen Autoren des 17. Jahrhunderts // *Sprache, Literatur und Geschichte der Altgläubigen. Akten des Heidelberger Symposions vom 28. bis 30. April 1986 / hrsg. von B. Panzer.* Heidelberg, 1988. S. 100–132.
23. Tverianovich 2019 — *Tverianovich K.* Rhythm and Syntax in Aleksandr Sumarokov's Odes // *Quantitative approaches to versification / ed. by Petr Plecháč, Barry P. Scherr, Tatyana Skulacheva, Helena Bermúdez-Sabel, Robert Kolár.* Prague, 2019. P. 255–262.

*М. Г. Шарихина*

**ГЕРОИ РУССКОЙ ИСТОРИИ  
ДОПЕТРОВСКОГО ПЕРИОДА  
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПОЭЗИИ XVIII В.:  
ТЕМЫ И ОБРАЗЫ**

---

---

**Введение**

Для словесной культуры XVIII в. взаимовлияние историографии, исторических знаний и художественной литературы было весьма характерным явлением (Пештич I: 14; Моисеева 1980: 234).<sup>1</sup> Как справедливо указал С. Л. Пештич, это обусловлено не только широкой эрудицией и одаренностью писателей и ученых XVIII в. По его мнению, «только представление об истории как воспроизведении деятельности отдельных лиц, “выдающихся”, разумеется, таких, как цари, полководцы, министры, герои и т. п., сближало творчество историка и писателя. Отсюда драматизация в истории и историчность в литературе» (Пештич, I: 14). В соответствии с официальной идеологией, исторический процесс традиционно представлялся как развитие самодержавной власти, которое осознавалось как результат деятельности русских правителей.

Описание сюжетов русской истории допетровского периода в пространстве торжественной оды наиболее полно и разносторонне представлено в поэзии М. В. Ломоносова. Образы русских

---

<sup>1</sup> Большинство поэтов, в чьих произведениях встречаются исторические экскурсы, были авторами исторических сочинений. Среди них и создатели крупных произведений по истории России или отдельных ее периодов (М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин), и составители небольших исторических очерков (А. П. Сумароков, М. Н. Муравьев). Развитие этого явления на протяжении всего XVIII в. отражено, в том числе, и в расцвете жанра исторической эпопеи.

правителей занимают в ней важнейшее место. Исторические экскурсии в его одической поэзии были исследованы Г. Н. Моисеевой (Моисеева 1980: 201–204). Основное внимание ученого было уделено выявлению исторических источников, к которым восходят эти экскурсии. Анализ, проведенный Г. Н. Моисеевой, показал, что в своем поэтическом творчестве М. В. Ломоносов старался отразить подлинные исторические факты, тем самым следуя традициям древнерусской литературы (Моисеева 1980: 201). Между тем в создаваемых им образах русских правителей показательна не только историческая достоверность, но и отбор и анализ фактов. Как отмечает В. П. Лыцов, «в оценке деятельности первых царей из династии Романовых Ломоносов решительно расходился с дворянскими и некоторыми другими историками» (Лыцов 1961: 78). Этот вывод основан на анализе фрагментов из художественных произведений М. В. Ломоносова, включая и оды. Так, например, по мнению В. Н. Татищева, первые Романовы не имели полноты власти, что мешало им вести успешную политику во всех сферах государственной жизни. В то же время М. В. Ломоносов подчеркивал их заслуги, оценивая их с точки зрения перспективы развития России (Там же: 79).

Такой взгляд и оценка деятельности русских правителей обусловлены влиянием нескольких факторов. Одним из важнейших среди них является жанр. Будучи неотъемлемой частью придворно-церемониальной литературы, торжественная ода отражала официальную политическую идеологию, наследуя особенности панегирической литературы эпохи барокко: «Воспевая высшую аристократию, многочисленных членов царской семьи, самого абсолютного монарха и его деяния, панегирическая ода барокко функционировала как поэзия государственных идеалов» (Сазонова 2006: 425). С одной стороны, эта идеология находилась под непосредственным влиянием актуальных политических целей и задач. Среди них важнейшей — особенно после выхода петровского «Устава о престолонаследии» (1722 г.) — стала задача установления и подтверждения прав монарха на престол. Другой, не менее важной, целью официальной литературы было обоснование необходимости и целесообразности внутренней и внешней политики монарха.

Интерпретация исторических образов в торжественной поэзии соответствовала указанным задачам. Состав образов и сюжетов был достаточно стабильным. Многие из них приводятся в «Идеях для живописных картин российской истории», подготовленных М. В. Ломоносовым по поручению Екатерины II (Ломоносов VI: 365–373, 594–595). Основные темы, отраженные в этих сюжетах («1) темы из истории государства (единодержавия — абсолютизма) в России; 2) темы национально-освободительной борьбы; 3) темы, касающиеся международного значения России» (Черепнин 1957: 202)), являются ключевыми для одической поэзии. В настоящей статье, посвященной исследованию основных идей, заключенных в поэтических образах русских правителей допетровского периода, будут рассмотрены указанные темы, при этом третья будет охарактеризована в связи с первыми двумя (соответственно в разделах I и II).

## **I. Тема становления и укрепления в России самодержавной власти**

### **1.1. Концепция исторического развития России.**

#### **Степенная книга и ее влияние на поэтическое описание русской истории**

Развитие исторической науки в России к середине XVIII в. создало условия для художественных (поэтических) обобщений. К предпосылкам этого явления можно отнести стихотворное предисловие к «Латухинской Степенной книге»<sup>2</sup>, в котором дается краткое описание ее основных идей: введение христианства и его роль в развитии и укреплении Русского государства, основание самодержавного управления, благочестие и праведность русских правителей, заботившихся о расширении России, объединение русских земель под властью Москвы и образование русской нации.

---

<sup>2</sup> «Латухинская Степенная книга» представляет собой особую редакцию «Книги Степенной царского родословия», созданную в 1678 г. архимандритом Тихоном в годы его управления Макарьевским Желтоводским монастырем. Этот памятник пользовался известностью уже в XVIII в. Его хорошо знал и использовал в качестве исторического источника В. Н. Татищев (Сиренов 2009: 354–355). Вероятно, что с «Латухинской Степенной книгой» был знаком и М. В. Ломоносов.

Другое произведение — «Зерцало историческое» А. Б. Селлия.<sup>3</sup> В нем в стихотворной форме излагается история России от Рюрика до Елизаветы Петровны<sup>4</sup>. Автор опирался на разные источники, в том числе на «Степенную книгу» и «Синописис» (Свердлов 2011: 527–529). В этом сочинении отражены различные дискуссионные вопросы, связанные с начальным периодом становления Русского государства, а также взгляды авторов<sup>5</sup> на формирование и укрепление самодержавной власти и ее значение для усиления могущества и международного влияния страны. Ломоносов, возможно, был знаком с этим произведением<sup>6</sup>. Следовательно, нельзя исключать определенного влияния указанных памятников на исторические экскурсы в его поэзии.

---

<sup>3</sup> М. Б. Свердлов указывает на недостаток подлинных биографических сведений об авторе «Зерцала» (Свердлов 2011: 524). Известно, что А. Б. Селлий жил в Александро-Невском монастыре (по другим данным, преподавал латинский язык в Александро-Невской семинарии). Составление «Зерцала» является результатом его изучения древнерусских летописей и других исторических источников. В частности, ему принадлежит перевод на немецкий язык Никоновской летописи (Там же: 524–525).

<sup>4</sup> «Зерцало историческое» было написано на латинском языке и впоследствии переведено на русский Амвросием (Зертис-Каменским) и Гавриилом Кременецким в 1747 г. Перевод с посвящением от имени Александро-Невской семинарии был поднесен Елизавете Петровне (Свердлов 2011: 525–527).

<sup>5</sup> Как отмечает М. Б. Свердлов, русская версия «Зерцала» содержит исправления и дополнения, внесенные переводчиками. Об этом свидетельствует указание в заголовке, согласно которому сочинение включало «некоторых мест исправление и дополнение» (Свердлов 2011: 529).

<sup>6</sup> В документе, названном «Рассмотрение спорных пунктов между господином профессором Миллером и господином комиссаром Крекшиным ... учиненное от профессоров Штрубе де Пирмон, Василья Тредьяковского и Михайла Ломоносова» упоминается Лаврентий Хурелихц, автор «Родословия великих российских князей» (Ломоносов VI: 12). Рукопись, в которой находится перевод этого сочинения, была переплетена вместе с русским переводом с латинского «Зерцала» (Ломоносов VI: 545). Ломоносов в качестве участника Комиссии, назначенной для разрешения споров между Миллером и Крекшиным, вероятно, ознакомился с сочинениями, упоминаемыми в «Рассмотрении». Если предположить, что он видел эту рукопись, то вполне вероятно, что он обратил внимание и на перевод «Зерцала».

Формирование поэтической концепции исторического развития России в торжественной поэзии XVIII в. связано с творчеством М. В. Ломоносова. Обратившись к образу Ивана Грозного в «Оде на взятие Хотина», который рассматривается как предшественник Петра I и Анны Иоанновны в южном направлении внешней политики, в дальнейшем он расширял исторические экскурсы. Так, в «Оде на праздник высокого рождения Иоанна Третьяго 1741 года» (Ломоносов VIII: 34–42) приводится перечень древнерусских правителей, который охватывает период до формирования Русского государства (Гостомысл, Рюрик, Игорь, Владимир Святославич и Дмитрий Донской). Возможно, способы поэтического изображения всего периода русской истории были разработаны Ломоносовым в более поздних одах, где дается полная ретроспектива от древности до XVIII в. Это во многом было связано с формированием исторической концепции, которая была необходима Ломоносову для написания «Древней Российской истории».

В указанной оде обращение к историческим героям объединено темой военной славы русских правителей, которые осмысляются как предки Иоанна Антоновича («Монарх Наш — сильных двух колен»). В этом контексте лишается мотивировки поэтическое переложение легенды о призвании варягов: «Разумной Гостомысл при смерти / Крепил Князей советом збор: / «Противных чтоб вам силу стерти, / Живите в дружбе, бойтесь ссор. / К брегам Варяжских вод сходите, / Мужей премудрых там просите, / Моглиб которые править вас». / Послы мои <России — М. III. > туда сходили, / Откуда Рурик, Трувор были, / С Синавом три Князья у нас» (Ломоносов VIII: 39). Возможно, Ломоносов первым создал поэтический образ Гостомысла, так как в предшествующей литературной традиции он появляется только на страницах исторических памятников. Вероятной причиной введения в исторический экскурс легендарного новгородского старейшины является большой интерес поэта к древнему периоду русской истории<sup>7</sup>. Поэтическое

---

<sup>7</sup> К исследованию варяжской проблемы он обратился еще во время обучения в Славяно-греко-латинской академии (Ломоносов 2011: 439). С годами этот интерес усиливался. Известно, что в 1740 г. Ломоносов приобрел во Фрайбурге «Историю о великом княжестве Московском» П. Петрея, родоначальника норманнской теории (Там же: 440).



переложение легенды о призвании варягов<sup>8</sup> довольно близко следует за ее текстом<sup>9</sup>.

Главной задачей Ломоносова-историка во все периоды его научной деятельности являлось доказательство формирования русской государственности в результате внутреннего экономического и политического развития славянских племен (Свердлов 2011: 649)<sup>10</sup>. Таким образом, можно предположить, что создание поэтического образа Гостомысла обусловлено, с одной стороны, интересом М. В. Ломоносова к этому периоду русской истории и его просветительскими взглядами, а с другой стороны, желанием обосновать существование института княжеской власти на Руси до прихода Рюрика с братьями. Особенно актуальной «господствующая правительственная идея российской самодостаточности, которая трансформировалась при изучении российской истории в соответствующую ей интерпретацию “варяжской проблемы”» (Там же: 585), стала в правление Елизаветы Петровны, то есть уже после написания этой оды. Следовательно, основная причина упоминания Гостомысла, скорее всего, была связана с личными интересами поэта.

Становление поэтической концепции исторического развития России отражено в «Описании иллуминации, которая ... к оказанию всеобщей радости о вожденнейшем рождении ... Великого

---

<sup>8</sup> В «Древней Российской истории» напротив сообщения о Гостомысле дается ссылка на Новгородский летописец (Ломоносов VI: 215). Под Новгородским летописцем имеется в виду Новгородская III летопись краткой редакции, в составе которой имеется сказание «О истории еже о начале руския земли». Сказание это было введено в научный оборот в 1735 г. П. Н. Крекшиным. Подробный комментарий к этому источнику см. в издании сочинений М. В. Ломоносова (Ломоносов 2011: 477). Легенда о Гостомысле существовала и в упомянутом сочинении П. Петрея, который, наряду с Новгородским летописцем, мог послужить историческим источником для оды Ломоносова (Свердлов 2011: 374).

<sup>9</sup> Сюжетом легенды было продиктовано введение в текст оды образов Синеуса и Трувора.

<sup>10</sup> Эта задача была одной из важнейших и для В. Н. Татищева: «ему было важно показать, что до избрания князем Рюрика у славян уже были свои избранные князья, т. е. славяне уже находились на значительном уровне общественно-политического развития» (Свердлов 2011: 482).

Князя Павла Петровича была представлена пред домом ... Графа Петра Ивановича Шувалова в Санктпетербурге Октября 26 дня 1754 года» М. В. Ломоносова.

Поводом к созданию иллюминации, как и сообщается в заглавии, стало рождение наследника престола Павла Петровича. «Описание» состоит из двух частей: первая представляет собой проект иллюминации, вторая — стихотворную надпись. В обеих частях приводится длинный перечень русских правителей (всего 16), который охватывает русскую историю от древности до современного Ломоносову периода, от Рюрика до Павла Петровича.

Появление такого текста кажется неслучайным, так как именно в это время (с 1751 г.<sup>11</sup>) Ломоносов вел активную работу по созданию «Древней Российской истории». Март 1753 г. стал границей, после которой Ломоносову пришлось пересмотреть принципы создания своего исторического труда (Ломоносов 2011: 533).

В «Описании» отражена концепция исторического развития, которая, вероятно, уже сложилась у Ломоносова к 1754 г. Так, в проекте изображена галерея русских правителей, которые, как сообщает предшествующий текст, «своими заслугами к построению высокаго Храма Российския империи великую площадь изготовили, на высоту взошли, материалы к сему зданию собрали, заложили здания, производили и оныя довели на высокую степень» (Ломоносов VIII: 569). В стихотворной надписи развитие России характеризуется как ее возвышение через преодоление внешних и внутренних опасностей и угроз ее независимости. После Смуты Россия «главу свою из пепла подняла», затем благодаря Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу она взошла на высшую степень, Петр I вознес ее над другими странами, но не успел завершить дело, которое было поручено Елизавете Петровне. С ее приходом к власти Русское государство достигает в своем развитии абсолютной высоты. Такой взгляд на русскую историю отражен во вступлении к «Древней Российской истории» М. В. Ломоносова: «Народ российский от времен, глубокою древностию сокровенных,

---

<sup>11</sup> Г. Н. Моисеева предположила, что «разговор Шувалова с Ломоносовым о создании труда по русской истории состоялся в конце 1750 г.» (Моисеева 1971: 128).

до нынешнего веку толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междуусобные и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенегы, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутри домашние несогласия не могли так утомить России, чтобы сил своих не возобновила. Каждому несчастью последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку высшее восстановление; и к ободрению утомленного народа некоторым божественным промыслом воздвигнуты были бодрые государи» (Ломоносов VI: 169).

Взгляд на русскую историю, согласно которому деятельность отдельных правителей способствовала тому, что Русское государство, оберегаемое рукой Всевышнего, постепенно, шаг за шагом достигло вершины, близка представлению о русской истории, положенному в основу «Степенной книги».<sup>12</sup> В вводной статье этого памятника приводится выразительное образное описание ее содержания: «Книга степенная Царскаго родословия, иже в Рустей земли в благочестии просиявших Богоутвержденных скипетродержателей ... мнози от корени и от ветвей многообразными подвиги, яко златыми степенями, на небо восходную лествицу непоколеблемо водрузиша, поне иже невозбранен к Богу восход утвердиша, себе же и сущим по них» (Книга степенная 1775: 3). Эта идея активно популяризировалась в старопечатных предисловиях и послесловиях XVII в., в которых изображалось, «какими

---

<sup>12</sup> «Степенная книга» — исторический памятник, в котором излагаются события русской истории с древнейших времен до начала 1560-х гг. в виде жизнеописаний правителей, которые расположены по «степеням». Ломоносов много раз обращался к этому памятнику. Списки «Степенной книги» XVII в., поступившие в Библиотеку Петербургской Академии наук в первые годы ее существования, а также в 1735 и 1741 гг. (БАН. 32. 8. 6., БАН. 32. 8. 4 и БАН. 32. 8. 5), содержат большое количество помет, которые принадлежат Ломоносову (Моисеева 1971: 79–80; 89–90; 98–99). Г. Н. Моисеева также привела несколько параллельных мест из «Степенной книги» и его исторических сочинений, подтверждающих ее использование в качестве источника (Моисеева 1971: Там же).

“степенями” восходят самодержцы “день о дни на высоту добродетели”» (Елеонская 1981: 83). Исследование А. С. Елеонской показало, что это выражение впервые появилось в предисловии к «Триоди цветной» 1604 г. (л. 2) и затем повторялось в других изданиях (Там же: 83–84).

«Степенная книга» оказала значительное влияние на русскую историографию XVIII — начала XIX в. (Усачев 2008: 109–112).<sup>13</sup> Среди исторических памятников, которыми располагали и на которые опирались в своих исследованиях историографы этого периода, только «Степенная книга» давала обобщающий взгляд на русскую историю (Там же: 109). Кроме того, она имела безусловный авторитет в течение всего XVII в. и в первой четверти XVIII в. (ярким примером является ссылка на нее в «Уставе о престолонаследии» Петра I) (Сиренов 2007: 432).

Ее популярность в XVII–XVIII вв. позволяет видеть в ней основной источник поэтического переосмысления русской истории. Косвенным подтверждением этого тезиса является тот факт, что к «Степенной книге» восходят ранние попытки создания поэтического описания истории России (рассмотренное выше стихотворное предисловие к «Латухинской Степенной книге» и частично «Зерцало историческое» А. Б. Селлия).

Влияние «Степенной книги» могло состоять и в том, что в ней, как отметил Д. С. Лихачев, предпринята попытка дать особый взгляд на историю Руси, ее всесторонне идеализировать, в частности создать идеализированные образы русских правителей (Лихачев 1973: 135–136). Характеризуя в целом стиль «Степенной книги», ученый делает следующее, на наш взгляд, весьма важное замечание: «Задача автора <Степенной книги — М. III. > состоит только в том, чтобы представить историю как государственный парад, внушающий читателю благочестивый страх и веру в незыблемость и мудрость государства» (Там же: 136). Вероятно, эта стилистика сближала ее с торжественной поэзией, поэтому

---

<sup>13</sup> Научный интерес к «Степенной книге» в XVIII в. был весьма широким: к ней обращались Г. З. Байер, И. В. Паус (вероятный создатель ее перевода на латинский язык), Г. Ф. Миллер и другие ученые-историки (Сиренов 2007: 6–11).

«Степенная книга» могла оказать определенное влияние на поэтические образы русских правителей.

Описание истории России, представленное в стихотворной надписи в составе «Описания иллюминации» на рождение Павла Петровича, композиционно делится на две части: первая — правление династии Рюриковичей, которое завершается Смутой («Все славны их труды оплакала <Россия — М. III. > попранны»); вторая — правление династии Романовых, которое ознаменовано постепенным восходящим движением, отражающим поступательное развитие Русского государства и его расцвет под властью Елизаветы Петровны. Преемственность ее политики всячески подчеркивается метонимическими наименованиями представителей рода Романовых: «Прадед» — Михаил Федорович, «Дед» — Алексей Михайлович, «Отец» — Петр I. Центральным образом этой надписи становится Елизавета Петровна, а не новорожденный Павел Петрович.<sup>14</sup> Между тем весь исторический экскурс едва ли выражает какие-либо актуальные политические идеи.

Композиционно с рассмотренным «Описанием иллюминации» сближается «Описание огненного представления, в первый вечер, новаго года 1760» А. П. Сумарокова, где вновь возникает образ храма (Сумароков I: 321–322). Но если у Ломоносова он аллегорически изображает Российскую империю, то у Сумарокова — это изображение славы Петра Великого. В основе этого образа лежит, с одной стороны, глубоко укоренившееся в культуре XVIII в. отношение к Петру как к создателю новой (или обновленной) России. С другой стороны, это политическая программа Елизаветы Петровны, которая после устранения от власти потомков Ивана V, брата и соправителя Петра, укрепляла авторитет и значение в обществе реформ своего отца, тем самым пытаясь упрочить и собственное пребывание на троне. Далее в описании появляются исторические правители допетровского периода, причем только

---

<sup>14</sup> Другой способ введения исторических лиц представлен в «Оде на рождение ... Павла Петровича 1754 года» (Ломоносов VIII: 557–565). Здесь в силу «смещения» исторической перспективы «Великим Прадедом» является Петр I, а предки Петра I имеют прямые наименования: «Михаил» (Михаил Федорович) и «Алексей» (Алексей Михайлович).

шесть (у Ломоносова их было двенадцать): Владимир Святославич, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Это те правители, которые в исторической памяти известны своими заслугами в деле укрепления внешнеполитического положения государства и его военной славы. Стихотворного описания их деятельности в сочинении А. П. Сумарокова нет.

В целом, сходство двух описаний является только внешним. Главным их отличием является то, что в «Описании» А. П. Сумарокова храм появляется во второй части иллюминации, он символизирует военные победы Елизаветы Петровны в свете военной славы Петра I и его политических предшественников. Этим обусловлен перечень исторических лиц. В сочинении М. В. Ломоносова исторический экскурс, как представляется, не связан с какими-либо конкретными политическими событиями. Его поэтическая концепция истории России тесно связана с научными занятиями и отражает его интерес к этой области знаний. Вероятно, такой способ поэтического выражения научных взглядов был возможен в пределах жанра стихотворной надписи, так как за его пределы созданная Ломоносовым концепция не вышла и осталась уникальным явлением вokkaзиональной поэзии XVIII в. В торжественной оде широкий взгляд на всю историю России отразился в ином ключе.

## **1.2. Развитие самодержавия в России и проблема престолонаследия**

В рассмотренной выше стихотворной надписи М. В. Ломоносова вопрос о становлении самодержавной власти затрагивается лишь в одной строке («Что Рурик с скипетром Монаршеским приял»), хотя Ломоносова, убежденного сторонника монархической власти, этот вопрос, безусловно, интересовал. Так, во вступлении к его «Истории» дается следующее описание утверждения самодержавия в России: «Толикие перемены в деяниях российских: соединение разных племен под самодержавством первых князей варяжских, внутренние потом несогласия, ослабившие наше отечество, наконец, новое совокупление под единоначальство и приобщение сильных народов на востоке и на западе рассуждая,

порядок оных подобен течению великия реки представляю» (Ломоносов VI: 169). В его исторических экскурсах эта тема почти не затрагивается. Кажется, что он намеренно избегает описаний сложных периодов феодальной раздробленности и Смуты. В его одах не упоминается ни одного правителя после Ивана Грозного и до Михаила Федоровича. Общая характеристика периодов междоусобиц и междуцарствия появляется в «Слове похвальном Петру Великому 1755 года»: «Междоусобными предков наших враждами, неправдами, граблениями и братоубийствами раздраженный Бог поработил тебя некогда чужому языку и на пораженное глубокими язвами твое тело наложил тяжкия вериги! Потом, стенанием твоим и воплем преклоненный, послал тебе храбрых Государей, свободителей от порабощения и томления, которые, соединив твои раздробленные члены, возвратили тебе и умножили прежнюю силу, величество и славу» (Ломоносов VIII: 587).

Традиция введения образов исторических лиц для демонстрации исторической необходимости совершенствования принципов престолонаследия и сохранения непрерывности преемственности монархической власти восходит к ораторской прозе Петровского времени. Вопрос о пользе для государства разработки принципов престолонаследия, которые могли бы обеспечить непрерывность монархической власти и обезопасить ее от возможного пресечения правящей династии или конкуренции в борьбе за престол, приобрел острую актуальность в связи с подписанием Петром I «Устава о наследии престола» (1722). В этом документе приводится в качестве исторического обоснования пример разделения государства между сыновьями Владимира и последующее его объединение под властью Ивана III. Этот фрагмент восходит к «Правде воли монаршей» Феофана Прокоповича (первое издание — 1722 г.), обосновавшей положения «Устава» (Феофан Прокопович 1726: 26–27).

Ранее этот образ возникает в «Слове похвальном в день рождения благороднейшаго Государя Царевича и Великаго Князя Петра Петровича» Ф. Прокоповича (1716). Примеры из русской истории в этом произведении доказывают мысль о том, что сохранение самодержавия и принципа престолонаследия является залогом процветания Русского государства. Нарушение основополагающих принципов самодержавной власти становилось причиной

междоусобных войн и политической раздробленности страны. В соответствии с этой мыслью в «Слове» изображен период междоусобиц и борьбы с внешними врагами, наступивший после смерти князя Владимира. Следующий по времени сложный этап в русской истории был связан с пресечением династии Рюриковичей и приходом к власти Бориса Годунова. Лишь с воцарением династии Романовых мир увидел «совершенно оздравевшую Россию, но и в большую паче первая силу и славу пришедшую» (Феофан Прокопович 1961: 43).

Сюжеты о разделении русских земель князем Владимиром и о пресечении династии в конце XVI в. воссозданы в «словах» Гавриила Бужинского: в «Слове о взятии Нотенбурха» (1720), в «Слове на годовщину взятия Нотенбурга» (1724) и в «Слове в память Полтавской победы» (1725) (Гавриил Бужинский 1901: 450–451, 462–464; 576). В дальнейшем сюжет о разделении русских земель князем Владимиром, вероятно, утрачивает актуальность в связи с тем, что не является примером пресечения правящей династии, в то время как события Смутного времени отражаются в ораторской прозе послепетровского периода. В «Слове на рождение Павла Петровича» Гедеона Криновского речь идет о бедах, возникающих из-за пресечения царской династии (Гедеон Криновский 1855: 34–35). В качестве исторического примера он обращается к событиям Смутного времени. Провиденциальный взгляд на русскую историю сближает это произведение с ораторской прозой Гавриила Бужинского. Идею о спасительном для России непрерывном самодержавном престолонаследии неоднократно развивает в своих «словах» Платон Левшин<sup>15</sup>, приводя в пример события Смутного времени. Примечательно то, что эта тема появляется в его сочинениях в 1775 и в 1777 годах. Это, безусловно, связано с крестьянской войной, которая в основной своей части завершилась в начале 1775 года казнью ее предводителя Е. Пугачева.

---

<sup>15</sup> «Слово на день святого Димитрия Царевича» (Мая 15, 1775 года), «На день Казанския Богородицы» (1775), «В день святого Царевича Димитрия ... Маия 15 дня 1777 года», «На всерадостнейшее извещение о рождении Благовернаго Государя и Великаго Князя Александра Павловича» (1777) (Платон Левшин 1780, III: 34, 109–110; IV: 18–19, 180).



В одической поэзии XVIII в. тема становления и укрепления самодержавной власти чаще раскрывается с помощью образов правителей из династии Романовых. В связи с этим сюжет о разделении Руси между сыновьями князя Владимира утрачивает актуальность, более традиционным становится изображение Смутного времени. Вероятно, в силу того, что события этого периода связаны с появлением на русском престоле династии Романовых, они становятся выразительным примером исторического обоснования сохранения преемственности власти и недопустимости пресечения династии. Князь Владимир, разделивший землю между своими наследниками, появляется только в оде М. Н. Муравьева «Храм Марсов». Между тем этот сюжет здесь несет иную функцию. Он подчинен военной тематике всего произведения: историческая необходимость военной деятельности и подвигів Александра Невского и Дмитрия Донского обусловлена этим разделом, повлекшим за собой феодальную раздробленность и падение Киевской Руси.

В произведении В. И. Майкова «Ода на новый 1763 год» (1762 г.) главной темой, в связи с которой приводится исторический экскурс, является покушение на власть монарха. В нем изображены несчастья, которые начались в России в связи с отсутствием правопреемников престола и приходом к власти незаконных правителей — Бориса Годунова и Лжедмитрия: «Она <росская страна — М. Ш. > томилась и страдала, / Лишась владык своих, рыдала, / Не зрела бедствию конца / И, безнадежна, обмирала, / С негодованием взирала / На похитителей венца / К претяжкому России стону / И к скорби всех ее сынов, / Дерзнул тогда коснуться трону / Убийца царский Годунов, / Потом, злодей и раб безбожный, / Низверг его Димитрий ложный / И начал россов угнетать» (Майков 1966: 192–193). Появление на русском престоле новой династии рассматривается как божественный дар, великое счастье и наступление «златого века». Актуальность этой темы связана с приходом к власти Екатерины II, которая, несмотря на отсутствие прав на престол, была матерью законного наследника. Упоминание Екатерины II в оде сопровождается именем Павла, правнука Петра I, о чем в тексте оды также сообщается: «Сего осталось нам желати, / Чтoб мог он <Павел — М. Ш. > свету показати, / Каков отца его был дед» (Там же: 194).

Развитие традиции поэтического осмысления событий Смутного времени отражено в поэзии Г. Р. Державина. В оде «На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского» (1789–1790) Г. Р. Державин создал образ Лжедмитрия, который достигает кульминации своего поэтического воплощения, так как встает в ряд с героями мировой истории в качестве примеров коварных злодеев и тиранов, незаконно захвативших престол: «Разстриги, Кромвели, Надиры, / Вельможи злые и цари / Для хвал своих имеют лиры, / Для обожанья алтари» (Державин, I: 320). В изображение Бориса Годунова, который имеет в оде вполне ожидаемую и традиционную оценку, поэт вносит новую черту — упоминание о его заслугах: «Пускай коварство Годунову / Возносит в память башню нову / За тысячу его заслуг» (Там же: 331–332). К этим строкам автор дает следующий комментарий: «Борис Годунов ... имел великие качества государственного человека, издал многие полезные законы и учреждения, между прочими памятниками своими воздвиг известную колокольню Ивана Великого» (Державин, III: 630–631). Так, по мнению Г. Р. Державина, никакие заслуги не могут оправдать несправедливого покушения на царскую власть.

Традиция изображения исторических лиц в контексте философских размышлений поэта о добродетели и славе, о коварстве и зле отражена в стихотворениях Г. Р. Державина «На панихиду Людовика XVI» (1793) и «Мой истукан» (1794). В этих произведениях участники событий Смуты (Д. Пожарский, К. Минин и Филарет) рассматриваются с точки зрения политических целей и их соответствия общечеловеческим ценностям. В этой системе действия Лжедмитрия расцениваются как неоспоримое зло, а восстановителей монархии — пример добродетели, достойный славы и памяти: «На троне Филарет, в темнице, / Как праведник, всегда почтен; / В пыли Отрепьев, в багрянице, / Как изверг, завсегда презрен. / Не трон, не подвиги чьи громки, / Чтут беспристрастные потомки, — / Лишь добродетель...» (Державин, I: 534); «Отечества подпоры тверды, / Пожарский, Минин, Филарет<sup>16</sup> / И ты,

---

<sup>16</sup> Этот ряд имен приведен также в «Оде на твердость духа» (1796) В. В. Капниста: «Такие в сонме россов были / Пожарский, Минин, Филарет» (Капнист 1973: 108).

друг правды, Долгоруков, / Достойны вечной славы звуков» (Там же: 613). Сюжет русской Смуты становится историческим примером разрушения основ монархического правления и бедствий, к которым оно приводит. Таким образом, этот сюжет помещается в контекст Французской революции.

### **1.3. Идея о древности правящего рода**

В одической поэзии XVIII в. встречаются редкие примеры отражения идеи о древности правящего рода. Впервые она появляется в ранней оде М. В. Ломоносова «Ода, которую в торжественный праздник высокога рождения ... Иоанна Третьяго ... 1741 года Августа 12 дня веселящаяся Россия произносит». В небольшом историческом экскурсе, посвященном предкам Иоанна Антоновича, появляется указание на кровную связь Иоанна Антоновича с династией Рюриковичей: «Твое копь, Рурик, племя славно! / Копь мне <России — М. III. > твоя полезна кровь» (Ломоносов VIII: 39). Важность такого указания, вероятно, обусловлена борьбой за власть, развернувшейся в высших кругах после смерти Анны Иоанновны, и необходимостью обосновать право на нее младенца-императора (Свердлов 2011: 374). Между тем М. В. Ломоносов должен был осознавать историческое несоответствие, так как в 1747 г. в замечаниях на сочинение Крекшина он высказался критически по отношению к версии о родстве Романовых и Рюриковичей (Ломоносов VI: 10–11). Следовательно, можно утверждать, что упоминание Рюрика в качестве предка правящего монарха в этом фрагменте является данью культурной традиции допетровской эпохи.

В ломоносовской поэзии эта тема больше не появляется. Вероятно, на это оказало влияние развитие исторической науки в XVIII веке, ее методологии, приемов работы с источниками. Все это приводит к тому, что новые исторические данные вступают в противоречие с идеями, положенными в основу государственной идеологии. Кроме того, приход к власти Елизаветы Петровны и установление культа Петра I лишает идею о родстве двух династий и ее политической актуальности.

В екатерининский период эта тема лишается своего исторического основания, так как Екатерина II не имела прямого

отношения к династии Романовых. Тем более показательно, что она появляется в торжественной поэзии, посвященной Павлу Петровичу, прямому наследнику Петра I и предшествующих ему правителей. В «Оде на день брачного сочетания цесаревича великого князя Павла Петровича и великия княгини Наталии Алексеевны» (1773 г.) В. И. Майкова используется мотив, заимствованный из упомянутой выше оды М. В. Ломоносова: «Сочетаются потомки / В свете сильных двух колен; / Карл германов покровитель / И преславный был монарх, / Игорь — греков победитель / И всего Востока страх» (Майков 1966: 236); ср. у М. В. Ломоносова: «Везде веселы клики слышны: / “Монарх Наш — сильных двух колен”. / Одно мое <России — М. III. >, чем я толь славна; / Россиан храбрость где не явна? / Друго Германско, с коим Рим / Войну едва дерзал начати» (Ломоносов VIII: 38). В краткий исторический экскурс В. И. Майков вводит образ киевского князя Игоря, вероятно, для того чтобы подчеркнуть древность правящей династии, однако исторического основания у такого поэтического образа не было. Появление князя Игоря можно объяснить только влиянием литературной традиции.

В оде В. П. Петрова «Торжественное венчание и миропомазание на царство Его Императорскаго Величества Павла Перваго. 1797 года Апреля 5 дня», в которой в стихотворной форме описаны основные этапы чина венчания на царство, есть небольшой фрагмент: «Хор. Вошел во храм, вошел Сын славы, / Котораго Даяй порфиры и державы / Владеть Полунощью нарек. / Он родом Росс, он верой Грек; / Он отрасль Рурика державна; / Ему Праматерь Ольга славна; / Могуц любовью весь Север обьимать; / Петр Прадед у Него, Екатерина Мать!» (Петров, II: 225). Приведенный фрагмент соответствует той части коронации, в которой Павел с супругой входят в Архангельский собор, усыпальницу рода Рюриковичей и некоторых представителей рода Романовых. Эта часть церемонии призвана подчеркнуть связь правящей династии с родом Рюриковичей. Упоминание Рюрика в оде В. П. Петрова связано с церемониальной традицией. Она восходит ко времени правления первых Романовых, которые старались все-сторонне обосновать свое право на престол. В «Чине поставления

на царство царя и великаго князя Алексея Михайловича» в речи царя и в речи патриарха звучит мысль о том, что правящий род напрямую восходит к Рюрику: «Благодатию и изволением Всемогущаго в Троице славимаго Бога нашего во мнозех летех седоша на царском престоле и на великом княжестве всеа Великия России Великие Государи Цари и Великия Князи от Великаго Князя Рюрика и от благочестиваго и равноапостольнаго Великаго Князя Владимира Святославича, просветившаго всю Русскую землю святым крещением, и от благочестиваго и Великаго Князя Владимира Всеволодовича Мономаха ... даже и до Великаго Государя Царя, достойнаго, праведнаго и благочестиваго блаженныя памяти деда нашего, Великаго Государя Царя и Великаго Князя Феодора Иоанновича, всеа России Самодержца, на сем престоле царском недвижими быша» (Чин поставления 1882: 12). Эта формула впоследствии была повторена в церемонии венчания Петра I и его брата, однако, в качестве их деда в ней упоминается Михаил Федорович, что уже не нарушает исторической достоверности (ПСЗРИ: 422).

Значение идеи о древности династии Романовых в государственной идеологии подчеркивалось тем, что генеалогия русского царского рода получила законодательное закрепление (Сафонова 2006: 383). С этим связана широкая генеалогическая деятельность, которая развернулась в последней трети XVII в. (крупнейшие издания: «Царский титулярник» (1672 г.) и «Родословие пресветлейших и велможнейших великих московских князей прочая и всеа России непобедимейших монархов...» Л. Хурелича (1673 г.). Важной задачей, которую решали эти книги, было не только доказательство древности правящего рода, но и установление генеалогической связи русских монархов с правителями европейских стран и «включение русской истории в мировой контекст» (Сафонова 2006: 372–373).

Кроме того, под влиянием государственной идеологии эта идея распространяется в старопечатной литературе, а именно в предисловиях и послесловиях старопечатных книг XVII в., которые с появлением книгопечатания стали важным средством культурной и идеологической пропаганды. Так, во многих изданиях (например, в «Трефологионе» 1638 г. и в «Апостоле» 1621 г.) Михаил

Федорович назван внуком Ивана IV Васильевича, который представляет собой 17 степень от князя Владимира (Елеонская 1990: 91). Та же схема приводится и в «Соборнике» (1647 г.), но уже применительно к Алексею Михайловичу (Елеонская 1981: 80).

К решению генеалогических вопросов обращались историки в XVIII в. (Пештич II: 32). В частности, как отмечает М. Б. Свердлов, при изучении «Лицевого свода» и «Воскресенской летописи» М. В. Ломоносов проявлял интерес к вопросам династических связей между русским князьями, в особенности в отношении потомков Всеволода Ярославича (Свердлов 2011: 650).

Эти идеи нашли отражение в ораторской прозе барочного периода: в «Слове в день святого равноапостольного князя Владимира» (в составе «Вечери душевной») Симеона Полоцкого подчеркивается как духовное родство Алексея Михайловича и Владимира, так и политическая преемственность (Симеон Полоцкий 1683: 401). Развитие этой идеи в ораторской прозе XVIII в. находим, например, в «Слове в день Первоверховных апостол Петра и Павла, и тезоименитства Его Императорского Высочества» (1772 г.) Платона Левшина. В нем дается указание на «духовное» родство Павла Петровича и Екатерины II с Владимиром и Ольгой, крестившими Русь (Платон Левшин 1780, II: 388–389).

Итак, поэтические образы русских правителей участвуют в развитии темы становления и укрепления самодержавной власти в России достаточно редко и в русле традиций Петровской эпохи и более раннего, барочного, периода. С точки зрения основных идей и мотивов, которые возникают в пределах рассмотренной темы, исторические экскурсы в поэзии М. В. Ломоносова приобретают оригинальный и уникальный характер, так как в них получают отражение его научные интересы и взгляды.

Тема сохранения принципов престолонаследия и преемственности монархической власти возникала в торжественной поэзии в периоды смены монархов и могла быть достаточно «опасной» и способной вызвать нежелательные последствия для поэтической судьбы автора. Возможно, с этим связано то, что в торжественной поэзии XVIII в. она становится периферийной, уступая идеям патриотизма и защиты Отечества от внутренних и внешних врагов.

## II. Тема военной славы России: героизация русских правителей

Прославление прежних правителей через перечисление их боевых заслуг и военных побед является достаточно распространенным мотивом в мировой литературе. Это относится и к русской литературе, начиная с ранних этапов ее развития. Мотив храбрости русских правителей, благодаря которой о России узнали во всем мире, появляется уже в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона: «Похвалим же и мы, по силе нашеи, малыими похвалами великаа и дивнаа створшааго нашего учителя и наставника, великааго кагана нашеа земли Володимера, внука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава, иже в своа лета владычествующе, мужством же и храборством прослуша в странах многах, и победами и крепостию поминаются ныне и словут. Не в худе бо и неведоме земли владычествоваша, но в Руське, яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли» (Илларион 1997: 42). Героизм правителей наследуется их потомками: «Владимир в представлении Илариона живет и в делах своего сына Ярослава» (Адрианова-Перетц 1963: 431). Правители становятся национальными героями, примеру которых нужно подражать. Ярким примером этого случая является «Послание на Угру» архиепископа Вассиана Рыло к великому князю Ивану III, призывающее к освободительной битве против татар. В «Послании» русские правители-предшественники царя упоминаются в следующем фрагменте: «поревнуй прежде бывшимъ прародителемъ твоимъ, великимъ княземъ. Не точию обороняху Русьскую землю отъ поганыхъ, но и иныя страны приимаху подъ себе, еже глаголю Игоря и Святослава и Владимире, иже и на Греческихъ царѣхъ дань имали, потомъ же и Владимире Манамаха» (Книга Степенная 1913: 560). В следующем фрагменте памятника восхваляется мужество Дмитрия Донского. Таким образом, в «Послании» тема подражания героизму предков раскрывается с помощью целой галереи древнерусских правителей. Это произведение оказало влияние на последующие сочинения этого жанра (послания и грамоты к Ивану Васильевичу IV и Борису Годунову), в которых также используются примеры героев русской

истории. Оно вошло в состав многих летописных сводов, которые, несомненно, были известны русским поэтам XVIII в. (например, «Степенная книга», «Никоновская летопись», «Казанский летописец») (Кудрявцев 1951: 182–184).

В панегирической литературе XVIII в. героизация русских правителей допетровской Руси тематически и функционально продолжает традиции древнерусской литературы. Батальные сюжеты получили широкое освещение в официальной литературе Петровской и послепетровской эпох. Это во многом было связано с необходимостью объяснить гражданам цели внешней политики страны и обосновать необходимость участия России в международных войнах (русско-турецкие войны, Северная война, Семилетняя война). Большое внимание в панегирической литературе уделялось военным победам (важнейшим событием Петровской эпохи стала победа в Полтавской битве 1709 г.). Между тем обращение к истории России в связи с военной тематикой в рассматриваемый период ограничивалось образом Александра Невского. Его широкое почитание началось почти сразу после его смерти в XIII в. и возрастало в последующие столетия. В начале XVIII в. образ древнерусского князя связывали с Петром I. Его успехи в Северной войне и присоединение новых земель рассматривали как продолжение побед, одержанных на Неве в 1240 г. Александром Ярославичем. Эта идея последовательно проводится в «словах» Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, Гавриила Бужинского (Стефан Яворский 2014: 271, 282; Феофан Прокопович 1760–1761, II: 17–18; Гавриил Бужинский 1901: 525–526).

Для военно-героических исторических экскурсов в одической поэзии XVIII в. характерно то, что перечни русских правителей в них завершает образ Петра I как идеала русского правителя, соединившего в своем правлении достижения и заслуги предшественников. Это явление восходит к барочной традиции, в которой героизация русских монархов, как отмечает Л. И. Сазонова, «достигалась путем сравнения российских монархов с выдающимися деятелями мировой истории. Римские, византийские и европейские монархи являли пример государственного правления» (Сазонова 2006: 409–410). Между тем, в отличие от поэтических



средств панегирической литературы второй половины XVII — первой четверти XVIII в., в одической поэзии в героизации образа Петра I участвуют и русские правители, включая князей и царей из династии Рюриковичей. Возникает устойчивая поэтическая традиция изображения Петра I как «наследника и продолжателя деяний его предков» (Моисеева 1980: 186). При этом уподобления Петра великим деятелям прошлых эпох обычно выражались с помощью перифраз, построенных по модели «новый / второй / Российский / русский + имя мифологического героя или исторического лица». Однако в одической поэзии XVIII в. эта модель, используемая для наименования Петра I, не включала имен русских правителей. Это обусловлено тем, что Петр изображался как венец, завершивший дела, начатые его предками. Подчеркивание его превосходства по отношению к другим русским правителям было характерно для ораторской прозы Петровского времени. Так, в «Слове приветствительном на пришествие в Киев Его Царскаго Пресветлаго Величества» Феофана Прокоповича (1706) Петр изображается как потомок знаменитых предков и наследник их добродетелей, «и нравов, и обычаев» (Феофан Прокопович 1760: 5). В качестве предков указываются следующие цари: Владимир («Видит <Киев — М. III. > победы и ревность Владимирову. Той многии народы мечем пленил, и Россию Евангелием просветил: Ты <Петр — М. III. > многии грады Отеческии от ига Оттоманскаго и от уз еретических мечем свободил еси»), Ярослав («Видит любомудрие Ярославово. Той Писания божественная и инныя многия книги от языка Еллинскаго на Славенский преводе: Ты академию в Царственном Твоем граде воздвигл еси, и везде людьми учительными разширяти мудрость не престаеши»), Святослав («Видит ... Святославово благочестие. Той основание Церкви Печерской рукама своима не устыдился копати: ктож своима очима и Тебе в подобных делех не токмо безсрамно и с радостию трудившася не виде?»). В конце слова есть примечательный пример использования имен собственных во множественном числе: «Воскликнути подобает: якоже слышахом тако и видехом. Слышахом о Владимирях, о Ярославях, о Всеволодах: ныне всех тех в едином истинном Нашем Наследнике видим» (Там же: 10). Эта же идея

получила развитие в «Слове похвальном на день рождения Петра Великого» Гавриила Бужинского (1723). Проповедник приписывает Петру все лучшие качества известных правителей из Священного Писания и русской истории. Он перечисляет основные заслуги русских правителей, которые сравнивает с заслугами Петра и указывает на то, что Петр достиг в этих сферах больше своих предшественников. В ряду правителей вновь встречаем Владимира, Ярослава, Александра Невского и Дмитрия Донского (Гавриил Бужинский 1901: 506–507). Вероятно, эта идея получила развитие и сформировала устойчивую традицию в одической поэзии.

В торжественной поэзии XVIII в. самые ранние описания военных успехов русских правителей допетровской Руси появляются в творчестве М. В. Ломоносова. В «Оде на взятие Хотина» 1739 г. создан художественный образ Ивана IV Грозного, который обращается к Петру I со следующей речью: «Нетщечно я с тобой трудился, / Нетщетен подвиг мой и твой, / Чтоб Россов целой свет страшился. / Чрез нас предел наш стал широк / На север, запад и восток. / На юге Анна торжествует, / Покрыв своих победой сей» (Ломоносов VIII: 23). В этом фрагменте победа русской армии под Хотинском рассматривается как знак преемственности внешней политики Анны Иоанновны по отношению к деятельности Петра I и Ивана Грозного. Появление русского царя в этой оде кажется неслучайным не только в связи с военными успехами южного и восточного направления его внешней политики, но и с тем, что интерес к нему поддерживался в русском обществе с конца XVII в., в том числе со стороны самого Петра (Моисеева 1980: 216).

Ломоносов дает Ивану Грозному емкую, но одновременно исторически верную, характеристику: «Кто с ним <Петром I — М. III. > толь грозно зрит на юг, / Одеян страшным громом вкруг? / Никак Смиритель стран Казанских? / Каспийски воды, Сей при вас / Селима гордаго потряс, / Наполнил степь голов поганских» (Ломоносов VIII: 23). Слова *грозно*, *гром* ассоциативно отсылают к прозвищу Ивана IV. Вместе с тем гром является атрибутом главных божеств многих языческих религий (Зевса, Юпитера, Перуна, Тора). В этой оде Иван Грозный и Петр I появляются во время битвы в облаке над войском. Появление сверхъестественной небесной силы или ее вмешательство в военные действия является

традиционным для мировой литературы (и для древнерусской, в частности) мотивом, он характерен и для поэзии XVIII в. (Касаткина 1946: 120–122). Между тем, если в предшествующей литературе в роли небесных помощников выступали языческие боги или христианские святые, то в русской торжественной поэзии XVIII в. ими становятся русские правители. Это свидетельствует об их функциональном тождестве и подчеркивает сакрализацию монарха.

Взгляд русского царя, обращенный на юг, отсылает к направлению его внешней политики, которая разъясняется в следующих строках. Называя Ивана Грозного смирителем<sup>17</sup> стран Казанских, Ломоносов отсылает к завоеванию Казанского ханства. В следующих строках упоминается завоевание Астраханского ханства и поражение Селима (Селима II, султана Османской империи) в русско-турецкой войне и окончательное закрепление Астрахани и смежной с ней прикаспийской территории в составе Русского государства. Таким образом, в кратком художественном описании М. В. Ломоносов создает мифологизированный образ русского царя-победителя.

В этой оде отражен основной принцип исторической достоверности художественного описания исторических лиц, которому

---

<sup>17</sup> Яркий поэтизм *смиритель* в доломоносовской поэзии фиксируется только в анонимном переводе силлабической элегии Стефана Яворского «Стяжателя сих книг последнее книгам целование»: «О царю веков, небес и земли всесилие, / Смирителю волн морских едине презелне». В этом тексте слово *смиритель* употребляется в значении, производном от глагола смѣрять, смирить, 'тот, кто усмиряет, обуздывает'. В то же время у Ломоносова оно используется в значении 'тот, кто приводит в покорность, подчиняет своей власти'. Возможно, к его поэзии восходит традиция употребления этой лексемы в поэтических описаниях военных подвигов. Сравните следующие примеры из «Национального корпуса русского языка»: «Ниже чудищ Алкид смиритель, / Ни Ахиллес, троян губитель, / Трудом вас тщетным отягчат» (Н. Н. Поповский. Ода Ее Императорскому Величеству. 1756); «Прошла пора твоих <Ливонии — М. III. > завоеваний, / Когда в огнях тревоги боевой, / Вожди побед, смирители Казани, / Смирялися, бледнея, пред тобой!» (Н. М. Языков. Ливония. 1824); «Под ними спит сей властелин, / Сей идол северных дружин, / Маститый страж страны державной, / Смиритель всех ее врагов» (А. С. Пушкин. «Перед гробницею святой...». 1831).

Ломоносов оставался верен в своей одической поэзии. Цель этого принципа была сформулирована им в предисловии к «Древней российской истории»: «Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших» (Ломоносов VI: 171). Итак, по мнению Ломоносова, «правдивая история» о героических деяниях предков является особенно сильным средством, вдохновляющим на новые подвиги. В этом прослеживается влияние древнерусской литературы: «Древнерусские памятники — летописи, воинские повести, жития святых, прологи — предоставляли Ломоносову великолепные образцы исторической литературы, где описание “правдивых действий” сочеталось “с нравоучением”. Средневековый писатель всегда стремился быть правдивым, не “вымышлять”, а возможно более точно передавать “прежде бывшее”» (Моисеева 1980: 207).

В оду 1741 г. («Оду, которую в торжественный праздник высокого рождения ... Иоанна Третьяго ... 1741 года Августа 12 дня веселящаяся Россия произносит») М. В. Ломоносов ввел исторический экскурс, который объединяет нескольких древнерусских правителей от Рюрика до Дмитрия Донского. Этот экскурс посвящен теме военной славы России: «Россиан храбрость где не явна?» (Ломоносов VIII: 38). Тема славы русского оружия тесно переплетается с темой подражания предкам: «Но, мышлю, придет лишь година, / Познаеш как, что враг погран / Твоих удачами славных Дедов, / Что страшны те у всех соседев; / Заплачеш, как Филиппов сын; / Ревнивы слезы будут литься» (Ломоносов VIII: 37).

В отличие от «Оды на взятие Хотина», в которой введение исторического лица служила вполне конкретной цели обоснования внешней политики Анны Иоанновны, в этой оде перечень исторических лиц едва ли связан с актуальными задачами. В оде, обращенной к императору-младенцу, создание образов героев, скорее, обусловлено личным интересом Ломоносова к русской истории. Подтверждением этому является образ Гостомысла, который выбивается из ряда русских правителей, упоминаемых в этой оде, к тому же он не имеет отношения к военной славе Руси. Его образ был проанализирован выше.

Широкая галерея русских правителей (от Святослава до Петра I), объединенная темой военной славы России, создана в «Оде ... Елисавете Петровне ... на пресветлый торжественный праздник Ея Величества восшествия на Всероссийский престол Ноября 25 дня 1761 года» М. В. Ломоносова. В его собрании сочинений к содержанию этой оды дается следующий комментарий: «Ломоносов напрягает слабеющие силы, чтобы предостеречь соотечественников от упадка духа и ободрить их напоминанием о патриотическом подъеме начала 40-х годов, о героических деяниях предков и о недавних боевых подвигах “росской руки”» (Ломоносов VIII: 1155). Таким образом, к введению исторического обзора Ломоносова, вероятно, подтолкнула сложившаяся в последние годы правления Елизаветы Петровны внешнеполитическая ситуация: участие России в затянувшейся войне, бездействие военного руководства, физическая и моральная усталость русской армии.

Решению актуальной политической задачи посвящена и мысль о вынужденном характере происходящей войны: «Едина токмо брань кровава / Принудила правдивой мечь / Противу гордости извлечь, / Как стену, Росску грудь поставить / В защиту дружеских держав / И от насильных рук избавить, / В союзе верность показав» (Ломоносов VIII: 745–746). В продолжение этой мысли Ломоносов развивает идею необходимости войны, давая ей политическое обоснование: «Необходимая судьба / Во всех народах положила, / Дабы военная труба / Унылых к бодрости будила, / ... / Война плоды свои растит, / Героев в мир раждает славных, / Обширных областей есть щит, / Могущество крепит Державных» (Ломоносов VIII: 746).

Следующий фрагмент оды посвящен ее историческому обоснованию, для чего Ломоносов использует примеры героических подвигов правителей прошлых эпох. Важное место в поэтическом описании занимает география внешнеполитического влияния и локализация завоеванных и управляемых князьями и царями территорий: берега Дуная, Невы, Дона и Вислы, земли «с Дунайских и до Камских вод». Начинается историческая галерея с образа Святослава Игоревича, который полностью построен на основе исторических сведений:

<p>Се бодрый воин Святослав, Славян и Скифов с Печенеги И Болгар с Турками собрав, Дунайски наполняет бреги (Ло- моносов VIII: 747).</p>	<p>Ср. фрагмент из «Краткого Российского летописца»: «Святослав Игоревич, государь храбрый ... кровавые войны вел на Дунае ... Имел в своем войске не токмо подданных славян и чудь, но и наемных варягов, печенегов и турков и союзных болгар» (Ломоносов VI: 298).</p>
<p>И победитель всем гласит: «Здесь сердце стран моих лежит: Смарагды, шолк дают мне Греки, Вино и злато — Угров труд; Народ и хлеб — велики реки, Что в Отчестве моем текут» (Ломоносов VIII: 747).</p>	<p>Ср.: «не любо ми есть жити въ Киевѣ, но хощу жити въ Переаславци на Дунаи, яко ту есть среда земли моей, яко ту вся благаа сходятся: отъ Грековъ злато, паволоки, вино, овощи различни; а изъ Чаховъ и изъ Угръ сребро и кони, из Руси же скоря, и воскъ, и медь, и челядь» (Никоновская летопись 2000: 34).</p>

Князь Владимир характеризуется как креститель Руси, при этом в его описании присутствуют и другие элементы: отсылка к убийству брата Ярополка («Отмстив за брата равной мерой») и активная внешняя политика («Войной и миром исполин»). В описании деятельности крестителя Руси обозначены подвластные ему земли: «С Дунайских и до Камских вод / Вливает свет Христов в народ» (Ломоносов VIII: 747).

В образе Владимира Мономаха отражены легендарные сведения о получении им царского венца и других царских регалий от византийского императора (Моисеева 1971: 16–19). Между тем, если в легенде император объясняет свой дар тем, что эти царские знаки принадлежат Владимиру как потомку императора Августа («сиа честныи дарове от начаток вечных лет твоего родства поколения» (Послание 1955: 164)), то Ломоносов указывает на другую причину его поступка: «И Комнин, облеченный в страх, / Венец взолагает на Россию» (Ломоносов VIII: 748). Тем самым он подчиняет историческое сведение общему замыслу поэтического текста. Важно отметить и то, что Ломоносов в этом фрагменте исправляет историческую ошибку. В «Послании», так же как и в летописных рассказах, основанных на этом памятнике, речь идет об императоре Константине Мономахе, в то время как в правление Владимира Мономаха во главе Византии находился сначала Алексей I Комнин, затем Иоанн II Комнин. Константин Мономах умер, когда Владимиру Всеволодовичу было два года. Ломоносов устранил

несоответствие<sup>18</sup>, благодаря чему демонстрирует верность историческим фактам.

Александр Невский лишен летописных подробностей и вводится в текст с помощью яркого художественного образа: «Там плещут Невски берега, / Низвергнув дерскаго врага / Петрова Мужеством Предтечи: / От Запада защитник он» (Ломоносов, VIII: 748). Образное наименование Александра Невского (перифраза *Петров Предтеча*), указывающее на общее для него и Петра I направление внешней политики и военных достижений, отсылает к традиции описания Александра Невского в панегирической литературе Петровской эпохи.

Дмитрий Донской введен в текст оды с помощью метонимического наименования *Дмитриевы плечи* и яркого гиперболического образа: «Се Дмитриевы сильны плечи / Густят Татарской кровью Дон» (Ломоносов VIII: 748).

Образы Ивана III и Ивана IV объединены как общей целью — борьбы с татарскими завоевателями, так и стилистически — «тезоименны Дед и Внук». Такой «парный» образ соименных русских правителей встречается в поэтических произведениях М. М. Хераскова и главным образом М. Н. Муравьева: «Куда, **чета тезоименна**, / Меня влечете, утомленна, / **Венчанны славой дед и внук?** / Вы язвы царства затворили, / Вы целый Север покорили / И распростерли в Запад звук!» (Муравьев 1967: 103); «Неукротимых орд воскресла власть попоранна / Во время юности **второго Иоанна**. / Сей **деда храброго венчанный славой внук** / Едва не выпустил Казань из слабых рук» (Херасков 1961: 183). Преимущество исторических описаний в одах Муравьева по отношению к поэзии М. В. Ломоносова подчеркивается и следующими примерами: «И чем нас вознесли **два строги Иоанны**, — / Все славны их труды <Россия — М. III. > оплакала попораны» (Ломоносов VIII: 570) — «К спасению ее <России — М. III. > от гибели избранны, / Сияют Александр, Димитрий, **Иоанны**» (Муравьев 1967: 188–189).

---

<sup>18</sup> Те же сведения приводятся и в «Кратком Российском летописце»: «Ополчившись на Грецию, <Владимир Мономах — М. III.> получил от царя греческого Алексея Комнина все украшения царского сана и венчан царем и самодержцем всероссийским» (Ломоносов VI: 303).

В образе Алексея Михайловича подчеркивается его роль во внешнеполитической деятельности: «О Висла, до твоих зыбей / Границы дел своих поставил» (Ломоносов VIII: 748).

Таким образом, для одической поэзии М. В. Ломоносова характерно создание на основе летописных источников емких описаний исторических лиц, в которых основной мыслью является расширение территории и внешнеполитического влияния Русского государства под властью сильных и храбрых правителей-героев.

Другое направление в описании исторических лиц отражено в поэзии А. П. Сумарокова. В «Оде Екатерине Второй, на день Ея Рождения 1767 года» (Сумароков II: 78–82) поэт вводит пространный исторический экскурс, посвященный Дмитрию Донскому, Александру Невскому, Святославу Игоревичу и Ивану III. Нарушение хронологии в последовательности изображаемых правителей (Святослав после Александра Невского), а также завершение описания образом Ивана III указывает на оригинальное и не зависимое от поэзии Ломоносова художественное переосмысление исторических событий и русских правителей. В произведениях Ломоносова обычно сохраняется историческая последовательность, Иван III самостоятельно не упоминается, только вместе с Иваном IV.

В строфах 6–8 оды А. П. Сумарокова отражена идея о том, что сила и слава русского оружия не ослабевала даже в тяжелый для Руси период феодальной раздробленности и татаро-монгольского завоевания. В соответствии с этой идеей приводятся образы князей-победителей.

Дмитрий Донской изображен с помощью, скорее, традиционных для доломоносовской историографии сведений и поэтических формул, нежели с привлечением актуальных исторических данных: «Но и тогда Димитрий пышно / Героя Скифска победил, / И имя Россов было слышно, / Отколе Феб ни восходил: / От крови Скифской Дон смутился, / Мамай развевя яко прах. / Дрожат Орды, Стамбул бледнеет, / И горда Порта каменеет, / При Доне смерть, в Херсоне страх» (Там же: 80–81). Рассмотрим подробнее образ русского князя. А. П. Сумароков дважды употребляет этноним *скифы* по отношению к татарам. Идея этногенетической преемственности восточноевропейских тюркских, монгольских,



балтийских и финноугорских этносов от разных скифских народов и сарматов характерно для русских исторических сочинений, которые в этом вопросе следовали античной и польской историографии XVI — первой половины XVII в.<sup>19</sup> О татарах и турках как потомках древних скифов пишет в «Скифской (Скифийской) истории» А. И. Лызлов (2-я половина XVII в.) (Богданов, Гладкий 1985: 81–82; Свердлов 2011: 128, 131). Скифы отождествляются с татарами в «Синописе» И. Гизеля (Иннокентий Гизель 1674: 7 об., 11). Эта идея отражена и в истории В. Н. Татищева, в чем, как отмечает Б. Н. Свердлов, «прослеживается воздействие на Татищева зарубежной историографии» (Свердлов 2011: 477). Развитие научного знания о скифах связано с именем М. В. Ломоносова, который указал, что античные авторы по незнанию называли скифами разные по происхождению северные народы (Ломоносов VI: 198). Он отождествил скифов с чудским племенем (Там же: 199–200).

Конечно, употребление этнонима *скифы* по отношению к татарам нельзя назвать большой ошибкой в условиях недостаточного развития историографии в XVIII в., особенно в вопросах этногенеза славян и этнокультурного взаимодействия славян с соседними народами. Между тем показательное отличие точки зрения А. П. Сумарокова от мнения М. В. Ломоносова по этому вопросу.

Описание Дмитрия Донского создано Сумароковым в стилистике и стилистических формулах торжественной оды, утвержденных в одах М. В. Ломоносова. Приведем примеры:

1. «От крови Скифской Дон смутился» — ср.: «Се Дмитриевы сильны плечи / Густят Татарской кровью Дон» (Ломоносов VIII: 748); «Евфрат в твоей крови смутится» (Ломоносов VIII: 28); «Ревнив Донской что Дмитрей деет? / Татарска кровь в Дону багреет, / Мамай, кудаб уйти, не знал» (Ломоносов VIII: 39).

2. «Мамай развевя яко прах» — ср.: «Козацких поль заднестрской тать, / Разбит, прогнан, как прах, развевя» (Ломоносов VIII: 29).

3. «Дрожат Орды, Стамбул бледнеет, / И горда Порты камееет» — «Фиссон шумит, Багдад пылает» (Ломоносов VIII: 107);

---

<sup>19</sup> Ю. В. Стенник сообщает о факте «активного использования им <А. П. Сумароковым — М. Ш.> польских исторических источников (в частности, «Синописа» Страницкого) при обращении к древнему периоду русской истории» (Стенник 1996: 27).

«Дрожал пред ним <Игорем — М. Ш. > и сам Царьград» (Ломоносов VIII: 39).

Нарушением исторической достоверности можно считать употребление топонима Стамбул в описании деятельности Дмитрия Донского, то есть до падения Константинополя в 1453 г. То же относится и к возвышению Османской империи, которая к концу XIV в. присоединила балканские территории, но укрепила свой международный авторитет и влияние только к середине XV в.

Строфа 8, в которой создан поэтический образ Александра Невского, так же, как и строфа 7 стилистически близка ломоносовской оде. Приведем примеры.

1. «И ты, Нева, тому свидетель» — Ср.: «Европа и весь мир свидетель, / Народов разных миллион, / Колика ныне добродетель / Российский украшает трон» (Ломоносов VIII: 219).

2. «Со Клязминых брегов владетель, / К тебе как шел, каков сей Князь» — Ср. употребление метонимического именованья Князь в «Надписи на серебряной раке Александру Невскому»: «Святыи и храбрыи Князь здесь телом почивает» (Ломоносов VIII: 283).

3. «То видя изумленья полны, / Бальтийския взыграли волны» — Ср.: «К Тебе от восточных стран спешат / Уже Американски волны / В Камчатской порт, веселья полны» (Ломоносов, VIII: 95); «Балтийски волны побелели» (Ломоносов VIII: 63).

Образ Святослава Игоревича (строфа 9) создан с помощью характерных для стилистики торжественной оды образов: олицетворения России, Греции и Византии; гиперболы («Трепещут горы, лес и дол»). Описание Византии также подчинено стилистике оды, так как война с Русью не нанесла такого ущерба, чтобы это могло иметь столь значительные для внутреннего устройства Византии последствия. Поэтому образы Византии и Греции являются гиперболизированными.

Наиболее исторически достоверным является описание деятельности Ивана III: возведение кирпичных стен Московского кремля («Огромными объям стенами, / Град Кремль и сердце Росских стран»), объединение русских земель («Единовластвующий нами, / Князь Росский, храбрыи Иоанн»), активная и успешная внешняя политика («Являет миру то, что Россы / Низвергут горы и Колоссы, / Коль их оружию претят»), походы на Казань,

которые в правление Ивана IV Грозного завершились ее присоединением («Ему в последующи годы, / Ко Скифам шествуют народы, / И в Россов их преобратят»). Возможно, это связано с интересом А. П. Сумарокова к русской истории московского периода:<sup>20</sup> в 1759 г. было опубликовано его сочинение «О перьвоначали и созидании Москвы», в 1774 г. вышла «Краткая московская летопись».

Вместе с тем в этом фрагменте едва ли можно говорить о соблюдении принципа исторической достоверности, так как большее значение для поэта имеет стилистическое оформление. К подобным выводам пришел и Ю. В. Стенник, анализируя исторические сочинения А. П. Сумарокова и его переписку с Г. Ф. Миллером: «Уже на основании знакомства с рассмотренным выше первым историческим сочинением Сумарокова<sup>21</sup> можно сделать вывод о его весьма вольном обращении с источниками. Будучи сам писателем, он, по-видимому, памятники прошлого воспринимал так же, как произведения литературы. И свою задачу как историка он видит в приближении событий прошлого к современности, в пересказе источников литературным языком и даже в их корректировке» (Стенник 1996: 32). По мнению исследователя, поэт вводил интерпретацию исторических фактов в соответствие «той сословно выдержанной идеологической доктрины, выразителем которой он неизменно выступал» (Стенник 1996: 44).

Последователем принципа соблюдения исторической достоверности в отражении исторических событий является М. Н. Муравьев. Вероятно, любовь к поэзии Ломоносова и интерес к русской истории повлияли на формирование этого принципа. Для раннего периода его творчества было характерно создание од, стилистически близких торжественным одам Ломоносова. В этой стилистике создана ода «Храм Марсов» (1773, вторая половина 1770-х), в которой основной темой является описание примеров

---

<sup>20</sup> Об обращении Сумарокова к истории России этого периода в контексте его увлечения русской историей пишет Ю. В. Стенник (Стенник 1996: 26).

<sup>21</sup> Речь идет о «О перьвоначали и созидании Москвы».

героизма и мужества, взятых из античной культуры и русской истории, призванное вдохновить молодых воинов к подвигам и славе. Историческое описание, которое включено в состав оды, выполняет задачу пробудить в юношах желание подражать героям прошлых эпох: «Не руша с истиной союза, / Свидетельница древних лет, / Истории там важна муза / Свои уроки раздает. / Мужей великих исчисляет / И их примером побуждает / Забыть себя для блага всех, / Позорной роскоши чуждаться, / Ударов счастья не бояться / И небу поручить успех» (Муравьев 1967: 99).

В оде поэт создает оригинальные образы русских правителей, которые в основном соответствуют их летописным описаниям.<sup>22</sup> Например, князь Владимир, который в панегирической литературе обычно предстает в образе крестителя Руси, Муравьевым представлен как успешный полководец. Строки «Гремел Владимир за Дунаем / И колебал окрестным краем, / Премногих победитель стран» (Муравьев 1967: 99) содержат указание на обширную географию походов русского князя. В целом художественное описание деятельности русских правителей идейно близко их описаниям в поэзии М. В. Ломоносова. Главной идеей, которая объединяет все образы, является сила и слава русского оружия, которая вызывает страх у соседних стран.

Как известно, ода «Храм Марсов» является переработкой «Войенной песни», написанной в 1773 г. и вышедшей отдельным изданием в 1774 г. В последней представлен более пространственный

---

<sup>22</sup> В начале этого фрагмента нарушена хронология в описании князей Игоря и Олега. Кроме этого, вероятно, в соответствии с идейными и стилистическими требованиями панегирического жанра изображен спасающийся бегством византийский император Иоанн Цимисхий. Этот образ идет вразрез с историческими данными, согласно которым он нанес войску Святослава значительный ущерб и вынудил его просить мира; ср., например, комментарий по поводу итогов войны Святослава с Иоанном Цимисхием в «Древней Российской истории» М. В. Ломоносова: «На сем сражении по Кедринуwu свидетельству греки, по Нестерову — россияне верх одержали. Вероятнее всего, что победа в сомнении осталась. Между тем Святослав, рассудив малое число своего войска и во всем недостаток, к миру преклонился. Итак, вечный союз утвердив с греками, в Россию путь предприимлет» (Ломоносов VI: 245).

экскурс в историю России. Сравним фрагменты двух произведений. Образы Игоря, Олега, Святослава и Владимира в оде «Храм Марсов» сохранены в неизменном виде. В основе образа князя Олега, возможно, находится его описание в поэме «Петр Великий»: «Пред цареградскими стенами / На греков Игорь двинул рать. / Олег по суше ладьями / Спешит коварных мочь попрать» (Муравьев 1967: 102) — Ср.: «Пример изображен тут Ольговых чудес: / Пред Цареградскими высокими стенами / Он по полю в ладьях стремился парусами» (Ломоносов VIII: 722). Этот сюжет восходит к летописной легенде о взятии Царьграда князем Олегом<sup>23</sup>. В оде Г. Р. Державина «На взятие Измаила» образ Олега лишен этой выразительной детали: «Не вновь ли то Олег к Востоку / Под парусами флот ведет» (Державин I: 356).

После изображения князя Владимира в «Военной песни» приводится перечень древнерусских киевских и владимирских князей с кратким описанием их деятельности (Ярослав, Изяслав, Всеволод, Владимир Мономах, «Москвы Георгий состроитель<sup>24</sup>», «Андрей,<sup>25</sup> Димитрий, Константин») (Муравьев 1774: 15). Заканчивает перечень выразительное описание нашествия Батыя.

Следующий фрагмент «Военной песни», который открывается описанием периода монголо-татарского владычества, в измененном виде вошел в оду «Храм Марсов». Отсутствует в оде подробное описание правления Ивана III, Василия Ивановича, Ивана IV и Федора Ивановича, которому уделено внимание в «Военной песни». В основных своих чертах описание деятельности этих правителей следует за «Кратким Российским летописцем» М. В. Ломоносова. Приведем примеры:

---

<sup>23</sup> См., например, описание в Никоновской летописи (Никоновская летопись 2000: 18).

<sup>24</sup> Юрий Долгорукий.

<sup>25</sup> Этот ряд имен владимирских князей соответствует последовательности их описания в «Кратком Российском летописце» М. В. Ломоносова (Ломоносов VI: 306–307). В тексте «Летописца» после Юрия Долгорукого следует описание правления Андрея Юрьевича Боголюбского, Всеволода Юрьевича Большое Гнездо (по Ломоносову, «Димитрий-Всеволод Юрьевич») и Константина Всеволодовича.

«Военная песнь»	«Краткий Российский летописец»
<p>На Новгород Иоан стремится, Сей град послушен становится, Казань трепещет перед ним (Муравьев 1774: 15).</p>	<p>«Иван Васильевич ... то посылал ... воевать Казань и гордость казанцев усмирил. На возмущенный Новгород самовольным отступлением Марфы, вдовы посадника Исака Борецкого, и детей ея ходил с великим войском и привел к послушанию» (Ломоносов VI: 318–319).</p>
<p>Смоленск Василий поплняет, Царя в Казань он посылает, Оружьем град пленив своим (Там же).</p>	<p>«Василей Иванович ... Смоленск взят был под власть российскую ... На место его &lt;умершего казанского царя Махмета Аминя — М. III. &gt; поставлен от великого князя в Казане царь Шигалей, но с казанского царства согнан, затем что не хотел с беспокойными казанцами отступить от России, пришел в Москву ... В третий раз посланное российское войско благополучно Казань достигло, татаре побеждены; царь Сафакирей ушел в Крым» (Там же: 320–322).</p>
<p>Казански стены повалились: Ударил грозный Иоан, Пред ним Вандалы преклонились, И Емгурчей лежит погран. Почули мощные удары, Ливонцы, Крымские Татары, И беспокойная Литва; Цари Сибирски ужаснулись, Новгородцы спотряхнулись, Их пала гордая глава (Там же).</p>	<p>«Иван Васильевич ... оборонялся храбро от Литвы, от крымцев и казанцев, которые совокупно воевали на Россию ... Скоро потом и Астраханское царство присовокуплено к России: царь Емгурчей &lt;Прим. ред.: В подлиннике Емгурчей.&gt; выгнан, царицы и царевны в полон взяты ... Шведы потом напали на Орешек, однако российским войском за Выборг прогнаны ... Неспкойных новгородцев казнил сей государь свирепым наказанием ... При конце жизни его взято Ермаком царство Сибирское» (Там же: 322–327).</p>
<p>В зыбях погибли Соловецких, Норвежцы Росским в льдах мечем, Хищений спас Феодор Шведских, Града, где ныне мы живем (Там же: 16).</p>	<p>«Федор Иванович ... Норвежцы напали на северные поморские места, однако от Соловков и от Сумы отбиты» (Там же: 327–328).</p>

На этом экскурс в историю допетровской Руси в «Военной песне» завершается. В оде «Храм Марсов» добавлен фрагмент, в котором дается описание Смуты и прихода к власти Романовых: «Престол в междоусобье царской / Крепят геройскою рукой / Два мужа,

Минин и Пожарской, / И ты, их общник, Трубецкой» (Муравьев 1967: 103). Муравьев упоминает К. Минина, Д. М. Пожарского и Д. Т. Трубецкого. Имя последнего больше не встречается в одической поэзии. Возможно, его появление обусловлено влиянием поэмы «Петр Великий» М. В. Ломоносова; ср.: «Везде свирепый рок отечество терзал. / Пока Пожарскаго и Трубецкаго ревность, / Смотри на праотцев, на славу Россов древность, / Пресекла наконец победою напасть, / И обществом дана Петрову Деду власть» (Ломоносов VIII: 719–720). Обращает на себя внимание то, что Ломоносов не упоминает К. Минина. Возможно, в этом проявилось влияние дворянской историографии, где о нем умалчивали (Пештич II: 49).

С конца 70-х гг. в военной оде намечается сдвиг исторической перспективы, когда исторически актуальным становится период правления Петра I, допетровская Русь уходит из поля зрения поэтов-одописцев. Исторические экскурсы появляются в торжественной поэзии в 90-е гг. В это время обращение к русской истории для изображения темы военной славы России и подвигов ее правителей приобретает все менее традиционный характер, меняет направление в сторону развития оригинальных авторских переосмыслений и обобщений.

В оде «На взятие Измаила» (1791) Г. Р. Державина в русле устно-поэтической традиции изображен русский народ-воин в образе исполина<sup>26</sup>, который пребывал в трехвековом сне, раздираемый врагами и опустошаемый войнами. В поэтическом описании приводится только имя Батыя и не прямое наименование Лжедмитрия: «Как зверь, его Батый рвет гладный, / Как змей, сосет лжецарь коварный» (Державин I: 351). Параллелизм событий 30–40-х гг. XIII (начало монголо-татарского нашествия) и первых десятилетий XVII в. подчеркивается синтаксическим параллелизмом. Исторический экскурс в оде Г. Р. Державина изображен с использованием стилистических элементов нарождающегося предромантизма, таких как: уже упомянутое выше обращение к национальной устно-поэтической традиции, элементы северного пейзажа

---

<sup>26</sup> Подробно эта традиция рассмотрена в статье Е. А. Касаткиной (Касаткина 1946: 98–99).

(«Простертую под ним долину / Покрыл везде колючий терн», «Восстал! как утром холм высокой / Встает, подымаясь челом»), образы тревоги, беспокойства и унылого одиночества («Я вижу страшную годину / Его <росса — М. Ш. > три века держит сон», «Лице туман подернул бледный, / Ослабли мышцы удрученны, / Скатилась в мрак глава его <росса — М. Ш. >; / Разбойники вокруг суровы / Взложили тяжкие оковы, / Змия на сердце у него», «Лежал он во своей печали, / Как темная в пустыне ночь; / Враги его рукоплескали, / Друзья не мыслили помочь, / Соседи грабежом алкали; / Князя, бояра в неге спали / И ползали в пыли, как червь»). Устойчивым в поэтической традиции оказывается провиденциальный взгляд на исторические события: «Но бог, но дух его великий / Сотряс с него беды толики». Образ росса-исполина, нашедшего в себе силы самостоятельно, без помощи внешних сил, освободиться от «оков», необходим автору для того, чтобы подчеркнуть силу и мощь России. Державин обходится в этом фрагменте без введения образов русских князей и царей. Далее в тексте оды, уже за пределами образа росса-исполина, даются описания деятельности князя Олега и княгини Ольги (Там же: 356).

Ряд од, написанных в связи с успехами военных действий русской армии, замыкают оды Г. Р. Державина «На взятие Варшавы» (1794 г.) и В. П. Петрова «На взятие Варшавы» (1795), посвященные взятию предместья Варшавы, а затем и самого города русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1794 г. В стихотворении Державина воссоздается картина небесного вертограда, в котором предстают русские герои. Среди них появляется Петр I, который обращается к Д. Пожарскому с перечислением его заслуг: «Ты усмирил ея <России — М. Ш. > крамолу, / Избрал преемника престолу, / Разсадник славы насадил» (Державин I: 644). Затем он говорит о Екатерине II как о правительнице, подчинившей «строптиву Польшу» (Там же). Благодаря этому она расширила влияние, а затем и территорию России. Тем самым она рассматривается как продолжательница внешней политики своих предшественников: «Твои <Пожарского — М. Ш. > теперь пожаты крины, / Которы сжать я укушил. / Она <Екатерина II — М. Ш. > наш дом распространила / И славой всех нас превзошла» (Там же). Этот фрагмент, безусловно, написан под влиянием «Оды на взятие Хотина»



М. В. Ломоносова,<sup>27</sup> в которой Петр I ведет диалог с Иваном Грозным. Как развитие этой же ломоносовской традиции можно рассматривать и фрагмент оды В. П. Петрова. Появление в облаке царя Михаила Федоровича, князя Д. Пожарского и К. Минина реализует уже упомянутый мотив появления сверхъестественной силы. В отличие от оды Ломоносова, в рассматриваемых произведениях герои-собеседники русских правителей (Д. Пожарский и К. Минин) имеют иной политический статус: они не принадлежат к представителям высшей власти. В связи с этим заслуживает внимания то, что в оде Г. Р. Державина Екатерина II рассматривается как продолжательница героических деяний князя Д. Пожарского, в то же время В. П. Петров снимает это противоречие тем, что вводит образ царя Михаила, благодаря чему заслуги Екатерины II оцениваются в ряду равных ей по статусу героев-правителей: «Хоть много по моей <Михаила — М. III. > кончине / Соделали мой сын и внук; / Но Бог судил Екатерине / Возвысить славы Росской звук» (Петров II: 172). Пожарский же становится в круг военачальников, подчиненных воле монарха, с его героизмом сравнивается деятельность А. В. Суворова: «И сильны, стража Ей, герои, / Усердьем равные с тобой, / Которые гремящи строи / Выводят на успешный бой» (Там же: 173). В одах Г. Р. Державина и В. П. Петрова актуализация событий Смутного времени происходит благодаря общему внешнему направлению государственной политики — борьбе с Польшей.

Героизация Д. Пожарского и К. Минина, которая стала проявляться в торжественной поэзии с 70-х гг. XVIII в., может рассматриваться как проявление демократизации в историографии этого периода. Как отмечает С. Л. Пештич, 60-е годы становятся «историографическим рубежом», когда «наряду с историками из дворян появляются историки из купеческого сословия или среды разночинцев ... В связи с расширением круга историков расширяется также круг исторических персонажей, т. е. круг лиц, деятельность которых представлена в исторических произведениях» (Пештич II: 11–12). «Неорганичность» образа К. Минина в жанре

---

<sup>27</sup> М. В. Ломоносов упоминается в оде Г. Р. Державина в этой же картине небесного вертограда.

похвальной оды проявляется в том, что он либо только упоминается вместе с Д. Пожарским, который может быть изображен в кругу правителей как равный участник исторического процесса, либо не упоминается вовсе (как, например, в оде Г. Р. Державина). В произведении В. П. Петрова социальный статус К. Минина подчеркивается особо: «И Минин (зри, небесны круги / Не знатность ценят, но заслуги) / И Минин смотрит из за них <царя Михаила и Д. Пожарского — М. Ш. >» (Петров II: 171). Таким образом, героический тандем Д. Пожарского и К. Минина в одической поэзии XVIII в. разрушается в пользу первого. За Д. Пожарским закрепляется образ патриота и верного «сына Отечества». Это нашло отражение в оде Н. М. Карамзина «Его Императорскому Величеству Александру I, самодержцу всероссийскому, на восшествие его на престол» (1801 г.). В этом произведении имя Пожарского приводится во множественном числе: «У нас Пожарские сияли» (Карамзин 1966: 264). Это свидетельствует об утрате антропонимом исторической конкретизации и появлении нарицательного значения 'герой-патриот'.

Таким образом, темы храбрости русских правителей и русского войска, международной славы русского оружия, расширения территории Русского государства, мотив подражания героям прошлых эпох, восходящие к традиции древнерусской литературы, сохраняются и развиваются в одической поэзии XVIII в. Основной художественный принцип такого описания — принцип исторической достоверности — был заложен М. В. Ломоносовым и получил развитие в поэзии М. Н. Муравьева. Этот принцип был обусловлен научными интересами ученого, его работой над историческими трудами. В дальнейшем такой подход к изображению русской истории утрачивает актуальность. Важнейшим принципом отбора и описания исторических лиц становится общее направление внешней политики, которое объединяет деятельность правителей прошлых эпох и правящего монарха.

### Выводы

Обращение к сюжетам и героям русской истории в одической поэзии XVIII в. наиболее характерно для творчества М. В. Ломоносова. Развивая идеи и темы как древнерусской литературы, так

и литературы барочной эпохи, его поэзия во многом заложила основы поэтического переосмысления истории России в пределах одического жанра и, шире, торжественной поэзии. Между тем, проведенный анализ показал, что в отражении остроактуальных политических тем (например, темы развития принципов престолонаследия и пресечения царствующей династии) Ломоносов проявлял заметный консерватизм. Вероятно, в этом сказался его академический статус. По справедливому мнению Г. И. Бомштейна, основной задачей для ученого была «популяризация героев, героических деяний, выдающихся государственных деятелей прошлого, воспитание патриотизма на примерах из национальной истории» (Бомштейн 1966: 86). Таким образом, обращение к сюжетам и героям русской истории в торжественной поэзии Ломоносова носило по преимуществу просветительский характер. В послеломоносовской панегирической поэзии и прозе исторические экскурсы используются в связи с событиями внешней политики, вопросы легитимации самодержавной власти и исторического обоснования права монарха на престол в правление Екатерины II становятся «опасной» темой. Поэты подходят к ней с большой осторожностью. В связи с этим важно отметить, что в целом жанр одической поэзии проявляет бóльшую традиционность в использовании образов и сюжетов русской истории по сравнению с ораторской прозой, для которой в большей степени характерны публицистические элементы.

### Источники

1. Гавриил Бужинский 1901 — Проповеди Гавриила Бужинскаго (1717–1727). Историко-литературный материал из эпохи преобразований. Издал по рукописи Московской Духовной Академии Евгений Петухов. Юрьев, 1901.
2. Гедеон Криновский 1855 — *Гедеон (Криновский)*. Собрание поучительных слов, при высочайшем дворе сказыванных придворным проповедником, бывшим потом епископом Псковским и Святейшего правительствующего Синода членом Гедеоном. Ч. 6. М., 1855.
3. Державин — [*Державин Г. Р.*]. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. [В 9 т.]. СПб., 1864–1883.
4. Иларион 1997 — *Иларион, митр.* Слово о Законе и Благодати // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. С. 27–61.

5. Иннокентий Гизель 1674 — *Иннокентий Гизель*. [Синописис] или Краткое собрание от разных летописцев, о начале славяно-российскаго народа, и первоначальных князей богоспасаемаго града Киева. Киев, 1674.
6. Карамзин 1966 — *Карамзин Н. М.* Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966. (Серия «Библиотека поэта»).
7. Книга Степенная 1775 — Книга степенная царскаго родословия, содержащая историю российскую с начала оныя до времен государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича, / Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария, А напечатанная под смотрением коллежскаго советника, и Имп. Академии наук, також и разных иностранных академий, и Вольнаго економическаго и Российскаго Вольнаго же собрания члена Герарда Фридерика Миллера. М., 1775.
8. Книга Степенная 1913 — Книга Степенная царскаго родословия: Ч. 1–2. Ч. 2. СПб., 1913 (Полное собрание русских летописей. Т. 21. Вторая половина).
9. Ломоносов — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 11 т. М.; Л., 1950–1983.
10. Майков 1966 — *Майков В.* Избранные произведения. М.; Л., 1966. (Серия «Библиотека поэта»).
11. Муравьев 1774 — *Муравьев М.* Военная песнь. СПб., 1774.
12. Муравьев 1967 — *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л., 1967. (Серия «Библиотека поэта»).
13. Никоновская летопись 2000 — Полное собрание русских летописей. Т. 9. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М., 2000.
14. Петров — [*Петров В. П.*] Сочинения В. Петрова. [В 3 ч.] СПб., 1811.
15. Платон Левшин 1780 — Поучительныя слова При Высочайшем Дворе ... Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийския, и в других местах с 1763 года по 1780 год сказыванныя Его Императорскаго Высочества Учителем и Придворным Проповедником, Святейшаго Правительствующаго Синода членом Преосвященнейшим Платоном, архиепископом Московским и Калужским и Святотроицкия Сергиевы лавры священно-архимандритом. В Москве 1780 года.
16. Послание 1955 — Послание Спиридона-Саввы // Дмитриева Р. П. Сказание о князьях Владимирских. М.; Л., 1955. С. 159–170.
17. ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи. Т. II. 1676–1688. СПб., 1830.

18. Симеон Полоцкий 1683 — *Симеон Полоцкий*. Вечеря душевная. М., 1683.
19. Стефан Яворский 2014 — *Стефан Яворский*. Сочинения. Саратов, 2014.
20. Сумароков — [Сумароков А. П.] Полное собрание всех сочинений, в стихах и прозе, покойного ... Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы ... Николаем Новиковым. Издание второе: [в 10 ч.]. М., 1787.
21. Феофан Прокопович 1726 — *Феофан Прокопович*. Правда воли монаршей. М., 1726.
22. Феофан Прокопович 1760–1761 — Феофана Прокоповича архиепископа Великого Новаграда и великих Лук, Святейшаго Правительствующаго Синода Вице-президента, а потом первенствующаго Члена слова и речи поучительныя, похвальныя и поздравительныя собранныя и некоторыя вторым тиснением, а другия вновь напечатанныя. Ч. I–II. СПб., 1760–1761.
23. Феофан Прокопович 1961 — *Феофан Прокопович*. Сочинения. М.; Л., 1961.
24. Херасков 1961 — *Херасков М. М.* Избранные произведения. Л., 1961. (Серия «Библиотека поэта»).
25. Чин поставления 1882 — Чин поставления на царство царя и великаго князя Алексея Михайловича. Сообщено наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Леонидом. СПб., 1882. (Памятники древней письменности).

## Литература

1. Адрианова-Перетц 1963 — *Адрианова-Перетц В. П.* О связи между древним и новым периодами в истории славянских литератур // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XIX. М.; Л., 1963. С. 427–447.
2. Богданов, Гладкий 1985 — *Богданов А. П., Гладкий А. И.* Лызлов Андрей Иванович // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 39. 1985. С. 80–83.
3. Бомштейн 1966 — *Бомштейн Г. И.* Ломоносов и национально-историческая тема в русской литературе и искусстве // XVIII век. Сб. 7. Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию члена корреспондента АН СССР П. Н. Беркова. М.; Л., 1966. С. 86–93.
4. Елеонская 1981 — *Елеонская А. С.* Русские старопечатные предисловия и послесловия второй половины XVI — первой половины XVII в. (патриотические и панегирические темы) // Тематика и стилистика

- предисловий и послесловий (Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII в.)), М., 1981. С. 71–99.
5. Елеонская 1990 — *Елеонская А. С.* Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. М., 1990.
  6. Касаткина 1946 — *Касаткина Е. А.* Торжественная ода XVIII века и древнерусская устно-поэтическая и литературная традиция // Уч. зап. Томского гос. пед. института, т. III (Серия гуманитарных наук). Томск, 1946. С. 95–123.
  7. Кудрявцев 1951 — *Кудрявцев И. М.* «Послание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публицистики XV в. // ТОДРЛ. Т. 8. М.; Л., 1951. С. 167–171.
  8. Лихачев 1973 — *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X–XVIII веков: Эпохи и стили. Л., 1973.
  9. Ломоносов 2011 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 6: Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии, 1741–1765. М.; СПб., 2011.
  10. Лысцов 1961 — *Лысцов В. П.* М. В. Ломоносов — родоначальник русского просветительства (1711–1961). Воронеж, 1961.
  11. Моисеева 1971 — *Моисеева Г. Н.* Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.
  12. Моисеева 1980 — Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980.
  13. Пештич — *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века: В 3 т. Л., 1961–1971.
  14. Сазонова 2006 — *Сазонова Л. И.* Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006.
  15. Свердлов 2011 — *Свердлов М. Б.* М. В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб., 2011.
  16. Сиренов 2007 — *Сиренов А. В.* Степенная книга: история текста. М., 2007.
  17. Сиренов 2009 — История текста Латухинской Степенной книги // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2009. Т. 60. С. 354–375.
  18. Стенник 1996 — *Стенник Ю. В.* Сумароков — историк // XVIII век. Сб. 20. СПб., 1996. С. 23–46.
  19. Усачев 2008 — *Усачев А. С.* «Долгий XVI век» российской историографии // Общественные науки и современность. 2008. № 2. С. 104–115.
  20. Черепнин 1957 — *Черепнин Л. В.* Русская историография до XIX века. Курс лекций. М., 1957.

ИМЯ И «ПАМЯТЬ ЖАНРА»<sup>1</sup>

---

---

Материал для наблюдений, некоторые результаты которых изложены в данном разделе, почерпнут мною из классицистической трагедии; имена собственные и их функционирование в тексте трагедий и послужили мне основанием для последующих размышлений. Не роль антропонимов в формировании того неясного и с трудом поддающегося внятному научному прояснению явления, которое М. М. Бахтин назвал памятью жанра,<sup>2</sup> применительно к любым (или хотя бы некоторым важнейшим) жанрам русской словесности XVIII века станет предметом дальнейшего анализа, но нечто значительно более узкое и конкретное: значение антропонимов в актуализации всего лишь одной из тематических линий трагедии, правда, линии в каком-то смысле особо важной и жанрово определяющей — темы рода и родовой памяти.

Приступая к рассмотрению антропонимов в трагедии русского классицизма, даже и не в связи с названной выше темой, следует сразу же отметить, что в абсолютно преобладающем количестве случаев они являются прямыми обозначениями непосредственно выступающих на сцене героев. В этом отношении трагедия является вполне типичным драматическим жанром — как правило, пьесы в меньшей степени насыщены антропонимами, особенно, так сказать, фоновыми, т. е. не являющимися номинациями персонажей, нежели жанры другого порядка, в том числе — ода. Причем к трагедии это относится вероятно, в наибольшей степени;

---

<sup>1</sup> Первоначальный вариант настоящего раздела опубликован: (Бухаркин, Матвеев 2020: 9–13).

<sup>2</sup> О расплывчатости и малой проясненности данного понятия см.: (Липовецкий 1990: 5–18).

в ней «размежевание трагического и фактов обыденной, человечески-“тварной” жизни было столь категоричным, как никогда прежде» (Ауэрбах 1976: 373). Это воздействовало, среди прочего, и на употребление антропонимов. Так, в первой русской классицистической трагедии — в «Хореве» А. П. Сумарокова — из 282 встречающихся имен собственных только один случай не связан с наименованиями действующих лиц — упоминание Перуна в реплике Оснельды (3 явл. 1 д.):

Перун! Почто меня от смерти ты избавил,  
А, жизнь оставя, дал ты почувствовати честь?  
(Сумароков 1990: 44<sup>3</sup>)

«Хорев», правда, не вполне типичный пример, точнее, — крайнее выражение отмеченной тенденции; в других трагедийных текстах антропонимы, не указывающие на действующих лиц, появляются значительно чаще. Например, в самом начале трагедии М. М. Хераскова «Освобожденная Москва», в одном лишь 1 явл. 1 д., названы имена патриарха Филарета, Владислава, сына короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы, и впоследствии — тоже польского короля (Владислава IV), в момент же действия пьесы — претендента на московский престол, бывшего царя Василия Шуйского, донского атамана Ивана Заруцкого; никто из них непосредственно на сцене не появляется на протяжении всей пьесы. Нередки подобные внесценические персонажи и в других трагедиях: в «Тамире и Селиме» М. В. Ломоносова, где, в частности, названы великий князь Литовский Ольгерд и великий князь Рязанский Олег Иванович или в «Димитрии Донском» В. А. Озерова, где встречаются упоминания Мамаю, Олега Рязанского, предков Димитрия — Ивана Калиты и Симеона, киевских князей Владимира и Ярослава (сознательно указываю на трагедии, разделенные значительным временным периодом). Не участвующих в действии героев можно обнаружить и в некоторых трагедиях Сумарокова; например, в «Димитрии Самозванце» названы имена Бориса

---

<sup>3</sup> В дальнейшем при цитировании данного издания страницы указываются в тексте.



Годунова, Ивана Грозного, московского патриарха Игнатия, папы римского Климента VIII, мифологической Мегеры.

И все же, повторимся, антропонимы, относящиеся к действующим лицам, полностью доминируют в тексте трагедий классицизма, бесспорно составляя большинство встречающихся в них личных имен. Они представляют собой или самообозначения персонажей, или же указывают на других героев, как правило присутствующих тут же, на сцене, т. е. оказываются наименованиями собеседников, находящихся в ситуации прямого общения. Частотность этих номинаций достаточно велика, о чем свидетельствуют тексты трагедий Сумарокова: в «Артистоне» обнаруживаем 262 случая прямого или косвенного обозначения антропонимов, в «Димитрии Самозванце» — 141 случай; уже отмечалось, что в «Хореве» зафиксировано 282 употребления личных имен. Именно драматические сочинения Сумарокова и будут служить основным материалом для дальнейшего анализа. Их выбор обусловлен прежде всего ролью поэта в формировании и развитии трагедийного жанра в литературе русского классицизма; он не просто был первым русским трагиком, но и определил во многом дальнейшее развитие жанра. Поэтому его пьесы являются в достаточной мере репрезентативными для трагедии в целом и, хотя произведения других авторов несомненно отмечены индивидуальным своеобразием, рассмотрение текстов Сумарокова дает определенное основание для выводов, касающихся всего жанра в целом; во всяком случае, в отношении употребления антропонимов.

Одной из сразу же бросающихся в глаза особенностей функционирования личных имен в трагедиях является вариативность номинации героев: для указания на них далеко не всегда используется антропоним, очень часто вместо него появляется его синонимический заместитель, связанный с семантическими трансформациями разных типов. Некоторые текстовые фрагменты вместо прямой номинации персонажей наполнены косвенными их обозначениями (или самообозначениями). Так, в 7 явл. 5 д. трагедии Сумарокова «Артистона» герои названы 13 раз, причем только 2 раза мы видим прямую номинацию: Федима произносит имя Дария («Уж таинство свое я Дарию открыла», 184) и Гикарн тоже один раз поименован прямо («...К чему, Гикарн, так поздно лицемерить?», 185).

В других же 11 случаях действующие лица обозначаются через тропологические замены личного имени именем нарицательным или же словосочетанием, т. е. посредством антономазии в самом широком ее понимании<sup>4</sup> и /или перифразы. В первом же стихе этого явления Гикарн назван «проклятой душой» («Проклятая душа, что днесь ты сотворила?», 184), затем «разбойником» (185). Артистона определяется как «княжна» и «царевна» (185), а Оркант — как «супруг» (185) и «брат» (186) и т. д. И пример финала «Артистоны» достаточно в данном отношении показателен: замещение антропонимов их синонимическими заменителями является обычным для трагедии явлением.

Стилистическая функция подобного приема достаточно прозрачна, она продиктована стремлением автора избежать возникающих повторов. Бóльший интерес представляют семантические его функции, дополнительные художественные смыслы, которые он вносит в содержательное поле трагедийного текста. Наиболее очевидным здесь является то, что тропологические замещения личного имени четко очерчивают аксиологические параметры текста, оценки, которые получает в пьесе тот или другой персонаж. Эти оценки могут быть ситуативными и способствовать развитию интриги: например, в 1 д. «Артистоны» заглавная героиня названа «злодейкой» и «изменницей», что никак не связано с сущностью ее характера и ее поведением в пьесе. Такая оценка, связанная с сюжетными коллизиями драматического текста, свидетельствует о непонимании Артистоны ее возлюбленным —

---

<sup>4</sup> См., например, определение антономазии в «Кратком руководстве к красноречию» М. В. Ломоносова: «Антономазия есть взаимная перемена имен собственных и нарицательных, что бывает, 1) когда употребляется имя собственное вместо нарицательного, например: *Сампсон* или *Геркулес* вместо *сильного*, *Крез* вместо *богатого*, *Цицерон* вместо *красноречивого*; 2) нарицательное вместо собственного: *Апостол* пишет, то есть *Павел*; *стихотворец* говорит, то есть *Виргилий*; 3) когда предки или основатели полагаются вместо потомков, напр.: *Славен* вместо *славян*, *Иуда* вместо *еврейского народа*; 4) имя отечественное вместо собственного: *арпинянин* вместо *Цицерона*, *троянин* вместо *Енея*; 5) стихотворцы нередко полагают свое собственное имя вместо местоимения *я*, как *Овидий* нередко называет себя своим прозванием *Назон*» (Ломоносов 1952: 248).

Оркантом, непонимании, во многом спровоцированном сестрой Орканта Федимой, стремящейся Артистону погубить.

В других случаях оценочный компонент, заключенный в антономазии / перифразе,<sup>5</sup> может оставаться неизменным на протяжении всего действия. Так, Димитрий в «Димитрии Самозванце» Сумарокова определен в реплике Ксении из 6 явл. 1 д. как «Сей варвар аспида и василиска зляй» (257). Это — взгляд боящейся и ненавидящей Димитрия героини, однако он отражает общее отношение к Самозванцу, повторяясь в других косвенных номинациях: «тать венца, убийца и тиран» (261), «мучитель» (261), «злодей» (266), «враг общества» (267). Уместно указать в этой связи на то, что последняя отсылка к имени в трагедии, относящаяся к Димитрию — «тиран» (292). Подобная аксиологическая константа по отношению к персонажу обусловлена уже не интригой, но постоянством перспективы в мире трагедии, в котором герои всегда и всюду равны самим себе; всем им ясна ценностная иерархия Вселенной, в соответствии с которой они оцениваются автором, сами оценивают окружающих, да и себя тоже.

Но как было сказано, данное семантическое обогащение достаточно очевидно. Более интересным кажется другое явление, также связанное с антономастическими и перифрастическими заменами имен собственных; его можно определить как актуализацию — посредством тропологических замещений — темы рода, родовой судьбы, родовых связей. Надо отметить, что данный тематический комплекс выражается в трагедии и другими средствами: словами и поступками персонажей, т. е. их прямым общением и развитием действия. Семейные отношения, причастность к той или другой семье весьма важны для взаимоотношений героев, для развертывания драматического сюжета. Достаточно привести слова Оснельды из 1 явл. 1 д. «Хорева», памятуя при этом о том, что первый стих опровергается предыдущими словами героини — она прекрасно помнит горестную участь своих родных, погибших в результате действий Кия:

---

<sup>5</sup> Антономазия и в особенности перифраза являются важнейшими стилистическими приемами классицистической поэзии (Жирмунский 1977: 39–47). О теории перифразы см., в частности: (Бытева 2008).

Не помню ни отца, ни матери, ни роду;  
Однако кровь во мне во все шестнадцать лет,  
Как помнить я могу, отмщенье вопиет.  
Я сказанное мне плачевно время вижу  
И рода моего убийцу ненавижу;  
Но, ах! Хорев в те дни хотя младенец был,  
Он Кию брат увы!.. а мне, Астрада, мил. (39)

В этом небольшом монологе (или предельно развернутой реплике из диалога с мамкой Оснельды Астрадой) в сжатом виде уже содержится весь драматический конфликт и все перипетии, с которыми связано его развитие и катарсическое разрешение; в частности — и трагический финал: самоубийство Хорева, последующее за убийством Оснельды, совершенном по приказу Кия.

На важность родовых отношений для системы персонажей и для мира трагедии в целом свидетельствует и их экспликация в перечне действующих лиц, открывающем текст любой пьесы: семейные связи действующих лиц указываются после их имени; почти любая трагедия служит здесь показательным примером. Так, в том же «Хореве» Хорев характеризуется — «брат и наследник его» (Кия — П. Б.), а Оснельда — «дочь Завлоха» (36), в «Артистоне» заглавная героиня названа «дочь Кирова» (134), в «Семире» Семира определена как «сестра его» (Оскольда — П. Б.), Ростислав — как «сын Олегов», а Возвед — «сродник Оскольдов» (189).

Однако во многих, даже в большинстве случаев тема рода предстает в сценическом пространстве в локальном, усеченном виде — она выступает преимущественно как взаимоотношения родителей и детей: дочь / сын (брат / сестра) выбирают между любовью к своему избраннику и требованиями сыновнего / дочернего / братского долга: Кий — Хорев — Оснельда в «Хореве»; с еще большей четкостью: Синав — Трувор — Ильмена в «Синаве и Труворе»; в несколько усложненном варианте: Олег — Оскольд — Ростислав — Семира в «Семире». Пожалуй, в «Синаве и Труворе» ситуация эта изображена с отчетливой резкостью: с самого начала Ильмена оказывается перед выбором: повиноваться родительской воле, заключающейся в том, чтобы стать женой Синава, или же послушаться голоса сердца, уже отданного Трувору. Для ее отца

чувства дочери не кажутся сколько-нибудь веским основанием для отказа от желанного всеми (и важного для отечества) брака:

Несклонностию быть не можешь оправданна,  
Синаву ты женой во мзду обетованна. (85)

И Ильмена в своих размышлениях в основном остается в рамках данной альтернативы, выбирает между любимым ей Трувором и предназначенным ей отцом Синавом. В результате, родовая тема, вводимая, в частности, обозначением Ильмены как дочери Гостомысла и значительно обостренная тем, что избранником Ильмены становится Трувор, брат Синава — они так и охарактеризованы в списке действующих лиц (83): «Трувор, брат его» (Синава — П. Б.), «Ильмена, дочь его» (Гостомысла — П. Б.) — в ходе действия замыкается на конфликте дочернего послушания и любовного чувства.

Ограниченность эта смягчается как раз через семантические трансформации антропонимов; антономазия и перифраза, выделяющие родовые связи действующих лиц, в известном смысле расширяют тему рода, выводя ее далеко за пределы взаимоотношений членов семьи между собою и сопрягая с далеко идущими мотивами родовой памяти, родового (а не сыновнего/дочернего/братского) долга. Тем самым родовая принадлежность героя оказывается предельно важной не только для выбора героя / героини и для обусловленных таким выбором его / ее поступков, но и для организации мира трагедии вообще: в этом мире семейные отношения оказываются одним из важнейших начал, определяющих бытие. Это достигается, прежде всего, стилистической фактурой текста; во-первых, тем, что антономазии и перифразы имени сопровождают героя на протяжении всего действия, повторяясь в разных сценах и при разных поворотах трагедийного сюжета. Во-вторых, антономастическое наименование героя принадлежит не только ему (как, обыкновенно, прямые рассуждения о родовом долге), но и другим персонажам, и из их уст герой / героиня определяется через семейные отношения. Богатый материал в этом отношении может представить «Артистона»; сама героиня не раз обозначает себя именно как дочь Кира: «Дочь Кира предпочть должна тебе

царя» (139), «Знай, что на Киров трон я с плачем восхожу» (151), с наибольшей силой ее осознание собственной связи с отцом происходит в финале небольшого монолога в 3 явл. 3 д.:

В руках имея скиптр и на главе венец,  
Преступников карал, невинным был отец  
Он мужеством своим монархию восславил,  
Но больше счастья себя щедротой славил.  
Не слышишь, отче мой, сих горестных речей!  
Не видишь жарких струй, текущих из очей!  
О! хладная земли разверзися утроба!  
Проснись, великий Кир и встань на час из гроба!  
Я инде помощи не зрю себе нигде,  
Будь ты защитник мне, стеньящей в сей беде! (162).

Так же Кировой дочерью Артистону называют и другие: Гикарн (2 явл. 2 д.), военначальник (7 явл. 3 д.), Дарий (8 явл. 3 д.), Мальмира (1 явл. 5 д.). В-третьих, подобная последовательность указаний на родовую принадлежность героя/героини, тем более исходящая от различных персонажей, начинает соотноситься с авторской позицией, что усиливается выделением в характеристике героев в списке действующих лиц его родственных связей (о чем уже говорилось). В результате генеалогия героя оборачивается выражением взгляда на героя, который принадлежит автору. Учитывая то, что именно в зоне автора герой классицистической трагедии обнаруживает собственную цельность и внутренне свое существо (Бухаркин 1996: 84–104), это имеет весьма существенное значение — понятие рода становится крайне важным для мира трагедии, с ним связана конечная правда о герое.

Актуализация этой темы посредством семантических трансформаций антропонимов происходит, как правило, уже в начале пьесы и сохраняется на протяжении всего действия. В «Димитрии Самозванце» уже в 4 явл. 1 д. заглавный герой обозначен как «сын монарха Иоанна» (254), причем тут же указан и его, так сказать, родовой враг — «злонравный Годунов» (254): Димитрий вернул себе то, «что отнял Годунов» (248). И в «Артистоне» сразу же выделяется родство Артистоны с Киrom — «дочь Кира» (139), — и впоследствии это определение применяется к ней постоянно: «дочь

Кирова» (174), «царска дочь» (175), «дочь великого царя» (177). Это придает дополнительную сложность ее взаимоотношениям с Дарием, не только царем, желающим на ней, против ее воли, жениться, но и человеком, в конечном счете занявшим трон ее отца. То, что предполагаемое замужество должно возвести героиню на отцовский трон — «Киров трон» (150) — несколько раз акцентируется в тексте, что вносит в трагедию тему династических, т. е. родовых отношений, при этом весьма острых. То же обнаруживается и в «Хореве»; в нем, с первых же сцен, имя Завлоха, «бывшего князя Киева-града» (36), заменяется указанием на его родственные отношения с Оснельдой — «бесчадный отец» (37), «родитель мой» (38), «отец» (39), снова «родитель» (39). Отблеск темы рода при этом падает прежде всего на Оснельду — именно она оказывается носителем родовой памяти, с ней в семантическое поле текста входит уже не просто родовая тема, но тема борьбы родов, отчасти и родовой мести. Нечто похожее можно заметить и в трагедии «Семира». Связь с родом тем самым начинает выходить за границы сыновне-братско-дочернего послушания; осознание себя членом того или иного рода становится одним из определяющих все существование героя начал.

Только что отмеченные смысловые обертоны проникают в трагедию русского классицизма разными путями, однако семантические трансформации антропонимов играют здесь очень значительную роль, во многом как раз в связи с ними тема рода начинает звучать особенно остро. А главное — приобретает большую глубину и многонаправленность, усложняющую семантическое поле трагедии в целом. Надо сказать, что тема рода, особенно в варианте родовой (династической) борьбы в контексте политической жизни Российской империи середины XVIII столетия приобретала отчетливый политический оттенок (см.: Osprovat 2016). Однако рассмотренные выше примеры антономазии / перифразы позволяют сказать, что данная тема в классицистической трагедии вовсе не исчерпывается одной злободневностью, она там поворачивается и совершенно иной своей стороной. Благодаря тому, что тема рода начинает занимать в трагедийном мире особо важное место, она как бы уводит трагедию к ее истокам, в пьесах уже Нового времени прорастает одна из главных основ архаического

варианта трагедии — тема рода как такого, родовой судьбы и вины. Родовая тема, надо отметить, была основой не только античного варианта трагедии,<sup>6</sup> она отчетливо прослеживается и в Раннее Новое время, в том числе в величайших своих образцах; имею в виду трагедии У. Шекспира — «Гамлет», тем более — «Король Лир», отчасти — «Макбет»; кстати сказать, именно родовая тема создает трагедийную подоплеку шекспировских исторических хроник. И «Сид» П. Корнеля, так же как и «Федра» Ж. Расина немислимы вне нее. Глубоко трансформированная христианским сознанием, идея родовой предопределенности, родовой судьбы вместе с тем во многом питает трагедийный жанр в его функционировании в новоевропейских литературах.<sup>7</sup> Причем в большинстве случаев мы имеем дело не с сознательной попыткой воскресить архаические представления о родовой ответственности и родовой судьбе, но с явлением литературного порядка — с тем, о чем писал М. М. Бахтин: «Жанр живет настоящим, но всегда *помнит* свое прошлое, свое начало. Жанр — представитель творческой памяти в процессе литературного развития» (Бахтин 1979: 122).

Жизнь жанра в веках, вызывающая его постоянное обновление, естественно, приводит к существенной трансформации и даже мутации исходных жанровых начал. Поэтому только что сказанное требует некоторых комментариев. Во-первых, соотносительность родовой темы в русских пьесах XVIII века с жанровой памятью о древних ее истоках лишена отчетливости, напротив, она скорее затуманена и, главное, крайне модифицирована. Во-вторых, актуализация темы рода несколько не препятствует политической направленности пьесы. Не препятствует, однако, существенно обогащает: трагические герои делают свой выбор не просто как граждане; на их поступки и, особенно, на выраженные в их словах

---

<sup>6</sup> См. новые работы о родовой памяти и родовой вине в античной культуре: (Gagné 2013: 344–445; Kuriakou 2011).

<sup>7</sup> Как на весьма дальнюю, но, однако, крайне выразительную параллель укажу и на «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского: если понимать его как роман-трагедию в смысле Вяч. Иванова, то легко заметить в нем мощно звучащую тему рода, причем (в отличие от очень многих трагедийных произведений Нового времени) вполне сознательную для автора.



размышления оказывает воздействие родовая память, их осознание себя представителями тех или иных родов. Само по себе это, возможно, не так уж и важно и не выводит принципиально трагических героев из области сугубо политических пристрастий и замыслов. Более того, родовая тема не выделяет трагедию из других жанров, в том числе и средних, и даже низких, и в них она имеет место: случай «Недоросля» Фонвизина весьма здесь показателен. Тем более важно чувство рода для жанров высоких и своей высотой наиболее близких трагедии, в частности, для торжественной оды. Но в оде семантическое обогащение, связанное с темой родственных отношений, не приводит к значительному расширению и трансформациям смысла, к перенаправлению магистрального смыслового сюжета; оно лишь дополняет то, что и так лежит на поверхности — в оде экспликация родовых связей «героев» полностью соответствует политическим интенциям текста и ими, в целом, ограничивается. А вот в классицистической трагедии ситуация сложнее. Стоит в этой связи обратить внимание на то, что выбор персонажем родового долга, т. е. его поведение, продиктованное прежде всего интересами рода, а не личных страстей (любви), свидетельствует о правильности его выбора, в то время как нарушение этого долга говорит о его экзистенциальной ошибке, наделяющей его трагической виной, которая им самим отчетливо осознается. Финальные сцены «Хорева» и «Синава и Трувора» оказываются здесь предельно выразительными.

В трагедийном мире, благодаря памяти жанра, понимание героем самого себя как прежде всего человека рода не только усложняет его образ, но и расширяет и принципиально модифицирует драматический конфликт, поднимая его над политической конкретностью и перенося в область больших, отчасти и вечных, пространств; пространств, далеко выходящих за пределы политической жизни Российской империи середины XVIII столетия и включающих в себя тысячи лет человеческой истории, в том ее варианте, который оказался запечатленным в трагедийном слове европейской литературы<sup>8</sup>. Это позволяет увидеть в галантно-

---

<sup>8</sup> Понятие европейская литература я употребляю в том его значении, какое придавал ему Э. Р. Курциус (Курциус 2021: 77–92), с тем только дополнением, что русскую литературу, начиная с середины XVII в., считаю принадлежащей к литературе европейской.

политической трагедии классицизма, в том числе и русского, не пастиш, но органичное и равноправное звено в сложной эволюции жанра.

## Литература

1. Ауэрбах 1976 — *Ауэрбах Э.* Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976. (первое издание на языке оригинала: Auerbach E. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern, 1946).
2. Бахтин 1979 — *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 4-е. М., 1979.
3. Бухаркин 1996 — *Бухаркин П. Е.* Автор в трагедии классицизма (предварительные замечания) // Петербургский сборник. Вып. 2: Автор и текст / под ред. В. М. Марковича и Вольфа Шмида. СПб., 1996. С. 84–104.
4. Бухаркин, Матвеев 2020 — *Бухаркин П. Е., Матвеев Е. М.* Антропонимы в русской литературе XVIII века: о некоторых аспектах функционирования имени в оде и трагедии // Русская литература. 2020. № 3. С. 5–19.
5. Бытева 2008 — *Бытева Т. И.* Очерки по русской перифрастике. М., 2008.
6. Жирмунский 1977 — *Жирмунский В. М.* Задачи поэтики // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
7. Курциус 2021 — *Курциус Э. Р.* Европейская литература и латинское средневековье. Т. 1. М., 2021. (первое издание на языке оригинала: Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1948).
8. Липовецкий 1990 — *Липовецкий М. Н.* «Память жанра» как теоретическая проблема (к истории вопроса) // Модификация художественных систем в историко-литературном процессе. Свердловск, 1990. С. 5–18.
9. Ломоносов 1952 — *Ломоносов М. В.* Краткое руководство к красноречию... // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950–1983. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л., 1952. С. 89–378.
10. Сумароков 1990 — *Сумароков А. П.* Драматические сочинения. Л., 1990.
11. Gagné 2013 — *Gagné R.* Ancestral Fault in ancient Greece. Cambridge, 2013.
12. Kyriakou 2011 — *Kyriakou P.* The Past in Aeschylus and Sophocles. Berlin; Boston, 2011.
13. Ospovat 2016 — *Ospovat K.* Terror and Pity: Aleksandr Sumarokov and the Theater of Power in Elizabethan Russia. Boston, 2016.

## СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТРОПОНИМОВ В РУССКИХ СКАЗОЧНЫХ КОМИЧЕСКИХ ОПЕРАХ XVIII ВЕКА

---

---

Русская сказочная комическая опера является жанровой разновидностью более общего явления — русской комической оперы. Последняя представляет собой музыкально-драматический жанр, существовавший в русской литературе всего треть века — с 1772 года (появление оперы М. Попова «Анюта») до начала XIX столетия. Терминологически устойчивого определения комической оперы в русской науке на настоящее время не дано, исследователи включают в него разные признаки — идейное содержание («модные просветительские и сентименталистские идеи» (Ходорковская 2000)), специфику героев («фигуры протагонистов, принадлежащих к непривилегированным сословиям» (Там же)), основные жанровые модели («пастораль, бытовая развлекательная комедия, слезная комедия и сказка» (Там же)), принципы драматургии («чередование разговорных диалогов с сольными вок<альными> номерами, небольшие ансамбли, преим<ущественно> дуэты» (Там же)), генетическую связь с аналогичными жанрами, возникшими в других странах (с французской *opéra comique* и итальянской оперой-буфф (Ливанова 1978)). Ещё менее чётко выделяются и описываются жанровые разновидности комической оперы (упомянутые «пастораль, бытовая развлекательная комедия, слезная комедия и сказка» в терминах Е. С. Ходорковской). Сказочная же опера (т. е. опера, в которой реализуется сказочный сюжет, действуют волшебные силы либо в названии или подзаголовке которой присутствует

авторское указание на обращение к сказке<sup>1</sup>) долгое время и вовсе оставалась на периферии интересов ученых и практически не рассматривались в качестве отдельного самоценного явления за исключением отдельных наиболее ярких образцов (четырёх опер Екатерины II и трех опер князя Д. П. Горчакова). Тому был ряд причин — от политических<sup>2</sup> и исторических<sup>3</sup> до собственно эстетических<sup>4</sup>. Тем не менее именно сказочная комическая опера легла в основу волшебной оперы XIX века («Леста» С. Давыдова и далее «Руслан и Людмила» В. Ширкова, К. Бахтурина и М. Глинки) — жанра, существующего и в настоящее время. В силу указанных причин анализ либретто сказочных опер XVIII века представляется важным и необходимым вектором исследования русской литературы XVIII столетия и истории русского музыкального театра в целом.

К числу сказочных комических опер XVIII века можно отнести 16 текстов. Перечень составлялся с опорой на ряд авторитетных исследований (Рабинович 2020, Ливанова 1953, Берков 1977, Ельницкая 1977, Кукушкина 1980, Кукушкина 1981, Немировская 2008). Как уже было указано выше, основанием для включения оперы в список являлось наличие хотя бы одного из трёх признаков:

---

<sup>1</sup> К примеру, опера «Новгородский богатырь Боеславич», сочиненная Екатериной II на сюжет былины о Василии Буслаеве, с подзаголовком «Составлена из сказки, песней русских и иных сочинений».

<sup>2</sup> В сказочных операх преимущественно изображались события из жизни привилегированных сословий, а главными действующими лицами чаще всего являлись принцы, царевичи, калифы и т. п., что в советское время привело к оценке данных текстов как реакционных — например, в работе Ливановой (Ливанова 1953).

<sup>3</sup> Уже в XVIII веке сказочные оперы оказались намного менее популярными по сравнению с операми народно-бытовыми (например, «Мельник — колдун, обманщик и сват» А. Аблесимова или «Несчастье от кареты» Я. Б. Княжнина).

<sup>4</sup> Разумеется, нельзя утверждать, что вкусы зрителей и читателей XVIII века были идентичны вкусам современных зрителей и читателей, однако с известной долей уверенности можно отметить, что большинство сказочных опер по своим литературным качествам были значительно слабее других поджанров комической оперы.

1) Использование сказочного сюжета (это касается опер, чей литературный источник известен достоверно, — оперы Д. П. Горчакова «Калиф на час», представляющей собой переложение сказки из сборника «Тысяча и одна ночь» (Малэк 2010); оперы «Хлор Царевич, или Роза без шипов, которая не колется» неизвестного автора, представляющей собой переложение сказки Екатерины II);

2) Наличие волшебных сил, действующих в опере (большая часть опер);

3) Авторское указание на обращение к сказке (опера Екатерины II «Новгородский богатырь Боеславич»).

Опираясь на эти три признака, я отношу к сказочным операм следующие тексты: «Перерождение» (М. Матинский, 1777 год постановки, изд. в 1779), «Точильщик» (Н. Николев, 1783 год постановки, изд. в 1788), «Калиф на час» (Д. Горчаков, 1784 год постановки, изд. в 1786), «Счастливая тоня» (Д. Горчаков, изд. и поставлена в 1786), «Февей» (Екатерина II, изд. и поставлена в 1786), «Новгородский богатырь Боеславич» (Екатерина II, изд. и поставлена в 1786), «Хлор Царевич, или Роза без шипов, которая не колется» (неизвестный автор, изд. в 1786<sup>5</sup>), «Баба Яга» (Д. Горчаков, 1786 год постановки, изд. в 1788, 1788 год постановки), «Храбрый и смелый витязь Ахридеич» (Екатерина II, изд. и поставлена в 1787), «Добродетельный волшебник» (неизвестный автор, изд. в 1787), «Любовь опровергает союз дружества» (И. Михайлов, изд. в 1787), «Рыбак и дух» (неизвестный автор, изд. в 1788), «Финикс» (Н. Николев, изд. в 1788), «Горобогатырь Косометович» (Екатерина II, изд. и поставлена в 1789), «Красавица и привидение» (Б. Бланк, изд. в 1789), «Пленира и Зелим» (Б. Бланк, изд. в 1791).

Теперь, когда объект исследования определен, обращусь собственно к теме настоящей статьи. Одной из ключевых характеристик сказочной оперы является её стилизация под тот или иной национальный колорит. В частности, по стилизации по колориту сказочные оперы делятся на:

1) русские — «Точильщик», «Счастливая тоня», «Новгородский богатырь Боеславич», «Баба-Яга», «Храбрый и смелый витязь Ахридеич», «Рыбак и дух», «Горобогатырь Косометович»;

---

<sup>5</sup> В некоторых случаях нет сведений о постановке перечисленных опер.

2) восточные — «Калиф на час», «Февей», «Хлор Царевич», «Финикс», «Красавица и привидение»;

3) мифологическая — «Любовь опровергает союз дружества»;

4) смешанного колорита — «Перерождение», «Добродетельный волшебник», «Пленира и Зелим».

Разграничение это нельзя назвать новым и оригинальным — более ранние исследователи уже отмечали, что выделяются группы опер, соотносимые с восточными или русскими сказками (Немировская 2009; Семенова 2015). Однако привлечение ряда не изучавшихся ранее текстов позволило заметить, что не все сказочные оперы укладываются в данную оппозицию, что уже отражено в приведённой выше классификации. В связи с этим следует задаться вопросом, на каком основании можно приписывать той или иной опере конкретный национальный колорит. После анализа текстов мне удалось выделить несколько критериев:

1. Имена персонажей;

2. Место действия, указанное в ремарках;

3. Бытовые детали.

Следует при этом отметить, что именно антропонимы (имена персонажей как действующих на сцене, так и внесценических) являются главным средством, к которому прибегает автор для создания национального колорита. Остальные два критерия представляют собой скорее дополнительные, вспомогательные средства. Именно по этой причине рассмотрение антропонимов в сказочных операх является основой для определения их национальной отнесенности, что и будет продемонстрировано далее.

Имена персонажей сказочных опер делятся на несколько типов — «русские», «восточные» (вероятно, почерпнутые из восточных сказок — к примеру, из сборника «Тысяча и одна ночь», изданного в эту эпоху в переводе с французского перевода А. Галлана), аллегорические, «говорящие», мифологические и те, национальную специфику которых определить затруднительно. К первым относятся такие имена как, к примеру, Макар, Улита, Параша («Точильщик»), Амельфа Тимофеевна, Василий Боеславич («Новгородский богатырь Боеславич»), Влас, Митрофан («Баба-Яга») и другие. Примеры подчеркнута «восточных» имен — Гарун Аль-Рашид, Гьяфар, Зобеида («Калиф на час»), Гассан, Гюзарада

(«Красавица и привидение»), Магомед, Аллах (имена, упоминаемые в воззваниях персонажей к высшим силам) и др. Аллегорические имена встречаются только в «Хлоре Царевиче»: Фелица, Честность, Правда, Рассудок. «Говорящие» имена обнаруживаются почти во всех операх вне зависимости от общего колорита, чаще они принадлежат центральным героям, будь то герои положительные или, напротив, отрицательные: Миловида («Перерождение»), Незрад, Скопидом, Пленира, Милвзор («Счастливая тоня») и др. Мифологические имена принадлежат античным богам — это Венера, Гимен (Гименей), Юпитер, Сатурн, Плутон, Плутус, некоторые из которых непосредственно участвуют в действии оперы (к примеру, в опере «Любовь опровергает союз дружества» Венера сама сходит с небес, чтобы благословить Славурона и Энглею на брак), а не только упоминаются героями (например, в опере «Добродетельный волшебник» принц Агип, увидев в одной из комнат во дворце принцесса золото и множество драгоценных камней, говорит: «<...> и всякой металл, / Знать, Плутус собирал»). Мифологические имена вообще появляются всего в трех текстах — в названных уже опере И. Михайлова «Любовь опровергает союз дружества» и опере неизвестного автора «Добродетельный волшебник» и в «Февее» Екатерины, что ставит их несколько особняком от остальных сказочных опер. Последняя группа — имена неясного национального колорита. К этой группе относятся такие антропонимы как Темизора, Зелимен («Перерождение»), Вулвполь, Данна («Февей»), Ханзер, Гангас («Добродетельный волшебник») и др. Внутренняя форма таких имен не дает читателю (по крайней мере, современному) подсказки в отношении принадлежности к какой-либо национальной традиции, однако к подобным антропонимам очень часто приводятся авторские пояснения: например, «Тао-Ау, Царь Сибирский» или «Ханзер, Царь Туркоманский». Таким образом, выделение этой группы оказывается под вопросом — если в тексте присутствуют комментарии, позволяющие выявить национальную специфику указанных имён, то их следует отнести к другим группам — в частности, либо к именам «русским», либо к именам «восточным». Однако ряд имен такими пояснениями не сопровождается (например, Энглея, Лизетта, Густрун в «Любовь опровергает союз дружества»), вследствие чего я считаю выделение имен неясного национального колорита

достаточно правомерным<sup>6</sup>. Распределение антропонимов по разным группам для каждой из русских сказочных опер XVIII века приведено ниже в таблице «Антропонимы в сказочных операх XVIII века».

Как уже упоминалось ранее, помимо антропонимов, для стилизации оперы под тот или иной колорит важны место действия, которое автор указывает как правило в начале либретто, и детали (предметы быта, одежда, мебель, особого рода формульная речь и пр.) Однако эти два критерия возникают в большей степени как подспорье и далеко не всегда позволяют отнести оперу к одной из указанных групп: так, место действия может быть неопределённым (некое сказочное пространство в «Храбром и смелом витязе Ахридеиче» Екатерины II или некий остров без определённой национальной специфики в «Добродетельном волшебнике»), а упоминаемые детали могут отсылать к разным национальным традициям (на гетерогенность деталей колорита обратила внимание, к примеру, Э. Малэк при анализе оперы Д. П. Горчакова «Калиф на час» (Малэк 2010)). Таким образом, антропонимы действительно оказываются ключевым средством стилизации оперы под конкретный национальный колорит. Единственный текст, в котором данное правило «не работает», — это «Счастливая тоня» Д. П. Горчакова. Все имена в указанном произведении относятся к «говорящим» (Незрад, Скопидом, Пленира, Миловзор, Старолет, Чертополох). Конечно, «говорящие» имена образованы по русским словообразовательным моделям и именно для русского читателя или зрителя обладают достаточно ясной внутренней формой (так, к примеру, очевидно, что Скопидом — это скупец, Пленира — красавица и т. д.), однако данные антропонимы могут принадлежать и чаще всего принадлежат персонажам, не закрепленным за конкретным колоритом: таковы Миловида и Ликомир в пастушеской опере Матинского «Перерождение»<sup>7</sup>, Златокрыл, Златовлас (добрые волшебники), Злояд

---

<sup>6</sup> Разумеется, это не окончательное заключение. Возможно, в дальнейшем при изучении новых источников появится возможность сократить количество имен, входящих в данную группу, или вовсе ее исключить.

<sup>7</sup> «Перерождение» — первая из сказочных опер, которой ещё не свойственны основные закономерности данного поджанра (богатое сценическое оформление, выведение представителей привилегированных социальных групп как главных действующих лиц и т. п.); она представляет собой



(злой волшебник) и Миловид в опере «Пленира и Зелим» и т. д. Более того, в той же опере «Пленира и Зелим» главная героиня Пленира является дочерью царя Калимбера и царицы Роксаны, т. е. восточной царевной. В силу перечисленных фактов считать «говорящие» имена маркером русского колорита не представляется возможным, поэтому определить «Счастливую тоню» как оперу «русскую» позволяет лишь ряд деталей (использование главным героем Миловзором *русского просторечия*, сравнение огромного роста духа с *колокольней Ивана Великого*, поименования персонажами самих себя и других действующих лиц — Миловзор представляет себя не только старым волшебником и колдуном, но и *ворожеей*,<sup>8</sup> а Скопидома называют *закживным мещанином*). Нельзя заподозрить Горчакова в невнимательности к именам персонажей — так, в его же опере «Баба-Яга», тоже стилизованной под «русский» колорит, наряду с «говорящими» именами главных героев (Любим, Прелеста), используются и исконно русские: Влас, Митрофан, Маланья, Улита, Баба-Яга; даже упомянутого в перечне действующих лиц Взяткина («говорящая» фамилия) называют в тексте Естифеичем. Значит, следует предположить, что в «Счастливой тоне» стилизация под определённый колорит не относится к центральному задачам автора текста оперы — видимо, более важной оказывается характерология героев, представление об их психологических и социальных чертах, что проявляется как раз в выборе имён для персонажей.

Подводя итог, можно сказать, что используемые в русских сказочных операх XVIII века антропонимы не только позволяют определить конкретный текст как стилизованный под ту или иную национальную традицию, но и дают возможность предположить, на чём в той или иной опере был сделан акцент. Однако решение вопроса о том, какую именно цель преследовал автор той или иной оперы введением конкретных антропонимов, выходит за рамки настоящей работы и ждёт дальнейших исследований.

---

текст, стоящий на границе двух поджанров (сказочного и пасторального) и отнесена в данном исследовании к сказочным вследствие наличия волшебных сил — Волшебника, преобразующего себя и Темизору в молодых людей и устраивающего две богатые свадьбы в великолепно украшенном дворце.

<sup>8</sup> Слово *ворожеея* в XVIII веке было словом общего рода, т. е. могло употребляться и по отношению к мужчине, и по отношению к женщине (СлРЯ XVIII 4, 71).

Антропонимы в сказочных операх XVIII века

В настоящей таблице представлено распределение всех имен, встречающихся в русских сказочных комических операх, по предложенным в статье группам. Курсивом выделены антропонимы внесценических персонажей, которые не участвуют в действии, а только упоминаются в репликах других героев. В случае необходимости в скобках приводятся дополнительные пояснения. Полу жирным шрифтом выделено название оперы, для определения колорита которой потребовались дополнительные данные помимо антропонимов (детали).

Название оперы	Колорит	Антропонимы						Неопределенного колорита
		Русские	Восточные	Аллегорические	Говорящие	Мифологические		
Перерождение	Смешанный					Миловида, Ликомир		Темизора, Зелимен
Точильщик	Русский	Макар, Улита, Параша, Лука, Антроп					<i>Сизиф, Иксион</i> (упоминаются их мучения в аду)	
Калиф на час	Восточный		Гарун-Аль-Рашид, Зобеида, Гьяфар, Мезрур, Абдалла, Фатьма, Гассан, Роксана, Абульфидар					

		Антропонимы					Неопределенного колорита
Название оперы	Колорит	Русские	Восточные	Аллегорические	Говорящие	Мифологические	
Счастливая тоня	Русский	Иван Великий (рост духа сравнивается с высотой колокольни Ивана Великого)	Соломон (упоминается как царь, посадивший духа в чашу)		Незрад, Скопидом, Пленира, Милвзор, Старолет, Чертополох		
Феяей	Восточный		Тао-Ау, Февей, Данна, Мия, Ная, Тина, Азрей (упоминается как родственник матери-царицы — монгольский князь)		Решемысл	Гимен, Аполлон (появляются только в арии Вулвполя, составленной В. К. Тредиаковского <sup>1</sup> )	Вулвполь, Ледмер
Новгородский богатырь Боеславич	Русский	Амельфана, Василий Боеславич, Фома Ременников, Потанюшка, Чулин, Сатко, Рагуил Добрынин			Громоглас, Умила		

<sup>1</sup> См.: (Тредиаковский 1963).

Название оперы	Колорит	Антропонимы					Неопределенного колорита
		Русские	Восточные	Аллегорические	Говорящие	Мифологические	
Хлор Царевич, или Роза без шипов	Восточный		Ленгя Мурза (паша)	Фелица, Честность, Правда, Рассудок			Хлор
Баба-Яга	Русский	Влас, Митрофан, Малая, Улита, Естифеич, Баба-Яга			Любим, Взяткин, Прелеста		
Храбрый и смелый витязь Ахридеич	Русский	Ахридей, Дария, Иван Ахридеич, Баба-Яга, Царь-Девница, Медведь Молодец, Морское Чудо Молодец, Колдун Молодец					
Добродетельный волшебник	Смешанный с элементами восточного (в отношении семьи Амины и одного из сказочных героев — пребывания у календеров)		Ханзер (Царь Туркоманский), Амина (дочь Ханзера), Янгас (визирь Ханзера), Сафи, Фахма, Иерон (календер <sup>2</sup> )			Плутус (за первой дверью во дворце принцесс находится сокровищница, вероятно, собранная Плутом по мнению Агипа)	Агип, Дуфан, Аксалон, Кандит

<sup>2</sup> Календер — бродячий монах. Такое «звание» появляется в нескольких сказках «Тысячи и одной ночи» (напр.: Рассказ 2020).

Антропонимы							
Название оперы	Колорит	Русские	Восточные	Аллегорические	Говорящие	Мифологические	Неопределенного колорита
Любовь опровергает союз дружества	Мифологический с элементами точного (в отношении Гарпага)	Славурон (?)	Гарпаг (Царь Персидский)			Венера, Пименей, Юпитер («во храме молниеносного Юпитера»), Сатурн (Славурон называет так Гарпага за помощь в освобождении), Плутон (от Плутона получил свою силу Густрун)	Энглея, Венестр, Лизетта, Густрун, Авзистр
Рыбак и дух	Русский	Вукол Панкратъич, Авдотья Степановна, Аграфена (Груняша, Груношка), Трофим, Симон Пафнутыч Изобил <sup>3</sup> (прозвище), Лужерья, Яков Евстратыч, Иван Великий					

<sup>3</sup> Имя «Симон Пафнутыч Изобил» можно было бы отнести к говорящим (по фамилии), если бы фамилия купца появлялась в тексте пьесы, а не только в списке персонажей, предворяющем первое действие.

Название оперы	Колорит	Антропонимы					Неопределенного колорита
		Русские	Восточные	Аллегорические	Говорящие	Мифологические	
Финикс	Восточный	(упоминание колокольни Ивана Великого)	Ахмет (Султан Турецкий), Заира, Аделаида, Пальмира, Фатима, Селим, Магомед (в восклицианиях)		София ('мудрость')		Роза
Горбогатырь Косометович	Русский	Горбогатырь Косометович, Гремилла Шумиловна, Степанида Даниловна, Еруслан Лазаревич, Иван Ахридеич, Петр Златых Ключей (в упомиании их вооружения)			Громкобай, Кривоозг, Тороп		Локтмета

Антропонимы							
Название оперы	Колорит	Русские	Восточные	Аллегорические	Говорящие	Мифологические	Неопределенного колорита
Красавица и привидение	Восточный		Гассан, Гюзарода, Келон, Урада (Царяца Арабская), Алфурак, Магомед (Пророк), Аллаx (в обрацении-х к вышшим силам)				
Пленира и Зелим	Смешанный с элементами восточного (в отношении семьи Прелесты)		Зелим, Селит, Роксана, Калимбер, Солмон (упоминание его перстня)		Злаговлас, Злаго-крыл, Злояд, Пленира, Милонид		

## Литература

1. Берков 1977 — *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII века. Л., 1977.
2. Ельницкая 1977 — *Ельницкая Т. М.* Репертуар драматических групп Петербурга и Москвы: 1750 — 1800 // История русского драматического театра: в 7 т. Т. 1. М., 1977. С. 435–473.
3. Кукушкина 1981 — *Кукушкина Е. Д.* Драматургия русской комической оперы XVIII века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1981.
4. Кукушкина 1980 — *Кукушкина Е. Д.* Русская комическая опера XVIII века и демократизация литературы // Русская литература. Л., 1980. № 2. С. 134–143.
5. Ливанова 1953 — *Ливанова Т. Н.* Начало русской оперы // Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом: исследования и материалы: в 2 т. Т. 2. М., 1953. С. 105–207.
6. Ливанова 1978 — *Ливанова Т. Н.* Опера комическая // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. Т. 4. М., 1978. С. 889.
7. Малэк 2010 — *Малэк Э.* Сон наяву, или Комическая опера князя Д. Горчакова «Калиф на час» // Художественный перевод и сравнительное изучение культур: памяти Ю. Д. Левина. СПб., 2010. С. 213–223.
8. Немировская 2008 — *Немировская И. Д.* Поэтика русской комической оперы XVIII века // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. Казань, 2008. Т. 150. Кн. 6. С. 38–47.
9. Немировская 2009 — *Немировская И. Д.* От русской комической оперы к «раннему» водевилю: генезис, поэтика, взаимодействие жанров (середина XVIII в. — первая треть XIX в.): автореферат диссертации на соискание научной степени доктора филологических наук. М., 2009.
10. Рабинович 2020 — *Рабинович А. С.* Русская опера до Глинки. М., 2020. 242 с.
11. Рассказ 2020 — Рассказ первого календера (ночи 11–12) // Тысяча и одна ночь: в 2 книгах. Кн. первая: Ночи 1–270 / пер. с араб. М. Салье. М., 2020. С. 122–129.
12. Семенова 2015 — *Семенова Ю. С.* Комическая опера Екатерины II «Февей»: наставление к воспитанию будущего монарха // Музыка как национальный мир искусства: материалы Международной научной конференции. Казань, 2015. С. 157–165.
13. СЛРЯXVIII — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 4. Л., 1988.



14. Тредиаковский 1963 — *Тредиаковский В. К.* Стихи эпиталамические на брак его сиятельства князя Александра Борисовича Куракина и княгини Александры Ивановны // Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л., 1963. С. 61–64.
15. Ходорковская 2000 — *Ходорковская Е. С.* Русская комическая опера // Музыкальный Петербург: энциклопедический словарь. Т. 1. Кн. 3. СПб., 2000. С. 39.



**III**

**ИМЯ В ИСТОРИИ —**

**ИМЯ В ЛИТЕРАТУРЕ —**

**ИМЯ В ДОКУМЕНТЕ**



*П. Е. Бухаркин*

**ИСТОРИЧЕСКОЕ ИМЯ В ТРАГЕДИИ  
РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА:  
МЕЖДУ АБСТРАКЦИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ<sup>1</sup>**

---

---

1

Общее место при характеристике русских трагедий середины XVIII — начала XIX века — их насыщенность актуальными для той эпохи политическими проблемами, придающая этим пьесам отчетливую злободневность, которая в конечном счете и определяла их читательскую судьбу: реципиенты особо выделяли в семантическом поле трагедии идеолого-политический компонент, именно он и привлекал в первую очередь внимание современников. Об этом в разных выражениях и отчасти по-разному писали почти все обращавшиеся к русской классицистической трагедии исследователи: Г. А. Гуковский и Д. Д. Благой в соответствующих разделах своих классических учебников (Гуковский 1939; Благой 1945), В. А. Бочкарев в двух своих монографиях (Бочкарев 1959; Бочкарев 1988), П. Н. Берков и И. Н. Медведева в монографических статьях об А. П. Сумарокове и В. А. Озере соответственно (Берков 1957; Медведева 1960), Ю. В. Стенник в ярком исследовании, специально посвященном трагедии (Стенник 1981), и многие другие. В последние два десятилетия, в контексте подчеркнутого интереса к политической направленности художественных произведений второй половины XVIII — начала XIX века, который был отчасти обусловлен вниманием к идеям «нового историзма» и в русской научной литературе о словесности XVIII столетия стал

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано: Литературная культура России XVIII века. Вып. 8 / под ред. П. Е. Бухаркина, Е. М. Матвеева. СПб., 2019. С. 46–68.

особо заметным начиная с монографии А. Л. Зорина, посвященной взаимодействию литературы и государственной власти (Зорин 2001), в литературном творчестве той эпохи вообще начинают видеть прежде всего политическую деятельность: «литература как политика» — подзаголовок книги В. Проскуриной (Проскурина 2017) — в известной степени отражает общее положение дел. Это в полной мере относится и к жанру трагедии, находя себе опору в указанных выше работах иного времени и другой направленности; из недавних сочинений здесь следует назвать труд К. Осповата о трагедийном творчестве А. П. Сумарокова (Ospovat 2016).

Повторюсь, только что сказанное — *locus communes* доминирующих представлений о литературной жизни XVIII века, в частности о русской трагедии, не зависящее от исследовательских подходов и идеологических ориентиров солидарных с ним ученых; сейчас данное *locus communes* оказывается весьма привлекательным, в том числе и для исследователей крайне далеких, например, от Д. Д. Благого или В. А. Бочкарева, имею в виду, в частности, К. Осповата. У последнего представление о преимущественно политической направленности русских трагедий совершенно лишено плоской зависимости от современной исследователю государственной идеологии; оно опирается на авторитетную и сугубо историософскую концепцию В. Беньямина (Беньямин 2002)<sup>2</sup>. Но, тем не менее, переклички между приведенными выше суждениями сохраняются в полной мере.

Оспаривать данную концепцию малопродуктивно, а в случае с работами типа статьи Л. В. Пумпянского либо книги К. Осповата (ибо они порождены приверженностью к определенной системе взглядов, а не конъюнктурными соображениями), вряд ли возможно. Однако у филолога, а не историка идей или политических движений, даже в случае его полной солидарности с обозначенным

---

<sup>2</sup> Стоит обратить внимание на неотмеченные (насколько мне известно) переклички между основными положениями данной книги и пафосом статьи Л. В. Пумпянского (1923 г.) «Об оде А. Пушкина “Памятник”» (Пумпянский 2000: 197–209). См., например, у Пумпянского: «Тема о величии поэзии только в великом государстве и может быть поставлена» (Пумпянский 2000: 201).

выше подходом (относительно себя все же так не скажу), не может не возникнуть принципиального вопроса: а как политическое (или же идеологическое) содержание литературного произведения соотносится с художественной структурой текста? В свое время Л. В. Пумпянский обмолвился — «политическое и поэтическое сходятся» (Пумпянский 2000: 198); как раз классическую литературу он и подразумевал; русская трагедия XVIII столетия, с некоторыми оговорками, к данному словесному пространству принадлежит. Но как «внутри» трагедии, в ее тексте осуществляется подобное схождение? И означает ли оно отсутствие прямо эстетического начала, которое можно (и должно) рассматривать само по себе? Вопрос этот неизбежно связан с другим: было ли политико-идеологическое содержание главной интенцией автора или же оно создается преимущественно взаимодействием между автором, его произведением и современными им читателями. Другими словами — видел ли автор в собственном произведении политическую акцию или же он создавал художественный текст, не чуждый злободневности и потому способный приобрести в процессе своей рецепции актуальный идеологический смысл, но все же преследующий в первую голову эстетические цели. И только через них решающий политические (государственные) свои задачи.

Казалось бы, необходимость ответа на данные вопросы более чем очевидна, но стоит заметить, что в последние годы (впрочем, не только в последние) они скорее обходятся, нежели изучаются. Вместе с тем в случае серьезного обращения к ним мы сталкиваемся со сложной, даже амбивалентной картиной, выразительным примером чему может послужить та, что создана в прекрасной монографии А. Вачевой о мемуарах Екатерины II (Вачева 2015). Как раз к вопросам подобного рода я и хочу обратиться — на материале русской трагедии эпохи классицизма, — сосредоточившись при этом только лишь на одном компоненте ее структуры — на антропонимах.

Антропонимы в широком смысле, т. е. имена героев (как действующих лиц, так и внесценических персонажей), играют в художественном мире классицистической трагедии весьма заметную роль. В частности, они представляют несомненный интерес и в занимающем нас ныне аспекте; их анализ с точки зрения

своеобразия выполняемых ими референциальных функций, как представляется, дает значительный материал для осмысления поставленных выше вопросов. Обращаясь к такому анализу, в первую очередь следует напомнить всем известный факт: фабулы абсолютного большинства новоевропейских (в том числе и русских) трагедий — как барокко, так и классицизма — взяты либо из мифологии, либо из истории (Священной истории Ветхого Завета и истории, так сказать, светской). Русская трагедия предлагает тут едва ли не все возможные варианты; сюжетное действие пьес референтно: античной мифологии / истории («Деидамия» В. К. Тредиаковского, «Демофонт» М. В. Ломоносова, «Агриопа» В. И. Майкова, «Эдип в Афинах» и «Поликсена» В. А. Озерова), библейской истории («Ирод и Мариамна» Г. Р. Державина), истории древнего и средневекового Востока («Артистона» А. П. Сумарокова, «Подложный Смердий» А. А. Ржевского, «Фемист и Иеронима» В. И. Майкова, отчасти «Тамира и Селим» М. В. Ломоносова), истории средневековой Европы («Гамлет» А. П. Сумарокова, «Венецианская монахиня» М. М. Хераскова, «Фингал» В. А. Озерова). Отечественная история — от легендарных времен начала русской государственности до самого конца средневековья — представлена наиболее полно: «Хорев», «Синав и Трувор», «Семира», «Дмитрий Самозванец» А. П. Сумарокова, «Освобожденная Москва» М. М. Хераскова, «Владимир и Ярополк» и «Вадим Новгородский» Я. Б. Княжнина, «Сорена и Замир» Н. П. Николева, «Рюрик» и «Ермак, покоритель Сибири» П. А. Плавильщикова, «Евпраксия» и «Темный» Г. Р. Державина, «Ярополк и Олег» и «Дмитрий Самозванец» В. А. Озерова — называю лишь некоторые пьесы самых именитых драматургов, совершенно не стремясь даже к относительной полноте; к названным сочинениям, с некоторыми оговорками, можно добавить «Тамиру и Селима» М. В. Ломоносова (для которой московская историческая реальность XIV века, вероятно, важнее азиатской составляющей), княжнинского «Росслава» или драматические сочинения императрицы Екатерины II: «Из жизни Рюрика», «Начальное управление Олега»; августейшая сочинительница, скорее всего, видела их в контексте трагедийного дискурса, между прочим, они и исследователями рассматривались

в параллели с трагедией<sup>3</sup>. В процентном отношении национальные темы явно доминируют в трагедиях XVIII — начала XIX века, что составляет их давно признанную особенность, впрочем, присущую европейским литературам XVIII столетия в целом — она, скорее, примета времени, нежели национальное свойство (как обычно полагали).

Подобный характер трагедийных фабул определяет очень значимую черту трагедий: их сюжетные коллизии спроецированы на внетекстовое пространство; трагические герои и обуславливающие их поведение конфликтные ситуации не вымышлены автором и не замкнуты внутри произведения, но отсылают к другим текстам, как правило, совсем иного порядка — мифам и историческим сочинениям, откуда и берутся исходные для трагедии положения. Многие конкретные мифологические и исторические источники уже давно указаны комментаторами; Ломоносов при работе над «Тамирой и Селимом» черпал сведения из «Синописа», а также использовал «Историю Российскую» В. Н. Татищева, известную ему по рукописи, а сочиняя «Демофонта», ориентировался на Овидия, причем с большой долей достоверности можно назвать издание «Героид», которым Ломоносов пользовался<sup>4</sup>. А. А. Ржевский взял событийную основу «Подложного Смердия» из 3 книги «Истории» Геродота, известной ему, скорее всего, в переводе А. А. Нартова (Трагедия 1991: 700). А авторы, разрабатывавшие сюжет о Вадиме, привлечший такое внимание в конце столетия (Я. Б. Княжнин, императрица Екатерина II, П. А. Плавильщиков), ориентировались прежде всего на В. Н. Татищева. И примеры такого рода можно продолжить. Но и без этого очевидно, что мир трагедии все время апеллирует к информации, существующей помимо него, в пространстве культуры, причем апеллирует вполне сознательно, на что указывает обращение создателей трагедий к источникам, как правило, известным интеллектуалам той эпохи. Впрочем, не только трагические поэты обладали необходимыми знаниями, и реципиенты трагедий, во всяком случае, некоторая их часть

---

<sup>3</sup> См., например: (Стенник 1981: 95–110).

<sup>4</sup> См.: (Ломоносов 2011: 8, 890, 907). В данных комментариях приведены и некоторые другие возможные источники «Демофонта».



(количественно незначительная, но наиболее авторитетная и определяющая репутацию пьес), имели достаточно четкие пресуппозиции относительно трагедийных фабул, и, соответственно, появляющихся в тексте антропонимов. Следствием этого оказывалось напряжение референциальных отношений между именами героев (а они составляют абсолютное большинство антропонимов) в пьесе и теми же антропонимами вне текста — в других сочинениях или мифах, т. е. в культуре вообще. Анализируя встающие здесь проблемы, т. е. рассматривая имена героев в тексте трагедий с точки зрения их соотношения с теми представлениями о них, которые сложились в культуре, можно выделить две тенденции — не просто существенно различные, но во многом противоположные.

## 2

Первая из этих тенденций состоит в том, что, функционируя в трагедийном мире, имена, заимствованные из мифологии и истории, став номинациями трагедийных героев, в очень большой степени освобождаются от своих референциальных связей и теряют собственную историческую конкретность. Достигается это разными способами, в том числе присущими любому тексту, претендующему на вымысел; имею в виду, в первую очередь, включение в состав действующих лиц фикциональных героев, т. е. героев, не отмеченных в тех источниках, которые воспринимаются автором / реципиентом как отражение реальной истории и на которые автор в той либо другой степени опирается. В отношении этих персонажей реципиенты не имеют сколько-нибудь ясных пресуппозиций, и вместе с тем именно с ними связана любовная интрига пьесы, т. е. ее центральный нерв. Примеров здесь много, такие случаи обнаруживаются в большинстве трагедий. В частности князь Галицкий в «Димитрии Самозванце» А. П. Сумарокова и его возлюбленная Ксения (хотя в случае с последней нельзя исключить непрямую отсылку к Ксении Годуновой<sup>5</sup>, в частности, сумароковская героиня, как и ее историческая тезка, оказывается предметом любовных устремлений Димитрия). Причем весьма

---

<sup>5</sup> Похожую догадку высказала Марсия Моррис в книге о Димитрии Самозванце в русской литературе (Morris 2018: 27).

существенно то, что в трагедии действующие лица подобного рода неразрывно связаны с, так сказать, «историческими» персонажами, т. е. персонажами, имена которых известны из исторических источников. Связь эта не ограничивается любовными коллизиями, она не менее существенна и для коллизий государственных. Тот же князь Галицкий не просто возлюбленный Ксении, он — деятельный участник заговора против Димитрия, наряду с Шуйским, один из руководителей готовящегося переворота; между ним и реально существовавшим Шуйским нет здесь отличий, они полностью эквивалентны. Тем самым грань между историческим и фикциональным становится едва ощутимой; она все время пересекается в «возможном» мире, творимом текстом; «драматические персонажи “Димитрия Самозванца” представляют собою смешение фактов и вымысла» (Morris 2018: 27).

Нечто похожее обнаруживается и во многих произведениях иных эпох (например, XIX–XX веков) и других жанров (в частности, в историческом романе). Но в трагедии данная общая черта текста на историческую тему не просто усиливается, но и несколько модифицируется; для трагедии характерно постоянное соединение исторических и псевдоисторических персонажей, между которыми не делается различий и которые ставятся в один ряд. Таковы в «Тамире и Селиме» М. В. Ломоносова реальный Мамай и фикциональный Мумет; оба они обозначены в перечне действующих лиц одинаковым образом: Мамай — «царь Татарский», Мумет — «царь Крымский». В «Хореве» А. П. Сумарокова (как известно, первой, а потому особо прецедентной русской трагедии) к первым относится Завлох, названный «бывшим князем Киеваграда» и соположенный мифическим Кию и Хореву, а в сумароковской же «Семире» — Ростислав, «сын Олегов», наряду с самим Олегом и Оскольдом. В «Евпраксии» Г. Р. Державина, наряду с Юрием Рязанским, его сыном Федором, Всеволодом Пронским, Давидом Гороховским и Олегом Муромским (имена которых, правда с некоторыми разночтениями, касающимися княжеских титулов, упоминаются в «Повести о разорении Рязани Батыем»<sup>6</sup>) указан

---

<sup>6</sup> Ср.: «И услыша великий князь Юрьи Ингоревич Резанский, что нѣсть ему помощи от великаго князя Георгья Всеволодовича Владимирь-

неотмеченный в источниках князь Лев Коломенский (в «Повести...» и в ряде других, хронологически более близких Державину исторических сочинениях упоминается Глеб Коломенский, отсутствующий в державинской трагедии).

Тут, впрочем, необходим определенный комментарий: многие исторические антропонимы, используемые русскими трагическими поэтами, встречаются в весьма ограниченном числе произведений и другими источниками не подтверждаются. Между прочим, это относится и к рязанским князьям, ставшим действующими лицами «Евпраксии»: многие из них указаны лишь в «Повести о разорении Рязани Батыем», в летописях они (Давид Ингорович, Глеб Ингорович, Феодор и его жена Евпраксия) не встречаются (Лихачев 1981: 555–556). И историки XVIII столетия называли участников данного исторического события несколько по-разному. В. Н. Татищев указывает имена Юрия Ингоровича, Олега, «брата его» (чуть позже определяемого как Олег Муромский), Юрия Муромского, князей Муромских и Пронских без упоминания их личных имен (Татищев 1995: 231–233). У М. М. Щербатова появляются князь Георгий и Олег Ингваричи (в другом месте он обозначает князя Георгия как Ингваревича), князья Муромские и Пронские, Роман Ингваревич (Щербатов 1771: 561–565). Н. М. Карамзин упоминает Юрия, «брата Ингворова», Олега и Романа Ингворовичей, владетелей Пронских и Рязанских. А чуть ниже — князей Пронских, Коломенских, Муромских, Феодора и Евпраксию, Ингоря. Между прочим, он достаточно подробно описал трагическую историю Евпраксии и Феодора — в отличие от Татищева и Щербатова, которые данный столь художественно выразительный сюжет даже не упоминали (Карамзин 1991: 507–509). В комментариях же к соответствующему фрагменту третьего тома своей «Истории...» Карамзин отмечает, что «в других новейших летописях назван здесь Давид Ингорович Муромский, Глеб Ингорович Коломенский, Всеволод Пронский...» (Карамзин 1991: 637). В связи с этим крайне

---

скаго, и вскоре посла по братью свою: по князя Давыда Ингоровича Муромского, и по князя Глѣба Ингоровича Коломенского, и по князя Олга Краснаго, и по Всеволода Проньского, и по прочии князи» (Памятники 1981: 184).

затруднительно говорить о исторически релевантных и, напротив, нерелевантных героях трагедии. Но все же есть некоторое различие между антропонимами, возникающими исключительно в художественном тексте (как Лев Коломенский в «Евпраксии») и именами, засвидетельствованными другими, прежде всего, современными описываемым событиям произведениями или же историческими сочинениями. Имена последнего типа являются достоянием культурного сознания в целом, и реципиенты трагедии могут обладать о них определенными предварительными знаниями. И не просто могут, а едва ли не в большинстве случаев обладают, воспринимая носителей этих имен как реально существовавших. Первые же существуют исключительно в пространстве текста. Однако как раз для этого текстового пространства, для того мира, что создается внутри трагедии, подобное различие несущественно.

Такая особенность трагедии обусловлена пониманием мимесиса, его целей и направленности, которое было ей присуще. Исторические или мифологические герои необходимы трагедии не для того, чтобы передать историческую специфику изображаемой в ней эпохи; подобной задачи «правильная» классическая новоевропейская трагедия (т. е. трагедия XVI — начала XVIII века) просто перед собой не ставила. Она стремилась к другому — к запечатлению в «высоком», а потому авторитетном, слове (слове поэтическом) уровня абсолютных реальностей и отношений, уровня, отражающего разумные и потому вечные начала мироздания. Этот — центральный — регистр бытия в обычной жизни часто бывает искажен; конечная задача искусства, прежде всего в его высших явлениях (а трагедия как раз к таким высшим явлениям искусства и принадлежала), заключается в том, чтобы стереть случайные искажения, обнаружив непреходящие элементы универсума. Поэтому трагедийный мимесис понимался как очищение природы от хаотических случайностей, как обнажение средствами искусства ее субстанциональных, исторически неизменяемых основ. В пространстве действующих лиц, т. е. в аспекте изображения человеческого характера, эти основы с наибольшей яркостью проступали в мифологических или знаменитых исторических личностях — «героях и царях», как определил их О. Мандельштам. Причем имя героя было важно не референтной связью

с исторической либо мифологической сферами, а совсем другим — указанием на необычность, приподнятость над обыкновенным, т. е. на очищенность от любой конкретики, что усиливалось отодвинутостью подобного героя в отдаленное прошлое, лучше всего — в мифологическое или легендарное. Герой трагедии не историческое лицо, но человек в своей обнаженной экзистенциальности.

Это проявляется не в одном размывании границы между историческим и фикциональным, о чем только что шла речь. По существу, тем же целям представления трагического героя как экзистенциального человека служит смешение социально-иерархических номинаций, относящихся к разным культурам, но прилагаемых к одному и тому же действующему лицу; наиболее частотным примером здесь оказывается чередование метонимических синонимов «царевна» / «княжна», замещающих имя конкретной героини. Так, в «Артистоне» А. П. Сумарокова главная героиня попеременно обозначается как «царевна» (что соответствует культурным конвенциям относительно изображаемой в пьесе эпохи) 11 раз и как «княжна» — 21 раз. Показательно, что подобное чередование номинаций происходит в пределах одного и того же драматического фрагмента; «царевна» и «княжна» непосредственно соседствуют друг с другом: например, в 6 явлении 3 действия: «царевна», «мудрая царевна» и тут же — «княжна» (Сумароков 1990: 163–164<sup>7</sup>). То же находим в 5 действии, во 2 явлении: «княжна», «Царевна», «Дражайшая княжна» (176) — и в явлении 7: «Княжна твоя», «княжне», «Позови царевну», «княжну сию» (185–186).

В результате действия этой тенденции референциальные отношения антропонимов (т. е. имен действующих лиц) к исторической реальности (иначе — к тем presupпозициям, которые предлагала по отношению к ним культура) крайне ослабевают. Обозначенные именами, не выдуманными трагическим поэтом, но уже присутствующими в сознании автора / читателя как номинации реально существовавших исторических / мифологических лиц, эти герои почти теряют в трагедии связи с тем комплексом представлений,

---

<sup>7</sup> Далее в тексте статьи ссылки на издание (Сумароков 1990) приводятся сокращенно: в скобках указывается номер страницы.

которые за их именами уже закрепились. Иными словами, они утрачивают четкую соотнесенность с реальными историческими лицами и используются в первую очередь в качестве знаков высокого и притом предельно обобщенного смысла: изображаемые в трагедии персонажи выражают общие для человека любой эпохи и любой страны начала; они люди на всякое время.

### 3

Однако, наряду с только что охарактеризованной тенденцией, в русской трагедии — классической и классицистической одновременно — действует и тенденция другая, с точки зрения мимесиса почти противоположная только что сказанному. Ее можно определить как стремление восполнить референциальную пустоту трагедийного мира, о которой уже шла речь и, хотя бы в ограниченных пределах, но внести в семантическое поле трагедии конкретные исторические смыслы. Тенденция эта обусловлена особенностями развития трагедийного жанра в русской литературе: трагедия русского классицизма — поздняя поросль новоевропейской трагедии классического типа. Классическая форма,<sup>8</sup> а главное — классический дух, та возвышенная, разреженная в собственной возвышенности и отвлеченности от всякого рода конкретики атмосфера, наиболее приметная у поэтов-классицистов (П. Корнель, Ж. Расин), но и вообще присущая пьесам великих трагиков второй половины XVI–XVII столетий, на русской почве фактически сразу вступает в контакт с тенденциями совсем иными, отражающими идеологические, философские и художественные движения уже века XVIII и несущими с собой Просвещение, сентиментализм, «слезную» комедию, роман. Причем в России не созревший и вполне оформившийся художественный феномен наполняется новыми смыслами, обнаруживая в себе способность к органическому развитию — трагедийный жанр в русской словесности как раз и начинает в этих условиях только лишь формироваться.

---

<sup>8</sup> См. характеристику формальных особенностей классической трагедии в старых образцовых работах: (Кржевский 1960: 321–345; Гуковский 1926: 67–80).

И даже не просто трагедийный жанр: трагедийное начало как особая форма словесного воплощения бытия, которая не замкнута в границах определенного жанра, но способна манифестировать себя в текстах различной жанровой природы,<sup>9</sup> до 1740-х годов слабо проступало в русской литературе, а до середины XVII века (до «Повести о Горе-Злосчастии», «Повести о Тверском Отроче монастыре», «Повести о Савве Грудцыне» или же «Жития» протопопа Аввакума) вряд ли было ощутимо вообще.

Запоздалость — скорее недостаток, нежели достоинство, но она имеет и некоторые плюсы, точнее сказать, известная ненормальность позднего рождения (часто встречающаяся в русской культуре) может открыть перед произведением искусства неожиданные перспективы; в известных пределах с русской трагедией это и произошло: оставаясь, с одной стороны, в границах классического текста в самом строгом, классицистическом (т. е. принадлежащим к классицизму) его варианте, она, с другой стороны, наполняется новыми идеями, в том числе идеями историзма. Эта открытость трагедии историческим веяниям проявляется по-разному — в частности, историзм начинает определять драматический конфликт пьесы.<sup>10</sup> Ощутим он — пусть и в крайне ограниченных рамках — и в отношении антропонимов, в которых, как только что отмечалось, начинает усиливаться историческая конкретность их референции. Это происходит благодаря применению (со стороны авторов, возможно, и даже скорее всего, неосознанному) разных стратегий; две из них являются наиболее влиятельными.

Во-первых, это включение в текст пьесы антропонимов, не являющихся обозначениями действующих лиц, но прямо указывающих на исторические реалии изображаемой эпохи. Показательным

---

<sup>9</sup> Опираюсь в данном случае на давние уже идеи Э. Штайгера. См. его характеристику трагедийного модуса драматического стиля и взаимодействия стилей (литературных родов) между собой: (Steiger 1946: 155–208, 219–246).

<sup>10</sup> Об этом я писал в статьях 1980-х годов, когда, благодаря интеллектуальной и организационной инициативе Г. П. Макогоненко (См.: XVIII век 1981), активизировался интерес к проблемам историзма в русской литературе второй половины XVIII — самого начала XIX в.: (Бухаркин 1986: 97–106; Бухаркин 1988: 28–45).

в данном отношении является «Димитрий Самозванец» А. П. Су-марокова: в репликах его действующих лиц, причем различных, неоднократно упоминаются имена известных исторических деятелей начала XVII столетия. «То небо отдало, что отнял Годунов» (248), — комментирует Пармен победу Димитрия в 1 явлении 1 действия. «В законе Климент мя присягой обязал» (249), — сообщает Пармену Димитрий в том же месте трагедии, имея в виду папу Климента VIII. Климент упоминается еще несколько раз — и Парменом («Так Климент оныя не постигает сам» (250), под «оныя» подразумевается «Премудрость божия»), и снова Димитрием («О Климент! Если я в небесном буду граде / Кому ж мучение готовится во аде?» (252)); обе реплики относятся все к тому же 1 явлению 1 действия. Вспоминается Климент и в других явлениях:

Уже разносится молва на площади,  
Что Климент обещал на небеси награду  
Мятежникам, врагам отеческому граду  
И что им все грехи прощает наперед —  
(258)

это слова Георгия, князя Галицкого, обращенные им в 1 явлении 2 действия его возлюбленной, дочери князя Шуйского, на что Ксения отвечает:

Все силы пагубны — Димитрий, Климент, ад —  
Из сердца моего тебя не истребят.  
(259)

Кстати, и имя Годунова также появляется снова — «злонравным Годуновым» (254) называет его Шуйский в 4 явлении 1 действия. Еще один важный исторический антропоним, относящийся к внесценическим персонажам «Димитрия Самозванца», — имя московского патриарха Игнатия, в трагедии предстающего как клеветник Димитрия и прислужник католической партии:

Еще духовные духовну власть имеют  
Еще Игнатию противостати смеют (269) —



использует Георгий Галицкий, характеризуя положение в русской церкви в 3 явлении 3 действия. А во 2 явлении 4 действия о бегстве Игнатия из Москвы сообщает начальник стражи:

Игнатий-патриарх во ересях дрожал,  
И се, лукавый муж из града убежал.  
(278)

Подобного рода исторические внесценические персонажи свойственны не только «Димитрию Самозванцу», они возникают не у одного Сумарокова. То же обнаруживается, например, в «Тамире и Селиме» М. В. Ломоносова, где в абсолютном своем большинстве вымышленные герои упоминают имена вполне реальных исторических деятелей. Так, в монологе Мумета из 4 явления 1 действия названы, кроме Мамаю, являющегося непосредственно действующим лицом пьесы, также Ольг Резанский (Олег Рязанский), Димитрий Московский, Олгерд (Ольгерд) Литовский:

Но Ольг, Резанский Князь, и Князь Олгерд Литовский  
Свои к Мамаевым поставили полки,  
И с малым воинством Димитрий, Князь Московский,  
Противу стать дерзнул, оставшись близ реки.  
(Ломоносов 1959: 302)

Нечто похожее обнаруживается и в трагедии М. М. Хераскова «Освобожденная Москва», и в «Димитрии Донском» В. А. Озерова, и в пьесах других авторов.

Вторая стратегия, направленная на сближение трагедийного мира и реальной истории (т. е. тех представлений об исторических событиях, которые были свойственны современной автору эпохе) предполагает использование этнонимов / топонимов, вводящих в текст, посредством связанных с ними исторических ассоциаций, определенную историческую конкретность и, тем самым, выполняющих отчасти связующую роль между миром трагедии и миром истории. В том же «Димитрии Самозванце» это такие топонимы как «Россия», «Англия», «Голландия», «пол-Германии», «Москва», «Новый свет», «Кремль», «Польша», «Кремлевы стены». Весьма существенно то, что в речах действующих лиц они наполняются,

скорее, не географическим, но историческим содержанием, недаром они нередко сопровождаются выразительными эпитетами: не просто Москва, но «Томящаясь Москва», Кремль — «печальный Кремль». Тем более этот исторический оттенок проявляется в развернутых репликах: например, Пармен, размышляя о папе Римском, упоминает европейские страны, освободившиеся от папской власти:

Сложила Англия, Голландия то бремя,  
И пол-Германии. Наступит скоро время,  
Что и Европа вся откинет прежний страх  
И с трона свернется прегордый сей монах,  
Который толь себя от смертных отличает  
И чернь которого, как бога, величает.  
(249)

И такое упоминание исторически локализует действие пьесы, соотнося его с определенными событиями мировой истории. Или Георгий Галицкий вспоминает судьбы Америки, имея в виду будущую экспансию католического духовенства в Москве:

Постраждет так Москва, как страждет Новый Свет.  
Там кровью землю всю паписты обагрили,  
Побили жителей, оставших разорили,  
Средь их отечества стремясь невинных жечь,  
В руке имея крест, в другой кровавый меч.  
Что с ними делалось в незапной их судьбине,  
От папы будет то тебе, Россия, ныне.  
(258)

Вводимые для решения подобных задач топонимы вступают в сложные метонимические отношения с антропонимами, внося в семантическое поле последних известную историческую определенность; особенно это очевидно в отношении папы Климента. Возникает возможность увидеть в героях поэтическое переосмысление реальных исторических лиц, а не пустые по своему историческому наполнению имена.

Отмеченные выше тенденции не просто разнонаправлены, они во многом противоположны по конечным своим результатам. Вместе с тем в тексте трагедии они нередко смыкаются; одни и те же примеры могут быть привлечены для демонстрации и той и другой. К подобным случаям относится, в частности, упоминание имени папы Климента в уже рассмотренном диалоге Георгия Галицкого и Ксении в 1 явлении 2 действия трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец». Георгий называет это имя в весьма определенном историческом контексте, имея в виду замыслы Папы Римского распространить с помощью Димитрия власть Ватикана на Москву:

Что Климент обещал на небеси награду  
Мятежникам, врагам отеческому граду  
И что им все грехи прощает наперед.  
(258)

Между прочим, реальный папа Климент VIII (Ипполито Альдобрандини 1536–1605, Папа Римский с 1592 по 1605), фигура далеко не лишённая противоречий, действительно отчасти проявлял склонность к экспансионистской политике, среди прочего, при нем была осуществлена Брестская уния (1596), был он связан и с Лжедмитрием.<sup>11</sup> Так что слова Георгия вполне референтны исторической обстановке. Но собеседница Георгия, Ксения, тут же упоминая Климента, переводит его имя в совсем другую семантическую плоскость:

Все силы пагубны — Димитрий, Климент, ад —  
Из сердца моего тебя не истребят.  
(259)

Здесь уже Климент (так же как и Димитрий) важен не историческими деяниями, но принадлежностью к пространству зла; на

---

<sup>11</sup> См. о нем: (Betten 1935: 420–426; Mols 1953: 1250–1298; об украинской и русской политике Климента в последней статье сказано на с. 1274).

это отчетливо указывает синонимический ряд: Димитрий, Климент, ад. В одном и том же месте трагедии его имя наполнено историческими ассоциациями и, одновременно, является указанием на предельно присущий ему крайне отвлеченный смысл, в данном случае — предельно негативный.

Такое соединение противоречащих друг другу принципов использования исторических антропонимов делает героев как бы двоющимися, в чем-то неравными самим себе. А это придает трагедии смысловую неоднозначность, ее семантическое поле приобретает глубину и обнаруживает внутреннюю динамику — пусть и в ограниченных пределах. Текст становится художественным, поэтическим; немного перефразируя характеристику поэтической идеи, предложенную в свое время Д. Е. Максимовым, можно сказать, «что он в своей основе, или хотя бы в своем смысловом ассоциативном ореоле ... многозначен, полисемантичен, пропущен через всю полноту человеческого сознания, включающего мир человеческих идеалов, то есть несет в себе ценностное содержание» (Максимов 1981: 342).

Художественность подобного рода и наделяет его различными возможными смыслами, которые, являясь актуализацией его полисемантизма, не отменяют один другого, но выполняют взаимодополняющие функции. Это в полной мере отражается в проникающих в трагедию исторических антропонимах, точнее — определяет их роль в формировании смыслового поля текста, в частности в наделении его политико-идеологическим содержанием, которое возможно трактовать в узко определенном злободневном смысле. Но эта трактовка прямо и непосредственно вытекает из именно художественной, а не политической фактуры произведения.

Вытекает, однако, разными способами. В случае с первой из отмеченных тенденций использования исторических антропонимов способ этот имеет отчасти аллегорический характер. В связи с отмеченными выше особенностями трагедийного мимесиса, определяющими ослабление исторической конкретности действующих лиц (а это, напомню, и есть первая тенденция функционирования

исторических имен в трагедии), художественный мир трагедии является предельным отвлечением от всего конкретного, ему — воспользуемся старой, но не устаревшей формулировкой Э. Ауэрбаха — свойственна «крайняя степень <...> отрыва трагического от реальной, обыденной жизни» (Ауэрбах 1976: 389). Будучи идеальным (в том значении, какое понятию идеального придавала платоническая традиция), этот возможный (а не реально существующий в земном пространстве) мир передавал собственную идеальность населявшим его людям, т. е. героям трагедии; такая идеальность определяла и имена данных героев в их исторической референциальности. Они утрачивали привязку к определенной эпохе и стране, их референция заключалась в ином: в декларации собственной идеальности, которая приподнимала их над временем и делала абстрактными, вечными фигурами.

Это, как ни парадоксально, и делало их злободневными, придавало их образам (а следовательно — и трагедии в целом) политическую актуальность. В определяющую процесс текстопорождения интенцию эта задача не входила (или же была периферийной) — имею в виду интенцию не автора, но текста (что, как известно, совершенно различные вещи). Но в процессе художественной коммуникации реципиенты пьесы — читатели либо зрители — начинали видеть в ней чуть ли не прямое отражение современных им политических проблем. Видели не потому, что трагедия была формой политической деятельности, политическим поступком, но благодаря особой ее художественности: вследствие специфики присущего ей мимесиса она была, так сказать, исторически пустой и ее содержание, относящееся к макроисторическому уровню, могло быть по принципу аллегории отнесено к любой, в том числе и современной, эпохе. Причем отнесено применительно к разным плоскостям бытия: и к духовной, и к психологической, и (но лишь в числе других и вовсе не всегда в первую очередь) к политической.

Совсем иначе порождала политический смысл трагедии вторая из отмеченных выше тенденций, суть которой состояла в усилении исторической определенности трагических героев; тенденция эта в главном была близка тем формам актуализации политического звучания текста, что были присущи торжественной оде.

Основывалась данная тенденция на принципе аналогии; ее суть заключалась в том, что исторические персонажи трагедии (как действующие лица, так и персонажи внесценические) начинали своими историческими поступками, отнесенными в отдаленные эпохи, отчасти напоминать современных автору / реципиентам деятелей и их поведение; тем самым возникала аналогия между историческим прошлым и политическим настоящим. А это в свою очередь наделяло текст злободневным политическим смыслом; именно его имел в виду Н. М. Карамзин в первых же строках предисловия к первому тому «Истории государства Российского», называя историю «священной книгой народов» и поясняя, что она «завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего» (Карамзин 1989: 13). Нечто похожее несли с собой и актуализированные в своей исторической конкретности антропонимы трагедии; они опытом прошлого учили лучше понимать политические движения настоящего. Но данный политический смысл вырастал из художественной материи текста — так же как и в случае с первой из рассмотренных нами тенденций. В обоих случаях трагедия оставалась литературой, среди прочего могущей приобретать политическое звучание, но не становилась собственно политическим действием. Ее можно было использовать в политических целях, ее так и использовали, и понимали. Но достигалось ее политическое звучание поэтическими средствами, поэтому в пространстве русской культуры она — прежде всего поэзия, а уж потом — политика.

## Литература

1. XVIII век 1981–XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII — начало XIX в. / отв. редакторы Г. П. Макогоненко, А. М. Панченко. Л., 1981.
2. Ауэрбах 1976 — Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976 (первое издание на языке оригинала: Auerbach E. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern, 1946).
3. Беньямин 2002 — Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002 (первое издание на языке оригинала: Benjamin W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. Berlin, 1928).

4. Берков 1957 — *Берков П. Н.* Жизненный и литературный путь А. П. Сумарокова // Сумароков А. П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 5–46.
5. Благой 1945 — *Благой Д. Д.* История русской литературы XVIII века. М., 1945.
6. Бочкарев 1959 — *Бочкарев В. А.* Русская историческая драматургия начала XIX века (1800–1815). Куйбышев, 1959
7. Бочкарев 1988 — *Бочкарев В. А.* Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. М., 1988.
8. Бухаркин 1986 — *Бухаркин П. Е.* Человек и время в трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» // Язык, литература, общество: Проблемы развития. Л., 1986. С. 97–106.
9. Бухаркин 1988 — *Бухаркин П. Е.* Трагедия В. А. Озерова «Дмитрий Донской» // Анализ драматического текста. Л., 1988. С. 28–45.
10. Вачева 2015 — *Вачева А.* Потомству Екатерина II: Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы. София, 2015.
11. Гуковский 1926 — *Гуковский Г. А.* О сумароковской трагедии // Поэтика. Вып. I. Л., 1926. С. 67–80.
12. Гуковский 1939 — *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века. М., 1939.
13. Зорин 2001 — *Зорин А. Л.* Кормя двуглавого орла: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.
14. Карамзин 1989 — *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. I. М., 1989.
15. Карамзин 1991 — *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. II–III. М., 1991.
16. Кржевский 1960 — *Кржевский Б. А.* Театр Корнеля и Расина // Кржевский Б. А. Статьи о зарубежной литературе. М.; Л. 1960. С. 321–345 (статья датируется 1923 г.)
17. Лихачев 1981 — *Лихачев Д. С.* Комментарии к «Повести о разорении Рязани Батыем» // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. С. 555–556.
18. Ломоносов 1959 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 8. М.; Л., 1959.
19. Ломоносов 2011 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 10 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 8. М.; СПб., 2011.
20. Максимов 1981 — *Максимов Д. Е.* Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981.
21. Медведева 1960 — *Медведева И. Н.* Владислав Озеров // Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960. С. 5–72.

22. Памятники 1981 — Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981.
23. Проскурина 2017 — *Проскурина В.* Империя пера Екатерины II: Литература как политика. М., 2017.
24. Пумпянский 2000 — Пумпянский Л. В. Об оде А. Пушкина «Памятник» // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 197–209.
25. Стенник 1981 — *Стенник Ю. В.* Жанр трагедии в русской литературе: Эпоха классицизма. Л., 1981.
26. Сумароков 1990 — *Сумароков А. П.* Драматические сочинения. Л., 1990.
27. Татищев 1995 — *Татищев В. Н.* Собрание сочинений: в 8 т. Т. II–III: История Российская. Ч. 2. М., 1995 (Репринт с изд.: М.; Л., 1963–1964).
28. Трагедия 1991 — Русская литература. XVIII век. Трагедия. М., 1991.
29. Щербатов 1771 — *Щербатов М. М.* История Российская от древнейших времен. Т. II: От начала царствования Изяслава Ярославича до покорения России Татарами. СПб., 1771.
30. Betten 1935 — *Betten Fr. S.* The Pontificate of Pope Clement VIII // The Catholic Historical Review. Vol. 20. № 4 (Jan., 1935). P. 420–426.
31. Mols 1953 — *Mols R.* Clement VIII // Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Т. XII (Catulinus — Clinchamp). Paris, 1953. P. 1250–1298.
32. Morris 2018 — *Morris M. A.* Writing the Time of Troubles: False Dmitry in Russian Literature. Boston, 2018.
33. Ospovat 2016 — *Ospovat K.* Terror and Pity: Aleksandr Sumarokov and the Theater of Power in Elizabethan Russia. Boston, 2016.
34. Steiger 1946 — *Steiger E.* Grundbegriffe der Poetik. Zürich, 1946.



## ИМЯ ПОТЕМКИНА В ОДАХ В. ПЕТРОВА И Г. ДЕРЖАВИНА

---

---

Панегирическая поэзия на случай Раннего Нового времени имеет установку на похвалу реально существующих и высокопоставленных лиц. Их имена, отчества и фамилии переносились из действительности в художественные тексты также прямо как их титулы и предписанные формы обращения к ним. «Имя» в данном контексте обозначает не только наименование конкретного лица, но также репутацию, славу человека или рода — как показывают фразеологизмы «доброе имя», «человек с именем» и «приобрести имя». Именно на этих проблемах мы и сосредоточимся.

Общественное положение воспеваемого лица решало вопрос о жанре и стиле текстов и прибавляло им дополнительную ценность. Если барочный панегирик XVII века основывал интерпретацию имен прославляемых в нем лиц прежде всего на толковании этимологии фамилий и словесном обыгрывании генеалогии, на перечислении дел предков, панегирики XVIII века обращались к другим приемам. В случае Потемкина, князя Тавриды, ссылка на этимологию его фамилии представляла трудности, потому что она связывается с тьмой, потемками, темностью<sup>1</sup> и вызывает ассоциации, которые противоречат целям похвалы. Это, как известно, использовали политические противники Потемкина, которые называли его «князь тьмы». В панегирике такое само по себе едва ли возможно. Ссылка на генеалогию Потемкина была тоже не очень

---

<sup>1</sup> Унбегаун связывает антропоним Потемкин с фамилиями, относящимися к явлениям природы (Унбегаун 1995: 160). Научно-популярный словарь фамилий И. М. Ганжиной, напротив, соотносит наименование к диалектальному прозвищу Потема, Потемка, которым охарактеризовался «скрытный человек» (Ганжина 2001: 83 и сл.).

уместна, ибо род Потемкиных принадлежал к среднему дворянству западных провинций империи, и никогда не отличался выдающимися заслугами. Имя и отчество редко использовались в панегириках на лиц, не бывших монархами; поэт обыкновенно обращался к воспеванию и обыгрыванию фамилий.

Григорий Александрович Потемкин был первым из своего рода, который добился высокого места в империи и вписал имя свое в книгу русской истории. Он получил первоначальное образование в Смоленской Духовной семинарии, учился потом в Московской Славяно-греко-латинской академии, а затем вступил в Петербурге в Преображенский полк, принимал участие в выступлении Екатерины и Орловых против Петра III и боролся в первой русско-турецкой войне против Оттоманов. Быстрое его возвышение на второе место в государстве было обусловлено не столько умом или военными успехами, сколько благосклонностью Екатерины II, начало которой датируется 1774 годом. В 1775 году, Потемкин получил титул графа, а потом титул светлейшего князя; в январе 1776 царица назначила его наместником новообретенных земель, называемых Новороссия, на юге Империи, устройством и колонизацией которых он руководил следующие 15 лет. В 1783 году он добился присоединения Крыма к Российской империи. За это императрица его наградила прибавлением слова «Таврический» к фамилии. Такая награда, т. е. дарование прозвища, основанного на метонимической отсылке к месту подвига, давалась очень немногим, Екатерина делала это лишь пять раз.<sup>2</sup> В 1789 году Потемкин возглавлял российские войска во второй русской-турецкой войне. До его внезапной смерти в 1791 году он был самым могущественным человеком после Екатерины в Империи.

Рассматривая панегирики, надо иметь в виду общественное положение не только адресата, но и автора. Последний должен соблюдать нормы сообщения между людьми разных сословий и предписанные табелю о рангах формы обращения к высокопоставленным лицам. Полный список титулов адресата требовался

---

<sup>2</sup> Сподвижники Екатерины II получали двойную фамилию как награду за выдающиеся военные заслуги, кроме Потемкина можно назвать Василия М. Долгорукого-Крымского, Алексея Орлова-Чесменского, Петра Румянцева-Задунайского, Александра Суворова-Рымникского (Унбегаун 1995: 308).

только в заглавии текста, который набирался отдельно; в случае публикации в журнале или в собрании сочинений титулы сокращались. Внутри панегирика поэты обращались к воспеваемым в нем лицам обыкновенно по фамилии и на «ты» — поэзия отменяла до некоторой степени разницу ранга и положения, и разрешила такое обращение, хотя она не делала певца действительно равным с воспеваемым вельможей.

Ниже я остановлюсь на использовании имени Потемкина в одах двух поэтов, В. П. Петрова и Г. Р. Державина. База исследования — стихотворения Василия Петрова в честь Потемкина, в том виде и объеме, в каком они вошли в трехтомное издание Сочинений Петрова 1811 г. Их общее число — девять, анализ семи из них лег в основу следующих комментариев. После краткого обзора стихотворений Петрова я обращусь к другому поэту: в центре внимания будут стоять три оды Державина в честь Потемкина — «Решемысл», «Победителю» и «Водопад».

Стихотворения Петрова к Потемкину датируются периодом с 1771 до 1791 года, т. е. первое произведение возникло в те годы, когда Потемкин еще не стал знаменитостью. Петров был лично знаком с Потемкиным с московских времен, когда Петров преподавал, а Потемкин учился в Московской Духовной академии; их отношения были дружеские. Жанр первого панегирика, обращенного к Потемкину был обозначен как «письмо», в заглавии указано «Его превосходительству Григорию Александровичу Потемкину»;<sup>3</sup> обращение это соответствует предписанной табелью о рангах форме обращения к лицам третьего класса гражданской службы. Стихотворение начинается апострофой, составленной из перифраз «Младый и храбрый вождь, друг общества и мой» (Петров 1811: III, 46). Обращение «мой друг» встречается в тексте три раза; текст выдержан в личном тоне послания старшего друга, выражающего радость по поводу обретенной юным другом славы и поощряющего его стремиться к дальнейшим подвигам. В «Письме» дважды встречается прямое обращение к адресату — дважды с фамилией «Потемкин» и дважды со словом «мой друг»; слово «друг» появляется и в повествовании певца о его герое. Петров также обыгрывает

---

<sup>3</sup> Стихотворения Петрова цитируются по изданию (Петров 1811). В ссылках указываются автор, год, номер тома и страница.

этимологическое значение фамилии «Потемкин» и советует ему выступить из темноты незначительности и бороться за свою славу, за известность фамилии:

Во тьме забвенья кто не хочет пресмыкаться,  
Тот должен на беды, на страхи попускаться,  
И славой заглушать толпы завистный крик.  
(Петров 1811: III, 49)

Дальше певец требует, чтобы Потемкин передал свет, воспринятый им от Екатерины, низшим кругам, чтобы он действовал как отражающий лучи солнца месяц.

Следующие оды написаны уже начиная с 1775 г., когда Потемкин, будучи новым фаворитом царицы, получил титул графа и князя. Разница по рангу между ним и Петровым увеличилась. Оды отражают продвижение Потемкина на самый верх русского придворного общества и используют метафорику света, связанную с его новыми титулами. Теперь оды адресованы к «Его сиятельству» или имеют предписанное для «светлейших князей» обращение «Его светлость».<sup>4</sup> В текстах од обращение по фамилии

---

<sup>4</sup> О рангах служебных и дворянских и предписанных к ним формах обращения см.: (Шепелев 1977: 107). Шепелев подчеркивает значение форм обращения в Российской империи XVIII в., которые он обозначает термином «общий титул», под которым он понимает «титулование» (Шепелев 1977: 15). Далее он пишет, что «под *чином* мы будем иметь в виду имевшее почетный характер обозначение положения лица, которому чин этот был присвоен, в строго соблюдаемой служебной иерархии, конкретно говоря — по Табели о рангах, связанное с приобретением определенных прав, в особенности права на замещение соответствующих чину должностей <...> От чинов следует отличать *звания* (генерал-адъютант, статс-секретарь и т. п.). Звание являлось почетным наименованием, обычно связанным с предоставлением данному лицу особых прав и преимуществ (в частности, прав на мундир и участие в придворных церемониях). <...> Существовали также *родовые титулы* (иначе — *титулы по происхождению*, или *по достоинству*): дворянин, барин и т. д. Наконец, необходимо иметь в виду *предикатный титул* — обычную и общепринятую формулу обращения и наименования (например, «господин»,

сохранено, но оно редко появляется как прямая апострофа. Описание свойств и дел Потемкина связывается этимологически со светом и сиянием, включенными в форму обращения. В «Оде его сиятельству князю Григорию Александровичу Потемкину. 1775» Потемкин сравнивается, так же как в первом «Письме», с отражением лучей солнца Екатерины, и поэт требует, чтобы он продолжил укреплять славу свою добродетелями и великодушием, для возвышения репутации своего рода и фамилии: «Возвыси сам твой род, число блаженных множа» (Петров 1811: I, 118). В оде 1777 года Потемкин называется «Фебом севера» и рефлектором небесного света на землю.<sup>5</sup> В оде 1778 г. певец видит людей, вызванных самым именем «Потемкин» на юг страны, в Крым, а появление самого Потемкина освещает всю окрестность.<sup>6</sup>

Фамилия «Потемкин» стала знаком сияющего света, светлости и его славы. В оде 1782 г. Потемкин сравнивается с маяком «Фарос», который «виден он вдали».<sup>7</sup> Наконец, написанная на смерть Потемкина ода обращается к нему перифразами «муж дивный» и «великий гражданин» и говорит о нем как атланте империи.<sup>8</sup> Певец разделяет свет и тьму теперь не по простору — топографически — на Потемкина и других, но по времени — между прошедшим и современностью: «Куда девались геройские красы?! Увы! Померкли все» (Петров 1811: II, 102). Сияние света Потемкина погасло, но отблеск его сохранен в памяти певца, который видит еще его «зрак пресветлый». Конец оды повторяет трижды слово

---

«сударь»). Но термин «титул» имел в России и еще один, более общий смысл, а именно представлял собою словесное обозначение должности, чина, звания и знатности происхождения (*частный титул*) или официально присвоенную носящим их лицам почетную форму обращения (*общий титул*)» (Шепелев 1977: 17).

<sup>5</sup> Его сиятельству князю Григорию Александровичу Потемкину. 1777 (Петров 1811: I, 158–164).

<sup>6</sup> Его светлости князю Григорию Александровичу Потемкину. 1778 (Петров 1811: I, 170–183).

<sup>7</sup> Его светлости князю Григорию Александровичу Потемкину. 1782 (Петров 181: II, 16–24).

<sup>8</sup> На кончину князя Григория Александровича Потемкина Таврическаго 1791 года, Октября 5 дня (Петров 1811: II, 100–115).

«погас», дважды в позиции анафоры; смерть Потемкина погрузила всех и вся во мрак ночи.

Петров поет хвалу Потемкину, игнорируя прямое значение его фамилии или приписывая его другим людям; вместе этого он употребляет метонимии и перифразы из словесного поля титулов и форм обращений, соответствующих определенному рангу. Можно наблюдать в текстах постепенное развитие метафорика света: в первой оде 1771 г. имя Потемкина соотносится еще с мраком неизвестности, но уже с 1775 г. оно упоминается как отражающее свет и сияние царицы и самого неба. Потом Потемкин описывается уже как светлый луч, сияющий сам по себе, и новый Феб. Метафорика света доминирует в его изображении до самой его смерти, которая представляется традиционным образом как угасание света.

В отличие от Петрова, Гаврила Державин не был личным другом Потемкина. После появления «Фелицы» княгиня Дашкова просила Державина написать оду Потемкину. Уже заглавие опубликованной в «Собеседнике» 1783 г. «Оды великому боярину и воеводе Решемыслу, писанной подражанием оде к Фелице 1783 года»<sup>9</sup> указывает на важность фелицианского контекста и заставляет читателей ожидать соединения панегирика и сатиры. Именем «Решемысл» Державин пользовался уже в «Фелице». Он заимствовал это вымышленное имя из написанной Екатериной для внука Александра «Сказки о царевиче Февее». В сказке Екатерины Решемысл выступает как мудрый советник и правая рука китайского царя. В позднейшем комментарии к оде Державин написал, что царица понимала под именем Решемысла Потемкина, который занимал рядом с ней то же место, что Решемысл у китайского царя; читатели XVIII в., конечно, знали об этом. Как и в «Фелице», так и в «Решемысле» Державин употребляет псевдоним для восхваляемого им лица. Псевдоним покрывает реальное лицо; говорящее имя «Решемысл», составленное из глагола «решить» и существительным «мысль», характеризует его носителя как мыслящего и решительного человека. Державин представляет Решемысла в качестве «великого вельможи смысла», который работает, как и царица,

---

<sup>9</sup> Стихотворения Державина цитируются по изданию (Державин 2002); стихотворение «Решемыслу» см. на с. 118–121.

на благо отечества и народа, и уверяет себя и своих читателей, что петь хвалу такому вельможе — почетная задача:

Сея царицы всепочтенной,  
Великой, дивной, несравненной  
Сотрудников достойно чтить;  
Достойно честью и хвалами  
Ее вельмож превозносить  
И осыпать их вкруг цветами.  
(Державин 2002: 119)

Повторение слова «достойно» тут кажется не столько утверждением этого взгляда на задачу, сколько прикрытием некоторого сомнения певца в такой оценке. Похвала Потемкину в этой оде обрамлена охватывающим первые семь строф и вновь проявляющимся в двадцатой, последней строфе, размышлением, посвященном оправданию похвалы вельможе. Певец уверяет свою музу, что в отличие от изображенных в «Фелице» вельмож, Решемысл есть человек, достойный восхваления и просит ее о помощи при словесном выражении этого утверждения. В последней строфе поэт обвиняет музу в хитрости, потому что та начертила Решемысла как образ идеального вельможи; это дает повод к сомнению в правдивости этого образа, в том, что созданный в оде образ передает правду о Потемкине.

В оде Решемысл охарактеризован как вельможа Екатерины, который всегда, как и она, размышляет о благе монархини и народа и трудится для этого. Описывая Решемысла, Державин мало использует метафорику света; он связывает своего героя даже с тенью, которую он толкует в позитивном значении защиты от жары. Державин описывает его свойства и достоинства и сравнивает его с парящим орлом, который «все с высот далече видит» (Державин 2002: 119). Он называет Решемысла перифразой «Друг честности и друг Минервы». Но прежде всего он перечисляет реальные способности и деяния Потемкина: Потемкин всегда готов встать «с лона неги <...>, среди своей забавы / Внимать, судить и повелевать / И молнией лететь в храм славы» (Державин 2002: 120) — т. е., он не свободен от приписанной вельможам в «Фелице» лени.

Но, когда необходимо, он может быстро решать и действовать; он не нуждается в поддержке, потому что он «без подпор собою тверд». Он побеждает без битв — это намек на присоединение Крыма — и получает «сугубый плеск» за то, что он дарит пленникам свободу, а русским солдатам — теплые зимние одежды и крепкую обувь. При всей заслуженности похвалы Потемкину, ода не замалчивает вовсе его слабости, в ней называются и великие, и маленькие дела.

Ода на завоевание русскими войсками под началом главнокомандующего князя Потемкина турецкой крепости Очаков в июне 1788 г. адресована «Победителю».<sup>10</sup> Завоевание Очакова относилось к важнейшим и самым выдающимся победам второй русско-турецкой войны. Как было указано в подтитуле, ода опирается на 90 псалом «Живый в помощи Вышнего». До предпоследней строки в ней победитель не называется по имени «Потемкин».<sup>11</sup> В описании победителя певец употребляет местоимение «он» с его косвенными падежами. Это «он» связывается с метафорикой света: «он» окружен светом даже тогда, когда войска противников теснятся вокруг него и бушуют сильные грозы; «он» назван солнцем, пред которым исчезает ночь. Первый намек на его идентичность дается в четвертой строфе, которая сравнивает твердость его души с Таврическими горами и тем самым вызывает ассоциации с официальным титулом Потемкина с 1783 года, а именно «князь Потемкин-Таврический». «Он» охарактеризован как «зеркало божественного света», он тот, в котором Бог объявил свое величие. Наконец, предпоследние строки обнажают игру с утаиваемым именем риторическим вопросом «Но кто ты, вождь, кем стены пали, / Кем твердь Очакова взята?» Последняя строка заканчивает игру идентифицированием восхваляемого: «Потемкин ты! С тобой, знать, Бог велик» (Державин 2002: 68).

---

<sup>10</sup> Состоящая из 15 шестистрочных строф ода была напечатана впервые в Сочинениях Державина 1798 года. Комментарий к оде объясняет, что она сразу после написания была анонимно отправлена Потемкину (Державин 2002: 555).

<sup>11</sup> Это имя в тексте появляется лишь раз, в последней строке последней строфы. Даже в таком оформлении, последняя строфа оды была вычеркнута цензурой в 1798 году «по причине неблаговоления императора Павла к князю Потемкину» (Державин 2002: 555).



Последняя ода Державина на Потемкина «Водопад» — сложный текст, соединяющий в себе разные перспективы, множество мотивов и стилевых ориентаций. «Водопад» был истолкован по-разному: начиная с утверждения, что он заключает в себе неограниченную хвалу Потемкину, до мнения, что тут, скорее, дается критическая оценка его личности (ср. Klein 2018: 292, сноска 4). В этой оде, написанной на смерть Потемкина, Державин тоже играет с умолчанием имен упоминаемых лиц. Это начинается уже с названия, означающего вместо адресата и/или события водопад, т. е. явление природы, и вызывающего в читателе ожидание стихотворения о природе. Вместе с певцом Державин вводит второе говорящее лицо, размышляющее о изображаемой картине северной оссианистической природы. Этот герой описывается как «некий вождь седой» в одежде воина, который отложил свое оружие, сел на пне у водопада и рассматривает его. Имя его не называется, но намеки на него появляются трижды в описании природы: в обороте «заря румяная» (Державин 2002: 180), в сравнении желанной им славы с «румяной луч зари» (Державин 2002: 178) и в строке «В венце из молненных румянцев» (Державин 2002: 182). Строка эта одновременно и скрывает и называет фамилию описанного героя острапяющим употреблением родительного падежа множественного числа слова «румянец», которое по форме идентично с именем «Румянцев». В позднейших комментариях к тексту Державин дал полное наименование изображаемого человека; он — Петр Александрович Румянцев, фельдмаршал Российской империи с великими заслугами, однако постепенно оттесненный от руководства военными действиями. Румянцев был в первую очередь полководцем, в отличие от Потемкина, который более блистал как политический вождь. В первой русской-турецкой войне Румянцеву подчинялся Потемкин, который в следующие годы заменил его в качестве главнокомандующего. Во второй русско-турецкой войне Румянцев, против воли своей, был подчинен Потемкину и ушел со службы. В оде Румянцев произносит обширный монолог о пышном сиянии и громком шуме падающих вниз водяных масс, которые он толкует как образ славы могущественных, сильных «вождей». Засыпая, он видит во сне крылатую жену в черной одежде, с косой и трубой, аллегория Фамы, славы и смерти

в одном лице. Румянцев толкует ее как предвестницу смерти некоего вождя: «Знать, умер некий вождь» (Державин 2002: 179). Привидение дает повод к дальнейшим размышлениям Румянцева об истинной, сохраненной в памяти следующих поколений славе вельмож, которая доступна только тем, кто всегда работал бескорыстно на благо государства и народа.

Потом повествование переходит к певцу и продолжается игра с умолчанием имени умершего: певец видит человека, который ходит над холмами и смотрит в «черные воды», он видит тень с мрачным взглядом и мрачными мыслями, которая спешит сквозь облака в небо, и, наконец, спрашивает себя, кто же тот человек, который умер. Вопрос о идентичности умершего не указывает прямо имени, но перифразирует его: «Не ты ли, счастья, славы сын, / Великолепный князь Тавриды?» (Державин 2002: 180 и сл.). Следующие четыре строфы повторяют вопрос «Не ты ли ...» в каждой первой строке и расширяют описание умершего перечислением его дел и заслуг, например: «Не ты ль наперсником близ трона / У северной Минервы был; / Во храме муз друг Аполлона, / На поле Марса вождем слыл; / Решитель дум в войне и мире ...?» (Державин 2002: 180 и сл.). Эти четыре строфы связывают Потемкина, во-первых, с планами распространения Российской империи до Стамбула, во-вторых, с активной обороной страны против хищных соседей, в-третьих, с устройством и колонизацией Новороссии и новых земель на Черном море и, в-четвертых, с победами в 2-й русско-турецкой войне у Очакова и Измаила, в которых он, по словам оды, оказался «твердой дерзостью такой / Быть дивом храбрости самой» (Державин 2002: 181). Пятая строфа подтверждает тот ответ, который предполагался уже первым вопросом о «князе Тавриды»:

Се ты, отважнейший из смертных,  
Парящий замыслами ум!  
Не шел ты средь путей известных,  
Но продолжил их сам — и шум  
Оставил по себе в потомки;  
Се ты, о чудный вождь Потемкин!  
(Державин 2002: 181)

Переход от света оказанных почестей, падение с блеска «златозарного фаетона» до «смертного черного одра» (Державин 2002: 182) описаны как будто падения с трона. С этим падением все бывшее великолепие угасает и жизнь оказывается «мечтанием пустым» (Державин 2002: 183). Барочный топос внезапного поворота от жизни в светлой высоте до черного мрака гроба смягчается отрицанием полного уничтожения блеска славы со стороны певца, который полагает, что деяния таких героев «из мрака и веков блистают», что они долго живут в памяти потомков. Похвала завершается строкой: «Напишется Потемкин труд». Этим певец отождествляет Потемкина и труд, объявляет слово «труд» синонимом Потемкина. Отождествление это поражает, потому что мы привыкли ассоциировать Потемкина более с роскошью и великолепием, чем с постоянной работой. Но Потемкин действительно много и постоянно трудился во благо империи. Певец продолжает, что потомки будут записывать славные деяния Потемкина, что утреннее солнце будет наполнять надпись на его надгробном памятнике — «Здесь труп Потемкина лежит» — золотым блеском. Потом певец возвращается к толкованию водопада как аллегии сильных могущественных вельмож мира и подтверждает, как это говорил Румянцев, что только истинные заслуги определяют в народе память об умершем. Он выражает надежду, что имя «Потемкин» будет в памяти потомков сохранять представление о безупречной красоте — и тут же вызывает у читателей сомнения, будет ли это так.

В оде «Водопад» Державин дает оценку Потемкина и его заслуг, что оказывается нелегким делом. При всем восхищении достижениями Потемкина как государственного деятеля, в оде говорится и о некоторой сомнительности такой оценки — образ жизни Потемкина, соединяющий труд с роскошью, расточительностью и удовольствиями не соотносился с представлениями Державина об идеальном вельможе. Прием утаивания, а затем медленного обнажения реального имени умершего, появляющегося в оде сперва как «некий вождь», потом в вопросе о его идентичности с титулом «князь Тавриды» и, наконец, с фамилией, вписывает оду в сентиментальное или скорее предромантическое направление, в котором таинственное, в частности сокрытие вещей и лиц, употреблялось как средство факции. Одновременно это указывает на

начинающийся кризис панегирической поэзии на случай, служащей политическим целям, которая больше и больше отвергается писателями в пользу новому пониманию поэзии как автономного искусства.

Оды Державина на Потемкина дают представление о во многом новом понимании Державиным панегирика, которое отсутствует у старшего Василия Петрова, хотя он тоже уверяет читателя в искренности его поэзии. Оба поэта используют различные приемы: между тем как Петров прямо называет имя Потемкина и постоянно использует метафорику света, связанную с присваиваемыми ему титулами и предписанными ими формами обращения, Державин это редко употребляет в первых двух рассмотренных нами одах. Вместо того, он перечисляет ряд действительных, актуальных заслуг и одновременно намекает на некоторую сомнительность безусловного панегирика. Петров в написанной на смерть Потемкина оде прибегает к этимологии и семантическому полю фамилии и описывает смерть как угасание света и блеска. Державин, напротив, выдвигает теперь свет и блеск в центр образа водопада и развивает его как аллегория не только Потемкина, сколько вельмож в целом. Благодаря этому реальное лицо и реальное событие, на которых сосредотачивается поэзия на случай, отодвигаются на задний план. Достигается обобщение, распространяющееся не только на одно лицо, но на поведение целой группы лиц, снабженной большой властью в государстве. Изображая блеск и сияние водопада не столько как блестящие, сколько как немного сомнительные и обоюдоострые черты — мощь падающих вниз вод может и оживлять, и разорять, — Державин достигает более глубокого и разностороннего суждения о Потемкине. А кроме того, возле певца он вводит в текст второе лицо — старого воина, который размышляет о смерти вельможи, не зная точно, о ком он говорит, но угадывая имя умершего. Тем самым он вносит в текст вторую, независимую перспективу, развивается диалог между воином и певцом. Имя воина не называется, хотя оно дает о себе знать в отдельных, повторяемых оборотах речи. Его изображение как старого, внушающего уважение воина, его узнаваемость как Румянцева, способствует значимости его речи и повышает его

авторитет.<sup>12</sup> Державин соединяет хвалу и скорбь о Потемкине с нравственно-моралистическими размышлениями об истинной славе и великости, которые ставят под сомнение великолепие Потемкина как знака величия. Поворот к сентиментализму с его предпочтением интимности, искренности и скромности дает о себе знать.

## Литература

1. Ганжина 2001 — *Ганжина И. М.* Словарь современных русских фамилий. М., 2001.
2. Державин 1957 — *Державин Г. Р.* Стихотворения / вступ. статья, подготовка текста и общая редакция Д. Д. Благого, примечания В. А. Западова. Л., 1957 (Библиотека поэта. 2-е изд.).
3. Державин 2002 — *Державин Г. Р.* Сочинения / вступ. статья, составление, подготовка текста и примечания Г. Н. Ионина. СПб., 2002 (Новая библиотека поэта).
4. Петров 1811 — [*Петров В. П.*] Сочинения В. Петрова. 2-е изд. Ч. 1–3. СПб., 1811.
5. Шепелев 1977 — *Шепелев Л. Е.* Отмененные историей. Чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977.
6. Унбегаун 1995 — *Унбегаун Б. О.* Русские фамилии / перевод с английского; общая редакция и послесловие Б. А. Успенского. 2-е изд., исправленное. М., 1995.
7. Klein 2018 — *Klein J.* „Der Wasserfall“. Deržavins Ode auf den Tod Potemkins // *Zeitschrift für Slavische Philologie*. 2018. № 74. S. 291–317.

---

<sup>12</sup> И. Клейн (Klein 2018: 294) интерпретирует Румянцева как олицетворение идеального вельможи, который противопоставлен необразцовому вельможе Потемкину.

*М. В. Пономарева*

**ОТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ К ОБРАЗУ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНТРОПОНИМОВ В ЛИРИКЕ  
Г. Р. ДЕРЖАВИНА)**

---

---

Набор антропонимов, встречающихся в лирике Г. Р. Державина, демонстрирует обширный географический, временной и культурный охват. Весь державинский комплекс антропонимов можно разделить на исторические, мифологические, библейские и литературные имена.

Под историческими именами понимаются антропонимы, принадлежащие конкретным личностям без учета социальной иерархии и значимости этих личностей в истории — от императоров, античных поэтов до родственников Державина. В данной группе выделяются антропонимы, носители которых принадлежат истории античной (например, Гомер, Цезарь), европейской (например, Н. Макиавелли, братья Ж.-М. и Ж.-Э. Монгольфье), русской (например, княгиня Ольга, А. В. Суворов, В. М. Бакунина) и восточной (например, Тимур).

Группа мифонимов включает в себя имена античных (напр., Марс, Фемида, Эрот) и славянских (напр., Лель, Лада) божеств. При этом имена славянских божеств встречаются только в анакреонтических текстах Державина и в количественном отношении сильно уступают античным.

Группа библейских имен состоит из антропонимов Ветхого и Нового Заветов (например, Голиаф, Иисус Навин). В группе литературных антропонимов (имен литературных персонажей) встречаются как античные, так и русские имена.

Исторические антропонимы — это имена собственные в их непосредственном употреблении, в державинской поэзии они

представляют собой самый многочисленный круг имен (59% от общего количества).

В число русских антропонимов у Державина входят имена членов императорской семьи, дворян, семейного и дружеского окружения поэта. Употребление имени собственного в качестве обозначения императора традиционно используется в торжественной лирике на протяжении всего XVIII в. Так, например, как указывает Т. Е. Абрамзон, в торжественных одах М. В. Ломоносова собственное имя императрицы Елизаветы Петровны употреблено 69 раз, Екатерины II — 23 раза (Абрамзон 2004). В составе антропонимов членов императорской фамилии у Державина встречаются имена Петра I, Екатерины II, Павла I и его супруги Марии Федоровны, Александра I и его супруги Елизаветы, имена великих князей и княжон, например:

Трепещет в скорби Петр Великий:  
Где Росс мой? — След и слух исчез.  
«На переход Альпийских гор»  
(Державин 1864–1883: II, LVII, 286<sup>1</sup>)

Тебе, о мать Екатерина!  
Плетется там похвал пучина.  
«Ода Екатерине II» (III, III, 242)

Магмет, от ужаса бледнея,  
Заносит из Европы ногу, —  
И возрастает Константин!  
«На приобретение Крыма» (I, XXXVI, 185)

Для обозначения членов императорской семьи используются личные имена в полной форме, в тексте они могут быть выделены

---

<sup>1</sup> Далее в тексте статьи ссылки на данное издание (Державин 1864–1883) приводятся сокращенно: в скобках указываются том, номер стихотворения и страница.

графически (курсивом)<sup>2</sup>. В количественном отношении среди русских исторических антропонимов у Державина лидируют имена Екатерины II (25 раз) и Петра I (16 раз), что объясняется особым отношением Державина к императрице и временем активного развития державинской лирики в годы царствования Екатерины II в первом случае и важностью фигуры Петра I для культуры XVIII в., мифологизацией и идеализацией этой исторической личности во втором<sup>3</sup>.

Имена дворян очерчивают реальный и потенциальный круг общения Державина. В этом случае, в отличие от использования личных имен членов императорской семьи, в качестве антропонима Державин выбирает фамилию: Дашкова, Перфильев, Карамзин, Пожарский, Суворов, Шувалов, Храповицкий, Бибииков и т. д.:

Се ты, о чудный вождь Потемкин!  
«Водопад» (I, LXV, 476)

Подобно и тебе крушиться  
Не должно, Дашкова, всегда...  
«На смерть графини Румянцевой» (I, XL, 216)

Львов, Хемницер в гробе скрыты,  
За Днепром Капнист живет.  
Вельяминов, лир любитель, <...>  
Согнут скорбями в дугу.  
«Зима» (II, CXV, 528)

Помимо фамилий, в качестве антропонимов у Державина выступают и так называемые почетные прозвания полководцев, которые в лингвистическом отношении становятся субстантивированными прилагательными:

---

<sup>2</sup> Такое графическое выделение хорошо демонстрирует собрание сочинений, подготовленное самим Г. Р. Державиным к печати (Державин 1808). В издании Я. Грота (Державин 1864–1883) это выделение не сохранено.

<sup>3</sup> См., напр.: (Стенник 2006; Крыстева 1992).



Петь Румянцова собирался,  
Петь Суворова хотел,  
Гром от лиры раздавался,  
И со струн огонь летел:  
Но завистливой судьбою  
Задунайский кончил век,  
А Рымникский скрылся тмою,  
Как неславный человек.  
«К лире» (II, XXIV, 136)

Данная традиция награждения почетным титулом, бытовавшая в Российской империи, отсылает к традиции древнеримской, по которой римский император или военачальник получали почетный титул после победы в битве. В частности этот титул мог указывать на географию сражения или войн (напр., Авл Постумий Альбин Регильский, в конце V в. до н. э. одержавший битву при Регильском озере, или Септимий Север, получивший титул Британский после своей Британской кампании в начале III в.). Впрочем, в Древней Руси подобное явление также существовало (ср. Александр Невский, Дмитрий Донской).

Имена семейного и домашнего окружения Державина встречаются в державинской анакреонтике и имеют вид уменьшительной и уменьшительно-ласкательной форм личных имен: Лиза, Палаша, Варюша и т. д. Примерами могут послужить стихи, обращенные к родственнице второй жены Державина, Варваре Михайловне Бакуниной, жившей у Державиных в доме:

Как, Варюша, ты прекрасна!  
«Варюше» (II, XLVII, 251);

обращение к жене Державина — Дарье Алексеевне:

Лишь будь всегда со мною  
Ты, Дашенька моя!  
«Желание» (II, XV, 103);

описание горничных Н. А. Львова:

Пусть Даша статна, черноока  
И круглолицая, своим  
Взмахнув челом, там у потока,  
А белокурая живым  
Нам Лиза, как зефир, порханьем  
Пропляшут вместе казачка...  
«Другу» (I, ХСVI, 674).

Можно говорить о том, что формы имен, которые встречаются в группе русских исторических антропонимов, отражают — пусть отчасти — тяготение державинских текстов к определенным жанрам и представление о жанровой иерархичности. Личные имена членов императорской фамилии часто появляются в текстах Державина, которые представляют собой традиционные жанры классицизма (торжественные оды, надписи) или имеют комплекс их отличительных черт (напр., «На Шведской мир», «Ода Екатерине II», «На приобретение Крыма», «Монумент Петра Великого», «На переход Альпийских гор», «На шествие императрицы в Казань» и т. д.). С другой стороны, форма личного имени в определенной мере и формирует данные особенности в ряде державинских стихотворений. Появление антропонимов императорской семьи делает текст стилистически маркированным, повышая его «статусность», как это происходит в державинской анакреонтической лирике (напр., «На брачные торжества» (II, LVIII, 303), «К Грациям» (I, LXX, 523)).

Антропонимы-фамилии встречаются в текстах, которые в жанровом отношении можно отнести к похвальным одам и анакреонтике. Такое «пофамильное» именование, возможно, есть отсылка к дворянскому роду его носителя. Уменьшительные имена встречаются исключительно в тех текстах, которые сам Державин относит к анакреонтическим (они оказываются противопоставлены торжественной оде), при этом данная форма имени используется только в отношении женских имен. Таким образом, в употреблении имен собственных наблюдается противопоставление по форме (полная форма имени — фамилия — уменьшительная форма имени), которое отражается и в жанровой иерархии (торжественная ода — похвальная ода — анакреонтика), характерной для XVIII в.

Среди античных, европейских и восточных исторических антропонимов сложно назвать те, которые в количественном отношении резко бы выделялись на фоне остальных.

Часть исторических антропонимов в поэзии Державина выступает в функции имени нарицательного. Количество таких имен в державинской лирике составляет 12,5% от общего числа антропонимов. Чаще всего в качестве имени нарицательного выступают именно античные и восточные исторические антропонимы, ставшие нарицательными до Державина.

Способ образования имени нарицательного у Державина типичен для русского языка. Это прономинация, которая представлена в державинской поэзии в трех видах. При этом привлекают внимание как выбор антропонимов, а следовательно, личностей — носителей данных имен, — так и определения Державиным сфер и занятий, которые стоят за этими ставшими знаковыми именами<sup>4</sup>.

1. Первый из трех видов для образования прономинации — использование имени собственного в качестве нарицательного. Например, Лукулл выбирается Державиным для обозначения любителя «забавы» — развлечений, веселья и удовольствий<sup>5</sup>:

Герой бессмертной жаждет славы,  
Корысти — лъстец, Лукулл — забавы...  
«На новый год» (I, XXVI, 117).

Так имя Лукулла, вошедшее во фразеологизм «лукуллов пир» и ставшее синонимом чревоугодника, обжоры, охотника до роскошных трапез, расширяет у Державина свое значение до любителя удовольствий и развлечений вообще.

В качестве примера жестокого правителя Державин приводит ряд антропонимов — Нерона, Калигулы и Коммодов (множественное число антропонима указывает на то, что Державин

---

<sup>4</sup> В связи с этим встает непростой вопрос о круге чтения Г. Р. Державина, который, без сомнения, требует отдельного исследования, однако в задачи данной работы он не входит.

<sup>5</sup> Забава // Словарь русского языка XVIII века. Вып. 7. Древо — За лежь. СПб.: Наука, 1992. С. 155.

имеет в виду двух Коммодов — Луция Цейония Коммода Вера и Луция Элия Аврелия Коммода). Ставя в один ряд четырех правителей, объединяя их на основании «мора» и «глада», поэт опирается на сложившуюся репутацию этих правителей как тиранов и, возможно, на ряд частных параллелей (например, пожар Рима при Нероне и пожар в Палатинской библиотеке при Луции Элии Аврелии Коммоде, чума при Нероне и Луции Цейонии Коммоде Вере и пр.):

Нерон, Калигула, Коммоды  
Когда на тронах где сидят,  
Хоть поздние их помнят роды,  
Но помнят так, как мор и глад.  
«Монумент Петра Великого» (I, X, 38)

При описании русского воина Державин дает ему следующую характеристику:

Тот лезет по бревну на стену,  
А тот летит с стены в геенну,  
Всяк Курций, Деций, Буароз!  
«На взятие Измаила» (I, LIV, 346).

Сам Державин в «Объяснениях» так комментирует свой выбор: «Первый — всадник римский, бросившийся в разверзтую бездну, чтоб утишить в Риме моровое поветрие; второй — полководец римский, бросившийся в первые ряды, чтоб одержать победу над неприятелем; третий — капитан французский, влез во время бури на скалу вышиною в 80 сажень по веревочной лестнице и взял крепость» (III, 610).

Очередность выбранных Державиным антропонимов в данном примере кажется неслучайной. В порядке имен собственных, одновременно характеризующих русских воинов и представляющих собой образцы для подражания, наблюдается последовательность от Марка Курция (IV в. до н. э.) к римскому полководцу Публию Децию Мусу (III–IV в. до н. э.) и капитану французской армии Буарозу (XVI в.). Эта последовательность имен, рассмотренная в контексте творчества Державина, указывает на иерархию образцов от

общего к частному, от легендарного к историческому, от античного к западноевропейскому (в других случаях — русскому) и место, закрепленное в ней за античными образцами. Иерархическая последовательность носителей антропонимов является частным случаем одного из главных принципов художественного мира Державина, который И. З. Серман называет «трехчастностью»<sup>6</sup>.

2. Следующий вид образования прономинации — добавление к имени собственному определения:

О ты, второй Сарданапал!  
К чему стремишь всех мыслей беги?  
«Вельможа» (I, XC, 629)

Грудь Россов утвердил, как стену, он в отпор  
Темиру новому под Пультуском, Прейш-Лау...  
«Евгению. Жизнь Званская» (II, CXLVIII, 643)

3. Самый частотный у Державина способ образования прономинации — использование множественного числа имен собственных: Екатерины, Аристыды, Омиры (т. е. Гомеры), Готфриды (Готфрид Бульонский, один из предводителей Первого крестового похода 1096-1099 гг.), Мараты, Омары (халиф Умар I, по преданию, отдал приказ сжечь Александрийскую библиотеку) и т. д.

Петры и Генрихи и Титы  
В народных век живут сердцах;  
Екатерины не забыты  
Пребудут в тысящи веках.  
«На новый год» (I, XXVI, 119)

Триада мудрых правителей в строке «Петры и Генрихи и Титы» образована по принципу, описанному выше, но с обратной последовательностью — от ближайшего по времени императора Петра I,

---

<sup>6</sup> Серман И. З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л.: Наука, 1973. С. 88 (см. также: Пономарева М. В. О некоторых значениях словесных повторов в композиционной структуре державинской оды // Литературная культура XVIII века: Материалы XXXVI Международной филологической конференции. СПб., 2007. С. 92–102).

к королю Генриху IV Наваррскому (XVI–XVII вв.) и римскому императору Титу Флавию Веспасиану (I в. н. э.).

Еще несколько примеров:

Убийство! я не льщусь тобой:  
Батыев и Маратов слава  
Во ужас дух приводит мой.  
«Мой истукан» (I, LXXXIX, 609)

Мужайтесь, росски Ахиллесеы,  
Богини Северной сыны!  
«Осень во время осады Очакова» (I, XLI, 227)

...коль Росс рожден судьбою  
От варварских хранить вас уз,  
Темиров попирашь ногою,  
Блюсть ваших от Омаров муз...  
«На взятие Измаила» (I, LIV, 357).

Возможно, именно этот способ образования прономинации позволяет Державину расширить известный круг нарицательных имен, берущих свое начало в античной культуре, и включить в него российских императоров (Петра I и Екатерину II), восточных правителей и завоевателей, то есть превратить конкретных личностей в знаки.

Одна из особенностей державинской поэзии состоит в том, что большинство антропонимов (не только имен собственных, но и мифологических и литературных) соотносится с конкретной исторической личностью.

В литературе XVIII века выделяется группа антропонимов, в которой происходит замещение имени собственного мифологическим, исторические деятели при этом аллегорически уподобляются богам и персонажам античной мифологии. Это же уподобление находим в державинской лирике. Кроме него, в ряде анакреонтических стихотворений Державина исторические личности уподобляются славянским божествам. Количество подобных

мифонимов — и античных, и славянских — в державинской лирике составляет порядка 9% от общего числа антропонимов.

В державинской лирике такая замена происходит с ограниченным кругом лиц, в большинстве своем принадлежащим к императорской фамилии: Екатерина II чаще всего уподобляется Минерве, император Павел — Фебу, Александр I — Аполлону, супруга Александра I Елизавета Алексеевна — Дафне. Именем одного божества и сопутствующим ему эпитетом Державин может называть двух разных лиц, так император Павел I именуется Фебом, Александр I — Аполлоном.

О Павле I:

В лучезарной колеснице  
От Востока Феб идет.  
«Пришествие Феба» (II, IX, 62)

Об Александре I и Елизавете Алексеевне:

Вижу точно Аполлона!  
Вижу Дафну пред собой!  
«Явление Аполлона и Дафны на невском  
берегу» (II, LXXV, 380)

О Екатерине II:

Ахейн, в тварей превращенных,  
Минерва вновь творит людьми...  
«На приобретение Крыма» (I, XXXVI, 185)

О Г. А. Потемкине:

Российский только Марс, Потемкин  
Не ужасается зимы.  
«Осень во время осады Очакова» (I, XLI, 226).

Данные аллегорические уподобления играют своеобразную роль эпитетов, прилагающихся к конкретной исторической личности и подчеркивающих один из ее характерных признаков

(не обязательно действительных, но желаемых): мудрость, воинственность, покровительство искусствам. При этом мифологические имена Державин использует для обозначения только своих современников, не распространяя их на прошлое. Целью такого переноса является соотнесение (общее для классицизма) современной Державину российской действительности с идеальным, вневременным миром, представленным античностью.

Петр I, выступающий в державинской лирике под своим именем собственным, вероятно, уже не нуждается в подобных аллегорических уподоблениях и сам является образцом, во многом к концу XVIII столетия став мифологической фигурой:

Трепещет в скорби Петр Великий...  
«На переход Альпийских гор» (II, LVII, 286)

Великий Петр, как некий бог,  
Блистал величеством в работе.  
«Вельможа» (I, XC, 628).

При анализе использования мифологических имен обращает на себя внимание державинская анакреонтика. В ней происходит расширение перечня античных мифологических имен, закрепленного за торжественной лирикой, что объясняется ориентацией Державина на анакреонтическую оду («песню», как называет ее сам поэт) — Минерву с Фемидой начинают теснить Аполлон, Эрот, Вакх, Венера.

Группа мифонимов здесь наиболее многочисленна, она составляет 46% от общего количества антропонимов в анакреонтике. Однако если в неанакреонтической поэзии Державина в группу мифологических имен входили имена исключительно античных божеств, то в анакреонтике выделяется подгруппа славянских мифонимов, а точнее, псевдомифонимов, таких, как, например, Лель или Лада.

В количественном отношении эти подгруппы резко противопоставлены: 85,7% античных мифологических имен и 14,3% славянских. Однако если сравнивать использование некоторых конкретных имен, принадлежащих псевдославянской и античной



мифологии, то имя Леля (14 раз) уступает только упоминанию Эрота (21 раз).<sup>7</sup>

Славянские псевдомифонимы оказываются здесь в определенной зависимости от античных. Державин в общих чертах следует за общей для русского XVIII в. попыткой создания пантеона славянских божеств, в основу которого была бы положена античная мифология.<sup>8</sup> Показательным в этом отношении представляется примечание поэта к следующим строкам стихотворения «Деревенская жизнь» (1802):

Сокровищ мне не надо:  
Богат с женой коль рад;  
Богат, коль Лель и Лада,  
Мне дружны и Услад  
«Деревенская жизнь» (II, ХСVI, 448).

Державин пишет: «Славянские божества: Лель — Амур, Лада — Венера, Услад — Бахус» (III, 720).

Кроме того, Державин создает — поверх античного — еще один ряд аллегорических уподоблений, используя славянские псевдомифонимы для именованя конкретных исторических личностей.

---

<sup>7</sup> Римский «двойник» Эрота Купидон упоминается гораздо реже (7 раз).

<sup>8</sup> Как показывают современные исследования, в XVIII в. предпринималась попытка создать пантеон славянских божеств, в основу которого была бы положена античная мифология. См., например, у Л. Н. Виноградовой: «Движимые стремлением описать славянскую мифологию по аналогии с детально разработанной античной, авторы первых трудов по славянскому язычеству создавали длинные списки так называемых «божеств», названия которых добывались порой весьма сомнительными способами (например, использовались неясные имена и названия, встречающиеся в поговорках, заговорах, формулах клятв и проклятий, песенных рефренах и т. п., а затем домысливался некий мифологический образ). Так возникли (и, к сожалению, до сих пор не сходят со страниц некоторых новейших мифологических словарей) многочисленные *лели, леды, любмелы, дзевои, паяндыры, зимцерлы* и прочие искусственно созданные «персонажи», включенность которых в архаические верования славян не подтверждается ни надежными письменными источниками, ни данными устной народной культуры» (Виноградова 2000: 7). См. также: (Ионин 1987).

Так в «Явлении Аполлона и Дафны на невском берегу», написанном на прогулку императора Александра I с супругой, Державин сопоставляет Аполлона (Александра I) и Дафну (Елизавету Алексеевну) со псевдославянскими божествами Зничем и Зимстерлой:

Север светом озарился,  
Встал — и в мгlistой темноте,  
Обогрев браду замерзлу,  
Тихим их сияньем кровь,  
Знича чтит в них и Зимстерлу  
Возвращенных в купе вновь...  
«Явление Аполлона и Дафны на невском берегу»  
(II, LXXV, 381)

Сам Державин сопровождает эти строки следующим комментарием: «Знич, славянское божество, солнце или май; а Зимстерла — весна» (III, 714).

Имя Леля также может становиться обозначением Александра I — в написанном на коронацию императора «Венчании Леля» читаем:

После Музы мне сказали,  
Кто так сердцем овладел:  
Царь сердец, они вещали,  
Бог любви, всеильный Лель.  
(II, LXXIV, 378)

Появление славянских псевдомифонимов у Державина связано с его пониманием принципов, по которым должна строиться русская анакреонтическая поэзия: обращение к национальному колориту, русской народной песне, фольклорным мотивам, русификация античных божеств. Это стремление наполнить новой жизнью, связать с русской действительностью ставшие условными анакреонтические мотивы. Будет неверным сказать, что славянские псевдомифонимы решают эту задачу, но их употребление стоит в ряду тех художественных средств, которые использует Державин в своем поиске.

В отдельную группу антропонимов выделяются условные литературные имена, их количество в державинской лирике составляет 19,5% от общего числа антропонимов. Часть из них Державин берет из античного, европейского и русского культурного фонда. При этом необходимо помнить, что многие литературные имена, имеющие корни в античной литературной традиции, были усвоены западноевропейской культурой. Литературные имена, заимствованные Державиным из собственно европейской словесности, единичны. В качестве примера приведем имя Морана — персонажа «Поэм Оссиана» Макферсона:

Но что? Не дух ли Оссиана,  
Певца туманов и морей,  
Мне кажет под луной Морана,  
Как шел он на Царя Царей?  
«На переход Альпийских гор» (II, LVII);

или имя Маркобруна из истории о Бове-королевиче, закрепившейся, впрочем, в русской фольклорной традиции:

Конь к тому ж в пути обратном  
Тронул сеть садовых струн:  
Град познал в сем звуке страшном,  
Что был дерзок Маркобрун.  
«Царь-девица» (III, XXXIII, 128)

В державинской лирике присутствуют также античные литературные имена. В оде «На выздоровление Мецената» Державин сопоставляет И. И. Шувалова с героями гомеровского эпоса, обращаясь при этом к одному из способов образования прономинации — множественному числу имен собственных (на наш взгляд, данное сравнение основано не на общих чертах, присущих гомеровским героям и Шувалову, а, скорее, на сопоставлении ломоносовской «Петриады» с «Илиадой» Гомера и прославлении в них героев):

Досель гремит нам в «Илиаде»  
О Несторах, Улиссах гром, —  
Равно бессмертен в «Петриаде»  
Ты Ломоносова пером.  
«На выздоровление Мецената» (I, XXVII, 124).

В анакреонтике встречаются имена Вафила, юноши из Anacreonteia:

Хариты вкрут его, Эроты  
С братиною златою Вахх,  
Вафил прекрасный в рощи, в гроты  
Ходили в розовых венках.  
«Венец бессмертия» (II, XLI, 233–234);

Хлои, отсылающей к роману Лонга «Дафнис и Хлоя», напр.:

Хлоя, жаля, услаждает,  
Как пчелиная стрела.  
«Мщение» (II, CXXI, 551);

Пирры в переложении оды Горация (I, IV):

Так Пирра, Пирра дорогая!  
«Пирре» (II, CXII, 516)

Обращается Державин и к фонду русской словесности XVIII столетия. Так, ряд имен державинского романса «Луч» — Князь-Гром, Луч, Ветер-Хан — отсылает, по-видимому, к ненапечатанной комедии И. С. Захарова «Приданое» (СлРП XVIII 1988: 231).

Другие вымышленные имена, заимствованные Державиным из литературных источников, он активно использует в своем творчестве, формируя на их основе собственный художественный образ. Прежде всего это касается имен, восходящих к «Сказке о царевиче Хлоре» Екатерины II: Фелица (см. многочисленные примеры из оды «Фелица» (I, XXIX, 129–149) и стихотворениями к Фелице (Пономарева 2010; Варда 2015)) и Хлор:

Открыла верные следы  
Царевичу младому Хлору  
Взойти на ту высокую гору...  
«Фелица» (I, XXIX, 129–149);

Посвятишь ли в честь ты Хлору...  
«Зима» (II, CXV, 527).

Из екатерининской «Сказки о царевиче Февее» заимствуется имя Решемысла, под которым Екатерина II подразумевала князя

Потемкина, Державин же — образ идеального вельможи (Державин 1957: 378):

Но, Муза! вижу, ты лукава,  
Ты хочешь быть пред светом права:  
Ты Решемысловым лицом  
Вельможей должность представляешь...  
«Решемыслу» (I, XXXIII, 177)

Встречается также имя Горе-богатыря — персонажа комической оперы Екатерины II «Горе-богатырь Косометович»:

Нас Фортуна часто учит  
Горем быть богатырем...  
«К Эвтерпе» (I, XLIX, 302)

Еще одна подгруппа литературных имен — имена, созданные самим Державиным: Пламида, Всемила, Гремислава, Пленира, Милена. Все они имеют прозрачную внутреннюю форму и образованы Державиным путем сложения знаменательных основ (*греметь* + *слава*, *все* + *мила*) либо прибавлением к основе квазисуффиксов, по звучанию имитирующих антропоним (*пламя* — Пламида, *пленять* — Пленира, *милая* — Милена).

За Гремиславой, Пленирой и Миленой стоят конкретные личности: Екатерина II и две жены Державина, К. Я. Бастидон и Д. А. Дьякова. Имена Пламиды и Всемилы встречаются в ранней анакреонтике Державина, однако, скрывается ли за ними конкретный адресат или за условным именем стоит условный образ, остается неизвестным.

Один из самых разработанных в державинской лирике образов — образ Екатерины II. Его многомерность отражается и в антропонимах, которые использует поэт для обозначения императрицы: имя собственное, мифонимы и литературные имена. Среди именовании Екатерины II можно найти значительную часть описанных выше разновидностей антропонимов.

Результаты анализа репрезентативной выборки текстов (40 лирических текстов Державина, написанных им в 1767–1807 гг.,

которые так или иначе посвящены Екатерине II или содержат ее упоминание) показывают, что собственное имя Екатерины используется Державиным 34 раза и встречается в двадцати текстах. Это тексты, различные по своей жанровой принадлежности и по времени написания. Собственное имя императрицы встречается в ранних надписях «на случай»:

Но днесь тебе тещи пристойно с тишиною:  
Екатерина мир приносит всем собою.  
«На шествие императрицы в Казань» (III, I, 239);

в одах разного времени:

Тебе, о мать Екатерина,  
Плетется там похвал пучина.  
«Ода Екатерине II» (III, III, 242);

*Где век Екатерины славный?*  
«Ода на Новый 1797 год» (III, III, 18),

Екатерина воскреситя  
Знать Александра в временах.  
«На восшествие на престол императора  
Александра I» (II, LXVIII, 358);

в стихотворении «Провидение»:

Ты <Провиденье — М. П. > в сени смертной  
мне подпора;  
А ты, Екатерина, щит.  
«Провидение» (I, LXXX, 568).

Д. В. Ларкович, анализируя образ императрицы, поименованный Державиным Екатериной, приходит к выводу о том, что он «строится в соответствии с ломоносовским жанровым каноном», «остается в пределах риторической поэтики, являясь метаперсональным воплощением идеи национального благоденствия» (Ларкович 2011: 233, 235).

Мифонимы в качестве именовании императриц (Минерва, Паллада, Афина, Астрея, Фемида, Семирамида) также характерны для поэтов второй половины XVIII в. — од М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, И. Ф. Богдановича, М. М. Хераскова, В. И. Майкова, В. П. Петрова и др.

Из имен, восходящих к античной мифологии, для обозначения Екатерины II Державин использует пять:

#### **Минерва**

Не ты ль наперсником близ трона  
У северной Минервы был...  
«Водопад» (I, LXV, 474);

#### **Фемида**

И как между столпов  
И зданием Фемиды...  
«На прогулку в Сарском селе»  
(I, LIX, 424);

#### **Астрея**

Достойно мы тебя Астреею зовем:  
Под скипетром твоим златые дни ведем.  
«На маскарад, бывший перед императрицей  
в Казани» (III, II, 240);

#### **Афина**

Афинам вернуть Афины...  
«На взятие Измаила» (I, LIV, 357);

#### **Киприда**

Вот здесь, на острове Киприды,  
Великолепный храм стоял...  
«Развалины» (II, XIV, 92).

Обращение к мифологическим именам в качестве обозначения Екатерины II характерно для державинской лирики разного времени: в анализируемых произведениях первый текст «На маскарад, бывшей перед императрицей в Казани» относится к 1767 г., последний — «Развалины» — к 1797 г.

Качества, которые связаны с этими мифонимами (кроме последнего, Киприды) — мудрость, победоносность, справедливость — актуальны для образа Екатерины II (а также и других российских императоров и императриц XVIII столетия) как идеального правителя.

Мифоним «Киприда» как эпитет богини любви Афродиты начинает широко употребляться в русской анакреонтической лирике и стихотворениях любовной тематики с 1780-х гг. (И. И. Дмитриев, М. Н. Муравьев, Н. А. Львов, Н. М. Карамзин), но, кажется, только Державин осмеливается применить это имя к императрице. Сама семантика имени играет на снижение образа императрицы, переводит его в область частного и интимного. В стихотворении «Развалины» Державин пользуется этим именем, создавая жанр, который можно обозначить как историческую элегию. Включая произведение в сборник анакреонтических песен, он тем самым подчеркивает свой уход от панегирических текстов к лирике иного, более личного, характера.

К группе литературных имен, закрепленных Державиным за Екатериной II, относятся антропимы Фелица и Гремислава, об их происхождении говорилось выше.

По мнению В. Ю. Проскуриной, сказка Екатерины сыграла роль «катализатора нового поэтического стиля» (Проскурина 2006: 214), который тонко почувствовал и подхватил Державин в своей оде «Фелица». Одной из новых форм литературной идентификации императрицы выступает ее новый антропоним, образованный Екатериной от латинских слов «felix» — «счастливый», «felicitas» — «счастье». Семантика вымышленного Екатериной имени, по мнению Проскуриной, связана с ценностью простого счастья, олицетворенного Фелицей в «Сказке о царевиче Хлоре» (Проскурина 2006: 215).

В проанализированных текстах имя Фелицы встречается в девяти сочинениях: «Фелица» (1782), «Благодарность Фелице» (1783), «Видение Мурзы» (1783–1790), «Изображение Фелицы» (1789), «Памятник» (1795), посвящение к 1 тому собрания Державина 1808 г. (1795), «К Царевичу Хлору» (1797), «Зима» (1803–1804), «Евгению. Жизнь Званская» (1807). В общей сложности имя Фелицы и притяжательных прилагательных, от него образованных, в перечисленных произведениях Державина употребляется 26 раз.



Придуманное самим поэтом имя «Гремислава» используется только в одном тексте — «На рождение Царицы Гремиславы. Л. А. Нарышкину» (1796). Из примечания Державина к данному тексту (III, 655) становится ясно, что именование императрицы для самого поэта является своеобразным маркером, с помощью которого он разделяет сочинения, в которых упоминается Екатерина II, на те, которые в общих чертах следуют правилам, заданным жанровой системой (и в этих произведениях в качестве антропонима императрицы выступают имя собственное и мифонимы), и на выполненные в другом, собственно, державинском стиле (в них императрица именуется Фелицей или Гремиславой). Ни в одном тексте, который содержит литературные имена императрицы, Державин не использует для ее обозначения ни собственного имени «Екатерина», ни аллегорических имен, восходящих к античности. Вслед за екатерининской «Сказкой о Царевиче Хлоре» Державин создает условное, игровое пространство, в котором жанровые каноны оказываются смещены, образ императрицы снижен, где разрабатывается особый язык, где возможна шутка, а вместо одического певца выступает «татарский мурза».

Таким образом, в державинской поэзии антропонимы Екатерины II выступают в качестве своеобразного стилистического знака и вымышленное, литературное имя играет значительную роль в создании фикционального художественного пространства.

Итак, обращение к антропонимам актуально для Державина, как и для большинства русских литераторов XVIII в., с точки зрения семантики и смыслообразования. Антропонимы играют роль своеобразных знаков, за каждым из которых стоит то или иное качество, характеристика его носителя. Антропонимы могут выступать как имена нарицательные, а их означаемые, как образцы для подражания, в целом могут служить маркером определенных лирических жанров и иерархии этих жанров относительно друг друга. Набор антропонимов державинской лирики очерчивает актуальный для поэта круг литературных образов, исторических личностей и мифологических персонажей, помогает в создании объемного художественного образа.

## Литература

1. Абрамзон 2004 — *Абрамзон Т. Е.* Одический тезаурус антропонимов, теонимов и топонимов: (на материале 20 торжественных од М. В. Ломоносова). Магнитогорск, 2004.
2. Варда 2015 — *Варда А.* «Фелицийский цикл» Гавриила Державина: Анализ стихотворений и «Сказки о царевиче Хлоре» Екатерины II. Saarbrücken, 2015.
3. Виноградова 2000 — *Виноградова Л. Н.* Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000.
4. Державин 1808 — [*Державин Г. Р.*] Сочинения Державина: в 4 ч. Ч. I–IV. СПб., 1808.
5. Державин 1864–1883 — [*Державин, Г. Р.*] Сочинения Державина. С объяснительными примечаниями Я. Грота: в 9 т. СПб., 1864–1883.
6. Державин 1957 — *Западов В. А.* Примечания // Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 361–452.
7. Ионин 1987 — *Ионин Г. Н.* Творческая история сборника «Анакреонтические песни» // Державин Г. Р. Анакреонтические песни. М., 1987. С. 358–372.
8. Крыстева 1992 — *Крыстева Д.* Поэтическая формация мифов о Петре I и «Медный всадник» Пушкина // Русская литература. 1992. № 3. С. 12–25.
9. Ларкович 2011 — *Ларкович Д. В. Г. Р.* Державин и художественная культура его времени: формирование индивидуального авторского сознания. Екатеринбург, 2011.
10. Пономарева 2007 — *Пономарева М. В.* О некоторых значениях словесных повторов в композиционной структуре державинской оды // Литературная культура XVIII века: Материалы XXXVI Международной филологической конференции. СПб., 2007. С. 92–102.
11. Пономарева 2010 — *Пономарева М. В.* Стихотворения Г. Р. Державина к Фелице // Окациональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века. СПб., 2010. С. 196–211.
12. Проскурина 2006 — *Проскурина В.* Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006.
13. Серман 1973 — *Серман И. З.* Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
14. СлРП XVIII 1988 — Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. А–И. Л., 1988.
15. СлРЯ XVIII 1992 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 7. СПб., 1992.
16. Стенник 2006 — *Стенник Ю. В.* Петр I в русской литературе XVIII в. // Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии. СПб.: Наука, 2006.

**ИМЯ ГЕРОЯ:  
ЛИТЕРАТУРА И СОЦИОЛЕКТ**

---

---

1

Прежде всего, хочу сделать несколько оговорок. Во-первых, речь ниже пойдет не о соотношении человека и его имени в литературном тексте и в социолектах вообще, но только об одном из возможных случаев: об имени литературного героя на фоне наиболее близкого к литературному произведению второй половины XVIII века социолекта — того регистра литературного языка, что создавали интеллектуально-социальные элиты русской читающей публики и который был введен в литературу прежде всего «новым слогом» Н. М. Карамзина и окончательно узаконен А. С. Пушкиным. Во-вторых, герой, а если быть более точным — героини, рассматриваемые ниже, принадлежат к эпохе слома, когда сентиментализм обозначил глубокий кризис риторической культуры, затронувший и сферу литературной антропониимики; анализироваться будут не литературные герои XVIII века в целом, но преимущественно герои сентиментальные, увиденные на фоне тех принципов изображения и наименования человека, которые можно обнаружить в указанном только что социолекте. Теперь же перейду к непосредственному предмету работы.

Размышляя о направленности и характере мимесиса, возникающего в ходе развертывания литературного произведения и о соотношении в этом процессе наррации и дескрипции, М. Риффатерр указывал на их взаимопересекаемость и взаимодополняемость.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См.: (Riffaterre 1990); наиболее важные соображения по данному вопросу высказаны в первой главе — «Истина в диэгезисе» (Riffaterre 1990: 1–28).

Мимесис, задающийся нарративным рядом, поддерживается и рядом дескриптивным, прежде всего — лексиконом. Ядерное слово, а точнее, ядерная семема, может быть понята как текст в его имплицитном виде, вернее — в зародышевом состоянии, как бы дублирующий — по принципу конвергентности — то, что формируется нарративными структурами. При этом, отходя немного в сторону от размышлений Риффатерра, замечу, что антропоним в структуре художественного текста, как правило, принадлежит как раз к группе таких ядерных слов / семем; это заставляет с особым вниманием отнестись к роли имен собственных в том возможном мире, который создается фикциональным текстом благодаря мимесису.

Возникающий в связи с этим круг вопросов уже давно находился и продолжает находиться в поле зрения гуманитариев различных специализаций — филологов, литературоведов, лингвистов, философов, семиотиков, когнитологов и т. д.; имея в виду преимущественно литературоведческий аспект и русскую литературу, назову из относительно недавних работ уже упоминавшуюся в монографии книгу (Namen 2013). Среди этих вопросов, вне всяких сомнений, важен и вопрос о референциальных функциях антропонима в художественном мире, причем следует помнить, что данные функции заключаются не столько в указании на внетекстовую реальность, сколько — на другие слова об этой реальности: «вербальные репрезентации в тексте отсылают к вербальным данностям, заимствованным из социолекта...» (Riffaterre 1990: 3).<sup>2</sup> Поэтому можно предположить, что проблема определения референциальных функций антропонимов в художественном тексте включает в себя и момент более частный, связанный с соотношением миметических установок художественного текста с подобными установками, действующими в социолекте. Именно на этой стороне обозначенной выше проблемы я и сосредоточусь ниже.

Сразу же надо заметить, что вторая половина XVIII столетия в истории европейских литератур (в том числе и русской)

---

<sup>2</sup> Интересные параллели к данному положению М. Риффатерра можно обнаружить в статье М. Н. Виролайнен (Виролайнен 2018: 253–262), правда, ее наблюдения строго ограничены рамками интертекстуальных связей.

оказывается предельно важной именно в интересующем нас ныне аспекте. Как раз в то время происходило глубокое изменение самых общих и определяющих принципов отношения слова к действительности: культура «готового слова», как определил риторическую словесность А. В. Михайлов, сменялась культурой «слова неготового».<sup>3</sup> В ходе этой кардинальной перемены важнейших стратегий речемыслительной деятельности человека стала принципиальной иной и доминирующая функция антропонимов в расширении семантического поля художественного текста, а более точно — направленность этой функции, основное смысловое назначение антропонимов в процессе смыслопорождения. Если предельно обобщить роль, которую играли имена собственные в риторической культуре, в том числе в русской словесности долгого XVIII века, то ее можно определить следующим образом: антропонимы в первую очередь способствовали генерализации героя (героини), возведению его отдельного, конкретного характера к общему типу. В ряде случаев они вообще лишали героя конкретности, сразу же переводя его в предельно обобщенный план; это можно наблюдать в комедиях или же в совсем иных по своей модальности и эмоциональной атмосфере жанрах, например, пасторальной поэзии, с совершенной условностью ее антропонимической номенклатуры. В этот же ряд можно поставить и имена персонажей некоторых беллетристических новелл и романов, активно развивавшихся начиная с 1760-х годов; с предельной отчетливостью подобная тенденция проявилась, в частности, в романе Н. Ф. Эмина «Игра судьбы» с его Всемилами, Слабосилами, Пленирами, Правомыслами (и, конечно же, не в нем одном — «Игра судьбы» представляет, скорее, самый распространенный тип номинации героев, во всяком случае, никак не является исключением). Действительно, и имена условно-литературные, и имена значащие сразу же обнаруживали в конкретном герое репрезентацию некоего типа, причем герой именно (и едва ли не только) как тип и был важен для мира, создаваемого в произведении.

Сказанное относится и к героям с менее формализованными именами, например, к действующим лицам классицистических

---

<sup>3</sup> См., напр.: (Михайлов 1997); в наиболее концентрированном виде характеристика этих типов словесной культуры изложена на с. 116–118.

трагедий. На первый взгляд большинство их имен более чем конкретно, оно заимствовано из памяти культуры и засвидетельствовано другими (в первую очередь, мифологическими и историческими текстами, причем для той эпохи грань между ними малоощутима), однако в трагедии действуют мощные стратегии, предельно редуцирующие историческую конкретность персонажа и направляющие референцию антропонимов и в трагедийном мире тоже в сторону генерализации, правда, несколько особенного свойства: имена действующих лиц своей принадлежностью к историческому/мифологическому пространству указывали на их приподнятость над обыкновенным, на их очищенность от любой конкретики. В некотором смысле, утрачивая историко-национальную определенность, они оказываются типами — типами человека вообще в его предельной экзистенциальности.<sup>4</sup>

Конечно, речь идет лишь о доминирующей тенденции; нетрудно найти немало количество фактов, свидетельствующих об обратном; к русской литературе середины-второй половины XVIII века это относится в очень большой степени<sup>5</sup> — ведь она уже отчасти захвачена процессом распада риторической культуры и личностное начало начинает занимать в ней все большее и большее место. Однако и такие случаи не отменяют вышесказанного: даже и к этой эпохе может быть применено справедливое замечание Г. М. Фридлендера: «Личное начало <...> выступало не столько как отклонение от типической, общесословной бытовой и этической нормы, сколько как ее особенно могучее и сильное выражение, необычное лишь по своему масштабу» (Фридлендер 1971: 81) и, добавлю, несколько не противоречащее поэтому неконкретности имени героя.

Сентиментализм значительно осложнил структуру прозаического текста и внес в русскую повествовательную прозу совсем

---

<sup>4</sup> Данная проблема подробно рассматривается мною на с. 233–253 настоящей коллективной монографии в разделе «Историческое имя в трагедии русского классицизма: между абстракцией и реальностью».

<sup>5</sup> Наблюдения Н. А. Гуськова над корпусом антропонимов в поэзии А. П. Сумарокова, представленные в настоящем издании на с. 373–447, подтверждают это многими содержащимися в них примерами.

новые нарративные приемы,<sup>6</sup> существенно изменившие принципы изображения человека; характер литературного героя стал отчасти противоречивым и более многозначным.<sup>7</sup> Среди прочего, это не могло не сказаться на номинации героев сентиментальной прозы, в самой существенной степени развернув их имена к окружающему автору и его читателей языковому пространству; имена героев / героинь стали явно соотноситься с реальной русской антропонимикой рубежа XVIII–XIX веков. Об этом свидетельствуют уже названия сентиментальных повестей; оставляя в стороне всем памятные заглавия повестей Н. М. Карамзина («Евгений и Юлия», «Бедная Лиза», «Юлия»), назову такие произведения, как «Даша, деревенская девушка» П. Ю. Львова, «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор» В. В. Измайлова, «Бедная Маша» А. Е. Измайлова, «История бедной Марьи» Н. П. Милонова или анонимные повести «Несчастливая Лиза» и «Варенька». Однако и в сентименталистской прозе ощутима все та же тенденция к генерализации героя: конкретность его образа, на которую, в частности, указывает его имя, во многом снимается типичностью характера, даже не типичностью, а простой схематичностью: сама внешность героя, а тем более героини, шаблонизируется. Носящие исторически точные русские имена герои / героини по мере развертывания своего образа на синтагматической оси текста (в ходе сюжета) все сильнее обнаруживают свое совпадение с определенным типом сентиментального человека. Они оказываются реализацией умозрительной модели, актуализируемой при изображении человека в художественном слове, а не запечатлением в этом слове неповторимой в своей индивидуальности личности, хотя и несущей в себе эпохальные, а следовательно — исторически типичные черты; именно к этому и будет стремиться постриторическая литература, во всяком случае, XIX века. Кроме того, конкретность героя, достигаемая во многом его номинацией, т. е. осуществляющаяся на парадигматической оси, социально весьма ограничена, социальная принадлежность героев, носящих

---

<sup>6</sup> См. об этом: (Топоров 1995).

<sup>7</sup> См.: (Бухаркин 1999: 13–19). См. тонкую характеристику многих черт героя русского сентиментализма: (Кочеткова 1994: 155–253).

конкретные русские имена, определена с предельной четкостью — они, как правило, крестьяне; в отношении женских образов эта закономерность проявляется наиболее отчетливо. Применительно к героям / героиням элитарных (как социально, так и культурно, что, впрочем, в ту эпоху было почти неразделимо) стратов / социогрупп обычно употреблялись имена условные, прямая референция которых с реальной русской антропонимикой скорее отсутствует; достаточно назвать Лиодора, Эраста, Леона карамзинских повестей. Среди этих повестей особенно показателен (в интересующей нас плоскости) «Рыцарь нашего времени»: имена Леона и Эмили (так зовут супругу графа Мирова, в некотором роде заменившую осиротевшему Леону мать) вряд ли годятся для обозначения русских дворян, живущих на берегах Свяги, в деревенской глуши Поволжья конца XVIII столетия; они сразу же придают тексту условность и соотносят героев с обобщенными литературными типами. Этому же, хотя и с другой стороны, служат фамилии Радужин, Громилов, Бурилов, Прямодушин, граф Миров, с их отчетливо обнаженной внутренней формой собственных имен.

Все эти примеры говорят о существенной ограниченности в конкретизации сентименталистского героя; речь здесь идет прежде всего о тех ее аспектах, что связаны с номинацией. К приведенным фактам можно добавить и еще один, возможно, особо значимый в контексте наших размышлений, он связан с «Фролом Силиным, благодетельным человеком» Карамзина. Образ заглавного героя в нем отмечен предельной историко-национальной определенностью, вполне отвечающей его номинации, также полностью соответствующей русскому языковому пространству; среди других героев карамзинской прозы (если не брать в расчет «Письма русского путешественника») Фрол Силин выделяется своей вписанностью в быт — естественно, в том его преломлении, какое быт этот получал в социолектах конца XVIII века, т. е. в своем отражении в слове. Так вот, как раз эта предельная конкретизация героя и определила жанровый сдвиг — во «Фроле Силине» следует видеть анекдот, а не повесть (Степанов 1969: 229–244). Именно так относился к своему опыту сам писатель: «<...> значение “Фрола Силина” определялось для Карамзина не художественными достоинствами, и он прямо противопоставлял этот



анекдот, “описание добрых дел”, жанру повести, в которой, с его точки зрения, значительное место должен занимать элемент художественного вымысла <...>» (Степанов 1969: 229). Это обстоятельство с совершенной отчетливостью ставит вопрос о соотношении принципов изображения человека и, в частности, его наименования в художественной прозе и в разных социолектных дискурсах. Среди последних особое значение для дальнейшего развития нарративной прозы имела проза документальная — мемуары, дневники и частная переписка. Роль последней представляется едва ли не наиболее интересной, так как частное письмо в большей степени погружено в быт и полнее других документальных жанров подобного ей порядка отражает многие речемыслительные стратегии, присущие социолекту и трансформирующиеся в художественном тексте. Кроме того, частная переписка очень полно отражает формирование того регистра литературного языка, который был особенно важен для дальнейшей эволюции русской прозы и который позволял повествовать о жизни обыденной, погруженной в бытовые мелочи и привычные обстоятельства, и одновременно наполненной поэзией и красотой, в том числе красотой отдельного человека, не оторванного от привычного для него (и для читателей) уклада. В связи со всем сказанным я и остановлюсь ниже именно на частной переписке — остановлюсь, как уже говорилось выше, в целях прояснения соотношения антропонима и обозначаемого им характера в социолекте, наиболее близком сентиментальной прозе, т. е. наиболее референциально для нее значимом, с принципами, действовавшими в этой самой прозе. А непосредственным материалом мне послужат письма Д. И. Фонвизина и М. Н. Муравьева к их сестрам. Знаменательно (хотя это обстоятельство является совершенно случайным), что звали их одинаково — Федосьями.

## 2

Среди огромного и далеко еще не полностью введенного в научный оборот эпистолярного наследия М. Н. Муравьева,<sup>8</sup> так же

---

<sup>8</sup> Эпистолярное творчество М. Н. Муравьева становилось предметом исследований очень разных ученых: Л. И. Кулаковой, И. Ю. Фоменко, В. Н. Топорова, Л. Росси; называю лишь некоторые имена. И все же изучение

как в существенно меньшем и значительно более исследованном эпистолярии Д. И. Фонвизина, письма к их сестрам — соответственно, Федосье Никитичне и Федосье Ивановне — занимают очень важное место; сестры принадлежали к наиболее сердечно значимым их корреспондентам. И переписывались они в течение долгих лет. В данной работе я остановлюсь лишь на письмах, относящихся к 1760-м — началу 1770-х (для Фонвизина) и к концу 1770-х (для Муравьева) годов. Разделенные полутора десятком лет (первые письма Фонвизина к сестре датируются 1763 годом, последние из относящихся к занимающему нас периоду — 1774, муравьевские же письма, о которых пойдет речь ниже, укладываются в промежуток между 1777 и 1778 годами), эти эпистолярные комплекты существенно близки друг другу. Во-первых, они в целом отражают один и тот же период истории русской словесности (включая и историю литературного языка) XVIII века; тут следует заметить, что 1760–1770-е годы представляют собою крайне важный этап и в формировании современного литературного языка, и особенно в усовершенствовании искусства прозаического слова; в эти годы само понимание того, что такое искусство прозы, претерпело существенные изменения, причем частная переписка сыграла здесь роль, более чем ощутимую. Во-вторых, письма Фонвизина и Муравьева к сестрам связаны с похожей психолого-бытовой ситуацией: в обоих случаях молодые братья, покинувшие отеческий кров и прибывшие в Петербург ради будущей карьеры, пишут откровенные и доверительные письма сестрам-конфиденткам, при этом насыщая эти письма и массой подробностей относительно столичной жизни. А житейские обстоятельства, порождающие письма, оказывают на их семантическое поле (именно — на семантическое поле, а не на одно только эмпирическое содержание) и на их поэтику очень существенное влияние.<sup>9</sup> В-третьих,

---

наследия Муравьева как эпистолярного прозаика — возможно, крупнейшего эпистолярного прозаика русской словесности второй половины XVIII в. — не может быть признано полностью удовлетворительным.

<sup>9</sup> На это указывала на первой же странице своей монографии, до сих пор остающейся солидным исследованием теории частного письма, Ст. Скварчинска (Skwarczyńska 1937: 1).

эпистолярные комплексы Фонвизина и Муравьева параллельны друг другу и по своей структуре; они гетерогенны, включают в себя письма к родителям и одновременно к сестре, причем эти две отличающиеся друг от друга части переписки (а различаются они темами, стилистикой и, главное, эмоциональным тоном) нередко соприкасаются друг с другом в пределах одной эпистолярной посылки, которая включает в себя обе эти составляющие, иногда даже на одном листе. В-четвертых, данные письма принадлежат к одной и той же разновидности частного письма — к дружескому письму в самом широком понимании этого явления;<sup>10</sup> целый ряд особенностей как раз дружеского письма в них с очевидностью примечен. В них нетрудно заметить ориентацию на устную, разговорную речь, прерывистость и ассоциативность повествования, иногда даже — его мозаичность, многотемность. С полным основанием можно говорить и об их сознательной литературной обработке. Пожалуй, с наибольшей отчетливостью об этом пишет Муравьев в письме от 30 ноября 1777 года: «Может быть, недолго продолжится наша переписка, и роман окончится приездом героя в Тверь затем, что описания станций, ямов и ямщиков не столь блистающе, как переезд из Карфагена в Сицилию, и что промеж Тверью и Новгородом не разъезжают корсары, чтоб утащить в Алжир, для наполнения повестию второго на десять тома».<sup>11</sup> Данный фрагмент интересен не только сравнением переписки с сестрой с романом, но и указанием на принципиальные отличия проживаемой

---

<sup>10</sup> Понятие дружеского письма, впервые научно осознанно описанное Ю. Н. Тыняновым уже в 1924 году (Тынянов 1977), было детализировано и уточнено в трудах Н. Л. Степанова (Степанов 1926), И. А. Паперно (Паперно 1977), У.-М. Тодда (Todd 1976); применительно к словесности XVIII века в первую очередь следует назвать яркую и в высшей степени серьезную работу Р. М. Лазарчук (Лазарчук 1972). При узко-конкретном понимании дружеского письма письма Фонвизина и Муравьева к сестрам не вполне вмещаются в его жанровые границы, однако при более широком взгляде на дружеское письмо их вполне можно рассматривать как его своеобразные вариации.

<sup>11</sup> См.: (Письма 1980: 322). В комментариях к публикации писем Муравьева Л. И. Кулакова и В. А. Западов отмечали рефлексию Муравьева по поводу собственных писем как романа (Письма 1980: 363).

автором и его адресатом жизни от литературных моделей, которые, тем не менее, возникают в их сознании при эпистолярном описании этой самой жизни. В письмах Фонвизина подобных пассажей, пожалуй, не найти, но и его переписка с сестрой несет на себе явственный отпечаток литературной обработки. Литературность он высоко ценит и в письмах своей корреспондентки (к сожалению, до нас не дошедших): «Все те письма, кои я от тебя получал, писаны так хорошо, что я всегда их беру примером красноречия. Проза твоя такова, что я ни с какой не сравниваю» (Фонвизин 1959: 2, 329) (письмо не датировано, оно написано между 14 декабря 1763 и 28 января 1764 г.). Вообще литературные способности сестры вызывают у брата самое искреннее восхищение, он побуждает ее к активизации словесных своих упражнений, крайне высоко оценивая ее поэтические опыты и давая ей, при этом, некоторые стихотворческие советы: «Мысли прекрасны, изображение очень хорошо и непринужденно и версификация везде почти чиста; только вперед остерегаться надобно, чтобы рифмы не все были глаголы, а иногда имена, наречия и проч.» (Фонвизин 1959: 330).

Продолжая перечисление черт дружеского письма, обнаруживаемых в письмах Фонвизина и Муравьева сестрам, следует также указать на двуязычие, т. е. на французские вкрапления в русский текст, гораздо более частые и развернутые у Муравьева, но встречающиеся и у Фонвизина, на стихотворные вставки, опять-таки весьма частые у Муравьева, но появляющиеся, хотя и спорадически, в эпистолярных текстах Фонвизина. Но все же главное, что сближает оба этих эпистолярных комплекса, находится в несколько иной плоскости — в плоскости не формальных особенностей письма, но его внутреннего содержания, в плоскости того «эпистолярного» мира, который в них создается. И основную роль исполняют тут образы адресатов Федосьи Ивановны Фонвизиной (в замужестве — Аргамаровой) и Федосьи Никитичны Муравьевой (в интересующее нас время она оставалась еще девушкой, впоследствии она вышла замуж за С. М. Лунина, ее первенцем был знаменитый М. С. Лунин). Это вполне естественно, адресат не просто получатель письма; в очень большой степени и содержание, и форма эпистолярного текста зависят именно от него: как отмечала Ст. Скварчиньска, письмо — явление, направленное

на воспроизведение не закрытой в себе жизни автора, но на связи, соединяющие двух людей — автора и адресата. Поэтому адресат и превращается из немой фигуры в соавтора, он в своих взаимоотношениях с автором определяет фактически все стороны эпистолярного текста (Skwarczyńska 1937: 4, 73–90).

В письмах сестре Д. И. Фонвизин, как правило, избегает прямого наименования адресата; вообще стоит обратить внимание на формализованность и строгую формульность фонвизинских обращений к родным в целом: к отцу и матери он неизменно обращается на «вы» и по имени и отчеству: «Милостивый государь батюшка Иван Андреевич и милостивая государыня матушка Катерина Васильевна» (Фонвизин 1959: 321, 322, 323), впоследствии номинация родителей немного упрощается, остается лишь: «Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!» (Фонвизин 1959: 335, 342, 346, 349 и др.), что, пожалуй, лишь усиливает этикетность; сестру Анну он именует «сестрицей Анной Ивановной». Это, впрочем, является довольно типичным для эпистолярного этикета той эпохи. И любимую свою сестру Федосью Фонвизин почти не называет по имени. Оно появляется буквально в единичном случае, да и то в виде инициалов — «Матушка сестрица Ф. И.» (Фонвизин 1959: 358)<sup>12</sup>. Как правило, номинация адресата (речь идет о Федосье) осуществляется при помощи антономазии<sup>13</sup>: «Матушка сестрица!» «Матушка сестрица и любезный

---

<sup>12</sup> Надо иметь в виду, что по замечанию издателей XIX века, тексты фонвизинских писем дошли в далеко не лучшем виде, некоторые «места <...> в подлиннике вырваны», другие же могут быть определены как «не вполне сохранившиеся» (Фон-Визин 1893: 316); приведенные слова принадлежат А. И. Введенскому. По его же наблюдениям, «у князя Вяземского, в книге “Фон-Визин”, все недостающие и неразобранные места дополнены самим князем Вяземским, нередко совершенно несогласно с тем, что теперь разобрано <...>» (Фон-Визин 1893: 316). Это надо учитывать, характеризуя употребления антропонимов в письмах Фонвизина.

<sup>13</sup> Антономазия вообще характерна для функционирования антропонимов в текстах XVIII века; некоторые стороны этого явления и отдельные аспекты его роли в формировании семантического поля текста рассматриваются мной в разделе «Имя и “память жанра” в трагедии классицизма» (см. с. 204–215 монографии).

друг», «Матушка, сестрица, друг мой» (Фонвизин 1959: 335, 340, 353). А общая атмосфера создается в первую очередь резким переходом с «вы» на «ты»; изредка, впрочем, «вы» прорывается; так происходит в первом из сохранившихся писем этого времени — от 10 августа 1763 года. Оно начинается с общения на «вы», но постепенно переходит — «нечувствительно» (как выразился бы сам писатель) — к форме «ты», что сразу же изменяет эмоциональный тон текста.

Несмотря на известную сдержанность обращений (в которых к тому же чувствуется некий литературный налет и даже словесные (эпистолярные) штампы, скорее всего, заимствованные совсем еще молодым автором из переводимой им французской сентиментальной прозы — «нежный друг», «любезная сестрица»), Фонвизин пишет к своей «матушке сестрице» весьма доверительно и нежно. Очень важную роль играет тут тема полного доверия: никаких тайн от сестры у брата быть не может: «Напрасно думаешь ты, чтоб я когда-нибудь от тебя мог что-то скрывать» (Фонвизин 1959: 325). Более того, он пишет ей о том, о чем другим людям сказать бы не смог; так в письме от 10 августа 1763 года (первом сохранившемся письме родным из Петербурга, при этом адресованном одной сестре) появляется многозначительная фраза: «*Je vous embrasse, ma chère soeur! Adieu. Ne montrez —vous pas mes lettres à mes parents*» (Фонвизин 1959: 321); весьма значимо, что речь тут идет не только об одном конкретном письме, но и письмах вообще. Сестру интересует ход мыслей ее корреспондента, она в состоянии откликнуться на тончайшие движения души молодого человека, понять и принять образ его жизни, недаром одно из писем (1773 года) он начинает следующими словами: «...я начинаю к тебе большое письмо, считая за долг сердца моего и за душевное мое удовольствие говорить с тобой всегда и обо всем открытою душою» (Фонвизин 1959: 353). Она его главный друг: «Я знаю, что ты мне друг, и, может быть, одного я иметь буду, которого бы столь много любил и почитал» (Фонвизин 1959: 319) — подобное признание Фонвизина не кажется натяжкой или преувеличением, оно подтверждается всем строем его писем к сестре.

При этом Федосья Ивановна предстает в фонвизинских письмах не только нежной и тонкой девушкой, восприимчивой к словам

брата и готовой понять и разделить его чувствования. Она вполне самостоятельная личность, способная оценивать поведение своего корреспондента, указывать ему на заблуждения и дать советы: «Я очень рад принимать от вас наставления, — пишет ей Фонвизин в уже не раз цитированном письме от 10 августа 1763 года, — зная, что они идут от человека, которого я люблю больше, как себя» (Фонвизин 1959: 318). И в дальнейшем сестра пытается повлиять на брата, тут можно указать на письмо от 13 декабря 1763 года, где речь заходит о фонвизинских «сатирах» — убежденный сестрой, писатель решает отказаться от их сочинения, а имеющуюся у него на руках сатиру сжигает: «Сатир писать больше не буду; пожалуй, будь в том уверена, что я человек, не хвастая могу сказать, резонабельный. Ты меня привела в резон, и я сделал жертвоприношение Аполлону, сожгши ту в печи» (Фонвизин 1959: 326).

Глубоко увлечена Федосья Фонвизина литературными делами, брат нередко касается в своих письмах не одних собственных литературных предприятий (о которых, впрочем, пишет он наиболее охотно), но и литературных впечатлений и новостей; так, в письме от 14 декабря 1763 года крайне уничижительно отзываясь он о «Деидами» В. К. Тредиаковского. А накануне Фонвизин пишет сестре о том, что прочел только что «новую трагедию французскую “Троянки”» (Фонвизин 1959: 326), вызвавшую у него восхищение и потоки слез (письмо от 13 декабря 1763 года; имеется в виду, очевидно, трагедия Ж.-Б.-В. де Шатоберна «Les Troyennes», 1754 год). Новинки — и достаточно разного рода — вообще интересуют Федосью.

В эпистолярии 1760–1770-х годов раскрывается не только, так сказать, внутренний ее облик, она показана там и во внешней своей стороне; корреспондентка фонвизинских писем весьма увлечена и событиями светской жизни, придворного обихода; моды, сплетни — даже и это живо ее занимает. Задумывается молодая особа и над политическими перипетиями, в частности интригами против Н. И. Панина (письмо 1773, точная дата неизвестна). Постоянные сообщения о такого рода происшествиях явно указывают на заинтересованность в них адресата писем. А кроме того, Федосья Ивановна оказывается и особой деятельной, она успешно справляется со многими комиссиями, которые ей поручаются братом: например, продать 60 экземпляров его перевода романа «Любовь Кариты и Полидора» аббата Ж.-Ж. Бартеlemi (письмо от

4 декабря 1763 года) или же принять как можно лучше его друга — В. А. Аргамакова (одно письмо не датировано, — скорее всего, конец 1763 — первые дни 1764 года, другое — 28 января 1764 года); с последним поручением Федосья справилась настолько успешно, что вскоре стала его женою.

### 3

Очень близка к этому эпистолярному женскому образу другая Федосья — Федосья Никитична Муравьева. В письмах ее брата в облике этой девушки проступают едва ли не те же черты, что определяли характер адреса в письмах Фонвизина — к «его» Федосье. Федосья Муравьева, конечно же, не копия Федосьи Фонвизиной. Правда, они в обращенных письмах братьев — примерно однолетки — во всяком случае, это относится к первым годам фонвизинской переписки: Федосье Фонвизиной было в 1763–1764 годах девятнадцать–двадцать лет (она родилась в 1744 году), Федосье же Муравьевой в 1777–1778 годах было лет семнадцать–восемнадцать; и с братьями их разница в возрасте более или менее соизмерима — Фонвизин старше сестры на год, Муравьев — года на три. И все же Федосья Муравьева в сравнении со старшей своей тезкой выглядит в письмах более одухотворенной, тихой и чувствительной, более, так сказать, нежной: «Я тебя воображаю сею тихую, нежную Фешинькой, вспоминаю разговоры твои, разум, руками природы украшенный, сердце, чувствующее дружбу и человеколюбие» (Письма 1980: 307). Надо также иметь в виду, что и Муравьев более откровенен в своих характеристиках адресата, гораздо чаще дает ему (т. е. — ей) прямые и ласково-чувствительные характеристики.

Впрочем, формульность заметна и в его письмах. Они, в отличие от фонвизинских, почти всегда начинаются с обращения (в том случае, если оно пропущено, следует объяснение, как, например, в письме от 21 сентября 1777 года), но номинация адресата и у него, скорее, формальна: «матушка сестрица Феодосья Никитишна!»,<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Напомню, что редкость прямых обращений к сестре в письмах Фонвизина возможно объясняется неполнотой сохранившегося текста.



в самом же тексте чаще всего Федосья Никитична именуется просто «матушкой». Правда, там появляются и выражения более нежные — в первую очередь нередко повторяющаяся «голубушка»; тут же можно назвать и уже упоминавшуюся форму «Фешинька» или же такие обороты, как «любезная, нежная сестра» (Письма 1980: 279); впрочем, в последних словах отчетливо заметно влияние сентиментального романа; воздействие данной литературной традиции особенно заметно во французских фрагментах муравьевских писем, более обширных (как уже отмечалось) по сравнению с письмами Фонвизина. Скорее всего, именно вторжением французского языка в письма объясняется частое обращение к сестре на «вы», которое, однако, нередко вытесняется из русского текста, заменяясь на «ты».

Глубже и основательнее, нежели ее старшая современница, интересуется Федосья Муравьева и словесными искусствами, во всяком случае, в письмах об этой стороне ее натуры говорится подробнее; письма брата к ней переполнены не только новостями в этой области и реакциями на прочитанные книги, но и размышлениями о литературе, ее достоинствах и нравственном влиянии в целом; его письма дают все основания сказать, что его юная собеседница откликалась на все это творчески и активно — на это указывает то обстоятельство, что все ее соображения по затронутым автором вопросам автору крайне интересны. Впрочем, в отличие от фонвизинской сестры непосредственно к литературными занятиям она не обращается.

Однако различия такого рода только лишь оттеняют их сходство — сходство во многом аналогичных девически-женских типов. Так же как Федосья Фонвизина, Федосья Муравьева раскрывается в муравьевских письмах 1777–1778 годов как глубокая и одаренная натура, незаурядная личность; она привлекает своей духовной красотой, чуткостью и тонким умом, способна верно понять брата с его переживаниями. В известной мере юная девушка даже нравственно его превосходит: «Душа твоя, — пишет ей Муравьев в письме от 21 августа 1777 года, — имеет нечто важнее и основательнее, нежели моя» (Письма 1980: 279). Последнее крайне важно — этот же мотив, как уже отмечалось, звучал и в письмах Фонвизина. Причем одновременно со всем только что сказанным,

Федосья Муравьева — опять-таки, как и немного старшая ее соименница, вовсе не оторвана от жизни, синим чулком (несмотря на увлечение физикой, о котором свидетельствуют, например, письма от 2 или же 26 октября 1777 года) или совершенно не интересующейся девическими развлечениями книгочеей и мечтательницей назвать ее все же нельзя. Она предстает вполне молоденькой девушкой со свойственными ее возрасту интересами, живо общающейся с разными людьми, любящей веселье и шутки. Занимают ее и моды, во всяком случае, брат ей о них сообщает; вот один из подобных пассажей из его писем: «В Париже нынче мужчины убираются в две пукли в ряд над ухом и третью, как женщины, носят висячую за ухом. Это постоянные, а щеголи по восьми на стороне. Кошелек сплюснен с обеих сторон и близко подвязан. Пряжки серебряные через всю широту ноги, плоские, толстые, параллелограммом» (Письмо от 7 августа 1777 года; Письма 1980: 269). Самая пространность данного сообщения свидетельствует об уверенности автора в заинтересованности адресата.

Надо вновь отметить: в целом, Федосья Муравьева более возвышенна, нежели Федосья Фонвизина, но, повторюсь, это различия индивидуальные, а не типовые. Обращая письма горячо любимым сестрам и передавая неповторимые оттенки сугубо личных отношений к ним, отношений отчетливо индивидуальных, Фонвизин и Муравьев, одновременно с этим, запечатлели появление нового культурно-исторического типа, нового женского характера, который как раз в это время стал культурно релевантным и получил в словесности возможность быть увиденным и описанным. Сами представители этого типа — юные женщины, наподобие обеих Федосий, — еще не обрели способность выразить себя и свои переживания в слове; недаром их письма почти не сохранились и в истории русской культуры не оставили заметного следа. Причем это относится не только к Ф. Фонвизиной (Аргамачевой) и Ф. Муравьевой (Луниной), но и к большинству других их современниц: собственным своим словом женщины подобного типа — духовно сильные, интеллектуально развитые, чувствительные и не лишенные практической смекалки, и к тому же — женственные и милые — в словесности второй половины XVIII столетия себя не проявили. Или, во всяком случае, их манифестация себя как

зарождающегося женского типа прошла малозамеченной (чтобы не сказать — незамеченной).

Но сторонним наблюдателям, сторонним, при всей близости к созерцаемому явлению (в нашем случае — наблюдателям-братьям), основные черты формирующегося культурно-психологического явления уже стали заметными. Более того, наблюдатели эти нашли и соответствующие слова для воплощения в вербальных текстах основных качеств такой появляющейся в русской жизни героини. Причем в текстах эпистолярных, т. е. двунаправленных — на текущую вокруг них жизнь и на литературные образцы.<sup>15</sup> С одной стороны, и Фонвизин, и тем более (и в значительно большей степени) Муравьев черпали нужные им языковые ресурсы и литературные стратегии из предромантической литературы: переписка Муравьева с ясностью на это указывает, недаром он жалеет об отсутствии у него дарований Мармонтеля: «Я не имею нежной и сладостной кисти сочинителя “Инков”» (Письмо от 17 августа 1777 года; Письма 1980: 276);<sup>16</sup> некоторые отчетливо литературные примеры его эпистолярных характеристик приводились выше, их можно было бы значительно увеличить; во французских фрагментах писем они заметны в наибольшей степени. Но со стороны другой, возникающие в их переписке образы адресатов, юных девушек, ни в коей мере не являются копией усредненной сентиментальной героини; они и не могут быть равны этому литературному образу, особенно в массовом его воплощении. Во-первых, сама природа эпистолярного текста препятствует структурной завершенности литературного героя; характеризуя специфику последнего, Л. Я. Гинзбург замечала, что он представляет

---

<sup>15</sup> Для частного письма принципиально характерно напряжение между этими двумя полюсами — жизненной реальностью и литературной обработкой. См. об этом, в частности, довольно старые уже работы: (Duchêne 1971: 177–194; Deugnot 1974: 195–202).

<sup>16</sup> Ж.-Фр. Мармонтель не одним Муравьевым, но и русской читающей публикой в целом воспринимался прежде всего как «чувствительный автор». Стоит указать на тот интерес, который проявлял к Мармонтелю Н. М. Карамзин, много переводивший Мармонтеля и весьма серьезно к своим переводам относившийся; об этом свидетельствуют несколько прижизненных переизданий. См.: (Кафанова 1979: 157–176).

собой «взаимодействие сюжетных элементов, включающее в себя развязку» (Гинзбург 1979: 221); ничего подобного такой завершенности эпистолярный образ человека не знает и знать не может: он отражает проживаемый автором и адресатом в настоящую минуту и принципиально незавершенный момент жизни, с которым, как уже отмечалось, связаны письма и который эти письма порождает; в этом, кстати, принципиальное отличие «эпистолярного человека» от героя мемуаров. Во-вторых же (и это основное), обе Федосьи — и Фонвизина, и Муравьева — оказываются сложнее и многомернее тех литературных ориентиров, на которые равнялись авторы писем. Подобная многомерность способствует отчетливой индивидуализации эпистолярных героинь — они, будучи воплощением в литературном слове определенного типа, одновременно с этим, неповторимые личности; в них как раз и проступает то будущее литературного героя (ставшего позднее запечатленным в этом слове неповторимой в своей индивидуальности личности, и вместе с этим несущего в себе эпохальные, а следовательно — исторически типичные черты), которое в художественной прозе сентиментализма лишь робко и неуверенно проступало. Это опять-таки объясняется двоякой природой частного письма — даже в том случае, если написаны эти письма писателями и ориентированы на опыт искусства, эмпирическая реальность обязательно в них входит. Это и произошло в письмах Фонвизина и Муравьева — и помогло свободнее и полнее, чем это могло быть осуществлено в литературных жанрах, запечатлеть только лишь возникающий женский тип. Тип этот стал одним из ведущих в русской прозе, но гораздо позднее, когда он не только воплотился в целый ряд литературных героинь, прежде всего — романских, но и был отрефлектирован художественным сознанием — имею в виду хотя бы статью И. А. Гончарова «Миллион терзаний»; но до этого литературе в высшем ее регистре надо было пройти весьма долгий путь... В начале этого пути и находились Федосья Фонвизина и Федосья Муравьева... Значительно опережая своих литературных сверстниц — даже и младших.

Действительно, при всех очевидных перекличках адресатов фонвизинских и муравьевских писем с литературными образами, перекличках, многие из которых были уже отмечены, и довольно

давно,<sup>17</sup> эпистолярные женщины реальнее и конкретнее женщин литературных. Даже в самом глубоком их воплощении, таком как Юлия из одноименной повести Н. М. Карамзина, последние менее осязаемы и в гораздо меньшей степени вписаны в быт. И их имена более условны и быстро становятся своего рода масками — Лиза, Маша, Нина и т. д. в сентиментальной повести; кроме того, как уже отмечалось, они номинируют в первую очередь представительниц простого народа; они крестьянки. Обе адресатки рассматриваемых сейчас писем, напротив, представляют культурные и социальные элиты империи. Но при этом их словесное воплощение в письмах их братьев неразрывно сопряжено с бытом; они как бы формируют представление о том, какими должны быть идеальные женщины высших социально-культурных стратов и одновременно они существуют не в идеальном смоделированном культурой пространстве, а в той жизни, которая запечатлена в эпистолярном слове, слове, отражающем не возможное (как слово фикциональное, т. е. художественное), но существующее. Поэтому-то героини эти носят такое резко своеобразное и абсолютно никакими культурными ассоциациями не нагруженное имя Федосья, что уже само по себе придает им совершенно невиданную в то время конкретность. Так же, как и доминирующее к письмам к ним обращение «матушка», заменяющее антропоним и совершенно лишенное какой-либо опускающей их и вносящей в их образ сатирической окраски. То, что их братья называют их «матушками сестрицами», ни в коей мере не лишает их поэтичности и возвышенности, не мешает им вызывать восхищение: они и «гений чистой красоты», и «матушки сестрицы». Кажется, сама действительность говорит здесь за себя самое. До подобного вторжения реальности в словесную ткань художественного текста было еще очень далеко.

## Литература

1. Бухаркин 1999 — *Бухаркин П. Е.* Н. М. Карамзин — человек и писатель — в истории русской литературы. СПб, 1999.
2. Виролайнен 2018 — *Виролайнен М. Н.* Поэтическая география как интертекст // *Интертекстуальный анализ: Принципы и границы* / под ред. А. А. Карпова и А. Д. Степанова. СПб., 2018. С. 253–262.

---

<sup>17</sup> См., например, лишь относительно немногие из них, отмеченные в статье Г. П. Макогоненко (Письма 1980: 3–41).

3. Гинзбург 1979 — *Гинзбург Л. Я.* О литературном герое. Л., 1979.
4. Кафанова 1979 — *Кафанова О. Б.* Н. М. Карамзин — переводчик Мармонтеля // Проблемы метода и жанра. Томск, 1979. С. 157–176.
5. Кочеткова 1994 — *Кочеткова Н. Д.* Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994.
6. Лазарчук 1972 — *Лазарчук Р. М.* Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Л., 1972.
7. Михайлов 1997 — *Михайлов А. В.* Языки культуры. М., 1997.
8. Паперно 1977 — *Паперно И. А.* Об изучении поэтики письма // Уч. зап. Тартуск. ун-та. 1977. Вып. 420: *Studia metrica et poetica*. С. 105–111.
9. Письма 1980 — Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.
10. Степанов 1969 — *Степанов В. П.* Повесть Карамзина «Фрол Силин» // XVIII век: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969. С. 229 — 244.
11. Степанов 1926 — *Степанов Н. Л.* Дружеское письмо начала XIX века // Русская проза. Л., 1926. С. 74–101.
12. Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М., 1995.
13. Тынянов 1977 — *Тынянов Ю. Н.* Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 255–270.
14. Фонвизин 1959 — *Фонвизин Д. И.* Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. М.; Л., 1959.
15. Фон-Визин 1893 — *Фон-Визин Д. И.* Сочинения. СПб., 1893.
16. Фридлендер 1971 — *Фридлендер Г. М.* Поэтика русского реализма. Л., 1971.
17. Deugnot 1974 — *Deugnot B.* Débats autour du genre épistolaire: réalité et écriture // *Revue d'histoire littéraire de la France*. 1974. № 2. P. 195–202.
18. Duchêne 1971 — *Duchêne R.* Réalité vécue et réussite littéraire: le statut particulier de lettre // *Revue d'histoire littéraire de la France*. 1971. № 2. P. 177–194.
19. Namen 2013 — *Namen in der russischen Literatur.* Имена в русской литературе. 2013. Wiesbaden, 2013 (*Opera Slavica. Neue Folge*. 57).
20. Riffaterre 1990 — *Riffaterre M.* Fictional Truth. Baltimore; London, 1990.
21. Skwarczynska 1937 — *Skwarczynska St.* Teoria listu. Lwów, 1937.
22. Todd 1976 — *Todd W.-M.* The Familiar Letter as a Literary Genre in the Age of Pushkin. Princeton, 1976.

*Д. В. Руднев*

## **ИМЯ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ XVIII В. (ОСОБЕННОСТИ ИМЕНОВАНИЯ ПУГАЧЕВА В ДОКУМЕНТАХ 1770-Х ГГ.)<sup>1</sup>**

---

---

### **Введение**

Особенности употребления антропонимов в деловой письменности исследованы к настоящему моменту явно недостаточно. Большинство работ, затрагивающих эту тему, ограничиваются описанием выбора имени в рамках делового этикета, при этом многие важные проблемы, связанные с официальным именовани-ем человека в документах, остаются без изучения и теоретическо-го осмысления. К числу таких вопросов относятся, например: Почему среди целого ряда возможных способов номинации человека в документах используются только некоторые? Как происходит становление и отбор форм антропонимов (и иных способов но-минации человека) в истории делового языка? Меняются ли эти способы номинации в истории делового языка и если меняются, то почему? Зависят ли формы антропонимов, используемые в де-ловой коммуникации, от их положения в тексте документа и если да, то как и почему? Есть ли связь между формой официального именован-ия и типом (жанром) документа? Это лишь небольшая часть вопросов, неизбежно возникающих у исследователя при об-ращении к теме.

Деловая коммуникация представляет собой особый вид диа-лога, где единицей общения (репликой, под которой понимает-ся «высказывание говорящего в диалоге») является документ.

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано: Вестник Санкт-Петербургского государ-ственного университета. Язык и литература. 2021. № 18 (3). С. 590–608.

Функционирование документа в диалогическом режиме означает, что любой документ является либо ответом на предшествующую реплику-документ, либо порождает ответную реплику-документ, либо выполняет обе функции одновременно. «Отличительной чертой системы жанров делового языка... является их коммуникативная взаимосвязанность и взаимообусловленность. Документы, представляя собой тексты-монологи, реализуются только в диалоге...» (Русанова 2015: 155). Прямым следствием скрытой диалогичности документов, часто ускользающей от внимания исследователей, ограничивающихся текстом одного документа или одним документальным жанром, является повышенная прагматическая нагрузка антропонимов в тексте документа.

В тексте документа антропоним выполняет как минимум три функции: участвует в выражении адресанта (или источника власти), адресата (объекта проявления власти) и в тексте документа, содержащем основную фактуальную информацию документа (в современном делопроизводстве он обозначается реквизитом 20). В тексте документа антропоним выступает в качестве объекта описания. Первые две функции связаны с выражением прагматической информации документа и обусловлены императивным характером деловой коммуникации, в рамках которой одно лицо (в т. ч. коллективное) побуждает другое лицо (или лиц) к выполнению (или невыполнению) определенных действий.

Особенности именованья людей в документной коммуникации XVIII века были отчасти унаследованы из предшествующей традиции. В XVII в. «единых требований к записи личных имен в деловой письменности... не было» (Неволина 2011: 17), «отсутствовали юридически закрепленные нормы официального именованья лица. Установлению их препятствовало непоследовательное разграничение писцами разных типов личных имен, сохранявших равноправие в идентификации лица. Выбор их зависел от жанровой специфики документа и манеры письма» (Смольников 1996: 13). Варьирование официального именованья лиц сохраняется и в XVIII в., однако приобретает отчетливые черты упорядоченности.

Сокращению вариативности способствовало законодательное вмешательство властей в вопросы именованья лиц в официальных документах. Так, указом от 30 декабря 1701 г. подписывалось



подписывать челобитные и прочие просительные документы не полуименем, а полным именем и фамилией: «На Москве и в городах царевичам, и боярам, и окольниковым, и думным, и ближним, и всех чинов служилым, и купецкаго, и всяких чинов людям боярским, и крестьянам к великому государю в челобитных и в отписках, и в приказных и домовных во всяких письмах генваря с 1 числа 702 года писаться целыми именами с прозваниями своими, а полуименами никому не писаться» (ПСЗРИ, 4: 181 (№ 1884)). В этом указе отражены важные изменения в деловой коммуникации. С одной стороны, принятие такого указа можно расценить как стремление властей установить единообразие в принципах официального именовании лиц и сблизить принципы именовании с европейскими. Диминутивные формы антропонимов (так называемые гипокористики) употреблялись лишь в небольшой части документов — челобитных, писцовых книгах и некоторых других документах. С другой стороны, отмена полуимен фактически означала запрет подданным на личное обращение к царю, так как такие формы имели эгоцентрический характер и являлись важным экспрессивным средством просительных документов. Такой запрет был отчетливым сигналом происходившего процесса речевого отчуждения в отношениях между властями и подданными, одной из причин которого была смена понятийной модели (концептуальной метафоры, структурирующей понятийную область) государства, когда исходная модель государства — семьи или феодального дома сменялась моделью государства-механизма. Языковым следствием этого процесса стало нарастание в деловом языке речевых элементов, подводимых под стилевую категорию официальности: изменение официального именовании людей и предметов действительности, возможно, самое яркое проявление этого процесса.

Еще одним документом Петровского времени, сыгравшим важную роль в закреплении принципов официального именовании лиц, явился Адмиралтейский регламент (1722), который содержал образцы отчетных документов, обязательных для всех ведомств. В приложенных к регламенту образцах официальное именование лица состояло из указания должности, полного имени и фамилии: *адмирал Петр Михайлов* (т. е. сам Петр), *штюрман Григорей Микулин*, *матроз 1 статьи Иван Никитин* и т. д. Учитывая роль

Адмиралтейского регламента как образца для составления отчетных документов во всех ведомствах, эти модели официального именованя лиц имели регламентирующий характер для всей деловой коммуникации XVIII в.

В тексте документа XVIII в. именование людей чаще всего происходило при помощи двукомпонентных моделей — по имени и фамилии — в сочетании с приложением, указывающим на звание (должность) и ведомственную локализацию. При повторной номинации использовалось сочетание звания (должности) и фамилии или только фамилия. Использование фамилии в качестве повторной номинации является ярким новшеством Петровского времени: в XVII в. при повторном именовании лица в тексте документа использовалось имя, а не фамилия (Неволина 2011: 9).

Отчество в документах использовалось редко. Употребление отчества на *-вич* в документах XVIII в. было прерогативой главным образом императоров и членов императорской семьи. При необходимости указать «отчество» в некоторых видах документов подданные указывали его при помощи притяжательного прилагательного и слова *сын* или *дочь* (*Петрова дочь*, *Сергеев сын* и пр.). Эта модель сформировалась в деловой коммуникации XVII в. для разграничения отчеств и семейных прозвищ (фамилий), часто имевших одинаковый внешний вид из-за форманта *-ов*. Отклонения от этих правил касались имен руководителей учреждений, которые в документах этих учреждений именовались с указанием не только имени и фамилии («прозвища»), но и отчества, а также некоторых наиболее важных представителей власти. Судя по всему, на высших руководителей в этом случае отчасти распространялись принципы именованя, характерные для императора (императрицы), к которым они были близки, — но с обязательным указанием фамилии, а в некоторых случаях и должности. (Следует отметить, что принципы употребления отчества на *-вич* в Петровскую эпоху стали строже, чем в XVII в., когда такое именоване было характерно для бояр и окольничих, а также некоторых отдельных подданных, например Демидовых, которым такое право именованя с *-вичем* было даровано царями.)

Современная трехкомпонентная номинация (особенно с позицией фамилии относительно имени) имеет поздний характер.

Исследователи отмечают распространение трехкомпонентной модели в официальных документах во второй половине XVII в. Это было обусловлено тем, что «фамилия в XVII в. еще не была обязательной антропонимической категорией в официальных именовании горожан и крестьян. <...> Фамилия в самостоятельную категорию официального именовании выделяется только во второй половине XVII в.» (Смольников 1996: 16). Трехкомпонентные модели, включавшие имя, патроним (отчество) и фамилию, использовались и в XVII, и в XVIII в. очень ограниченно — главным образом в частно-деловых актах и отчасти в некоторых других. Они не имели современного универсального характера. Например:

*Объявитель сего крепостной мой служитель **Петр Андреев сын Зайцов**, котораго я, ниже подпи<и>савшийся отпустил от себя вечно на волю; а потому ни мне, ни наследникам моим впредь до него дела нет и ни под каким видом не вступаться, для чего сия отпуская за моим подписанием и с приложением герба моего печати ему, **Зайцову**, от меня и дана, Маия 24 дня, 1794 года. Москва.*

*ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ,*

*ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ МОЕЙ, армии  
Бригадир Н. Н.*

[Сокольский 1795: 732]

Особым образом в документах именовались императоры и императрицы, являвшиеся источником власти, которые подписывали документы полным именем (*Петр, Анна, Елисавет* и т. д.). В тексте документов они именовались по имени и отчеству («имярек с отчеством») с приложением «его / ее императорское величество». Это приложение обычно набиралось капитульными (прописными) буквами, под влиянием печатных документов такое написание проникло и в рукописные документы. В зачине указов они упоминались по имени, например: «Божиею милостию мы, Петр Первый, царь и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая» или «Божиею милостию мы, Анна (/ Елисавет Первая), императрица и самодержица всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая».

Существовавшая система номинаций отражала сложившуюся структуру общества. Отметим несколько самых общих особенностей официального именования лиц, относящихся к семантике номинаций (1, 2), их структуре (3), составу (4) и стилистической окраске (5): 1) резкое противопоставление способов именования императора и подданных; 2) упоминание должности и ведомственной принадлежности в составе приложения; 3) препозиция имени к фамилии (нынешний порядок возник под влиянием книжных каталогов в конце XIX в.); 4) редкое использование отчества (речь идет не только об отчествах с *-вичем*, но и об именных группах со словами *сын*, *дочь*, из-за чего отчество многих представителей XVIII в. нам может быть неизвестно); 5) невозможность использования в документах оценочных приложений к именам (*вор*, *злодей* и т. д.), а также оценочных форм имени («полуимен», т. е. гипокористик типа *Федька*, *Ивашка*).

Материалом наших дальнейших наблюдений стали номинации Пугачева в различных документах 1770-х гг. С одной стороны, Пугачев предстает в этих документах в различных социальных ролях — беглого казака, (лже)императора, государственного преступника, как субъект власти и как ее объект. С другой стороны, тяжесть преступления Пугачева, похитившего царское имя и потрясшего основы государства, была такова, что в следственных документах и в приговоре его именование шло вразрез существовавшей традиции официального именования лица. Как следствие, наблюдения за именовани<sup>ем</sup> Пугачева в различных документах позволяют достаточно полно отразить особенности употребления имени человека в деловой письменности второй половины XVIII в.

### 1. Именование Пугачева в документах до восстания (февраль 1772 г.)

Первое упоминание имени Пугачева связано с его допросом в феврале 1772 г. в Моздокской комендантской канцелярии: *...пойманный того полку беглый человек при допросе ответом показал. Зовут-де его Емельян Иванов сын Пугачев, родился он Донскаго войска в Зимовейской столице...* [ЕПС: 237]. Ср. далее: *Почему-де он, Пугачев, взяв от них на проезд двадцать рублей денег, ехать*

в Москву и согласился [ЕПС: 238]. В конце допроса указывалось полное имя и фамилия, а в составе приложения — социальная характеристика: *К сему допросу, вместо беглаго из Донскаго войска казака Емельяна Пугачева, за неумением им грамоте, по его прошению Моздоцкаго казачьяго полку сотник Иван Сафронов руку приложил* [ЕПС: 239].

Схожим образом именуется Пугачев в протоколе допроса в управительской канцелярии Малыковской дворцовой волости: *...а в допросе сказал. Емельяном его зовут Иванов сын Пугачев, от роду имеет сорок лет...* [ЕПС: 239] — *таковых слов он, Пугачев, нигде никому не проговаривал* [ЕПС: 240] — *К сему допросу села Малыковки священник Афанасей Михайлов вместо означеннаго бегжавшаго донскаго казака Емельяна Иванова сына Пугачева, по его прозьбе, руку приложил* [ЕПС: 240]. В данном случае употребление отчества в конце допроса не является обязательным.

Как видно из приведенных примеров, выбор способа именованя Пугачева зависит от позиции и функции имени в тексте. Имя Пугачева выступает в качестве объекта описания в составе текста документа: в полной четырехсловной (трехкомпонентной) форме (*Емельян Иванов сын Пугачев*) в предложениях номинации с целью точной идентификации носителя имени, далее в тексте используется именование по фамилии (*Пугачев*), которая стоит в синтаксической позиции приложения и выполняет функцию конкретизации. Кроме того, имя Пугачева использовано в формуле рукоприкладства,<sup>2</sup> где оно выполняет двойную функцию:

---

<sup>2</sup> Формула *приложить руку* в значении ‘поставить свою подпись’ [СлРЯ XI–XVII, 22: 243], где слово *рука* употребляется в значении ‘подпись’ [СлРЯ XI–XVII, 22: 239], известна с XVI в. Первоначально полный состав формулы в том случае, если кто-то подписывал документ за другого человека (чаще всего вследствие его неграмотности), имел следующий вид: <имя 1 в Им. п. > *вместо ... по* (притяжательное местоимение / притяжательное прилагательное) *веленью руку приложил*. В дальнейшем формула могла подвергаться сокращению (выпадала часть *по веленью*). Кроме того, мог варьироваться компонент формулы *по веленью*. Компонент *по веленью* (реже — *веленьем*) имел устойчивый характер и широко употреблялся в разнообразных документах XVI — первой половины XVIII в. (о его употреблении в таможенных книгах первой четверти XVIII в. см.

во-первых, указывает на то, что подписавший документ имеет отношение к его составлению, т. е. выступает в качестве соавтора документа и несет ответственность за содержание; во-вторых, идентифицирующую функцию. В отличие от предложения именованного в тексте документа в составе рукоприкладства указывается имя, фамилия и социальное положение (должность, ведомственная отнесенность, а в данном случае еще характеристика связи между лицом и учреждением — *беглый из Донского войска казак, бежавший донской казак*).

## 2. Именование Пугачева в документах, относящихся к восстанию

### 2.1. Документы начального периода восстания (сентябрь–ноябрь 1773 г.)

Упоминание Пугачева в тот период, когда он «похитил царское имя» Петра III, можно разделить на два этапа. На первом этапе (до декабря 1773 г.) употребление царского имени Петра III в пугачевских документах имело целый ряд специфических черт, свидетельствующих о слабом владении составителями документов принципами документной коммуникации. Вместе с тем встречающиеся

---

[Коркина 2015; Коркина 2018: 100–107]). Например: «К сей записи вместо углечина посадцкого человека Елисея Бендина по его велению углетцкой земской дьячек Олешка Григорьев руку приложил» (Поручная по углицком посадком человеке Елисее Григорьеве о представлении в воеводский приказ беглой крестьянки, 1645 г. [АЮ: 336]). В XVII в. в документах наряду с *по велению* изредка встречается *по челобитью*; ср.: «Богоявленского монастыря слуга Федор Хомутов вместо поруччика того ж монастыря сторожа Федора Анкудинова по его челобитью руку приложил» (Поручные по монастырских дворниках, 1690 г. [АЮ: 350]). Со второй четверти XVIII в. происходит вытеснение компонента по велению компонентом *по прошению*, изредка встречавшимся и в документах XVII в., или (реже) *по просьбе*, который широко распространился уже в XIX в. Ср. образец в приложении 17 к Рекрутскому уставу (1831 г.): «К сему приговору вместо неграмотных таких-то мещан (крестьян такой-то деревни, *таких-то*) по личной их просьбе руку приложил *такой-то*» [ПСЗРИ-2, 6: 615 (№ 4677)].

отклонения позволяют увидеть то, что в документах, связанных с употреблением царского имени, остается обычно без фиксации — строго регламентированный характер употребления царского имени в официальных документах, а кроме того, отношение к царской власти со стороны подданных и их представление о ней. Например:

— (именной указ Пугачева, 17 сентября 1773 г.): зачин *Самодержавнаго императора, нашего великаго государя Петра Федоровича всероссийскаго: і прочая, і прочая, і прочая. Во имянномъ моемъ указе изображено яицкому войску...* — финальная клаузула *Я, велики государь, жалую васъ Петръ Федоровичъ* [Пугачевщина, 1: 25];

— (указ Пугачева, 1 октября 1773 г.): зачин *Великии государь и над цари царь и достойной императоръ Петръ Федоровичъ, разсудя своимъ мнениемъ ко всем моимъ верноподданнымъ послать сей мой имянной указъ: і прочая, і прочая, і прочая. Да будетъ вамъ известно всемъ, что действительно я самъ велики —* финальная клаузула *Великий государь, царь Россійской, императоръ руку приложилъ Петръ третій. Императоръ самъ Петръ третей руку приложилъ* [Пугачевщина, 1: 30–31].

— (указ Пугачева, без даты): зачин *Самодержавнаго императора нашего, великаго государя Петра Федоровича всероссийскаго: і прочая, і прочая, і прочая. Симъ моимъ имяннымъ указомъ регулярной командъ повельваю...* — финальная клаузула *Велики государь императоръ Петръ Феодоровичъ всероссийски* [Пугачевщина, 1: 31–32].

— (именной указ Пугачева, 5 ноября 1773 г.): зачин *Самдержавнаго императора Петра Федоровича всероссийскаго: и прочая, и прочая, и прочая. Имянной мой указъ во Оренбургскую Губернскую Канцелярию губернатору к Рейнъздорпу Ивану Анъдреивичю и всемъ гасподамъ и всякаго звания людемъ —* финальная клаузула *1773 году ноября 5 дня. Велики государь Петръ трети всероссийскаго* [Пугачевщина, 1: 53–54].

Ошибки в употреблении царского имени во всех этих случаях имеют слишком очевидный характер: неправильны как сами формулы, так и их языковое оформление. Согласно «Форме о титулах его императорского величества» от 26 декабря 1761 г. в грамотах, направляемых внутрь государства, титулатура Петра III имела следующий вид: *Божию милостию Мы, Петр Третий, Император*

и Самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая [ПСЗРИ, 15: 876 (№ 11392)]. В указах Пугачева неправильно использованы формы местоимения (в царских указах обязательно использовалась форма *наш*) и формы лица глагола (в именных указах монарх повелевает при помощи глаголов в форме 1 л. мн. ч., а не 3 л. ед. ч.).

## 2.1. Именование Пугачева в документах второго этапа восстания

Изменения в титулатуре лже-Петра III начинаются со второй половины ноября. Так, в указе от 25 ноября неправильно оформлен зачин *От самодержавнаго императора Петра Федоровича, самодержца всероссійскаго: и прочая, и прочая, и прочая* — и правильно оформлена подпись: *На подлинной подписано собственною его императорскаго величества рукою тако: Петръ. Ноября 25-го дня 1773 году* [Пугачевщина, 1: 35].

Еще ближе по своему оформлению к подлинным именованным императорским указам указ от 2 декабря 1773 г.: зачин *Божиею милостию мы, Петръ третій, императоръ и самодержецъ всероссійски: і прочая, і прочая, і прочая. Объявляется во всенародное известие* — финальная клаузула *На подлинномъ подписано собственною Е. И. В. рукою тако: Петръ*. В этом документе и зачин, и подпись оформлены в соответствии с принятыми правилами, неправильно выбрана лишь форма лица перформативного глагола: вместо *объявляется* должно было стоять *объявляем* (форма *объявляется* использовалась в сенатских указах, например: «Указ ея императорскаго величества самодержицы всероссійской из Правительствующего Сената. Объявляется во всенародное известие». При этом имя императрицы или императора не указывалось). Аналогично (и с той же ошибкой) оформлены три именных указов Пугачева, датированных июлем 1774 г. [Пугачевщина, 1: 40–41, 55–56, 56–57], два указа, датированных августом 1774 г. [Пугачевщина, 1: 41–43].

Точнее всего оформлен указ от 31 марта 1774 г.: в нем правильно использованы мы-формы: *Божиею милостию мы, Петръ третій, императоръ, самодержецъ всероссійски: і прочая, і прочая, і прочая. Объявляемъ во всенародное известие*. Отклонением в оформлении царского имени является отсутствие союза *и* в титулатуре —



правильное употребление предполагало *императоръ и самодержецъ*. Другое отклонение в том, как оформлена в нем царская подпись — *Petri* [Пугачевщина, 1: 40]: царские подписи оформлялись только по-русски. (В октябре 1774 г. при допросе Пугачев показал, что в ноябре 1773 г. к нему присоединился подпоручик Михаил Шванвич, «и с тех пор уже под всеми злодейскими указами подписывался он, Шванович, вместо самага злодея по латыни “Петер”» [ЕПС: 117].)

Отмеченные выше изменения оформления царского имени в документах самозванца следует связать с расширением Пугачевского восстания и присоединением к нему, среди прочего, дворян и служащих различных канцелярий, которые хорошо владели правилами оформления документов. На это указывает и время произошедших изменений — ноябрь-декабрь 1773 г., т. е. вскоре после поражения карательного корпуса генерал-майора В. А. Кара в боях с бунтовщиками под Оренбургом (7–9 ноября 1773 г.). И все же следует констатировать, что ни один из дошедших именных пугачевских указов не оформлен с соблюдением всех правил именованья монарха.

Кроме именных указов, сохранился текст патента Василию Косоховскому. Языковое оформление патентов было во многом сходно с оформлением именных указов и манифестов.

*Божию милостию мы Петръ третій, императоръ и самодержецъ всероссийскій: и прочая, и прочая, и прочая. Известно и ведомо да будет всем и каждому, что Василей Косоховской, которой прежде былъ поручиком, а тысяща семь сотъ семьдесятъ четвертаго года июля двадесять четвертаго дня за оказанную его к службѣ ревность и прилежность подъполковникомъ пожалованъ. Того ради мы симъ жалуемъ и учреждаемъ, повелевая всемъ нашимъ верноподаннымъ оного подъполковника признавать и почитать. Напротивъ чего и мы надеѣмся, что онъ в томъ ему всемилостивѣйше пожалованномъ чине такъ и верно и прилежно поступать будет. Во свидетельство того мы собственною рукою подписать соизволили. Дан июля 24 дня 1774 года. Петръ [Пугачевщина, 1: 56].*

Это пожалование на чин написано довольно правильно, однако при сравнении с подлинными патентами эпохи Екатерины II обнаруживаются различные незначительные ошибки. Во-первых,

в пугачевском патенте использована формула *Известно и ведомо да будет всем и каждому*, в которой лишним является слово *всем* (адресат *всем и каждому* использовался в царских манифестах). Во-вторых, отсутствуют обязательные для манифестов местоимения *нам, наши*, нарушен порядок слов, использованы неправильные глагольные формы; правильное оформление должно было выглядеть так: *Василей Косоговской, которой нам поручиком служил, для его оказанной в службе нашей ревности и прилежности в наши подполковники тысяща семь сот семьдесят четвертаго года июля двадесять четвертаго дня всемилостивейшее пожаловали и учредили* (конечно, нонсенсом является произведение из поручиков в подполковники. — Д. Р.). Совершенно неуместно использована формула *того ради* вместо правильного *яко*. Окончание «патента» похоже на оформление документов этого типа, однако и здесь встречаются многочисленные небольшие ошибки, из которых наиболее существенной является отсутствие указания на то, что патент *укрепили нашею* (вар. *государственной*) *печатию*.

Точнее оформлены указы, исходившие из так называемой военной коллегии самозванца. В соответствии с существовавшими правилами в указах, которые издавались отдельными ведомствами, имя монарха не называлось. Начальная клаузула имела такой вид: «указ его (ее) императорского величества, самодержца (самодержицы) всероссийского (всероссийской), из <название ведомства>», далее указывался адресат указа — в Д. п. без предлога, если указ направлялся кому-либо, или при помощи предложно-падежной формы «в/на + В. п.», если речь шла об учреждении. Указы пугачевской военной коллегии оформлялись именно таким образом:

*Указ его императорского величества, самодержца всероссийскаго, из Государственной Военной Коллегии Яицкой Нижней линии крепостнымъ начальникамъ* (от 17 декабря 1773 г. [Пугачевщина, 1: 57]) или *Указъ его императорскаго величества, самодержца всероссийскаго из Государственной Военной Коллегии Воскресенскаго завода полковнику Якову Антипову* (от 25 февраля 1774 г. [Пугачевщина, 1: 62]).

Подписывали эти указы члены коллегии Иван Творогов, дьяк Иван Почиталин (до марта 1774 г.), секретарь Максим Горшков (в мае 1774 г. Иван Шундеев, в июне–августе 1774 г. Алексей Вепровской), повытчик (в разные времена Семион Супонин, Иван

Герасимов, Александр Седачов, Герасим Степанов). Отметим, что должность дьяка отсутствовала в системе центральных учреждений уже с 1730-х гг.

Среди сохранившихся документов обращает на себя внимание копия указа «военной коллегии», сделанная официальными властями в ходе расследования восстания. Вот ее зачин: *Отъ 23 декабря 773 году отъ названной Государственной Военной Коллегии Самарской дистанции крепостнымъ начальникамъ* [Пугачевщина, 1: 58]. В этой копии примечательным является отсутствие царского имени, упоминание которого придавало юридическую силу указам ведомств.

В некоторых документах бунтовщиков использование в составе зачина царского имени было избыточным, так как жанр не предполагал этого. Например: *Его императорскаго величества Петра Феодоровича, самодержца всероссийскаго: и прочая, и прочая, и прочая. Въ Государственную Военную Коллегию от полковника Бахтияра Канкеева покорнейший репортъ* [Пугачевщина, 1: 101]. В рапорте указание на царское имя (которое к тому же употреблено неправильно) не предусмотрено формуляром.

Если обобщить особенности употребления царского имени в пугачевских документах, то можно сделать вывод, что в связи с распространением восстания в ряды бунтовщиков влились служащие различных канцелярий, которые хорошо владели кодом государственной коммуникации. С декабря 1773 г. отмечается отчетливое улучшение оформления документов восставших: выходящие из их рядов документы по своему оформлению (которое предполагало жесткие правила употребления царского имени) были близки к тем документам, которые порождала официальная власть. Выявляемые при анализе пугачевских документов ошибки для современников были, видимо, несущественны. Это таило для официальной власти огромную опасность: жители страны, привыкшие общаться с властями посредством системы письменных деловых жанров, возникшей в результате петровских реформ, сталкивались с ситуацией неразличения двух контуров управления — официального и самозванческого.

Однако отклонения от правильного употребления царского имени не всегда были обусловлены незнанием официального формуляра документов. Ряд обращений Пугачева к нерусским на-

родам построен с опорой не на принятый официальный этикет, а на восточные традиции, т. е. с установкой на адресата. В таких обращениях имя государя в зачинах передано особенно пышно. Например:

— *Россійского войска содержателя и великого государя, и всех меньших и болиших уволитель и милосердой сопотивником казнитель, болиших почитатель, меньших почитатель же, скудных обогатитель и всему россійскому государству Петръ Федоровичъ: и прочая и прочая и прочая* (указ Пугачева, не датирован [Пугачевщина, 1: 26]);

— *Тысячью великой и высокой, и государственной владетель над цветущемъ селени, всемъ от бога сотвореннымъ людемъ самодержецъ, тайнымъ и публичнымъ, даже до твари наградитель усердственной въ святости искусной, милостивъ и милосердъ, соделителное сердце имеющей — государь императоръ Петръ Федоровичъ, царь россійской, во всемъ свете славной, в вѣрности святъ, реченнымъ разного рода людемъ под своимъ скипетромъ самодержавецъ, еще и протчих и протчих и протчих* (указ Пугачева, 4 октября 1773 г. [Пугачевщина, 1: 27]);

— *Я во свете всему войску і народом учреждены велики государь, явившейся іс тайного места, прощающей народ і животных в винах, делатель благоденни, сладкоязычной, милостивый, мяжкосердечны россійски царь, імператоръ Петръ Федоровичъ, во всем свете волны, в усердіи чисты і разного звания народов самодержатель: і прочая, і прочая, і прочая* (указ Пугачева, 30 сентября 1773 г. [Пугачевщина, 1: 29]).

В этих указах излишне многословное и сверхкомплиментарное именование царя, включающее в свой состав многочисленные оценочные определения и приложения, совершенно не соответствует моделям именованя русского царя в официальных документах. Отчасти такое употребление царского имени объясняется тем, что указы, в которых оно встречается, относятся к тому времени, когда в окружении Пугачева отсутствовали люди, владевшие официальным этикетом. Однако в большей степени эти особенности вызваны тем, что эти указы Пугачева были направлены кочевым народам Поволжья, т. е. в них учтены особенности восприятия царской власти жителями, слабо вовлеченными в государственную коммуникацию.

### 3. Именованье Пугачева в период следствия (сентябрь–декабрь 1773 г.)

Третий пласт документов, упоминавших Пугачева, отражает ход следствия над восставшими. В протоколе допроса Пугачева от 16 сентября 1774 г. представлены две номинации. Первая номинация в зачине протокола принадлежит официальным властям: *1774-го года сентября 16 дня в отделенной секретной комиссии, что в Яицком городке, государственной злодей, похитивший имя в бозе почивающаго императора Петра Третьяго, Емелька Пугачев допрашиван и показал* [ЕПС: 56]. Вторая номинация принадлежит самому Пугачеву, который предваряет рассказ о злодействах биографической справкой: *Родиною я — донской казак Зимовейской станицы Емельян Иванов сын Пугачев, грамоте не умею, от роду мне трицать два года* [ЕПС: 56]. Характерно, что обе номинации имеют официальный характер, однако если вторая номинация используется в обычных условиях (именно с ней мы сталкивались в первых документах), то первая — отражает поражение Пугачева в правах, в ней используется полуимя *Емелька* и приложение *государственный злодей*, от которого зависит причастный оборот, с одной стороны, объясняющий причину использования этого приложения, с другой — разводящий имя Пугачева и императора Петра III.

Следующий по времени допрос Пугачева состоялся в октябре 1774 г. Уже заголовок протокола этого допроса содержит оценочные номинации Пугачева: *Допрос злодея, самозванца, беглага с Дону казака Емельяна Иванова сына Пугачева, произведенной в Синбирске октября 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го чисел 1774-го года* [ЕПС: 105].

В ходе допроса, длившегося несколько дней подряд, Пугачев отвечал на многочисленные вопросы; его ответы записаны от третьего лица, т. е. зачастую отражают номинации не Пугачева, а официальных властей. Пугачев называется при этом по-разному: 1) *Пугачев* (обычно в позиции приложения к местоимению *он*): *Объявляет он, Пугачев, что...* [ЕПС: 107], *После сего отослан Пугачов из губернаторской экспедиции в обыкновенный острог* [ЕПС: 114]; 2) *злодей Пугачев*: *Намерение самого злодея Пугачова было:*

бежать, по подговору зятя Павлова [ЕПС: 107], Возмечтал он, **злодей Пугачов**, принять на себя высокое звание покойного государя Петра Третьяго в Добрянске... [ЕПС: 109], Напоследок показал он, **злодей Пугачев** [ЕПС: 125]; 3) злодей: Ушедши **злодей** с дороги, пробрался... [ЕПС: 107]; Условяся, **злодей** поехал в Яицкой городок будто бы для покупки рыбы [ЕПС: 110], Сей подъячей спрашивал **злодея**, имеет ли он обещанные деньги при себе? [ЕПС: 112]. Из указанных трех типов номинации наиболее частотной оказывается однословная — **злодей**. В документе избегается его именование по фамилии.

Приведем типичный пример, показывающий, как Пугачев называется в тексте документа:

[Вопрос]

5. В бунтовщицъей твоей шайке были ли кто имянно в чиновных и доверенных у тебя людях из дворян или из штаб- и обер-офицеров, отставных, ссылочных или из служащих?

[Ответ]

Из чиновных людей в бунтовщицъей шайке у него, **злодея** были с самага начала, после разбития генерал-майора Кара, из взятых двух рот Второго гранодерскаго полку подпорутчик Шванович [15] Обстоятельства значатся в допросе самого Швановича]. Сей офицер служил ему, **злодею**, охотно, бывал на сражениях под Оренбургом при сообщнике **злодея** — яицком казаке Шигаеве. Сказывал **злодею** о себе, что он, Шванович, крестник в бозе опочивающей государыни императрицы Елисавет Петровны, что умеет говорить многими языками и может способным быть к установленной в то время злодейской коллегии. По сей прозьбе приказал **злодей** Швановичу быть при названной Военной коллегии и перевести на немецкой язык подложный манифест и указ к оренбургскому губернатору. И с тех пор уже под всеми злодейскими указами подписывался он, Шванович, вместо самага **злодея** по латыни «Петер». Сверх того, слышал он, **злодей**, от Горшкова, что оный думный дьяк во злодейской коллегии обще с Швановичем писали указ на немецком и французском языках, но куда оный указ послали, — **злодей** неизвестен [16] С очной ставки Горшкова [с] **злодеем** и Швановичем изведать можно] [ЕПС: 116–117].

Таким образом, оценочная номинация *злодей* становится основным способом именованя Пугачева; его антропонимическое имя избегают употреблять в документах. Выбор в качестве средства номинации Пугачева слова *злодей*, видимо, обусловлено его смысловой емкостью — в отличие от современного русского языка, где оно имеет преимущественно оценочный характер и употребляется в отношении тех, «кто вызывает раздражение, гнев и т. п. своими поступками, действиями» (БТСРЯ 2000: 365), в XVIII в. оно синкретично: ‘человек, совершающий злое, дурное дело; человек, преступающий закон’, ‘враг, неприятель; противник’ и, среди прочего, используется в указанном оценочном значении (СлРЯ XVIII, 8: 188–189).

Избегается употребление фамилии Пугачева и в протоколе его допроса в Московском отделении Тайной экспедиции Сената (4–14 ноября 1774 г.). В этом обширном документе слово *Пугачев* употреблено лишь несколько раз. Например, в самом начале документа в составе сложной номинации: «1774 года ноября 4 дня присланной из Синбирска от генерала-аншефа графа Панина пойманной **государственной злодей и бунтовщик Емелька Пугачов** за караулом лейб-гвардии Преображенского полку капитана Галахова в Москву, в Тайную экспедицию, привезен пополудни в 9-м часу; и того ж числа в присутствии генерала-аншефа, сенатора, лейб-гвардии Конного полку подполковника, ея императорскаго величества генерала-адъютанта, разных орденов кавалера князь Михайлы Никитича Волконского в Тайной экспедиции обер-секретарем Шешковским о учиненных **оним злодеем Пугачевым** злодействах и о чем надлежало спрашиван, а в допросе сказал...» [ЕПС: 127].

На протяжении документа (за исключением некоторых случаев, например: *О французе ж Ламаре и Каре Пугачов* сказал... [ЕПС: 215], где использование фамилии обусловлено, возможно, его упоминанием среди лиц) господствует его именование *Емелькой* в качестве приложения к местоимению он: ...отечества ж твоя своего не знает он, **Емелька**... [ЕПС, 128], *И он, Емелька, ей те раны на ногах и показал* [ЕПС, 131], *Жена и мать уговаривали ево, Емельку, чтоб...* [ЕПС: 131], *И потом ево, Емельку, отпустил* [ЕПС, 134], *А по сему условию он, Емелька, то свое намерение*

и исполнил [ЕПС, 166], Причем женщины просили ево, **Емельку**, чтоб он с судна их взял к себе [ЕПС: 207] и т. д.

В последующих документах в качестве именованя Пугачева использовалась либо гипокористика *Емелька*, либо оценочное приложение *злодей*. Например:

1774 года ноября 4 дня пополудни в 10-м часу в Тайную экспедицию прибыл господин генерал-аншеф, сенатор и кавалер князь Михайла Никитич Волконский, и в судейскую камору привезенной сего числа из Синбирска **злодей Пугачев** его сиятельству представлен. **Злодей** без всякого спроса пал на колени и сказал: «Виноват пред богом и пред государынею». Потом его сиятельство уличал его, **злодея**, бесчеловечными зверскими злодеяниями. Оной **злодей** сказал: «Мой грех, подбили меня люди. Да уже таперь виноват» (протокол показаний Е. И. Пугачева на допросе в Московском отделении Тайной экспедиции Сената, 4 ноября 1774 г. [ЕПС: 216]);

1774-го года ноября 15-го дня в Тайной экспедиции **злодей Емелька** в пополнение перваго своего допроса показал: 1-е. Отставной гвардии унтер-афицер Голев, в Берду ль он пришел в его толпу, и кем он привезен, — не знает. А узнал оного Голева по приходе ево, **Емельки**, в Белорецкой завод, потому што он, **Емелька**, просил ево, чтоб дать ему команду. И он, **Емелька**, сказал ему: «Набери сам команду, так и будь полковник». И он, Голев, сказал: «У меня-де уж набрано здесь сто человек». И он, **Емелька**, сказал: «Набери-де ещо, так и будет полк» (протокол показаний Е. И. Пугачева на допросе в Московском отделении Тайной экспедиции Сената, 15 ноября 1774 г. [ЕПС: 218]).

При использовании этих двух номинаций можно отметить любопытную синтаксическую особенность: имя *Емелька* употребляется только в качестве обособленного приложения к местоимению *он*, тогда как номинация *злодей* используется в самых разнообразных синтаксических позициях — подлежащего, дополнения, определения (например: жена **злodeева Софья**, **злodeевы** способники [ЕПС: 237]; попутно отметим, что прилагательное *злодейский* в сочетаниях типа *злодейская шайка* имеет не столько качественно-оценочное, сколько притяжательное значение *шайка злодея*; ср.: *Как был он, злодей, под Царицыным, то приходил к нему салдат, а как ево зовут, — не помнит, и говорил, чтоб он дал ему*



**злодейской** свой возмутительной манифест для отвозу к отставному порутчику Гриневу... [ЕПС: 219]) и, среди прочего, обособленного приложения к местоимению он.

С декабря 1774 г. отмечается возвращение в документы, связанные с допросом Пугачева, упоминание его фамилии, которая начинает употребляться наряду с отмеченными выше оценочными номинациями *Емелька* и *злодей*. Например:

*Того ж числа означенному Попову в споре с злодеем Емелькою дана очная ставка. А на очной Попов с тем Емелькою ставке говорил то же, что он в Тайной экспедиции в допросе своем показал, и в том он утвердился. К сей очной ставке Василей Попов руку приложил. А Пугачов в очной с Поповым ставке говорил то ж, что и в пополнительном 28 числа минувшаго ноября допросе своем он показал, и в том утверждался (Протокол показаний Е. И. Пугачева на очной ставке с В. И. Поповым в Московском отделении Тайной экспедиции Сената, 3 декабря 1774 г. [ЕПС: 232]);*

*1774 года декабря 5 дня в Тайной экспедиции в присутствии генерала-майора и кавалера Потемкина злодей Пугачов спрашиван был с довольным увещанием, чтоб он принес богу, всемилостивейшей государыне и пред всем отечеством во всех своих действиях покаяние. И оной Пугачов, став на колени, говорил, что... <...> Чика показал, что он злодею о царицынском самозванце сказывал, слыша об оном в городе от многих. Шигаев в очной ставке с злодеем говорил, что он о Пугачове, что он — донской казак, не знал и злодею о сем не говорил (Протокол показаний Е. И. Пугачева на очной ставке с И. Н. Зарубиным, М. Г. Шигаевым и Д. К. Караваемым в Московском отделении Тайной экспедиции Сената, 5 декабря 1774 г. [ЕПС: 233–234]).*

Появление фамилии Пугачева в более поздних документах объясняется, очевидно, тем, что они являются протоколами очных ставок, в тексте которых необходимо было отделить друг от друга и противопоставить позиции допрашиваемых. Рассматривать это как признаки изменения отношения к Пугачеву невозможно: при допросах Пугачева от 1 и 2 декабря [ЕПС: 228–231], когда не было других допрашиваемых, нет и употребления имени Пугачева в тексте протокола — только *Емелька* и *злодей*.

#### 4. Особенности именованя Пугачева в приговоре

Окончательным документом, в котором нашли отражение результаты проведенного следствия и была определена судьба Пугачева и других бунтовщиков, стала «сентенция о наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников» от 10 января 1775 г. [Сентенция]. Этот документ, в отличие от следственных документов, можно отнести к числу парадно-риторических текстов. Эта стилистическая характеристика текста находит свое отражение и в номинации Пугачева. Именоване Пугачева в тексте сентенции лишь отчасти повторяет номинации в следственных документах: он называется *Емелькой* и *злодеем*, хотя самостоятельно имя *Емелька* не упоминается — только в составе двукомпонентного имени *Емелька Пугачев*. Полное имя *Емельян* встретилось в тексте лишь один раз в предложении со значением идентификации в составе именной части сказуемого:

*Сей злодей пред полным собранием объявляя, что он подлинно донской казак Зимовейской станицы Емельян Иванов сын Пугачев...* [Сентенция: 4]. Употребление полного имени было продиктовано в данном случае важной целью — показать, что Пугачев не является императором Петром III.<sup>3</sup>

В сентенции для именованя Пугачева обычно используются именные группы, в состав которых входит имя собственное *Пугачев* или *Емелька Пугачев* в сопровождении одного — трех приложений, которые отличаются разнообразием. Среди использованных приложений встретились: *злодей* (12 раз), *самозванец* (9), *бунтовщик* (7), *варвар* (1), *изверг* (3), *губитель* (1):

*о бунтовщике, самозванце и государственном злодее Емельке Пугачеве, следствие о известном бунтовщике, самозванце и государственном злодее Емельке Пугачеве, важность вины, лютость и варварство сего бунтовщика, самозванца и мучителя Емельки*

---

<sup>3</sup> Примечательно, однако, что немного ранее в тексте сентенции говорится о том, что в тайной московской экспедиции Пугачев признал, что «он подлинно донской казак Зимовейской станицы Емелька Иванов сын Пугачев» [Сентенция: 2], т. е. использована гипокористическая форма имени *Емелька* в том же контексте.

Пугачева [Сентенция: 1]; хищное сердце злодея Пугачева, с злым намерением бунтовщика и злодея Пугачева, поимкою злодея Пугачева [Сентенция: 2]; варвар Пугачев, сей изверг и губитель Пугачев [Сентенция: 3]; бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву, изверга и самозванца Пугачева, изверга Пугачева [Сентенция: 7]; злодея Пугачева, злодея и самозванца Пугачева (дважды) [Сентенция: 8], злодея Пугачева (дважды), бунтовщик и самозванец Емелька Пугачев [Сентенция: 10], о бунтовщице, самозванце и государственном злодее Емельке Пугачеве, злодея Емельку Пугачева [Сентенция: 11]. Таким образом, наиболее частотными оказываются приложения злодей, самозванец и бунтовщик.

Перечисленные приложения используются в тексте и в качестве самостоятельного именованного Пугачева; для референтного (идентифицирующего) употребления этих оценочных существительных, основной синтаксической позицией которых является позиция предиката или приложения, в именную группу вводится указательное местоимение *сей*: к суду над **сим извергом, сей злодей, бунтовщик и губитель** [Сентенция: 1], зверское ухищрение *сего злодея, где только **сей предатель и губитель** коснулся* [Сентенция: 3], *самым признанием **сего злодея*** [Сентенция: 4] и т. д. Сентенция определяла судьбу не только Пугачева, но и его сподвижников. В той части, которая касалась последних, слово *злодей* иногда использовалось для номинации и других участников восстания, поэтому при именовании Пугачева при помощи оценочных слов к ним иногда добавляется прилагательное *главный*: например: *...но сожженная совесть **сего злодея*** [казака Афанасия Перфильева] *под покровом благонамерения алкала злобою: он, приехав в сонм злодеев, представился **к главному бунтовщику и самозванцу**, в Берде тогда бывшему...* [Сентенция: 3].

Кроме того, при номинации Пугачева используются и некоторые другие оценочные слова, которые не встречаются в позиции приложения, — *предатель, преступник, враг отечества, тиран* и др. (самостоятельно или в сочетании с оценочными определениями):

*Хищное сердце злодея Пугачева, рассмотря вражду помянутых казаков, возбудило **сего богомерзкого предателя** возжечь*

*и разлить в смущенных умах пламень бунта...* [Сентенция: 2]; *...сей преступник Богу и монархине и враг отечества, называя себя покойным государем Петром Третьим, приступил к городу, и послал лжесоставный манифест к комменданту, в оном находящемуся...* [Сентенция: 3]; *Многочисленным злодействам сего изменника, врага и тирана означения вместить здесь невозможно...* [Сентенция: 3]. Идентифицирующая функция оценочных слов также сопровождается присоединением к ним указательного местоимения *сей*.

Таким образом, именование Пугачева в тексте сентенции в значительной мере сохраняет преемственность с его именованием в следственных документах. К числу сходств относится употребление в качестве имени собственного антропонима *Емелька Пугачев* и именной группы *злодей Пугачев*, однако полуимя *Емелька* самостоятельно для номинации Пугачева не используется. Повидимому, это связано с тем, что сентенция предназначалась для всенародного известия и, таким образом, имени *Емелька* было недостаточно для однозначной идентификации преступника. Кроме того, документ определял судьбу не только Пугачева, но и его сподвижников, поэтому использование одного имени оказывалось недостаточно. Наконец, еще одно обстоятельство, побуждавшее составителей документа использовать фамилию Пугачева при его номинации, — это необходимость убедить граждан страны в том, что Пугачев не имел никакого отношения к царю Петру III (номинация *Емелька Пугачев* соотносится с номинацией другого похитителя царского имени — *Гришки Отрепьева*).

В отличие от следственных документов в сентенции очень широко использованы оценочные апеллятивы к фамилии Пугачева — *злодей, самозванец, бунтовщик, варвар, изверг, губитель*. И если употребление слов *злодей, самозванец, бунтовщик* в деловой письменности имело давнюю традицию, то слова *изверг, варвар, губитель, тиран*, сочетание *враг отечества* имели книжный, отчасти и заимствованный (калькированный) характер. Их употребление было направлено на создание приподнятой, торжественной окраски документа, имело отчетливо риторический характер.

## Выводы

Именованье Пугачева в документах 1770-х гг. дает обильную пищу для наблюдений над особенностями официального именования лиц в деловой письменности второй половины XVIII в. Антропонимические модели в официальных документах различались в зависимости от функции в тексте, типа текста, положения в тексте — от этого зависел выбор между однокомпонентной, двухкомпонентной или трехкомпонентной моделью именования, а также наличие у имени приложений (апеллятивов).

Для начальных и завершающих клаузул документа можно отметить жесткую закрепленность формы имени, особенно когда речь шла об употреблении царского имени. Недостаточное владение Пугачевым и его сподвижниками формуляром документов и, в частности, правилами употребления царского имени, получили отражение в документах начального этапа восстания. Однако с середины ноября 1773 г., когда в состав бунтовщиков влились люди, знавшие письменный деловой этикет, эти отклонения в целом были преодолены. На этом этапе восстания документы, исходившие от бунтовщиков, представляли большую опасность для официальных властей, так как мало отличались от официальных документов, вызывая доверие со стороны тех, кому были адресованы. В каком-то смысле, это было платой за петровские реформы в области управления, которое стало подробно документироваться. О том, что власти вполне осознали эту опасность, стало строгое наказание тех участников, которые участвовали в составлении документов. Так, Иван Почиталин и Максим Горшков обвинялись в том, что они «были производителями письменных дел при самозванце, составляли и подписывали его скверные листы, называя государевыми манифестами и указами, чрез что, умножая разврат в простых людях, были виною их несчастья и пагубы». Согласно приговору их предписывалось «высечь кнутом и, вырвав ноздри, сослать на каторгу» [Сентенция: 9].

Отдельный интерес для анализа официального именования лиц в документах XVIII в. представляют материалы розыскных дел и текст приговора. Особенности номинации Пугачева показывают исключение его имени из официального антропонимикона.

Как в розыскных документах, так и в сентенции он назван полуименем (*Емелька*), хотя такое именование в документах было официально упразднено еще в начале XVIII в. В отличие от допетровской эпохи использование полуимени для именованя Пугачева имело иную функциональную нагрузку: оно было не средством интимизации отношений и способом воздействия на адресата, а выражением отношения официальной власти к человеку, пошатнувшему государственный строй, в котором было презрение (а отчасти и страх) к носителю этого имени. Вместе с тем эта номинация отсылала к другому самозванцу — *Гришке Отрепьеву*.

### Источники

1. АЮ — Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства. Изданы Археографической комиссиею. СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1838.
2. ЕПС — Емельян Пугачев на следствии. Сборник документов и материалов / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, Рос. гос. арх. древ. актов; Сост. Р. В. Овчинников, А. С. Светенко. М.: Языки русской культуры, 1997.
3. Пугачевщина, 1 — Пугачевщина. Т. 1: Из архива Пугачева (Манифесты, указы и переписка) / Под ред. Г. Е. Мейерсона. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926.
4. ПСЗРИ, 1–45 — Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 1825 года. Т. 1–45. СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1830.
5. ПСЗРИ-2, 1–55 — Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе: 12 декабря 1825 г. — 28 февраля 1881 г. Т. 1–55. СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1830–1884.
6. Сентенция — Сентенция о наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников, 10 января 1775 г. // ПСЗРИ 20: 1–12 (№ 14233)
7. Сокольский 1795 — *Сокольский И.* Кабинетский и купеческий секретарь, или Собрание наилучших и употребительных писем... 2-е изд., рассмотренное, вновь дополненное и разделенное на три части. М.: Тип. А. Решетникова, 1795.

## Литература

1. БТСРЯ 2000 — Большой толковый словарь русского языка / РАН. Ин-т лингв. исслед.; Сост., гл. ред. канд. филол. наук С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998.
2. Коркина 2015 — *Коркина Т. Д.* Формула рукоприкладства в кеврольских таможенных книгах первой четверти XVIII века // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 1. № 4. С. 99–107.
3. Коркина 2018 — *Коркина Т. Д.* Памятники региональной деловой письменности первой четверти XVIII века как лингвистический источник (на материале кеврольских таможенных книг): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2018.
4. Неволина 2011 — *Неволина А. М.* История антропонимов в разных типах тотемской деловой письменности конца XVI–XVII вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Вологда, 2011.
5. Русанова 2015 — *Русанова С. В.* Промемория в региональном делопроизводстве XVIII в.: функциональная направленность и жанровая специфика // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2015. № 2. С. 153–164.
6. СлРЯ XI–XVII, 22 — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 22 (*Раскидатися — Рященко*). М.: Наука, 1997.
7. СлРЯ XVIII, 8 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 8 (*Залѣзть — Ижоры*). СПб.: Наука, 1995.
8. Смольников 1996 — *Смольников С. Н.* Антропонимическая система Верхнего Подвинья в XVI в. (на материале памятников местной деловой письменности): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Вологда, 1996.

*Д. В. Руднев*

## **ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И РОДИТЕЛЬНЫЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СОЧИНЕНИЯХ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII В.**

---

---

### **Введение**

Одной из синтаксических функций антропонимов является выражение атрибутивных отношений, которые применительно к антропонимам реализуются как отношения притяжательности. Под притяжательностью «понимаются специфические отношения лица (субъекта притяжательности) к предмету или другому лицу (объекту притяжательности)», включающие в себя «а) собственно владение, обладание чем-либо (отчуждаемая и неотчуждаемая принадлежность), б) родственные и общественные отношения (родственная и общественная принадлежность), в) отношения автора к продукту его творческой деятельности (авторская принадлежность)» (Иванова 1975: 3–4).

История развития разных форм притяжательности и динамика этих форм изучена в целом неплохо (ниже дан краткий обзор существующей литературы), однако на материале языка XVIII в. эта тема почти не изучалась — исключение составляет диссертационное исследование В. К. Чернецкого, ограниченное рамками Петровской эпохи, и статья М. Виднэс, в которой на основе небольших выборок рассмотрен материал XVIII–XIX вв.

В предлагаемой работе анализ материала осуществляется на основе сочинений по русской истории XVIII в., в силу своего содержания включающих большой массив антропонимов. Изучение материала ведется в разных аспектах: анализируется употребление притяжательных прилагательных и родительного принадлежности, случаи их конкуренции друг с другом, особенности



сочетаемости этих форм, порядок следования притяжательных прилагательных относительно определяемого существительного, употребление падежных форм притяжательных прилагательных и система их окончаний.

### Способы выражения притяжательности в истории русского языка

Притяжательность выражалась в древнерусском языке различными способами: притяжательными прилагательными, родительным принадлежности, дательным принадлежности, а также сочетанием «у + Р. п.». В ходе исторического развития русского языка происходит постепенное вытеснение согласуемых форм выражения притяжательности управляемыми формами.

Притяжательные прилагательные образовывались при помощи суффиксов -ов (-ев), -жь, -ин, -ьнь, которые присоединялись к именам собственным и — реже — нарицательным. Продуктивность перечисленных суффиксов была различна в разные периоды истории русского языка. Суффикс -жь был продуктивен в XI–XIV вв., после чего выходит из употребления. В текстах более позднего времени он являлся средством стилизации и не отражал живую речь. Суффикс -ьнь был малопродуктивен по сравнению со старославянским языком и ограничен небольшой группой прилагательных (*отьнь, братьнь, дедьнь, дружиньнь, матерьнь, владычьнь, богородичьнь, господьнь, мужьнь, сыновьнь*), которые широко использовались в древнерусский и реже в старорусский период (Макарова 1952: 5–9). В конце XVII — первой трети XVIII в. группа прилагательных с суффиксом -ьнь ограничивалась словами *братьнь, мужьнь, сыновьнь, матерьнь, дочерьнь, Господьнь* (Чернецкий 1954: 6).

Наибольшей продуктивностью обладали суффиксы -ов (-ев)<sup>1</sup> и -ин. Продуктивность суффикса -ов (-ев) возрастает

---

<sup>1</sup> Суффикс -ов (-ев) по своему происхождению связан с основами на \*ŭ и получил продуктивность в пределах основ на \*ŏ, что, в свою очередь, привело к распространению окончания дательного падежа -ови (-еви), которое присоединялось обычно к тем же существительным, от которых образовывалось прилагательное с суффиксом -ов (-ев) (Фролова 1955: 277).

в старорусский период — по сравнению с древнерусским периодом число образований с ним возрастает в 5,5 раза, он остается продуктивным и в XVIII в., однако с середины XIX в. теряет продуктивность и в XX в. вытесняется родительным принадлежностью (Шумилова 2018: 186–187). Прилагательные с суффиксом -ин были продуктивны на протяжении XI–XVII вв., хотя они встречались значительно реже, чем прилагательные с суффиксом -ов (-ев). В отличие от суффикса -ов (-ев) суффикс -ин сохраняет активность и в современном русском языке. По мнению Б. М. Гриншпуна, различная судьба этих двух моделей была обусловлена стилистической окраской притяжательных прилагательных в современном русском языке: «притяжательные прилагательные чаще образуются от стилистически окрашенных имен существительных (разговорных, просторечных)» (Гриншпун 1967: 7). Это предопределило судьбу притяжательных прилагательных с суффиксом -ов (-ев), поскольку «основной костяк их производящих основ исторически составляли стилистически нейтральные или книжные имена существительные», наоборот, притяжательные прилагательные с суффиксом -ин сохраняют активность, так как «их производящими основами являются чаще всего стилистически окрашенные имена 1 склонения» (Гриншпун 1967: 7–8). В современном русском языке притяжательные прилагательные — непродуктивная категория: «они образуются от узкого круга основ имен существительных. Особенно непродуктивны образования с суффиксом -ов...» (Гриншпун 1958: 64).

Родительный принадлежности является вторым основным способом выражения принадлежности во всех славянских языках, включая русский. В древнерусском языке его употребление происходило в тех случаях, когда существительное со значением лица: 1) имело определение или приложение, 2) состояло из двух или нескольких слов, 3) было по происхождению субстантивированным прилагательным или причастием, 4) если выражалась принадлежность двум или более лицам (Макарова 1952: 13–14; Виднэс 1958: 168; Чернецкий 1954: 8–9). Со временем родительный падеж начинает расширять сферу своего употребления за счет конструкций с однословным родительным, где ранее господствовало притяжательное прилагательное. В древнерусском языке такие случаи

единичны, в старорусском языке их число заметно увеличивается, что свидетельствует о начавшемся нарушении в соотношении употребления притяжательного прилагательного и родительного принадлежности. В XVII в. однословный родительный принадлежности еще редок: Н. В. Логунова зафиксировала лишь 10 случаев (Логунова 1984: 10). В Петровскую эпоху доля однословного родительного принадлежности составляла уже 12,3% от всех случаев употребления родительного принадлежности (Чернецкий 1954: 9).

Процесс замены притяжательных прилагательных родительным принадлежности нарастал с течением времени. В современном русском языке частотность использования притяжательных прилагательных является одной из самых низких среди славянских языков (12% относительно родительного принадлежности), уступая по этому показателю только польскому языку (3%), но опережая украинский (27%), белорусский (41%) и прочие славянские языки (Иванова 1975: 19).

Причины распространения родительного принадлежности на месте притяжательных прилагательных имеют сложный характер. Называют следующие причины этого процесса:

— **коммуникативные:** 1) необходимость более полной характеристики лица, 2) усложнение социальной характеристики лица, особенно начиная с XVII в., 3) неспособность притяжательных прилагательных дифференцировать субъектно-объектные отношения при сочетании с абстрактными существительными (число которых особенно быстро возрастало в языке Нового времени) (Макарова 1952: 19–20; Чернецкий 1954: 13–14);

— **семантические:** 1) сужение семантики притяжательных прилагательных (в древнерусском языке притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-ев и -ин были возможны от любого названия живого существа, но со временем стали образовываться лишь от названий единичных, конкретных живых существ; следствием этого стало сужение семантики сочетаний с притяжательными прилагательными и их лексикализация) (Фролова 1960; Фролова 1962: 28–34); 2) изменение восприятия и передачи отношений принадлежности — не со стороны предмета (притяжательные

прилагательные), а со стороны владеющего лица (родительный принадлежности и иные управляемые формы) (Логунова 1984: 16);

— **стилистические:** 1) стилистическая маркированность притяжательных прилагательных в современном русском языке как явления разговорно-просторечной сферы (Гриншпун 1967: 7–9); 2) распространение постпозитивного родительного принадлежности — результат влияния французского языка на русский в XVIII–XIX вв. (Виднэс 1958) (вставая на эту точку зрения, можно предположить и влияние польского языка во второй половине XVI — начале XVIII в.), такие конструкции воспринимались как стилистически высокие, книжные.

Дательный принадлежности не имел широкого распространения в русском языке. Идут дискуссии о том, был ли дательный принадлежности общеславянским явлением (Е. Ф. Карский, С. Я. Макарова) или заимствованием из старославянского языка (В. М. Истрин). В старорусский период дательный принадлежности не был связан с живой речью и использовался как средство стилизации (Макарова 1952: 16–17). Выделяют три структурно-семантические разновидности дательного принадлежности: дательный притяжательный, дательный отношения и объектно-притяжательный дательный, из которых первая разновидность к XVII в. вышла из активного употребления. Две другие разновидности не выражали принадлежность в чистом виде: существительное в Д. п. сохраняло объектное значение и связь с глаголом; ср.: *попъ Михайло тому Третьяку зять; Вино веселит с<e>рдце ч<e>л<o>в<e>ку* (Логунова 1984: 11). В Петровскую эпоху дательный принадлежности является пережиточным явлением и средством стилизации (Чернецкий 1954: 10–11).

### Материал исследования

Для сопоставительного анализа были отобраны следующие исторические труды: «Ядро российской истории» А. И. Манкиева (ок. 1715 г.; изд. 1770 г.), «История российская с самых древнейших времен» (Кн. 2) В. Н. Татищева (1740-е гг.; изд. 1773 г.), «Древняя российская истории» М. В. Ломоносова (1754–1758 гг.,

по изд. 1766 г.), «История российская от древнейших времен» (Т. 1 От начала до кончины великого князя Ярослава Владимировича) М. М. Щербатова (изд. 1770 г.). При выборе перечисленных трудов в качестве материала исследования мы руководствовались следующими соображениями. Во-первых, исторические труды описывают действия различных исторических персонажей и, как следствие, содержат большой массив притяжательных прилагательных и существительных в форме родительного принадлежности. Это делает их информативным источником исследования. Во-вторых, ограничившись при сопоставительном анализе только историческими трудами, мы попытались остаться в пределах одной стилистической группы текстов, поскольку не исключаем возможного влияния на выбор между притяжательными прилагательными или родительного принадлежности стилистических факторов. Стилистический аспект употребления и конкуренции этих двух форм выражения принадлежности применительно к XVIII в. остается неизученным. Ограничение материала исследования текстами одной тематической и стилистической группы позволяет проследить диахронические процессы в употреблении притяжательных прилагательных и родительного принадлежности на протяжении XVIII в. в однотипных текстах. В-третьих, для сопоставления были взяты текстовые фрагменты, повествующие о событиях до 1054 г. Эти хронологические рамки были заданы «Древней российской историей» Ломоносова, в которой повествование доведено до смерти Ярослава Мудрого. Таким образом, сравниваются тематически близкие фрагменты, в которых употребляется примерно один и тот же круг личных имен. Это позволяет достичь однородности сопоставляемого материала.

Вместе с тем следует отметить неизбежную трудность при интерпретации полученных результатов. Исторические труды XVIII в. испытывали серьезное архаизирующее языковое воздействие со стороны их основного источника — «Повести временных лет». Это означает, что в ряде случаев анализируемые труды могли отражать более раннюю норму употребления притяжательных прилагательных в текстах (используемых формантов, падежных форм, порядка следования компонентов в составе именной группы и пр.).

## Особенности выражения притяжательности в исторических трудах XVIII в.

### 1. «Ядро российской истории» А. И. Манкиева

А. И. Манкиев, секретарь русского резидента в Швеции кн. А. Я. Хилкова, завершил свой труд к 1715 г. Впервые книга была издана в 1770 г. Г. Ф. Миллером, который неверно атрибутировал авторство книги Хилкову, что нашло свое отражение на титульном листе: «Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князь Андреем Яковлеви-чем Хилковым...». Книга пользовалась большой популярностью в XVIII в. (в частности, как учебник истории) и была переиздана в 1784, 1791 и 1799 гг. При анализе языкового материала использовано первое издание (1770 г.), сплошная выборка примеров была произведена из первых семи глав (с. 1–76).

#### 1.1. Соотношение употребления притяжательных прилагательных и родительного принадлежности

В результате сплошной выборки было выявлено 100 употреблений притяжательных прилагательных и 69 употреблений родительного принадлежности, таким образом, в тексте Манкиева притяжательное прилагательное используется примерно в полтора раза чаще, чем родительный принадлежность.

##### 1.1.1 Притяжательные прилагательные

Практически во всех случаях притяжательное прилагательное образовано от имен собственных: *а Иосиф Жид в первой главе древностей еврейских Истрова или Эктанова сына, внука Симова, а правнука Ноева быть свидетельствует* (с. 10);<sup>2</sup> *Ярослав Владимирович, во святом крещении Георгий, внук Святославов, правнук Игорев [!], праправнук Руриков... стал всея России самодержец в году от Р. Х. 1019* (с. 72).

Однако изредка в книге Манкиева встречаются притяжательные прилагательные, образованные от нарицательных существительных, в т. ч. обозначающих не-лицо:

---

<sup>2</sup> Здесь и далее в пределах раздела, посвященного анализу языка исторического произведения, при паспортизации иллюстративного материала дается только ссылка на страницу того издания, которое указано в качестве источника материала.

*и все сии три народа житие свое в тех местах и селитьбах своих вели по обычаю зверину* (с. 19–20; ср. в «Повести временных лет»: *деревляне живяху звериньскимъ образомъ*); *А печенег, человек тяжелый, от крепкаго стремления кулакова, которое рускаго минуло, споткнувся, упал на землю* (с. 52–53).

В исследованном фрагменте были выявлены притяжательные прилагательные с суффиксами -ов-/-ев- (*Христов, Палемонов, Ярополков*), -ин (*Олгин*), -жь (*Божий*), но преимущественно с первым суффиксом, что отчасти объясняется его продуктивностью, но в значительно большей мере содержанием текста: историческое повествование в основном описывает события в мире мужчин, имена которых в большинстве своем относятся к древнему склонению на \**ō*. (Сказанное относится и к тем историческим произведениям, которые будут анализироваться далее.) Хотя на употребление притяжательных прилагательных в труде Манкиева оказывали влияние летописные тексты, однако следует отметить и существенное отличие от них: в древнейших летописях, в частности в «Повести временных лет», притяжательные прилагательные от существительных, основа которых оканчивалась на сонант, губной согласный или заднеязычный согласный, обычно образовывались при помощи суффикса -жь- (*Владимер — Владимирь, Изяслав — Изяславль, Святополк — Святополчь*) (см. об этом: Фролова 1962: 10–15). Манкиев такие формы практически не употребляет, заменяя их более новой формой с суффиксом -ов-/-ев-: *князь печенежский Курес... Святославовы войска... разбил* (с. 45); *а сокровища Владимировы себе побрал* (с. 70). Встретился лишь один случай употребления старой формы с суффиксом -жь-: *где Олга с тремя внуками своими, сыны Святославлими, Ярополком, Олегом и Владимиром, было заперлася* (с. 44).

В составе именных групп притяжательное прилагательное обычно постпозитивно, соотношение постпозитивных и препозитивных прилагательных составляет примерно 5: 1. Причины выбора препозитивной формы притяжательного прилагательного не являются очевидными, однако некоторые закономерности можно отметить. Препозитивное притяжательное прилагательное регулярно встречается:

— в сочетании со словом *войска*: князь печенежский Курес... **Святославовы войска**... разбил (с. 45); *принер Ярослав Святотполковы войска* к озерам (с. 69) (ср., однако: воевода Святополков Волчий хвост ругался и поносил **войска Ярославовы** (с. 69));

— при введении в состав именной группы других определений: **Сей Гостомыслов здравый совет**, услышав, новгородцы полюбили (с. 22); **Сему Владимирову**, хотя и **гордому, достойному**, однако ж, **запросу** цари константинопольские ... послали (с. 57); **Святославов первый боярин** именем Свадолт... советовал ему (с. 46); [Владимир] послал тайно к **Ярополкову верному наместнику** Блуду (с. 47–48); которому совету хотя противился **другой Ярополков советник** Вераско (с. 48).

#### 1.1.2. Родительный принадлежности

Практически все случаи употребления родительного принадлежности связаны с невозможностью использовать притяжательные прилагательные:

*Плод и семя* велось даже до времен и жития **патриарха Ноя** (с. 2); которые по свидетельствам **Страбона** и **Плиния** назывались **роксоляне** (с. 11); по смерти **обоих братьев меньших Синауса и Трувора** (с. 26); даже до смерти **царя Феодора Иоановича** (с. 27); во время **Болеслава стыдливаго**, владетеля польскаго, и **Даниила Романовича**, короля Руси, южной Волынии и проч. (с. 64).

В приведенных примерах невозможность образования притяжательных прилагательных обусловлена составным характером имени собственного, наличием у него приложения, использованием однородного ряда имен собственных. Манкиев избегает использовать притяжательное прилагательное и там, где оно теоретически было возможно — при наличии обособленных приложений, не входивших в состав именной группы:

*Сии князи три брата* произошли от семени **Пруса**, двоюроднаго брата кесаря **Августа** (с. 22); уклоняясь от разорения **Аттили**, короля онаго **свирепаго** (с. 23).

В ряде случаев в тексте Манкиева употреблен родительный принадлежности там, где в древнерусском языке обязательно использовались притяжательные прилагательные:

— в тексте: *И так наследие законных князей русских киевских от колена Яфетова и Мосохова* происшедших во **Осколде** и **Дире**



обманом **Олега** убитых скончался (с. 30); От того времени в сердце **Владимира** вера греческая вкореняться начала (с. 55); Святослав, ведомость улучив о убиении **Глеба**, очень был радостен (с. 68);

— в заголовке: о княжении **Игора** и дядке его **Олеге** и убиении князей киевских **Осколда** и **Дира** (с. 28);<sup>3</sup> о владычествовании **Олги** в Киеве (с. 34);

— в ссылке<sup>4</sup> **смерть Олги** (с. 44).

Почти все приведенные случаи объединяет то, что родительный принадлежности используется в сочетании с девербативами (обман, убиение, княжение, владычествование, смерть), где имя собственное указывает на субъект или объект действия; исключение составляет *в сердце Владимира*, где между элементами именной группы устанавливаются отношения «часть — целое».

Кроме перечисленных случаев выражения принадлежности, в исследованном фрагменте текста встретилась контаминированная конструкция, включавшая в свой состав притяжательное прилагательное и родительный принадлежности: *в которых содержится похвала **Владимировых Святославовича** действ воинских, церковных, домостроительных* (с. 59–60). По мнению В. К. Чернецкого использование контаминированных конструкций является следствием «вытеснения притяжательных прилагательных родительным падежом принадлежности» (Чернецкий 1954: 10). Это явление широко отмечается в текстах XV–XVII вв., главным образом в грамотках и челобитных. Они характерны для современной спонтанной речи, однако их употребление в письменной речи считается речевой ошибкой (Макарова 1952: 16; Логунова 1984: 14). В Петровское время употребление таких конструкций в письменной речи прекращается: ***Васильеву** жену **Соковнина** до указу въ сылку посылать не изволь* (ПИБ, 4: 476) (пример из: Чернецкий 1954: 10).

---

<sup>3</sup> Видимо, в данном случае употреблению родительного принадлежности на месте притяжательного прилагательного способствует продолжение фразы *и дядке его Олеге*, актуализирующее субстантивное, а не атрибутивное содержание формы выражения притяжательности.

<sup>4</sup> Речь идет о ссылках на полях страницы, которые указывают на тему повествования.

## 1.2. Падежные формы прилагательных

Падежные (и числовые) формы притяжательных прилагательных обнаруживают неодинаковую частотность в труде Манкиева, что отчасти обусловлено неодинаковой частотностью употребления падежных форм существительного, с которыми согласуются притяжательные прилагательные, отчасти — содержанием текста. В проанализированном фрагменте текста выявилось следующее распределение падежных форм притяжательных прилагательных: И. п. — 27, Р. п. — 33, Д. п. — 7, В. п. — 20, Тв. п. — 7, Пр. п. — 6 (всего 100 случаев употребления). Отметим увеличенную долю форм Р. п. Хотя Р. п. существительного является одной из наиболее частотных падежных форм в письменном тексте, в данном случае примерно треть случаев употребления притяжательного прилагательного в Р. п. приходится на устойчивое сочетание *от/до Рождества Христова* при указании дат исторических событий (10 случаев и еще в одном примере *до воплощения Христова*). Частотность употребления И. п. и В. п. во многом обусловлена содержанием текста. Притяжательное прилагательное в форме И. п. частотно в составе обособленного приложения к именам действующих лиц, указывающего на родственные и семейные отношения; например:

*как сведаль Олег, дядка Игорев (с. 27); которая после того в крещении названа Елена, правнучка Гостомыслова (с. 32); Владимир Святославович, внук Игорев, правнук Рюриков, по смерти братьей своих Ярополка и Олега овладел всею полунощною, восточною, полуденною, белою и черемною Россию (с. 49),*

а также при указании на «притяжательность по подчиненности, подвластности, по связи с должностью, деятельностью» (Фролова 1960: 336):

*а Глебов притоманный повар, неблагодарный раб, на своего государя встав, ножом его зарезал (с. 68); Блуд, воевода Ярослав, Болеслава чрез реку поносить стал (с. 70); поляки Болеславы, на постоялых дворах лежав, руским людям надокучали (с. 70).*

Частотность В. п. притяжательных прилагательных обусловлена их употреблением в составе именных групп с объектным значением, что объясняется представлением истории как борьбы между

различными лицами, наделенными властью. В качестве объектов воздействия выступают как предметы, так и люди:

*Оттон, поставлен будучи кесарем, Галбу убил и Вителлиевы войска трижды побил (с. 16); и пришед на свое княжение, Ярополкова наместника из Новагорода выгнал (с. 47); побрав сокровища Ярославовы и две сестры Святополковы, [Болеслав] пошел в Польшу (с. 71).*

Во втором примере отметим употребление неодушевленной формы *две сестры Святополковы*: использование количественно-именных оборотов, включающих в свой состав одушевленные имена, в неодушевленной форме В. п. (*вижу четыре студента* вм. *вижу четырех студентов*) обычно характеризуется как тенденция последних десятилетий, однако этот пример указывает на то, что тенденция может иметь очень давний характер.

Остальные падежные формы редки и обычно связаны с употреблением в составе устойчивых сочетаний. Так, Д. п. часто встречается в составе оборота *по совету* или *по повелению*, Тв. п. — при выражении совместности или в причинном значении, Пр. п. — в сочетании с предлогом *по* 'после' и с предлогом *о* в делиберативном значении. Например:

*И так Ярополк, по совету Свадолтову войска собрав, поднял войну на брата Олега (с. 46); которого они послушав побегали с людьми и слугами Святополковыми (с. 67); государи римские по смерти Нероновой... к междусобным войнам мысли склонили (с. 16).*

Текст Манкиева примечателен тем, что в нем фиксируется широкое проникновение адъективных флексий в систему склонения притяжательных прилагательных. Собранный материал позволяет делать выводы только о системе падежных окончаний прилагательных с суффиксом —ов-/-ев-. Как и в современном русском языке, субстантивные флексии широко используются в И. п., Р. п., Д. п., В. п. ед. ч. мужского-среднего рода (*от колена Яфетова и Мосохова, по совету Блудову, в обоз Владимиров*); в Т. п. использованы адъективные формы (в XVIII в. именные формы в Т. п. были невозможны, так как были утрачены еще в древнерусскую эпоху):

дивным жребием **Божиим** (с. 23), исканием **Святополковым** (с. 69). В Пр. п. используются субстантивные окончания: в корот<к>ом времени по Вознесении **Христове** (с. 62), о **Ярославове** самодержавстве над **Россиєю** (с. 67).

При сочетании с существительными женского рода в Р. п. и Пр. п. ед. ч. использованы новые, адъективные окончания: по смерти **Нероновой** (с. 16), **Вина той поездки Палемоновой** из Рима была такая (с. 23), по смерти **Рюриковой** (с. 32), оставшись после **Игоровой** смерти двух лет (с. 46). Случаи активного проникновения новых флексий в систему окончаний притяжательных прилагательных женского рода в Петровскую эпоху отмечены В. К. Чернецким (Чернецкий 1954: 7–8).

Распределение субстантивных и адъективных окончаний во множественном числе соответствует современному состоянию: в И. п. и В. п. (неодуш.) используются субстантивные окончания, в остальных случаях — адъективные:

*дабы того не наслышался или из тех же **Моисеевых** книг не читался* (с. 2); *и там в лодии со всеми войски **Игоровыми** всед* (с. 29); *что войска **Ярополковы** в городе от утеснения стали изнурены* (с. 48); *припер **Ярослав Святополковы** войска к озерам* (с. 69).

## 2. «История российская с самых древнейших времен» (Кн. 2) В. Н. Татищева (1740-е гг.; изд. 1773 г.)

«История российская с самых древнейших времен» В. Н. Татищева была написана в 1740-х гг. Язык произведения в значительной мере славянизирован. Для анализа была использована кн. 2, изданная в 1773 г., сплошная выборка примеров произведена на с. 1–115.

### 2.1. Соотношение употребления притяжательных прилагательных и родительного принадлежности

В результате сплошной выборки были выделены 157 случаев употребления притяжательного прилагательного и 75 случаев употребления родительного принадлежности. Притяжательное прилагательное использовано в 2,1 раза чаще, чем родительный принадлежности.

### 2.1.1 Притяжательные прилагательные

В подавляющем большинстве случаев притяжательные прилагательные образованы от имен собственных: *и того же году убиен бысть от болгар сын **Осколдов*** (с. 12); *За сие отец **Лют**ов Свеналд озлобился на Олга зело* (с. 55); *тело же **Владимирово**, увертев в ковер... положили у церкви, не сказуя кто* (с. 90).

Кроме того, встретились притяжательные прилагательные, образованные от нарицательных существительных со значением лица — *фараонов, княжий, господень, царевнин, отцов*; *и рекоша старцы **фараоновы*** (с. 10); *Епископ же корсунский со иереи **царевнины**, огласив, крести его* (с. 73); *не ведая смерти **отцовой*** (с. 93).  
Случаи образования притяжательных прилагательных от неодушевленных существительных не выявлены.

Выделенные притяжательные прилагательные образованы при помощи суффиксов -ов/-ев- (*Гостомыслов, Улебов, Ярополков*), -ин- (*Олгин, Олмин, Путешин, Добрынин*), -жь- (*княжий, Ярославль*), -ънь (*господень*), в подавляющем большинстве случаев притяжательные прилагательные имеют суффикс -ов/-ев-. В отличие от Манкиева Татищев широко использует устаревший суффикс -жь- для образования притяжательных прилагательных от некоторых личных имен: *Преставися Малфреда Чехиня, **мать Святославля**, и вскоре потом преставися Рогнеда, **мать Ярославля*** (с. 87), *Владимир, воротясь с варяги в Новгород, объявил **посадникам Ярополчим** тако* (с. 57).

Суффикс -жь- широко использован для образования притяжательных прилагательных от сложных мужских имен, основа которых оканчивается на —слав, очень редок в прилагательных, образованных от имен с основой на заднеязычный и не используется в сочетании с основой на сонант; ср.: *имея надежду на **изменника Ярополкова*** (с. 58), *с ними же [поехали] Добрыня, **вуй Владимиров**, и Анастас* (с. 77).

При образовании притяжательных прилагательных от имен собственных с компонентом -слав- Татищевым предпочитается старый суффикс -жь- (25 случаев употребления: *Ярославль* — 14, *Святославль* — 7, *Изяславль* — 2, *Мстиславль* — 1, *Болеславль* — 1), суффикс -ов- встретился лишь один раз: *уведав **Святославово отшествие*** (с. 50).

Татищев употребляет притяжательное прилагательное в составе именной группы преимущественно в постпозиции к существительному (139 в постпозиции и 25 препозиции). Наиболее устойчиво употребляются постпозитивные притяжательные прилагательные, указывающие на родство и семейные отношения, в составе приложений к именам собственным: *В сие же время в Греции начал царствовать Константин, сын Леонов, зять Романов* (с. 25).

Препозитивное употребление притяжательных прилагательных в тексте Татищева не имеет четких правил, отметим лишь некоторые тенденции:

— в составе устойчивых сочетаний: *идеже ныне Олмин двор* (с. 14), *Тогда Симеон болгарский взял град Андреан, иже первее Арестов град нарицался, от Ареста, сына Агамемнона* (с. 26), *Святополк же исполнися беззакония, Каинов смысл прияв* (с. 92) (ср., однако, *приим помысл Каинов* (с. 93)), *а стояла [церковь] на конце Бискупли улицы* (с. 109), *Димитриев монастырь* (с. 112);

— на полях книги как указание на тему повествования: *Хамова часть* (с. 1), *Афетова часть* (с. 2), *Игорева могила* (с. 38), *Владимирово беззаконие* (с. 60), *Магометов закон* (с. 64);

— в сочетании с абстрактными существительными: *по Пилатову на кресте надписанию* (с. 16), *мир учинен Ивановымписанием на дву хартиах* (с. 24), *уведав Святославова отшествие* (с. 50), *разсудя, что ему сие Святополково злодейство оставить туне не полезно* (с. 95), *а о Федосиеве житии последи скажем* (с. 113);

— при выражении притяжательным прилагательным значения принадлежности: *а Глебу [отдал] — Муром, Борисову часть* (с. 76), *и дал Владимир Новгород Ярославу, а Борису Ростов, Ярославлю отчину, Глебу, брату его, Муром, отчину Борисову, той бо пребываше при отце неотлучно* (с. 89) (ср., однако, окончание второго примера: *Муром, отчину Борисову*).

Приведенные случаи препозитивного употребления притяжательных прилагательных указывают, судя по всему, на то, что препозиция как-то связана с определенностью именной группы, однако возможность во всех отмеченных случаях параллельного употребления притяжательного прилагательного как в препозиции,

так и в постпозиции позволяет говорить лишь о формировании новой тенденции.

### 2.1.2. Родительный принадлежности

Большая часть случаев употребления родительного принадлежности связана с невозможностью использовать притяжательное прилагательное (составной антропоним, наличие у антропонима приложения (в том числе обособленного в постпозиции), однородный ряд антропонимов):

*летосказание **Нестора**, черноризца Феодосиева монастыря Печерскаго (с. 1), во дни **Нектана** и **Фалека** (с. 3), которой рожден от Малуши, ключницы Олгиной, дочери **Марка Любженина** и сестры Добрыниной (с. 49), Владимир за противности **польскаго князя Мечислава**, собрав войска, на него пошел (с. 77), Преставися Всеслав, сын **Изяслава Полоцкаго**, внук Владимиров (с. 88).*

По сравнению с трудом Манкиева в «Истории» Татищева обнаруживается очень большая доля (36 из 75) родительного принадлежности от однословных антропонимов, на месте которых в древнерусском языке почти всегда употреблялось притяжательное прилагательное. В подавляющем большинстве случаев (29 из 36) родительный принадлежности сочетается с девербативом или деадъективом (*власть, убивство, отказ, смерть, храбрость* и пр.), выражая субъектные (субъект действия или носитель признака) или объектные отношения: *по смерти **Святослава** остался Ярополк в Киеве (с. 55), [вельможи] хотели **смерть Владимира** утаить (с. 90), **Ярослава ревность** о учении (с. 107 — ссылка).*

Из числа конкретных существительных, в сочетании с которыми встретился родительный принадлежности, отметим *сын, мать, кумир, лета: разделение **сынов Ноя** (с. 1 — ссылка), иже перее Арестов град нарицался, от Ареста, **сына Агамемнона** (с. 36), Малуша, **мать Владимира** (с. 49 — ссылка), И пришед Добрыня в Новгород поставил **кумира Перуна** над рекою Волховом (с. 61), **лета Ярослава** (с. 98 — ссылка).*

При употреблении родительного принадлежности в составе ссылок, указывающих на тему повествования, он часто оказывается в нехарактерной для него препозиции к определяемому слову,

которая отсутствует у него при употреблении в составе основного текста: *Святослава храбрость* (с. 39 — ссылка), *Олги причина крещению* (с. 41 — ссылка), *Ярополка братолюбие* (с. 55 — ссылка), *Анастасия совет Владимиру* (с. 70 — ссылка), *Владимира предосторожность* (с. 80 — ссылка) и др. Возможно, такой порядок был вызван стремлением акцентировать действующее лицо повествования. Он не встретился в других исторических произведениях. В стилистическом отношении это явление перекликается с препозитивными несогласованными определениями, указывающими на ведомственную принадлежность лица, в деловой речи XVIII в. (например: *брянского мушкетерского полку премьер-майор Нелидов*).

## 2.2. Падежные формы прилагательных

Распределение падежных форм притяжательных прилагательных имеет следующий вид: И. п. — 87, Р. п. — 22, Д. п. — 9, В. п. — 27, Тв. п. — 3, Пр. п. — 9 (всего 157 словоупотреблений). Наиболее частотно (более половины случаев — 55%) притяжательное прилагательное употребляется в форме И. п., впрочем, из этого числа шестую часть (14 примеров) составляют случаи употребления притяжательного прилагательного в составе тематических ссылок на полях, которые оформлены в форме номинативных структур (*часть Симова, Афетова часть, война Осколдова на грек* и т. д.). Именные конструкции, включающие в свой состав притяжательное прилагательное в И. п., выполняют различные синтаксические функции:

— грамматического субъекта предложения: *Вельможи же Игоревы советовали и говорили* (с. 28), *Служители же Глебовы пришли в страх* (с. 94);

— приложения к имени собственному: *воевода же бе Свенелд, отец Мстишин* (с. 36), *За сие отец Лютов Свеналд озлобился на Олга зело* (с. 55);

— именной части сказуемого: *а сей есть сын Рюриков* (с. 14), *Понеже Вышеград был Олгин* (с. 40).

Большинство случаев употребления В. п. приходится на именные группы в функции прямого дополнения при переходных глаголах: *Сие спрашивали они [греки] коварно, чтоб узнать силу Святославлю* (с. 51), *тело же Владимирово, увертев в ковер...*



положили у церкви, не сказуя кто (с. 90), убийцы же закололи Георгия и многих служителей **Борисовых** побили (с. 92).

Именные конструкции с притяжательными прилагательными в Р. п. используются в разнообразных синтаксических функциях, наиболее регулярно в сочетании с предлогом *от* и в беспредложных сочетаниях с другими существительными:

*бысть язык славенск от племени Афетова* (с. 3), *Утаилися тогда некие от рабов Борисовых* (с. 92); *[Владимир] пошел к Киеву на брата Ярополка для мщения убивства Олгова и своя обиды* (с. 57).

Притяжательное прилагательное в остальных падежах отмечается редко — особенно редким является Тв. п. Прилагательное в Д. п. регулярно отмечается в составе именных групп с адресатным и дестинативным значением, в Пр. п. — с делиберативным значением (с предлогом *о*): *и пришед ко гробу Игореву* (с. 38), *Владимир, воротясь с варяги в Новгород, объявил посадникам Ярополчим тако* (с. 57); *а о Федосиеве житии последи скажем* (с. 113).

Несмотря на стилистическую установку Татищева на архаизацию речевых форм повествования, система падежных окончаний показывает проникновение адъективных флексий, хотя и не так широко, как в тексте Манкиева. Собранные материалы позволяют делать выводы о системе окончаний притяжательных прилагательных с суффиксом —ов-/—ев-. Особенности употребления субстантивных и адъективных окончаний дают основание разделить их на три группы: 1) формы мужского-среднего рода ед. ч.; 2) формы женского рода ед. ч. и 3) формы множественного числа всех родов. В первой группе употребление старых (субстантивных) окончаний представлено наиболее широко: в И. п., Р. п., Д. п., В. п., Пр. п.:

*по завещанию Гостомыслову* (с. 11), *Того ж году древяне отложились от Игоря по смерти Олгове* (с. 25), *которому и повелел разведать о состоянии Святослави* (с. 51–52), *с ними же [поехали] Добрыня, вуй Владимиров, и Анастас* (с. 77), *У Всеволода, сына Ярославля, родился от царевны греческой сын* (с. 114).

В Тв. п. используется только адъективная флексия: *мир учинен Ивановым написанием на дву хартиах* (с. 24).

Во второй группе проникновение адъективных окончаний представлено шире — устойчивыми являются только окончания И. п. и В. п. В Р. п. и Пр. п. у Татищева соседствуют старые и новые формы (при этом в Пр. п. старые формы встречаются чаще, чем в Р. п., где господствуют адъективные флексии), в Д. п. отмечена только одна новая форма:

— (Р. п.) [*Игорь*] положил на них дань больше **Олговой** (с. 25), [*послы*] Олги, княгини **Игоревы** (с. 29), войско Игореве **Свинелдовой** власти (с. 35), сие нам тяжчае **Игоревой** смерти (с. 37), от Малуши, ключницы **Олгиной** (с. 49)

— (Д. п.) они же учинили елико удобно к пользе **Олговой** (с. 18),

— (Пр. п.) Того ж году древляне отложились от Игоря по смерти **Олгове** (с. 25), получа весть о смерти **отцовой** (с. 91), известие о смерти **отцове** и убиении Бориса (с. 93), на конце **Бискупли** улицы (с. 109).

В третьей группе употребление адъективных и субстантивных флексий соответствует современному (в И. п. и неодушевленном В. п. — субстантивные формы, в остальных падежах — адъективные): *нападая на пределы **Владимировы*** (с. 60), *печенеги **Святополковы** стояли за озерами* (с. 97) — *объявил посадникам **Ярополчим** тако* (с. 57), *приятель от вельмож **Святополковых*** (с. 97). Однако встретилось и архаичное употребление формы Тв. п.: *Епископ же корсунский со иереи **царевнины** огласив, крести его* (с. 73).

### 3. «Древняя российская история» М. В. Ломоносова

«Древняя российская история» писалась М. В. Ломоносовым в 1754–1758 гг., изложение событий доведено до смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. Труд не был окончен в связи со смертью автора. Первое издание вышло после смерти автора в 1766 г. При анализе средств выражения притяжательности было использовано первое издание.

#### 3.1. Соотношение употребления притяжательных прилагательных и родительного принадлежности

При сплошной выборке были выделены 144 случая употребления притяжательных прилагательных, 67 случаев родительного принадлежности и 1 случай дательного принадлежности. Притяжательные

прилагательные используются в два раза чаще, чем падежные формы существительных со значением принадлежности.

### 3.1.1 Притяжательные прилагательные

Чаще всего притяжательные прилагательные образованы от имен собственных со значением лица: *Роптать приобьихшие новгородцы страшились Синеусова вспоможения Рурику* (с. 58); *По Несторову свидетельству, пришли тогда осмьдесят городов под российскую руку* (с. 82); *отчего для тесноты замешательство учинилось и ущерб Святославим силам* (с. 87). Наряду с ними Ломоносов достаточно широко использует притяжательные прилагательные, образованные от нарицательных личных существительных (убивцев, царев, княгинин, философов, Создателев и др.): *взять ближнему убиеннаго сроднику имене и жену убивцеву* (с. 64–65), *Игорь, достигши Дуная, созвал своих военачальников, сказал царево посольство и стал с ними советовать* (с. 69). Как и у его предшественников, у Ломоносова доминируют притяжательные прилагательные с суффиксом -ов-/-ев- (Константинов, Гостомыслов, Владимиров, Ярополков), значительно реже для образования притяжательных прилагательных использованы суффиксы -ин- (Венерин, Вардин, Рогнедин), -жь- (Святославль, Ярославль, Мстиславль), -ьнь- (братний, матерний, сыновний). Ломоносов использует суффикс -жь- для образования притяжательных прилагательных только от имен, оканчивающихся на —слав; от тех же основ образуются притяжательные прилагательные с суффиксом -ов-: *Приближающийся к совершенному мужеству возраст Святославов, любовь взаимная и в цветущем состоянии отечество вящшия обещали удовольствия* (с. 79) — [печенежский князь] *услышал ответ от Притича, что он военачальник передоваго войска Святославля* (с. 83). Подсчеты показывают, что Ломоносов отдает предпочтение старым формам с суффиксом -жь-: Святославов / Святославль — 3/7, Ярославов / Ярославль — 2/11, Мстиславов / Мстиславль — 1/1. Притяжательное прилагательное с суффиксом -ов- в подавляющем большинстве случаев употреблено в форме И.-В. п. ед. ч. мужского рода: *Будый, дядька и воевода Ярославов, кричал через реку к Болеславу* (с. 133).

Если образование притяжательных прилагательных при помощи суффикса -жь- можно расценить как попытку Ломоносова

придать повествованию архаическую окраску, то этого нельзя сказать в отношении порядка следования компонентов именной группы. В тексте очень широко представлено препозитивное употребление притяжательного прилагательного: в 55 случаях притяжательное прилагательное предшествует определяемому существительному, в 86 случаях следует за ним (еще в 3 случаях притяжательное прилагательное употреблено вне именной группы, например: *И так непорочный отрок скончал свое течение с похвальным и Христову подобным терпением* (с. 129)).

Прежде всего эти данные говорят о том, что в живой речи препозитивное употребление притяжательного прилагательного получило к середине XVIII в. широкое распространение. Ломоносов, широко используя препозицию и постпозицию притяжательных прилагательных — новый и старый порядок слов в синтагме, — видимо, осуществляет синтез синтаксических явлений в рамках создания нового литературного языка. Это вместе с тем давало Ломоносову возможность по-разному интонировать фразу с препозитивным и постпозитивным определением.

Широкое распространение препозитивного прилагательного не позволяет видеть в препозиции проявление только семантических причин, подтверждением чего служат примеры недифференцированного употребления притяжательного прилагательного в препозиции и постпозиции: *Видя Борисово мягкосердие и зная коварство и свирепство Святополково, военачальники со всем воинством отступили* (с. 128); *по возвращении Ольгине в Киев* (с. 80) — *По Ольгове погребении и по совершении тризны пред Вручаем Ярополк возвратился в Киев как самодержец российский* (с. 94).

Предпочтение препозитивного притяжательного прилагательного можно отметить в следующих случаях:

— с предлогом *по* 'в соответствии, согласно':

*По Гемолдову свидетельству, алане были смешены с курляндцами, единоплеменными варягам россам* (с. 49), *прося их, по княгини повелению, в город* (с. 74), *Оная [месть] совершена вскоре засыпанием их живых в земли по Ольгину повелению* (с. 75), *которые [ворота] по Святославлю повелению за ним затворены* (с. 90), *На сем сражении, по Кедринovu свидетельству, реки, по Несторову,*

россияне верх одержали (с. 91), Для прикончания **по Святополкову повелению** некто Варяг мечем проколол самое сердце (с. 129).

Ср., однако, случаи постпозиции: Новгородцы **по совету Добрыни** стали просить Владимира (с. 85), Некогда Сигурд **по повелению Владимирову**, для собираня дани проежжая Естонию, увидел (с. 104).

— при наличии в составе именной группы помимо притяжательного прилагательного иного определения:

Страшнаго сего и суроваго мщениа нареkanie умалается **польным Ольгиным промыслом** (с. 75), во время несча<с>тливаго **Оскольдова и Дирова похода** к Царюграду (с. 79), и [идолы] во всей России распространились **Владимировым суеврным повелением** (с. 100), Явствует сие неоспоримо из **предприятяго Рогнедина мщениа** над Владимиром (с. 105), потому что он [Святополк] рожден от **старшаго Владимирова брата** (с. 107), и притом [Владимир] упоминал, что **вольное Христово страдание** странно и невероятно без доказательства о воскресении (с. 111), однако на пути **от Святополковых кровожаждущих приспешников** [Святослав] достиген и живота лишен, не доежжая гор Венгерских (с. 130).

Ср., однако, случаи с постпозицией: **Итак, первая супруга Владимирова** была из земли чешской, мать Вышеславова (с. 106), Или, сверх того, [Святополка] побуждало к сему мщение за прямаго отца над **подлинными детьми Владимировыми** (с. 107).

— частотна препозиция у притяжательных прилагательных с суффиксом -нь-:

При конце моя жизни вспомни прежнее к тебе **матернее прошение** (с. 84), Уже склоняется женское сердце к непоколебимой твердости **братними увещаниями** (с. 117), но **матерния слезы и негодование** благоразумными увещаниями... прекратил рачительный первосвященник (с. 121), **Беззаконный убивец, несытый братния крови**, не престаеи искать истребления всего нашего роду (с. 134). Ср., однако: для отмщениа **смерти сыновней** (с. 93).

Распространение препозитивного притяжательного прилагательного затронуло даже конструкции, в которых указывались на родственные связи лица, т. е. там, где ранее безраздельно господствовала постпозиция притяжательного прилагательного: **Олав, Тригвонов сын**, король шведской, взят был в малолетстве на море

от разбойников в полон (с. 34), ибо Брячислав, князь полотский, сын Изяславов, **Ярославов племянник**, в отсутствие его [Ярослава] в Киеве внезапно набежал на Великий Новгород (с. 135), хотя в этих конструкциях по-прежнему основной является постпозиция притяжательного прилагательного.

### 3.1.2. Родительный принадлежности

Самой яркой особенностью употребления родительного принадлежности в тексте Ломоносова является почти полное отсутствие случаев однословного родительного: там, где родительный принадлежности мог быть заменен притяжательным прилагательным, Ломоносов почти всегда употреблял последнее. Встретилось лишь два явных исключения из этого правила: *И хотя греков, только **по свидетельству Кедрина**, мало легло на поле, однако все были ранены* (с. 87), *[Константин Мономах] к оставшимся шести тысячам россиян послал войско **под предводительством Теодорикана** на четырнадцати судах* (с. 139). Еще в одном случае замена родительного принадлежности притяжательным, по-видимому, невозможна, так как существительное имеет при себе оборот со значением совместности (комитативный оборот), вместе с которым образует цельное сочетание: *о **призыве Рурика с братьями** на княжение Новгородское* (с. 53) (= *о призыве Рурика и братьев*).

Кроме родительного принадлежности, в тексте встретился случай однословного дательного принадлежности: *и чаемый брак превратился в ужасную тризну **в честь Игорю*** (с. 76–77). Теоретически замена дательного принадлежности притяжательным прилагательным в этом случае возможна, однако не эквивалентна по смыслу, т. к. Д. п. существительного имеет в этом случае двойную зависимость — от слов *тризна* и *честь*.

Стремление Ломоносова заменить где возможно родительный принадлежности притяжательными прилагательными особенно отчетливо проявляется в примерах *во время несча<с>тливаго **Оскольдова** и **Дирова** похода* к Царюграду (с. 79), *По вопросе о его отечестве услышал, что он **сын Тригвонов** и **Астридин*** (с. 103), *когда по неблагоприятном **походе Оскольдове** и **Дирове** на Царьград требовали россы крещения* (с. 122), *Собственный пример, **погибель Ярополкова** и **Ольгова**, предписывали осторожность от будущих несчастий* (с. 125). Ср., однако: *Святослав на княжении*

в земли древлянской, слышав **о убиении Бориса и Глеба** и не надеясь на свои силы, чтобы стать против насилия Святополкова, бежал в Венгрию (с. 130), где Ломоносов использует родительный принадлежности, возможно из-за объектного значения имени собственного.

При объектном значении двух одиночных имен собственных, соединенных союзом *и*, в текстах Манкиева и Татищева также использовался родительный принадлежности: **по убиении Осколда и Дира** (Манкиев, с. 29), **о убиении от него [Святополка] Бориса и Глеба** (Манкиев, с. 67); **крещение костей Ярополка и Ольга** (Татищев, с. 109 — ссылка).

Однако ни у Манкиева, ни у Татищева не представлено употребление двух притяжательных прилагательных с необъектным значением, соединенных союзом *и*, например: **которые по свидетельствам Страбона и Плиния назывались роксоляне** (Манкиев, с. 11), **во дни Нектана и Фалека** (Татищев, с. 3).

Все остальные случаи использования родительного принадлежности в тексте Ломоносова связаны с невозможностью употреблять притяжательное прилагательное: **собравшись предводительством и правлением благоразумнаго старейшины Гостомысла** (с. 55), **В отсутствие великаго князя Святослава на Дунае пришли в Россию печенеги** (с. 82), **о княжении Ярослава первого** (с. 133) и т. д.

### 3.2. Падежные формы прилагательных

«Древняя российская история» Ломоносова демонстрирует широкое использование различных падежных форм притяжательных прилагательных: в И. п. притяжательное прилагательное употреблено 40 раз, в Р. п. — 39, в Д. п. — 26, в В. п. — 37, в Тв. п. — 19, в Пр. п. — 23.

По сравнению с трудом Татищева у Ломоносова нет преобладания формы И. п. над всеми остальными падежными формами, притяжательное прилагательное в И. п. используется в составе именных групп, занимающих позицию грамматического субъекта, приложения (обособленного и необособленного), а также именной части сказуемого (в последнем случае также самостоятельно): **сей есть сын и наследник Руриков** (с. 61), **Сею властью напыщен, сын Свенельдов именем Лют оскорблял многих своим злым**

самовольством (с. 93), Третье крещение было **Ольгино** (с. 123), Будый, **дядька** и **воевода Ярослав**, кричал через реку к Болеславу (с. 133).

Широкое употребление притяжательных прилагательных в Р. п. вызвано активным использованием некоторых предлогов, вводящих именные группы с притяжательными прилагательными в Р. п. (*до, из, против* и др. и особенно широко *от* в разных значениях), использованием глаголов со значением опасения и достижения, требующих после себя Р. п. без предлога, а также генитивных словосочетаний: *Через сие [Свенельд] потаенно и коварно искал смерти Ольговой для отмщения смерти сыновней* (с. 93), *И Святополкова свирепства причиною почесть можно требование первенства во владении, потому что он рожден от старшаго Владимирова брата* (с. 107), *Роптать приобыхшие новгородцы страшились Синеусова вспоможения Рурику* (с. 58).

Форма Д. п. представлена в тексте непривычно широко. Она главным образом используется в двух случаях: для выражения значения адресата и в сочетании с предлогом *по* ‘согласно, в соответствии’:

— *Амазоны, по преданию Геродотову, от сармат происхождение имели* (с. 14), *По Гемолдову свидетельству, алане были смешены с курляндцами, единоплеменными варягам россам* (с. 49);

— *Поиманные старейшины городские иные казнены смертию, иные Ольгиным военачальникам отданы в рабство* (с. 78).

Притяжательные прилагательные в В. п. используются не только в составе именных групп, занимающих позицию прямого дополнения при переходных глаголах, но и в сочетании с предлогом *в(о)* при обозначении времени событий:

— *Видя Руриков разум и мужество* (с. 59), *Внезапно посланные от Святополка убийцы насад Глебов удержали* (с. 130);

— *Новгородские летописатели присовокупляют, что во владение Ярополково приходили послы от папы в Киев* (с. 95), *где был ров и во время Несторова* (с. 96).

Притяжательные прилагательные в Тв. п. наименее употребимы в тексте Ломоносова, наиболее частыми из них оказываются творительный причины и творительный предикативный: *Первою женою Владимировою полагают российские писатели Рогнеду,*



княжну полоцкую (с. 105), *Наконец нечаянно на охоте Мстиславлею смертью* осталось одному Ярославу всероссийское самодержавство (с. 137).

Форма Пр. п. широко использована в составе именной группы с предлогами *о, по* 'после': *должно мне упомянуть о происхождении Рурикове от Августа, кесаря римскаго* (с. 56), *О княжении Ольгове* (с. 60 — заголовок); *По смерти Ольгове* полную власть княжения Игорь принял (с. 67).

Широкое использование различных падежных форм притяжательных прилагательных позволяет описать особенности парадигмы склонения притяжательных прилагательных с суффиксом -ов- /-ев- и отчасти с суффиксом -ин-. С точки зрения соотношения адъективных и субстантивных флексий они, как уже было отмечено, делятся на три группы.

Первая группа (существительные мужского-среднего рода ед. ч.) характеризуются наиболее устойчивым употреблением старых окончаний — в И. п., Р. п., Д. п., В. п.: *от Рурикова приходу* (с. 19), *взяли Константиново знамя* (с. 30), *по завещанию Гостмыслову* (с. 55); в Тв. п. используется адъективное окончание: *Потом благословлял народ именем Святовидовым* (с. 21). В Пр. п. обычно используется старая флексия, однако дважды встретилась новая флексия: *по убиении Игореве* (с. 73), *о княжении Святославове* (с. 79 — заголовок) — *по убиении Тригвоновом* (с. 103), *Еще до вести о таком Святополковом тиранстве в Нове городе* *восстало великое смятение* (с. 130).

Вторая группа (существительные женского рода ед. ч.) характеризуются более широким проникновением адъективных флексий, субстантивная флексия устойчиво используется только в И. п. и В. п.: *Дирова могила за святою Ириною* (с. 61), *взять ближнему убиеннаго сроднику* *имение и жену убивцеву* (с. 64–65). Форма Д. п. притяжательного прилагательного женского рода в тексте не отмечена, в Р. п. и Пр. п. параллельно используются субстантивное и адъективное окончание: (Р. п.) *В ту же ночь прибег вестник из Киева от Предславы, сестры Ярославли* (с. 131) — *по имени дочери Владимировой, от Рогнеды рожденной* (с. 105); (Пр. п.) *По смерти Ольгове* полную власть княжения Игорь принял (с. 67) — *Однако Сигурд объявил о породе Олавовой* (с. 104). В обоих случаях

старое окончание преобладает над новым (в Р. п. соотношение 3:1, в Пр. п. — 3:2). В Тв. п. используется только новое окончание: **Храбростию Игоревую** [древляне] *побеждены и приведены в послушание* (с. 67).

Третья группа — притяжательные прилагательные во мн. ч. — обнаруживает то же распределение субстантивных и адъективных окончаний, которое характерно для современного русского языка: в И. п. и В. п. (неодушевленная форма) используется старое окончание, в остальных падежах — новое, адъективное окончание:

**Военачальники Игоревы**, воевавшие с ним Грецию, *тому заведуя, говорили князю* (с. 72), **Притесненныя войска Святополковы** *принуждены отступить на лед* (с. 132) —

[Владимир] **наместников Ярополковых** *выслал* (с. 95), **Блуд** *запер дверь и пресек вход слугам Ярополковым* (с. 97), Или, *сверх того, [Святополка] побуждало к сему мищению за прямаго отца над подлинным детьми Владимировыми* (с. 107), *однако на пути от Святополковых кровожажущих приспешников [Святослав] достижен и живота лишен, не доежжая гор Венгерских* (с. 130).

Выше мы рассмотрели систему окончаний притяжательных прилагательных с суффиксами -ов-/-ев-. Небольшое число прилагательных с суффиксом -ин- не позволяет описать всю систему окончаний в тексте Ломоносова. Те формы, которые встречаются в тексте, не обнаруживают отличий в системе окончаний от описанной выше. Вот примеры падежных окончаний в ед. ч.:

— субстантивные окончания: [скифы] *разграбили храм Венерин* в Аскалоне (с. 38), *Оная совершена вскоре насытанием их живых в земли по Ольгину повелению* (с. 75), *На вопрос о первых и вторых посланных ответствовано, что следуют с тяжкими возами великаго богатства княгинина* (с. 76), *по возвращении Ольгине в Киев* (с. 80), *Явствует сие неоспоримо из предприятаго Рогнедина мищения над Владимиром* (с. 105);

— адъективные окончания: Владимир *рожден был от Ольгиной ключницы*, именем Малуши, дочери некоего Малка, родом любчанина, *сестры Добрыниной* (с. 85), *И как бегущих греков беспорядочно гнали, [болгары] Вардиным войском, со сторон из засады вышедшим, разбиты и отогнаны* (с. 86).

Обнаруживаемое в труде Ломоносова варьирование в системе окончаний притяжательных прилагательных не идет вразрез с его грамматикой. Давая парадигму «сокращенного склонения прилагательного» на примере *божий* (к сожалению, парадигмы склонения притяжательных прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- и -ин- у него отсутствуют), Ломоносов допускает двойные формы в ед. ч. для Р. п. (*божьего* и *божья*), Д. п. (*божьему* и *божью*) и Пр. п. (*о божье* или *божьем*) (Ломоносов 1755: 76–77) (формы даны в том порядке, в котором они приведены Ломоносовым). В немецком переводе грамматики Ломоносов исключил субстантивные окончания для всех трех родов прилагательного *божий* в Р. п., Д. п. и Пр. п., оставив в парадигме только новые адъективные окончания (Ломоносов, 7: 876).

#### 4. «История российская от древнейших времен»

М. М. Щербатова

Исторический труд Щербатова издавался с 1770 по 1791 г. Последний, седьмой том вышел после смерти автора. При анализе языкового материала использовался первый том, в котором изложение событий доведено до смерти Ярослава Мудрого (первое издание 1770 г., с. 185–325).

##### 4.1. Соотношение употребления притяжательных прилагательных и родительного принадлежности

В ходе сплошной выборки были выделены 175 случаев употребления притяжательных прилагательных, 188 — родительного принадлежности и 7 — дательного принадлежности. Таким образом, в отличие от своих предшественников Щербатов чаще использует для выражения притяжательности падежные формы существительных, а не притяжательные прилагательные.

##### 4.1.1 Притяжательные прилагательные

В подавляющем большинстве случаев притяжательные прилагательные образованы от имен собственных: [*Блуд*] стал представлять ему великую силу **Владимерову** (с. 242), [*Ярослав*] с стремлением на войски **Святополковы** нападает (с. 296).

Случаи образования притяжательных прилагательных от нарицательных существительных крайне редки в тексте Щербатова:

Они же, по наущению **княгинину**, требовали от киевлян, чтоб их понесли и с лодками на головах (с. 215), [народ] приняв оружие, пошед, разломал забор двора **варягова** (с. 249), [Олаф] бегством спасся в дом Сигурдов, которой поспешно его привел в **государев** (с. 253).

Щербатов для образования притяжательных прилагательных главным образом использует суффикс -ов/-ев- (*Олегов, Рюриков, Перунов, Святославов, Ярополков*), значительно реже использован суффикс —ин- (*Мстишин, Ольгин, Рогнедин*), очень редок суффикс -жь- (единственное встретившееся прилагательное — *Святославль*). В отличие от Ломоносова Щербатов старается избегать употребления притяжательных прилагательных с устаревшими суффиксами -жь- и -нь-. Так, прилагательное *Святославль* встретилось дважды, *Святославов* — 8 раз; *Ярославов* — 32 раза, *Мстиславов* — 4 раза, при этом прилагательные *Ярославль, Мстиславль* не зафиксированы.

Избегая устаревших суффиксальных форм притяжательных прилагательных, Щербатов достигает стилизации изложения за счет расширенного постпозитивного употребления притяжательных прилагательных в составе именных групп: из 175 случаев употребления притяжательных прилагательных 148 раз притяжательное прилагательное находится в постпозиции, 21 раз в препозиции. Таким образом, постпозиция встречается в семь раз чаще, чем препозиция (у Ломоносова постпозиция лишь в полтора раза чаще препозиции). Препозитивные прилагательные встретились в сочетании с различными существительными — конкретными и абстрактными:

*написав на стреле, что с восточной стороны, позади **Владимирова стану**, обретаются ключи (с. 259), вдруг нашедши, сильная буря великое число **малых Владимировых судов** разбила (с. 318) — [новгородцы] не весьма довольны **Рюриковым правлением** были (с. 195), Ярополк же, вошедши во град, принял **Олегову власть** (с. 239).*

Частотно употребление препозитивного притяжательного прилагательного в сочетании со словами *воевода, войско: и Владимир, не извлекая меч, на прежнее свое княжение взошел, **Ярополковых***

**воевод** прогнал (с. 240), [Владимир] послал тайно к **Ярополкову воеводе**, имянуемому Блуд (с. 241); уже **Ярославовы войски**, седши на лодки, чрез реку к неопасным неприятелям перевозятся (с. 296), Ярослав, пошед в Мазовию, **возмутительныя Масласовы войски** разбил (с. 322). Препозиция характерна для устойчивых сочетаний типа *Оскольдова могила: и церкви, яко на Оскольдовой могиле, были уже построены* (с. 249). Еще в одном случае препозиция связана, видимо, с особенностями синтаксической структуры: **ни Ярославовы, ни Святополковы войски** не смели Днепр в виду неприятеля перейти (с. 295).

В 6 случаях притяжательное прилагательное употреблено вне сочетаний с существительным:

и привезенное им сокровище **Олеговым** проименовалось (с. 205), от которой и родился сын Святополк, сумнительно почитаем **Владимеров**, действительно же был **Ярополков** (с. 244), хотя столицы их и не в отдаленности были, то есть **Ярославова** в Киеве, а **Мстиславова** в Чернигове, однако до смерти Мстислава никакой ссоры и распри между ими не обретаем (с. 312).

#### 4.1.2 Родительный и дательный принадлежности

Родительный принадлежности встретился в исследованном фрагменте текста 188 раз. В своем большинстве его употребление связано с невозможностью употребить притяжательное прилагательное, т. к. антропоним имеет неоднословный характер, распространен определением или приложением либо представлен однородным рядом:

По свидетельству **преподобнаго Нестора**, Новгород... был построен почти в единое время с Киевом (с. 190), но были двенадцатью тысячами человеками под предводительством **Бардаса Склеруса** разбиты (с. 233), Невзирая что Владимир является и был воспитан под смотрением **бабки своей благоверной княгини Ольги** (с. 245), смерть **Евстафия**, сына Мстиславова (с. 316 — ссылка), крещение костей **Олега** и **Ярополка** (с. 320 — ссылка).

В тексте Щербатова встретился случай, когда притяжательное прилагательное употреблено несмотря на то, что имя собственное, от которого оно образовано, распространено обособленным

постпозитивным приложением: *а тогда по научению Добрынину, брата Малуши, ключиницы Ольгиной, сына Малова, родом любчанина, они стали просить к себе на княжение Владимира, сына Малушина, племянника же Добрынина* (с. 231).

Почти треть случаев употребления родительного принадлежности (57 из 188) и большая часть дательного принадлежности (6 из 7) имеет однословный характер, т. е. эти формы вступают в конкурентные отношения с притяжательными прилагательными.

Из 57 случаев употребления односложного родительного принадлежности 21 приходится на оформление ссылок, в составе которых зависит от абстрактных существительных и имеет субъектное или объектное значение: *притчины избрания Рюрика* (с. 191), *рождение Игоря* (с. 198), *смерть Рюрика* (с. 198), *обычай Святослава* (с. 225) и т. д. Остальные случаи приходятся на основной текст; родительный принадлежности распространяет различные по семантике существительные — конкретные и абстрактные, однако чаще абстрактные: *он [Олег] вступил на престол яко местоблюститель по смерти Рюрика* (с. 197), *[Ольга] повелела сыпать великую могилу над гробом Игоря* (с. 217), *яко то видим во время Святослава* (с. 250). Щербатов также регулярно использует однословный родительный принадлежности в названии глав: *Княжение Святослава* (с. 220), *Княжение Ярополка* (с. 237) и пр.

#### 4.2. Падежные формы прилагательных

Различные падежные формы притяжательных прилагательных обнаруживают неодинаковую частотность в тексте: наиболее частотными оказываются формы И. п. (67 употреблений), Р. п. (41) и В. п. (33), далее с большим отрывом следует форма Пр. п. (18); формы Д. п. (9) и Тв. п. (7) очень редки.

Повышенная частотность форм И. п. обусловлена тем, что она выступает не только в составе именных групп, выполняющих функцию грамматического субъекта, приложения к грамматическому субъекту и именной части сказуемого: *посаженные в него [в Новгород] Ярополковы воеводы толико оробели, что* (с. 240), *ибо Мстислав, князь тмутараканский, седьмой сын Владимеров, пошел тогда на косоги* (с. 307) — значительное число случаев употребления И. п. приходится на номинативные конструкции в составе ссылок (27 случаев) и в названии глав (4):

— в составе ссылок: **Отказ Ярославов** давать дань с новгородцев (с. 287), **убиение Святославо** (с. 293), **поход Ярослав** на Святополка (с. 294), **Побеждение и бегство Ярополково** (с. 302);

— в названии глав: **Княжение Святополково** (с. 289), **Княжение Ярославо** (с. 301).

Широкое употребление притяжательных прилагательных в В. п. не требует особых комментариев: сфера их употребления — именные группы, занимающие позицию прямого дополнения при переходных глаголах, либо приложения при таких дополнениях; например: *Хотя многие писатели начинают от сего времени **царствование Святославо** (с. 217), они [новгородцы] стали просить к себе на княжение Владимира, сына Малушина, племянника же Добрынина (с. 231), и Владимир, не извлекая меч, на прежнее свое княжение возшел, **Ярополковых воевод** прогнал (с. 240).*

Примечательной чертой текста Щербатова является широкое использование притяжательных прилагательных в форме Р. п. Отчасти это вызвано употреблением предлогов, управляющих Р. п. — *после, ради, прежде, близ, позади: **после смерти Владимеровой** (с. 244), **близ шатра Владимерова** (с. 260),* однако в гораздо большей степени обусловлено употреблением в составе генитивных конструкций, а также в качестве части приложения к родительному принадлежности:

— в составе генитивных конструкций:

*Когда греческие императоры на первой сей пункт **Олегова требования** согласились (с. 203), Тогда древляне... вторично извинялись, представляя **притчины убийства Игорева** (с. 217), Лишь только печальная весть о кончине и **привезении тела Владимерова** разнеслася по городу (с. 288);*

— в составе приложений: *Тот же год примечателен кончиной Рогнеды, **матери Ярославовой** (с. 285), По сем чрез четыре года обретаем преставление великой княгини Анны, **супруги Владимеровой**, рожденной царевны греческой (с. 287), **смерть Евстафия, сына Мстиславо** (с. 316 — ссылка).*

В составе генитивных конструкций притяжательное прилагательное в Р. п. чаще всего выражает субъект или объект свернутой пропозиции. Распространение генитивных конструкций — свидетельство расширения употребления абстрактных существительных,

усложнения семантики предложения и перестройки его структуры во второй половине XVIII в.

Форма Пр. п. притяжательных прилагательных главным образом отмечается в составе именных конструкций:

— с делиберативным предлогом *о*: [*болгары*] уведомили *о походе Игоревом* и *о числе его войска* (с. 210), и слыша купно *о смерти Владимировой, воцарении Святополковом* и *о побиении своих братьей* (с. 293);

— с предлогом *по* 'после': *по смерти Олеговой* (с. 209), *по убиении Игореве* (с. 214);

— с локативными предлогами *в*, *на*: *на Оскольдовой могиле* (с. 249), *в церкви Богородицыной* (с. 320).

Притяжательное прилагательное в формах Д. п. и Тв. п. употребляется редко: для Д. п. основной является позиция в составе именных групп с адресатным или дестинативным значением, для Тв. п. — с причинным значением: [*древлян*] *возгордевшихся смерти Игоревой* (с. 214), *когда, вознамерясь креститься, [Ольга] предала наследнику Игореву, а своему сыну Святославу правление его государств* (с. 220).

Система окончаний падежных форм прилагательных в тексте Щербатова показывает дальнейшее распространение адъективных окончаний на месте старых субстантивных.

В первой группе притяжательных прилагательных (прилагательные мужского-среднего рода ед. ч.) субстантивное окончание устойчиво употребляется в И. п., Р. п., Д. п., В. п.: *во все время княжения Игорева* (с. 211), *где стоял идол Перунов* (с. 212), *предала [правление] наследнику Игореву* (с. 220), *опасаяся гневу Святослава* (с. 228), *наконец сыскали тело Олегово* (с. 239), *щитая и Святополка за Владимирова сына* (с. 246).

В Пр. п. отмечается колебание при употреблении старого и нового окончания с преобладанием последнего: *по рождестве Христове* (с. 186), *по убиении Игореве* (с. 214) — *о походе Игоревом* (с. 210), *по погребении Владимировом* (с. 289), *о воцарении Святополковом* (с. 293), *во дворе Парамоновом* (с. 293). В Тв. п. употребляется только новое окончание: *Рюриковым правлением* (с. 195), *сокровище Олеговым проименовалось* (с. 205), *изцелением Владимирovým* (с. 262).



Во второй группе (прилагательные женского рода ед. ч.) отмечается закрепление новых, адъективных окончаний. Старое окончание употребляется в И. п. и В. п.: *якобы [Ольга] правнука Гостомыслова была* (с. 200), *дабы власть Игореву распространить* (с. 201). В остальных падежах Щербатов использует только адъективные окончания: *по смерти Олеговой* (с. 209), *смертию Игоревой* (с. 214), *на Оскольдовой могиле* (с. 249), *после смерти Святославовой* (с. 238), *для услуги Владимировой* (с. 242), *о смерти Владимировой* (с. 293), *к дочери Владимировой* (с. 299), *известие войны Ярославовой на Болеслава* (с. 311).

В третьей группе (притяжательные прилагательные во мн. ч.) распределение флексий в общих чертах совпадает с предшествующей группой: в И. п. и неодушевленном В. п. используются субстантивные окончания, в остальных падежных формах и в одушевленном В. п. — адъективные. Например: *Ярополковы воеводы... оробели* (с. 240), *невзирая на все приветствии Святополковы* (с. 289), *[Ярослав] с стремлением на войски Святополковы нападает* (с. 296) — *[Владимир] Ярополковых воевод прогнал* (с. 240), *о победах Владимеровых* (с. 247), *очам Владимеровым* (с. 255), *Будый, воевода Ярославовых войск... зачал его [Болеслава] ругать* (с. 297).

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ин- представлены в проанализированном фрагменте не во всей полноте, выявленные формы не обнаруживают отклонений в системе окончаний относительно рассмотренных выше притяжательных прилагательных с суффиксом -ов-:

*Воевода же был у нее некой Свенелд, отец Мстишин* (с. 214), *по наущению княгинину* (с. 215), *к красоте Ольгиной* (с. 223), *по научению Добрынину, брата Малуши, клюшницы Ольгиной* (с. 231), *Я мню в сие время возмочь положить умышление Рогнедино на Владимера* (с. 257), *освящение церкви Богородицыной* (с. 318 — ссылка), *в церкви Богородицыной* (с. 320).

## Выводы

Наблюдения за притяжательными прилагательными в сочинениях по русской истории XVIII в. позволяют сделать ряд выводов, касающихся особенностей их образования и употребления.

1. На протяжении XVIII в. при выражении притяжательности происходит постепенное расширение употребления родительного принадлежности и сокращение притяжательных прилагательных. Родительный принадлежности стал употребляться не только в тех случаях, когда использование притяжательных прилагательных было невозможно, но и тогда, когда антропоним имел однословный характер и мог быть выражен притяжательным прилагательным.

2. Процесс замены притяжательных прилагательных родительным принадлежности протекал неравномерно в различных элементах текста (основной текст, заглавие, ссылка) и в сочетании с разными семантическими группами существительных. В сочетании с абстрактными существительными, где антропоним имел субъектное и особенно объектное значение, замена родительным принадлежности протекала быстрее, чем в сочетаниях с конкретными существительными, где дольше сохранялось притяжательное прилагательное.

3. Противопоставление притяжательных прилагательных и однословного родительного принадлежности как старой и новой форм выражения принадлежности нашло свое применение в особых стилистических целях. В целях архаизации изложения использование притяжательных прилагательных в исторических текстах (кроме текста Манкиева), имевших черты высокого стиля, могло искусственно расширяться. Эта черта особенно явно прослеживается в тексте Ломоносова.

4. Ссылки к историческим текстам, а также заголовки отмечены более широким использованием однословного родительного принадлежности, в том числе и потому что в них ослабленно проявлялась тенденция к архаизации изложения.

5. Несмотря на отчетливую тенденцию к использованию притяжательных прилагательных в качестве средства архаизации изложения, авторы исторических трудов ограниченно употребляют притяжательные прилагательные с архаическими суффиксами – *жь-*, *-ьнь-*.

6. Тексты демонстрируют постепенное расширение препозитивного употребления притяжательных прилагательных. Особенно отчетливо это отмечено у Ломоносова, который, сочетая широкое использование препозиции и постпозиции притяжательных

прилагательных, возможно, преследовал цели особой ритмизации своего текста. Расширение препозитивного употребления притяжательных прилагательных неодинаково протекало в сочетании с разными группами существительных.

7. Отдельный интерес представляют наблюдения за системой падежных окончаний притяжательных прилагательных. Текст Манкиева демонстрирует широкое проникновение новых, адъективных флексий в старую парадигму притяжательных прилагательных. К началу XVIII в. процесс вытеснения старых окончаний во мн. ч. уже завершился, сохранились лишь формы И. п. и В. п. (неодуш.). Формы женского рода ед. ч. испытывали сильное воздействие новых окончаний, формы мужского-среднего рода ед. ч. — слабое. Сосуществование старых и новых окончаний использовалось историками XVIII в. в различных стилистических целях.

## Источники

1. Ломоносов 1766 — *Ломоносов М. В.* Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым статским советником, профессором химии, и членом Санктпетербургской императорской и Королевской шведской академии наук. СПб., 1766.
2. Манкиев 1770 — [*Манкиев А. И.*]. Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князь Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу российского юношества, и для всех о российской истории краткое понятие иметь желающих в печать изданное, с предисловием и о сочинителе сей книги, и о фамилии князей Хилковых. Иждивением книгопродавца и университетского переплетчика Христиана Ридигера. М., 1770.
3. Татищев 1773 — *Татищев В. Н.* История российская с самых древнейших времен / Неусыпными трудами чрез тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором, Васильем Никитичем Татищевым. Кн. 2. [М.], 1773.
4. Щербатов 1770 — *Щербатов М. М.* История российская от древнейших времен. Сочинена князь Михайлом Щербатовым. Т. 1: От начала до кончины великого князя Ярослава Владимировича. СПб., 1770.

## Литература

1. Валгина 1953 — *Валгина Н. С.* Притяжательные прилагательные в памятниках русской письменности XVI–XVII вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1953.
2. Виднэс 1958 — *Виднэс М.* О выражении принадлежности притяжательным прилагательным и родительным принадлежности в русском языке XVIII–XIX вв. // *Scando-slavica*. 1958. Т. 4. С. 166–175.
3. Гриншпун 1958 — *Гриншпун Б. М.* Притяжательные прилагательные в современном русском языке // *Русский язык в школе*. 1958. № 1. С. 62–67.
4. Гриншпун 1965 — *Гриншпун Б. М.* Система значений притяжательных прилагательных с суффиксами -ов, -ин в современном русском языке // *Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина*. 1965. № 326. С. 239–252.
5. Гриншпун 1967 — *Гриншпун Б. М.* Притяжательные прилагательные с суффиксами -ин, -ов в современном русском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.
6. Иванова 1975 — *Иванова Т. А.* Синтаксический и функционально-семантический анализ атрибутивных посессивных конструкций (на материале современных славянских литературных языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1975.
7. Логунова 1984 — *Логунова Н. В.* Средства выражения принадлежности в русском языке XVII века: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984.
8. Ломоносов 1755 — *Ломоносов М. В.* Российская грамматика Михайла Ломоносова. СПб., 1755.
9. Ломоносов, 7 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 7: Труды по филологии. 1739–1758 / [ред.: В. В. Виноградов и др.]. М.; Л., 1952.
10. Макарова 1952 — *Макарова С. Я.* Выражение принадлежности в русском языке XI–XVII вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1952.
11. Фролова 1955 — *Фролова С. В.* Об одной грамматической особенности древнерусского языка // *Ученые записки Куйбышевского государственного педагогического института имени В. В. Куйбышева*. 1955. Вып. 13. С. 275–283.
12. Фролова 1959 — *Фролова С. В.* Притяжательные прилагательные в ранних переводах с греческого языка // *Научные доклады высшей школы. Филологические науки*. 1959. № 4. С. 95–106.
13. Фролова 1960 — *Фролова С. В.* К вопросу о природе и генезисе притяжательных прилагательных русского языка // *Ученые записки*

Куйбышевского государственного педагогического института имени В. В. Куйбышева. 1960. Вып. 32. С. 323–340.

14. Фролова 1962 — *Фролова С. В.* История образования притяжательных прилагательных и притяжательно-относительных прилагательных с суффиксами *-j/-ъj* и *-ов/-ев* в русском языке: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Куйбышев, 1962.
15. Чернецкий 1954 — *Чернецкий В. К.* Грамматические средства выражения принадлежности в русском литературном языке конца XVII в. — первой трети XVIII в.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Одесса, 1954.
16. Шумилова 2018 — *Шумилова М. В.* О динамике продуктивности суффикса притяжательных прилагательных *-ов-* в русском языке (по данным лексикографических источников) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 1(79). Ч. 1. С. 185–188.



**IV  
ИМЯ  
И ИДИОЛЕКТ**



## ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В ПОЭЗИИ А. П. СУМАРОКОВА

---

---

В стихотворениях А. П. Сумарокова встречается 535 личных имен<sup>1</sup> — богатый материал для изучающих произведения писателя, язык и культуру его времени, ведь обилие и разнообразие таких важных элементов текста, как антропонимы, связано не только с объемом наследия автора, но и с его творческими принципами, речевой и интеллектуальной средой. Анализ использованной поэтом антропонимики, начатый, но далеко еще не завершенный в предлагаемом исследовании, подтверждает часть признанных литературоведением представлений о мировоззрении и манере Сумарокова, но некоторые из них существенно корректирует и дополняет.

Предметом рассмотрения в настоящей работе служат произведения, опубликованные в I, II, VII, VIII, IX частях собрания сочинений, выпущенного Н. И. Новиковым (Сумароков 1781; Сумароков: 1787<sup>2</sup>), а также не вошедшие в него, но напечатанные при жизни писателя и цитируемые по публикации П. Н. Беркова (Сумароков 1957)<sup>3</sup>. В качестве основного текста всех стихотворений, вошедших в собрание сочинений, принимается редакция, помещенная в этом издании, для эклог, приведенных Новиковым в двух

---

<sup>1</sup> В этой статье имена, обозначающие разных реальных лиц или литературных персонажей, связанных с разнородным жанровым контекстом, считаются самостоятельными омонимичными лексемами, как, например, слово «Петр», относящееся к императорам Петру I, Петру III, вымышленному частному лицу и персонажу авантюрной повести Петру Златых Ключей, понимается как 4 особых антропонима.

<sup>2</sup> Далее ссылки на это издание даны в скобках с индексами ПСВС и указанием номеров части и страницы.

<sup>3</sup> Далее все напечатанные в этом издании произведения цитируются по нему. Ссылки даны в скобках с индексом ИП и указанием номеров страниц.



вариантах, — последняя редакция, содержащаяся в VIII части.<sup>4</sup> Конечно, обращение лишь к одному из вариантов произведений делает наше представление об использовании поэтом антропонимов неполным, ведь он редактировал свои сочинения, значительно их сокращая, а значит меняя как их словарный состав, так и функции отдельных лексем. Вместе с тем для начального этапа исследования проблемы корпус текстов в том виде, в каком он представлен Новиковым, с указанными дополнениями кажется вполне достаточным: он проясняет важнейшие особенности употребления имен на протяжении творческого пути автора и позволяет соотнести их с культурным контекстом, ведь долгое время как раз по этому изданию публика судила о Сумарокове. Рассмотрению не подвергаются произведения, обозначенные им самим как переводы (за исключением переложений из Священного Писания). Впрочем, указания на их источник (книги Иеремии, Исаии, Варуха и т. д.) также не включаются в круг изучаемых имен, так как вовсе не отражаются в самих произведениях.

Чаще всего писатель употреблял имена в привычном нам виде. Однако встречается как архаическая для нашего современника, но распространенная в XVIII в., так и специфическая передача иноязычных форм, нередко обусловленная оригинальной орфографической позицией Сумарокова (отрицанием буквы «э», написанием при зиянии после «і» букв «я» и «ю», частым отказом от двойной согласной): Есоп (на греческий манер; дальнейшие примеры показывают, что ясных закономерностей для использования букв «з» и «с» при передаче варваризмов у писателя не прослеживается), Емилия, Ераст, Ерот, Дияна, Гияцинт, Ияков. Июда, Вениямин, Ияким, Мидиям и т. д., но Иулий (в качестве дублета используется форма «Цесарь»), Арая (русификация фамилии Araiá), Егова (вероятно, с ударением на последний слог, судя по ритму большинства стихотворений, где это слово присутствует).

---

<sup>4</sup> О важной и интересной проблеме переименования пасторальных персонажей см.: (Гуськов 2020). Новиков опубликовал в ПСВС две редакции еще одного произведения под названиями «Ода М. М. Хераскову» (журнальный вариант) и «Ода на суету мира». Поскольку в книжной редакции, принятой за основную, посвящение снято, а в других стихотворениях Херасков не упоминает, этот антропоним в настоящем исследовании также не учитывается.

Существенны, кроме того, источник заимствования антропонима и предпочтение транскрипции, транслитерации или их смешения. Чаще всего установить с достоверностью факторы, обусловившие каждый конкретный вариант написания не представляется возможным, необходимы специальные разыскания.

Сочетание «th» поэт предпочитал обозначать как «т» (Амальтея, Дористея), а «ph» — как «ф» (Альфиза, Альфезибей). Подобно своим современникам, он использует транслитерацию в ряде случаев, где от нее позднее отказались: Молиер, Шапелен, Мальгерб, Невтон, Поп, Шекеспир, Мальборуг и т. д. Этот подход применен к некоторым пасторальным именам романского происхождения: Константия, Лавра (Лаура — *H. G.*), Павлина. Встречается и фонетический принцип написания, в том числе с редукцией гласных на русский манер или даже их подменой (Виргилий, Кортезий — *Descartes / Cartesius*). Неясно, чем вызван выбор дублетов при упоминании французских писателей-противников — *Voileau-Despreau* (ныне принят вариант «Буало-Депрео»), который назван то Боало (два раза в «Эпистоле о стихотворстве»), то Депро (3 раза, один из них в том же тексте), и *Quinault*, чья фамилия передана то посредством транскрипции (Кино — один раз там же), то с элементами транслитерации (Кинольт — дважды в сатире «О худых рифмоторцах»). Последнее можно объяснить изменением графических принципов Сумарокова с 1748 к началу 1770-х гг.

Употребляя общие для греческой и римской мифологии имена, писатель чаще оказывал предпочтение латинской версии: Бахус, Поллукс, Прозерпина, Циклоп, Цефал, Альцеста. Латинизирует он по устоявшейся традиции и некоторые греческие формы (например, Лицид, Буцефал), и имена западных монархов (Фридерик, Лудовик, Генрик), и некоторые французские фамилии (К(а/о)ртезий, Корнелий).

Итальянские и испанские антропонимы усекаются всегда (Аминт, Ариост, Тасс, Лоп), а греческие — непоследовательно (Ахиллес, но Апелл и Софокл).

Для маркирования пола поэтесса Сафо именуется «Сафа». Французские и немецкие женские фамилии тоже получают родовой показатель в родительном падеже и лишены его в звательном: де ла Сузы, Лекувреры, Каршины, но «Жива ли, Каршин, ты».

«Блаженна часть твоя, начальница Лафон, / Что ты орудие сих дев ко воспитанью / И венценосице к отличному блистанью! / Лафонше это вы скажите без препон» (ИП: 125, 181, 300, 312, 307). Заметим, что начальница Смольного института благородных девиц названа с прибавлением русского суффикса, указывающего на пол, без пренебрежительно-фамильярного оттенка, в самом комплиментарном контексте.

Большинство библейских имен дано в церковнославянской форме, либо усвоенной в дальнейшем литературным языком, либо — реже — отвергнутой (Сампсон, Сосанна), но, как видно из приведенных выше примеров, некоторые, причем наиболее значимые, русифицированы, особенное внимание останавливает форма «Давыд». В славянской огласовке дается имя «Валтасар» в пасторальном тексте, не имеющем отношения к библейскому персонажу.

Написание имен «Аммон», «Вельфегор» следует греческой традиции. Вместо принятого в России имени «Финеес» используется вариант «Пинех», отсылающий либо к немецкому переводу Псалтири («Pinchas»), либо к каким-то источникам, где приводилась транскрипция с еврейского. В разных текстах Сумароков пишет то «Дафан», то «Даван», впрочем, последний вариант возникает в посмертном издании у Новикова. Видимо, по-немецки прочел поэт и имя Эсхила — «Ешил» (Eschil). В немецкой форме переданы и голландские фамилии: Фондель, Бургавен. Напротив, имя «Ипократ» усвоено, вероятно, через французское посредничество.

Наконец, в качестве поэтической вольности для сохранения метра стихотворец избрал вариант лексемы, встречающийся и в прозе и содержащий стяжение — «Навходоносор».

В приложении к статье приведены некоторые статистические сведения, анализ которых позволяет проследить общие закономерности функционирования личных имен в творчестве Сумарокова. Они присутствуют в 389 стихотворных произведениях различных жанров общим объемом 16387 строк. Далее они распределены по стилистической и тематической близости на 9 групп: притчи (94 текста), пасторали (70), крупные панегирические стихотворения (57, кроме торжественных, разных од и стансов, сюда включено незавершенное вступление к поэме «Димитриады»), произведения малой формы: эпиграммы, мадригалы, эпитафии и т. п. (52),

духовные стихотворения (37), надписи и иные панегирики малого объема (32), эпистолярные стихотворения: послания, сатиры и пр. (18), песни и хоры (15), элегии (14). По происхождению и семантике изучаемые лексемы объединены в следующие группы: библейские и древневосточные имена (45); античные мифологические имена (107); имена русских правителей и священнослужителей (20); русские фамилии (39); иноязычные имена реальных государственных деятелей — правителей, полководцев (38) с подгруппами: восточные, греческие, латинские (римские), западноевропейские; иноязычные имена прочих исторических лиц (77) с подгруппами: античные и западноевропейские; иноязычные литературные имена (174); русские имена литературных персонажей и частных лиц (25); клички животных (9). Последняя небольшая группа, не принадлежа собственнно к антропонимам, относится к личным именам и весьма важна, поскольку, как выяснилось в процессе исследования, Сумароков, видимо, первым активно ввел в поэзию клички животных — собак (Дриопа, Меламп, Нахал, Сильваж, Хелапс), лошадей (Бурка-Сивка, Буцефал); упомянуты также коза Амальтея и коршун Тултул.

Наименее изучена самая обширная группа — иноязычные литературные имена. Если упоминание персонажей образцовых произведений интересно преимущественно в связи со спровоцировавшим их контекстом и как ключ для понимания эстетических пристрастий и антипатий поэта, то созданные Сумароковым характеры, наделенные такого рода прозваниями, заслуживают внимания и сами по себе. Особенно сложна проблема описания пасторальной антропонимики. Не говоря уже о том, что писатель часто переименовывал действующих лиц эклог при редактировании текста (этот вопрос, как отмечалось, вне пределов рассмотрения в этой статье), значительная часть используемых имен вовсе не буколического, а весьма неожиданного происхождения, и не совсем ясно, по какой причине Сумароков подбирал своим пастухам и пастушкам именно такие прозвища — при том, что само присвоение имени было, видимо, крайне важно, поскольку ему уделялось специальное внимание при правке произведений. Можно предположить, что одним из импульсов для появления в сумароковских пасторалях имен, ассоциирующихся с совершенно иными

жанровыми контекстами, является пародийная игра с просвещенным читателем.

Интересный пример такого приема находим в эклоге ЛШ, начинающейся так: «Младая девушка, не мысля ни о чем, / Играла на луту со пастухом мячом; / Не по-ребячьему мячом она балует; / Коль проигрыш ее — так он ее целует; / Коль проигрыш его — целует уж она; / Убыточна ль в игре такая им цена?» (ПСВС 8: 138). Выясняется, что участников фривольной забавы зовут Брадаманта и Тиридат. Оба антропонима восходят к высокой поэзии и пробуждали у современников писателя далеко не буколические ассоциации. Брадаманта вызывала в их памяти героиню поэмы Л. Ариосто (дважды упомянутого в стихах Сумарокова) «Неистовый Роланд» — деву-воительницу, весьма целомудренную и верную своей единственной любви к сарацинскому рыцарю Руджиеру, впоследствии принявшему христианство и вступившему с нею в брак. Знаменита сцена поединка этих персонажей, оказавшихся равными по силе и воспылавших взаимной страстью, когда они, сбросив шлемы, увидели друг друга во всей красе. Заменяв меч на мяч (вряд ли игра паронимами здесь случайна), смертельную схватку поборников враждующих церквей — состязанием за поцелуи, стихотворец перевел прототипическую любовную сцену из героического плана в комический.

Тиридат — имя трех парфянских царей. Трудно сказать, с которым именно соотносил поэт своего пастуха, каков источник этих ассоциаций, но, скорее всего, антропоним позаимствован из современной драматургии. В Европе пользовалась большой известностью трагедия Ж. Г. Кампистрона «Тиридат» (1691), одноименный персонаж выступает и в опере Ф. Сальвини «Правда в обмане» (1713). В первом случае это парфянский царевич, одержимый страстью к своей сестре, противящийся ее замужеству, чтобы соединиться с нею самому. Во второй пьесе это тиран, держащий в плену царевну из соседнего государства, которую принуждает к ненавистному ей браку (заметим, что Брадаманта в поэме Ариосто тоже оказывается пленницей чародея, добывающегося ее благосклонности). Разговор сумароковских пастухов, учитывая литературные ассоциации, до некоторой степени оказывается пародией на трагические диалоги, в которых злодей

стремится склонить героиню к любви, она же приводит благородные доводы против этого и выражает отчаяние: «Скажи, пастушка, ты со мною здесь одна, / Мне тайну эту: вдруг — красна ты, вдруг — бледна: / А мне твое лицо тем более прелестно». / «Скажи мне это ты: мне это неизвестно, / И представляю я едино то себе, / Что стала, кажется, милая я тебе». / «А я милый ли стал, или как был я прежде?» / «Милый». «Так буди ты, душа моя, в надежде!» / «В какой?» «Что сделаешь ты то, чего хочу: / Пресчастлив буду я, коль это получу». / «А что такое то, иль ты того не скажешь?» / «Со мной ты в лес пойдешь, со мной в лужайке ляжешь». / «Послушай, Тиридат! странна твоя мне речь; / Коль Брадаманту ты с собою нудишь лечь». / «Так разве я в глазах твоих, пастушка, мерзок?» / «Не вижу этого; да вижу, что ты дерзок; / И думается мне, что страшен ты теперь». / «Так разве я змея или свирепый зверь? / Как камень, ты тверда, а я, как снег, растаял: / И что я страшен стал — я этого не чаял». <...> / «Я зрю что девку ты от стада отманя, / Подобно как и волк подкрался под меня: / Лукавство никогда с любовью не согласно: / А я твои теперь обманы вижу ясно». <...> / «Коль ты не склонишься, так я хоть жизнь избавлю, / И навсегда тебя, от дня сего, оставлю. / Судьба моя сие, чтоб был я беден, сир: / Так Флоры осенью лишается Зефир». / Мятется девушка, дрожит она, рабует: / Пастух ласкается, а девушка слабеет» (ПСВС 8: 138–139). Подобно трагическому злодею, Тиридат в эклоге выступает искусителем, которому сопротивляется стыдливость героини, однако в отличие от прототипических персонажей пастух не обманывает, не желает насилия и понимает, что его побуждения естественны, а осторожность девушки, отвечающей ему взаимностью (немыслимой в отношениях трагического злодея и его жертвы), чрезмерна. В результате и возникает пародийный поворот трагедийной ситуации: персонаж, который должен играть роль тирана или искусителя, угрожает расстаться с героиней и обречь себя на муки, что и служит решающим аргументом. Неприступная добродетель (еще недавно, впрочем, игравшая в мяч на поцелуи) сдается и лишь просит никому не рассказывать о произошедшем.

Отводя иностранным литературным именам важную роль в сатирической поэзии и в эклогах, Сумароков не употреблял их в любовной лирике. Единственная любовная песня, где встречается

литературное имя — шуточные куплеты «Клав искать себе стал места, / Где б посвататься ему» (ПСВС 8: 210), и оно введено для указания на комический характер, как это стихотворец обычно делал, например, в эпиграммах. Населяя свои стихи и песни Хлоями, Нинами, Лизами и иными условными персонажами, поэты следующих поколений вовсе не подражали в этом отношении признанному образцу нежной страсти. Впрочем, имя «Елиза» (сокращенная форма от «Елизавета» на французский манер) встречается в элегиях Сумарокова, но относится не к идеальным возлюбленным, а к реальным женщинам, близко ему знакомым, — покойной любимой сестре (в замужестве Бутурлиной) и актрисе Е. Ф. Ивановой, преемнице знаменитой Т. М. Троепольской. Стоит иметь в виду, что, несмотря на ласковое обращение, взаимоотношения со второй Елизой у драматурга были периодически крайне напряженными. Другой распространенный в любовной поэзии антропоним — Филлида, кроме анакреонтических од, которые здесь не рассматриваются как переводные, четырежды упомянут в элегии на смерть графини А. П. Шереметевой, невесты Н. И. Панина (1768). В данном случае трудно сказать, было ли это данью литературной традиции или, кроме того, прозвищем девушки, бытовавшим в дружеском кругу вельможи, постоянным гостем которого был Сумароков. Приведенные немногочисленные примеры обращения к женским условным именам не связаны с изъяснением любви. Уже в «Эпистоле о стихотворстве» высказана четкая авторская позиция на этот счет. В повествовании о переживаниях некоего персонажа, в том числе и от его лица, допускается: «Любовник в сих стихах стенанье возвещает, / Когда аврорин всход с любезной быть мешает, / Или он, воздохнув, часы свои клянет, / В которые в глазах его Ирисы нет, / Или жестокости Филисы вспоминает, / Или своей драгой свой пламень открывает» (ИП: 118). Однако при непосредственном выражении чувства самим поэтом неуместны высокие перифразы с мифологическими антропонимами: «Не делай из богинь красавице примера / И в страсти не вспевай: “Прости, моя Венера, / Хоть всех собрать богинь, тебя прекрасней нет”; / Скажи, прощаяся: “Прости теперь, мой свет! <...> / Прости в последний раз и помни, как любил”. / Кудряво в горести никто не говорил: / Когда с возлюбленной любовник расстается, / Тогда Венера в мысль ему не попадется» (ИП: 124). Хотя сами по себе

литературные имена не гиперболичны, не противоречат природной простоте и часто служили ее знаком позднее, в эпоху сентиментализма, возможно, они все же казались стихотворцу чрезмерно патетической условностью, отдаляющей от естественного языка, в отличие от прижившихся в нем иносказательных формул, вроде «мой свет», «душа моя» и т. п. Пасторальное имя Климена в адрес возлюбленной дважды употреблено в песенке Тресотиниуса, ученого педанта из одноименной комедии (1750), в которой пародируется манера Тредиаковского (ИП: 284). Не исключено, что это также полемический выпад: условное имя кажется комедиографу одной из мертвых риторических формул.

Подобно своим современникам, Сумароков использовал очень много античных мифологических имен, которые уже стали к середине XVIII в. неотъемлемыми топосами русской культуры, их функционирование в поэтическом наследии «северного Расина» заслуживает специального подробного исследования.

В этой статье мифологические антропонимы понимаются очень широко. Подобно кличкам животных, в рассматриваемый материал включены наименования чудовищ (Гидра, Пегас, Сфинкс, Тифон, Цербер), а также обозначения разновидностей мифологических существ в единственном числе, поскольку такое употребление приводит к персонификации образа и воспринимается как имя собственное: Гигант, Муза, Нимфа, Сатир, Сирена, Титан, Тритон, Фурия (наряду с индивидуальными именами Мегера, Тизифона), Циклоп (наряду с индивидуальным именем Полифем). Метонимическое представление природных явлений было столь широко распространено, что в сознании публики середины XVIII в. уже мало связывалось с образами античных божеств, но в русской литературе этот прием появился так недавно, что полного автоматизма восприятия у читателей еще не сформировалось, поэтому как личные имена трактуются все употребления слов Аврора, Эхо, Борей, Аквилон, Зефир. Интересно, что, помимо Эола, в сумароковской поэзии упоминаются только западный и северный ветры (обычно как метонимии легкого и порывистого дуновения, приятной и ненастной погоды), причем в греческом варианте; латинский Аквилон встречается только дважды в значении, синонимичном Борею, в притче «Дуб и трость» и в оде на взятие



Хотина. Вообще, греческих мифологических имен у Сумарокова больше, чем латинских, хотя написание античных антропонимов, как уже отмечалось, чаще латинизируется. Возможно, значительно большее, чем в стихах его соперников, внимание к культуре Эллады связано с тем, что поэт близко общался с Г. В. Козицким и Н. Н. Мотонисом, специалистами по классической филологии. Хотя восприятие античного наследия Сумароковым шло преимущественно через посредничество европейских переводов и подражаний, в его стихах не встречается имени «Амур»: бог именуется Эротом или Купидоном. Французский антропоним, вытеснивший древние синонимы, начали применять поэты следующего поколения (уже В. И. Майков), и совершенное признание он получил после поэмы И. Ф. Богдановича «Душенька».

Т. Е. Абрамзон указывает на тенденцию к сокращению числа мифологических античных имен в панегирической поэзии Сумарокова на протяжении 1760-х гг. (Абрамзон 2006: 125). Это суждение, вероятно, справедливо для редакций, помещенных в сборник 1774 г., который анализирует исследовательница. Варианты собрания сочинений демонстрируют иную картину. Если не считать пародий на Ломоносова и его подражателей (так называемых «вздорных» од), где концентрация антропонимов, включая античные, доведена до абсурда, больше всего обнаружено мифонимов в оде на восшествие на престол Екатерины II 1762 г. (13 употреблений 8 имен — столько же, сколько в пародийном «Дифирамве Пегасу»; не случайно Т. Е. Абрамзон активно использует именно ее для описания поэтической мифологии Сумарокова). Далее следует не перепечатанная Новиковым вторая ода Анне Иоанновне 1740 г. (6 раз назван Марс и 4 — Минерва), ранняя «Ода, сочиненная во первые лета моего во стихотворении упражнения» (9 употреблений 7 имен), оды на первый день 1764 г. и на мир с Портою 1774 г. (8 употреблений соответственно 6 и 8 имен). Трудно говорить о какой-либо хронологической закономерности. Если же учесть все жанры, то становится очевидным, что среди наиболее частотных имен на протяжении всего творческого пути писателя больше всего античных мифологических. Статистические сведения об использовании самых распространенных (Зефир, Аврора, Флора, Минерва, Борей, Эол, Эхо, Зевс (также в форме «Зевес»),

Феб, Муза, Аполлон и Паллада) даны в приложении, каждое из них нуждается в подробном изучении, несмотря на то, что попутные характеристики уже давались, особенно комментаторами и исследователями од (Сумароков 2009; Абрамзон 2006: 101–142).

Русские антропонимы можно разделить на три части. Первая, наиболее употребительная, включает в себе имена князей, царей и священослужителей, состоявших при дворе (Феофан, Платон). Вне зависимости от своего происхождения, все они воспринимались как русские слова. Именно к данной категории принадлежат два самых частотных имени в поэзии Сумарокова (если не всей нашей словесности его эпохи): Екатерина (II, Великая) — 149 раз в 60 текстах, и Петр (I, Великий) — 139 раз в 58 текстах. Их роль в поэтике и идеологии писателя наиболее исследована (Абрамзон 2006: 101–119). Часто встречаются также имена Елисаветы (эту императрицу стихотворец именуется иногда, подобно Ломоносову, Елисавет, а в официальных заглавиях — Елисаветой I) — 43 раза в 17 текстах, и Павла — 24 раза в 14 текстах (девятое и двенадцатое по числу употреблений).

Вторую группу составляют фамилии реальных частных лиц, современников писателя (за исключением Разина). Пожалуй, Сумароков первым стал активно и свободно (в сравнении с Тредиаковским и Ломоносовым) вводить в поэтические сочинения, даже в оды, такого рода антропонимы. Правда, это особенно характерно для позднего периода творчества, когда литературный этикет значительно изменился, в том числе и усилиями самого «северного Расина» и его окружения. Чаще всего встречаются фамилии графов П. А. Румянцева-Задунайского (11 раз в 6 стихотворениях) и П. И. Панина (10 в 5). С обоими поэт был в довольно дружеских отношениях: с первым они в 1732 г. поступили в Сухопутный шляхетный корпус; Н. И. Панина, брата полководца и воспитателя наследника престола, стихотворец постоянно посещал в 1760-е гг.

Третья группа — фамильярные обозначения по имени и отчеству или уменьшительному имени реальных или вымышленных лиц. Поэт мало вспоминает о людях допетровского времени, половина их фигурирует при этом не как исторические деятели, а как персонажи трагедий самого Сумарокова. Набор русских антропонимов (особенно разнообразны вторая и третья группа, но строгий

отбор упоминаемых членов царствующего дома и отдельных их предков тоже показателен) заслуживает внимания филологов и историков культуры.

Наиболее однородна самая многочисленная пасторальная антропонимика, использующая только иноязычные литературные и античные мифологические имена. Первые отсутствуют в двух текстах — идиллии IV («В тот миг, когда ты мне в грудь искры заронила»), где упомянуты лишь Зефир и Эхо, и в идиллии VII («Сицилийски нимфы пети»), посвященной рождению великого князя Павла Петровича. Этот редкий для сумароковской поэзии опыт панегирической пасторали — единственный текст из рассматриваемой группы, где, кроме античных, ожидаемых в буколке (Флоры, Эрота, Эхо и перифраз Дианы — дочь Латоны и Юпитерова дочь), содержатся имена представителей российского царствующего дома: Павел и перифраза к нему «Петрова кровь» (очевидно, речь идет о великом князе Петре Федоровиче, хотя, возможно, одновременно и о его славном предшественнике и соименнике Петре Великом, за счет чего смысл стиха углубляется, а величие младенца возрастает). В свою очередь, иносказательные упоминания девственной богини охоты перифрастически отсылают к фигуре императрицы Елисаветы Петровны, прямо не названной, но нередко соотносимой современниками с этим мифологическим персонажем (см. об этом: Сумароков 2009: 265): «А Латоны дочь, ты стрелы / Князю Павлу поручи: / Россов ими ты пределы, / Защищать его учи! / От юпитеровой дщери, / Убегают люты звери, / Так погонит он врагов» (ПСВС 8: 160). Конечно, возможно истолковывать образ Дианы и непосредственно аллегорически, в духе распространенного сюжета о дарах, приносимых новорожденному высшими существами. Однако, как контекст придворной словесности, так и то, что императрица взяла в свои руки воспитание внучатого племянника, дает основание для двойной интерпретации. Такая система двойных и тройных отсылок вполне гармонирует с поэтикой барочного по своему происхождению жанра, не нарушая ясности и естественности слога и придавая ему комплиментарную изысканность.

В духовной поэзии Сумарокова, по самому ее содержанию и прочной связи со священными источниками, присутствуют

многочисленные библейские имена, а наряду с ними и отдельные антропонимы других групп. Впрочем, будучи уже носителем светского антропоцентрического мировоззрения, поэт даже в этом жанре, где соблюдение канонов считалось особенно важным, иногда отступал от них и осуществлял странные, по традиционным меркам, эксперименты.

Так, в переложениях ветхозаветных текстов четыре раза появляются имена античных языческих божеств. Правда, как отмечалось выше, слова «аврора» и «зефир» воспринимались просвещенным читателем, благодаря посредничеству западной поэзии, как нарицательные существительные. Однако пуристический подход к языку духовных од, свойственный, например, Тредиаковскому, вряд ли мог в ту эпоху одобрить применение таких выражений в переложении Библии. Поэт в целом передает содержание источника: «Коснувся небу, должен пасть, / Касаясь Ангельскому граду: / А если свергнуся ко аду — / Твоя и в преисподней власть. / К которым убою местам! / Летя ль на крыльях авроры, / Простру ко окянуну взоры! / Твое владычество и там» (ПСВС 1: 195). Ср.: «Ка́мо пойдú от Дúха твоегó? И от лица́ Твоегó ка́мо бѣжý? Аще взьдú на небо, Ты́ та́мо еси́: аще сн́дú во адъ, та́мо еси́. Аще возмú крильѣ мой́ рáно и вселю́ся въ послѣднихъ мóря, и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вить мя, и удержи́ть мя десни́ца Твоя́» (Пс. 138: 7–10). И все же приведенные фрагменты оказались не тождественны по смыслу в результате развертывания описания и авторского стремления эстетизировать образ, для возвышения которого заря и названа авророй, а море — океаном (это греческое слово тоже было еще сравнительно новым и активно использовалось в одах Ломоносова). Даже в наше время полет на крыльях зари и авроры, вероятно, воспринимается стилистически немного по-разному, и во втором выражении сохраняется античный, мифологический след. В XVIII в. эта коннотация, особенно благодаря соседству авроры с океаном, была гораздо более маркирована. Стиль процитированного отрывка, открывающегося анафорой, во многом строится на повторах и параллелизмах. Сумароков иносказательно вводит ряд крылатых образов, соотнесенных с летящей зарей. В псалме отсутствует упоминание ангельского града, эпитет здесь зримо актуализируется при упоминании в следующей строфе крыл авроры.

Полет на последних, принадлежащих при всей их нематериальности к миру земному, оказывается доступным субъекту речи, тогда как град обладателей горних крыл недостижим. Интересно, что и мотива падения нет в источнике, где восшествие на небеса не сочтено дерзновенным и не карается низвержением. Этот мотив в сочетании с образами авроры и океана вызывает ассоциации не столько с падшими ангелами и иными библейскими персонажами, сколько с Икаром (еще одна крылатая фигура) и Фаэтоном, периодически появляющимися в творчестве писателя.

Хотя Зефир упоминается в переложениях псалмов в функции нарицательной и в сравнительно нейтральных контекстах, он может приобрести антропоморфные черты, напоминающие о мифологическом происхождении слова. Это бывает, когда поэт дополняет текст источника устойчивыми оборотами европейской риторики: «Глаголет Бог и внемлет мир; / От запада и до востока, / От юга до полночна тока, / Где мерзнет дышущий зефир» (ПСВС 1: 67). Так передан библейский стих: «Богъ Богѡвъ Господь глагола, и призвѧ зѣмлю от востѡкъ сѡлнца до западѣ» (Пс. 49: 1). Т. Е. Абрамзон показывает, как посредством эротических коннотаций имени Зефира происходит новаторский синтез одического и пасторального стиля в оде на погребение Елисаветы Петровны (Абрамзон 2006: 139). В «Истории Сосанны» те же оттенки данного антропонима содействуют формированию неуместного для переложения из Библии слога *poésie fugitive*: сад героини предстает как *locus amoenus*, располагающий к любовным утехам (в источнике подробного описания нет).

Во вступлении к оригинальной духовной оде «Противу злодеев 1» автор избирает себе в качестве образца не библейского псалмопевца (о значении этой фигуры в творчестве Сумарокова см. ниже), а злоязычного греческого стихотворца. Появление антропонима, традиционно неуместного в данном случае, объясняется попыткой сочинителя наряду с философскими рассуждениями попутно коснуться вопросов литературной полемики, обновив тем самым тематику жанра: «Ты, Ямбический стих во цвете, / Жестоких к изъясненью дел / Явил, о Архилох, на свете, / И первый слогом сим воспел! / Я зляся воспою с тобою, / Не в томной нежности стена; / Суровой возгласу трубою; / Трохей сокройся от

меня» (ИП: 88). Общий тон стихотворений Сумарокова таков, что не только зефир и аврора, но и Архилох не диссонирует в них с религиозно-философским содержанием, поскольку выражает мирозерцание автора, органически впитавшего общеевропейские топосы, восходящие к античности, и принципы светской культуры, сложившейся после петровских преобразований.

Это особенно демонстрирует употребление в духовной поэзии имен русских правителей. Только они, наряду с античными мифологическими, оказываются для Сумарокова универсальными, применимыми в любом жанре. В его переложениях псалмов, вопреки ожиданию, мы встречаем не только канонизированных древних князей Бориса, Глеба, Александра Невского, не только Петра Великого, перенесшего мощи последнего святого в новую столицу, но и царствующую императрицу Екатерину Великую. Акrostих, построенный на сочетании этих двух слов, представляет собою переложение псалма СХ, совместившее, в результате, черты духовной оды и придворного мадригала.

Самый насыщенный антропонимами жанр — элегия. Если в такого рода тексте встречается имя, то нередко оно повторяется несколько раз: «Уж нет тебя, уж нет, Элиза дорогая. <...> / Элиза, ты со мной навек разлучена. <...> / Элиза, навсегда, любезная, прости!» (ИП: 156–157). Так проявляется магическая, заклинательная функция имени, очень востребованная поэзией на ранних фазах развития психологизма. Не выработав еще средств выражения чувств и описания характера, авторы неоднократно воспроизводят имя адресата, полагаясь на воображение публики, отгадывающей в этом приеме силу эмоции, и на ассоциативное мышление посвященных, которые при настойчивом призыве должны отчетливее представить себе лицо, о котором идет речь. Как отмечалось выше, антропонимы встречаются в тренических, а не любовных элегиях, в панегирических или комических песнях.

Итак, соотнесение тематических и жанровых групп антропонимов в творчестве поэта, с одной стороны, подтверждает, что он довольно строго следовал стилистическим канонам, и чаще всего имена появляются только в определенных жанрах, в контексте, соответствующем их языковым и культурным коннотациям. С другой стороны, обнаруживаются тенденции к оригинальному

словоупотреблению, не предусматриваемому правилами жанра, преимущественно в виде литературной игры и эпизодических экспериментов, которые, однако, прослеживаются в поэтической системе писателя повсеместно, не только в наиболее гибких формах (притчах, посланиях, сатирах, стилистический диапазон которых часто неоправданно сужается), но и в, казалось бы, строго регламентированных текстах — панегирических и духовных.

199 антропонимов (37,2% от общего числа) встречаются в поэтическом наследии Сумарокова единожды, еще 153 (28,6%) употреблены несколько раз, но только в одном произведении. 73 личных имени (13,6%) встречаются в нескольких текстах по одному разу и только 110 (20,6%) — многократно: они далее в этой статье считаются частотными. Подсчет частотности антропонимики подтверждает распространенное в литературоведении мнение об экстенсивности творчества писателя, который, подражая Вольтеру, постоянно расширял круг жанров, тем, мотивов, топосов, художественных приемов, но не всегда стремился к детальной их разработке. В большинстве случаев имена собственные первых двух групп служат лишь для прямого называния лица, речь о котором заходит по конкретному, частному поводу и далеко не всегда вызывает значительный интерес автора, появляясь почти попутно, или же необходимы для периодического указания на персонажа, о котором идет речь в отдельном сочинении (притче, эклоге), на адресата стихотворения на случай. Хотя так бывает не всегда при единичном использовании слова Сумароковым, в его поэзии, даже многократно возникающие антропонимы применяются преимущественно утилитарно, выполняя номинативную функцию. Эта обширная группа (как, впрочем, и весь антропонимический тезаурус автора) особенно интересен для историко-культурных исследований. Проясняются интеллектуальные горизонты, круг чтения, сфера познаний, интересов и вкусов, актуальных топосов и их источников как самого Сумарокова, так и его читателей — с одной стороны, поклонников и единомышленников, той «Публики», которой он адресовал свои стихи, с другой — довольно широкой среды потребителей его книг, черпавших оттуда сведения (в том числе новые, но быстро входящие в массовый оборот). Обе группы были подвержены осознанному или косвенному влиянию

образцового литератора. В этом отношении важно учитывать и частотность употребления имен, которая свидетельствует об эстетических и идеологических предпочтениях писателя, его пристрастиях к тем или иным знаковым фигурам. Они отчасти отражают общие умонастроения эпохи или ориентацию на определенные образцы, но нередко вполне индивидуальны и многое говорят о своеобразии авторского мировоззрения. Для филолога особенно интересны именно эти, сравнительно нечастые, но зато эффективные случаи применения Сумароковым антропонимов в качестве художественного средства или идеологического знака. Имена выступают тогда, как правило, иносказательно как антономазии, элементы перифраз, аллегорические метонимии и т. п. Примеры, приведенные в этой статье, свидетельствуют об органической связи поэтики Сумарокова с традицией барокко, с современной ему салонной культурой.

Для того, чтобы проследить, как творчески реализуются Сумароковым разные функции личных имен, остановимся подробнее на двух группах: на библейских и древневосточных антропонимах и на иноязычных именах исторических лиц.

## 1. Библейские и древневосточные имена

Почти все древневосточные антропонимы, встречающиеся у Сумарокова,<sup>5</sup> восходят к Ветхому Завету и языческой мифологии или древней истории. Единственное новозаветное имя — Мария — единожды появляется в «Стихирах пресвятой деве»; там же, естественно, упомянут и архангел Гавриил, оба в прямой номинативной функции и далее в этой статье также не рассматриваются. Из христианских святых, чьи имена имеют восточное происхождение, трижды назван Исаакий Далматский.

«Северный Расин», видимо, не был глубоким знатоком Священного Писания. Обращение к Богу — «Сотвори́ и́мъ я́ко Мади́аум и Сиса́рь, я́ко Иави́ му въ пото́цѣ Ки́ссовѣ» (Пс. 82: 10) — переложено

---

<sup>5</sup> Из данной группы исключена «Аталья», французская форма имени «Гофолия», поскольку оно обозначает исключительно заглавную героиню трагедии Ж. Расина.



так: «Да будет то им сильный, Боже, / Что прежде видел Мидиям, / И что Сисара зрела тоже, / И страх Кисоновым брегам!» (ПСВС 1: 119). Не только исчез один из персонажей и изменилась традиционная огласовка (неясно, считал поэт слово «Мидиям» топонимом или метонимически использованным антропонимом, оба варианта отражают сущность явления), но и языческий военачальник Сисара, очевидно, по грамматической аналогии, поменял родовую принадлежность, представ в женской роли. С аналогичной метаморфозой встречаемся и в переложении псалма 88: «Воздвигнулась Раав и возмутился Нил: / И вскоре / Царя и воинство пожрало море» (ПСВС 1: 126). В данном случае в источнике подразумевается демоническое божество рептильного вида, которое в Ветхом Завете выступает и как метонимия Египта. Похоже, что Сумароков перепутал это чудовище с омонимичной известной героиней, но в таком случае строки утрачивают смысл. Иерихонская блудница Раав, помогавшая Иисусу Навину и потому помилованная при штурме города, жила значительно позднее описываемых событий, далеко от Египта и была не противницей, а союзницей народа Божия.

Подобные несообразности показывают, сколь в целом Сумароков был мало искушен в библейской истории и богословии, эти области знания не слишком его привлекали как писателя, чье творчество имело по преимуществу светский характер. Древневосточные и библейские имена имеют здесь уже несколько экзотический колорит, как в литературе значительно более позднего времени. Принципиально по-разному используются они в сочинениях духовного и светского содержания.

В первом случае все обычно предначертано источником. Показательно, что в оригинальных, не почерпнутых из Священного Писания, философских и богословских стихотворениях Сумарокова антропонимов рассматриваемой группы нет. Следовательно, они вводятся либо по необходимости, как неотъемлемая принадлежность сакрального текста, либо как стилистический маркер (в случаях отступления от оригинала). Общеизвестно, что, перелагая священные тексты, поэт относился к ним очень свободно, сокращая и искажая. В результате и имена, встречавшиеся в исключенных фрагментах, исчезают (так, перелагая псалмы 59 и 107,

содержащие одинаковый стих с рядом антропонимов: «Мой есть Галаад, и мой есть Манассий, Ефрем крепость головы моя, Иуда царь мой», — Сумароков в первом случае его оставил, во втором сократил). Кроме того, нередко стихотворец и в сохраненных частях Библии пропускает личные имена или, реже, вставляет их там, где не было в источнике. Причины этого не вполне понятны и, видимо, связаны с общими представлениями Сумарокова о Ветхом Завете, о принципах его перевода, с его религиозными, эстетическими и стилистическими взглядами. Не претендуя на столь глубокое освещение проблемы и не предлагая конкретных ее решений, ограничимся некоторыми наблюдениями.

Духовные стихотворения Сумарокова составляют обширный том, но в нем есть только одно повествовательное сочинение, почерпнутое из Библии. Выбор сюжета чрезвычайно показателен и вновь свидетельствует о светских тенденциях творчества писателя, который из всего разнообразия священных сюжетов остановил внимание на едва ли не самом галантном. 13 глава книги пророка Даниила послужила основой для «Истории Сосанны». Разумеется, здесь употребляются и антропонимы для неизбежного при повествовании прямого называния персонажей. Кроме того, что имена этих действующих лиц в других сочинениях поэта не встречаются, интересно соотношение их частотности в переложении и библейском источнике. Даже здесь заметна тенденция, которой руководствовался поэт, пересказывая знаменитую притчу.

В книге пророка Даниила названы четверо участников вавилонского происшествия: Сусанна (11 раз), ее отец Хелкия (3 раза), муж Иоаким (6 раз) и пророк Даниил (6 раз). Мать, старейшины, служанки остаются безымянными. У Сумарокова Сосанна, названная 18 раз, выходит на первый план еще рельефнее, чем в источнике. Описание ее внешности, душевных состояний, окружающей обстановки, в частности, прекрасного сада — подробности, отсутствующие в оригинале, — помещают ее в центр читательского внимания и сопереживания. Как обычно, у Сумарокова возникает прекрасный и духовно сильный женский образ, воспеваемый автором, и именно он сосредоточивает на себе интерес. Роль пророка Даниила, названного всего трижды, значительно понижается, чему способствует и то, что рассказ о его суде

сильно сокращен. Большинство реплик выброшено или редуцировано. В то время как в Библии постоянно привлекается внимание к пророку как к авторитетному носителю слова истины («и рече къ нѣмъ даниїль», «рече же даниїль», «рече же ему даниїль», «обличїи ихъ даниїль отъ устъ ихъ» (Дан. 13: 51, 55, 59, 61), у Сумарокова имя упомянуто лишь в связи с двумя неизбежными для фабулы сообщениями: «Был отрок Даниил, его Господь воздвиг»; «И Даниил судити сел» (ПСВС 1: 158, 159). Оставшись спасителем Сусанны, он превратился во второстепенного персонажа, вроде *deus ex machina*. На это указывает третье упоминание: «И с трепетом стоят пред Даниилом оба» (ПСВС 1: 159). В прочих случаях герой назван иносказательно («отрок», «седший судиею» и т. п.), поэтому на первый план выходит не его личность, а функция, сам персонаж ступшевывается. Показательно, что финал, благодаря замещению перифразой конкретного имени, у Сумарокова звучит торжественнее, но вместе с тем и отвлеченнее. Ср.: «Даниїль же бысть великъ предъ людьми от днѣ тогѣ и потѣмъ» (Дан. 13: 64); «А сей воздвиженный от Бога судия, / Возвышен домом тем и всенародным кликом, / И у народа стал в почтении великом» (ПСВС 1: 160). Если в Ветхом Завете эпизод с Сусанной важен для дальнейшей репутации пророка и является проходным, то в стихотворении Сумарокова, напротив, возвеличение справедливого судии — достойное последствие самодостаточной новеллы о Сосанне.

Хелкия в русском переложении по имени вообще не назван. О благочестии отца героини упоминается, но, как и ее мать, он перестал быть знаковой фигурой, ведь формула «Сосанна, дочь Хелкия, жена Иоакима» для стихотворца XVIII в. не актуальна ни как сакральная, ни как юридическая, ни как эстетическая. Иоаким тоже отступает на второй план, хотя он у Сумарокова и упомянут четырежды. Более того, характер этого персонажа нарисован гораздо объемнее, чем в оригинале. Поэт сочинил ему монолог, немислимый в устах ветхозаветного иудея, но весьма уместный в барочной галантной литературе. Супруг не верит судьям, убежден в невинности Сосанны, молит казнить и его в том случае, если его жена все же будет признана преступной, ведь жизнь без нее ему не мила. Однако во всей этой знаменательной сцене Иоаким назван лишь перифрастически, притом не слишком комплиментарно,

«усердным другом» старейшин. Расстановка действующих лиц в «Истории Сосанны» примерно такова же, какова она в эклогах Сумарокова, где в центр поставлена героиня, а значение героя намеренно редуцируется, в том числе за счет его безымянности или редкого наименования. Этот прием явно обнаруживается при изучении редактирования поэтом эклог.

Разнообразнее использование библейских антропонимов в многочисленных лирических переложениях из Священного Писания.

В качестве отдельной группы выделяются обозначения Бога посредством личных имен. Сумароков последовательно избегает употребления для этой цели перифразы, содержащей человеческое имя, хотя прием этот очень распространен в Псалтири. Поэт исключает оборот «Бог Авраамов» (Пс. 46: 10), а самую частотную перифразу — «Бог Иаковль», встречающуюся 14 раз в 11 псалмах, применяет только 5 раз в 4 стихотворениях (ПСВС 1: 105, 116, 187, 188). При переложении псалма 147, значительно изменяя стих 8, где имеется этот оборот, писатель сохраняет само имя патриарха: «Иякову он слово, / Израилю закон вещает, / И правила дает неслыханные ими» (ПСВС 1: 112).

Для переводов «Псалтири» не характерно использование имен «Иегова» и «Саваоф». Между тем Сумароков (трудно сказать, самостоятельно или под влиянием каких-либо источников) первое из них употребил 8 раз в 4 текстах (ПСВС 1: 63, 77, 138, 140–141), второе — 5 раз в 2 текстах (ПСВС 1: 28, 115–116). Как видим, эти титулы Божества встречаются только в нескольких произведениях, но зато могут повторяться в них неоднократно. В переложении псалма 79 (возможно, по ассоциации с какими-то молитвами близкого содержания) четырежды повторено обращение «Боже Саваоф», в первый и завершающий раз с добавлением слова «Господи»:

«Боже возврати нас, просвети лице твое и помоги нам! / Господи Боже Саваоф! / Доколе курится гнев твой, при молитве народа твоего? / Дал еси нам ясти хлеб окропленный слезами, / И со слезами смешал еси питье наше. / Бросил нас соседям нашим ко раздору с ними; / Враги наши ругаются нами. / Боже Саваоф, возврати нас, просвети лице твое и помоги нам! <...> / Боже Саваоф возврати нас, / Возри с небеси, виждь и призри виноград сей! / Защити то,

что твоя насадила рука, / И мужа, его же избрал и усыновил еси! / Виноград твой позжен, и пепел его развеян ветром: / Чада твои разсеяны гневом твоим. / Защити мужа, ему же клялась десница твоя, / И сына человеческого, его же избрал еси. / Не отвержи нас, / Оживи нас: и призовем имя твое! / Господи Боже Саваоф, возврати нас, просвети лице твое, и помоги нам!» (ПсВС 1: 115–116).

Повторы здесь и задают темп, и структурируют композицию текста. Переложение псалма 98 построено на пятикратном упоминании Иеговы:

«Владеет Егова; / Смущаются народы: / Седит на херувимах; / Да движется земля. / В Сионе Егова велик, / И надо всеми он народами высок. / Да славится твое велико имя, / И да святится. / Ты любишь истину: / И во Иякове уставил правый суд, / Возславьте Егову и Бога нашего, / И поклоняйтесь подножью ног его; / Он свят. / Со Аароном Моисей, / И с ними Иерей их, / И Самуил; / Господне имя призывают, / И внемлет оный глас Господь. / Во облачном столпе глаголал с ними: / Его устав они хранили, / И данное Богом поведение. / Наш, Боже Егова, там их послушал: / Оставил им грехи, / И их освободил от наказания. / Возславьте Егову и Бога нашего. / И поклоняйтесь ему в горе его святыни; / Господь бо свят наш Бог» (ПсВС 1: 141–142).

Что касается прочих имен, то они используются тремя способами: в составе притяжательных конструкций с антропонимом в родительном падеже или с прилагательным; в качестве пространственной метонимии и в прямом значении. В некоторых случаях однозначного истолкования смыслу дать нельзя, и такие примеры можно причислить сразу к двум из выделенных групп. Все указанные разновидности есть и в библейском источнике, и в стихотворных переложениях, но соотношение их неодинаково.

Поэт сохраняет чуть больше половины притяжательных конструкций (16 из 28). Как и исключенные, это, кроме сочетаний «стремление Давыдово» и «заслуги Давыдовы» (ПсВС 1: 187, 188), перифразы — без семантического переноса, метафорические (например, «рог Давыдов» (ПсВС 1: 189)) и метонимические («страна Хамова», «жилища Хамовы», «колени Ефремовы», «меч Давыдов», «народ Иакова», «сыны Адамлы / Ефремовы / Иаковли» (ПсВС 1: 109, 111, 112, 129, 152, 153, 171) и т. д.). Трудно сказать, почему

те же или аналогичные обороты не включены в переложения. Единственное, что представляется несомненным, Сумароков последовательно избегает перифраз со словом «дом»: «дом Давыдов», четырежды употребленный в «Псалтири», «дом Ааронов».

Из 26 случаев метонимического использования библейских антропонимов Сумароков сохраняет 17. В такой функции используются имена Адама, Иакова, Вениамина, Ефрема, Манассии, Иуды. Такой пространственной метонимией при переложении псалма 77 заменено выражение «колени Иудино» (Пс. 77: 68):

«Гнал и побивал врагов своих, / И оставил им стыд вечный. / Отринул хижину Иосифову, / И колена Ефремова не избрал, / Но Иуду и возлюбленную гору Сион. / Яко высокое небо, созидал он себе, святыню, / И основал ее вечно, яко землю» (ПСВС 1: 112).

Из 47 случаев употребления библейских имен в прямом или неоднозначном, двойственном смысле исключено только 9 и столько же включено дополнительно в данной функции там, где их не было в источнике. Наиболее интересно в этом отношении употребление пяти из них.

Прежде всего, это Давыд, чье имя в такой роли названо 11 раз, в том числе 3 раза самовольно в тех местах, где его нет в источнике. Правда, еще в 5 случаях оно пропущено, не говоря уже обо всех указаниях на авторство божественных гимнов. Однако имя царя-псалмопевца было особенно важно для Сумарокова. Сравним: в номинативной функции Моисей упомянут 6 раз, Аарон — 5, Иаков — 4, прочие еще реже, обычно единожды. Более того, пожалуй, Давыд — единственный библейский персонаж (кроме участников «Истории Сосанны»), который сложился в относительно законченный художественный образ и потому постоянно заслуживал личного наименования. В духовных стихотворениях русского поэта Давыд оказывается в значительной степени двойником автора, того лирического героя, который возникает в произведениях Сумарокова разных жанров и напоминает психологически самого писателя.

Особенно близко оригинальной лирике Сумарокова — и тематически, и стилистически — переложение псалма 38:

«По струнам извещая слово, / Давыд божественный биет: / Гонение ему не ново. / Давыд гонимый вопиет: / Я, Боже! мучуся

судьбою; / Но не хочу перед тобою, / В числе неправедных я быть: / От незаконных утекаю, / Не льщу злодеям, не ласкаю, / И не стремлюсь людей губить. // Но, зря неправду, я сержуся, / Противяся моей судьбе: / Покорствовати я стыжуся, / Подвластен одному тебе. / Возможно ли неправду видеть, / И злых людей не ненавидеть; / Себя злодейством утешают, / Чужим богатством украшают, / Я зрю лукавство и кляню. // Или мы то позабываем, / Что мы одушевленный прах? / Недолго в жизни пребываем; / Но забываем весь сей страх: / Хоть наше житие не вечно; / Живем мы здесь бесчеловечно, / Наш век преходит яко день; / Иль мы, траве подобно, вянем, / И все минемся яко тень?» (ПСВС 1: 50–51).

В контексте проблемы, которой посвящена статья, наиболее знаменательно начало, где дважды повторяется имя певца. В библейском источнике это вступление отсутствует, но зато четко заявляет актуальную для Сумарокова тему противостояния стихотворца, гонимого судьбой и невежественным обществом, миру. Впоследствии эта тема, впервые в русской поэзии разработанная Сумароковым, стала очень популярной у не любивших его представителей романтического направления, причем иногда и с библейскими ассоциациями, и с аллюзиями на Давида. Предложенный в переложении 38 псалма зачин с наименованием поэта или обозначением рода его занятий (поэт, певец), иногда с повторением стал типичным для стихотворений на тему о независимости творчества. Самым известным является «Чернь» («Поэт и толпа») А. С. Пушкина. С процитированным выше сумароковским текстом сопоставимы не только содержание, но и слог знаменитого стихотворения, например, его зачин:

«Поэт по лире вдохновенной / Рукой рассеянной бряцал. / Он пел — а хладный и надменный / Кругом народ непосвященный / Ему бессмысленно внимал» (Пушкин 1995: 141).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Некоторые переклички с началом сумароковского переложения 38-го псалма заметны и в той поэтической традиции, откуда Пушкин почерпнул пятистишную строфу с рифмовкой АБААБ для «Черни», хотя она формирует немного иной, сентиментальный, тип автора. Ср.: «Певец, весноно вдохновенный, / Не смеет более бряцать, / Но сердце в нем еще пылает, / Еще, еще оно алкает / Красу природы созерцать». (Дмитриев 1967: 282); «И се! могущими перстами / Певец ударил по струнам — /

Отражение той стилистики и топики, которые отчасти восходят к духовным стихотворениям Сумарокова, при изображении творческой личности в массовой поэзии демонстрирует, например, «Награда поэта» (1837) Э. И. Губера:

«В часы забот и скуки хладной / Молчит задумчивый певец, / И вольной песни звук отрадней / Не тронет жаждущих сердец. / Он тоже страждет, тоже стонет / Под ношей горя и страстей; / Но он тогда струны не тронет, / Он все слова не заронит / В сердца бесчувственных людей. / На голос черни безответен, / Он бурю жизни переждет; / И одинок и незаметен, / Он громких хвал не соберет. / Зато в минуту вдохновенья, / Нарушив долгий, праздничный сон, / Из глубины уединенья / На грозный суд выходит он. / И льется песнь живым потоком, / И въяве сходит благодать, / И на челе его высоком / Пылает божия печать. / И робкий мир, склоняясь долу, / Глядит на страшного певца, / И внемлют грозному глаголу / Ожесточенные сердца. / Как смелый воин в бурной сече, / Он преступление казнит, / И по лицу земли далече / Живое слово прогремит. / И то не суетное слово, / Не бесполезное зерно; / В сердцах людей свежо и ново / Созреет жатвою оно. / И этой жатвою богатой / Гордится праведный поэт, / И в ней одной бессмертной платой / Ему заплатит грешный свет» (Поэты 1972б: 140–141).

Четыре библейских антропонима выступают в поэзии Сумарокова как оппозиция двух пар героев. Это братья Моисей и Аарон, с одной стороны, и восставшие против них отступники веры Дафан и Авирон — с другой. Для последовательного попарного употребления поэту пришлось несколько раз вставить имена данных персонажей там, где их нет в источнике. Упоминание первой пары героев как обрамление композиционно выделяют описание исхода евреев из Египта в переложении псалма № 76. Это основная

---

Одушевленны забряцали! / Воспел — дубравы застенали, / И гул помчался по горам» (Жуковский 1999: 80). Наряду с царем-псалмопевцем, в том же духе мог описываться и иной образцовый поэт, создающий величественные, вдохновленные свыше строки, но отверженный как безумец, странник и т. п.: «Певец их, Тасс, тебе любезный, / С кем твой давно сроднился дух, / Сладкоречивый, гордый, нежный, / Наш очарует взор и слух. / Иль мой певец — царь песнопений, / Неумирающий Омир, / Среди бесчисленных видений / Откроет нам весь древний мир» (Гнедич 1956: 80–81).



часть произведения, иллюстрирующая тезис о несокрушимости божественных сил, которое высказано во вступлении: «Вся тварь тебя превозносила; / Ты Бог творящий чудеса; / Ты создал землю, небеса; / Твоя известна миру сила» (ПСВС 1: 106). Третья и восьмая (финальная) строфы скреплены зеркальным повтором имен братьев-предводителей:

«Египта наш народ избавил, / О Господи, ты силой сей: / И с Аароном Моисей, / Ему предшествуя, ты славил. <...> / Преходят море без урона; / Господня их рука ведет, / И им сопутников дает — / Со Моисеем Аарона» (ПСВС 1: 106–107).

Значительность строке, содержащей имена, кроме ее повторения, придает и маркированная ее позиция: этот стих завершает не только произведение, но и всю десятую книгу Псалтири в сумарковской обработке.

Переложение 107 псалма прославляет бесконечное милосердие Творца, который неоднократно прощал свой народ, несмотря на ропот и впадение в язычество. Здесь, в строфах 10–11-й предводители племени Израиля даны в противопоставлении братьям-отступникам, причем пара «Дафан и Авирон» названа дважды, и оба раза в такой последовательности, а «Моисей и Аарон» только по одному разу, но каждый раз с перифрастическим упоминанием его брата, которое вновь расположено зеркально по отношению к имени собственному:

«Потом яд новый паки сея, / Среди упрямства своего, / Против востали Моисея, / И брата вождя им сего. // Спаслися вышняго рукою, / В стану со братом Аарон, / И к общему людей покою, / Исчез Дафан и Авирон. // Земля разверзлась и Дафана, / Во преисподнюю брала, / И Авирона средь их стана / Пылая в сонме пожрала» (ПСВС 1: 157).

В продолжении повествования названо по одному представителю из каждой пары — Авирон и Моисей (это единственный случай их упоминания поэтом поодиночке), но их имена образуют антитезу, проводящую все ту же идею восхваления покорных Богу и осуждения восстающих против него. Интересны и используемые здесь перифразы «начальствующий» и «вождь», которые применимы как к Моисею, так и к Аарону; возможно, они и нужны стихотворцу, чтобы дать лаконичную отсылку к обоим братьям:

«Со Авироном нечестивых, / Огонь пожег и попалил: / Мязеж между людей; правдивых / Начальствующий утолил. // Не долго мирно пребывали, / В покорстве вождю своему, / Тельца в Хориве изваяли, / И поклонялися ему. // Тогда всевышний разозженный, / Возрел со яростью с небес, / И бросить пламень разозженный, / Уже десницу он вознес. // Во гневе праведном и строгом, / Уме Израиль утопал; / Но Моисей тогда пред Богом, / Воздев на небо руки пал. // Исполнен трепетной боязни, / Как ад на них разинул зев, / Моленьем отвратил он казни, / И умягчил он Божий гнев» (ПСВС 1: 157–158).

В последних стихах 18-й и 19-й строф переложения того же 107-го псалма присутствует еще одна антитеза имен: языческого, ложного божества (Вельфегор) и праведника-избавителя (Пинех):

«И вместо Бога, боги мертвы, / Влекли к себе их <евреев — Н. Г. > тусклый взор: / Они съедали оных жертвы, / Почтен был ими Вельфегор. // За злодеянье заражались / Болезнью лютою они; / Болезни оны умножались, / Пресек те злы Пинех им дни» (ПСВС 1: 158).

Пинех назван второй раз в начале следующей строфы, но принцип симметрической парности организует композицию и этого стихотворения, ведь, кроме Вельфегора, выше упоминалось еще одно языческое божество — золотой телец, и, хотя это не антропоним, функция его аналогична. Упоминание дважды имени Пинеха и по одному разу этих двух персонажей уравновешивают друг друга.

При появлении древневосточных имен в «светской» поэзии Сумарокова обращает на себя внимание активное их применение в комических текстах. Наибольшая концентрация библейской антропонимики (как, впрочем, и античной) присутствует в пародиях. В «Дифирамве Пегасу» (1766) вперемешку с греческими и римскими мифологическими персонажами упоминаются почти рядом и подряд совершенно не связанные друг с другом апокрифический Агасфер, ветхозаветные Сиф, Сим, Хам, Самсон, цари персидский Кир, вавилонский Нин, индийский Пор. При этом все они используются в качестве эффектных, но неуместных экзотизмов для создания галиматши, демонстрирующей неестественность громкого одического слога, привлекающего подобные имена в качестве риторических примеров. Сами же по себе они утрачивают какое бы

то ни было значение. Это видно на примере употребления имени вечного жиды: «Пентезилея с Агасфером / Выходят молча из гробов» (ИП: 293). Помещение в гроб персонажа, обреченного именно на вечное скитание и соединение его с легендарной царицей амазонок столь абсурдно, что совершенно уничтожает возможность хоть сколько-нибудь серьезного восприятия данного имени.

В притчах и сатирах используются имена Самсона, Адама и Евы, часто одновременно в аллегорической и игровой, комической функции.

Первое имя как антономазия храбрости появляется в притче «Лев и Осел» (1762), наряду с именем Ахиллеса, сравнение с которым введено ради той же цели: «Труслив осел, когда дерется иль молчит, / И очень яростен, когда кричит: / Тогда он храбростью подобен Ахиллему» (ПСВС 7: 93). Однако имя библейского героя использовано в маркированной финальной строчке именно для усиления комизма путем типичного для барокко интеллектуального обыгрывания аллюзий. Не менее, чем храбрость Самсона, известно, как она проявилась на примере его встречи как раз с обоими басенными животными: старой ослиной челюстью богатырь побил целое войско филистимлян, а льву руками разорвал пасть. Сумароковский лев, чтоб напугать зверей, заставляет осла реветь, а когда, в отличие от прочих обитателей леса, царь животных не убегает, осел выражает удивление и получает следующий ответ: «Клянись тебе, дружок, я так колико честен, / Что если б не был ты толико мне известен, / Страшился бы Самсон и я тебя тогда» (ПСВС 7: 94). Если учесть, что это произносит зверь, некогда поверженный Самсоном, унижение и осмеяние, которому подвергается осел, как бы удваиваются. Отметим, что в исходной басне Лафонтена (II, 19) ни Ахиллес, ни Самсон не упоминаются. Эти имена вводит Сумароков.

В притче «Пени Адаму и Еве» (1769) имена прародителей употребляются в прямом номинативном значении: крестьянин в разговоре с женой сетует на то, что они неповинно обречены на тяжелый труд из-за грехопадения первых людей. Однако имя «Адам» в этой притче и в сатире «О благородстве» комически обыгрывается, будучи вставлено в стилистически неоднородную и потому очень забавную рифму (одну из выделенных Л. Ю. Виндт в качестве

повторяющейся поэтами сумароковской школы гротескной формулы): «Бранит Адама / И кавалер и дама» (ПСВС 7: 142), «от баб рожденным и от дам / Без исключения всем праотец Адам» (ИП: 189). Идеологически в первом примере ироническое возвышение персонажей: крестьяне названы кавалером и дамой, во втором — уподобление как однородных понятий простонародного «баба» и светского «дама». Стилистически же для Сумарокова, судя по его лингвистическим статьям, «дама», как современное и необязательное иностранное заимствование, является неестественным и неуместным и потому особенно комически контрастирует с библейским и возвышенным именем праотца. В то время как имя «Ева» рифмуется со стилистически равным и семантически ожидаемым словом «древа», обыгрывание имени Адама было маркировано. Возможно, рифма заимствована из западной поэзии, но прямые источники пока неизвестны. Еще до Сумарокова ее использовал в басне «Медведь. Лисица и волк» (1766) В. И. Майков: «Меж тем сказала им Лиса словами сими: / “Нельзя считаться вам со летами моими; / Женился как Адам и Ева замуж шла, / Я не последнюю на свадьбе их была: / Была вторая дама”. / А Волк сказал в ответ: / “Я старше тебя и твоего Адама”» (Майков 1966: 147). Она и позднее встречается в легкой поэзии, например, у Пушкина в фривольной «Вишне» и у кн. П. А. Вяземского в шуточной «Литературной исповеди».

Серьезное использование библейских имен в стихотворениях светского содержания у Сумарокова мы находим только в нескольких одах. Интересно, что довольно популярные антропонимы, использованные поэтом в комических произведениях, в его оригинальных одах не фигурируют. Исключение — единственное упоминание Самсона в первой редакции «Оды на государя Петра Великого» (ПСВС 2: 5), которая, по свидетельству самого автора, была сочинена в 1743 г., то есть относится к раннему периоду творчества, но напечатана только в 1755 г. Обращение к библейскому персонажу здесь имеет двойной смысл: конкретный и аллегорический. Одописец изображает петергофский парк и стоящую там статую Самсона, однако упоминание в соседней строфе льва как аллегории Швеции актуализирует заложенный в знаменитом фонтане иносказательный смысл, позволяющий соотносить древнего

богатыря с Россией, а в общем контексте оды и вслед за Феофаном Прокоповичем, влияние которого заметно в тексте, — и с фигурой Петра Великого. Однако в последующих редакциях оды, дважды переизданной при жизни автора, строфы, посвященные Петергофу, были исключены (правда, восстановлены в публикации Новикова), и имя Самсона исчезло.

Еще два произведения, в которых употреблен ряд древневосточных антропонимов, — «Ода, сочиненная в первые лета моего во стихотворении упражнения» и «К тебе, Москва, к тебе зову» (22-ая в разделе разных од собрания сочинений), — были напечатаны только посмертно Новиковым. Таким образом, для читателей 1760–1770-х гг., когда влияние Сумарокова было особенно велико, его торжественные оды выглядели почти лишенными библейских имен, чем усиливался их светский характер и отстраненность от традиций церковного панегирика.

Эта особенность очень выделяет поэта в ряду его современников, которые, хотя не так уж часто, но все же периодически употребляли библейские имена с различными художественными целями как в номинативном, так и в иносказательном значении. Так, М. В. Ломоносов в «Оде на новый 1762 г.» сравнивает царствующего императора сразу с четырьмя ветхозаветными персонажами, чьи имена выступают как обозначения трех добродетельных качеств и враждебной злой силы: «Великолепно облекися, / Российский радостный Сион, / Главой до облак вознесися: / Сампсон, Давид и Соломон / В Петре тобою обладают / И Голиафов презирают» (Ломоносов 1959: 759). На отказ Сумарокова-панегириста в сравнении с Ломоносовым от библейской антропонимики обратила внимание Т. Е. Абрамзон, которая указывает в качестве единственного употребляемого в его торжественных одах ветхозаветного имени «Агарь», поскольку учитывает только редакции текстов, вошедшие в неполный авторский сборник 1774 г. (Абрамзон 2006: 120). Однако список не намного увеличится, даже если привлечь более широкий материал, как сделано в настоящей статье.

За исключением Самсона, имена персонажей, получивших в Библии положительную оценку, в одах Сумарокова отсутствуют. Оставшиеся 14 упоминаний — семеро языческих правителей, божеств и мятежников, восставших против иудейских патриархов.

Впрочем, в текстах Сумарокова это не всегда сопряжено с резко отрицательной коннотацией, в том числе и потому, что во всех случаях антропонимы применены как тропы для обозначения общих понятий и очень отдаленно связаны с прототипическим номинативным смыслом. В «Оде Елисавете Первой о прусской войне» сказано: «Не с Дарием имеешь дело, / Ты новый Александр теперь: / Велик ты: я скажу то смело, / Но меньше как Петрова дочь» (ПСВС 2: 23). Если перифраза, заменяющая имя Фридриха II, еще непосредственно отсылает к ряду качеств, приписываемых традиционно Александру Великому, то ассоциативное привлечение имени Дария не столько напоминает читателю о конкретном персидском царе, сколько вводит нарицательное употребление исторического имени в значении «многочисленный, но посильный враг». Такая синекдоха, возможно, была распространена в то время. Во всяком случае, мы встречаем ее и в поэме Ломоносова «Петр Великий», тоже писавшейся в 1750-х гг., применительно к другому противнику России — Карлу XII: «Не найдет Дария, чтоб Александром стать» (Ломоносов 1959: 729). Оба имени выступают здесь примерно в том же значении, что и у Сумарокова.

Остальные древневосточные антропонимы, подобно Дарию и Александру, тоже используются попарно.

Соединение имен Авирона и Давана восходит к Ветхому Завету и в качестве антономазии безбожных мятежников появляется в стихотворении «К тебе, Москва, к тебе зову...» при описании чумного бунта (наряду с традиционно символизирующими грех топонимами): «Против людей и Божества / Воополчились суеверы: / Бьют Пастыря, где Божий дом. / Ниже Гоморра и Содом, / Когда толико были злобны; / Бывали ль Авирон, Даван, / Когда между Российских стран, / И действия варварским подобны?» (ПСВС 7: 179).

Более оригинальна пара «Аммон — Навходоносор», включенная в цепочку перифрастических оборотов, обозначающих непомерную гордыню, необоснованное стремление к самообожествлению: «Филиппов сын, когда корона / Сияла на главе его, / Слыть сыном восхотел Аммона / Среди народа своего. / Навходоносор в счастье многом / Возмнил себя почтiti богом. / До звезд ты, гордость, возросла! / <...> Дух слабый прямо помышляет: /

“То так!”, зря в счастье тьму чудес, / И робость сильну власть равняет / С превышней властью небес. / Там Македонин — сын Аммона, / Там бог — владыка Вавилона. / Ерусалима разоритель, / Воззри, где твой престол стоял! / Ты мертв, о гордый повелитель, / Божественный твой трон упал» (ИП: 56–57). В то время как имя Навуходоносора использовано в номинативной функции, а затем заменено чередой перифраз («владыка Вавилона... Ерусалима разоритель... гордый повелитель»), имя египетского божества присутствует лишь в составе оборота «сын Аммона», который задает стилистическую игру в ряду перифрастических обозначений Александра Великого. Возникают две оппозиции: «Филиппов сын — сын Аммона» и «македонянин — сын Аммона», где первый член — истинный, второй — ложный, и это усиливается противопоставлением экзотическому и возвышенному прозванию вымышленного небожителя тем, которые на самом деле уместны для объекта, — имени, привычного русскому человеку XVIII в., обыденного, несмотря на античные и библейские ассоциации (Филипп), и наименования предельно локализованного, земного (македонянин).

Анализируя цитированную строфу из «Оды, сочиненной в первые лета моего во стихотворении упражнения» (начало 1740-х гг.), Н. Ю. Алексеева справедливо отметила, что новаторским оказывается здесь соединение античного и библейского планов (Алексеева 2005: 223). Как видим, оно проявляется и в антропонимике. Добавим, что такое соположение двух культурных парадигм оказалось возможным в значительной мере потому, что сакральность ветхозаветной тематики, возникающей у Сумарокова вне духовной поэзии, крайне ослаблена (вероятно, таким было авторское ее восприятие). На первый план выдвинуты иные признаки, поэтому оппозиция «библейское — античное» может в последующих текстах трансформироваться сначала в соотнесение восточного / азиатско-африканского и западного / европейского, полуденного и полуночного (российского), языческого и христианского, варварского и просвещенного с соответствующими этическими и политическими коннотациями. Примеры таких вариаций неоднократно встретятся на протяжении статьи. Представляется, что сопоставление античных и восточных исторических фигур восходит к «Оде на счастье» (1712) Ж.-Б. Руссо, где Александр Великий неожиданно уподоблен варвару Аттиле (Rousseau 1743: 97). Этот

текст, согласно убедительным доводам Н. Ю. Алексеевой, является главным образцом для раннего произведения русского поэта.

Третья пара («Агарь — Семирамида») антонимична (подобно оппозиции «Дарий — Александр»), встречается сразу в двух одах 1769 г. и заслуживает особенного внимания. Оба эти антропонима по отдельности встречаются и в иных стихотворениях Сумарокова. Имя вавилонской царицы возникает как пространственная метонимия в одной из ранних од: «Царя прославити навеки, / Себе достойной ждущи мзды, / Идут в концы вселенной греки / В Семирамидины следы» (ИП: 54). Метонимически же обозначение магометан именем их легендарной прародительницы Агари, а также производным «агаряне» и перифразами («Агари племя», «Агари чада» и т. п.) — топос литературы XVIII в., который во всех перечисленных вариантах встречается в одах Сумарокова 1770-х гг. Агарянами называл турок и татар еще Ломоносов в оде 1739 г. и поэме «Петр Великий», вслед за ним, одновременно с Сумароковым в 1769 г. М. М. Херасков и В. И. Майков, чуть позже В. П. Петров, М. Н. Муравьев, И. И. Хемницер и др. Само по себе такое использование данного антропонима не являлось оригинальным и примечательным (Сумароков 2009: 222).

Тем интереснее его контрастное сопоставление в двух одах 1769 г. с именем Семирамиды. Последнее в обоих случаях — перифраза Екатерины II, принадлежащая к числу наиболее известных. Она рассмотрена в интересной статье А. Долинина (Долинин 2006), который обратил внимание на то, что популярность оборота «северная Семирамида» относится к XIX столетию, при жизни же российской императрицы так изредка величали иностранцы, но отнюдь не подданные, и сумароковские строки оказываются явным исключением. Исследователь высказал сомнение в том, что сопоставление с вавилонской царицей льстило Екатерине II, запретившей, между прочим, представление трагедии «Семирамида» Вольтера, который особенно часто в переписке уподобляет двух правительниц. Долинин, анализируя письма философа, убедительно показывает, что комплиментарность этих фрагментов сомнительна, благодаря двусмысленности тона. Добавим, что и адресатами нередко выступают лица, относившиеся к императрице неоднозначно, например, И. И. Шувалов. Ученый выделяет две оды Сумарокова 1769 г. в качестве уникальных случаев



применения топоса «северная Семирамида» в екатерининской России, усматривая здесь отражение оппозиционности опального поэта, высказанной неявно, под видом похвалы. С этим, однако, трудно согласиться, учитывая и общий смысл произведений, и биографические обстоятельства (немилость императрицы к поэту усиливается именно с 1769 г., логично предположить, что ей способствовали и неудачные комплименты).<sup>7</sup> Вероятнее всего, Сумароков, зная, что Вольтер в письмах периодически уподобляет двух цариц без вредных последствий, и считая себя равным французскому собрату по перу (этот факт общеизвестен), решил, что и ему позволено использовать это эффектное сравнение, и тем самым повел себя одновременно независимо и наивно. Вопреки утверждению Долинина, у Сумарокова есть аналогичное сопоставление и в прозе. В «Слове на день восшествия на престол Екатерины II» (1771) оратор обращается к Греции:

«Ободри утомленные свои члены, укрепи от ига и работы ослабшие свои силы и вознеси главу твою! припади ко стопам северных Семирамиды! омойвай слезами ноги Ея! Вы прочие герои, хотя и прославлялись многими победами, но сколько таковых победителей, которые не утесняли рода смертных, ради единого тщеславия?» (ПСВС: 2, 288).

Представляется, что и здесь, и в обеих одах автор вводит перифразу с самыми верноподданническими чувствами, и оппозиция имен «Агарь — Семирамида» как раз способствует исчезновению возможных отрицательных коннотаций.

«Византия взывает, / Что грек оковы попирает, / И изгнанна Агарь из врат: / Романия скорбя не дремлет: / Главу восточный Рим подъямет: / Европа видит новых чад. // Преклонят пред тобой колена / Страны, где сад небесный был, / И игом утесненный плена / Восплещет радостью Нил: / А вест быстрее аквилона, / До стен досяжет Вавилона, / Подвигнет волны инда страх: / Мы именем Семирамиды / Рассыплем пышны пирамиды: / Каир развеем яко прах» (ПСВС 2: 94–95); «Российский гром на юге грянет, / Разсыплет ужас на берегах: / И роза в тернии увянет, / В Евфратских,

---

<sup>7</sup> Комментаторы од Сумарокова в новейшем научном издании также выражают сомнения в той идейной трактовке имени Семирамиды, которую предложил Долинин (Сумароков 2009: 272).

Тигровых лугах. / От Роския Семирамиды, / Падут над Нилом пирамиды, / И возвратится Иордан <...>. // Промчится слух по всей вселенной: / Агари чада днесь падут. / Во Греции возвеселенной, / Афины паки процветут <...>. // Но что Всевышний нам речет? / “Когда Агарь не покорится, / Ея жилище претворится / Во груды камней и во прах» (ПСВС 2: 98–100).

Приведенные фрагменты аналогичны по содержанию: Россия как победоносная держава противопоставлена страшщейся ее Турции. Эта антитеза оформляется именно за счет оппозиции пары имен, примененных как метонимические перифразы по отношению к воюющим странам. Оппозиция антропонимов подключает целую парадигму противопоставлений: Семирамида и Агарь — это царица и рабыня, изгоняющая и изгнанница, просветительница и прародительница поклонников ложной веры, уверенная в правоте своих поступков и вечно живущая в заслуженном страхе, истинное величие и спесь, обреченная на посрамление и кару. Рифма «Семирамиды — пирамиды» была введена в русскую поэзию еще Ломоносовым (Ломоносов 1959: 398) и относится к значимым: она несет намек сразу на два из семи чудес света, ведь именно Семирамиде приписывается сооружение знаменитых висячих садов в Вавилоне. Сумароков подчеркивает эту ассоциацию упоминанием о «странах, где сад небесный был» (одновременная отсылка к саду как райскому, располагавшемуся где-то в Месопотамии, так и к тому, что был искусственно взрощен над землей). Однако если в ломоносовской трактовке рассматриваемая рифма синонимична, ибо созвучными оказываются явления, обреченные в жертву неумолимому времени, то в контексте сумароковских од, напротив, пирамиды и висячие сады противопоставлены друг другу: грандиозные египетские гробницы будут разрушены именем Семирамиды (в том случае, где пропущен эпитет «росская», его заменяет местоимение «мы»). Возможно, пирамиды выступают аллегорией неоправданной гордыни, ложного самообожествления (см. выше в связи с Амоном), тогда как вавилонские сады воспринимаются как приятное и полезное сооружение, вполне достойное даже современного просвещенного правителя. Интересно, что, следуя официальной политической концепции, согласно которой война с Турцией имеет религиозный характер и ставит целью возрождение христианской Византии, привлекая, подобно

другим авторам, для посрамления турок метонимический образ Агари, отрицательной библейской героини, Сумароков в качестве хвалебной перифразы избирает имя не христианской или хотя бы античной героини, а языческой царицы с неоднозначной репутацией. Представляется, что это связано не столько с оппозиционностью поэта, сколько с его представлениями о единстве стиля. Общий восточный колорит приведенных строф требовал соответствующих же имен для сохранения естественности тона. Именно так и появилась необычная пара антропонимов, не встречающаяся в других текстах эпохи.

Обзор библейских и древневосточных имен в поэзии Сумарокова уместно закончить упоминаниями в надписях № 16 и 25 Исаакия Далматского, который заинтересовал стихотворца в связи с сугубо светским событием: именно в день памяти этого святого родился Петр Великий, между прочим, подчинивший церковь государству. В изящном панегирике древний отшельник назван с почтением, но выступает в служебной роли; в духе придворной иерархии оказывается в тени величия российского монарха, последний как бы возвышается за счет умаления первого: «Исакию день к славе учрежден, / В день памяти его Великий Петр рожден» (ПСВС 1: 272). Из сказанного получается, что церковный праздник замечателен не столько благодаря деяниям чествуемого святого, сколько из-за появления на свет императора. В сатире «О худых рифмотворцах» воспевание закладки нового Исаакиевского собора причислено к наиболее актуальным и достойным темам для современного сочинителя, и вновь безотносительно к самому святому, а как повод прославить Петра I и Екатерину II.

## 2. Иностранные исторические имена<sup>8</sup>

Обилие в поэзии Сумарокова имен, принадлежащих историческим лицам, впечатляет при сопоставлении с числом такого рода антропонимов в стихотворениях других авторов середины

---

<sup>8</sup> К этой группе отнесены и фамилии иностранцев, состоявших на российской службе, и не воспринимавшихся еще как русские (Миних, Беринг, Лафон).

XVIII в. (даже столь широко образованных и любивших приводить риторические примеры из других эпох, как Ломоносов и Тредиаковский) и показывает, что античная и западная светская культура основательно вошла в мировоззрение писателя и нашла более органичное отражение в его творчестве, чем элементы церковной традиции.

Набор иностранных антропонимов, применяемых Сумароковым, не слишком удивляет специалиста по истории литературы XVIII в. и оказывается в известной мере ожидаемым. Однако при сравнении его со списком тех имен, к которым обращались современные ему русские поэты, прежде всего старшие соперники, а отчасти и более молодые авторы, становится ясно, что за немногими исключениями, антропонимический репертуар здесь не совпадает, и Сумароков явился новатором, знакомившим соотечественников с общими местами западной культуры, вводившим в читательский оборот в качестве знаковых фигур таких лиц, чья репутация публике была еще малознакома или не очень привлекательна, наконец, включал эти только что заданные культурные коды в эффективную риторическую игру. Сказанное касается и тех редких случаев, когда интерес к иностранным антропонимам совпадал у него и его собратьев по перу. Особенно много сделал Сумароков для популяризации, введения в культурный оборот западноевропейских имен, которые в стихах, в целом, он употребляет активнее, чем Тредиаковский и тем более Ломоносов или Херасков, предпочитавшие античные и библейские ассоциации и аналогии. Стихотворец, не получивший академического образования, далекий от университета, воспитанный на немецкой и французской словесности, сквозь призму которых он воспринимал и древность, в качестве главного творческого источника (в том числе антропонимического лексикона) обращается к европейской культуре XVI–XVIII вв. Отсюда большее, чем у других стихотворцев его времени, внимание к западным историческим деятелям, причем не только правителям, но писателям, ученым, артистам. Отсюда же расхождения с другими русскими поэтами в репертуаре античных имен и их трактовке.

Кроме желания просвещать, Сумароков руководствовался стремлением продемонстрировать свою широкую осведомленность

в самых разных областях знаний, причем не экзотических фактов, коллекционируемых смешными педантами, а актуальных для современного общества сведений. «Северный Расин» сочетал пылкий патриотизм с настойчивым подчеркиванием своей причастности европейской культуре. Он повторяет о своей известности на западе, об общении с иностранными литераторами, и стихи пишет как просвещенный европеец, но при этом русский: свободно пользуясь как своим достоянием всем, что может предоставить хорошо знакомая ему иностранная словесность, но отбирая из нее только то, что полезно и интересно его соотечественникам, потребности которых ему понятны лучше, чем им самим. Такая позиция отразилась и в использовании заимствованной антропонимики.

Имена рассматриваемой группы иногда, конечно, использованы в прямом номинативном значении или в виде риторического обращения. Так, в оде о прусской войне закономерно звучит предостережение Фридриху II: «И ты сего сердита рока / Блюдиися ныне, Фридерик!» (ПСВС 2: 24); в оде на взятие Хотина назван султан Мустафа, при рассуждениях о поэзии перечисляются образцовые писатели (в «Эпистоле о стихотворстве» дважды даже приводятся целые их списки) и т. д.

Наряду с такими случаями, имена иностранных исторических лиц постоянно появляются в переносном значении, в то время, как библейские гораздо чаще применялись в номинативной функции, в том числе и тогда, когда не упоминались в ветхозаветном источнике.

Поэт оперирует устойчивыми антропонимическими формулами. Прежде всего, это сочетания имени правителя со словами «трон», «скипетр», «град», которые являются перифразами, обозначающими столицу враждебной державы, часто метонимиями власти или независимости этого государства. Впервые Сумароков вводит такой прием в оде «О прусской войне» — «Трясется фридериков трон» (ПСВС 2: 20) — и регулярно воспроизводит его, воспевая торжество России над Турцией: «Константинов град» (Стамбул), «скипетр Оттомана», трижды «Оттоманов трон». Только в этих сочетаниях Сумароков упоминает основателя династии будущих властителей империи. С той же целью одописец применял имена правителей как антономазию противостоящих конфессий.

Турцию как средоточие ислама, помимо кичливой Агари и ее потомков, речь о которых шла выше, символизирует Баязет, также наделенный эпитетом «гордый»: «Царица северного света, / Повержет горда Баязета» (ПСВС 2: 99). Его имя эллиптически включено в ту же оппозицию севера — юга/востока, о которой говорилось в связи с парой «Семирамида — Агарь». В той же роли, что Баязет, выступает и Мамай, названный «скифским героем». Победу Дмитрия Донского Сумароков описывал в 1767 г. с явными намеками на предстоящее столкновение России с мусульманским Востоком. Об этом свидетельствуют анахронизмы, ведь в 1380 г. Константинополь еще был столицей христианской Византии: «И глас по Азии пустился: / Мамай развеян яко прах. / Дрожат Орды, Стамбул бледнеет, / И горда Порты каменеет, / При Доне смерть, в Херсоне страх» (ПСВС 2: 81).

Христианство, точнее православие, которое, согласно прогнозам поэта, должно воскреснуть на Востоке, персонифицируют Константин Великий и Константин Палеолог, первый и последний византийский императоры. Их имена обретают символический смысл потому, что, во-первых, соотносятся с утверждением веры прямо (Константин официально ввел в Риме христианство) и контрастно (за падением Палеолога последовали века исламского владычества, потому упоминание об этом правителе влечет за собою мотив возрождения). Во-вторых, оба имени удобны для семантических рифм: Константин созвучен Екатерине, а Палеолог всегда рифмуется со словом «Бог»: «Екатерина, пред тобою, / Пошлет архистратига Бог: / Твоею счастливой судьбою / Воздымется Палеолог» (ИП: 71); «Восторжествуй Палеолог; / В Софийский храм нисходит Бог, / И гибнет адская держава! // Поборствует России рок, / Восставит имя Константина: / Подвержется Тебе восток, / Великая Екатерина!» (ПСВС 2: 94, 103).

Приведенные антономазии характерны для поэзии середины XVIII в. По той же модели построена оригинальная географическая перифраза из оды на день тезоименитства Екатерины II 1763 г.: «Я у Берингова гроба, / Вижу флот, торги и град» (ПСВС 2: 59). Хотя Сумароков лично общался с участниками камчатских экспедиций С. П. Крашенинниковым и Г. Ф. Миллером, интересовался их деятельностью, он, вероятнее всего, все же смутно

представлял себе места, где похоронен В. И. Беринг (один из Командорских островов недалеко от Камчатки). Для стихотворца это дикие, но благодатные края, — скорее не на севере, а на востоке или юго-востоке, только не Ближнем, который описан в одах на турецкие войны, а на Дальнем (не то в Азии, не то в Америке); и в обозримом будущем, по мнению сочинителя, эти берега России с выгодой для себя должна колонизировать.

Не менее оригинальны и многие восхваляющие перифразы, приравнивающие прославляемое лицо к образцовому деятелю того же типа с пространственным или временным эпитетом, указанием на место и эпоху обитания объекта изображения. Сам по себе этот прием принадлежит к наиболее распространенным, особенно в панегирических жанрах. Есть такие формулы и у Сумарокова. Так, в сатире «О худых рифмоторцах» Вергилий назван римским Гомером (ИП: 200). Однако порой писатель, следуя привычной модели, подбирает не только эффектные, но и неожиданные уподобления, во всяком случае — новые для нашей поэзии.

Некоторые из них по прошествии времени не так просто интерпретировать. Такова надпись «К воде»: «Се чудо новое! весь мир на то взирает, / Российский Сципион вал южный попирает» (ПСВС 1: 276). Она восхваляет, очевидно, графа А. Г. Орлова или, возможно, Г. А. Спиридова. Обозначение командующего флотом через отсылку к образу Сципиона не очень традиционно. Чаще этот знаменитый римлянин упоминался как аллегория мудрой и победоносной непреклонности, одержимости высокой целью, прославляющей отечество. Ломоносов, не упоминая Сципиона в поэзии, любил приводить заменяющий это имя оборот «разоритель Карфагена» в риторических сочинениях как очевидный пример «парафразиса» (Ломоносов 1952: 52, 252). Сохраняя в своей перифразе, в целом, ореол завоевателя-триумфатора, Сумароков переносит основное внимание на побочный признак: благодаря упоминанию Сципиона, Россия и Турция уподобляются соответственно Риму и Карфагену с целой парадигмой противостоящих друг другу общеизвестных черт. Таким образом, в краткой надписи достигаются две цели: кроме похвалы конкретному лицу подведена целая идеологическая концепция с исторической аналогией.

Впрочем, столь спорных риторических оборотов не так уж много, прозрачность же прочих не лишает их оригинальности. Если характеристика «немецка Сафа» применительно к поэтессе Каршин скорее всего заимствовано, то относящаяся к Ломоносову строка «Эпистолы о стихотворстве»: «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен» (ИП: 125) — звучала в 1748 г., можно предположить, довольно дерзко, ведь приравненный к непревзойденным одописцам их российский собрат по перу выступил на литературное поприще менее десяти лет назад.

Святой Александр Невский в посвященных ему стихирах охарактеризован: «Потомок росска Константина, / Потомок роския Елены» (ПСВС 1: 241). Подразумеваются святой князь Владимир Святославич как креститель Руси и в этом отношении сопоставимый с первым христианским императором Рима и бабка этого древнего правителя, святая княгиня Ольга, которая, подобно матери Константина, приняла крещение еще в период господства язычества. Уподобление древнего князя первым христианским государям метонимически возвеличивает и его потомков (в частности, Петра I), и находящуюся под покровительством этого святого столицу империи, которая, таким образом, оказывается новым Константинополем и Римом.

Обращаясь в оде о прусской войне к Фридриху II, Сумароков заявляет: «Союзникам Твоим защита / Воздвигла гнев Российска Тита» (ПСВС 2: 22). Само по себе то, что Елисавета Петровна, которая к тому времени уже часто награждалась эпитетом «кроткая», уподоблена образцовому правителю, слывшему гуманным, не удивительно. Необычно здесь то, что новому Титу приписывается не милосердие, свойственное данной аллегорической фигуре, а, напротив, гнев. Представляется, что это один из случаев остроумного смещения привычных смыслов, обыгрывания, подмены устойчивой формулы. Такие выражения Сумарокова в карамзинскую и пушкинскую эпоху особенно раздражали образованного читателя: в условиях иной эстетической системы риторическая игра не ощущалась, высказывание такого типа воспринималось напрямую, а потому казалось нелепым, бессмысленным свидетельством невежества, безвкусыя, литературной беспомощности писателя, не понимающего, какие коннотации следует приводить



сообразно контексту (нарушение одного из принципов «гармонической точности», к формированию которых в России поэт имел, при всем сказанном, непосредственное отношение). На самом деле, Сумароков, конечно, вполне разделял представления своих современников о Тите как о монархе милостивом и отнюдь не грозном, что видно в других сочинениях. «Не мог Тит слез своих во оный час отереть, / Когда подписывал сей муж великий смерть. / Владычица сих стран, родившись беззлобна, / На оно и руки подняти неудобна» (ИП: 133) — говорится о той же Елисавете Петровне в 1761 г.; «И дни свои щедротой числи, / Как числил оны щедрый Тит» (ИП: 77) — обращался стихотворец к великому князю Павлу Петровичу. Следовательно, упоминание о гневе российского Тита — гипербола, призванная охарактеризовать чудовищность поведения прусского короля и его союзников, которая вызвала даже у кротчайшей и гуманнейшей императрицы гнев.

Уподобление русской царицы Титу официально поощрялось при Екатерине II. Сумароков, однако, находит для нее иные, весьма неожиданные аналогии, не менее сомнительные, чем проанализированный выше образ северной Семирамиды. Так, в 1763 г., будучи восторженным почитателем новой царицы, осыпавшей его милостями, в оде на день ее тезоименитства поэт провозгласил: «Зыблется престол под Ханом; / Огонь от севера жесток, / И российским Тамерланом, / Устрашает весь восток» (ПСВС 2: 59). Независимость манеры выражения впечатляет: в качестве хвалебного комплимента использован образ, уже не освященный авторитетом Вольтера и традиционно, а не только в глазах адресата, сопровождавшийся отрицательными ассоциациями. Позднее Г. Р. Державин в «Фелице», имея в виду именно репутацию жестокого восточного завоевателя, противопоставил его своей идеальной царевне: «И славно ль быть тому тираном, / Великим в зверстве Тамерланом, / Кто благостью велик, как бог?» (Державин 1957: 103). Впрочем, Сумароков, конечно, актуализирует не тиранические черты Тамерлана, а победоносный характер его походов. Заметим, кстати, что уже в сумароковской поэзии наметилась тенденция уподобления Екатерины II не западным, а восточным, иногда древнеримским правителям — и не с целью обличения, как Дж. Б. Касти, а, наоборот, ради похвалы. Эта традиция ведет к той же державинской «Фелице».

Как и все его современники, Сумароков, наряду с перифразами, активно пользовался и простыми антономазиями, заменяя именами известных лиц присущее им свойство или род занятий. Так, он часто метонимически упоминает известных деятелей античной культуры. В не лишенной автобиографического подтекста притче «Сатир и гнусные люди» пастухи изловили смеявшееся над их пороками лесное божество: «И бьют сего, / Без милосердия, невинна Демокрита» (ИП: 221). Конфетный билетец 113 извещает: «Излечить меня не могут, Ипократы, Эскулапы, / С тех пор, как попался я в твои драгие лапы» (ПСВС 9: 192). Подобные иносказательные обозначения насмешника, врача традиционны для европейской поэзии и только начинали, в том числе усилиями Сумарокова, приживаться у нас.

Столь же ходовым было и имя Гомера в качестве антономазии великого поэта вообще или эпического стихотворца, особенно в ироническом смысле. Невежда «хочет быть Гомер без смысла и науки» (ИП: 315), обезьяна-стихотворец, олицетворяющая собою Ломоносова, «стала петь, Гомеру подражая, / Величество своей души изображая» (ИП: 217). В антропонимическом аспекте наиболее интересна саркастическая эпитафия тому же Ломоносову как автору поэмы «Петр Великий». Она написана еще до смерти адресата и бытовала в двух вариантах, которые начинаются одинаково: «Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер» (ИП: 260, 509). Имя великого певца употреблено в функции русской фамилии, сохраняющей значение традиционной антономазии, которая должна соотноситься с характером носителя фамилии, но дискредитирует, а не прославляет его. Это происходит, потому что имя, предпосланное фамилии, вступает в логическое и стилистическое противоречие с нею и демонстрирует неоосновательность и дерзновенность литературных амбиций как носителя оксюморонного наименования, так и его прототипа. Имя «Фирс», греческое по происхождению (Φύρσις — «венчанный цветами»), во-первых, дано в простонародном русском произношении, во-вторых, даже в античном варианте давалось пастухам (явный намек на крестьянское происхождение Ломоносова), в-третьих, ассоциируется не с серьезной проблематикой и высоким слогом, подобающими гомеровскому эпосу, а с легкомысленным буюколическим жанром,

к которому сам объект насмешки относился неодобрительно. Таким образом, имя трижды пародийно снижает статус фамилии, а удвоение всех этих смыслов при помощи отчества закрепляет и усиливает их до сокрушительного сарказма. Отметим, что Гомер — одно из немногих писательских имен, которое периодически возникает в стихотворениях Ломоносова, следовательно, оно было значимо для него, как и для его соперника.

Периодически антропонимы даже в прямом значении применены как эффектные риторические примеры, часто, несмотря на свою традиционность, позволяющие автору выразить собственную идейную позицию. Такую роль, например, выполняет образ Марка Курция — легендарного римского воина, пожертвовавшего собою во благо сограждан: оракул потребовал принести в жертву главную ценность государства, чтобы исчезла яма на Форуме, возникшая при землетрясении 362 г. до н. э. и не заполнявшаяся вопреки всем усилиям. Курций заявил, что главная ценность — доблесть римлян, и в полном вооружении на коне бросился в яму, которая тотчас сомкнулась над ним. Этот классический сюжет ввел в русскую поэзию Ломоносов (в именном указателе к VIII тому полного собрания его сочинений цитируемые строки ошибочно отнесены к Руфу Курцию Квинту): «Как ежели на Римлян злился / Плутон, являя гнев и власть, / И если Град тому чудился, / Что Курций, видя мрачну пасть, / Презрел и младость, и породу, / Погиб за Римскую свободу, / С разъезду в оную скочив, — / То ей! Квириты, Марк ваш жив / Во всяком Россе, что без страху / Чрез огонь и рвы течет с размаху» (Ломоносов 1959: 90). Сумароков в оде на день рождения императрицы Екатерины II 1768 г. тоже уподобил древнего героя и россиян, причем не только состоящих на военной службе: «За свою мы Мать любезну, / В пламень, в пропасти и в бездну, / Яко Курций, полетим» (ИП: 70). С одной стороны, здесь сохраняется демонстрация патриотизма и чувства долга перед монархом (что подчеркнуто особо), а также перед государством и обществом (хотя, в отличие от Ломоносова, его соперник не подчеркивает факт служения Курция народу, республиканский контекст эпизода был известен). С другой стороны, после выхода «Наказа уложенной комиссии», накануне войны с Турцией риторическая фигура приобрела новые политические коннотации. Актуализировался прямо

не высказанный, но имплицитно присутствующий гуманный, антропоцентрический подтекст в духе официального просветительства, провозглашенного в «Наказе» самой императрицей и во многом разделявшегося одописцем: именно подданные — главная ценность государства, ибо цель его — их благо.

В этой статье мы часто видим примеры парного употребления стихотворцем антропонимов (впрочем, это, вероятно, вообще свойство старинной литературы, мало пока изученная). Особенно объединение имен в устойчивые пары и даже цепи заметно при обращении к перифразам и антономазиям, прославляющим полководцев.

Поэт несколько раз называет подряд Перикла и Алкивиада. Оба греческих государственных деятеля интересуют русского писателя не как законодатели, но преимущественно как военачальники. Правда, в сатире «О благородстве» они фигурируют, скорее, как правители и отмечена их просвещенность: «Перикл, Алькивиад наукой не гнушались, / Начальники их войск наукой украшались» (ИП: 190). В других случаях это образцы отважных и искусных воинов — сначала без соотнесения с конкретным лицом. «Периклов и Алкивиадов / России суждено рождать» (ПСВС 2: 42), — предсказывается в оде 1762 г. на день восшествия Екатерины II на престол. Затем под перифразой подразумеваются уже конкретные генералы, как в оде 1774 г. на заключение мира с Турцией: «Тебя Румянцов нам природа / Ко славе русского народа, / Щедротой произвела, / Ты вновь Россию прославляешь, / И вновь подсолнечной являешь, / Екатеринины дела. // Потряс Стамбул и край асийский, / Ты сильною своей рукой, / Перикл, Алкивиад российский, / И россам возвратил покой» (ПСВС 2: 128).

В эпистоле Павлу Петровичу 1771 г. упомянут только один греческий полководец, на этот раз в применении уже не к Румянцеву, а к П. И. Панину: «Трофеем Бендер вечным будет: / Перикла роска не забудет» (ИП: 74). Видимо, в синонимической паре Перикла и Алкивиада (упоминания которых лишены индивидуальных признаков и семантически тождественны) первый — более знаковая фигура и может появляться самостоятельно.

Такое же положение в аналогичной паре — Тюрени и Мальборог (герцог Мальборо) — выполнял последний. Ему Сумароков

уподобляет того же полководца, которого сравнивал с греческими героями: «Румянцев, лаврами украшен, / Как ветер, развеет турков вдруг; / О, коль срацинам глас сей страшен: / Возносит руку Мальборуг» (ПСВС 9: 220). Эти патетические строки завершают «Оду на победы российские», отсутствующую во втором издании собрания сочинений. В сатире «О благородстве» соответствие русских генералов иностранным образцам меняется: «Румянцев — наш Тюренин, / А Панин — Мальборуг у неприступных стен» (ИП: 191).

Еще в оде на первый день 1764 г. поэт объединил пары идеальных военачальников в ряд, дополненный принцем Евгением и графом Б.-Х. Минихом: «И се уже пред нашим войском, / Сократов ученик и друг <перифраза Алкивиада — Н. Г. > / Или во действии геройском, / Тюренин, Евгений, Мальборуг. / О буди кто из нас готовый, / Нам вождь Перикл, иль Миних новый, / Не нужны казни внешня зла!» (ПСВС 2: 62). Ни один из перечисленных полководцев не появляется в сочинениях старших современников описца. Правда, Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» дважды цитирует слово на погребение де Тюренина, но лишь для того, чтобы подчеркнуть достоинства ораторских приемов, которыми пользуется епископ Флешье, произнесший эту речь (Ломоносов 1952: 174, 276).

Все присутствующие в процитированном тексте антропонимы тождественны по смыслу, это антономазии образцовых воинов, уподобление которым в стихотворениях 1770-х гг. должно возвысить славу соотечественников и близких знакомых автора. Примеры, приведенные из разных стихотворений, свидетельствуют о том, что все перечисленные имена полководцев взаимозаменяемы без минимального ущерба для смысла, могут отсылать к любому из екатерининских генералов, лишены индивидуальных семантических оттенков и, видимо, воспринимались писателем как совершенно эквивалентные словесные формулы. Универсальность этих иносказаний, превратившихся фактически в нарицательные понятия, мало связанные с конкретным лицом, подтверждается наиболее полным их списком в похвальном слове императрице на новый 1769 г.: «Малая область победит Европу, ежели она на малейшия раздробится куски: и тогда бы сим раздробленным членам, и никогда прямо не соединяющимся, но почти всегда друг

другу препятствующим, бесполезны были Периклы, Фемистоклы, Алькивиады, Евгении, Монтекукули, Тюренны, Мальборуги и Миннихи» (ПСВС 2: 250).

Интересно, что исторический ряд идеальных воинов замыкают Перикл и Миних, в оде 1764 г. самым синтаксическим строем фразы они фактически уравнены в достоинствах. Для России середины XVIII в. провозглашение образцом для подражания современника (таков и Мальборуг) и соотечественника (хоть и чужестранца по происхождению) — крайне редкий, исключительный случай. Вероятно, Сумароков сохранил почтение и благоговение перед ним с юности, когда тот одновременно возглавлял шляхетный корпус, где учился поэт, и армию, успешно воевавшую с Турцией. Кадетам он должен был представляться и начальством, и героем сражений. Воспитанник корпуса, став знаменитым стихотворцем и действительным статским советником, сохранил уважение к своему бывшему командиру, тем более, что тот был возвращен из ссылки и, несмотря на верность Петру III, не оставлен царскою милостью. Сохранилось письмо Сумарокова к В. В. Фермору от 26 марта 1764 г. (вскоре после создания цитированной оды) с просьбой о совместном визите к старому фельдмаршалу: «А я до ф<он> Миниха никакой нужды не имею, кроме чтобы сего достойного человека увидеть и с ним говорить» (Письма 1980: 95). Если учесть, что большинство обращений писателя к влиятельным особам содержит настойчивые просьбы о материальной помощи, то приведенная цитата красноречиво характеризует место анненского вельможи в кругу образцовых для Сумарокова военачальников. Миних, в свою очередь, ценил внимание стихотворца: 25 апреля 1765 г., например, послал тому свой портрет с любезным приглашением в гости (Отрывки 1858: 583). Заметим, что чуть позже столь же высокую оценку Миниху дал Херасков, обращавшийся в 1769 г. к туркам: «Презренный род! иль ты забыл, / Каков у россов Миних был?» (Херасков 1812: 102). Здесь полководец упоминается уже не в ряду мировых знаменитостей, а особо как великий человек, вызывающий гордость соотечественников, изумление и трепет иноземцев. Нужда в такой фигуре явно ощущалась, и Миних казался единственным, кто подходил на эту роль. Выдвижение Румянцева и Панина, к тому же сверстников Сумарокова и близких ему

людей, вытеснило из его поэтического пантеона старого фельд-маршала.

Объединяются в ряды и имена образцовых деятелей искусства и науки, а также их покровителей. Помимо упомянутых списков из «Эпистолы о стихотворстве», приведем подобный им из «Стихов Дюку Браганцы»: «Вергилий, и Гомер, и Ариост, и Тасс, / Мильтон и Камознс, сии пиитов предки / Во всей подсолнечной сколь славны, столько редки» (ИП: 397).

Особенно интересно риторическое обращение, с которого начинается притча «Два повара»: «Вергилий, Цицерон, / Бургавен, Эйлер, Локк, Картезий и Невтон, / Апелл и Пракситель, Мецен и Сципион — / О треблаженная божественная мода!» (ИП: 218). Здесь интересно, во-первых, что имя Сципиона введено не в той роли, в какой мы наблюдали его в надписи «К воде», а в более традиционной — просвещенного и добродетельного патриция. По этому принципу он соотнесен с Меценатом. Во-вторых, в качестве примеров великих ученых приведена целая группа представителей новейшей науки; образцы же в прочих областях позаимствованы из древности и объединены в пары, построенные на диалектическом тяготении и противостоянии маркированных ролей каждого: латинские писатели — поэт и прозаик (оратор), греческие художники — живописец и скульптор, римские покровители наук и художеств — эпикуреец и стоик. То, что выделение группы «новых» среди пар «древних» — сознательный прием, отчасти полемический по отношению к расхожим мнениям современников, включая Ломоносова, подтверждается появлением имен двух наиболее важных для автора мыслителей еще в оде на день рождения Елизаветы Петровны 1755 г. в стилистически знаковой позиции. Поэт восхваляет императрицу за учреждение университета: «Твоя сияюща корона, / В России Лока и Невтона, / И всех премудрых оживит» (ПСВС 2: 18). Здесь очевидна вариация на известные строки из ломоносовской оды 1747 г. (которую Сумароков потом подробно разобрал как одно из лучших сочинений своего соперника) — призыв к ободренным покровительством соотечественникам «показать, / Что может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российской земля рождать» (Ломоносов 1959: 206). При сходном общем смысле знаменательно, что упоминание

Ньютона сохранено, имя же греческого философа заменено на такое, которое в те времена не только в России, но и в других странах пользовалось еще довольно сомнительным авторитетом. В полном собрании сочинений Ломоносова Дж. Локк упомянут один раз в переводе трактата Х. Вольфа по физике: основоположник просветительских теорий не заинтересовал русского ученого, в отличие от Сумарокова, который в 1759 г. в своей «Трудолюбивой пчеле» напечатал специальную статью, пропагандирующую взгляды Локка, с почтением упоминал его и в других прозаических сочинениях. Таким образом, проявляется одна из особенностей позиции писателя в споре «древних» и «новых», актуальном не только для Франции, но и для всех европейских стран. Допуская непреходящую ценность античных образцов («треблаженную божественную моду», как он выразился в процитированной притче) в большинстве сфер культуры, хотя, как увидим далее, не безоговорочно, в науке и философии поэт отдает полное преимущество современности.

Статистика демонстрирует экстенсивную избирательность использования антропонимов рассматриваемой группы, как и всех прочих: большинство встречается только единожды или несколько раз, но в одном произведении, персонажами или адресатами которого являются обозначаемые этими антропонимами люди. Только 22 имени из 115 появляются в нескольких стихотворениях, причем хотя бы в одном из них больше одного раза, если не считать заглавий.<sup>9</sup> Этот избранный круг, вполне ожидаемый, удостоверяет, кто наиболее значим для Сумарокова из представителей иноземной культуры. Среди них только четыре правителя, символизирующие разные типы монархов, остальные — образцовые писатели, чье творчество было любимо русским стихотворцем или

---

<sup>9</sup> На этом основании в группу наиболее частотных антропонимов не включены следующие: Тит, Нерон, Константин, Карл, Фридерик, Перикл, Алкивиад, Мальборуг, Невтон, Локк, Тасс. Хотя они, несомненно, важны для Сумарокова, как показал предложенный в статье анализ, в каждом тексте встречается лишь один раз. Роль наиболее частотных имен оканчивается в творческой системе писателя особой, поэтому формальное, на первый взгляд, разграничение представляется правомерным.



чья личность, жизненная позиция им уважаема, а то и психологически близка ему.

Иноземные правители, которых неоднократно упоминает поэт — Александр, Калигула, Август и Оттоман (основатель династии непросвещенных, варварских, следовательно — деспотических властителей, которые противны самому естеству и потому должны быть устранены с престола: одна из идейных посылок од на турецкую войну). О последнем уже шла речь выше, поэтому остановимся на первых трех.

До Сумарокова уже существовала традиция применения иностранных исторических антропонимов в отечественной поэзии. Так, в переводе «Поэтического искусства» Буало Тредиаковский проводит уподобление: «голикий, / Что Цесарь, Александр или наш Петр Великий» (Тредиаковский 2009: 37). Аналогичное сравнение тот же поэт воспроизвел в «Плаче о кончине... Петра Великого», восхвалял этого императора чередой риторических вопросов: «Вящий кой есть Кир? / Лучший Александр? Юлий, Август болий» (Тредиаковский 2009: 336). Комментируя эти строки, Н. Ю. Алексеева справедливо замечает, что сравнение монарха с перечисленными правителями — топос европейской панегирической литературы (Тредиаковский 2009: 551). В России же он встречается в ораторской прозе, но в оде не так уж распространен. Так, Ломоносов не называет в поэзии знаменитых римских императоров, Александра Великого он перифрастически (сын Филиппа и младой герой) дважды упомянул в одной из наименее известных од — на день рождения императора Иоанна Антоновича (1741); прямо же именуется лишь один раз: «Великий Александр тогда себя был боле, / Когда повелевал своей он сильной воле» (Ломоносов 1959: 173). Здесь, как видим, македонский властелин трактуется неоднозначно: периодически он был безрассуден и потому не достигал истинного величия. Перечисленный выше ряд древних монархов и у Сумарокова возникает преимущественно в ранних стихотворениях, приобретая двойственность трактовки, как в надписи Ломоносова об Александре, и превращаясь в политические и философские символы.

На первый взгляд, автор оды «На государя Петра Великого» выстраивает ту же череду имен славных правителей-полководцев,

что и Тредиаковский: «Цесарь страшен был в день брани. / Август покорил весь свет, / К Александру носят дани, / Где лишь меч его сверкнет: / Петр природу пременяет, / Новы души в нас влагает» (ПСВС 2: 4). Однако поэт не только уподобляет, но и противопоставляет Петру Великому царей древности. Они выступают символами не только величия и славы, но и гордыни (в отличие от российского монарха). Античные герои обожествили себя — Петр I же, как сообщает одописец, хотя мог бы рассчитывать на такой же почет, но не претендовал на него, будучи христианином. Между тем он не только покорял, подобно императорам древности, но преображал свои владения и подданных.

Критическое отношение к некоторым «образцовым» правителям могло, в частности, сформироваться, по справедливому суждению Н. Ю. Алексеевой, под влиянием оды Ж.-Б. Руссо «На счастье». Эта ода, «произведшая во Франции и за ее пределами сильное впечатление, отличалась страстным обличением войн и завоевателей, наполняющих мир ужасом и столами. Прославленные герои, среди которых Александр Македонский, император Август, предстали в ней тщеславными и жестокосердыми агрессорами, которым Руссо противопоставил славу мудрого Сократа, миролюбивого императора Веспасиана, созидательного Энея. Размышление о мировой истории в такой плоскости вводило в оду ряд новых незнакомых русской оде имен, существенно изменяя привычный одический пантеон героев» (Алексеева 2005: 221–223). Последнее замечание принципиально важно при осмыслении поэтической антропониимики. Действительно, набор, трактовка имен, привлекавших внимание авторов и читателей, существенно изменились. И первым испытал сильное влияние Руссо именно Сумароков. Выше приводилась ироническая характеристика Филиппова сына, провозгласившего себя сыном Амона, из раннего стихотворения, опубликованного посмертно. Однако даже если она не была известна публике, Сумароков задолго до того, как в журнале «Полезное увеселение» за 1760 г. появился его перевод оды «На счастье» вместе с переводом Ломоносова, не только ввел в свои произведения прежде неактуальных исторических персонажей, но и заявил свое, оригинальное для русского общества, к ним отношение в напечатанных текстах (а судя по его характеру, можно

не сомневаться, и в устных светских беседах, мастером которых он слыл). Помимо уже упоминавшегося обращения к враждебному королю Фридриху II как к новому Александру, заметим, что еще в оде 1743 г., адресованной Елисавете Петровне, две строфы посвящены описанию Александра, Кира и Юлия Цезаря, выведенных в том же амплуа: гордецов, ради власти и славы безжалостно проливающих кровь. Вообще, Александр Великий у Сумарокова чаще выступает как отрицательный пример, персонифицируя собою до середины 1750-х гг. порок тщеславия вообще, позднее сильных, но слишком амбициозных врагов России. Последняя ассоциация так укоренилась, что македонский и прусский полководцы продолжают образовывать пару даже в том редком случае, когда подчеркивается их достоинство: «Великий Александр и ею <наукой; следовательно, кроме просвещенности признаются и еще какие-то его достоинства — Н. Г. > был велик, / Науку храбрый чтит венчанный Фридерик» (ИП: 190). Уподобление прусского короля-философа македонскому завоевателю усвоил и Херасков: «Весь свет бы Фридрих победил, / И больше б Александра был, / Как Россов не было бы в свете» (Херасков 1812: 104).

Двойственная фигура античного героя, чей потенциал поистине грандиозен, но цели и поступки часто этически неприемлемы, была удобна для иносказательного прославления побед России: одновременно отдавалось должное мощи, отваге опасного врага, нравственно оправдывалась победа над ним и подчеркивалось, сколь высока ее цена. Показательна притча «Александрова слава», написанная в связи с турецкой войной 1768–1774 гг.: «Мы прямо это знаем: / Когда бы, Александр, ты побыл за Дунаем, / Или бы в Бендере сидел, / Или бы флотами противу нас владел / На Геллеспонте / И видел корабли в огне на горизонте / Или б на флоте был среди воинских дел, / Конечно, б ты тогда гораздо потерпел / И песню Греции иную б ты запел; / Встревожилися бы твоих героев души, / Когда бы загремели пушки / Под предводительством великих сих мужей, / О коих я сказал тебе в поэмке сей, / Принесших новую России славу всей; / Сказал бы ты тогда: “Во дни Екатерины / Мои увяли крины”» (ПСВС 7: 268).

Особенно эффектно, в духе салонного красноречия, двойственная репутация античного завоевателя обыграна в эпитафии

Карлу XII: «Едва от ужаса сей камень не дрожит; / Полночный Александр зарыт под ним лежит. / Восточный Александр с победою вел греков, / Где нет уж и зверей, не только человек; / Но не был бы и сей, как оный, побежден, / Когда бы не был Петр во время то рожден» (ПСВС 1: 264). Здесь мы вновь встречаем оппозицию «север — восток», но оба ее элемента оцениваются отрицательно, в то время как обычно у Сумарокова данное противопоставление синонимично парам «цивилизация — варварство», «христианство — магометанство», «истина — ложь» и т. д. Здесь, однако, север олицетворяет Швецию, а не Россию, которая оказывается вознесена над равными по силе и по обреченности перед ее мощью силами двух частей света, прошлого и настоящего, поскольку воплощением ее является Петр Великий, в сумароковской образной системе личность сверхъестественная. Заметим, что непосредственное упоминание имени Карла XII всегда возникает только в паре с именем Петра Великого. Эта антитеза особенно эффектно использована в оде Петру III, при описании рая — блаженного края, где примирились враги — Карл и Петр (ПСВС 2: 32). Вспомним, что и Ломоносов тоже видел в шведском короле претензии стать Александром (выше приведена цитата). Возможно, лишь отчасти обоснованное стремление возродить в себе этого древнего героя — общее место в литературе XVIII в. (ср. позднее пушкинское «Мы все глядим в Наполеоны»). Особенно актуален этот топос был как полемическое средство применительно к опасному внешнему врагу. Отголоски его через посредничество «Ревизора» звучат в известной сцене фильма «Чапаев» по роману Д. А. Фурманова.

Пожалуй, единственный случай в поэтическом наследии Сумарокова, когда имя Александра обыгрывается с явной симпатией как аллегория истинного величия в противопоставлении тщеславию заурядности в лице Пармениона, — притча «Александр и Парменион»: «Войск вождю греческих царь перский дочь давал, / Пол Азии ему приданым обещает, / Чтоб он ему спокойство даровал, / И чрез послов его об этом извещает. / Парменион давал такой ему совет: / “Когда бы Александр я был на свете, / Я взял бы тотчас то, что Перский царь дает.” / Во Александровом сей слышит муж ответе, / Ответствовал ему на слово это он: / “И я бы взял,

когда б я был Парменион”» (ИП: 230). Этот анекдот, почерпнутый из трактата Лонгина «О возвышенном», воспроизведен в статье «Об остроумном слове» (ПСВС 6: 348–349). Видимо, именно риторический след обусловил столь неожиданную для Сумарокова симпатию к греческому герою. Как образец великодушия обычно выступает он и в «Кратком руководстве к красноречию» Ломоносова, где приведены, в частности, лукианов диалог Александра с Ганнибалом (побеждает в споре первый) и фрагмент из книги Руфа Курция Квинта, где юный царь отказывается последовать совету все того же Пармениона и проявить коварство по отношению к врагу (Ломоносов 1952: 342–346, 360–362).

Коннотативное поле, сложившееся в творчестве Сумарокова вокруг имени македонского царя, не смогло закрепиться в русской поэзии по ряду причин: прежде всего — в силу своей неоднозначности, не свойственной большинству топосов, особенно в начальной фазе их формирования. Кроме того, сказалось влияние школьной риторики с ее особым пристрастием к этой фигуре, вызвавшим сарказм Гоголя в «Ревизоре». Апологетическое отношение к ней рано вошло в культурное сознание, ведь еще средневековые тексты, варьирующие сюжеты с участием Александра Великого, были популярны у самой широкой и разнородной публики. Наконец, отрицательные ассоциации с этим именем стали не всегда уместны после рождения великого князя Александра Павловича, любимого внука императрицы, а затем и царя, получившего прозвище «Благословенный».

Зато более четко трактованные имена других римских правителей вошли в отечественную поэтическую культуру XVIII в. именно благодаря Сумарокову. Это в первую очередь касается пары Калигула и Нерон, которая отсутствует в творчестве старших современников писателя. В оде на погребение императрицы Елисаветы Петровны имена обоих императоров употреблены во множественном числе как нарицательные обозначения тиранов: «Зри, как мучатся в подземной, / Злы мучители стена; / Как лишившись короны, / Там, Калигулы, Нероны, / В вечном пламени горят» (ПСВС 2: 36–37). Т. Е. Абрамзон справедливо отметила, что образы этих римских правителей органично вписываются в inferнальную топик, богато представленную в одах писателя (Абрамзон 2006: 126).

Добавим, что они гармонируют не только с пространством преисподней, представленной как классический *locus terribilis*, но и населяющими его демоническими персонажами, хтоническими животными и чудищами. Злодеяния Калигулы и Нерона, если их оценивать по той нравственной мере, которой руководствуется Сумароков, гораздо страшнее, чем самовластие восточных деспотов, которые представлены владыками земного ада и союзниками подземного. В то время как преемники Оттомана — варвары, императоры-тираны — представители великой цивилизации, считающие себя покровителями муз; тем непростительнее их вина. Они уподобляются чудовищам, среди которых терпят вечные муки. Именно потому, хотя значения обоих антропонимов в контексте сумароковского творчества, по-видимому, тождественны, особенное внимание поэта привлек не Нерон, а Калигула, чье имя обычно возникает в связи с упоминанием о коне, произведенном в сенаторы. Образ императора, неотделимый от образа его любимца, воспринимался особенно чудовищным, а его поступки — нарушением законов естества, грозящим общему благу. Тираноборческая проблематика, все больше занимавшая писателя на протяжении его творческого пути и, возможно, лично ему, долго прожившему при дворе, небезразличная, трактована в традициях романа Фенелона «Приключения Телемака», высоко ценимого поэтом (Абрамзон 2006: 125–132), а также в духе идей эпохи Просвещения. Не случайно вместо синонимической фигуры Нерона спутником Калигулы в поэзии Сумарокова часто оказывается противопоставленный тирану мудрец Локк или Невтон — уже знакомая нам пара, предшественники просветительского учения, которое боролось с деспотизмом как с причиной и результатом общественных предрассудков. Особенно превратности судьбы императорского коня в качестве поучительной аллегории оказались востребованы в сатирических текстах.

В притче «Калигулина лошадь» знаменитый анекдот<sup>10</sup> служит противопоставлению непостоянных внешних почестей и вечных

---

<sup>10</sup> На пародийном снижении этого сюжета построена притча «Чинoлюбивая свинья», открывающаяся ссылкой на классический образец — коня Калигулы.

духовных ценностей, а деспот и ученый выступают как аллегории безумного и мудрого поведения: «Калигула любовь к лошадушке храня, / Поставил консулом коня. / Безумцу цесарю и смраднему маня, / Все чтут боярином сиятельна коня, / Превосходительством высоким титулуют, / Как папу в туфлю все лошадушку целуют. / В Сенате от коня и ржание и вонь. / По преставлении Калигулы сей конь, / Хотя высокого указом был он роду, / Не кажется уже патрицием народу, / И возит Консул воду. / Невтон, / Не брав к почтению рецептами лекарства, / В почтеньи жил без барства» (ПСВС 7: 179–180). Та же проблема с подчеркиванием социального ее аспекта ставится в эпиграмме XXII: «Не вознесем мы великими чинами, / Когда сии чины не вознесутся нами, / Великой человек, великой господин, / Кто как ни думает, есть титул не один. / Великой господин, кто чин большой имеет, / Великой человек, кто много разумеет, / Локк не был Господин великой в весь свой век, / Ни конь Калигулин великой человек» (ИП: 252). Искусная игра антитезами и параллелизмами приводит к тому, что оппозиции «человек — господин» и «человек — лошадь» иронически приравниваются друг к другу так же, как в сатире «О благородстве» непросвещенный дворянин уподоблен скотине, а его крепостные не только по закону естественных прав, но и в сравнении с таким барином обретают статус людей. Не случайно Сумароков проводит просветительскую идею именно на примере основоположника этого учения и одного из тех предрассудков, порожденных тиранией, с которыми боролись философы XVIII в.

Наибольшую актуальность для Сумарокова фигуры римских тиранов, связанный с ними круг тем и образов приобрели в политической обстановке 1761–1762 гг., когда появилась и цитированная выше ода на погребение Елисаветы Петровны. В произведениях этого периода в качестве антитезы царям-чудовищам и их любимцам выдвинуты не бескорыстные мудрецы, а правители-благодетели и труженики. В эпистоле великому князю Павлу Петровичу (1761) автор завершает длинное описание придворных льстецов и воспитанных ими тиранов: «Таков Калигула был в Риме и Нерон: / Все жители земли гнушаются их прахом. / Царь мудрый подданных любовью, не страхом, / Имея истину единую в закон, / К повиновению короны привлекает. / И сходны с естеством уставы изрекает» (ИП: 133).

Особенно эффектно та же политическая антитеза воплощена в программном стихотворении «Феб и Борей», открывающем первую книгу притч (1762). Пересказав лафонтеновский источник, поэт дополнил его отсутствующей там неожиданной, на первый взгляд, моралью, выражающей политическую позицию автора. Сюжет состоит в споре северного ветра и солнца, названных соответственно греческим и римским антропонимами: они доказывают свое превосходство, пытаясь сорвать плащ с путника. Первый действует насильем, второе — лаской и побеждает. «Борей — Калигула, а Феб — Екатерина», — резюмирует автор. Стихотворение имеет два плана. Внешне это реакция на злобу дня, придворный комплимент новой царице (вполне искренний, если учесть, что Сумароков еще в 1759 г. посвятил ей свой журнал, хотя тогда она была в немилости). Тиран должен противопоставляться императрице, во-первых, как узурпатору власти, объявляющему для своего оправдания прежний режим деспотическим, во-вторых, как поборнице просветительской философии, намеренной следовать ей на троне. Сама идея применить к ситуации именно этот басенный сюжет, у Лафонтена с политикой не связанный и композиционно не маркированный, подсказана национальной традицией: еще в средневековой русской литературе правитель нередко уподобляется солнцу, а его враги — холодным и бурным стихиям; эти метафоры имеют, очевидно, и фольклорные истоки. В посвящении великому князю Павлу Петровичу Сумароков объясняет не только идею всего сборника, но отчасти предварительно трактует смысл притчи-зачина: «Под благословенною державою Матери Вашего императорского высочества, матери моего отечества, избавительницы российского народа и воскресительницы муз российских, должны писатели ободряти сердца свои и мысли и приносить жертву государям своим и Отечеству своими трудами» (ПСВС 7: 3). Эти строки показывают, почему в качестве панегирической аллегии избран именно Феб: он одновременно олицетворяет собою солнце (роль, восходящая к старинной хвалебной топике) и покровительствует музам (роль, пропагандируемая новейшей философией). При такой интерпретации антропонимы имеют конкретное номинативное значение, а качества обозначаемых ими лиц переданы посредством аллегорий Феба и Борея.



Между тем сам характер притчи как жанра универсального, допускающего множественность истолкований в зависимости от контекста, дает основание трактовать имена Калигулы и Екатерины как нарицательные обозначения набора признаков порочного и идеального монарха вообще (второй список приведен в процитированном посвящении, первый — в упоминавшейся эпистоле, написанной годом раньше). Двойственно и употребление мифологических имен Феба и Борея, которые, обозначая конкретных персонажей басни, при их соотнесении с реальными историческими лицами начинают восприниматься как нарицательные понятия. Таким образом, перед нами не только панегирический, но и дидактический текст в духе просветительских теорий, входящий в цикл, специально предназначенный для поучения будущего царя (Сумароков претендовал на роль российского Фенелона).

Антропонимы «Калигула» и «Нерон», введенные Сумароковым в поэтический обиход, скоро стали привычными примерами тиранов. Так, В. И. Майков противопоставляет эту зловещую пару идеальному монарху Титу по уже сложившейся к тому времени просветительской модели: «Не красила вовек корона / Калигулу, ниже Нерона, / Таких главы тягчит венец. / И Тит не тем прославлен в мире, // Что был во царской он порфире, / Но тем, что Риму был отец» (Майков 1966: 251). Закрепила традицию знаменитая сентенция из оды Державина «Вельможа»: «Калигула! твой конь в Сенате / Не мог сиять, сияя в злате: / Сияют добрые дела» (Державин 1957: 212).

Напротив, император Август стал образцом просвещенного правителя. Это имя в хвалебной функции, конечно, не было новаторским. Уже Тредиаковский сравнивал с Августом Анну Иоанновну (Тредиаковский 2009: 378), а князь А. Д. Кантемир — Елизавету Петровну (Кантемир 1956: 274), но затем эта барочная панегирическая традиция пресеклась, во второй половине столетия манера этих авторов заметно утрачивала популярность. Кроме того, применительно к обеим царицам поэты больше намекали на лексическое значение латинского слова «augustus» — «божественный» (подчеркивая святость власти), чем на определенные черты исторического лица. В оригинальных стихотворениях Ломоносова Август не появляется.

Репутация этого миролюбивого и гуманного правителя, последовательно проводимая в сочинениях Сумарокова, во многом восходит к неоднократно упомянутой оде Руссо «На счастье». Процитированная выше интерпретация этого произведения, предложенная Н. Ю. Алексеевой, содержит неточность, касающуюся Августа. Ее важно устранить именно в связи с изучением антропонимики. Однозначно осуждая завоевателя Александра, Руссо двойственно относится к первому римскому императору, противопоставляя два периода его деятельности: до и после воцарения. «En vain le destructeur rapide / De Marc-Antoine et de Lé-pide / Remplissoit l' univers d'honneur. / Il n'eût pas eu le nom d'Auguste / Sans cet empire heureux et juste, / Qui fit oublier ses fureurs»<sup>11</sup> (Rousseau 1743: 99). И Сумароков, и Ломоносов в своих переводах противопоставляют два имени персонажа, олицетворяющие два описанных периода: виновник кровопролитий, не заслуживший доброй славы, — Октавиан или, как писали в XVIII в., Октавий (Руссо этого имени не называет), Август же — миротворец и благодетель. В ранних произведениях Сумарокова эти антропонимы функционально не дифференцированы. В оде «На государя Петра Великого» Август поставлен в ряд завоевателей-гордецов, в напечатанной тогда же (1755) эпистоле «Желай, чтоб на берегах сих музы обитали...» «Октавий Тибр вознес и Сейну Лудовик», то есть прославил Рим, как позднее Людовик XIV — Францию, очевидно, просвещенным управлением. Заметим, что, не считая перевода оды Руссо, это единственное упоминание данного антропонима в поэзии Сумарокова; в прозаическом слове на новый 1769 г. он употреблен с коннотацией, восходящей к оде «На счастье»: «Ни Петра, ни Октавия одни победы не учинили бы толико почтенными на свете» (ПСВС 2: 251).

В начале екатерининского царствования у Сумарокова сформировалась позиция по отношению к первому римскому императору, которого он называет только Августом и превозносит, связывая

---

<sup>11</sup> Перевод: «Напрасно быстрый сокрушитель / Марка Антония и Лепида / Наполнял бы почестями свет. / Он не обрел бы имя "Август", / Если б не то владычество, счастливое и справедливое, / Которое позволяет забыть его неистовства».

с его властью, прежде всего, расцвет литературы. «Когда владеет Август, тогда пишут Virgili и Овидии, и в почтении тогда “Энеиды”, а не “Бовы-королевичи”» (Письма 1980: 162), — заявлял поэт 31 января 1773 г. Екатериной II. Не потому ли страстный пропагандист словесности как общественно значимого явления предпочел Августа Титу в роли образцового монарха?

В 1763–1764 гг. писатель стал настойчиво уподоблять русскую царицу Августу или превозносить над ним, используя эту историческую фигуру как мерило совершенств правителя. Метафорические перифразы «августов век», «августовы лета» вводятся в значении «золотой век» (в тождественном смысле он говорит о веке Астреи), а «августов Рим» — для характеристики идеального пространства. «Екатерина вас прославит, — вещает россам Минерва, — / И в равенстве ваш век поставит, / Со веком августовых дней»; «Петрополя во градски стены / Крылатый конь ногой бьет, <...> / Столицу учинит иною, / Взыгря сладко Амфион: / Представит ону свету зриму, / Подобну августову Риму, / Толь пышно, как российский трон. <...> / Настали августовы лета, / Россию до небес вознесь» (ПСВС 2: 55, 61). Заметим, что аналогия с древним монархом все время переносится Сумароковым из политического плана в культурный, во многом сводится к наиболее волновавшей его проблеме процветания литературы. Причины такого внимания к образу Августа частично поясняет письмо Екатерине II от 23 сентября 1770 г.: «При огромных в. и. в. победах, когда вся вселенная прославляет имя Великия Екатерины, мне, будучи стихотворцем, молчать неудобно, сколько развращенное мое состояние меня ни огорчает. <...> реляции и приносимые вашей священной особе похвалы не составляют той картины, которая бы потомкам живо представить могла славу нашего века, славу России и славу бессмертного вашего имени. Царствованию Августа потребен Гораций. Без описателей истории, как бы слава чьей особы ни гремела и как бы настоящему времени дела великие ни вверялись, будущие века оные много ослабят.<...> Дела Великия Екатерины требуют чувствительного изъяснения» (Письма 1980: 142–143). В тот же период в сатире «О худых рифмотворцах» поэт утверждал: «Вергилий должен петь в дни сей императрицы, / Гораций возгласит великие дела» (ИП: 201). Сумароков, несомненно,

претендовал на роль Вергилия и Горация своего времени, ему был необходим и новый Август. В начале своего правления Екатерина II осыпала поэта милостями, и он надеялся, что у него есть все шансы на роль придворного сочинителя, а поскольку политика царицы в то время соответствовала его убеждениям, то намерение воспевать деяния своей покровительницы было вполне искренним и естественным. С середины 1760-х гг. отношения между императрицей и писателем заметно ухудшились, причем недовольство было взаимным. Хотя, как показывает цитированное письмо, Сумароков периодически предпринимал попытки вернуться к своему проекту повторить собою римских творцов золотого века, но они не имели успеха. Имя Августа (мелькнув в прямом значении в сатире «О благородстве»), навсегда исчезло из его поэзии.

Созданные же им формулы с именем Августа в связи с рассуждениями о процветании словесности или для возвеличения Екатерины II вскоре усвоили и воспроизводили неоднократно, часто гиперболизируя: «Счастливый век к нам возвратился, / Каков в дни августовы тек, / Наш век наукой просветился, / Блажен, монархиня, наш век!»; «О, Август, власть твоя скончалась: / Екатерина увенчалась / Вселенной всей повелевать»; «Хоть Август был глашен вселенныя владыкой, / С Екатериною сравнятся Великой / Не мог бы никогда, то лесь была Сената. / Но сколько Августа она превозвышает, / То истина сама вселенной возглашает» (Майков 1966: 209, 222, 304); «Достигли письма изящества толика / В столетях Августа, и Льва, и Лудовика, / Что сделались они потомству образцом»; «И вкус приличности, любезная стыдливость / И Августовых дней сиянье и учтивость» (Муравьев 1967: 134, 191). Знаменательно, что в этот хор подражателей Сумарокова включился и враждебный ему В. П. Петров, который заявил в посвящении перевода «Энеиды» великому князю Павлу Петровичу: «Я, мыслей в высоте Марону подражая, / И вящим, нежел он, усердием пылая, / Потщился бы пред всей вселенной показать, / Чем выше Августа твоя Августа мать!» (Поэты 1972а: 342). Возможно, Петров обратился к топике соперника, поскольку ощущал, что роль, на которую недавно претендовал Сумароков, предоставлена судьбою ему.

Частое упоминание в стихах исторических имен некоронованных иноземцев — заметная черта творчества Сумарокова, в целом,

новаторская, несмотря на появление антропонимов такого рода в произведениях князя Кантемира и Тредиаковского, у Ломоносова и большинства авторов середины столетия они довольно редки. В целом, отношение писателя к 16 деятелям античной и французской культуры, чьи имена появляются у него особенно часто, привлекало внимание исследователей, поэтому остановимся на них очень кратко.

Особое место в рассматриваемом ряду занимает Сократ: не правитель и не писатель. Выше говорилось о предпочтении, которое поэт отдавал философии нового времени. В нескольких баснях фигурируют древние персонажи исторических анекдотов, о чьих ученых занятиях умалчивается, если же и говорится, то пренебрежительно: «Сказал какой-то Исократ» (ПСВС 7: 51). Антропоним применен здесь как антономазия мудреца (ложного, судя по содержанию притчи), который давно забыт и сам по себе не важен. Демокрит, как мы видели, упомянут однажды и с горьким сарказмом.

Единственный античный мыслитель, для которого сделано явное исключение — греческий мудрец, не записывавший своих рассуждений, независимый в мнениях, смело их выражавший и за то несправедливо преследуемый обществом. Имея возможность свободно трактовать этот полупоэтический образ, поэт наделяет его теми же чертами философа-просветителя, которые присущи у него Локку и Невтону. Сумароковский Сократ бескорыстен, равнодушен к богатству и роскоши: «Сократов хулен дом за то, что дом был мал / И дружеским беседам тесен. / Сократу слух такой гораздо был чудесен. / Сократ на то сказал: / “Друзей числом большим пускай безумцы льстятся, / Мои друзья в одном чулане уместятся”» (ПСВС 7: 181–182). Именно потому он добродетелен и достоин быть советником и даже образцом для царей. Обратим внимание на то, что Алкивиада (всегда оцениваемого положительно) стихотворец именует учеником и другом Сократа, но, даже отмечая ученость сомнительного в нравственном отношении Александра, нигде не сообщает, что того воспитал Аристотель.

Не случайно именно к авторитетному образу Сократа поэт обратился в «Другом хоре ко превратному свету», написанном для массовых коронационных торжеств в Москве 1763 г.: «За морем Сократы добронравны, / Каковых и здесь мы выдаем, / Никогда

не суеверят, / Не ханжат не лицемерят» (ИП: 279). Здесь это антономазия истинного мудреца. В той же роли это имя возникает в оде на день коронации 1770 г., автор которой советует императрице: «В други дни будь Сократ на троне / Ко счастью полуночных стран» (ПСВС 2: 108). Это одна из наиболее четких в русской поэзии XVIII в. формул, призывающая явление просвещенного монарха в утопическом понимании этого амплуа, которое было свойственно Вольтеру и энциклопедистам.<sup>12</sup>

Сниженный вариант того же амплуа выведен Сумароковым в образе Эсопа. В отличие от Федра и Лафонтена, на которых баснописец часто ссылается как на авторитетный источник излагаемого сюжета (второй упоминается и в списках образцовых поэтов), греческий мудрый раб наделен характером, уже знакомым нам по описаниям иных мыслителей. Его социальный статус не позволяет претендовать на роль учителя царей и полководцев, изрекаемые им истины не простираются далее житейского опыта, внушенного самой природою, поэтому Эсоп не выходит за пределы бытовой сферы, среды ничем не знаменитых лиц и низких комических жанров, но нравственная чистота, здравый смысл, сарказм и незаслуженные обиды, вызывающие сострадание читателей, делают этого персонажа весьма симпатичным, достойным выступить просветителем черни (не только в сословном, но и в этически оценочном понимании этого слова), заменяя в соответствующем ему обществе Сократа и Локка.

17 из 22 самых частотных иностранных исторических имен принадлежат писателям. Выделенные на основании статистического анализа по формальному, количественному критерию, они обозначают фигуры, явившиеся настолько важными ориентирами для Сумарокова, что избранный характер этой группы вряд ли может вызвать сомнения у того, кто знаком с литературным наследием

---

<sup>12</sup> Имя Сократа упоминается Сумароковым и в связи с традиционным сюжетом о злой жене, заметно привлекавшим писателя (например, притча «Супруг и супруга»). Не обойдена вниманием и жена философа, чье имя иронически употреблено как нарицательное обозначение агрессивной и вздорной женщины: «В деревне слышится везде Ксантиппа дрявня, / И зашумела вся от лютых баб дрявня» (ИП: 234).

основателя русского театра. Дифференциальным признаком для каждого служит совершенное владение тем жанром, в котором прославлен этот творец. Образцовые сочинители составляют в художественном мире Сумарокова симметричную систему. 10 античных авторов — два трагика (Софокл и Еврипид) и по 4 греческих и римских поэта: баснописцы (Эсоп и Федр), любовные (Сафа и Овидий), одические (Пиндар и Гораций), эпические (Гомер и Вергилий). Плеяду новых великих творцов составляют 7 французов. Первым четырем античным парам соответствуют Расин, Лафонтен, Кино(льт) и Мальгерб; их дополняют сатирик Боало (Депро) и комедиограф Мольер. Наконец, современный писатель — Вольтер — преуспел во всех родах литературы. Как уже говорилось, эти имена часто образуют ряды, где наряду с конкретным значением обретают функцию антономазии мастерства в своей области или гениальности вообще: «Расинов я театр явил, о россы, вам» (не только похожий по манере на творчество Расина, но и трагический, а главное — построенный по истинным правилам, идеальный); «Не все к науке сей рожденны человеки: / Расин и Молиер во все ль бывают веки? / Кинольт, Руссо, Вольтер, Депро, Де-Лафонтен — / Плоды ль во естестве обычны всех времен?» (ИП: 157, 200).

Конечно, иногда использование перечисленных имен продиктовано литературным этикетом, правилами жанра и т. д.: таково сопоставление Пиндара с орлом в начале оды «На государя Петра Великого» (ПСВС: 2, 3), которое является вольным переводом из Боало. Однако чаще всего упоминания их очень пристрастны, вызваны глубоко индивидуальным отношением к каждому из них, ощущением близости своего творчества их манере, причастности их участи и жадной повторить их славу или даже превзойти ее.

В этой статье уже шла речь о претензиях писателя на роль российского Вергилия или Горация. Он явно соотносил себя и с другими классиками, по крайней мере считал себя равным и близким им. Это могло приобретать форму шуточной светской *causerie* по законам басенного слога: «Вино фалернское то было, пишет Федр, / А я другое здесь вино напоминаю; / Причина та, что я фалернского не знаю. / То было не оно, / А было то венгерское вино. / С Горацием мне ввек попить не удалось: / Венгерское лилося» (ПСВС 7: 179). Однако тон подобных рассуждений и риторических обращений

к прославленным собратьям по перу бывал у Сумарокова серьезным, даже трагическим: «Делафонтен, Есоп, в уме мне были вид: / Простите вы, Расин, Софокл и Еврипид: / Пускай, Расин, твоя Мони́ма жалко стонет; / Уж нужная любовь ея меня не тронет. / Орестова сестра пусть варвара клянет, / Движения, Софокл, во мне ни мала нет. / С супругом плача пусть прощается Альцеста, / Не сыщешь Еврипид в моем ты сердце места. / Аристофан и Плавт, Терентий, Молиер, / Любимцы Талии и Комиков пример, / Едва увидели меня в парнасском цвете»; «Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твое» (ИП: 159, 160). Аналогичное употребление писательских имен мы встречаем в письмах Сумарокова: «Шествуя я по стопам Горация, Ювенала, Дебрео и Молиера; имею ли я нужду в пасквилях?»; «Ста Молиеров требует Москва, а я при других делах по моим упражнениям один только» (Письма 1980: 107, 122).

Известно, сколь различны были реакции публики на такого рода строки: одни считали их вполне уместными и титуловали автора северным Расином и Мольером, нашим Лафонтеном и Буало; другим казалось это дерзкой фамильярностью, маниакальным тщеславием. С точки зрения историко-литературной, это было новаторским приемом, который не сразу прижился в нашей поэзии, но на рубеже XVIII и XIX вв. открыл широчайшие возможности для творческого выражения личности.

Задолго до эпохи романтизма, не только не разделяя ее умонастроений, но и не догадываясь о них, Сумароков стал использовать знаменитые антропонимы не только как аллегорические знаки, антономазии, что было знакомо его современникам, но и в качестве двойников субъекта речи для того, чтобы раскрыть свой внутренний мир и произвести впечатление на публику. Поэт часто называет не просто образцовых, любимых им или изумлявших его исторических деятелей, но тех, кто, как ему казалось, мыслил и чувствовал аналогично ему. Большинство из них, подобно Сумарокову, претерпели гонения вследствие происков соперников (как Расин) или за обличение нравов и независимость взглядов, из-за равнодушия непросвещенных соотечественников. Перечень вставивших перед ними проблем — набор лейтмотивов сумароковской поэзии. Современники, между прочим, нередко высмеивали и дефекты его внешности. Не усиливали ли его симпатию к Сократу, Эсопу, а, быть может, и к Вольтеру аналогичные упреки в их адрес?



Подводя итоги далеко не полному обзору антропонимики Сумарокова, отметим основное противоречие, лежавшее в основе его отношения к лексике этого типа, а возможно — и творческой манеры в целом.

С одной стороны, функционирование личных имен в его поэзии показывает, что писатель использует их как «готовое слово» (если применить терминологию А. В. Михайлова). Они появляются либо с прагматической целью (сообщить сведения о лице или обратиться к нему), либо как топорсы, устойчивые символы отвлеченных понятий (антономазии, перифразы и т. п.). В таком случае антропонимы почти лишаются неповторимой семантики, несмотря на то, что относятся к совершенно разным людям. Слова оказываются легко взаимозаменяемы (вместо Калигулы может появиться Нерон, вместо Локка — Невтон или Сократ, вместо Дафана — Авирон, Икар или Фаэтон, вместо Тюрэнна — Миних или Перикл, вместо Семирамиды — Тамерлан). Все эти имена выстраиваются в синонимические или антонимические пары или ряды, причем внутри них каждое может быть замещено перифразой, содержащей антропоним, потенциально поддающийся замене на эквивалентный. Роль имени собственного, таким образом, при переносном его употреблении в данной системе почти утрачивается, оно превращается в нарицательное, чаще отвлеченное. Эстетика поэта строится на жанровой дифференциации, в том числе и при отборе антропонимов.

С другой стороны, Сумароков — представитель светской культуры, носитель антропоцентрического сознания, индивидуалист по душевному складу. В центре его внимания — собственная личность, через призму которой он воспринимает и традицию, и систему любых правил, и принципы словоупотребления. Поэтому, казалось бы, вопреки магистральной логике своего творчества, но вместе с тем органично и закономерно, стихотворец постоянно осуществляет эксперименты разного масштаба, оригинально подходя к топике, свободно обращаясь, в случае потребности, с жанровым канонам, расширяя количественно антропонимический репертуар, а порой совершая качественные преобразования поэтики, открывая новые возможности русской поэзии.

Таблица 1

## Распределение антропонимов по жанрам

Жанровые группы	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений антропонимов в тексте
Пасторальная поэзия	163	744	70	1–28
Послания, сатиры	154	268	18	1–125
Одическая поэзия	136	631	57	1–40
Притчи	111	306	94	1–14
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы, иные малые тексты	62	111	52	1–8
Элегии	55	109	14	3–22
Духовные стихотворения	42	145	37	1–14
Песни и хоры	31	65	15	1–13
Надписи	18	64	32	1–8
Всего	535	2443	389	1–125

Таблица 2

## Иноязычные литературные имена

	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Количество употреблений в тексте
Всего	174	697	101	1–24
Пасторальная поэзия	139	616	68	1–24
Послания, сатиры	15	17	3	1–13
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	13	22	15	1–3
Притчи	10	24	9	1–9
Элегии	5	14	4	3–4
Песни и хоры	2	4	2	1–3



Таблица 5

## Иноязычные имена частных исторических лиц

	Античные				Западноевропейские			
	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте
Всего	41	104	48	1–27	36	81	21	1–33
Послания, сатиры	24	41	5	1–27	24	54	5	2–33
Притчи	20	50	24	1–6	7	8	4	1–5
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	2	3	3	1	6	8	6	1–2
Элегии	6	1	8	8	4	6	3	1–4
Песни и хоры	2	3	2	1–2	1	2	1	2
Одическая поэзия	3	5	5	1	3	3	2	1–2
Духовная поэзия	1	1	1	1	–	–	–	–

Таблица 6

## Античные мифологические имена

	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте
Всего	106	674	209	1–46
Одическая поэзия	62	226	46	1–16
Притчи	53	181	59	1–14
Послания, сатиры	38	70	10	1–46
Пасторальная поэзия	22	124	50	1–9
Песни и хоры	13	20	10	1–7
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	13	18	13	1–3
Элегии	12	20	8	1–6
Надписи	7	11	9	1–2
Духовная поэзия	2	4	4	1

Таблица 7

## Библейские и древневосточные имена

	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте
Всего	45	162	47	1–26
Духовная поэзия	31	127	32	1–26
Одическая поэзия	15	24	9	1–8
Притчи	3	7	2	1–6
Послания, сатиры	2	2	2	1
Надписи	1	2	2	1

Таблица 8

## Русские фамилии

	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте
Всего	39	100	42	1–46
Послания, сатиры	23	27	9	1–12
Одическая поэзия	7	22	7	2–7
Элегии	13	21	8	1–6
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	11	16	11	1–2
Притчи	4	6	4	1–2
Надписи	3	3	2	1–2
Песни и хоры	1	5	1	5

Таблица 9

## Русские имена частных лиц и литературных персонажей

	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте
Всего	25	77	26	1–12
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	11	22	10	1–8
Элегии	10	27	7	1–12
Песни и хоры	6	17	4	1–11
Послания, сатиры	6	8	3	2–4
Притчи	2	3	2	1–2

Таблица 10

## Русские имена правителей и священнослужителей

	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте
Всего	20	430	101	1–28
Одическая поэзия	17	304	46	1–28
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	6	21	9	1–5
Духовная поэзия	6	11	2	1–9
Послания, сатиры	5	28	11	1–3
Элегии	5	13	4	1–5
Надписи	4	43	23	1–8
Пасторальная поэзия	2	4	1	4
Притчи	2	3	3	1
Песни и хоры	2	3	2	1–2

Таблица 11

## Клички животных

	Личных имен	Употреблений антропонимов	Текстов, содержащих личные имена	Число употреблений в тексте
Всего	9	19	6	1–11
Песни и хоры	4	11	1	11
Притчи	3	6	3	1–4
Одическая поэзия	1	1	1	1
Послания, сатиры	1	1	1	1

Таблица 12

## Наиболее частотные имена в поэзии Сумарокова

	Екатерина		Петр		Зефир		Аврора	
	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов
Всего	154	60	134	58	39	24	30	29
Одическая поэзия	111	34	85	30	12	10	10	10
Надписи	13	9	27	13	–	–	–	–
Послания, сатиры	9	5	7	4	–	–	2	1
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	12	7	7	3	–	–	–	–
Элегии	4	4	4	2	–	–	–	–
Духовная поэзия	2	1	2	2	3	3	1	1
Песни и хоры	1	1	2	1	2	2	–	–
Притчи	2	2	–	–	3	2	–	–
Пасторальная поэзия	–	–	–	–	19	17	18	17

	Флора		Минер- ва		Борей		Эол		Елиса- вета		Эхо	
	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	Текстов
Всего	27	27	30	23	21	22	21	18	43	17	23	16
Одическая поэзия	8	8	13	10	11	13	8	8	38	12	-	-
Надписи	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-
Послания, сатиры	2	2	1	1	-	-	1	1	2	2	1	1
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Элегии	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Пасторальная поэзия	15	15	-	-	6	6	10	7	-	-	17	13
Песни и хоры	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	1
Притчи	1	1	11	7	14	3	-	-	-	-	-	-

	Зевс		Павел		Феб		Муза		Апол- лон		Палла- да	
	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	текстов	употреблений	Текстов
Всего	20	15	24	14	18	14	16	13	15	13	13	13
Одическая поэзия	8	7	11	5	7	6	6	5	4	4	6	6
Надписи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Послания, сатиры	2	1	4	3	-	-	4	3	3	3	3	3
Эпиграммы, эпитафии, мадригалы	1	1	4	4	-	-	1	1	1	1	-	-
Элегии	-	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-
Пасторальная поэзия	-	-	3	1	7	6	-	-	-	-	-	-
Песни и хоры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Притчи	9	6	-	-	4	2	4	3	7	5	1	1



## Литература

1. Абрамзон 2006 — *Абрамзон Т. Е.* Поэтические мифологии XVIII в. Ломоносов. Сумароков. Херасков. Державин. Магнитогорск, 2006.
2. Алексеева 2005 — *Алексеева Н. Ю.* Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005.
3. Гнедич 1956 — *Гнедич Н. И.* Стихотворения. Л., 1956.
4. Гуськов 2020 — *Гуськов Н. А.* «Эклоги» Сумарокова как поэтическая книга (К постановке проблемы) // XVIII век: Сб. 30. СПб., 2020. С. 42–58.
5. Державин 1957 — *Державин Г. Р.* Стихотворения. Л., 1957.
6. Дмитриев 1967 — *Дмитриев И. И.* Полное собрание стихотворений. Л., 1967.
7. Долинин 2006 — *Долинин А. А.* Северная Семирамида: примечание к докладу «Пушкин и Байрон: новые замечания к старой теме», прочитанному на Тыняновских чтениях 2006 года и, кажется, понравившийся Кириллу Юрьевичу Рогову // Кириллица, или Небо в алмазах: сборник к 40-летию Кирилла Рогова. URL: <http://www.ruthenia.ru/document/539839.html> (дата обращения: 30.01.2021).
8. Жуковский 1999 — *Жуковский В. А.* Полное собрание: в 20 т. Т. 1. М., 1999.
9. Кантемир 1956 — *Кантемир А. Д.* Собрание стихотворений. Л., 1956.
10. Ломоносов 1952 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 7. М.; Л., 1952.
11. Ломоносов 1959 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 8. М.; Л., 1959.
12. Майков 1966 — *Майков В. И.* Избранные произведения. М.; Л., 1966.
13. Муравьев 1967 — *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л., 1967.
14. Отрывки 1858 — Отрывки из переписки А. П. Сумарокова // Отечественные записки. 1858. № 2. С. 579–598.
15. Письма 1980 — Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980.
16. Поэты 1972а — Поэты XVIII в.: в 2 т. Т. 1. Л., 1972.
17. Поэты 1972б — Поэты 1840–1850-х годов. Л., 1972.
18. Пушкин 1995 — *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: в 17 т. Т. 3. Кн. 1. 1995.
19. Сумароков 1781 — *Сумароков А. П.* Полное собрание всех сочинений в стихах и в прозе: в 10 ч. М., 1781.
20. Сумароков 1787 — *Сумароков А. П.* Полное собрание всех сочинений в стихах и в прозе: в 10 ч. М., 1787.

21. Сумароков 1957 — *Сумароков А. П.* Избранные произведения. Л., 1957.
22. Сумароков 2009 — *Сумароков А. П.* Оды торжественные. Елегии любовные. М., 2009.
23. Тредиаковский 2009 — *Тредиаковский В. К.* Сочинения и переводы, как стихами, так и прозою. СПб., 2009.
24. Херасков 1812 — *Херасков М. М.* Творения: В 12 т.: Изд. 2-е. Т. 7. М., 1812.
25. Rousseau 1743 — *Rousseau J.-B.* Œuvres. T. 1. Bruxelles, 1743.

## АНТРОПОНИМЫ В «СКАЗКЕ О ЦАРЕВИЧЕ ХЛОРЕ» ЕКАТЕРИНЫ II

---

---

В очень богатом писательском наследии императрицы Екатерины II находятся разнообразные с точки зрения жанра, формы и предназначения тексты: юридические акты, декреты, указы, труды из области истории и философии, письма, публицистика, дневники, комедии, комические оперы, переводы, произведения дидактического характера. Среди них есть и две литературные сказки для детей: *Сказка о царевиче Хлоре* (1781) и *Сказка о царевиче Февее* (1783). Особенную популярность приобрела первая из них благодаря Гавриилу Державину, который использовал ее как источник своей знаменитой оды *Фелица* (1782). Также, благодаря ему, антропоним «Фелица» стал с тех пор «литературным» именем русской царицы (Warda 2013a).

В данной статье предметом наших рассуждений будет названная выше сказка Екатерины о царевиче Хлоре, которую мы рассмотрим с точки зрения содержащихся в ней антропонимов.

Итак, вспомним, что *Сказка о царевиче Хлоре* была сочинена Екатериной в 1781 г. и в том же самом году издана в виде самостоятельной книжки небольшим тиражом (точно неизвестно каким). Спустя год появилось ее следующее издание тиражом в 600 экземпляров, а в 1783 году — в 809 экземпляров. До наших дней сохранились три экземпляра первого издания этой сказки, два из которых хранятся в Москве, третий — в Санкт-Петербурге. *Сказка о царевиче Хлоре* была также помещена в учебнике русского языка, грамматики и чтения *Бабушкина азбука* (1783), написанном Екатериной для ее внуков — Александра и Константина. Следует также отметить, что уже в 1781 г. *Сказка о царевиче Хлоре* была переведена на немецкий язык и опубликована в журнале

«St. Petersburgisches Journal» (т. 4, с. 75–92). Значение, которое сама Екатерина придавала этой сказке, проявилось прежде всего в указе, связанном с третьим ее изданием в 1783 г., в котором Екатерина Дашкова, директор Императорской Академии наук, видимо, по просьбе императрицы, собственноручно дописала, что следует издать ее тиражом в 800 экземпляров на русском языке с приобщением греческого перевода (Сводный каталог 1962, 1: 337–338).

В сказке рассказывается о том, как царевич Хлор попал в плен к киргиз-кайсацкому хану, который для испытания царевича поручил ему найти розу без шипов, являющуюся символом добродетели. В поисках помогает ему дочь хана, царевна Фелица, которая дала ему в спутники и помощники своего маленького сына по имени Рассудок, вместе с которым царевич после многих приключений нашел на высочайшей горе розу без шипов.

Как заметил еще Василий Сиповский, екатерининская *Сказка о царевиче Хлоре* оказывается сокращенной переработкой французской сказки *Florine ou la Belle Italienne, conte de fées*, изданной в Париже в 1713 г. (Matek 1998). Ее авторство приписывается Франсуазе Ле Маршан, которая функционирует в литературе как Мадам Ле Маршан (ум. 1754). Следует заметить, что Екатерина II хорошо знала французский язык и переписывалась по-французски со своими знакомыми, пребывающими за границей, а также с энциклопедистами. Ее французскоязычные тексты исправлял граф А. П. Шувалов, который не изменял их содержания, но ограничивался лишь поправками грамматического и стилистического характера.

Непосредственным адресатом сказки царицы был ее внук — Александр, который родился в 1777 г. и с которым Екатерина связывала свои династические надежды. Неслучайно императрица назвала внука именем великого вождя, победителя шведов и крестоносцев — Александра Невского и знаменитого вождя — Александра Македонского. Созданная Екатериной *Сказка о царевиче Хлоре* была продуманным элементом сознательного воспитания будущего царя и по намерению царицы должна была выполнять не только развлекательные, но прежде всего дидактические цели.

Французский первоисточник, *Florine ou la Belle Italienne, conte de fées* (Флорина, или итальянская красавица), насчитывающий

232 страницы, намного шире его русской переработки в несколько страниц. Он представляет собой волшебную сказку с элементами авантюрно-приключенческого и любовного романа. Екатерина использовала к своей сказке сюжет, некоторые мотивы и персонажи из первой части прототипа, который она склонила на русские нравы и придала своему произведению дидактический характер. Следует также заметить, что, как и в оригинале, царица назвала некоторых своих героев значащими именами, отражающими их определенные черты характера (Варда 2013б: 152–159).

Вторая часть произведения Мадам Ле Маршан носит любовно-приключенческий характер, в ней появляется много новых героев и сложных ситуаций. Однако она не заинтересовала Екатерину, так как не отвечала ее литературным замыслам создания дидактической сказки для детей.

Так, среди всех антропонимов, выступающих в сказке Екатерины, можно выделить следующие три группы:

- а) древнерусские легендарные имена (Кий);
- б) русские и восточные неисторические (вымышленные) наименования царей, ханов (Хлор, Киргиз-Кайсацкий хан, Фелица);
- в) «говорящие» вымышленные имена (Рассудок, Брюзга, Лентяг, Честность, Правда).

Кий — легендарный основатель Киева — появляется в тексте царицы в начальной, темпорально-топографической формуле, которая в сказках указывает на неопределенность места и времени действия. Сказка Екатерины традиционно повторяет эту схему и вводит имя Кия только для того, чтобы сообщить читателям, что действие ее сказки происходит в давние, ближе неопределенные времена, еще до правления Кия: «До времени Кия, Князя Киевского, жил да был в России Царь...». Во французском прототипе речь идет тоже о легендарном времени до рождения Ромула в Италии. Как русский, так и французский антропонимы легендарных, но хорошо известных в своих культурах персонажей, намекают именно на отдаленное, легендарное время действия и одновременно на вымышленный характер рассказанной дальше истории.

В той же традиционной вступительной части сказки, но в третьей очереди вводится главный герой сказки — Хлор. Он родился в семье любящих и уважающих друг друга родителей — царя

и царицы. Отец его был человеком добрым, правым, проявляющим радушие по отношению к другим людям, часто объезжающим свои владения, чтобы посмотреть, как живут его подданные. Почти такая же характеристика отца главной героини Флорины появляется в инициальной части сказки мадам Ле Маршан.

Прототипом персонажа Хлора во французской сказке является Флорина. Это имя латинского происхождения, означающее ‘усеянная цветами, цветущая’. Это один из вариантов имени римской богини цветов и весны — Флоры. В русском языке употреблялась лишь мужская форма этого имени — Флор, которая трансформировалась в народе в имя Фрол. Как утверждают Нелли Стаффа и Рышард Ваксмунд, польские исследователи и переводчики *Сказки о царевиче Хлоре* на польский язык, имя Хлор может быть трагестацией имени римской богини Флоры или диалектной формой этого имени, для которой характерным был переход звуков [x] в [ф] (Staffa, Waksmund 2007). Интересно, что как героиня французского прототипа Флорина, так и царевич Хлор отличались необычайной красотой, что вполне соответствовало семантике их имени.

Можно обратить внимание также на то, что имя героя сказки Екатерины ассоциируется в первый момент с химическим элементом с таким же названием. Однако это ошибочная ассоциация, поскольку во времена Екатерины II хлор не был широко известным элементом. Правда, он был открыт в чистой форме в 1774 году Карлом Вильгельмом Шееле, однако не считался им элементом, а лишь химическим соединением на основе кислорода. Лишь в 1810 году Гемфри Дэви установил, что это отдельный элемент и назвал его хлор. Имя героя сказки царицы скорее следует соотносить с римским императором — Константином I Хлором (250–306), который вошел в историю как отец цезаря Константина I Великого и после смерти был обожествлен. Прозвищем Хлор (греч. χλωρός ‘бледный’) он был наделен византийскими историками. Прославился же он как способный предводитель и администратор; добрый, скромный, приветливый властитель, заботящийся о своих подданных. Возможно, Екатерина II позаимствовала имя для героя своей сказки и у этого императора.

Замена Екатериной героини из французской сказки мужским персонажем была, несомненно, продиктована личностью непосредственного адресата ее сказки — Александра и ролью, которую

он должен был сыграть в будущем в своем государстве, а также совсем другим по сравнению с первоисточником характером ее сказки.

Киргиз-кайсацкий хан принадлежит ко второй выделенной нами группе антропонимов. Французским прототипом этого персонажа является ведьма Мауритияна. Хотя в тексте Екатерины не появляется имя собственное этого героя, но все-таки оба слова, входящие в его наименование, имеют определенное смысловое наполнение. Хан, как известно, — это тюрко-монгольский титул властителя, монарха, а в Османской империи это титул султана. Киргиз-кайсаками или киргизами, в свою очередь, называли в царской России с 1734 вплоть до 1925 года нынешних казахов. В тексте сказки появляется описание восточного богатства этого властителя. Следует при этом упомянуть, что такой персонаж, как хан, часто появлялся в восточных повестях, модных в XVIII столетии как в странах Европы, так и в России. Подробное описание шикарного шатра хана в сказке напоминает описания, которые можно обнаружить, например, в повестях из *Пересмешника* М. Чулкова (Малек 1988).

Последним антропонимом из этой группы является Фелица. Это имя носит дочь киргиз-кайсацкого царя. Во французской сказке мадам Ле Маршан соответствующий ей персонаж — это Рационтына, которая появляется в тексте сказки вместе со второй по очереди задачей, которую Мауритияна ставит для Флорины, состоящей в том, чтобы она принесла розу без шипов. Во время поисков розы Флорина встретила Рационтыну (Разум), которая посоветовала ей, чтобы, встретив кого-либо по дороге, она не останавливалась — лишь тогда ей удастся благополучно дойти до цели. Ее проводником стал сын Рационтыны — Агатонфиз (Рассудок).

В произведении императрицы Фелица, как и ее французский прототип, появляется довольно поздно, лишь во время пребывания царевича Хлора в степи, и выступает как второстепенный, но существенный с точки зрения развития действия персонаж. Этимология имени Фелица связана с латинскими словами: *felicitas* 'удача или счастье' и *felix* 'счастливый'. Именем Фелицитас (*Felicitas*) была именована древнеримская богиня счастья и успеха.

Из текста сказки мы узнаем, что Фелица была веселой, остромной, милой и приветливой женщиной, характеристика которой явно напоминает в сказке Екатерины ее саму. Встретив царевича Хлора и узнав о его задании, которое ему поручил выполнить ее отец, она проявила заботу и выразила готовность пойти вместе с ним. Однако когда она сообщила своему отцу о намерении отправиться с Хлором на поиски розы, он ей этого не разрешил. В связи с этим Фелица встречается с царевичем Хлором, и, как и Рационтына, дает царевичу советы, которые пригодятся ему в поисках розы без шипов (в частности, она предостерегает его от соблазнительей, неискренних льстецов, желающих свести его с избранного пути). Она также говорит ему, что розу находят те, у кого чистое сердце, и те, кто сумеет не сойти с пути добра. Кроме того, люди низших сословий находят ее быстрее, чем высших.

Хотя антропоним Фелица мы включили во вторую выделенную нами группу, в которой находятся имена русских и восточных неисторических (вымышленных) названий царей, ханов, но одновременно можно было бы его ввести и в третью группу, которую составляют «говорящие», вымышленные имена. К ним также принадлежит антропоним Брюзга. Герой сказки Екатерины, который носит это имя, — это султан, муж Фелицы. Брюзга — это значащее слово, которое обозначает человека, имеющего обыкновение надоедливо ворчать, сердито бормотать что-либо. Герой сказки, носящий это имя, — это очень мрачный человек, который злился при виде улыбки на лице других. Этот персонаж вызывает отчетливые ассоциации с мужем Екатерины II — Петром III. Интересно, что во французском прототипе нет персонажа, который соответствовал бы Брюзге, введенному императрицей в ее сказке.

Следующий антропоним — Рассудок — относится к сыну Фелицы, которого она отправила вместе с Хлором помогать ему в поисках розы без шипов. Тем самым Рассудок выполняет в сказке функцию помощника ищущего. Сначала он указал Хлору дорогу, по которой им надо было идти дальше в поисках розы, а потом все время он следит за ним и подсказывает царевичу хорошие решения, которые помогут ему приобрести розу без шипов.

Во французской сказке персонажем, который сопровождает главной героине и выполняет роль, сходную с ролью Рассудка, сына Фелицы, был сын феи Рационтыны — Агатонфиз.



Среди антропронимов третьей группы находится также Леньтяг. Это герой сказки царицы, которого путники, Хлор и Рассудок, встретили в момент, когда тот прогуливался со своими домашними. Он пригласил их в свой дом, накормил, напоил и заснул, а его подданные вышли и тоже отдались сну, пустой болтовне или игре в карты и кости. После того как хозяин проснулся, снова началось угощение. Следует отметить, что Гавриил Державин в своих *Объяснениях* написал, что прототипом Леньтяга для героя сказки Екатерины II был несомненно князь Григорий Потемкин, который вел ленивую, беззаботную, роскошную жизнь (Державин 1864: 139). Интересно отметить, что во французской сказке прототипом Леньтяга была хозяйка первого дворца — Ойцозына (Лень), к которой пришла Флорина. Замена Екатериной женского прототипа мужским аналогичным героем несомненно не была случайна, так как она дала царице возможность выражения в аллегорической форме своего мнения насчет некоторых вельмож ее времени. При этом для ее окружения эта аллегория не оставляла никакого сомнения, кого она касается.

В сказке Екатерины появилась также пара героев, которых не было в оригинале — это пара стариков, одетых в белые плащи, которые носят символические имена: Честность и Правда. Цвет их одежды не случаен, поскольку белый цвет символизирует чистоту, невинность, является символом ангелов и апостолов, а также обновления духовной жизни. В контексте путешествия Хлора и Рассудка с целью найти розу без шипов, символизирующую благодетель, он обладает особой символикой.

Благодаря введению этих персонажей в сказку, реализуется следующая функция сказки, выделенная В. Проппом: герой становится обладателем волшебного средства. Старики, наподобие волшебных помощников в народных сказках, дают Хлору палку, которая как магическое средство должна помочь герою приобрести розу. С их помощью герой достигает места, где находится предмет его поисков — роза без шипов.

Подытоживая наши рассуждения об антропонимах в *Сказке о царевиче Хлоре* Екатерины II, следует сказать, что антропонимы, введенные императрицей, преимущественно являются адекватными тем, которые выступали в первоисточнике, и названные ими персонажи выполняют те же самые функции. Некоторые из них

приобрели другую родовую форму — из женской перешли в мужскую (ср. напр., персонаж Хлора и Леньтяга). Но есть и такие, которые были впервые введены императрицей и не встречаются в первоисточнике. Все решения Екатерины, связанные с антропонимами в ее сказке, не случайны, они должны были преследовать цели ее дидактического произведения и соответствовать просветительскому характеру эпохи, в которую возник ее текст.

Однако следует также вспомнить о том, что вне интересов Екатерины остался целый ряд антропонимов французской сказки, которые не были включены русской писательницей в содержание ее текста. Можно предполагать, что их большое количество, а также экзотическая форма (Мауритияна, Пробус, Рационтына, Агатонфиз, Ойцозына, Филафтик, Эргонид) не только могли усложнять восприятие произведения молодым читателем, но также и не отвечали требованиям, характерным для жанра литературной сказки, адресатом которой было младшее поколение. Любовно-приключенческая сказка мадам Ле Маршан была довольно сложной в событийном плане и по своей тематике была предназначена для взрослого читателя. Именно такой реципиент мог следить за многочисленными любовными перипетиями и приключениями большого числа ее героев. Для русского читателя, тем более детского, как любовная тематика французской сказки, так и необычные и редкие имена ее героев были неподходящими и слишком сильно отличающимися от тех, которые были известны русской культуре и просветительским идеям эпохи.

Обзор антропонимов в «Сказке о царевице Хлоре» Екатерины II показал, что императрица, перерабатывая иностранные тексты на русский язык, не переводила их буквально. Согласно своим намерениям и ожиданиям русских читателей или конкретного реципиента, она сочиняла на их основе свой переработанный текст, который реализовал ее литературную или политическую стратегию.

## Литература

1. Варда 2013б — Варда А. «Сказка о царевице Хлоре» и ее французский источник // Сопоставительная филология и полилингвизм. Т. 1. Казань, 2013. С. 152–159.

2. Гистер 2005 — *Гистер М. А.* Русская литературная сказка XVIII века: история, поэтика, источники: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2005. URL: <http://cheloveknauka.com/russkaya-literaturnaya-skazka-xviii-veka-istoriya-poetika-istochniki> (дата обращения: 30.01.2021)
3. Державин 1864 — Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 1. СПб. 1864.
4. Екатерина II 1893 — *Екатерина II.* Сочинения Императрицы Екатерины II. Произведения литературные. СПб., 1893.
5. Записки 1907 — Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907.
6. Каменский 1992 — *Каменский А. Б.* «Под сению Екатерины...»: Вторая половина XVIII века. СПб., 1992.
7. Малэк 1988 — *Малэк Э.* Предметный мир и персонаж в «Пересмешнике, или Славенских сказках» М. Д. Чулкова // Персонаж и предметный мир в художественном произведении. Межвузовский сборник науч. трудов. Сыктывкар, 1988. С. 32–43.
8. Сводный каталог 1962 — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725–1800). Т. 1. М., 1962.
9. Małek 1998 — *Małek E.* U źródeł rosyjskiej baśni literackiej (inspiracje rodzime i obce) // Literatura Ludowa. 1998. № 6. С. 29–38.
10. Staffa, Waksmund 2007 — *Staffa N., Waksmund R.* Bajki carycy Katarzyny II dla wnuków i inne utwory baśniowe pisarzy rosyjskich XVIII wieku. Wrocław, 2007.
11. Warda 2013a — *Warda A.* «Cykl Felicyjski» w poezji rosyjskiej końca XVIII — początku XIX wieku. Łódź, 2013.

## **К ПОНИМАНИЮ АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО МИРА М. Н. МУРАВЬЕВА**

---

---

1

В 1939 г. Л. И. Кулакова посвятила две страницы своей первой монографической статьи о творчестве М. Н. Муравьева (1757–1807) «черте, бросающейся в глаза при чтении <его> произведений», а именно «насыщенности их именами» (Кулакова 1939: 30). «Каждая страница говорит об эрудиции автора. В прозе это может быть легко объяснено педагогическими соображениями <...>. В стихах такой необходимости нет, а между тем в большинстве из них можно встретить от двух до тридцати имен. Это является результатом системы мышления. Поэзия Муравьева “ученая”, интеллигентская поэзия. Каждое явление вызывает литературную аналогию, а мысль об одном писателе или художнике влечет ряд сопоставлений. <...> Большей частью это обращение к именам, апелляция к авторитетам <...> включается в систему размышлений о самом себе. Рассуждение обычно строится по схеме автооценки, сравнение, вывод» (Кулакова 1939: 30–31).

Как известно, при жизни автор относительно мало публиковался, но оставил массу драгоценных записных книг и писем. До недавнего времени его творческое наследие разделяли на три части: раннее, опубликованное под покровительством М. М. Хераскова и В. И. Майкова в 1770-е гг. стихотворное творчество; более зрелые, экспериментальные, стихотворения и прозаические тексты, при жизни публиковавшиеся в ограниченной степени и увидевшие свет отчасти в начале XIX в., когда включились в литературный процесс новой эпохи, отчасти в начале XX в. (Жинкин 1913), большей же частью в 1967 г., благодаря Кулаковой (Муравьев

1967); наконец, зрелую, в основном педагогическую, историческую и повествовательную прозу, написанную для обучения великих князей Александра и Константина Павловичей, прозу, на которой в основном зиждилась репутация писателя в XIX в. В последние сорок (а особенно двадцать) лет исследователи стали публиковать неизданные произведения писателя, не только расширяя наше представление о последних двух частях (Фоменко, Алехина, Росси, Лазарчук, Топоров), но и выявляя новую, еще более раннюю, отчасти прямо ученическую, группу произведений (Западов 1999, Ивинский 2021а, 2021б, 2022а). Кроме того, внимание привлекла неизданная и малоизвестная драматургия Муравьева разных эпох (Росси 1996, Топоров 2001: 29–380, Пашкуров 2011а, 2011б, 2012, 2020; Ивинский 2017б, 2018б), и возобновился процесс публикации эпистолярного наследия писателя (Лазарчук 1972, Муравьев 1980, Бухаркин 1982, Ивинский 2017а, 2018а, 2018 б, 2018 д; 2022б).

Но вернемся к самому началу научного исследования творчества Муравьева. Замечания Кулаковой о творческом методе автора опирались на такие стихотворения, как «Обаяние любви» (1784, 1787), «Успех твой первый возвещая (1779), «Сила гения» (1785, 1797), «Послание о легком стихотворении» (1783) и ориентировались на (тогда новое) восприятие Муравьева как «и в личной и в литературной биографии связывающего переходного звена, соединившего сумароковскую школу с карамзинизмом (Гуковский 1938: 255): с одной стороны — почтительное отношение к авторитетам, с другой — поэзия о самом себе и личностное отношение к предшественникам.

В ином аспекте рассматривал муравьевские антропонимы В. Н. Топоров. В его трехтомной монографии о писателе (2001, 2003, 2007) взгляд на них соответствует одному из направлений многогранного научного наследия автора, этимологическому и семантическому (Топоров 1995; Топоров 2004), «тому подходу к имени собственному <...> при котором рассматривается *семантическая аура* языковых единиц, возникающая в текстах» (Николаева 2007: 7). В монографии пронизательные страницы посвящены этимологии имен персонажей муравьевской неоконченной трагедии «Болеслав» (Топоров 2001: 181–185), трилогии «Емилиевы письма», «Обитатель предместья», «Берновские письма», повести

«Оскольд» (Топоров 2001: 406–407, 544, 855–856), а также семантической ауре имен героинь муравьевских «сказочек», или возлюбленных, воспетых в его любовных стихотворениях (Топоров 2003: 719–800).

В пределах данной статьи невозможно будет дать исчерпывающую трактовку темы, но на основе комплексного рассмотрения муравьевского наследия как в диахронической, так и в синхронной перспективе мы постараемся обозначить границы его антропонимического мира, от бытовых до литературных имён, указывая на отдельные случаи, достойные особого внимания преимущественно с точки зрения интертекстуальных отношений. Следует учесть, что в римской литературе, на которую ориентировался Муравьев, «каждому литературному жанру соответствует специфическая стратегия в *nominatio* (выборе имени): если элегия отличается употреблением женских криптонимов, построенных на основе специфических генетических механизмов, то в комедии господствуют «говорящие» имена, кодифицированные автором, трагедия же придерживается имён, определенных традициями мифа и героической поэмы», а эпиграмма ориентируется на действительность (Iulietto 2016: 45). Установив, насколько это было еще актуально в случае традиционных жанров, унаследованных от классицизма, мы проверим, как обстояло дело с новыми, смешанными жанрами, предвещающими сентиментализм.

## 2

Полушутя скажем, что, возможно, обостренное внимание писателя к антропонимам берет свое начало от размышлений над собственной фамилией. В письме отцу от 25 сентября 1777 года идет ее этимологическое обыгрывание, где антропоним становится опять зоонимом: «Мы с Иваном Матвеевичем большим ночевали нынче у дядюшки. Вчерась был и Николай Федорович, так Муравьевых был целый *муравейник*».<sup>1</sup> (Муравьев 1980: 296; курсив

---

<sup>1</sup> Впрочем, в отличие от Сумарокова, в своих баснях Муравьев не откликнулся на те тексты Эзопа, а затем и Лафонтена, где героем выступает трудолюбивый Муравей.

наш. — Л. Р.). Оставаясь в пределах писем и бытовой стороны антропонимического мира писателя, заметим, что в обращениях к отцу и к любимой единственной сестре, сначала молодой девушке, затем замужней женщине и матери, Муравьев всегда придерживался официального имени-отчества: «Милостивый государь [мой] батюшка! Никита Артемонович!», «Матушка сестрица / Милостивая государыня Федосья Никитишна» (Муравьев 1980; Ивинский 2018 д; Ивинский 2021б: 146). И посвящая сестре свою драгоценную записную книгу около начала 1780-х гг., Муравьев обозначил ее именем-отчеством: «Присвоение сей книги Федосье Никитишне» (Муравьев 1967: 196). Однако в «письменной беседе» с ней, от отрочества до замужества и после него, брат пользовался ласкательным: «Фешинька» (см., например письмо от 21 января 1776 г.: ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 48. Л. 15; письма от 5 сентября и 14 ноября 1790 г.: Ф. 445. № 53. Л. 58, 78 об.; письма от 24 июня и 2 октября 1791 г.: Ивинский 2021б: 156, 163).

По своей эмоциональности с этим именем сопоставимо уже неоднократно цитировавшееся ласкательное преобразование имени и фамилии лучшего друга Василия Васильевича Ханыкова (1759–1829) «Васинька Ханыковушка», записанное в одной из самых богатых записных книг (ОР РНБ. Ф. 499. № 30. Внутренняя сторона обложки). Ни одно из этих исключительно домашних имен не переходит в литературу, автор найдет другие антропонимы для обозначения любимой сестры и друзей-литераторов. Но его письма свидетельствуют еще об одном виде имен. Речь идет об интересном и, казалось бы, «современном» выборе кличек для домашних животных, приближающем их к антропонимам или даже теонимам. Осенью 1777 г. в приписках к сестре ласкательными именами «Фавушка» и «Фавинька» (Муравьев 1980: 263, 272, 277, 280, 284, 292–294), немногим отличающимися от «Фешиньки», часто называется оставленная в Твери уже старая беззубая собака (кошка?) Фаворитка. А 10 октября 1790 г. автор сообщает зятю и сестре, что у него есть «Аглинская собака Минерва» (ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 53. Л. 69), но, кажется, не писал для нее никаких стихов. В те же годы, собака Г. Р. Державина носила относительно банальную кличку «Милушка», но поэт посвятил ей эпитафию с политической подоплекой («На смерть собачки Милушки, которая при получении известия о смерти Людовика XVI упала с колен хозяйки

и убилась до смерти», 1793; Державин 1957: 196). Впрочем, на фоне упроченной идентификации государыни с «Торжествующей Минервой» (ср. коронационный маскарад 1763 г. и стихотворение 1773 г.: Муравьев 1967: 94), есть соблазн придать какое-то политическое значение — верноподданное или ироническое — и кличке муравьевской собаки.

Теперь рассмотрим литературные произведения писателя, от юношеских до более зрелых. Недавняя публикация А. Д. Ивинского заставляет начать с неизданной прозаической комедии «Выигранная тяжба», по мнению исследователя, «одного из первых завершенных литературных опытов Муравьева» (Ивинский 2017б: 164), автограф которого достоверно датирован 1771–1772 гг. Исследователь справедливо утверждает, что «основные образы и мотивы комедии Муравьева — проворовавшийся судья, ханжа, изобретательный слуга, жадность, невежество, глупость <...> восходят к французской драматургии XVII–XVIII вв.» А уточнить это указание помогут, кажется, антропонимы, представленные в списке действующих лиц. Приведем его полностью по рукописи:

Действующие лица:

Обиралов, Судья, отец Новосветова

Новосветов, сын Обиралова

Ябедников, мещанин

Нравовида, дочь его

Криводелов, Секретарь Обиралова

Действие в том городе, где Обиралов судей (ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 232. Л. 105).

Здесь упомянутые говорящие имена относительно близки к антропонимическому миру В. И. Лукина. В «Щепетильнике» (1765), например, среди действующих лиц встречаются Обиралов и *Старосветов*; любопытно, что, в отличие от большинства комедий Сумарокова, Лукина, Фонвизина и впоследствии самого Муравьева,<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> В ранней и новой редакции сентиментальной комедии «Простосердечная или Сила первой склонности» героиню зовут *Лиза* и *Алина* соответственно, между тем как ее опекуна зовут *Думов* и *Вельсердов* (Росси 1996); в отрывке «Добрый барин» говорящие имена носят представители власти (*Любимов* господин деревни; князь *Глотов*), реалистические —



где девушки носят реально существующие, часто довольно изысканные имена, здесь и девушка, предмет страсти молодого героя, носит искусственное (странное), говорящее имя. Но стоит обратить внимание на «Ябедникова, мещанина» — определение для России не совсем обычное, оно представляет собой, кажется, точную кальку «Chicanneau, bourgeois» (от *chicane*, ябеда)<sup>3</sup> из списка актеров в то время очень популярной стихотворной комедии Ж.-Б. Расина (1639–1699) «Сутяги» («*Les Plaideurs*», 1668). Остальные персонажи у Расина носят реалистически-сатирические имена, но их роли соответствуют пьесе Муравьева:

Dandin, juge. Данден, судья

Léandre, fils de Dandin. Леандр, сын Дандена

Chicanneau, bourgeois. Ябедников, мещанин

Isabelle, fille de Chicanneau. Изабелла, дочь Ябедникова

La Comtesse. Графиня

Petit Jean, portier. Иванушка, дворник

L'intimé, secrétaire. Ответчик, Секретарь

Le souffleur. Суфлёр

La scène est dans une ville de Basse Normandie. Действие в городе Нижней Нормандии (Racine 1950: 311).

Создается впечатление, что список действующих лиц «Выигранной тяжбы» является слегка сокращенным вариантом списка комедии Расина. Последняя, в свою очередь, по признанию автора (Racine 1950: 309), восходила к известной комедии древнегреческого комедиографа Аристофана «Осы» (422 года до н. э.), направленной против политика Клеона в контексте афинских народных судов. Комедия Расина еще сохраняла ее «абсурдистский» мотив «суда над псом», но вводила отсутствующие любовную интригу и развязку, связанную с подменой документа, которые самостоятельно развивает и «Выигранная тяжба».<sup>4</sup>

---

люди из народа (*Василий* молодой солдат, *Демьян*, приказчик Любимова, *Машинька* дочь Демьянова) (Топоров 2001: 355).

<sup>3</sup> См.: DAF 1798; СлРЯ XVIII 12, 172.

<sup>4</sup> Её атрибуция полностью и исключительно четырнадцати-пятнадцатилетнему Муравьеву потребует, возможно, дальнейшего рассмотрения.

Рассмотрев самые первые опыты Муравьева, перейдем сейчас к его первым прижизненным публикациям. Примечательно, что в оригинальном издании «Басней» (Муравьев 1773) имена нарицательные зверей пишутся со строчной буквы, не став именами собственными, заменой антропонимов. В некоторых из них («Кучер и лошади», «Кошка и лисица», «Облако», «Волк и лисица») в сопоставления вводятся имена героев «Илиады» в целях героико-комического возвышения (Росси 2013); другого типа антропонимы встречаются в «Раздоре в улье», басне, которая вошла в томик «Од» 1775 г., и в неопубликованной при жизни басне «Улиссовы спутники»: это фамилия автора басни, переработанной Муравьевым<sup>5</sup> («В недавних временах у Геллерта я чел...»; Муравьев 1967: 75), и имя создателя поэмы об Улиссе, «покойного Гомера» (Там же: 76).

Как показывает свежайшая публикация об антропонимах в русской панегирической поэзии XVIII в., муравьевские юношеские торжественные оды и произведения военной тематики по составу исторических и мифологических антропонимов и теонимов<sup>6</sup> не выделяются на фоне произведений, написанных в этих жанрах более известными авторами (Словарь 2022). Тем не менее некий интерес представляет опубликованная в 1774 году посвященная Павлу Петровичу «Военная песнь», впоследствии переработанная в три самостоятельных текста. Последняя строка десятой строфы первоначального варианта «Там Вобан, Паган, Кегорн, Феш» (Муравьев 1967: 300), от которой впоследствии автор отказался, перечисляет в виде внимательных слушателей «военной Паллады» серию известных европейских военных инженеров и архитекторов: Sébastien Le Prestre, маркиза de Vauban (1633–1707),

---

Некоторые детали, например, отсылают к биографии А. М. Брянчанинова (1750–1784), вологодского литератора (Лазарчук 1999: 10–43, 44–82; Топоров 2003: 572–608; ср. также Алехина 1990: 12–13), как известно, адресата многочисленных муравьевских стихотворений (см. ниже примеч. 6).

<sup>5</sup> Речь идет о басне “Die Biene” («Пчелы») Х. Ф. Геллерта (Петривня 2010).

<sup>6</sup> Об очень интересной ономастике им современного «Похвального слова Михайле Васильевичу Ломоносову» (1774) см.: (Абрамзон 2011).

Blaise François Pagan, графа de Merveilles (1603–1665), Menno van Coehoorn (1641–1704) и Jean-Rodophe Faesch (1680–1749) или его сына Georges Rodolphe Faesch (1710–1787). И дальше, пользуясь традиционными для героических жанров риторическими фигурами «enumeratio» (перечисление) и «accumulatio» (накопление) с особой охотой молодой поэт объединяет именно антропонимы: в семнадцатой и восемнадцатой строках греческих и римских победителей, в двадцатой строфе — русских. Среди римских («Камилл, Маркел, и *Павл Эмилий / И Сципион, Метелл Цецилий*», Муравьев 1967: 302; курсив мой — Л. Р.) впервые, кажется, Муравьев упоминает, здесь вряд ли случайно, в обратном порядке консула Луция Эмилия Павла, о котором будем говорить ниже.

В частом перечислении культурно значимых антропонимов Муравьев следует за Сумароковым больше, чем за Ломоносовым. Вместе с тем, вероятно, к известным стихам Ломоносова из «Оды на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» (1747 г.), «... может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать», — отсылает использование аппеллятивации (деонимизации) в начальной строке «сказки» (то есть повести) «Живописец», опубликованной в «Академических известиях» в 1779 г. (Ивинский 2021), где главный герой — художник назван «питомцем Рюбенсов» (Муравьев 1967: 174).

Но в томик «Од» (Муравьев 1775) вошли не только панегирические, но и другого типа оды, характеризующиеся антропонимами иного рода: фамилиями (часто сопровождаемыми инициалами) знакомых, покровителей, литературных учителей и друзей, которым посвящены произведения и обращены трогательные или шуточные восклицания. «Ода вторая» сопровождается подзаголовком «К А. М. Брянчанинову», «Ода десятая. Весна» — «К Василью Ивановичу Майкову», «Стихи» — «К Мих. Матв. Хераскову», «Сонет» — «К Василью Ивановичу Майкову», автору последующего ответного «Сонета», наконец, «письмо» обращено «К А. М. Брянчанинову» «на смерть супруги его Елисаветы Павловны» (Муравьев 1967: 117, 125–128, 312, 129). Во второй, так и не напечатанной книге «Новых лирических опытов» (1776) и в других, отчасти опубликованных, стихотворениях роль адресатов и их имён (Н. Р. Р. [Никита Романович Рожешников], Майков,

Хемницер, Д\*\*\*[митревский], Львов, В. И. Петров, Хвостов, В. В. Ханыков) еще увеличивается.

В своё время Г. В. Морозова первой справедливо отметила, что в «Новых лирических опытах» Муравьев шел к созданию нового жанра, учась у Горация «непринуждённой интонации, умению вплетать в канву стихотворения автобиографические черты, бытовые подробности, композиционному мастерству» (Морозова 1986: 102–103). К этому можно добавить, что он учился и употреблению антропонимов, имён адресатов. Это наглядно показывает напечатанный сразу после «Стихов К Мих. Матв. Хераскову» «Перевод первой Горациевой Оды. К Меценату» (Муравьев 1775: 23; 1967: 262б; курсив мой — Л. Р.). Для Муравьева-Горация (ср. и «Оборот на себя»; Алехина 1990: 85) Херасков станет новым Меценатом, Брянчанинов — новым Тибуллом.<sup>7</sup>

Как у Горация, так и у Муравьева в одах уже просвечивают черты жанра дружеского послания. При этом в таких «Новых лирических опытах», как «Прискорбие стихотворца» и «К Хемницеру», посвященных членам раннего львовского кружка, Муравьев переносил в Россию миф об идеальной дружбе поэтов на фоне природы, восходящий к произведениям таких немецких авторов, как Э. фон Клейст, Ф. Г. Клопшток, К. М. Виланд (Росси 2003: 294), которые, в свою очередь, были читателями и подражателями Горация.

Когда ж со Львовым вы пойдете мимо оба  
И станут помавать цветочки сверху граба,  
Поколебавшись вдруг,  
Я заклиная вас: постойте! не бегите!  
И, в тихом трепете обнявшись, скажите:  
«Се здесь лежит наш друг» (К Хемницеру,  
Муравьев 1967: 154–155).

---

<sup>7</sup> Афанасию Матвеевичу Брянчанинову (1750–1786), «нежнейших лет товарищ<у> и приятел<у>» Муравьева, посвящены «Сельская жизнь», написанная в традиции Второго Эпада Горация (Скибина 2010), как и «Das Landleben. An Herrn Rammler» Э. фон Клейста, «К. А. Брянч.» (Лазарчук 1999: 31–32) и, главное, программное «Послание о легком Стихотворении. К А. М. Бр<янчанинову>» (Муравьев 1967: 217), начинающееся переработкой начала четвёртой эпистолы первой книги Горация, к Альбию Тибуллу (Росси 1994: 101).

Примечательно, что не задача, а жанр обуславливал решение прибегнуть к антропонимам: в те же годы в призванных увековечить эту дружбу прозаических «Дщидцах для записывания» (Муравьев 1778), где философские размышления чередовались с рассказами о встречах и обменах опытом с друзьями-литераторами, имена Львова и Ханыкова, присутствующие в черновике (Фоменко 1981), были заменены вычурными перифрастическими фразами (Росси 2003: 295).

#### 4

Значение антропонимов адресатов муравьевских стихотворений во многом зависит от культурных антропонимов, которыми пестрят эти тексты, особенно те, которые посвящены самому творчеству. Это имена античных, французских, итальянских, английских, а также и русских, современных, философов, писателей, художников, музыкантов; это имена героев поэм, трагедий и опер, а порой и имена исполнителей и исполнительниц. За «официальным» канонам античной литературы (чаще всего Гораций, затем Вергилий, Гомер, гораздо реже Овидий и Тибулл, Лукан, но и Сафо, Софокл, Ксенофонт, Лонгин) следовали столь же классические итальянские и французские авторы (Тассо, Расин, Ариост, Дант, Вольтер) и более спорные англичане (Шекспир, Томсон, Милтон, Оссиан, Юнг). Когда речь идет о легкой поэзии, то один за другим следуют имена Корины, Мимнерма, Проперция, Колардо, Дора, Берниса, А.-Ф. Ж. Массона де Пезея (Pezay), Буфлера (L.-F. de Boufflers), Шапеля (Claude-Emmanuel Luillier), Башомона (F. Le Cognaix Vachauumont), Мариво, Бомарше, Мармонтеля. В других отрывках упоминаются Дюсис, Шенстон, Метастазий, Руссо (наставник Юлии). И мы не назвали и половины авторов.

Конечно, те стихотворения, которые были написаны «для себя» и остались неопубликованными, своими антропонимами преимущественно иностранного происхождения удовлетворяли чувство культурного превосходства автора и приносили удовольствие, прежде всего ему самому, экзотическим звучанием и расположением антропонимов. Берем наугад стихи, опубликованные Кулаковой из рабочей тетради, по мнению исследовательницы, «едва ли не единственного непосредственного отклика в России на споры

вокруг вышедшего во Франции в 1776 г. первого тома собрания сочинений Шекспира в переводе Ле Турнера»:

Мерсьер и ле Турнер и кавалер Ретлидж  
Стоят за Шекспира;  
А де ла Гарп и латинистов спира  
Против Вилиама на стогнах кличут клич  
(Муравьев 1967: 199, 346).

Уже здесь заметна внутренняя рифма Мерсьер / Ле Турнер. С особым смаком Муравьев ставит антропонимы в положение рифмы и создает порой богатые, порой смешанные русско-иностранные рифмы. Если в «Опыте о стихотворстве», в «Избрании стихотворца» и в «Видении» он повторяет рифму «россов / Ломоносов» (в «Видении»: Пиндар россов / Ломоносов) (см. Абрамзон 2011), то в послании «К его превосходительству Алексею Васильевичу Нарышкину» о своей юности в Архангельске автор рифмует фамилию Ломоносова с южным фруктом абрикосом (Markov 1988: 39), сделав из его поэзии настоящий драгоценный плод севера:

Ни смокв, ни абрикосов  
Не знают там сады;  
Но письмен Ломоносов  
Там выростал плоды  
(Муравьев 1967: 199).

Восторг от посещения Академии художеств выражается в рифмах фамилии художников А. Лосенко (1737–1773) и Н. Пуссен (Nicolas Poussin 1594–1665) со словами «оттенка» и «тень» (Муравьев 1967: 173–174).<sup>8</sup>

А когда назван адресат, хотя и из узкого круга родных и друзей-стихотворцев, то можно говорить об удовольствии, разделенном, конечно, между такими людьми, для которых не составляют трудности аллюзии на малоизвестных персонажей. Например,

---

<sup>8</sup> Эти и другие подобные рифмы к именам находим и в статье Владимира Маркова (1988: 39), усмотревшего в Муравьеве первого поэта «опьяненного» именами, как впоследствии Бальмонт и Хлебников.

в «Успехе британской музыки. К В. П. Петрову» Муравьев называет Мусидору, имя очаровательной купальщицы из «Лета» Томсона, с уверенностью, что адресат поймет (Муравьев 1967: 172).

Примечательно, что от юношеских стихов до более зрелых и до самых последних текстов, в одном и том же стихотворении можно найти антропони́мы, восходящие к античности, рядом с именами русских авторов, недалекого прошлого или современников. В «Эпистоле к его превосходительству И. П. Тургеневу. 1774» рядом с персонажами греческой истории (например, спартанский адмирал Педарет) упоминаются русские литераторы Ломоносов и Поповский; в «Опыте о стихотворстве» обозначение философа Аристотеля эпитетом «Стагирит» (Муравьев 1967: 134) предшествует именам не только Расина, Мольера, Софокла, его героев Филоктета и Едипа, но и Фонвизина, Княжнина и его «Дидоны». В опубликованном в 1797 г. опыте «Сила Гения» (ср. ниже) имена латинских и итальянских поэтов (Вергилий и Тассо) читаются рядом с именами итальянских художников Корреджо и Франческо Альбани, а в конце находим комплимент «Нине», условной любимой девушке; в поздней «Музе» Муравьев сочетает латинских, английских и французских авторов и героиню русской, совсем недавней повести «Бедная Лиза» (Муравьев 1967: 236–238).

Когда после долгого перерыва автор решил переработать свои ранние сочинения для публикации в книге «Собрание стихотворений М. Муравьева», он придумал новую функцию адресатам своих стихотворений и ввел новые антропони́мы. Это, конечно, адресаты дружеских посланий, как уже названные «К его Превосходительству Алексею Васильевичу Нарышкину» и «Эпистола к е. п. Ивану Петровичу Тургеневу 1774 года», но не только. И к произведениям не «личностных» жанров, таким как басни и эклоги, Муравьев предпослал короткие посвящения лицам, принимавшим непосредственное участие в его поэтическом развитии, и касался конкретных обстоятельств их знакомства («Суд Момов. К А. М. Засодимскому», «Перо. К его превосходительству Александру Петровичу Ермолову», «Еклога. К его превосходительству Алексею Васильевичу Олешеву») (Муравьев 1967: 53, 68, 85, 198). Таким образом, собрание разрозненных сочинений должно было стать и книгой стихотворных мемуаров. Если книга сама по себе так и не увидела

свет, то после смерти автора в мае 1810 г. в «Вестнике Европы» среди первых было опубликовано «Послание», обращенное к другу Тургеневу, также недавно скончавшемуся (28 февр. / 12 марта 1807 г.), и со смертью которого связывали преждевременный уход Муравьева (Жинкин 1913: 312). В том же журнале в августе 1810 г. было напечатано большое оригинальное стихотворение, озаглавленное «К Феоне» и обращенное к сестре.

## 5

Короткое отступление. Как мы уже видели, в посвящениях, когда речь идет о мужчине, упоминаются фамилия, часто имя и отчество или инициалы; в редакциях 1800-х гг., опубликованных, когда бывшие школьные друзья или товарищи по полку уже сделали карьеру, присутствует и титул «его превосходительство». Когда же речь идет о (молодых) женщинах,<sup>9</sup> почти всегда встречаем одно литературное имя, вернее, криптоним. Если в случае Феоны поэт сразу же объявляет, что она — его сестра, для других дам дело гораздо сложнее, и даже установление имени девушки, предмета настоящего чувства (Росси 2015а), не решает вопрос. О муравьевских женских криптонимах уже писали Н. Жинкин и В. Топоров. Одно их перечисление свидетельствует об их культурной пестроте. В положении адресата встречаются: Нина («Станс. К Нине», 1779; ср. «Отъезд», «Истинная красота»), Феона («Письмо к Феоне», «К Феоне», «Епистола к Феоне»), Алзора («К Алзоре»), Алина («Надпись к изображению Алины»), Темира («Посвящение тебе»), но если учесть и косвенные комплименты, можно добавить и Белинду («Любовник прелести»), Ирису («Ириса! ты в слезах»), Аглаю («Видали ль вы небесную Аглаю»), Кларису («Иной бы стал непостоянством»), Темиру («Темире ленточка», в одной из тетрадей существует и французский перевод или оригинал; ср. также «Посвящение тебе»), Розану («Милое дитя»), Еглею («Разлука»), Любашу («Итак, опять убежище готово»).

---

<sup>9</sup> Исключение составляет «Надгробная Елисавете Львовне Нарышкиной, скончавшейся июля 1-го 1795 года» (Муравьев 1967: 236).



Как показал В. Топоров, «Нина» и «Ниса» включаются в два обширных культурных текста: «Нинин» текст связан с очаровательной героиней ряда литературных произведений XVIII–XIX вв., о которой писал целую книгу Александр Пеньковский (2003), а Нисин текст восходит к Ниче (Nice), коварной героине стихотворения Метастазии «Освобождение». Однако в разных редакциях «Станса. К Нине» («О милое мечтание...») они взаимозаменяемы (Топоров 2003: 719–800; Росси 2015а: 102). Имя Альзора, созданное Муравьевым возможно на основе псевдоперуанского «Альзира» из одноименной трагедии Вольтера «Альзира или Американцы», объединяет два разнородных текста и двух разнородных женщин: даму, адресата неизданного «Письма к Альзоре», мелодраматического рассказа в форме отрывка из ненаписанного романа (1779–1780),<sup>10</sup> и «милого дитя», очаровательную девочку, адресата стихотворения «К Альзоре» (1781), воспетую и под другими именами (Алина, Александрина). Речь идет об Александре Михайловне Мордвиновой (1769 или 1770–1809), которая стала женой Николая Николаевича Муравьева (1768–1840). Имя Темира восходит к поэме в прозе Монтескье «Книдский Храм», которым восхищался Муравьев (Росси 2017: 207), его носит пастушка, любовница рассказчика; вместе с тем Белинда — героиня ироикомической поэмы Поупа «Похищение локона». Если Аглая — одна из харит, то Еглей — жена Тесея (Топоров 2003: 743). Розана восходит к более близкому источнику, комической опере Н. П. Колева «Розана и Любим» (1776), которой Муравьев интересовался в 1779 г. (Ивинский 2017:177; 2018: 207). Особняком стоит Любаша, не криптоним, а настоящее ласкательное имя Любови Федоровны Муравьевой, младшей сестры хозяйки Берново, Анны Федоровны Вульф, в «домашнем» стихотворении «Итак опять убежище готово» (Муравьев 1967: 199–202).

Но вернемся к Феоне. Читатели 1810–1820 гг., наверно, склонны были ассоциировать это литературное имя с Муравьевым. Вместе

---

<sup>10</sup> ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 30. Л. 70–70 об. Росси 1998: 530–531. Повествовательный отрывок эпистолярного романа из той же рукописной тетради состоит из писем двух девушек с вполне реалистичными именами Лиза и Катенька (Топоров 2001: 334–337).

с тем данное греческое, не мифологическое имя, использованное в европейских неоклассических литературах, уже до него вошло в русскую литературу. Феона — одно из действующих лиц педагогического произведения А. Т. Болотова «Детская философия, или нравоучительные разговоры между одною госпожою и ее детьми, сочиненные для поспешествования истинной пользе молодых людей» (Болотов 2012), написанного по образцу «Детского журнала, или Беседы мудрой наставницы со своими благородными учениками»<sup>11</sup> Ж.-Мари Лепренс де Бомон (1711–1780). Первый том был опубликован в 1776 г. в типографии Московского университета, а второй — в 1779 г., когда ее получил в аренду Н. Новиков. Вполне вероятно, что книга, где необходимые познания о религии, нравоучении, а также естественных науках излагались простым и занимательным образом (Артемьева, Микешин 2012), входила в круг чтения молодой Федосьи, которая была не намного старше детей госпожи Ц\*\*\*, четырнадцатилетней Феоны и тринадцатилетнего Клеона. В 1790 годы в домашней переписке Муравьев называл себя Дон-Кихотом, а сестру — Сесилией, героиней романа Фанни Берни (Rossi 2003: 789; Ивинский 2021б: 154, 150). Возможно, уже в 1780-е гг., учитывая сходство имен и положений Федосьи Никитичны и героини «Детской философии», он создал литературное имя для сестры. Это подтверждается тем, что в 1793 г., став преподавателем русского языка невесты в. к. Александра, Луизы Августы фон Баден, Муравьев создал для нее серию коротких нравоучительных рассказов и диалогов, в центре которых семейство, напоминающее «Детскую философию»: добродетельная вдова, которую здесь зовут Феона, и ее дочери, Еглей и Зилия; любопытное сочетание уже здесь прокомментированного греческого имени и имени героини романа Ф. де Графиньи «Письма Перуанки» (1752), который Муравьев подарил сестре в сентябре 1779 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр.51. Л. 89).<sup>12</sup>

Феонин цикл завершает серию муравьевских «книг для чтения», написанных для великих князей во второй половине

---

<sup>11</sup> Magasin des Enfants, ou Dialogues d'une sage Gouvernante avec ses élèves de la premiere distinction (1756).

<sup>12</sup> Об этих письмах см.: (Ивинский 2017а).

1780-х — начале 1790-х гг. и объединенных отчасти общими героями: «Утренней прогулки», «Эмилиевых писем», «Обитателя предместья», «Берновских писем», драматической сказочки «Доброе дитя». Здесь встает тема роли имён в создании своеобразного романа из разнообразных фрагментов повествовательной педагогической прозы Муравьева (Росси 1995; Топоров 2001).

В оригинальных изданиях антропонимы все выделены *курсивом*; их можно разделить на три группы: говорящие, реалистические, интертекстуальные. Говорящие имена указывают на характер героя; они то ли русского, то ли греческого происхождения: в «Эмилиевых письмах», граф Благотворов, офицер Добросердов, секунд-майор Вельзоров, полковник Думов, генерал Славин, судья Правдин с одной стороны, а с другой — Филарет и Иринеев, друзья Эмилия; в «Обитателе предместья» капитан-коммандор Неслетов, купцы Кормилов и Тучин с одной стороны и друг Иринеев, София, жена Неслетова, и Евфемон,<sup>13</sup> приемный сын Дрёмова с другой. Некоторые антропонимы, такие как Васинька — для сына графа, Осанов — для одного из офицеров и Засодимский — для секретаря графа по делам дворянской опеки — реалистичны и содержат интимную аллюзию: как мы уже говорили, Васинькой звали лучшего друга Муравьева Василия Ханькова, фамилия Осанов напоминала усадьбу Осаново (недалеко от Вологды) и А. М. Брянчанинова; Засодимский — Михаила Андреевича, другого вологодского литератора, адресата одной из басен Муравьева (Лазарчук 1999: 83–95). И некоторые фамилии, казалось бы, говорящие (Островских 2011), отсылают к знакомым писателя: ученый Перков напоминает П. Д. Перкова, смерть которого Муравьев оплакивал элегией, оставшейся в его бумагах (ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 57. Л. 14), а заседатель Карманов — Диомида Ивановича Карманова, тверского публичного нотариуса, сотрудника Вольного российского собрания при Московском университете (Письма 1980: 373). Другие имена, как Васильков, Былинский, Закрышкин, Ульев, Полосовский, Иланов, также реалистичны, но нам пока не удалось установить связь с биографией Муравьева или его знакомых.

---

<sup>13</sup> По мнению В. Топорова, антропоним создан самим Муравьевым и обозначает, между прочим, «хранить благоговейное молчание» (Топоров 2001: 554).

Безусловно, большой интерес представляют те имена, которые скрывают интертекстуальную связь с произведениями других авторов. Начнем с Эмилия, имя которого современному читателю напоминает произведение Руссо о естественном воспитании, но которое, по мнению В. Н. Топорова, отсылает и к консулу Луцию Эмилию Павлу, погибшему во время битвы при Каннах в 216 г. д. н. э. О нем Муравьев писал, как мы видели, в «Военной песне» и в «Эпистоле к его превосходительству Ивану Петровичу Тургеневу»:

Таков Эмилий Павл равно достоин хвал,  
Как жил в семье своей иль как при Каннах пал  
(Муравьев 1967: 114).

Это соответствует судьбе муравьевского Эмилия более, чем характер героя Руссо (Топоров 2001: 406–407). В предуведомлении издателя «Эмилиевых писем» получение «свитка рукописных писем» погибшего друга происходит во время прогулки по большой Московской дороге жителя Софии, нового городка, построенного по воле императрицы и носящего ее настоящее имя. Его сопровождают «граждане софийские», но англичане, Виль Гоникомб и Дик Эйронсейд. Известно, что в Софии действительно жили англичане, например специалисты, сотрудничающие с Камероном в построении парка Царского села, но в данном случае имена спутников издателя восходят к сатирическим журналам «Зритель» («The Spectator», 1711–1712) Ж. Аддисона и Р. Стиля и «Опекун» («The Guardian», 1713) Р. Стиля: один из джентльменов Клуба Спектатора носит имя Will Honeycomb, а псевдоним издателя второго — Nestor Ironside. Возможно, Муравьеву «Нестор» показался недостаточно «английским», и он решил заменить его уменьшительным именем редактора, Ричарда. Это явный знак уважения создателям жанра, к которому примыкает «Обитатель предместья». Фамилия одного из героев «Периодических листов» — Дремов отсылает к более близкому источнику, к комедии Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной». На самом деле, почти трагическая фигура именитого гражданина, отставного майора Дремова,

всепрощающего отца своего (приемного) блудного сына, сильно отличается от добродушного, слегка комического дяди из комедии Екатерины 1771 г. Тем не менее намек едва ли случаен.

В заключение рассмотрим фамилию «Алетов». Она встречается довольно часто в педагогической прозе Муравьева, и персонажи, носящие его, обладают достаточно постоянными чертами, такими как светскость, талант, остроумие. При этом он выступает то как военный, то как гражданский, то как любитель искусств, то как человек, пекущийся об общей пользе государства. В «Эмилиевых письмах», в «Обитателе предместья» и в «Утренней прогулке» он знакомый рассказчика. В женском «Феонином цикле» господин Алетов — племянник хозяйки, только что возвратившийся из Англии.

Как мы увидим, эти последние детали некоторым образом соответствуют и происхождению фамилии героя. В. Н. Топоров связывал ее с «правдолюбивым» героем Карамзина [Фил]алет (от ἀλήθεια, правда) или с героем Вергилиевой «Энеиды» Aletes (Алет в переводе Петрова) (Топоров 2001: 583, 589). Ориентация на «правду» всегда актуальна, но в разные эпохи она принимает специфические черты, и трудно установить, какими путями тот или иной автор пришел к ней. В «Никомаховой этике» Аристотеля φιλαλήθης («правдивый») противопоставляется лживым и обманчивым, и это употребление, по мнению итальянского исследователя, побудило Тассо дать антифрастическое имя Alete посланнику язычнику в «Освобожденном Иерусалиме» (Zatti 2004: 241). Поэма была хорошо известна Муравьеву, и не исключено, что, создавая имя «Алетов», он вспомнил и о второстепенном персонаже итальянского поэта.

Но любопытно, что фамилия «Алетов», как якобы русская, уже существовала в литературе. Ее носил секретарь русского посольства в Париже Ivan Aléthof, созданный в мае 1760 года Вольтером, как автор сатирической диалогической поэмы «Русский в Париже»: *Le russe à Paris. Dialogue d'un Parisien et d'un Russe. Petit poème en vers [alexandrins], composé à Paris, au mois de juillet [/ mai]. Par M. Ivan Aléthof, secrétaire de l'ambassade russe.* В самом деле, образ «русского в Париже» раздваивается. С одной стороны, персонаж, «грубый скиф», приехавший в современные Афины, чтобы просветиться, с другой — автор Алетов, «русский, знающий Францию

очень хорошо», о котором Вольтер пишет в своих письмах коллегам и друзьям, в том числе А. Р. Воронцову (Voltaire 2015: 121–122). «Правдивый» секретарь русского посольства заставляет своего парижанина раскрыть русскому энтузиасту все слабости и дурачества парижской культуры той эпохи, и последний возвращается домой. В последующих изданиях фамилия фиктивного автора уже не включалась, и она не фигурирует в русском прозаическом переводе поэмы, которая выходила из печати уже как «Разговор между парижанином и россиянином», образец «сатирического духа Вольтера», как гласило заглавие книги (Вольтер 1789).

7

Упомянутые в отдельных письмах или главах трилогии и прилегающих к ней текстов (даже не учитывая «Тетради для сочинений») антропонимы образцовых представителей разнообразных видов деятельности, всех эпох, от античности до ближайшей современности по числу и разнообразию не уступают антропонимам в муравьевских стихотворениях. Это имена военных, архитекторов, инженеров и теоретиков (Бован, маршал Саксонский, 1696–1750, Гиберт (J. A. N. Guibert), 1743–1790), европейских и русских генералов и министров (виконт де Тюренн, 1611–1675, маршал Люксембург, 1628–1695, Петр Великий, Миних, П. П. Ласси, 1678–1751, П. С. Салтыков, 1698–1773, П. А. Румянцев, 1725–1796, Нестор (?), Леонид, Эпаминонд, Ф. А. Ангальт, 1732–1794, М. де Сюлли, 1560–1641), историков (Геродот, Плутарх, Полибий, Ксенофонт, Э. Гиббон, 1737–1794 и Дж. Гиллис, 1747–1836), философов (А. Фергюсон, А. Смит, Декарт), писателей всех стран (Вергилий, Э. фон Клейст, Софокл, Теренций, Ж.-Ж. Руссо, С. Геснер, Гомер, Гораций, Корнель, Расин, Вольтер, Гесиод, Феокрит, Эсхил, Еврипид, Пиндар, Тибулл, Овидий, Тассо, Петрарка, Лопе де Вега, Сервантес, Камюэнс, Спенсер, Шекспир, Мильтон, Буало, Ф. Детуш, 1680–1754, Ш. Дюффрени (Dufresny), 1648–1724, А. Пирон, 1689–1773, Лафонтен, Анакреон, Г. А. де Шольё, 1639–1720, К.-Ж. Дора, 1734–1780, Ф.-И. де Бернис, 1715–1794, Л.-Ж. де Нивернуа, 1716–1798, С. Де Буффлер, 1738–1815, Э. де Парни, 1753–1814, Ж. Ф. Лагарп, 1739–1803, Ж. Ф. Мармонтель, Ж. Ф. Сен-Ламбер, 1716–1803,

Дж. Томсон, Ж. Делиль, 1738–1813, А. Л. Томас, 1732–1785, Фенелон, Ж. Б. Боссюэ, 1627–1704, Ж. Л. Бюффон, 1707–1788, А. фон Галлер, 1708–1777, Ф. фон Хагедорн, 1708–1754, Ф. Г. Клопшток, 1724–1803, Г. Э. Лессинг, 1728–1781, Л. М. Виланд, 1733–1813, М. Ж. Седен (Sedaine), 1719–1797 — с героями их поэм и драм), художников (Г. И. Скородумов, 1754–1792, Дж. Уокер (James Walker), 1760–1823, Анжелика Кауфман, П. Батони, 1708–1787, Рафаэль, Корреджо, Тициан, Лосенко), музыкантов, особенно тех, связанных с Россией (Дж. Б. Перголези, 1710–1736, П. А. Монсиньи, 1729–1817, А. Гретри, 1741–1813, Дж. Паизиелло, 1741–1816, Н. Пиччинни, 1728–1800, П. Анфосси, 1727–1797, А. Сальери, 1750–1825, Дж. Сарти, 1729–1802, Ф. Кино (Quinault) 1635–1688, К. В. Глюк, 1714–1787) и актеров (И. А. Дмитриевского, В. М. Черникова). В основном они подобраны в соответствии с педагогическим назначением данных произведений, но находится место и писательским пристрастиям Муравьева. Мало того, вводя имена литературного происхождения, как Алетов, или, в «Берновских письмах», ставя притяжательное прилагательное рядом с именем Гомера по образцу «Вертера»,<sup>14</sup> чтобы обозначить его поэмы, автор позволяет себе и самостоятельную литературную игру.

Но в те же годы автор зачал и чисто литературный проект, озаглавленный антропонимом исторического происхождения. В посмертной публикации дошел до нас «Оскольд», историческая повесть в форме законченного фрагмента или «оссиановская» поэма в прозе, напечатанная в марте 1810 г. в «Вестнике Европы» (Муравьев 1810). О «персонажно-именном поле» или об «именности» этого произведения уже блестяще писал В. Н. Топоров (Топоров 2001: 809–813), и в разное время было отмечено, что имена воинов из «Оскольда» встречаются у других писателей в последующие десятилетия: у Батюшкова в ранней при жизни не опубликованной повести «Предслава и Добрыня» (1810 г., Добрыня, Радмир)

---

<sup>14</sup> Например, в письме от 13 марта Вертер пишет «сердце мое достаточно волнуется само по себе; мне нужна колыбельная песня, а такой, как *мой* Гомер, второй не найти» (Гете 2001: 9; курсив наш — Л. Р.). Во втором «Берновском письме» рассказчик пишет: «никем не видим, под тенью дерева читал я *своего* Гомера» (Муравьев 1790-е гг.: 17; курсив наш — Л. Р.).

(Фридман 1965: 24) и в плане поэмы «Русалка» (1817 г., Озар) (Фридман 1971: 278), а также, возможно, у Пушкина в поэме «Руслан и Людмила» (*Ратмир*) (Западов 1999: 310).

В самом деле, трудно недооценить роль немногочисленных прозаических и поэтических текстов, опубликованных непосредственно после смерти поэта в 1810-е гг. в «Вестнике Европы» и в «Собрании лучших стихотворений, взятых из лучших творцов», изданном В. А. Жуковским, и затем вошедших в «Полное собрание сочинений Муравьева» под редакцией Жуковского и Батюшкова (Муравьев 1819–1820). Они способствовали обогащению и подкреплению культурно-исторического канона пушкинского поколения, которое, в свою очередь, передало последующим поколениям целый культурный мир.

### Источники

1. Болотов 2012 — *Болотов А. Т.* Детская философия. СПб., 2012.
2. Вольтер 1789 — *Вольтер Ф.-М.* Россиянин в Париже, или Разговор между парижанином и россиянином // Сатирический дух г. Волтера, или Собрание некоторых любопытных сатирических его сочинений. Переведено с французского И. .. Р. .. СПб., 1789. С. 1–55.
3. Гете 2001 — *Гете И. В.* Страдания юного Вертера. СПб., 2001.
4. Державин 1957 — *Державин Г. Р.* Стихотворения. Л. 1957.
5. Муравьев 1773 — *Муравьев М. Н.* Басни лейб-гвардии Измайловского полку фурьера Михайлы Муравьева. Кн. I. СПб., 1773.
6. Муравьев 1775 — *Муравьев М. Н.* Оды лейб-гвардии Измайловского полку сержанта Михайла Муравьева. СПб., 1775.
7. Муравьев 1778 — *Муравьев М. Н.* Дщицы для записывания // Утренний свет. Ч. IV (дек.). 1778. С. 368–378, 380.
8. Муравьев 1790-е гг. — *Муравьев М. Н.* Берновския писма. СПб., 1790-е. (ср. Космолинская 1997).
9. Муравьев 1810 — *Муравьев М. Н.* Оскольд. Повесть, почерпнутая из отрывков древних готфских скальдов // Вестник Европы. 1810 № 6. Март. С. 81–103.
10. Муравьев 1819–1820 — *Муравьев М. Н.* Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева. Ч. I–II. СПб., 1819; Ч. III. СПб., 1820.
11. Муравьев 1967 — *Муравьев М. Н.* Стихотворения / Вступительная статья, подготовка текстов и примечания Л. И. Кулаковой. Л., 1967.
12. Муравьев 1980 — *Муравьев М. Н.* Письма отцу и сестре 1777–1778 годов // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 259–378.



13. Письма 1980 — Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.
14. Racine 1950 — *Racine J. Œuvres complètes*. Т. 1. Paris, 1950.
15. Voltaire 2015 — *Voltaire F.-M. Le russe à Paris. Notes sur Le Russe à Paris*. Edition Critique par Philip Stewart // *Les Œuvres complètes de Voltaire*. 51A. Oxford, 2015. P. 115–166.

## Литература

1. Абрамзон 2011 — *Абрамзон Т. Е.* Именная парадигма Ломоносовского мифа в творчестве М. Н. Муравьева // Михаил Муравьев и его время. Сборник статей и материалов Третьей Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2011. С. 24–30.
2. Аলেখина 1990 — *Аলেখина Л. И.* Архивные материалы М. Н. Муравьева в фондах Отдела рукописей // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 49. М., 1990. С. 4–87.
3. Артемьева, Микешин 2012 — *Артемьева Т. В., Микешин М. В.* Страсти души Андрея Болотова // *Болотов А. Т.* Детская философия. СПб., 2012. С. 5–32.
4. Бухаркин 1982 — *Бухаркин П. Е.* Письма писателей XVIII века и развитие прозы 1740–1780 гг.: дис. ... канд. филол. наук. Л., 1982.
5. Гуковский 1938 — *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938.
6. Жинкин 1913 — *Жинкин Н. И.* М. Н. Муравьев (по поводу истекшего столетия со времени его смерти) // Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. Т. XVIII. Кн. 1. СПб., 1913. С. 273–352.
7. Западов 1999 — *Западов В. А.* Муравьев М. Н. // *Словарь русских писателей XVIII века*. Вып. 2. СПб., 1999. С. 305–313.
8. Ивинский 2017а — *Ивинский А. Д.* М. Н. Муравьев в письмах к отцу 1778–1779 гг. (по материалам ОПИ ГИМ) // Карамзин и его эпоха. Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 18–19 октября 2016 г.). М.; СПб., 2017. С. 173–180.
9. Ивинский 2017б — *Ивинский А. Д.* О комедии М. Н. Муравьева «Выигранная тяжба» (по материалам ОПИ ГИМ) // *Stephanos*. 2017. № 1 (21). С. 163–169.
10. Ивинский 2018а — *Ивинский А. Д.* Из предыстории «арзамасской галлиматъи»: письма М. Н. Муравьева и В. В. Ханькова (по материалам ОПИ ГИМ) // *Болдинские чтения*. 2018. С. 102–113.
11. Ивинский 2018б — *Ивинский А. Д.* Из эпистолярного наследия М. Н. Муравьева: Письма 1778 года к отцу (по материалам ОПИ ГИМ) // *Новое литературное обозрение*. 2018. № 6 (154). С. 171–191.

12. Ивинский 2018в — *Ивинский А. Д.* М. Н. Муравьев и А. П. Сумароков по материалам ОПИ ГИМ и ОР РГБ // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 2018. № 2. С. 198–210.
13. Ивинский 2018г — *Ивинский А. Д.* О драматургии М. Н. Муравьева (по материалам ОР РГБ и ОПИ ГИМ) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2018. Т. 77. № 3. С. 62–71.
14. Ивинский 2018д — *Ивинский А. Д.* Письма М. Н. Муравьева С. М. и Ф. Н. Луниным (по материалам ОПИ ГИМ) // *Avtobiografiya*. № 7. 2018. С. 193–248.
15. Ивинский 2021а — *Ивинский А. Д.* О первом переводе М. Н. Муравьева «Жизнь Эрнеста, по прозванию Благочестиваго, Герцога Саксонского» // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9: Филология. 2021. № 1. С. 122–134.
16. Ивинский 2021б — *Ивинский А. Д.* М. Н. Муравьев и античные поэты: неопубликованные переводы // *Studia Litterarum*. 2021. Т. 6. № 2. С. 358–385.
17. Ивинский 2022а — *Ивинский А. Д.* Переводы М. Н. Муравьева из античных авторов (по материалам ОР РГБ) // Документально-художественная литература в России XVIII-XIX вв. М., 2022. С. 83–129.
18. Ивинский 2022б — *Ивинский А. Д.* Письма М. Н. Муравьева С. М. и Ф. Н. Луниным 1791 (по материалам ОПИ ГИМ) // Документально-художественная литература в России XVIII-XIX вв. М., 2021. С. 130–172.
19. Космолинская 1997 — *Космолинская Г. А.* Константин Батюшков — редактор «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева // Рукописи, редкие издания, архивы (Из фондов библиотеки Московского университета). М., 1997. С. 143–168.
20. Кулакова 1939 — *Кулакова Л. И.* М. Н. Муравьев // Ученые записки ЛГУ. Вып. 4. № 47. С. 4–42.
21. Лазарчук 1972 — *Лазарчук Р. М.* Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы: дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972.
22. Лазарчук 1999 — *Лазарчук Р. М.* Литературная и театральная Вологда 1770–1780-х годов. Из архивных разысканий. Вологда, 1999.
23. Лазарчук 2004 — *Лазарчук Р. М.* «Угла» или «Ухра»? (О текстологии стихотворения М. Н. Муравьева «Путешествие») // XVIII век. Сб. 23. СПб., 2004. С. 118–125.
24. Лазарчук 2006 — *Лазарчук Р. М.* Неизвестные тексты М. Н. Муравьева (Переводы басен Ж. Лафонтена) // XVIII век. Сб. 24. СПб., 2006. С. 312–316.
25. Лазарчук; Левин 1999 — *Лазарчук Р. М.; Левин Ю. Д.* «Гамлетов монолог» в переводе М. Н. Муравьева // XVIII век. Сб. 21. СПб., 1999. С. 303–317.

26. Литвинов 2020 — *Литвинов В.* Указатель словоформ в «Стихотворениях» М. Н. Муравьева. [Электронный ресурс]. URL: [https://rvb.ru/18vek/muravjov/wtindex/toc\\_index.html](https://rvb.ru/18vek/muravjov/wtindex/toc_index.html) (дата обращения: 25.10.2022).
27. Николаева 2007 — *Николаева Т. М.* Предисловие // *Имя. Семантическая аура.* М., 2007. С. 7–12.
28. Островских 2010 — *Островских И. Н.* Поэтика имени как элемент идиллической картины мира в повести М. Н. Муравьева «Обитатель предместия» // *Михаил Муравьев и его время.* Сб. ст. и матер. Второй Всерос. науч.-практ. конф. Казань, 2010. С. 23–30.
29. Островских 2011 — *Островских И. Н.* Имя как элемент идиллического топоса в сентиментальной прозе Муравьева // *Филология и человек.* 2011. №4. С. 219–225.
30. Пашкуров 2011а — *Пашкуров А. Н.* Драматургия М. Н. Муравьева: «пятилогия» о добродетели // *Проблемы изучения русской литературы XVIII века.* Вып. 15. СПб.; Самара, 2011. С. 193–206.
31. Пашкуров 2011б — *Пашкуров А. Н.* Драматургия М. Н. Муравьева как система // *Михаил Муравьев и его время.* Сб. ст. и матер. Третьей Всерос. науч.-практ. конф. Казань, 2011. С. 96–105.
32. Пашкуров 2012 — *Пашкуров А. Н.* Мелодраматическая поэтика в пьесе М. Н. Муравьева «Добрый барин» // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук.* 2012. Т. 14. № 2–4. С. 1024–1026.
33. Пашкуров 2020 — *Пашкуров А. Н.* Аксиология русской «слезной драматургии»; на материале пьес М. Н. Муравьева // *Духовно-нравственные основы русской литературы.* Сб. научн. ст. Кострома, 2020. С. 30–34.
34. Пеньковский 2003 — *Пеньковский А. Б.* Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 2003.
35. Петривняя 2010 — *Петривняя Е. К.* «В недавних временах у Геллерта я чел...» (Художественное наследие Х.-Ф. Геллерта в баснях М. Н. Муравьева) // *Михаил Муравьев и его время.* Сб. ст. и матер. Второй Всерос. науч.-практ. конф. Казань, 2010. С. 58–68.
36. Росси 1994а — *Росси Л.* «Маленькая трилогия» Михаила Муравьева // *Russica Romana.* 1994. Vol. 1. P. 51–78.
37. Росси 1994б — *Росси Л.* К вопросу о соотношении эпистолярной и художественной прозы в России в последней четверти XVIII века // *Slavica tergestina.* Т. 2. 1994. P. 91–115.
38. Росси 1995 — *Росси Л.* Сентиментальная проза М. Н. Муравьева (Новые материалы) // *XVIII век.* № 19. СПб., 1995. С. 114–146.
39. Росси 1996 — *Росси Л.* Неизвестная комедия Михаила Муравьева (к проблематике жанровой системы русского сентиментализма //

- A Window on Russia. Papers from the V International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia (Gargnano 1994). Roma, 1996. P. 257–266.
40. Росси 1998 — *Росси Л.* К поэтике русского сентиментализма: отрывки // *Contributi italiani al XII congresso internazionale degli Slavisti (Cracovia 26 agosto — 3 settembre 1998)*. Napoli, 1998. С. 511–539.
  41. Росси 2003 — *Росси Л.* М. Н. Муравьев и Н. А. Львов в 1770-е гг. К характеристике кружковых объединений в последней четверти XVIII века // *Гений вкуса*. Н. А. Львов. Материалы и исследования. Сб. 3. Тверь, 2003. С. 287–298.
  42. Росси 2005 — *Росси Л.* «Вергилий Муравьева»: к проблеме гуманизма в России // *Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter*. 2005. № 33. P. 73–79.
  43. Росси 2008 — *Росси Л.* Наследие гуманизма в русской культуре конца XVIII — начала XIX века // *Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk*. Łódź, 2008. P. 77–85.
  44. Росси 2013 — *Росси Л.* «Улиссовы спутники» М. Н. Муравьева и «Улисс и его сопутники» Я. Б. Княжнина // *Аониды. Сборник статей в честь Натальи Дмитриевны Кочетковой*. СПб., 2013. С. 36–43.
  45. Росси 2015а — *Росси Л.* Утаенная любовь М. Н. Муравьева // *Petra Philologica*. Литературная культура России XVIII века. Вып. 6. СПб., 2015. С. 100–107.
  46. Росси 2015б — *Росси Л.* Педагогическая проза М. Н. Муравьева и традиция французского просвещения // *Михаил Муравьев и его время [V]*. Сб. ст. и матер. пятой всерос. науч.-практ. конф. Казань, 2015. С. 9–14.
  47. Росси 2017 — *Росси Л.* Поэма в прозе «Книдский храм» Ш.-Л. Монтескье и ее русские переводы // XVIII век. Сборник 29. Литературная жизнь России XVIII века. СПб., 2017. С. 196–211.
  48. *Словарь 2022* — *Словарь антропонимов в русской панегирической поэзии XVIII века*. СПб., 2022.
  49. *СлРЯ XVIII* — *Словарь русского языка XVIII века*. Вып. 1–6. Л., 1984–1991. Вып. 7–22 (издание продолжается). СПб., 1992–2019 (издание продолжается).
  50. *Топоров 1995* — *Топоров В. Н.* Имя и образ Лизы в русской литературе XVIII в. // *Топоров В. Н.* «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. Опыт прочтения. М., 1995. С. 393–479.
  51. *Топоров 2001* — *Топоров В. Н.* Из истории русской литературы. Т. II. Русская литература второй половины XVIII века. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Книга I. М., 2001.

52. Топоров 2003 — *Топоров В. Н.* Из истории русской литературы. Т. II. Русская литература второй половины XVIII века. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Книга II. М., 2003.
53. Топоров 2004 — *Топоров В. Н.* Исследования по этимологии и семантике. М., 2004. Т. 1. Теория и некоторые частные приложения. М., 2004.
54. Топоров 2007 — *Топоров В. Н.* Из истории русской литературы. Т. II. Русская литература второй половины XVIII века. М. Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Книга III. М., 2007.
55. Фоменко 1981 — *Фоменко И. Ю.* Из прозаического наследия М. Н. Муравьева. // Русская литература. 1981. № 3. С. 116–130.
56. Фоменко 1983 — *Фоменко И. Ю.* Проза М. Н. Муравьева. Из истории русской прозы последней трети XVIII в.: дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.
57. Фоменко 1997 — *Фоменко И. Ю.* М. Н. Муравьев о чтении: из рабочих тетрадей конца 1770 — начала 1780-х гг. // Рукописи, редкие издания, архивы (Из фондов библиотеки Московского университета). М., 1997. С. 102–126.
58. Фридман 1965 — *Фридман Н. В.* Проза Батюшкова. М., 1965.
59. Фридман 1971 — *Фридман Н. В.* Поэзия Батюшкова. М., 1971.
60. DAF 1798 — Dictionnaire de l'Académie Française. 1798 [Электронный ресурс]. URL: [https://academie\\_1798.fr-academic.com](https://academie_1798.fr-academic.com) (дата обращения: 25.10.2022).
61. Iulietto 2016 — *Iulietto M. N.* “Policromia” umana e “fisiologia dell’antroponimo. Il caso del poeta tardo latino Lussorio // *Nomina sunt...? Lonomastica tra ermeneutica, storia della lingua e comparatistica.* Venezia, 2016. P. 45–55.
62. Markov 1988 — *Markov V.* Three Poets // *Russian Literature Triquarterly.* 1988. № 21. P. 25–47.
63. Rossi 2002a — *Rossi L.* Aspetti della ricezione della cultura italiana negli scritti di M. Murav’ev // *Settecento Russo e Italiano.* Bergamo: MG Print on Demand. 2002. P. 179–203.
64. Rossi 2002b — *Rossi L.* Versi sui versi: due inediti di Michail Murav’ev // *Russica romana.* Vol. IX. 2002. P. 65–71.
65. Rossi 2003 — *Rossi L.* De F. N. Murav’eva à Théone: réalité et mythe littéraire dans le sentimentalisme russe // *Revue des études slaves.* V. LXXIV/4. 2002–2003. P. 777–792.
66. Zatti 2004 — *Zatti S.* Lonomastica epica del Tasso fra storia e invenzione // *Il nome nel testo.* 2004. № 6. P. 239–252.

## ИМЯ ЛИОДОР В ДВУХ ПОВЕСТЯХ

Н. М. КАРАМЗИНА<sup>1</sup>

---

---

В творчестве Н. М. Карамзина антропонимические пласты, связанные с именами героев произведения, разнообразны и разнородны по своей природе. Так, например, если в плане выбора фамилий воображение писателя следует, скорее, традиции классицизма, наделяя героев по преимуществу «говорящими» фамилиями, прозрачно намекающими на основное качество их характера: г-н Добров, капитан Радушин, майор Громилов, воеводский товарищ Прямодушин и т. д.<sup>2</sup>, то наделение героя собственно именем становится у Карамзина гораздо более «индивидуальным» и сложным творческим процессом<sup>3</sup>. Вспомним, в частности, два справедливых замечания Т. А. Алпатовой: «<...> подход Карамзина к именованию своих героев представлялся настолько новым и неожиданным, что, возможно, наряду с прочими художественными открытиями писателя новизна его ономастической образности может с полным правом расцениваться как одно из оснований

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано: Литературная культура России XVIII века. Вып. 8 / под ред. П. Е. Бухаркина, Е. М. Матвеева. СПб., 2019. С. 154–166.

<sup>2</sup> Следует напомнить, что персонажи более ранних произведений Карамзина, за исключением, пожалуй, только героев «условно-исторической» повести «Наталья, боярская дочь» и главных действующих лиц драмы «София», «бесфамильны» и имеют одни лишь имена; очерк 1791 г. о реально существовавшем «благодетельном поселянине» Фроле Силине — вполне понятное исключение.

<sup>3</sup> Самому яркому примеру «работы» писателя с именем главной героини В. Н. Топоров, в частности, посвятил исследование «Имя и образ Лизы в русской литературе XVIII века» (Топоров 1995: 393–478).

его исключительного литературного успеха» (Алпатов 2012: 524) и «В художественном мире Карамзина <...> как правило, имя героя содержит не просто свернутый “сюжет”, но — свернутый эмоционально-лирический “сюжет”; имя несет его в себе; будучи названо, оно “оживляет” и разворачивает этот эмоционально-лирический план как в самом тексте — концентрируя вокруг себя систему приемов эмоционального повествования, так и в читательском восприятии» (Там же: 525).

В качестве своего рода эпиграфа или зачина, открывающего исследование, уместно привести любопытное высказывание карамзинского повествователя о герое из первой главы романа «Рыцарь нашего времени»: «Если спросите вы, кто он? то я. .. не скажу вам. “Имя не человек”, — говорили русские в старину» (Карамзин 1802 IV: 37). Случайно или неслучайно, но в произведениях писателя сложная, зачастую противоречивая натура героя во многих случаях оказывается «не тождественной» значению данного ему имени, а иногда вступает в откровенное противоречие, даже, можно сказать, в смысловое противоборство с этим значением. Например, в повести «Бедная Лиза» возлюбленный героини *Эраст*, чье имя переводится с греческого языка как ‘горячо любящий, влюбленный’ (Суперанская 2005: 345), на поверку оказывается лишь поверхностно *влюбленным* в Лизу, но не способным на подлинную любовь в силу ветрености и эгоизма. Героиня драмы *София*, уступив силе роковой страсти, сначала полностью утрачивает присущие ей от природы и «продиктованные» данным ей от рождения именем мудрость и рассудительность, а в финале и вовсе теряет рассудок, лишается разума в прямом смысле слова, когда, терзаемая жестокой ревностью, убивает неверного любовника, а затем кончает жизнь самоубийством.

Имя *Лиодор* вступает в произведениях Карамзина в не менее сложные, противоречивые связи с образами наделенных этим именем персонажей, их мироощущением, поведением и ключевыми поступками. Писатель дважды дает имя Лиодор своим героям. Представляется неслучайным, что данное имя возникает в раннем карамзинском произведении, в незавершенной повести или романе «Лиодор», увидевшем свет в 1792 г. в пятой части «Московского журнала» (еще до выхода «Бедной Лизы»!), к нему же возвращается

автор в поздней повести «Анекдот», опубликованной в 1802 г. в шестой части «Вестника Европы». Таким образом, героев-«тезок» разделяет целое десятилетие, причем совпадающее с наиболее активным периодом художественного творчества Карамзина.

## 1

В повести «Лиодор», которую можно рассматривать в т. ч. как незавершенную попытку создания романа о чувствительном «герое эпохи», сыне своего века, центром повествования становится «исповедальный» рассказ вторичного нарратора (о данном термине см.: Шмид 2003: 79–80), молодого человека по имени Лиодор — о его юности, странствиях, встречах и потерях, счастье и страданиях, жизни на родине и вдали от нее. Имя героя — Лиодор, сокращенное от *Илиодор* (*Ηλιόδωρος*) и в переводе с греческого означающее ‘Телиоса дар’, т. е. ‘дар солнца’ (Суперанская 2005: 195), — выбрано автором неслучайно. Карамзин неоднократно обыгрывает значение имени своего героя, то различными способами намекая на его природную «солнечность» и «светоносность», сопричастность свету и живительному солнечному теплу / жару, то на контрасте описывая противоположные состояния его души как лишённые света, траурно-мрачные. Описывая свою первую встречу с Лиодором, герой-повествователь делает основной акцент на следующих чертах его внешности: «Прекрасное, умное лицо — большие черные, *огненные* глаза, *светлое* зеркало великой души (курсив мой. — А. Т.)» (Карамзин 1792: 308–309). Так, при знакомстве с героем у читателя с самого начала создается представление о его «огненности» и вместе с тем «светлости»: чертах, возможно, пока не вполне отчетливо, но уже роднящих молодого человека с дневным светилом. Несколькими страницами ниже слова об огненном жаре души Лиодора и его способности, подобно солнцу, «заражать» этим теплом окружающих становятся следующим шагом в развитии образа «солнечного» чувствительного героя: «<...> слова его изливались всегда из сердца и, будучи, так сказать, согреваемы внутренним огнем души, трогали слушателей и воспаляли воображение самых холодных людей» (Там же: 316). В данном контексте неслучайным кажется и упоминание



повествователя о том, что в своем доме, где «комнаты были одна другой меньше и темнее», Лиодор выбрал себе для кабинета «самую верхнюю комнату, которая в свое время называлась *теремом* или *светлицею*» (Там же: 314). Очевидно, что слова, заключающие в себе идеи *света* и *огня*, окружают, как бы обволакивают со всех сторон имя героя, и, актуализируя таким образом значение имени, возвращают нас к его внутреннему содержанию, а вместе с этим — к сущности самого Лиодора.

Но Карамзин не был бы Карамзиным, если бы представленный им образ Лиодора сводился к одной только ясности и лучезарности, к исходящему от героя внутреннему свету. Очень скоро перед читателем раскрывается другая, глубинная часть жизни души героя, пережившего много горестей и потерь. Показательно то, каким образом повествователь описывает ту «мрачную меланхолию», которая подтачивает изнутри изначальную «солнечность» страдальца: «Часто природная светлость глаз его скрывалась в какой-то черной туче, и вдруг печальная ночь распростиралась по лицу его, на котором за минуту перед тем сиял веселый полдень» (Там же: 318). В этих строках Лиодор предстает перед нами уже в качестве «дара солнца», *омраченного* какой-то таинственной печалью, носящего в душе вечный траур. В дальнейшем исповедальный рассказ героя-несчастливца о своей жизни позволяет читателю прикоснуться к этой тайне.

В «исповеди» Лиодора перед новообретенными друзьями упоминания о свете / солнце и мраке / тьме играют важную роль. В рассказе о кончине матери герой вольно или невольно противопоставляет себя тьме, мраку или пытается их избежать. В этой связи крайне любопытно следующее высказывание безутешного сына о смерти родительницы, в котором духовный, загробный мир ассоциируется у него (вопреки христианской традиции) с тьмой:

«Тысячу раз упал я на колени и молил Бога, чтобы Он позволил ей из *тьмы* духовного мира обратить взор свой в мир, оставленный ею, и видеть чувства моего сердца! (курсив мой. — А. Т.)» (Там же: 324).

От мрака же бежит Лиодор, когда покидает родную землю и ищет утешения в путешествиях:

«Кончина моей матери покрыла для меня мраком все мое отечество, и мне казалось, что в пределах его нет для меня ни радости, ни веселия. Выронив последнюю слезу на гробе родительницы, на гробе отца моего, спешил я выехать из России» (Там же: 324–325).

Жизнь за границей и путешествия в самом деле помогают герою утишить боль потери и даже отчасти забыть горе. В «Гишпании» молодой человек и вовсе попадает в свою «солнечную» стихию:

«Там нашел я прекрасную землю, прекрасный климат; там, палимый лучом солнечным, погружался я в прозрачные струи тихой Гвадианы» (Там же: 326).

Но подлинным потрясением стала для Лиодора встреча с единственной любовью, произошедшая в Провансе, недалеко от Марселя. В воспоминании героя о той ночи, когда он впервые случайно увидел свою возлюбленную, прекрасную Турчанку, нельзя встретить ни одного намека на «солнечную» природу молодого человека. Рассказ о событиях как раз предваряет описание того, как день и солнце «сдают свои позиции», уступая место позднему вечеру и ночи.

«Солнце, сиявшее на чистом небе, закатилось за зеленые пригорки и скрылось от глаз моих; луна явилась в серебряной своей ризе и тихо вызвышалась (так в тексте! — А. Т.) на голубом своде; блестящие звезды, подобно свечкам, засветились и засверкали вокруг ее <...> Наступила ночь, самая тихая и приятная, такая, какую только в южных землях Европы наслаждаться можно» (Там же: 328), —

такими словами начинает Лиодор свое повествование о судьбоносной встрече. Но здесь, в финальной части, погружение «солнечного» героя в таинственный ночной мир приводит к неожиданному всплеску, пробуждению неких глубинных, самых общих и имманентно присущих европейской культуре (в качестве наследницы культуры античной, впитавшей, в свою очередь, еще более древние и ранние культуры) мифологических образов, подтекстов и смыслов. На последних страницах неоконченной

повести Карамзина происходит встреча Лиодора, чей образ к тому моменту прочно ассоциируется в сознании читателя с солнцем, светом, днем, традиционно закрепленными за мужским началом (а имя героя значительно конкретизирует образ, отсылая знакомых с античной мифологией читателей к *Гелиосу* — богу солнца и солнечного света и отождествляемому с ним Аполлону (Мифологический словарь 1989: 24–25, 52), с прекрасной Турчанкой. Тайнственная Турчанка изображается в окружении ночной темноты под покровительством ночного светила (луны / месяца), и образ ее символизирует собой не просто женское начало, но, пожалуй, весь «классический» ряд женских божеств — от Афродиты / Венеры, Дианы-Цинтии (Кинфии) / Селены<sup>4</sup> до Царицы Ночи. Красноречивее всего об этом говорят слова самого героя:

«Если бы вы тогда на нее взглянули, как она на дерновом канаве сидела, устремив блестящие черные глаза свои на светлый месяц, который с высоты лобызал ее своими лучами и освещал снежную белизну лица ее, алые щеки, алые губы, подобные розе, к которой ни дыхание бури, ни рука смертного не прикасалась! Если бы вы, по крайней мере, взглянули на зыблющийся образ ее в кристальной воде бассейна, образ, которым, казалось, и самые струи любовались!» (Карамзин 1792: 332–333).

Сцена купания Турчанки в бассейне, тайным свидетелем которой становится Лиодор, еще более усиливает намеченные в повествовании античные параллели:

«Потом расстегнула она верхнее свое платье, скинула его — трепет разлился по моим жилам — я увидел грудь белее Паросского мрамора, подобную полному месяцу, — грудь, которая могла бы служить моделью Фидиасу, когда он образовал Медийскую Венеру» (Там же: 333),

а последующий поворот сюжета — внезапное обнаружение притаившегося юноши собачкой героини — явственно вызывает в памяти читателя миф об Артемиде / Диане и Актеоне (см.: Мифологический словарь 1989: 14), правда, герою Карамзина удается

---

<sup>4</sup> Любопытно отметить, что, согласно одному из вариантов мифа, богиня Селена считалась женой Гелиоса (Мифологический словарь 1989: 184).

благополучно скрыться с «места преступления», а кровожадные, безжалостные собаки древнего мифа заменены в повести маленькой безобидной собачкой, способной лишь громко лаять да «хватать за полу» непрошеного гостя.

Пожалуй, в качестве последнего штриха, точки в развитии параллельного подтекстного сюжета повести, в котором солнце, свет и день вступают в противоборство с темнотой, ночью и ночным светилом, следует рассматривать рассказ Лиодора о том, как он на какое-то мгновение лишился чувств, созерцая прекрасную купальщицу. В признании героя: «Тут *мрак покрыв глаза мои* — я не видал более ничего и через несколько минут, как будто бы *сквозь приятный сон*, услышал в бассейне тихое плесканье (курсив везде мой. — А. Т.)» (Карамзин 1792: 333–334) — можно усмотреть, помимо простой победы женской красоты, и нечто большее — некое глобальное торжество женского начала, способного ослепить, погрузить в темноту или сон. Упоминание о сне вызывает уже иную ассоциацию — с мифологической историей любви Дианы и Эндимиона (кстати, неоднократно встречающейся в произведениях Карамзина, в частности, в прозаическом этюде «Ночь», опубликованном в предыдущем номере «Московского журнала» за 1792 г.), а вкуче со словами о мраке, покрывшем глаза чувствительного молодого человека, подчеркивает мысль о полной мужской беззащитности перед таинственной женской природой.

## 2

Можно сказать, что в творчестве Карамзина за именем Лиодор тянется шлейф страданий, потерь, какой-то особенной несчащливости, одним словом — трагической судьбы. В поздней повести «Анекдот», носящей притчеобразный характер и содержащей автобиографические мотивы, это имя дается главному герою — молодому человеку с блестящим будущим, которого один за другим поражают сразу два жестоких удара судьбы: смерть горячо любимой невесты и ближайшего друга, а в финале и его самого ожидает нелепая гибель. Мгновенное превращение молодого счастливица в раздавленного горем страдальца неоднократно подчеркивается писателем и на лексическом уровне. Если Лиодора до трагедии сопровождают радостные возгласы друзей: «Как ты счастлив!»

и упоминания о «счастливейшем расположении» его духа (Карамзин 1802 VI: 108–109), то с момента получения известия о кончине Эмилии герой прямо называется «несчастливым молодым человеком» (Там же: 110).

В отличие от повести «Лиодор», в «Анекдоте» само значение имени героя («дар солнца») никак не актуализируется в тексте, не найдем мы также указаний или намеков на противопоставление «солнечного юноши» тьме или ночи. В позднем произведении Карамзина имя Лиодор оказывается носителем совсем иного подспудного «сюжета», связанного с идеями христианского мученичества, монашества, отречения от мирской жизни.

Во время посещения могилы Эмилии в Донском монастыре, Лиодор беседует со старцем, который говорит юноше о необходимости «покоряться таинственной воле Всевышнего», и эта христианская беседа, по словам повествователя, «чудесным образом успокоила его сердце» (Там же: 113). После разговора с монахом Лиодор принимает решение отречься от мира. Вот как об этом сообщается в тексте повести:

«Лиодор поехал в свою деревню в Во-ской губернии, окруженную густыми лесами. Недалеко оттуда есть монастырь, основанный (как говорит предание) в шестом-надесят веке одним несчастным отцом и супругом, который служил в войске царя, возвратился в свое поместье и не нашел ни дому, ни жены, ни детей: они сгорели во время его отсутствия. Он построил монастырь и был в нем первым монахом. Лиодор решился следовать его примеру <...>» (Там же: 113–114).

Причина, по которой герой Карамзина стремится добровольно заключиться именно в этой духовной обители, очевидна: Лиодору, безусловно, особенно близка трагедия ее основателя, потерявшего, как и он сам, всех своих близких. Поначалу и правда кажется, что, отрекшись от суетного мира, молодой несчастливец обретает утешение и покой, находит свое место в жизни в стенах монастыря:

«Начальник тамошнего духовенства, муж благоразумный, советовал ему прежде испытать сердце свое и назначил для него три года искуса. Молодой человек поселился в сей уединенной обители и два года служил примером строгой жизни

древних христианских отшельников. Господин П\*\*\* <...> видел его в исходе второго года: Лиодор казался в душе и в сердце мертвым для света; на бледном лице его изображалось какое-то величественное спокойствие; он не хотел даже говорить о своих несчастьях и потерях» (Там же: 114).

Однако такая отрешенность от всего мирского оказывается лишь временным состоянием у молодого, и, как выяснилось, полного жизни героя, чему становится свидетелем его приятель:

«Господин П\*\*\* увиделся с ним в другой раз через несколько месяцев: Лиодор обрадовался ему, повел его гулять в лес и, покрасневшись, указал ему на одном дереве имя Эмилии. Слезы полились из глаз его; он начал говорить об ней; рассказывал все обстоятельства своей истории с великою живостию и слушал с великим вниманием, когда Господин П\*\*\*, удивленный его переменою, советовал ему возвратиться в свет» (Там же: 114–115).

Не вняв совету посетителя, Лиодор совершает роковую ошибку: он остается в монастыре вопреки свершившимся в его душе переменам не по зову сердца, а из боязни стать «предметом насмешек». Расплата за такое решение (очевидно, во многом продиктованное гордыней!) не заставляет себя ждать, и уже в следующем абзаце повествователь сообщает следующее:

«Через полгода Господин П\*\*\* узнал, что Лиодор умер, будучи *выгнан из монастыря за непристойные поступки* (курсив Карамзина. — А. Т.), которых я не хочу описывать!!!... Вот феномен человеческого сердца!» (Там же: 115)

Трагическая история жизни «непутевого» Лиодора в части, рассказывающей о попытках юноши посвятить жизнь служению Богу, благодаря имени, которым Карамзин наделяет своего героя, неизбежно вызывает в сознании читателя некоторые, пусть даже самые расплывчатые, аллюзивные переключки с христианскими мучениками, носившими имя *Илиодор*.

Впрочем, следует сразу же сделать важную оговорку: ни в образе, ни в биографии карамзинского Лиодора мы не можем найти прямых соотнесений ни с одним из жизнеописаний Святых

мучеников с данным именем. Святым мученикам Илиодору Магидскому (Памфилийскому), обезглавленному около 273 г. за смелое и твердое исповедание веры во Христа (см.: Православная энциклопедия), Илиодору Клавдиопольскому (Маромилийскому), Илиодору, принявшему мученическую кончину в 380 г. во времена персидского царя Сапора (Шапура) II, без сомнения, было чуждо «отступничество» героя повести «Анекдот». Особый интерес представляет в данном случае стоящая особняком история жизни Илиодора (Гелиодора) — епископа Трикки в Фессалии, который, еще будучи язычником, написал «Эфиопику» (один из пяти канонических греческих романов — *erotici scriptores*), впоследствии оказавшую значительное влияние на развитие византийского романа. По словам Сократа Схоластика (в «Церковной истории»), приняв христианство и став епископом, Илиодор «запрещал священникам своей епархии брачное сожительство» (Православная богословская энциклопедия 1904: V, 856), а, согласно рассказанной Никифором Каллистом Ксанфопулом популярной легенде, когда на одном из соборов епископу Триккскому предложили или уничтожить свой роман, или сложить с себя духовный сан, он якобы выбрал последнее (История греческой литературы 1960: III, 268), иными словами, сознательно отказался отречься от «мирской» части своей биографии.

В поздней повести Карамзина Лиодор предстает перед читателями, безусловно, несчастливцем и страдальцем, но никак не мучеником в христианском понимании данного слова. В отличие от страданий и мук за веру, выпадающих на долю христианских святых, «гонение», которое в финале претерпевает юноша, напротив, исходит от христианской православной церкви и описывается как справедливое изгнание из монастырской обители за «непристойные» поступки, очевидно, совершенно не совместимые с поведением человека, готовящегося принять постриг. Перед нами возникает образ «неудавшегося святого»: духовная ноша, которую герой попытался возложить на себя в порыве отчаяния, которой он хотел заслониться от постигшего его горя, оказалась ему явно не по плечу, да и, скорее всего, противоречила самой его природе. Также недостало у Лиодора мужества (в отличие от его тезки — епископа Триккского из легендарной истории) открыто признать свое

поражение на религиозном поприще: неготовность посвятить себя служению Богу и церкви без остатка, бесповоротно отречься от всего, что связывает с «суетным миром».

Рассмотрение характера и судьбы Лиодора через призму интертекстуального «сопряжения» его имени с христианской традицией позволяет наблюдать уже в зрелой прозе Карамзина едва ли не такое же глубокое и сложное преломление религиозно-духовных образов и тем, о котором до сих пор было принято говорить относительно произведений писателей первой половины XIX столетия, среди которых в первую очередь следует назвать повесть Н. В. Гоголя «Шинель». В частности, вспомним, что, с одной стороны, Акакий Акакиевич Башмачкин в первой части повествования выступает безответным и беззлобным «смирненным послушником», подобным своему небесному покровителю Акакию Синайскому: аскетом, безропотно сносящим изо дня в день бедность, издевки и попрание собственного достоинства, с другой стороны, далее он уже предстает перед читателями «стяжателем», возведшим приобретение новой шинели в настоящий культ и абсолютно забывшим о Евангельском предостережении: «Не скрывайте себе сокровищ на земли» (подробнее об этом см.: Бухаркин 2001).

## Литература

1. Алпатова 2012 — *Алпатова Т. А.* Проза Н. М. Карамзина: поэтика повествования. М., 2012.
2. Бухаркин 2001 — *Бухаркин П. Е.* Об одной евангельской параллели к «Шинели» Н. В. Гоголя (к проблеме внетекстовых факторов смыслообразования в повествовательной прозе) // Бухаркин П. Е. Риторика и смысл: Очерки. СПб., 2001. С. 112–127.
3. История греческой литературы 1960 — История греческой литературы / под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. Т. III: Литература эллинистического и римского периодов. М., 1960.
4. Карамзин 1792 — *Карамзин Н. М.* Лиодор // Московский журнал. Ч. V. Кн. 3. Март, 1792. С. 305–334. Здесь и далее орфография и пунктуация произведений автора частично приведены в соответствие с ныне действующими правилами.
5. Карамзин 1802 IV — *Карамзин Н. М.* Рыцарь нашего времени // Вестник Европы. Ч. IV. Июль, № 13. 1802. С. 35–51.



6. Карамзин 1802 VI — *Карамзин Н. М.* Анекдот // Вестник Европы. Ч. VI. Ноябрь, № 22. 1802. С. 108 — 116.
7. Мифологический словарь 1989 — Мифологический словарь / М. Н. Ботвинник, М. А. Коган, М. Б. Рабинович, Б. П. Селецкий. Минск, 1989.
8. Православная богословская энциклопедия 1904 — Православная богословская энциклопедия (Под ред. проф. А. П. Лопухина). Т. V: Донская епархия — Ифика. С илл. и картами. Петроград. 1904.
9. Православная энциклопедия — Илиодор // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: <http://www.pravenc.ru/text/389283.html> (дата обращения: 29.06.2019).
10. Суперанская 2005 — *Суперанская А. В.* Словарь русских личных имен. М., 2005.
11. Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М., 1995.
12. Шмид 2003 — *Шмид В.* Нарратология. М., 2003.

**ОБ АНТИЧНЫХ ИМЕНАХ В ЭТЮДЕ  
Н. М. КАРАМЗИНА «ПОСВЯЩЕНИЕ КУЩИ»**

---

---

Без изучения всей совокупности художественных прозаических текстов Н. М. Карамзина, начиная с самых ранних и малоизвестных, невозможно представить себе всё разнообразие сюжетов, образов, тем, мотивов и приемов, использованных писателем в его творчестве.

Пожалуй, трудно вспомнить имя исследователя, который не упоминал бы хотя бы вскользь о просветительской направленности как об одной из важнейших составляющих большинства карамзинских произведений (см., например: «В течение всей своей жизни Карамзин никогда не мог забыть просветительских уроков своих учителей, начиная от Шадена и Хераскова и кончая Новиковым. Культура, знание, широкое образование для него всегда оставались одним из основных условий народного благосостояния, а распространение их — одной из важнейших задач правительства» (Гуковский 1999: 427). Начиная с самых первых оригинальных сочинений, написанных и опубликованных еще в годы активного сотрудничества в журнале Н. И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума», Карамзин старается «насытить» свои тексты именами из древней и новой истории, которые, по его мнению, в обязательном порядке должен знать «любезный читатель», претендующий на право считаться просвещенным человеком.

Помимо имен исторических личностей, в произведениях молодого писателя, серьезно увлекавшегося античностью, пожалуй, не менее часто встречаются имена богов и героев из греческой и римской мифологии, не только апеллирующие к эрудиции читателя, но и, вне всякого сомнения, аккумулирующие в себе эстетическое начало, в частности, создающие или усиливающие лирическую

тональность, что, например, и происходит в раннем прозаическом этюде «Ночь»:

«Ночь тиха и прекрасна, подобно той, в которую целомудренная Диана на горе Карийской узрела в первый раз нежного Эндимиона, в сладком сне погруженного, и, ощутив в сердце своем жар любви, дотоле ей неизвестный, испустилась с высоты небесной и девственными устами своими поцеловала счастливого юношу» (Карамзин 1792: 273<sup>1</sup>).

Вместе с тем у Карамзина существует еще более ранний прозаический этюд под названием «Посвящение кущи» (опубл. в «Московском журнале» в 1791 г.), в котором упоминание античных мифологических имен все же, как кажется, в первую очередь преследует именно культурно-просветительские задачи. В необычайно малом даже по карамзинским меркам произведении (всего 3,5 страницы в формате «Московского журнала» образца 1791 года!) едва ли не третья часть объема всего текста отводится автором под развернутые подстрочные комментарии, которые по справедливости можно назвать кратким экскурсом в античную мифологию.

Укрывшись от всего мира в уединенной, безмолвной куще, герой-повествователь лирического этюда с трепетом ожидает прихода «богини Фантазии». Далее, в описаниях многочисленных образов, в которых Фантазия может явиться мечтательному герою, читатель встречает имена богини Горы, титанов Прометея и Иапета, Юпитера, Ниобы, Дианы и Аполлона, Океанид, а в формах притяжательных прилагательных на *-ов* — Океана, Амфиона и Адониса.

Упоминание имени Прометея, присутствующее в основном тексте этюда всего в одной достаточно краткой фразе «примчишься от снежной вершины седого Кавказа, где внимаешь ты воплю окованного Прометея, хищною птицею беспрестанно терзаемого и вместе с Океанидами клянущего жестокость бесчеловечного, неблагодарного Юпитера» (Карамзин 1791: 324<sup>2</sup>), в подстрочном

---

<sup>1</sup> Здесь и далее орфография и пунктуация текстов произведений писателя приведены в соответствии с ныне действующими правилами.

<sup>2</sup> Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно (указываются страницы в скобках).

комментарии разворачивается автором в емкий пересказ основных положений мифа о «человеколюбивом» титане с кратким экскурсом в историю взаимоотношений между богами:

«Прометей, как известно, был сын титана Япета. Юпитер, озябнув на него за то, что он образовал богам подобного человека, велел приковать его к Кавказу и послал к нему коршуна, который беспрестанно терзал его печень. Сей жестокий языческий бог забыл, что Прометей помогал ему мудрыми советами во время войны с титанами» (324, примеч.).

Другое античное мифологическое имя, данное в основном тексте и вовсе в пропуске: «<...> в тишину ночную, в виде сетующей Ниобы, медленно ниспустишься на гроб моего Агатона» (324), в подстрочном комментарии также «обретает плоть», обрастая сюжетными подробностями и судьбой: «Супруга Амфионова. Когда Аполлон и Диана умертвили детей ее, то она о смерти их столько печалилась, что наконец превратилась в камень» (324, примеч.).

В стремлении максимально обогатить свой камерный этюд античными аллюзиями, Карамзин идет дальше: дает развернутые комментарии, включая в них мифологические имена даже в тех случаях, когда данные имена отсутствуют в основном тексте произведения. Так происходит, например, при упоминании анемонов с гиацинтами, рассыпаемых богиней Фантазией (в образе скорбящей Ниобы) на могиле Агатона, которое подстрочно комментируется автором следующим образом: «Анемон напоминает несчастную кончину Адонисову, а гиацинт — безвременную смерть любимца Аполлонова, называвшегося сим именем» (325, примеч.). Используя в переносном значении выражение «гиметский мед» («гиметским медом услаждаешь горечь слез, проливаемых сиротой» (325–326), писатель в комментарии снова дает подробное пояснение, насыщенное античным колоритом: «Гиметский мед почитался у древних греков самым лучшим. Пчелы горы Гимета питали Юпитера в его младенчестве» (325, примеч.).

Наконец, в тексте «Посвящения кущи» содержатся любопытные сведения о римско-италийской богине Горе, которые могут сыграть важную роль в расширении и уточнении представлений современных исследователей об изображении античности в русской литературе и культуре рубежа XVIII–XIX столетий. В данном слу-

чае крайне интересны детали образа богини, облик которой Фантазия может принять в воображении повествователя: «<...> увенчанная благовонными миртами и подпираясь лилейным стеблем, явишься в образе нежноулыбающейся Горы» (323). Образ Горы, имеющий в античной мифологии множество культурных наслоений: архаические афинские Горы (Хоры, Оры), ведавшие сменой времен года, — позднегреческие Горы, ставшие также охранительницами порядка и законности в обществе, — римско-италийская Гора Квирина — отождествляемая с ней позднее Герсилия (жена Ромула или Гостилия) (см.: Мифологический словарь 1989: 65, 64, 58), у Карамзина представлен, судя по сопутствующим богине миртам и лилиям, наиболее близким к ипостаси **Талло — древнейшего божества весны и цветения**<sup>3</sup>, несмотря на подстрочный комментарий писателя, в котором Гора названа «римской богиней красоты» (323). При этом повествователь неслучайно ассоциирует посещающую его Фантазию с божеством цветения: в финальных строках этюда многообразная, крылатая богиня воображения объявляется достойной «храмов и алтарей» (326), а в обрамляющих грезы героя зачине и заключении именуется «**цветущей Фантазией**»!

## Литература

1. Гуковский 1999 — *Гуковский Г. А. Карамзин // Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. Учебник. М., 1999. С. 423–450.*
2. Карамзин 1792 — *Карамзин Н. М. Ночь // Московский журнал. 1792. Ч. V. Кн. 2. Февраль. С. 271 — 277.*
3. Карамзин 1791 — *Карамзин Н. М. Посвящение кущи // Московский журнал. 1791. Ч. III. Кн. 3. Сентябрь. С. 323–326.*
4. Мифологический словарь 1989 — *Мифологический словарь / М. Н. Ботвинник, М. А. Коган, М. Б. Рабинович, Б. П. Селецкий. Минск, 1989.*
5. Мифологический словарь 1992 — *Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1992.*

---

<sup>3</sup> Ср. сказанное об архаических Горах: (Мифологический словарь 1989: 65; Мифологический словарь 1992: 160).

**О «НЕМУДРОЙ» СОФИИ В ДРАМЕ Н. М. КАРАМЗИНА  
(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ИМЕНИ)**

---

---

Вклад Н. М. Карамзина в развитие новаторской художественной прозы не исчерпывается созданием нового литературного языка и стиля (Успенский 1985), а также смелыми экспериментами в области повествовательных стратегий (Тираспольская 2008; Тираспольская 2009). Новаторство писателя коснулось, в частности, и антропонимической составляющей его произведений. Герои Карамзина получают свои имена «не просто так», но это, безусловно, не главное достижение: заслугой видится именно подвижка, «перемещение» имен в пределах русской культурно-ономастической парадигмы, сформировавшейся ко времени вхождения автора в литературу. Так, например, В. Н. Топоров убедительно показал, как молодому Карамзину одной лишь повестью «Бедная Лиза» (опубликованной в 1792 г.) удалось «открепить» имя Лизы (Лизаветы) от сложившихся культурно-исторических и социально-функциональных ассоциаций (Топоров 1995: 132–141). По справедливому замечанию исследователя, «этот шаг был своего рода подкопом под бастионы классицистических “аллегорически-номиналистических” конвенций и своего рода либерализацией отношений между “означающим” и “означаемым”, именем и его носителем в пространстве литературы» (Топоров 1995: 138).

Однако при обращении к раннему творчеству Карамзина периода издания «Московского журнала» (1791–1792) выясняется, что «подкоп под бастионы» классицистических представлений о жестком прикреплении имени к строго определенному типу или амплу героя был совершен писателем еще до выхода «Бедной Лизы», причем в куда более радикальной форме. Этот решительный новаторский шаг был сделан автором в 1791 г. в его единственной драме «София», получившей название по имени главной героини.

Вспомним, что в традиции, закреплённой в классицистической литературе, имя (в широком смысле) всякого героя или персонажа является либо «открыто говорящим» (например, Любочест, Зловред, Стародум, Чужехват, Милон, Скотинин, Правдин, Кутейкин, Простаков, Слабоумов, Нельстецов, Добролюбов, Вральман и т. п.), либо «говорящим» в том смысле, что характер, поведение и мировоззрение изображаемой личности находятся в полном соответствии со значением (или одним из значений) его имени. Так, например, героини с интересующим нас именем **София / Софья** (из греч. *мудрость, разумность, наука* (Суперанская 2005: 435)) традиционно являются носительницами разумно-рассудочного начала, они рассудительны, мудры не по годам, сдержаны в своих порывах. Сердце следует у них за головой, а не наоборот, они образованны, тянутся к знаниям, это исключительно добродетельные, положительные натуры, их мысли, чувства и помыслы всегда чисты. В качестве наглядного примера достаточно вспомнить двух Софий из комедий Д. И. Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль».

В своей первой и единственной драме Карамзин «заставляет» героиню Софию противоречить значению собственного имени, а также закреплённому за этим именем типу личности буквально во всем! София становится трагической жертвой своего рокового заблуждения — вспыхнувшей в ней слепой любви к недостойному мужчине. В нескольких сценах писатель показывает необратимое движение несчастной, мятущейся молодой женщины от неразумной всепоглощающей страсти до реального безумия — бешеной, неукротимой ревности, которая доводит героиню до подлинного распада личности: убийства неверного любовника, а затем и до самоубийства.

Влюбившись, карамзинская София абсолютно лишается той мудрости и разумности, которые, по всей вероятности, были у нее ранее. Недаром обманутый муж героини вспоминает о своей прежней надежде, что его некогда похоронит «чувствительная супруга, печальная, но рассудительная»<sup>1</sup> (Карамзин 1791а: 265). Голос сердца и страсти заглушает в Софии все разумно-рассудочное,

---

<sup>1</sup> Орфография и пунктуация произведения частично приведены в соответствие с ныне действующими правилами.

включая элементарные проявления инстинкта самосохранения. В начале произведения мы застаем героиню в тот момент, когда она наконец решилась признаться супругу в своей связи с другим мужчиной и уйти от мужа к любовнику. Показательно, что на первых страницах драмы Карамзин начинает вводить мотив безрассудства, отсутствия здравого смысла у неверной жены подспудно, когда вкладывает в уста недоумевающего и еще ничего не подозревающего господина Доброва (мужа Софии) слова: «Ты *сумасбродишь*, сударыня! Тебе надобно пустить кровь. У тебя какой-нибудь *вздор в голове* (курсив везде мой. — А. Т.)» (Карамзин 1791а: 255). С трудом осознав, что слова супруги не шутка, после первого приступа гнева и ярости, Добров всячески старается отговорить Софию от столь опрометчивого поступка, как уход к любовнику, приводя все возможные доводы против этого необратимого шага. Но героиня тверда и упорна в своей страсти и заблуждении сердца. Именно поэтому ее не могут остановить никакие рассудочные, логические доводы мужа, даже его предложение отсрочить задуманное на какое-то время: «дай мне умереть спокойно и потом делай, что хочешь!» (Карамзин 1791а: 267). Для героини существует лишь логика чувств, недаром позднее, во второй части драмы, ее начинают так раздражать, едва ли не бесить логические (впрочем, как выяснится, насквозь фальшивые!) доводы любовника Ле Тьеня:

*Ле Тьень.* Я в твоей любви не сомневаюсь, София.

*София.* А я в твоей сомневаюсь? Даже и тогда, когда ты предлагаешь такие убедительные доказательства? Какая несправедливость! Итак, ты все еще любишь меня, потому что ты все еще живешь со мною в этой скучной деревне? (Карамзин 1791б: 18).

Болезненная ревность, которую несчастная женщина начинает испытывать, видя охлаждение неверного любовника, вкупе с постоянными угрызениями совести — чувством вины за болезнь и скорую смерть покинутого мужа, приводят к тому, что героиня теряет рассудок уже в прямом смысле этого слова и из **немудрой, неразумной Софии** превращается в **Софию безумную**. Соскальзывание в пропасть безумия ощущает в последних сценах и сама героиня: «<...> я не могу молиться: в сердце моем нет ни веры,



ни надежды. <...> Разум мой мешается; сердце мое наполняется адскою злобою» (Карамзин 1791б: 25). Верные слуги Софии также определяют состояние своей «барыни» как помешательство:

*Иван.* Что с нею будет! Она и так почти как сумасшедшая (Карамзин 1791б: 26).

Воспринимает надоевшую любовницу как безумную и вероломный Ле Тъень: «Сумасшествие заразительно: каждый дикий взор ее возбуждает в моем воображении какой-нибудь ужасный образ» (Карамзин 1791б: 28).

Наконец, мнение героев драмы о душевном расстройстве Софии подкрепляется в финале ремарками самого автора. Так, Сцену IX предваряет следующее описание героини: «София поспешно входит; волосы ее распущены, платье в беспорядке, лицо бледно; дикая свирепость видна в ее взорах» (Карамзин 1791б: 26), ремарка к последней, одиннадцатой сцене и вовсе гласит: «София бродит в сумасшествии по лесу» (Карамзин 1791б: 30).

Страшные последние сцены драмы Карамзина беспощадно демонстрируют читателям разрушение, распад личности прежде доброй, чувствительной молодой женщины. Получается, что безоглядно поддавшись «неправедной» страсти, София, которой, в соответствии с данным ей именем, по природе надлежало быть мудрой и разумной, отреклась не просто от семейного долга, но и от своей данной свыше сущности, что привело ее сначала к утрате рассудка, а затем — и самой жизни. Иными словами, имя карамзинской героини символизирует ту подлинную «светлую» судьбу, которой запутавшаяся женщина отказалась следовать, свернув на ложный путь.

Несмотря на то, что сам Карамзин в последующие годы как будто бы забыл про свою единственную драму со столь страшным концом и почти не публиковал ее более, этот ранний литературный опыт не прошел бесследно для русской литературы. Так, одним из первых очевидных откликов на карамзинскую драму (если вообще не первым), следует считать опубликованную в начале 1794 г. повесть писателя-сентименталиста П. Ю. Львова, неспроста получившую аналогичное название — «София. (Русская

повесть)». В своем произведении «переимчивый» Львов назвал Софией главную героиню, которая, будучи изначально «чистой, как ангел» и помолвленной с честным и добродетельным (под стать себе) Менандром, была соблазнена, а затем покинута подлым князем Ветролетом. Жестоко обманутая брошенная девушка не смогла перенести предательства и позора и утопилась в пруду в момент помутнения рассудка. Таким образом, в повести Львова продолжила жизнь открытая Карамзиным тема «не оправдавшей» своего имени заблудшей, немудрой Софии.

## Литература

1. Карамзин 1791a — *Карамзин Н. М.* София // Московский журнал. 1791. Ч. II. Кн. 3. Июнь. С. 253–276.
2. Карамзин 1791b — *Карамзин Н. М.* София. (Окончание) // Московский журнал. 1791. Ч. III. Кн. 1. Июль. С. 13–31.
3. Суперанская 2005 — *Суперанская А. В.* Словарь русских личных имен. М., 2005.
4. Тираспольская 2008 — *Тираспольская А. Ю.* О сознательной экспликации повествовательных приемов в повестях Н. М. Карамзина 1790-х гг. // Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории: Материалы VII Международной научно-практической конференции, 24 — 26 апреля 2008 г. Т. 2. СПб., 2008. С. 194–199.
5. Тираспольская 2009 — *Тираспольская А. Ю.* О принципе игры с читателем в повестях Н. М. Карамзина 1790-х годов // Литературная культура России XVIII века. Выпуск 3. / Под ред. П. Е. Бухаркина, Е. М. Матвеева, А. Ю. Тираспольской. Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет филологии и искусств. 2009. С. 266–286.
6. Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М., 1995.
7. Успенский 1985 — *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.

**О РОЛИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  
В «ПУТЕШЕСТВИИ В КРОНШТАДТ»  
КНЯЗЯ П. И. ШАЛИКОВА**

---

---

«Путешествие в Кронштадт» (1805), впервые увидевшее свет в 1806 г. на страницах «Московского зрителя», а впоследствии изданное князем П. И. Шаликовым отдельной книжкой в 1817 г. с посвящением близкому другу Борису Егоровичу Герсеванову, в отличие от обеих частей «Путешествия в Малороссию» (1803 и 1804 гг.), имеет незавидную судьбу в современном литературоведении: о нем написано исключительно мало.<sup>1</sup> Вместе с тем, будучи (как того требовал присущий литературе «массового» сентиментализма принцип генерализации<sup>2</sup>) явным подражанием «образцу», которым для автора, вне всякого сомнения, являлись «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, травелог Шаликова, с одной стороны, в полной мере демонстрирует «развернутую картину “чувствительного” бытия» (Иванов 1976: 12), с другой стороны, заключает в себе настоящие «экскурсии» по достопамятным местам и памятникам архитектуры (часть из которых безвозвратно утрачена в наше время!) Кронштадта — Ораниенбаума —

---

<sup>1</sup> В качестве «счастливого исключения», пожалуй, можно вспомнить небольшой фрагмент главы, посвященной «готическим» литературным пристрастиям П. И. Шаликова, в книге В. Э. Вацура (см.: Вацура 2002: 111), в остальных случаях исследователи, как правило, ограничиваются лишь упоминанием данного произведения в ряду других путешествий писателя.

<sup>2</sup> Ср.: «Принцип генерализации, т. е. возведения конкретного события к эстетически освоенному контексту, определяет художественную природу “путешествий” массового сентиментализма» (Иванов 1976: 14).

Петергофа, которые могут быть интересны современным читателям и даже историкам.

Но существует иной не менее важный аспект, исследованию которого и предлагается посвятить данную работу. Речь пойдет об именах собственных — мифологических, литературных и исторических, — которые Шаликов включает в свое путешествие: о роли этих имен в повествовании, принципах их отбора и ситуациях употребления. Рассмотрение означенных групп слов в рамках литературного произведения позволит, во-первых, значительно пополнить список собственных имен, используемых в художественном творчестве писателя, и, во-вторых, хотя бы отчасти определить меру традиционности — оригинальности выбора автора в области антропонимов и их функционирования в тексте.

### **I. Имена морских путешественников: Эней — аргонавт — Робинзон Крузо — Улисс**

Завязка «Путешествия...» проста: чувствительный герой-повествователь, находясь в Петербурге, решает посетить Кронштадт в компании двух своих приятелей, которые, как и он, никогда прежде не были на море. Впрочем, главный герой в своих странствиях не ограничивается одним Кронштадтом: он также добирается морем до Ораниенбаума, а затем попадает в Петергоф, откуда уже по суше возвращается в «исходную точку» — в Петербург. Повествование травелога, последовательно проводящее читателей по всем основным достопримечательностям осматриваемых мест, как уже было сказано, ярко окрашено личными субъективными «чувствованиями» автобиографического героя, ведущего рассказ от первого лица.

Первое, что способно привлечь взгляд в травелоге Шаликова, — мягкий безыскусный юмор, с которым герой-повествователь описывает свой весьма скромный, едва ли не игрушечный морской вояж по Финскому заливу, упоминая при этом целый ряд имен наиболее известных легендарных и литературных мореплавателей.

Актуализация «линии» Энея начинается опосредованно: с шуточного названия капитана катера (на котором плывут герой-повествователь и его друзья) именем спутника и кормчего Энея (имя

Эней прямо указывается самим автором путешествия в подстрочном примечании):

«<...> мы всеминутно спрашивали у нашего Палинура, скоро ли войдем в море» (Шаликов 1817: 2–3<sup>3</sup>).

Собственно, настоящего имени капитана катера читатели так и не узнают, поскольку повествователь Шаликова дает ему исключительно мифологические прозвища, используя аллюзивные антропонимы:<sup>4</sup>

«Хладнокровный, подобно элементу своему, Палинур напомнил нам <...> о Финском заливе, который, вместо моря, готовился принять гостей на тихие свои зыби...» (Шаликов 1817: 3–4).

«мы <...> приступили снова к угрюмому сыну Нептунову с бесконечными расспросами» (Там же: 4).

В определенный момент повествования о морской дороге в Кронштадт имя Энея появляется и в основном тексте повести. Любопытно отметить, что используется оно во множественном числе, поскольку герой-повествователь совершает путешествие вместе с двумя своими приятелями, также ни разу прежде не плававшими по Финскому заливу:

«“Далеко ли до Кронштадта?” — спросили мы у своего Палинура. “Верст пятнадцать”, — отвечал он своим Энеям» (Там же: 7).

Тему морского путешествия древних героев, осовремененную, перенесенную на берега Финского залива и предлагаемую в шутовском ключе, продолжает сравнение трех приятелей с другими отвлеченными античными мореплавателями — аргонавтами:

---

<sup>3</sup> При цитировании по данному изданию орфография и пунктуация прозаической части текста произведения частично приведены в соответствие с ныне действующими нормами; стихотворная часть воспроизводится с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.

<sup>4</sup> Ср.: «Аллюзивный антропоним является разновидностью аллюзии и представляет собой текстовый знак, отличающийся от обычных текстовых знаков тем, что он способен осложнять его структуру благодаря способности совмещать в одном означаемом два означаемых, одно из которых принадлежит иному семиотическому пространству» (Соловьева 2004: 7).

«Берега, которые обыкновенным мореходцам приятны, нам, аргонавтам, были всего несноснее: они полагали границу нашему честолюбию, нашей славе!» (Там же: 4–5).

В отличие от своих древнегреческих предшественников, искавших спасения во время шторма в обращении к всемогущим богам, повествователь и его друзья, напротив, безрассудно жаждут во что бы то ни стало увидеть бурю на море и буквально молят о несчастье:

«Между тем <...> мы плыли — по тихой воде: какая досада! “Если бы, по крайней мере, буря, гром, молния!” — говорили мы друг другу, — “Мы бы видели прекрасное зрелище; мы бы испытали чувство, нам неизвестное, — какая досада!” <...> нам хотелось *бури* — и только» (Там же: 5–6).

Небольшой шторм и правда вскоре начинается, однако его масштабы явно оставляют трех «Энеев-аргонавтов», ожидавших настоящего разгула морской стихии, разочарованными:

«Буря зашумела и в самом деле; радость с молнией блеснула в сердцах наших, одушевила наше воображение, и каждая тучка, каждое облачко были для нас даром неба: мы смотрели на него и молились <...> о сгущении мрака, о сильном громе и колебании моря; восхищались движением матросов при наступающем шторме, <...> повелениями Палинура и проч. <...> Другие сердились на забаву нашу, но скоро пришла очередь сердиться и нам: тучи рассеялись, гром затих — и все кончилось» (Там же: 6–7).

После ужина, организованного на судне, герой-повествователь снова называет себя и своих друзей аргонавтами, на этот раз прямо подчеркивая «игрушечный» масштаб их морского возвращения с линейного корабля на сушу:

«Уже смеркалось, когда мы поплыли в обратный путь свой; яркая луна северная золотила волны, которые шумели под веслами искусных гребцов наших, и по которым летело судно *маленьких аргонавтов* (курсив мой. — А. Т.) с тихим, роскошным колебанием» (Там же: 30–31).

Любопытным выпадением из представленной выше череды античных образов отважных мореплавателей можно назвать

шутливое сравнение героя его же друзьями с Робинзоном Крузо в финале «кронштадтской» части травелога:

«Напоследок товарищи моего *путешествия* возвратились в Петербург и, прощаясь со мною, называли меня *Робинзоном-Крузе*, оставленным на острове незнакомом <...> (езде курсив Шаликова. — А. Т.)» (Там же: 31).

«Ораниенбаумская» и заключительная, «петергофская» части травелога отделяются друг от друга стихотворным «Посланием к А\*\*\* С\*\*\* Т-й», в котором герой-повествователь (на этот раз — в ипостаси поэта), предвкушая встречу с «одной знакомой дамой», видит себя уже в образе Одиссея — Улисса, благополучно завершившего долгое странствие и готового рассказывать о своих приключениях:

Пылающий каминь и сердца скромный жарь  
Улису твоему въ рассказахъ — но правдивыхъ —  
Доставять *занимать* немного трудный дарь...  
Съ какою жадностью жду сихъ минутъ щастливыхъ!  
(Там же: 45).

В тексте путешествия Шаликова можно обнаружить любопытную закономерность: тема странствий «Энеев-аргонавтов», а следовательно, и упоминания этих имен, прекращаются непосредственно перед частью, посвященной Ораниенбауму, несмотря на то, что в ней повествователю предстоит еще одно водное мини-путешествие на катере из Кронштадта, причем не в одиночку, а в компании другого своего друга, «любезного Б\*» (подразумевается близкий друг Шаликова Борис Герсевич), кронштадтца, прежде оказавшего столь радушный прием герою и его товарищам. Вероятно, это происходит потому, что Б\* — самый настоящий «мореходец», и подобная морская прогулка не имеет для него никакой новизны, не носит характер приключения.

## II. Имена российских монархов

Не лишним будет отметить, что и в части, посвященной пребыванию повествователя и его друзей в Кронштадте («Ожидаемый прием; Кронштадт»), которая непосредственно предшествует «ораниенбаумской», уже нельзя обнаружить имен Энея и Палинура,

только по одному упоминанию об «аргонавтах» и Робинзоне, как было сказано выше, в ее финале. Зато, именно начиная с «кронштадтской» части, травелог Шаликова изобилует именами исторических деятелей — российских монархов: от Петра I до Александра I. Там, где в произведении идет речь о жизни и деяниях русских императоров и императриц, милым шутливым «античным» сравнениям не остается места, да и тон повествования в целом становится гораздо серьезнее, местами — торжественнее.

Показательно, что в «Путешествии в Кронштадт» количество упоминаний имени того или иного монарха строго ранжировано в соответствии с масштабом личности правителя, его заслугами перед отечеством и, разумеется, участием в развитии и процветании описываемого места. Так, например, в данной иерархии мы можем с уверенностью выделить две группы:

1. Петр I (упоминается в тексте 7 раз) и Екатерина II (упоминается 4 раза);

2. «все прочие» — Елизавета Петровна, Петр III, Мария Феодоровна и Александр I (каждый — по 2 раза).

Имя Александра I первый раз обнаруживается в «кронштадтской» части травелога, где повествователь ведет рассказ о предстоящем приуроченном к юбилейной дате (100-летие победы над шведами при Котлине) торжественном спуске новых кораблей на воду:

«Из больниц пошли <...> к сему редкому в свете каналу; в нем стояло на дне <...> несколько больших и посредственных кораблей, фрегатов и прочих судов, которые были уже готовы к выходу, и которые только ожидали Державного Зрителя к сему величественному зрелищу: император АЛЕКСАНДР еще не видал его <...>» (Шаликов 1817: 14–15).

В следующий раз имя правящего царя упоминается уже только в «петергофской» части, причем, что характерно, снова в связи с празднеством — тезоименитством его матери, вдовствующей императрицы Марии Феодоровны:

«<...> все заставит вас думать, что вы перенесены в жилище богов, угощающих друг друга... Но не все ли равно? здесь МАРИЯ угощает АЛЕКСАНДРА!» (Там же: 49).



Повествование построено так, что и имя самой Марии Феодоровны также оказывается сопряженным с атмосферой торжества, великолепного праздника:

«Надобно быть в нем (Петергофе. — А. Т.) 22 июля — день, в который обыкновенно празднуется здесь тезоименитство государыни императрицы МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ. Какое великолепие! сколько искусства! как все очаровательно!» (Там же: 46–47).

Имя Петра III по понятной причине возникает в части, посвященной Ораниенбауму, и внимание героя сосредоточено исключительно на музыкальном даре правителя:

«Маленькая башня перед домиком, в котором некогда Петр Третий занимался одними своими удовольствиями, привлекла тотчас взоры мои. Мы вошли в башенку, готовую повалиться; из нее — в домик, украшенный — птичьими гнездами. Воспоминая о таланте мирного хозяина, мне чудилось, что я слышу приятные звуки, вылетающие из-под смычка его, и единственно для этого пробыл более одной минуты в стенах заплесневших, унылых» (Там же: 39).

Пожалуй, самым интересным и неожиданным представляется пространственный пассаж в «ораниенбаумской» части, посвященный Елизавете Петровне: в нем повествователь, подчеркивая «доброту и кротость» монархини, далее говорит об императрице и собственных ощущениях от ее любимого дворца едва ли не в тех выражениях, в каких «чувствительный» герой рассказывал бы о своей возлюбленной, с которой он находится в разлуке или которую потерял навсегда:

«Переходя медленно из комнаты в комнату, я думал непрерывно о любезнейшей царице, о нежной, доброй матери отечества, о кроткой, незабвенной Елизавете, которая построила здешний дворец, насадила сады и приезжала сюда наслаждаться тишиною и прохладой в прекрасные летние дни севера. Мне казалось, что я вижу какие-то остатки, следы чувствительной женщины-монархини; дышу воздухом, в котором еще хранится ее дыхание; прикасаюсь к предметам, которых она касалась» (Там же: 34).

Для того чтобы убедиться в особенно трепетном отношении нарратора к образу дочери Петра I, достаточно сравнить слова о «чувствительной монархине» с завершающим «ораниенбаумскую» часть травелога стихотворным «Посланием к А\*\*\* С\*\*\* Т-й», в котором герой обращается к предмету своих чувств:

Я видѣль тѣ мѣста, которыя тобою  
Когда-то красились; въ которыхъ ты жила  
Съ любовью, съ дружбою и съ мирною душою;  
Гдѣ всѣми чтима ты была;  
<...>  
Съ обыкновенными души моей мечтами  
Ходиль я по твоимъ слѣдамъ;  
Безъ всякаго труда отыскивалъ ихъ самъ,  
Или передо мной они являлись сами.  
<...>  
По каждой Англійской дорожкѣ золотой,  
Казалось мнѣ, я шель тихонько за тобой;  
Подъ каждымъ древомъ кудрявымъ и тѣнистымъ  
Я воздухомъ дышалъ съ тобою свѣжимъ, чистымъ  
<...>

(Там же: 41–44).

В таком «вольном» обращении автора к образу царицы, вероятнее всего, следует видеть основополагающий для травелога «принцип жанровой свободы, пронизывающий разные уровни текста путешествия, отсутствие строгих литературных условностей и жанровых канонов» (Шачкова 2008: 280).

Посещение героем-повествователем Каталых горок Ораниенбаума обращает его мысли к другой российской императрице — Екатерине Великой: «<...> мы пришли к деревянным высоким горам, которые составляли одно из удовольствий великой Женщины, сильнейшей в мире государыни ЕКАТЕРИНЫ Второй. Богоподобная *Фелица* в минуты отдыха, свободы от бессмертных дел своих любила кататься с дружеским своим обществом на сих необыкновенных горах» (Шаликов 1817: 37).

Первое, на что необходимо обратить внимание в данном фрагменте, двойное именование царицы, причем второе из них — литературно-поэтическое, заимствованное из оды Г. Р. Державина

«Фелица» (1782) и, к моменту написания «Путешествия в Кронштадт», с легкой руки поэта уже неотрывно и навечно прикрепившееся к образу Екатерины — идеальной правительницы и в то же время реальной женщины, имеющей, подобно всякому человеку, личную жизнь (см., например: Варда 2015). Важно отметить, что Шаликов последователен в способах называния императрицы: в предложении, в котором говорится о ее репутации «сильнейшей в мире государыни», она — творящая бессмертные дела Екатерина Вторая, когда же речь идет о моментах ее частной жизни, она — Фелица.

Тема двойственности образа Екатерины II — с одной стороны, мудрой повелительницы могучей державы, с другой стороны, частного человека, женщины, которой не чужды простые житейские радости и пристрастия, — развивается (в том числе, путем теперь уже явного цитирования строк из другого произведения Державина — стихотворения «Вельможа» (1794)) и в «петергофской» части произведения, где повествователь обращается к описанию Монплезира:

«В сем домике *забавлялась* и Великая ЕКАТЕРИНА! Я воображал, как владычица полвселенной, сняв тяжелую порфиру и алмазную корону, положив золотой скипетр и блестящую державу, одевалась в легкое платье, брала творческое перо; и в тишине, в уединении, при виде моря и кораблей своих, сочиняла какую-нибудь сказочку <...>; потом приходила, в соломенной шляпке, к цветнику своему, очищала и поливала любимые цветы <...>; после того сзывала колокольчиком голубей своих или рыбу, <...> кормила их, утешалась ими и была счастлива — без величия и трона...

ЕКАТЕРИНА въ низкой долѣ,  
И не на Царскомъ бы престолѣ  
Была великою женой.

*Державин*

Без сомнения!.. *великие* везде и во всем велики!» (Шаликов 1817: 50–51).

По не нуждающимся в разъяснении причинам имя Петра I и содержащие его фрагменты «Путешествия» приобретают особый

статус. Стоит, пожалуй, отметить лишь то, что имя основателя Санкт-Петербурга ни разу не упоминается повествователем в части, посвященной Ораниенбауму (читатель не найдет его даже в стихотворном «Послании к А\*\*\* С\*\*\* Т-й»): в ней, напомним, речь идет о «дщери Петровой» Елизавете, Екатерине II и ее супруге Петре III. Зато можно сказать, что «кронштадтская», «петергофская» части и особенно — финал произведения полностью компенсируют данный пробел.

Обращение к имени первого российского императора при описании современного автору вида Кронштадта, без сомнения, носит панегирический характер:

«Широкие улицы, красивые строения, тенистые садики дают приятный вид сему острову. Творческая рука ПЕТРА *Великого* оставила на нем следы неизгладимые; она чертила планы, рисунки — все; беспримерный его гений окружает, останавливает вас на каждом шагу, и каждый предмет занимает душу истинно волшебным образом» (Там же: 13).

В тексте неоднократно подчеркивается мощь личности царя — создателя Кронштадта, чья творческая воля определила архитектурный облик города:

«Из школы пошли мы в церковь Богоявления, которая построена скоро после смерти бессмертного ПЕТРА, и также по его плану и рисунку. Она деревянная, архитектуры величественной; колокольня ее также деревянная, не ниже Ивана Великого» (Там же: 18–19).

Обращает на себя внимание оксюморон «смерть бессмертного» Петра, использование которого подчеркивает вечность, непреходящую ценность дел великого государя.

В травелогe Шаликова Петр I предстает не только как неутомимый, талантливый «зиждатель», но и как блестящий флотоводец, приумноживший славу России на море и буквально отвоевавший у шведов процветающие ныне островные земли:

«<...> ожидали Державного Зрителя к сему величественному зрелищу (торжественному спуску судов на воду. — А. Т.): император АЛЕКСАНДР еще не видал его и выбрал для этого эпоху блестящую: столетие победы, одержанной ПЕТРОМ

Великим над Карлом неустрашимым при острове *Котлине*, который тогда же получил имя Кронштадта и основание всего того, что ныне видим в нем» (Там же: 15–16).

Более «камерный» образ Петра — скромного, не стремящегося к роскоши труженника, возникает далее, когда герой-повествователь обращается к «скромному жилищу» царя — его дворцу:

«<...> мы возобновили переходы наши от одного предмета к другому — и дворец ПЕТРА Великого был из них первым. Слово *дворец* представляет воображению — по крайней мере — большой каменный дом; ничего не бывало: здесь дворец Великого есть маленький деревянный домик, по собственному плану и рисунку монарха-художника выстроенный» (Там же: 16–17).

Здесь же, при описании впечатлений от дворца герой-нарратор вносит новый важный «обертон» в тему неустанной творческой деятельности царя: всю жизнь созидая на благо России и своего народа, вечный труженник сам не успел насладиться плодами созданного, предоставив это счастливое право потомкам — будущим поколениям россиян:

«Я имел счастье ходить по тенистой аллее высоких лип, геройскими руками насажденных подле скромного дворца ПЕТРОВА. “Неутомимый Отец Отечества не для себя готовил тень, которая прохлаждает лицо мое!” — думал я — и бесконечная цепь неподражаемых дел его блеснула в моем воображении» (Там же: 17).

Разумеется, означенная тема была открыта русской литературой задолго до Шаликова: на момент написания «Путешествия» она существовала и активно развивалась, как минимум, уже более полувека. В частности, яркое воплощение ее находим в «Похвале Ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу» (1752), сочиненной В. К. Тредиаковским:

Но вам узреть, потомки, в граде сем,  
Из всех тех стран слетающихся густо,  
Смотрящих все, дивящихся о всем,  
Гласящих: «Се рай стал, где было пусто!»

Явится им здесь мудрость по всему,  
И из всего Петрова не в зеркале:  
Санктпетербург не образ есть чему?  
Восстенут: «Жаль! Зиждитель сам жил вmale».  
(Тредиаковский 1963: 181).

После небольшого перерыва на рассказ о поездке в Ораниенбаум повествователь вновь обращается к имени и делам императора уже в «петергофской» части травелога, когда описывает свое посещение Монплезира:

«С каким удовольствием, с какими мечтами ходил я <...> из комнаты в комнату *сельского* дома, стоящего на самом краю морского берега и названного Петром Великим *Mon plaisir* (моя забава)! <...> В сем домике находится кровать, на которой покоился неусыпный Гений России; картины, которые сохраняют память любопытных случаев из жизни порфириносного странника» (Шаликов 1817: 49–50).

Немалый интерес вызывает «Заклучение» истории, повествование которого сконцентрировано исключительно на фигуре Петра I. В нем уже вернувшийся из своего путешествия в Петербург герой показывает себя благодарным, достойным наслаждаться наследием великого царя потомком, свято чтящим дела «Гения России» и готовым прославлять его имя в стихах и прозе:

«По возвращении в Петербург, первым чувством моим было желание идти на поклонение Петру Великому, непрестанно занимавшему ум, мысли и душу мою в продолжение целых двух недель. Удовольствие и благодарность требовали сего священного долга, и я прихожу к славному памятнику славнейшего Героя на войне и в мире; и там, у гранитного подножия бронзовой статуи, достойной своего предмета и художника, излились прямо из сердца следующие стихи <...>» (Там же: 54–55).

### III. Имя Н. М. Карамзина

Можно сказать, что глубокое чувство благодарной признательности вообще является отличительной чертой повествователя «Путешествия». Очевидно, в этом Шаликов максимально сближает своего героя с самим собой. В частности, в тексте травелога

нашло отражение благоговейное отношение автора к Н. М. Карамзину, перед чьим талантом он всю жизнь преклонялся, которого он почитал как учителя в «сентиментальной» литературе и которому не уставал платить дань уважения в своих произведениях (достаточно, например, вспомнить лирико-прозаический этюд Шаликова «К праху бедной Лизы» 1797 г.)<sup>5</sup>. Осматривая Кронштадт, путешественник Шаликова остро ощущает свою преимственность по отношению к путешественнику-Карамзину как к «чувствительному первопроходцу», посетившему этот славный город, именно поэтому для него столь значимо, едва ли не свято каждое место, где ступала нога автора «Писем русского путешественника»:

«<...> я хотел видеть тот трактир, в котором отдыхал наш славный путешественник на возвратном пути в любезное отечество, и которому дал он имя *гостиницы нищих*. Но с того времени все переменилось: мы увидели большой деревянный дом под английским гербом — и толстый трактирщик, встречавший Карамзина, встретил нас. “Где комната, которую занимал Русский путешественник?” — спрашивал я; не имел ответа; побежал отыскивать ее по догадке, по чувству — и нашел в одной комнате <...> прекрасную англичанку <...> которая смеялась надо мною, узнав, о чем я заботился. “Этот дом не существовал тогда”, — сказала она мне» (Шаликов 1817: 20–21).<sup>6</sup>

Новое здание трактира отнюдь не единственная положительная перемена, произошедшая со времени путешествия кумира Шаликова. Всего за какие-нибудь десять лет, разделяющие посещения города Карамзиным и Шаликовым, облик Кронштадта преобразился до неузнаваемости, что подчеркивает автор «Путешествия...», подспудно заявляя при этом о преимственности своего

---

<sup>5</sup> Ср.: «Шаликов — истинный рыцарь сентиментализма. Карамзин — его кумир» (Коровин 1990: 16); «Шаликов понимал и признавал это превосходство, до конца своей жизни считая Карамзина “гением”, своим учителем, которому и старался следовать в стихах и в прозе» (Дрыжакова 1995: 272).

<sup>6</sup> Ср. в последнем 159-м письме «Писем русского путешественника»: «Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштата; но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостинницею нищих; но мне в нем весело!» (Карамзин 1987: 388).

описания «славного града», а вместе с ней — о приобщении (пусть даже очень скромном) к «карамзинской» традиции странствований:

«Русский путешественник<sup>7</sup>, который сказал, что трудно найти города хуже Кронштадта, теперь бы не узнал его: вместо страшной грязи везде гладкая мостовая; теперь можно сказать о нем, что “трудно найти города суше Кронштадта”, и сие превращение воспоследовало очень недавно: лет пять — не более» (Шаликов 1817: 12–13).

Если читатель вспомнит, насколько для нарратора Шаликова важны «напечатления чувствительной души» столь значимых и дорогих его сердцу людей в тех местах, где они некогда бывали, для него станет очевидной перекличка трех фрагментов травелога: 1. «карамзинского» (состоящего из двух частей) — в начале описания Кронштадта, 2. пассажа о «кроткой Елисавет» и ее пребывании в Ораниенбауме — приблизительно в середине повествования и 3. стихотворного «Послания к А\*\*\* С\*\*\* Т-й» — перед «петергофской» частью. Такое бесконечно трепетное отношение к «следам души» — черта, перенятая Шаликовым, вне всякого сомнения, у самого Карамзина, который, в частности, в частности, вложил в уста главного героя повести «Сиерра-Морена» (1793) слова:

«Долго не знал я ни сна, ни отдохновения; скитался по тем местам, где бывал вместе — с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, напечатления души ее...» (Карамзин 1795: 16<sup>8</sup>).

Рассказывая от лица своего героя-повествователя о неудавшемся поиске «карамзинской» комнаты в трактире Кронштадта, Шаликов в примечании говорит в защиту подобного проявления чувствительности (в жизни и литературе!) следующее:

«Для многих подобный энтузиазм кажется странным — даже заслуживающим порицание: холодные души! вы не стоите того, чтобы *оправдываться* перед вами!» (Шаликов 1817: 21).

---

<sup>7</sup> Отметим, что в подстрочном примечании к тексту Шаликов дает сноску, в которой прямо называет читателям подразумеваемое имя: «Г-н Карамзин».

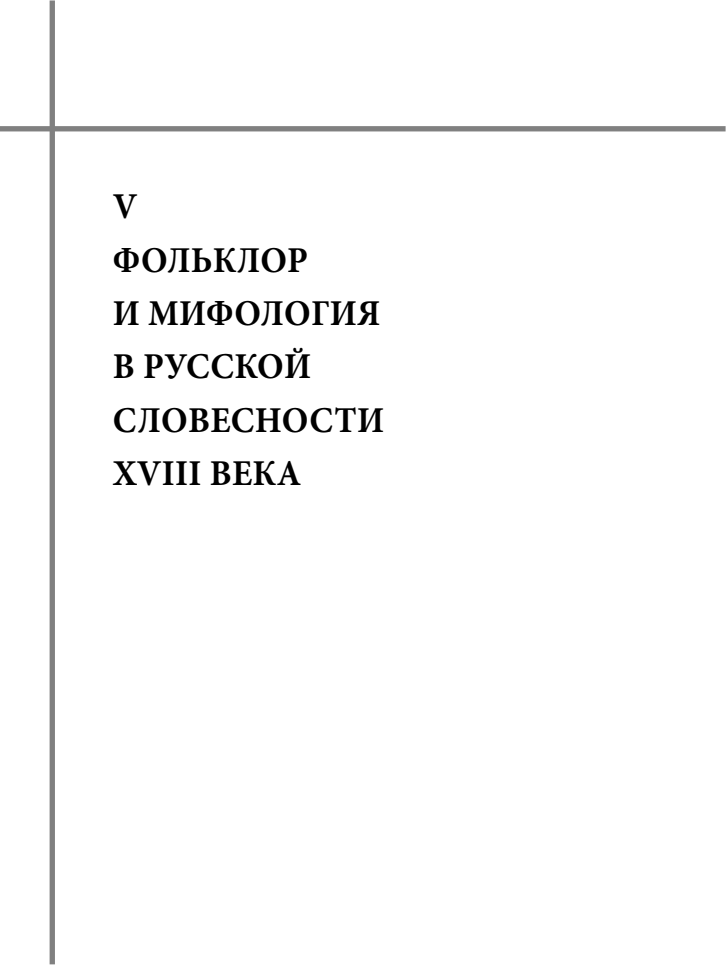
<sup>8</sup> При цитировании по данному изданию орфография и пунктуация произведения частично приведены в соответствие с ныне действующими нормами.



Этими категоричными словами автор «Путешествия в Кронштадт» предельно четко обозначает свое жизненное и литературное кредо, которое сформировалось под мощнейшим влиянием творческой «школы» Карамзина.

## Литература

1. Варда 2015 — *Варда А.* Гавриил Державин и «Фелицейский цикл» // Филология и культура. Philology and Culture. 2015. № 1 (39). С. 125–127.
2. Вацуро 2002 — *Вацуро В. Э. П. И.* Шаликов // Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 105–112.
3. Дрыжакова 1995 — *Дрыжакова Е. Н. А. С.* Пушкин и князь Шаликов // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995. С. 271–283.
4. Иванов 1976 — *Иванов М. В.* Карамзин и проблемы русской сентиментальной прозы 1790-х — 1800-х годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1976.
5. Карамзин 1795 — *Карамзин Н. М.* Сиерра-Морена. (Элегический отрывок из бумаг N) // Аглая. Кн. 2. М., 1795. С. 7–18.
6. Карамзин 1987 — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1987 (Литературные памятники).
7. Коровин 1990 — *Коровин В. И.* «Наслаждающее размышление самого себя» // Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма / сост., авт. вступ. статьи и примеч. В. И. Коровин. М., 1990. С. 5–28.
8. Соловьева 2004 — *Соловьева М. А.* Роль аллюзивного антропонима в создании вертикального контекста (на материале романов А. Мердок и их русских переводов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004.
9. Третьяков 1963 — *Третьяков В. К.* Избранные произведения. М.; Л., 1963.
10. Шаликов 1817 — *Шаликов П. И.* Путешествие в Кронштадт 1805 года, изданное К. П. Шаликовым. М., 1817.
11. Шачкова 2008 — *Шачкова В. А.* «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Филология. Искусствоведение. 2008. № 3. С. 277–281.



**V**  
**ФОЛЬКЛОР**  
**И МИФОЛОГИЯ**  
**В РУССКОЙ**  
**СЛОВЕСНОСТИ**  
**XVIII ВЕКА**



## **ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ТЕОНИМЫ В ТЕКСТАХ М. В. ЛОМОНОСОВА**

---

---

1. В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН хранится коллекция рукописей М. В. Ломоносова (Ф. 20, Оп. 1, № 5), известная в литературе о Ломоносове XIX и первой половины XX в. как «Рукопись 112», а после публикации в Академическом полном собрании сочинений (АПСС) 1950–1983 гг. получившая название «Материалы к Российской грамматике» (АПСС 7: 595–760). Она представляет собой переплетенный конволют, в котором 158 листов — большинство из них заполнено заметками М. В. Ломоносова, относящимися к его филологическим изысканиям. При публикации в АПСС 1950–1983 гг. «Материалы к Российской грамматике» (МРГ) были охарактеризованы как подготовительные записи и заметки, предшествующие созданию «Российской грамматики»; В. Н. Макеевой была выполнена огромная, можно сказать, самоотверженная работа по дешифровке черновиков и набросков Ломоносова, а затем подготовке их к публикации в Академическом полном собрании сочинений; кроме того она провела сопоставление текста «Материалов» с текстом «Российской грамматики», результаты которого послужили для подготовки комментариев, сопровождающих издание «Российской грамматики». Кроме того, аналитический анализ черновых материалов Ломоносова содержит её монография (Макеева 1961). Однако утверждение В. Н. Макеевой о том, что «Материалы» являются совокупностью подготовительных записей для «Российской грамматики» представляется не вполне справедливым, а публикация этих материалов под названием «Материалы к Российской грамматике» может быть оценена как явная ошибка, вводящая читателей Академического собрания сочинений в заблуждение. Во-первых, конволют Ф. 20, оп. 1, № 5

был сформирован уже *после* кончины Ломоносова как тематически упорядоченная (тексты «гуманитарной направленности») коллекция рукописей, отобранных Г. В. Козицким и Н. Н. Мотонисом для домашнего «музеума» графа Г. Г. Орлова (Кулябко 1977: 100). Во-вторых, несмотря на то, что при издательской подготовке АПСС Г. П. Блоком и В. Н. Макеевой была проведена селекция материалов и часть их (черновики естественнонаучных сочинений, стихотворные наброски и пр.: см. об этом подробнее: Волков, Карева 2018) была «выделена» и перенесена в другие тома, связь некоторых заметок (микротекстов) Ломоносова из этого собрания с «Российской грамматикой» остается спорной. Пора обратить внимание на то, что некоторые из заметок, включенных редакторами тома «Труды по филологии» в «Материалы к Российской грамматике» написаны совсем по *другому* поводу.

2. Одним из таких микротекстов, например, являются находящиеся на л. 149 и л. 149 об. списки античных и славянских языческих сверхъестественных существ (АПСС 7: 708–709):

Таблица 1

Jupiter		Перунъ	Изьянъ
Юнона	Juno	Коляда	Помха
Aeolus	Eolus	Похвист	
Her <sup>1</sup>			

(л. 149)

Таблица 2

Юпитеръ	Перунъ	Шиликунъ
Вóлос		
Юнона	Коляда	Здунай
Непгунъ	Царь морской	Дида
Тритоны	Чуды морскія	Яга баба
Венера	Лада	Обмѣнъ
Купидо	Лея	Змѣй летучей
Церера	Полудница	
Плутонъ	Чортъ	Гиганты. Волоты

<sup>1</sup> Возможно, Her[mes], Her[a] или Her[cules] (зачеркнуто Ломоносовым).

Прозерпина	Чертовка
Центавръ	Полканъ
Марсъ	
Нимфы	Русалки
Фавны	Лѣшіе
Пенаты	Домовые, нѣжити, кикиморы.
Лемуръ	Бука
Терминъ	Чуръ

(л. 149 об.)

*Комментарий к таблицам.* Всего в списках 46 наименований, из них 3 латинские: *Jupiter, Aeolus (Eolus), Juno*. В списки также входит 4 устойчивых словосочетания. Судя по публикации в АПСС, данные списки зачеркнуты; некоторые лексические единицы в списках зачеркнуты отдельно (*Марс, Jupiter, Aeolus*). С семантической точки зрения лексические единицы можно разделить на две основные группы. Первая — это мифоантропонимы или теонимы (*Перун, Юпитер, Волос, Венера, Лада, Коляда, Юнона, Нептун* и др.). Вторая — наименования мифологических существ или разнообразных сверхъестественных существ и духов, персонажей низшей мифологии и народной демонологии (*леший, русалка, черт, нимфа, домовая, центавр, кикимора, лемур, шиликун, полудница* и пр.).

Ни одна из указанных выше лексических единиц (включая имена собственные) не употребляется в тексте «Российской грамматики» (исключение составляет слово *змѣй*, но в «Российской грамматике» оно представлено только в значении ‘пресмыкающееся’, а не ‘мифологическое чудовище’: «Имена скотовъ, звѣрей, птицъ, рыбъ и гадовъ мало производятъ женскихъ чрезъ перемѣну окончаній, какъ *орель, орлица; волкъ, волчица; левъ, львица; медвѣдь, медвѣдица; змѣй, змѣя* (Ломоносов 1755: 98). Как мы уже указывали выше, складывается впечатление, что список мифонимов Ломоносова связан вовсе не с «Российской грамматикой», а с какими-то иными текстами.

3. Таким текстом, как представляется, может быть глава 7 «Древней Российской истории» М. В. Ломоносова (1754–1758) «О княжении Владимирове прежде крещения», в которой описывается воздвижение в Киеве по повелению Владимира языческих идолов (даем с небольшими сокращениями):

«Его <Владимира — *авт.*> повелением поставлен в Киеве перед двором теремным, на высоком холме главный идол Перун, деревянный с серебряною головою и золотым усом. <...> Сей богом грома и молнии почитавшийся Перун был Зевес древних наших предков. Меньших богов Нестор именует: Хорса, Дажбога, Стрибога, Семаргла, Мокошь, не показав знаменования и приписыванной им от идолопоклонников силы и власти. По Перуне имел Волос первое место, коему покровительство скота приписывалось (рачение о скотопасстве большее, нежели у римлян, нижним божкам оное препоручившим); Погвизд, Похвист или Вихрь — бог ветра, дождя и ведра, Еол российский; Лада (Венера), Дида и Лель (купидоны), любви и браков покровители, толь усердно от древних предков наших почитались, что оттуда и поныне в любовных простых песнях, особливо на брачных празднествах, упоминаются <...> Купалу, богу плодов земных, соответствующему Цересе и Помоне, праздновали перед началом сенокоса и жатвы в двадцать четвертый день июня. Остатки сего идолопоклонства толь твердо вкоренились, что и поныне почти во всей России ночные игры, особливо скакание около огня, в великом употреблении; и святая Агриппина, которой тогда память празднуется, по древнему идолу проименована от престонородия Купальницею. Отстоянием полугодичного времени почиталася Коляда, праздничный бог, декабря в 24 число. Не иначе сие разуместь можно, как что, зимние дни в праздности без военного дела, без пашенной и скотопасной работы люди препровождая, уставили Коляде сей праздник. Употребительные ныне между христианами около сего времени на празднество рождества христова игрища, в личинах и в отменном платье, едва ли не отуду происходят, ибо по деревням и поныне Коляду в плясках и песнях возглашают. И хотя сие приводят в сомнение иностранные народы

тем же с нами обычаем, не зная Коляды ни́же по имени; однако Янусом нашим древним сей идол не без вероятности назван быть может ради разных лиц, харями развращенных. Приносилась, сверх сего, жертва рекам и озерам по общему многобожному употреблению народов. Древние наши предки как текущие воды боготворили, явствует, что и поныне простонародные песни от многократного именованя Дунай начало свое принимают; в иных и на всяком повороте имя обоженной реки повторяется. От реки ж Бога (Буга) и всевышнему творцу имя даем даже доныне» (АПСС 6: 251–253).

Всего в этом тексте содержится 22 теонима: *Перун, Зевес, Хорс, Дажбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь, Волос, Погвизд (Похвист, Вихрь), Еол, Лада (Венера), Дида, Лель (купидоны), Купала, Цереса, Помона, Коляда, Янус, Дунай, Бог (Буг)*: наименования античных и славянских языческих божеств показываем в том порядке, в котором они следуют в тексте Ломоносова. В начале 7-ой главы «Древней Российской истории» Ломоносов делает примечание: «Нестор» (АПСС 6: 251). Г. М. Коровин расшифровал эту помету следующим образом: это название списка с Радзивилловской летописи, сделанного в Кенигсберге в 1713 г. для Петра I (Коровин 1961: 236–237) и хранившегося в Академии наук.

Г. Н. Моисеева полагает, что при работе над главой 7 Ломоносов использовал текст еще одного важного источника — «Степенной книги»: на странице рукописи, повествующей об установлении идолов, сохранились пометы и отчерки, сделанные рукой Ломоносова (Моисеева 1971: 281). Однако оба эти источника при сравнении с «Древней Российской историей» Ломоносова сообщают более краткую информацию о «языческой реформе» князя Владимира Святославовича:

«И бысть въ лѣто 6488. устраиваше Владимиръ многія кумиры, и повелѣ содѣлати въ древѣ кумиръ Перунъ, емуже глава сребряна, а усъ златъ, и постави его въ Кіевѣ на холмѣ внѣ двора теремнаго идѣже и прочая кумиры постави, Хорса и Дажба, и Стрыба, и Смаргла и Мокошь. <...> Егда же прииде во градъ Кіевъ, и первое повелѣ кумиры сокрушати, Перуна и Харса <так в тексте — *авт.*>, да Жаба (так в тексте — *авт.*) и Мокоша,



и Власиі бога скотья и прочая идолы» (Степенная книга 1775: I, 92–93, 138).<sup>2</sup>

«И нача кн(я)жити Володимиръ въ Києве единъ, и постави кумиръ на холмѣ внѣ двора теремнаго: Перуна древяна, а глава ему серебряна, а усъ золотъ, и Хорса, и Дажеб<о>га <в Московско-Академическом списке *Дажьбога*>, и Стробога <в Московско-Академическом списке *Стрибога*>, и Семарыгла, и Мокошь <...> а самъ прииде к Києву; и яко прииде, повелѣ идолы испроврещи, овы сѣщи, а другиа огневи предати; Перуна же повелѣ привязати коневу хвосту и влекущи с горы по Боричеву на Ручаи» (Радзивилловская летопись 1989: 39, 53).

Итак, на капище в Киеве было установлено 6 кумиров. Ниспровергнуто позднее, как свидетельствует, например, «Степенная книга», уже не 6, а 7, при этом остается неизвестным, где находился идол Власия, т. е. Волоса или Велеса. Он, таким образом, подвергается своеобразному остракизму: возможно, это просто особенность текста источника, но В. В. Топоров и В. Н. Иванов считают Волоса (Велеса) антагонистом Перуна (Иванов, Топоров 1974: 45–47; также Успенский 1982: 31; Карпов 2019: 41–57), поэтому, возможно, идолов этих богов нельзя было помещать рядом. Заметим, что в теонимиконе МРГ (см. табл. 2) имя собственное *Волос* стоит изолированно от других славянских теонимов: это единственное имя славянского божества, которое включено в столбец наименований античных божеств.

Как известно, «Радзивилловская летопись» украшена многочисленными миниатюрами (всего, по А. В. Арциховскому, их 617); среди них имеются три миниатюры, на которых, как считает А. В. Арциховский, изображен Перун:

«...все три раза Перун изображен почти в виде античной статуи. Этот голый мальчик, со щитом в левой руке, с копьем в правой не имеет ничего общего с подлинными славянскими

---

<sup>2</sup> Цитируем по изданию «Степенной книги», подготовленному Г. Ф. Миллером, как хронологически наиболее близкому «Древней Российской истории», хотя существует современное издание (Степенная книга 2007–2012).

идолами <...> В двух рисунках Перун одинок, но третий (45 л.) представляет собой попытку изобразить пантеон Владимира. Всех богов должно быть шесть, но здесь, как и во многих рисунках, число фигур сокращено. В центре Перун, по бокам его два существа с высокими гребнями, крылатые и хвостатые. Собственно говоря, это — традиционные русские черти, которые встречаются на иконах» (Арциховский 1944: 16–17).

В ярком и красочном барочном духе и с большим количеством деталей «организация» языческого пантеона описывается в «Синописе или Кратком описании о начале славенскаго народа, о первых киевских князех, и о житии святого, благовернаго и великаго князя Владимира всея России первейшаго самодержца», автором которого был уроженец Кенигсберга, сначала протестант, а после принятия православия — священник, архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. Эта книга, вышедшая в свет в 1674 году и несколько раз переиздававшаяся на протяжении XVIII века «в пользу любителей истории» (1714, 1718, 1735, 1746, 1762, 1768, 1774, 1785, 1798 (Сводный каталог 1962: 387–388)) была весьма популярна, и, вероятно, Ломоносов был знаком с ней еще со времени обучения в Славяно-греко-латинской академии (по мнению Г. М. Коровина, Ломоносов мог пользоваться изданием Академии наук 1735 года). «Синописис» сообщает следующее:

«Нача <Владимир Святославович> ставити богомерзкія ідоли въ Кіевѣ, и по окрестнымъ горамъ и полямъ Кіевскимъ, творя имъ честь и поклоненіе божественное самъ, и всѣмъ людемъ повелѣваше творити <...> Въ первыхъ постави начальнѣишаго куміра, именемъ Перуна, бога грома, молніи и облаковъ дождевныхъ, на пригоркѣ высокомъ надъ бурічовымъ потокомъ, по подобію человѣческу, тѣло его бѣ отъ древа хитростнѣ изсѣчено, главу имуща сліяну отъ сребра, уши златыя, нозѣ желѣзны, въ рукахъ держаше камень, по подобію Перуна палающа, рубінами, и карбункулемъ украшенъ, а предъ нимъ огонь всегда горяше <...> Вторыи ідолъ бысть Волось, богъ скотовъ. Третій Позвѣздъ; иніи же прозваша его Похвѣстъ, нѣщыи нарицаху вихром, исповѣдающе бога быти воздуху, ведру и безгодію. Четвертыи ідолъ Ладо; сего имѣяху

бога веселія, и всякаго благополучія; жертвы ему приношаху готовящійся къ браку, помощію Лада мняще себѣ добро веселіе и любезно житіе стяжати. Сія же мерзость отъ древнѣишихъ ідолослужителеи произыде, иже некихъ боговъ Леля и Полеля почитаху: ихже богомерзское имя и до нынѣ по нѣкимъ странамъ на сонмищахъ игралищныхъ, пѣніемъ лелюмъ полелюмъ возглашають. Такожде и мать лелеву и полелеву Ладу поюще <...> Пятый ідолъ Купало, егоже бога плодовъ земныхъ быти мняху. и ему прелестію бѣсовскою омраченніи благодаренія, и жертвы въ началѣ жнивъ приношаху <...> Шестый ідолъ коляда, богъ праздничный, ему же праздникъ веліи мѣсяца Декемврія 24 дня составляху. <...> Кромѣ тѣхъ бѣсовскихъ кумирь, еще и иніи ідоли мнози бяху именами, Услядъ или Ослядъ, Корша или Хорсъ, Дашуба или Дажбъ, Стриб или Стрибогъ <...> Семаергля или Семаргль, и Макошъ или Мокошъ, имже бѣсомъ помраченніи людѣ, аки богу жертвы, и хваленія воздаваху» (Синописис 1735: 58–64).

Аскетично описывает киевский языческий пантеон В. Н. Татищев. В «Истории российской, неусыпными трудами через тридцать лет собранной» с рукописью которой, как утверждается, М. В. Ломоносов был знаком (Коровин 1961: 238–239; также Моисеева 1971: 12) сообщается буквально следующее (идол Велеса опять отсутствует):

«Владимиръ государствуя въ Кіевѣ, поставилъ на холмѣ внѣ двора теремнаго кумирь Перуна деревянный, глава ему серебряна, усъ золотый, да и другихъ боговъ Хорса, Дажбу, Стриба, Семаргла и Мокошь, которымъ люди жертвы приносили» (Татищев 1773: 61).

Ознакомление с текстами-источниками «Древней Российской истории» позволяет предположить, что реконструкция восточнославянского языческого пантеона — один из первых научных проектов в области исследования восточнославянской мифологии и один из первых этапов создания государственно-политического, можно даже сказать, монархического мифа елизаветинской эпохи — осуществлялась Ломоносовым, по-видимому, под влиянием текста «Синописиса» И. Гизеля. Основные теонимы совпадают, меняется только порядок изложения.

Следует, однако, отметить, что, используя в своей реконструкции текст «Синописа», Ломоносов как историк тем не менее последовательно следует тексту летописей и уклоняется от колоритных деталей И. Гизеля (Гизель ссылается на труды М. Стрыйковского и А. Гваньини), например, от описания камня, украшенного в кроваво-красной гамме (очевидно, по аналогии с цветом сакрального огня и жертвенной крови) — рубинами и карбункулом (драгоценным камнем красного цвета — рубином, шпинелью или гранатом), который идол держал в руках.<sup>3</sup> Обратим внимание также на то, что у Ломоносова идол киевского Перуна (если этот идол вообще когда-либо существовал) все-таки описывается как деревянный чурбан, а у И. Гизеля — это изваяние антропоморфного существа с деревянным туловищем, руками, серебряной головой, золотыми ушами и ногами из железа. По этому поводу фольклорист и этнограф Л. Н. Виноградова пишет:

«Интерес к славянской мифологии начался, как известно, с попыток реконструировать языческий пантеон высших божеств, сведения о которых извлекались прежде всего из средневековых письменных источников: сочинений византийских авторов, записок путешественников, исторических хроник и летописей <...> Движимые стремлением описать славянскую мифологию по аналогии с детально разработанной античной, авторы первых трудов по славянскому язычеству создавали длинные списки так называемых «божеств», названия которых добывались весьма сомнительными способами» (Виноградова 2000: 7).

А что касается фрагмента из «Материалов к Российской грамматике» (по-видимому, эту ценную коллекцию автографов Ломоносова все-таки было бы более правильно называть «Рукописью 112»

---

<sup>3</sup> Подобное описание находим и у М. Д. Чулкова: «Перунъ — начальнѣйшій Славенскій богъ. Онаго признавали производителемъ грома, молнїи, дождя, облаковъ и всѣхъ небесныхъ дѣйстви. Станъ ево вырѣзанъ былъ искусно изъ дерева, голову имѣлъ серебряную, уши золотые, ноги желѣзные, въ рукахъ держалъ камень украшенной рубинами и карбункулемъ, на подобіе пылающаго Перуна» (Чулков 1766: 122).

или «Черновыми записями, набросками и заметками»), который мы привели в табл. 1 настоящей статьи, то, во-первых, он связан не с «Российской грамматикой», а с «Древней Российской историей» и, во-вторых, представляет собой черновик, подготовительный материал, можно сказать, конспект реконструкции пантеона славянских божеств. Ломоносов осуществляет эту реконструкцию на основе хорошо знакомой и понятной ему античной системы теонимов.<sup>4</sup> По-видимому, это дело было для Ломоносова важным, поскольку он принимался за него дважды. Об этом, в частности, свидетельствуют страницы «Рукописи 112» (см. табл. 1 и 2 выше), которые могли быть написаны в разное время: позволим себе напомнить, что материалы в этом конволюте упорядочивались составителями скорее по тематическому, чем по хронологическому принципу. Обратим внимание на то, что реконструкция осуществляется на основе римской теонимической парадигмы (хотя, как мы увидим далее, греческая теонимическая традиция тоже остается для Ломоносова актуальной): первый столбец второго списка (табл. 2) содержит наименования римских языческих божеств, к которым Ломоносов, размышляя и припоминая, подбирал, «приискивал» славянские мифоантропонимы. По этой же причине в теонимиконе «Материалов к Российской грамматике» вычеркнут *Марс* — Ломоносову, как представляется, не удалось найти славянский «аналог», совпадающий по характеристикам с кровожадным римским богом войны.<sup>5</sup> Более того, перечисляя в МРГ персонажей восточнославянской демонологии (*леший, полудница, водяной, домовый, кикимора* и пр.), он хотел «вспомогать» (выделено нами. — *авт.*) всѣ ихъ дѣйствія» и с огорчением замечает: «Мы бы имѣли много басней, какъ греки, естлибы науки въ идолопоклонствѣ у россиянь были» (АПСС 7: 618). «Следы» осуществленной Ломоносовым реконструкции и совмещения греческой и римской мифологических парадигм сохраняются в тексте

---

<sup>4</sup> Это подметила еще Л. Н. Виноградова (Виноградова 2000: 8).

<sup>5</sup> Ср. у М. М. Хераскова в эпической поэме «Владимир возрожденный» (1785): «Шумяцъ оружием явился *Чернобог* (выделено нами. — *авт.*); / Броня была на нем, броня окровавленна, / Суrowость на челе и злость напечатленна. / Военным богом был сей дух в России чтим; / Именовал его издревле Марсом Рим» (Херасков 1785: 21).

«Древней Российской истории» М. В. Ломоносова, см., например, *Перун — Зевес, Погвизд (Похвист, Вихрь) — Еол, Лада — Венера, Коляда — Янус* и пр.

4. Насколько активны славянские теонимы в корпусе текстов Ломоносова? Рассмотрим их употребление:

Таблица 4

Волос	2	Перун	19
Дажбог	1	Семаргл	1
Коляда	7	Стрибог	1
Купала	1	Хорс	1
Мокошь	1		

Как показывает таблица, большинство восточнославянских теонимов обладают довольно низкой частотностью в текстах М. В. Ломоносова. Такие теонимы как *Дажбог, Мокошь, Семаргл* и пр. пока связаны только с текстом «Древней Российской истории». По имеющимся в нашем распоряжении данным (которые, конечно, не могут считаться полными), низкочастотны они и в других текстах русской литературы второй половины XVIII века: вот, например, в эпической поэме М. М. Хераскова «Владимир», где использование восточнославянских теонимов, заметим, обусловлено сюжетом и все они называют, конечно, верных слуг князя тьмы:

«*Перун ужасного привлек в беседу Ния / Судьи геэнско-го страшилась в нем Россия; / Он пламенный в руках держал на грешных бич! / Являлся тамо Хорс, Семиргл, Купало, Знич; / Изобразился лик роскошного Улада, / И златовласая с младенцем зрима Лада. / Полель веселостей богиню провождал; / В нем Киев брачные союзы обожал. / Там Посвист; бурями, как ризой вкрут увитый / Там Волос, паствы бог; и Дажбо плодовитый. / В чем Север признавал священны божества, / То были действия и свойства естества, / Людские слабости, сердец слепые страсти, / Чрез кои мира князь держал людей во власти... (курсив наш. — авт.)» (Херасков 1785: 21).*

Хотя этот контекст очень интересен как еще одно предназначенное для широкого читателя красочное описание парада языческих божеств, однако появление в нем таких фигур, как *Знич*, *Услава*, *Полель* 'славянский Гименей' и др. показывает бóльшую близость «пантеона» Хераскова к псевдоисторическому восточнославянскому теонимикону М. И. Попова (см. Попов 1768)<sup>6</sup>, возможно, в какой-то степени впитавшему его театральный опыт, чем к теонимикону М. В. Ломоносова.

«Национальный корпус русского языка» (поэтический подкорпус) предоставляет информацию только об одном употреблении теонима *Велес* (и иных восточнославянских теонимов) у А. Н. Радищева в «Песнях петых на состязаниях в честь древним славянским божествам»:

Твои все слуги, твои силы:  
Знич светлый, жаркий, жизнодатель,  
*Велес*, отец сей будущих животных,  
И Позвизд и Купало,  
Скрывавшие в своих огромных недрах  
Всемирный океан,  
И реки, и озера;  
И Ний, отец земли, и крущ, и камней,  
И мать рожденья Лада  
(Радищев 1975: 166).

Теоним *Купала* на протяжении века фиксируется более чем редко. Настойчивые попытки обнаружить примеры его употребления в словарной картотеке, «Национальном корпусе», в электронной базе текстов «Словаря русского языка XVIII века» ИЛИ РАН приводят к самым скромным результатам. Он встречается, например, в указе св. Синода 17 (29) апреля 1721 года, в «Мифологическом лексиконе» М. Д. Чулкова (см. подробнее СлРЯ XVIII 11: 75). Интересный контекст употребления теонима *Купала* предлагает

---

<sup>6</sup> «Г. Попов, будучи в древностях Славянских *мало сведущ* (курсив наш. — авт.), внес в свою баснословию все что ему ни попалося без разбору, и многия такие вещи под статью богов поместил, кои никогда славянами боготворимы не были» (Болтин 1788: 98).

описание истории Пермского края у академика И. И. Лепехина в его «Путешествиях» (часть IV, 1772):

Во время Владимирова Крещения ... многие, а наипаче из Новгородцев, не хотя принять Христианския веры, оставя свои жилища переселилась на сии места, которыя по отдаленности своей и по местному положению от поисков Владимировых безопасными им показались, и им по причине торговли уже известны были: и так перешед там поселились и богов своих с собою принесли, которых следы и ныне еще в сих странах видал; ибо в некоторых местах есть обычай Июня 23 числа топить бани и в оных настилать траву, называемую по просту купальница, на которой лежа и той же травы навязав в веники парятся, и после купаются, в чем состояло древнее празднество богу *Купалу*: из чего видно, что и сей бог у них в почтении был; а по сему и о других заключить можно (Лепехин 1805: 409–410).

Следует дополнительно указать на единичные употребления теонимов *Велес* (*Волос*) и *Купало* в «Описании древнего славянского языческого баснословия» М. И. Попова и в «Церковном словаре» П. А. Алексеева (Алексеев 1794: I, 139; II, 68). Все это позволяет сделать вывод о том, что восточнославянские теонимы, в отличие от античных, не обладали мощным символическим и образным потенциалом<sup>7</sup>. Интерес к ним начинает вяло пробуждаться только в самом конце XVIII столетия<sup>8</sup>.

5. Теоним **Перун** ‘восточнославянское языческое божество грома, молнии, грозы, дождя, облаков и небесных явлений; изображение, идол этого божества’ является самым употребительным из всех славянских теонимов в текстах М. В. Ломоносова — всего 19 случаев: 2 употребления — в «Замечаниях на диссертацию Г. Ф. Миллера “Происхождение имени и народа российского”» (1749 г.), 14 — в «Древней Российской истории», 2 употребления в «Материалах к Российской грамматике» (в составе таблиц, приведенных

---

<sup>7</sup> См. выше вполне уместное замечание Ломоносова об отсутствии «басен», т. е. устойчивой фольклорной и литературной традиции.

<sup>8</sup> Это подметил в своей известной статье о поэзии XVIII века проф. Г. П. Макогоненко (Макогоненко 1972: 43).



выше), одно — в «Оде Императрице Елисавете Петровне на пресветлый торжественный праздник Ея Величества восшествия на Всероссийский престол ноября 25 дня 1761 года», при этом последнее употребление тоже связано именно с историческим контекстом — описанием княжения Владимира Святославовича:

Ему <Святославу. — *авт.*> Геройством равный сын  
Владимир, превосходный верой, <...>  
Вливает свет Христов в народ;  
Счетав с любовью постоянство,  
Густую разбивает тень;  
На *Перуна* и на поганство  
Ступив, восшедший кажет день (АППС 8: 747).

В число теонимов **Перун** входит также один антропотопоним (ороним по классификации Н. В. Подольской (Подольская 1978: 14)) — наименование некой горы или холма: «По извергнутому ниже порогов <Днепра — *авт.*> идолу ближнюю гору *Перуном* называют» (АПСС 6: 268).

Связанный с теонимом апеллатив **перун** в значении ‘*молния, громовой удар*’ (фиксируется «Словарем русского языка 11–17 вв.» и «Словарем Академии российской») достаточно активен (13 употреблений в разных падежных формах единственного и множественного числа). Более того, можно предположить, что Ломоносова все более и более увлекает применение этого экспрессивного слова в поэтическом творчестве: он дважды употребил это слово в 1757 году, дважды — в «Оде Ея Императорскому Величеству Императрице Елисавете Петровне на торжественный праздник тезоименитства Ея Величества сентября 5 дня 1759 года» и дважды — в героической поэме «Петр Великий» (1761), а это почти половина всех имеющихся поэтических употреблений. Возможно, что возрастание активности этого слова связано с завершением работы над «Древней Российской историей»; кроме того, если оценивать его применение в поэтических текстах, то это, безусловно, высокое «одическое» слово. Добавим, что слово **перун** ‘*молния*’ реализуется в поэтических текстах Ломоносова в словосочетаниях *разить перуном*, *бросать*, *метать перун* (последнее к концу века становится устойчивым и приобретает черты фразеологической единицы),

а также с эпитетами *гремящий перун*, *ужасный перун*, например, в «Оде на взятие Хотина» (1739):

Кругом Его из облаков  
Гремящие *перуны* блещут (АПСС 8: 22).

В числе словосочетаний со словом **перун** в поэтических текстах Ломоносова следует указать также на индивидуально-авторскую, но созданную по активной фразеобразующей модели перифразу-теоним **строитель перунов** в изящной «Надписи на конное, литое из меди изображение <...> Елисаветы Петровны в амазонском уборе»:

Увидев Аполлон в меди изображенный  
Богини Росския великолепный вид  
И бодростью того металл одушевленный  
Со тщанием спешил к нему с Парнасских гор.  
Промолвил восхищен к *строителю перунов*:  
«Стоял бы и по днесь мой город и Нептунов,  
Когда бы защищать Приямов скиптр и трон  
Пришла подобна сей Царица Амазон» (АПСС 8: 640).

В данном тексте **строителем перунов**, т. е. создателем молний (строить *‘делать, производить’* — САР<sup>1</sup> 5: 888), с которым восторженный Аполлон спешит поделиться своими впечатлениями по поводу того, что он видел прекрасное изображение царицы Елисаветы Петровны, Ломоносов, по-видимому, называет владыку богов и людей Зевса<sup>9</sup> (перифразируемое слово-теоним), одним из важнейших божественных атрибутов которого, как известно, была молния. Вместо *молнии* Ломоносов вкладывает в руки Зевса *перун*. Это типичная замена для русской словесности XVIII века: например, у В. К. Тредиаковского в «Тилемахиде»: «<Зевса> Взоры острая, / Нежели Громы егожь, и-егожь огнисты *Перуны*»

---

<sup>9</sup> В текстах Ломоносова этот теоним представлен 16-ю употреблениями, из них 11 — в поэзии Ломоносова, все употребления только в форме *Зевес*, см., например: «*Зевес*, богов отец, егоже сильный гром / Страшит восток и юг, и дальный солнцев дом (АПСС 8: 163). Отметим также перифразу *российский Зевес* (1) ‘Петр Великий’ (АПСС 8: 735) и притяжательное прилагательное *Зевесов* (5 употреблений).

(Тредиаковский 1766: 139), у В. П. Петрова: «Зевес, имущ *перуны* строги, / Сильный, как все на небе боги» (Петров 2016: 125). В «Плачевном падении стихотворцев» М. Д. Чулкова *перуном* уже вооружен Юпитер: «Какъ только въ пещь сїю Юпитеръ лишъ вошелъ, / Тогда уже и онъ видъ пламенный имѣлъ, / Береть онъ пламенникъ или Перунъ въ десницу, / Возводитъ на Парнассъ суровую зѣницу, / И хочеть поразить людей великихъ строй (Чулков 1775: б/п). У А. И. Клушина *перуном войны* распоряжается грозный Марс и т. д. Перифраза **строитель перунов**, таким образом, становится еще одним примером синтеза, взаимодействия античной и древнеславянской языческих стихий в области теонимических парадигм, а «громодержитель» «с пламенновидным взором» Зевес — не грозным античным божеством, а уже каким-то «отчасти своим», так сказать, славяно-эллинской контаминацией. Кроме того, лексема *строитель* обладает в текстах Ломоносова особой коннотацией — оно активно участвует в образовании перифраз, в которых перифразируемое слово — верховное божество, Творец, Всевышний: *всесильный строитель* (АПСС 1: 534), *непостижимый строитель бытия* (АПСС 3: 317), *строитель мира* (АПСС 5: 347; 7: 260), *всевышний строитель* (АПСС 6: 403), *всевышний строитель мира* (АПСС 7: 395) и др. Ср. у В. К. Тредиаковского в «Феоптии» (Эпистола III): «премудрость *верховного строителя*». Теонимическую рифму *перун* — *Нептун* встречаем ранее также у В. К. Тредиаковского в «Оде торжественной о сдаче города Гданска» (1734) (Тредиаковский 2009: 153).

6. Словарная статья к слову **перун** в «Словаре русского языка XVIII века» включает описание семантической новации середины XVIII века: **перун** ‘*О разящем врагов оружии*’ (СлРЯ XVIII 19: 177) со знаком вхождения, пометой *Ритор.* (риторическое) и сокращенной иллюстрацией из второй песни героической поэмы М. В. Ломоносова «Петр Великий». Трудно с этим не согласиться, но приведем более широкий контекст (речь идет об осаде в сентябре-октябре 1702 г. русскими войсками шведской крепости Нотебург, расположенной на Ореховом острове и защищающей исток Невы):

С отказом зашумел из жарких тучей град,  
*Перуны Росские* <выделено нами — авт.> и блещут и разят.  
Напрасно из дали противны подъежжают  
Осадных выручать: ни в чем не успевают.  
Готовится везде кровопролитной бой,  
И остров близ врагов под нашей стал пятой (АПСС 8: 724).

В данном случае М. В. Ломоносов создает яркий поэтический образ битвы, сражения через описание бури, грозы (см.: Волков, Матвеев, Шарихина 2017: 65–67): именно так рождается тот уникальный контекст, «уловить» который, по словам Л. С. Ковтун (Ковтун 1962: 31), является задачей составителя словаря. При этом в поэтическом тексте происходит актуализация новых содержательных элементов: так, например, звуки, которые издаются обильным дождем, градом, соплагаются с шумом или звуком, который издают летящие снаряды при осаде, выстрелы пушек — с молнией и громом и пр. *Град*, который *зашумел из жарких тучей* — это, конечно, не природное явление (*вид атмосферных осадков в виде частичек льда неправильной формы, выпадающих в теплое время года*), а ядра и бомбы русской осадной артиллерии (не случайно Петр I после штурма писал А. А. Виниусу: «Альтиллерия наша зело чудесно дѣло свое исправила» (ПБП II: 92) — возможно, Ломоносов, внимательно изучавший материалы Петровской эпохи, знал или слышал об этом, и, соответственно, *перуны росские* (обратим внимание на характерное для антономазий множественное число) — это русская артиллерия, которая, подобно молниям, и *блещет*, т. е. стреляет, и *разит*, т. е. наносит противнику урон. Подтверждениями этому, например, могут служить употребления слов **перуны** и **перунный** у В. П. Петрова:

Густится мгла черняй, как ночи тень безлунной;  
Ад адом сперт, умолк снаряд врагов *перунной*;  
Их вождь и бодрости и стана обнажен,  
Бежит с остатком сил, толпой пугливых жен  
(Петров 2016: 98);

Держа в руках великий флот,  
Великий, страшный, многокрыльный,

*Перунами* и войском сильный,  
Кой россов тьмами попленил?

(Петров 2016: 175).

Показательны употребления слова **перун** в первой трети XIX в. у А. А. Бестужева-Марлинского: «Вся гора курилась дымом пороха, подобно volcano; отовсюду мелькали убийственные выстрелы, и повременно сверкал *перун* орудии, заглушая ревом своим перестрелку»; «Ну-тка попробуем, как низко возьмут орудия! *Перун* блеснул — ядро ударилося в каменный череп и дважды осыпало окрестность искрами, — грохот пошел по горам» (Бестужев-Марлинский 1981: 158, 162): это экспрессивное слово, как мы видим, продолжает выполнять свою функцию, правда, уже не в торжественно-одическом контексте, а во вполне реалистическом рассказе очевидца о военных действиях на Кавказе в 1831 году. Эстетика, таким образом, изменяется, а семантика остается.

Таким образом, в тексте поэмы «Петр Великий» **перун** — это все-таки не оружие в целом, тем более холодное, а, скорее, артиллерия и, метонимически, артиллеристы. И хотя это, безусловно, троп, но языковой статус этой семантической единицы нуждается в дополнительных комментариях: возможно, это всего лишь *поэтизм*, а все последующие случаи употребления в XVIII веке — только подражания Ломоносову или следование стилистическому и поэтическому узусу, установленному поэзией М. В. Ломоносова. В силу этого помета *ритор.* представляется здесь не совсем уместной: более соответствующей этому употреблению была бы помета *в поэтическом контексте*. В заключение хотелось бы предложить следующую схему семантического описания этого «поэтизма»:

**ПЕРУН**, а, м. 1. Теоним, наименование языческого божества восточных славян — бога грозы. ... 2. Молния, удар грома. ... В поэтическом контексте: о гибельных для противника, разящих ударах. Распространительно: о пушечных выстрелах, действии артиллерии.

## Литература

1. Алексеев 1794 — *Алексеев П. А.* Церковный словарь, или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах ... сочиненный Московского Архангельского собора Протопресвитером и Императорской Российской Академии членом Петром Алексеевым. Часть I. Часть II. СПб., 1794.
2. АПСС — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 11 т. М.; Л., 1950–1983.
3. Арциховский 1944 — *Арциховский А. В.* Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944.
4. Бестужев-Марлинский 1981 — *Бестужев-Марлинский А. А.* Письма из Дагестана // Сочинения: в 2 т. Т. 2: Повести. Рассказы. Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. М., 1981. С. 142–170.
5. Болтин 1788 — [*Болтин И. Н.*] Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненная генерал-майором Иваном Болтиным. Том I. СПб., 1788.
6. Васильев 1999 — *Васильев М. А.* Язычество восточных славян накануне крещения Руси. М., 1999.
7. Виноградова 2000 — *Виноградова Л. Н.* Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000.
8. Волков, Карева 2018 — *Волков С. С., Карева Н. В.* «Материалы к Российской грамматике» М. В. Ломоносова как источник сведений для истории русского языка XVIII века // Миллеровские чтения — 2018. Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального академического наследия. Материалы II Международной научной конференции 24 — 26 мая 2018 г., Санкт-Петербург СПб., 2018. С. 531–539.
9. Волков, Матвеев, Шарихина 2017 — *Волков С. С., Матвеев Е. М., Шарихина М. Г.* Устойчивые сочетания в «Словаре языка Ломоносова» // Материалы метаязыкового семинара ИЛИ РАН. Вып. 2. 2015–2016 годы. СПб., 2017. С. 59–124.
10. Иванов, Топоров 1974 — *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974.
11. Карпов 2019 — *Карпов А. В.* Религиозная жизнь Древней Руси в IX–XI веках. Язычество, христианство, двоеверие. СПб., 2019.
12. Ковтун 1962 — *Ковтун Л. С.* О специфике языка писателя // Словоупотребление и стиль М. Горького. Л., 1962. С. 12–31.
13. Коровин 1961 — *Коровин Г. М.* Библиотека Ломоносова. М., Л., 1961.

14. Кулябко 1977 — *Кулябко Е. С.* Замечательные питомцы Академического университета. Л., 1977.
15. Лепехин 1805 — [*Лепехин И. И.*] Путешествия академика Ивана Лепехина. Часть IV. В 1772 году. СПб., 1805.
16. Ломоносов 1755 — *Ломоносов М. В.* Российская грамматика. СПб., 1755.
17. Макеева 1961 — *Макеева В. Н.* История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. М.; Л., 1961.
18. Макогоненко 1972 — *Макогоненко Г. П.* Пути развития русской поэзии XVIII века // Поэты XVIII века. Том первый. Л., 1972. С. 5–72.
19. Моисеева 1971 — *Моисеева Г. Н.* Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.
20. Петров 2016 — *Петров В. П.* Оды; Письма в стихах; Разные стихотворения / Василий Петров; выбор [и вступ. ст.] Максима Амелина. М., 2016.
21. Петрухин 2000 — *Петрухин В. Я.* Древняя Русь: народ, князья, религия // Из истории русской культуры. Т. 1 (Древняя Русь). М., 2000. С. 10–410.
22. Подвысоцкий 1885 — Словарь областного архангельского нарѣчія въ его бытовомъ и этнографическомъ примѣненіи. Собралъ на мѣстѣ и составилъ Александръ Подвысоцкій. СПб., 1885.
23. Подольская 1978 — *Подольская Н. В.* Словарь русской ономастической терминологии. М., 1978.
24. ПБП — Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2 (1702–1703). СПб., 1889.
25. Попов 1768 — [*Попов М. И.*] Описание древняго славенскаго языческаго Баснословія, Собраннаго изъ разныхъ писателей, и снабдѣннаго примѣчаниями. СПб., 1768.
26. Радзивилловская летопись 1989 — Полное собрание русских летописей. Т. 38. Радзивилловская летопись. Л., Наука, 1989.
27. Радищев 1975 — *Радищев А. Н.* Стихотворения. Л., 1975 (Библиотека поэта. Большая серия).
28. САР<sup>1</sup> 5 — Словарь Академии Российской. Ч. 5. СПб., 1794.
29. Сводный каталог 1962 — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725–1800). Т. 1 (А–И). М., 1962.
30. Синописис 1735 — *Иннокентий (Гизель).* Синописис или краткое описание о началѣ славенскаго народа, о первыхъ кіевскихъ князехъ, и о житіи святаго, благовѣрнаго и Великаго Князя Владиміра Всея Россіи первѣйшаго Самодержца, и о его наслѣдникахъ, даже до благочестивѣйшаго Государя Царя и Великаго Князя Феодора Алеѣиевича Самодержца всероссійскаго, въ пользу любителямъ Истории третьимъ тисненіемъ изданное. СПб., 1735.

31. СЛРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–6. Л., 1984–1991. Вып. 7–22. СПб., 1992–2019 (издание продолжается).
32. Степенная книга 1775 — Книга Степенная Царскаго Родословія, содержащая Исторію Россійскую. Ч. 1. М., 1775.
33. Степенная книга 2007–2012 — Степенная книга царскаго родословія по древнѣйшимъ спискамъ: Тексты и комментарии: в 3 т. М., 2007–2012.
34. Татищев 1773 — *Татищев В. Н.* Исторія російская съ самыхъ древнѣйшихъ временъ неусыпными трудами черезъ триццать лѣтъ собранная и описанная Покойнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ и Астраханскимъ Губернаторомъ, Васильемъ Никитичемъ Татищевымъ. Книга первая. Часть вторая. М., 1769.
35. Тредиаковский 1766 — *Тредиаковский В. К.* Тилемахіда или Странствованіе Тилемаха сына Одвссеева описанное въ составѣ ироическія пиімы Васіліемъ Тредиаковскимъ. Т. 1. СПб., 1766.
36. Тредиаковский 2009 — *Тредиаковский В.* Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. Издание подготовила Н. Ю. Алексеева. СПб., 2009.
37. Успенский 1982 — *Успенский Б. А.* Филологическіе разысканія в области славянскихъ древностей. М., 1982.
38. Херасков 1785 — *Херасков М. М.* Владимир возрожденный. Эпическая поэма. М., 1785.
39. Чулков 1766 — *Чулков М. Д.* Пересмѣшникъ или славенскіе сказки. Ч. 1. СПб., 1766.
40. Чулков 1775 — [*Чулков М. Д.*] Плачевное паденіе стихотворцевъ сатирическая поэма. СПб., 1775.



*И. С. Веселова*

**«КУМЕРИЧЕСКИЕ» БОГИ, АПТЕКАРИ И КУЗНЕЦЫ  
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ:  
МИМЕСИС ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЫ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕВЕРНОРУССКИХ ВАРИАНТОВ  
НАРОДНОЙ ПЬЕСЫ «ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН»)**

---

---

Своей целью в рамках данного исследования я вижу описание особенностей употребления антропонимов в народной пьесе «Царь Максимилиан» в контексте речевой культуры и повседневности ее исполнителей, распространителей и зрителей. Антропонимы (обращения и номинации) рассмотрены как одна из конвенций речевых жанров приказа, представления, рапорта и некоторых других, занимающих в этой народной пьесе заметную долю всех реплик.

Для исследования в рамках проекта мною были выбраны севернорусские варианты популярной народной драмы. Выбор обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, фольклорная пьеса «Царь Максимилиан» известна в нескольких десятках вариантов, многие из которых зафиксированы на Русском Севере. Во-вторых, в Фольклорном архиве СПбГУ хранится один из таких вариантов, обнаруженных в ходе экспедиции в Лешуконский район Архангельской области. В-третьих, несмотря на то, что пьеса известна по косвенным свидетельствам с начала XIX века, а ее записи фиксируются со второй половины XIX века, исследователи на основании анализа текста по скрытым цитатам обнаруживают источники пьесы в литературе и культуре XVIII века и рассматривают ее как феномен устной словесности XVIII века (Виноградов 1914; Волков 1912; Гусев 1980).

Записи пьесы, свидетельства о ее представлениях фиксируют особую популярность «Царя Максимилиана» сначала среди солдат

и матросов, а затем в крестьянской среде. Путь распространения пьесы среди конкретных сословий повторяет вектор социальных трансформаций, начавшихся в российском обществе в XVIII веке. Именно тогда шло усвоение нового культурного тезауруса российской элитой, расширялся его социальный охват в непривилегированных сословиях в удалении от столиц. Далее я постараюсь показать, как рассматриваемая пьеса выполняла роль культурного лифта, перемещающего к политическим, историческим, религиозным инновациям широкий круг заинтересованных лиц.

Проследим за появлением «больших» народных пьес в реестре фольклорных жанров, которое хорошо описано в работах фольклористов. Косвенные свидетельства о представлении «Царя Максимилиана» относятся к первым десятилетиям XIX в. В. Е. Гусев находит информацию о первых упоминаниях постановки пьесы в 1810 г.: «представление «Царя Максимилиана» матросами Балтийского флота <...> вероятно, происходило в Кронштадтском театре, организованном декабристом Н. Бестужевым» (Гусев 1980: 39). Появление «народных пьес» в жанровой номенклатуре русского фольклора Н. И. Савушкина в монографии «Русский народный театр» объясняет влиянием элитарного театрального искусства XVIII в. на массовое сознание. «Наиболее крупные народные драмы (например «Царь Максимилиан») и их представления возникли под воздействием профессионального театра <...>, «школьного» театра, состоявшего из учеников духовных, медицинских учебных заведений, театра крепостных в барских усадьбах, что было характерно для России в XVIII в.» (Савушкина 1976: 5).

Не случайно большая часть исследований из обширной библиографии «Царя Максимилиана»<sup>1</sup> посвящена вопросам генезиса пьесы и отдельных ее элементов: происхождению имен персонажей, истории заимствования отдельных сюжетных линий, источникам цитат. Для собирателей, публикаторов и исследователей важно было описать абсолютно новаторский для фольклора (считающегося хранилищем архаики) жанр и его поэтику.

---

<sup>1</sup> Приведу лишь самые существенные публикации: (Берков 1959; Богатырев 1971; Волков 1912; Гусев 1991; Народный театр 1991: 131–150; Ончуков 1910; Сорокина 2013).

Обнаружение истока явления должно прояснить его суть. В ответе на вопрос о происхождении народного театра был достигнут консенсус: массовые миграции крестьян в город на принудительные работы и заработки, начавшиеся во время реформ Петра I, развитие внутреннего и внешнего рынков, рекрутская повинность для всех сословий создали потребность в культурных инновациях. Социальный контекст народного театра охарактеризовала А. Ф. Некрылова в статье о влиянии солдатской среды и столичного антуража на распространение пьесы «Царь Максимилиан». Во-первых, исследовательница заметила отчетливый «территориальный» след многих записей «Царя Максимилиана»: большинство свидетельств о реальных представлениях и списки пьесы имеют столичное происхождение. «Последний петербургский вариант “Царя Максимилиана” — “Как править трон” — зафиксирован экспедицией ИРЛИ в Красносельском районе в 1947 г. К наиболее ранним и полным спискам “Царя Максимилиана” относится скопированный в 1896 г Н. Н. Виноградовым текст из рукописной тетради, принадлежавшей костромскому мещанину Степану Сергееву. Последнему рукопись досталась от “дедушки флочкиго”: дед был матросом и тетрадку с записью “Царя Максимилиана” «принес со службы из Питера». Виноградов определил (может быть, с небольшой ошибкой) дату рукописи — 1818 г.» (Некрылова 1992: 198). Петербургское происхождение вариантов пьесы подтверждает версию о государственных реформах как триггере театрализации вовлеченных в реформаторскую деятельность социальных групп. Подсчет указаний на «социальное» происхождение вариантов (десять из двадцати одного имеющегося свидетельства) привел исследовательницу к выводу, что солдаты и матросы были той «творчески-созидающей средой (кто первоначально испытывал тягу к «не своему» материалу, искусству, образу жизни, соответственно перенимал и перерабатывал все это) и кто выполнял функции активного посредника между разными культурными традициями» (Некрылова 1992: 196). Дополняет картину распространения пьесы в военной среде собранная А. Ф. Некрыловой информация об институциональном положении солдатского и матросского театров. Они являлись не просто самостоятельными инициативами низших чинов, но институтом «окультуривания»

низших чинов, поддерживаемым государством.<sup>2</sup> Среди официально рекомендованных к постановке пьес «Царь Максимилиан» был особо любим актерами и зрителями. Предпочтения пользователей привели к тому, что в отредактированном виде текст пьесы распространялся в сборниках пьес военного и морского ведомства. Переписанные во время службы грамотными солдатами и матросами варианты пьесы расходились по деревням и селам (иногда через посредничество городских заводов).

Но почему именно театральные формы стали столь популярны в народной среде, и особенно среди служивых непривилегированных сословий?

Ю. М. Лотман рассматривал «театрализацию» русской культуры в XVIII в. в контексте изменения повседневности. По мнению исследователя, распространение театральных форм было связано со сменой привычного уклада европеизированным бытовым этикетом, предписанным прежде всего дворянам. «Для русского XVIII в. исключительно характерно то, что дворянский мир ведет жизнь-игру, ощущая себя все время на сцене, народ же склонен смотреть на господ как на ряженных, глядя на их жизнь из партера» (Лотман 1992: 250). Круги от вброшенных в общество социальных и культурных реформ от элит доходят до быта всех жителей государства. «Русское дворянство после Петра I пережило изменение, — пишет Лотман, — значительно более глубокое, чем простая смена бытового уклада: та область, которая обычно отводится бессознательному, «естественному» поведению, сделалась сферой обучения» (Лотман 1992: 249). Все общество (не только дворяне, но их слуги, домохозяева, подчиненные в городе и деревне) заново

---

<sup>2</sup> В «Руководящих указаниях для деятельности попечительств о народной трезвости, одобренных министерством финансов 28 января 1897 г.» читаем: «В местах расположения войсковых частей устройство народных спектаклей может несколько облегчиться. Нижние чины нередко устраивают у себя спектакли, и попечительства могли бы воспользоваться этим обстоятельством, в том смысле, чтобы содействовать таким солдатским спектаклям и возможности посещения их народом, или же в смысле приглашения солдатской труппы для участия в спектакле на сцене народного театра» (цит. по: Хайченко 1975: 48).

училось вести себя, и каждый ежедневно представлял себя непривычным образом. Повседневное поведение становилось поведением театрализованном. Игра в «другого» формировала новое тело «актеров» посредством нового костюма, новой системы телесных жестов, нового речевого этикета.

Итак, с начала XVIII века любовь к театральным художественным формам и театрализация быта проникли в слои русского общества, вовлеченные в государственное переустройство. Новые персонажи и новые имена давали форму новому социальному содержанию: ролям, статусам, отношениям и эмоциям. Театр был той культурной инновацией, который отвечал тотальным переменам.

Социальные отношения, техники тела и эмоции формируют в терминологии Э. Гуссерля «жизненный мир» человека (Гуссерль 2013: 167). Феноменологический подход, сформулированный для социальных наук Альфредом Шютцем предполагает, что индивид постоянно воспроизводит социальную реальность (Шютц 2003: 116). Каждый акт в области практической деятельности и коммуникации поддерживает воспроизводство «жизненного мира». В феноменологической перспективе фольклорные модели и сценарии — это привычки думать и поступать в реальной жизни, а не только отражения «мифологических» представлений. «С этой точки зрения “народная культура”, как и вся литература, называемая “народной” <...> выступает как “искусство делания” <...>. Эти практики задействуют “народное” *ratio*, а именно — способ мыслить, инвестированный в способ действовать, искусство комбинирования, неотделимое от искусства использования» (Де Серто 2013: 44).

Если взглянуть на произведения «народной культуры» как на своего рода практические руководства, то в самых непонятных и далеких от современной «повестки» фольклорных произведениях можно разглядеть фигуры действующих людей с их эмоциями, опытом и телами. Феноменологический подход позволяет рассмотреть фольклор как форму опыта и почувствовать человека, пусть и отдаленного от исследователя во времени и социальной позиции. «Поворот от сугубо исторического взгляда на народную культуру и поиск иных путей для изучения ее “человеческого” содержания, — писала, характеризуя свою методологию, этнограф

и фольклорист Татьяна Александровна Бернштам, — был обусловлен как глубоким вчувствованием в жизненный мир культуры и осознанием своей родственности с ним, так и эволюцией своего собственного чувственного опыта — миропознания и мировоззрения» (Бернштам 1993: 74).

Попробуем за феноменологическим поворотом найти «человеческое» содержание народных пьес. В начале XX века Н. Е. Ончуков в своей поездке по деревням и селам Архангельского и Онежского уездов Архангельской губернии и Повенецкого уезда Олонецкой губернии заметил, что многие крестьяне знают пьесы наизусть и регулярно разыгрывают их. Его беседы с театральными «заводилами» свидетельствуют об удовольствии, испытываемом зрителями и актерами как главной движущей силой распространения пьесы. «В с. Тамице Н. Е. Ончуков встретил 37-летнего крестьянина Ивана Кондратьевича Герасимова. Герасимов очень покладистый мужик, первый весельчак и балагур в селе. Живет он очень бедно, имеет большую семью, но ничем не смущается, любит выпить и постоянно смеется и балагурит; он первый песенник на селе, знает много сказок, он же теперь и главный воротила при постановке “Царя Максемьяна”. Участвовал Герасимов в “Царе Максемьяне” семь раз и перенял комедию от Ник. Ник. Воронихина, тамецкого же крестьянина, 20 лет назад. До Воронихина “Царя Максемьяна” в Тамице не было, а Воронихин привез пьесу из бурлаков, когда ходил на выгонку леса, при чем тогда ему, вероятно, приходилось бывать и в Петербурге на лесопильных заводах. Лесопильные заводы в Петербурге, около Архангельска и по всему Поморью являются хранителями народной драмы» (Ончуков 1911: VIII). Понятные актерам и зрителям импровизации, шутки и цитаты сдабривали и оживляли переписанные и заученные тексты пьесы. Представления в забавной форме распространяли знания и мнения о положении дел в мировой политике, о социальных инновациях и престижных культурных знаниях. Недаром Ончуков, описывая исполнителей народной пьесы отмечал их широкий кругозор. «В дер. Пянтина указали ему на волостного старшину С. Я. Коротких как на знатока “Царя Максемьяна” и др. пьес. Савва Яковлевич, человек хорошо грамотный, очень дельный, любознательный: он читает газеты, интересуется политикой

и общественным движением в России. Савва Яковлевич очень занят своей работой по волости: он старается об открытии общественных лавок и товариществ. Но в то же время он совсем, до корня волос местный, северный житель: он верит в чертовщину, сам не раз имел дело с лешими, интересуется сказками и твердо знает и играет, даже верховодит в театральных представлениях в селе <...> С. Я. Коротких перенял драмы от своего брата и от других односельчан, которые побывали на военной службе или на “промыслах” в Петербурге» (Ончуков 1911: VII–VIII).

Итак, мы можем описать некоторые черты распространителей, актеров / постановщиков и зрителей пьесы. Распространителями первого звена были грамотные солдаты и матросы, которые сами участвовали в постановках или переписывали пьесы для дальнейшего использования в тетради и дневники. От солдат и матросов, вышедших с действительной военной службы и оставшихся в городах, тексты пьес и приемы постановки узнавали пришедшие из деревень на заводские заработки сезонные рабочие. В деревне заинтересованными в культурной инновации оказывались «грамотные, деятельные и любознательные» крестьяне. Так можно охарактеризовать и тех, кто окружали и расспрашивали о новостях каждого возвращающегося домой служивого. Корреспондент Тенишевского бюро так описывает возвращение в родную деревню в Вологодской области с действительной службы солдата: «Когда приезжает солдат, то вся деревня собирается около него и начинаются бесконечные расспросы о дальней стороне, где он служил, о ее обитателях, о том “везло” ли ему на службе и т. д. Смотрят крестьяне на возвращающегося на родину солдата как на человека бывалого, фартового и выпрафтикованного (практичного)» (Тенишевский архив 2004: 165).

Дополнить портрет медиатора инновационной культурной практики может рассказ об авторе (авторах) рукописи, обнаруженной экспедицией филологического факультета СПбГУ в Лешуконском районном краеведческом музее. В его экспозиции наше внимание привлекла толстая старинная тетрадь в картонном переплете, озаглавленная твердым писарским почерком «Сборник русских военных песен и прохождение военной службы солдата. Списывал Ефим Алексеев Морозов». Время написания этого

солдатского сборника косвенно датируется по сведениям из первой части тетради. «Положение общее» состоит из переписанных из «Книжки для молодых солдат кавалерии и казаков» (Крестовский 1887) вопросов, ответы на которые молодые солдаты должны были знать наизусть. Один из первых вопросов — «Как зовут Государя Императора?» На него следует ответ: «Его Императорское Величество, Государь Императоръ Александр Александрович». Таким образом, написание тетради приходится на период царствования Александра III с 1881 по 1894 г., а служба Ефима Алексеевича происходила уже после введения всеобщей воинской повинности в 1874 г. Тетрадь из 208 страниц состояла из следующих разделов: «Положеніе общіе», записи сына [Н. Е. Морозова], «Пѣсни», записи сына, «Пѣсни!», «Списокъ Малокалиберной винтовки системы бердана», «Довольствіе провиантское», «Оклады жалованья въ годъ мѣстныхъ войскъ», расчеты, «Сборникъ русскихъ военныхъ пѣсенъ», «Сія Понятная Книшка для Выписыванія ролей О Царѣ Максиміанѣ», Фрагменты народной драмы «Лодка», «Пѣсни».<sup>3</sup> Солдат Ефим Алексеевич Морозов проживал после службы в д. Заручевская (Заручей) Юромской волости, принадлежащей в конце XIX в. Мезенскому уезду. Кроме Ефима Алексеевича Морозова к написанию тетради приложил руку его сын — «подписал сын ему Николай Ефимович Морозов 30 сентября 1923 г». Сын в отличие от отца записи вел уже по правилам послереволюционной орфографии, и заполнил ими все свободные места тетради. Он пользовался только карандашом, никогда не забывал подписаться и поставить дату очередной записки — самая ранняя относится к 1920 г., самая поздняя — к 1933. Николай — мастер вишнеток и каллиграф. Он писал черновики заявлений односельчан (например, в кредитное общество), размышления о женской природе «Все наши замыслы о борьбе с нашими барышнями...», хозяйственные заметки и описания природы. Отец, Ефим Алексеевич, писал только пером и чернилами, некоторые блоки тетради оформлены рамками. Орфография небезупречна, но почерк очень

---

<sup>3</sup> Цифровая копия тетради хранится в Электронном архиве «Российская повседневность». Шифр DPh09\_Arch-Lesh\_03048 - DPh09\_Arch-Lesh\_03066.



аккуратный и заметна рачительность в отношении расходования бумаги.

Самой интересной для нас находкой в сборнике стал полный список народной драмы «Царь Максимилиан»: «Сія Понятная Книшка для Выписыванія ролей О Царѣ Максиміанѣ». Как известно, основу сюжета пьесы составляет конфликт между отцом — царем Максимилианом и его сыном Адольфом. Тирания заглавного героя настолько доминирует над всеми остальными линиями пьесы, что качества и проступки сына или других персонажей не имеют решающего значения для развития действия. Пятнадцать из восемнадцати «партнеров» Царя по сцене к концу действия оказываются умерщвлены, в живых остаются старик-гробовщик, придворный кузнец и скороход. Основной пафос сына Адольфа содержится в реплике, трижды произносимой в ответ на требование отца признать его веру: «Я ваши комерчески боги въ грязь топчу вървать нехочу»<sup>4</sup>. В полной мере конфликтом взаимоотношения Максимилиана и Адольфа назвать нельзя. Кроме твердого отказа верить в «комерческих» богов, Адольф демонстрирует абсолютное послушание и смирение перед своей участью. Эти сыновни качества, с одной стороны, заимствованы из агиографической литературы — так претерпевают муки за веру христиане, с другой — из семейной практики, при которой воля отца-хозяина оставалась абсолютной и неограниченной в патриархальном деревенском обществе вплоть до 1960-х гг. Не без эмоционального накала и даже некоторой эмпатии корреспондент Тенишевского бюро в Сычевской вол. Вологодской губернии Василий Аркадьевич Шестериков описывал 15 мая 1899 г. властное положение отца и бесправное положение сыновей, подчиненных отцовской воли: «Пока родители, особенно отец, в силах и работают сами, так удерживает в повиновении и детей, и заставляет их покоряться себе. Непокорных он смиряет или собственною силою или прибегает к помощи общества, прося обуздать непокорство сына. <...>

---

<sup>4</sup> «Коммерческие» боги в этом списке заменяют обычных «кумерических». «Коммерческие боги» являют себя в конце пьесы — это «богиня» и Марс, меж ними происходит соревнование во власти, которое неожиданно заканчивается примирением и удалением в «белокаменные палаты».

Бывают часто случаи, что отец выгоняет из дому непокорного сына, не давая ему надлежащего отдалу или просто ни с чем, и это в народе считается законным. Отец, говорят, волен над сыном. Сын же самовольно не имеет права оставить отца. Бывают, правда, случаи, когда дети, не желая жить с родителями, уходят от них самовольно. Но отец, по народному понятию, имеет право удержать сына, если захочет. Когда тот не слушается, тогда отец прибегает к суду общества. Народный же суд всегда бывает на стороне отца» (Тенишевский архив 2004: 604). В небольшом отрывке В. А. Шестериков четыре раза употребляет такой признак отношений между отцом и сыном как «покорность» или «непокорство».

Полагаю, что «грамотные, деятельные и любознательные» крестьяне-театралы (женщин среди них не было) не могли не заметить сквозного эмоционального мотива пьесы — сыновьей покорности перед отцовским своеволием. Важной деталью для понимания характера отношений «отцов и детей» в контексте солдатской среды бытования пьесы о «непокорном сыне Адольфе» является тот факт, что окончательное решение об отдаче молодого человека в рекруты принимал отец. Со времен петровских указов о воинской повинности (солдатский состав набирался из крестьян и мещан, а офицерский — из дворян) и вплоть до закона о всеобщей воинской повинности 1874 г. распределенная на общину обязанность по предоставлению рекрута по жребию «спускалась» на отдельные крестьянские хозяйства. В каждый призыв требовалось различное количество рекрутов, но в среднем — по одному рекруту с 20 хозяйств за призыв. В зависимости от семейных обстоятельств и действующих на конкретный момент правовых актов глава семьи мог или заплатить в казну «выкуп» за сына-рекрута или выбрать из сыновей того, кто пойдет в солдатчину. С одной стороны, выбор мог основываться на принципах справедливости, сводившейся к тому, чтобы минимизировать урон для семьи от ухода рекрута. Ф. Н. Иванов, историк рекрутской повинности на Русском Севере, свидетельствует о следующем принципе справедливости при выборе родителями, кого из сыновей отдать в рекруты: «если в семействе было несколько людей, годных в рекруты, то в первую очередь в рекруты брали холостых, если все были женаты, то сначала брали бездетных. В случае, если у всех были дети,

то выбор совершался или родителями, или по соглашению сторон, или же на основе жеребьевки» (Иванов 2016: 50). С другой, выбор сына для отправки в солдаты мог быть дисциплинарной мерой. Если отец был недоволен сыном и жаловался на него в общинный суд, тот мог присудить внеочередное рекрутство для «буяна», поскольку «государство, выдвигая общинам требования о выставлении рекрутов и практически не вмешиваясь в то, как они будут выполнены, тем самым облегчало рекрутскую повинность, поскольку общины имели возможность избавляться от нерадивых своих членов, отличавшихся «всяким буйством», «непрочностью в хозяйстве» или не плативших налогов» (Иванов 2016: 48). Даже если рекрутчина и последующая военная служба не были связаны с прямым конфликтом между отцом и сыном, разрыв экономических и эмоциональных связей между ними был неизбежен. По наблюдениям историков, в пореформенной России действовало две тенденции в поведении мужчин после службы: ««оседание» отставных и запасных солдат в городах, где они могли найти средства к существованию, занимая должности, осваивали мелочную торговлю и прочее», и «распад “больших” крестьянских, семей под воздействием возвращавшихся со службы солдат, которые не желали уже вести совместное хозяйство» (Щербинина 2007). И в том, и в другом случае результатом солдатской службы оказывался выход сына из-под отцовской власти.

С 1 января 1874 года на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность. Все мужское население, достигшее 21-летнего возраста, без различия сословий, 6 лет служило непосредственно в строю и 9 лет числилось в запасе (для флота — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе). С течением времени сокращался срок действительной службы, но результатом реформы стало то, что преобладающее количество лиц мужского пола прошли через опыт армейской жизни, отцовская власть потеряла такой существенный рычаг управления как угроза отдачи непокорного сына в солдаты, а сами солдаты перестали существовать как отдельное сословие, растворившись в других социальных стратах.

Полагаю, что в распространившейся в конце XVIII — начале XX в. в солдатской среде (позже апроприированной деревенской культурой) пьесе сюжет «покорности» младших воле старших

разыгрывается и воспринимается служилыми с особым трепетом. Долгое время жалоба на жестокость отца поддерживалась и в душещипательных сценах народной пьесы, и в солдатских песнях. После введения всеобщей воинской повинности обида сыновей на отцов потеряла твердые основания — призыву подлежали все годные к военной службе лица мужского пола. Народная пьеса «Царь Максимилиан» о жестоком отце-царе и «непокорном» сыне (оставим в стороне все остальные распространенные в фольклорных исторических песнях сюжеты о конфликтах царственных отцов и сыновей — Петра I и царевича Алексея, Ивана Грозного и сына) питала сыновьи обиды и формировала особую «матрицу чувствительности». Солдаты, актеры и зрители пьесы, переживали свой опыт расставания с отцами как драматический и жалостливый. На финальном фронтисписе тетради из Лешуконского музея мы видим черновик солдатского письма домой — «Дражайшие мои родители, татенька и маменька», т. е. сыновьи чувства солдата XIX века продолжали оставаться нежными. В записях его сына, тем не менее, мы находим черновик заявления в Кредитное товарищество с просьбой о выдаче ссуды на строительство после раздела хозяйства с отцом<sup>5</sup>. После революции 1917 г. сыновья не ждали разрешения отцов на раздел имущества, инициируя раздел самостоятельно и рассчитывая на помощь кредитных товариществ. Сама революция во многом представляла собой бунт сыновей против власти отцов. Мы видим, как на протяжении века (с конца XVIII века до начала XX) крестьяне, менявшие социальную и культурную идентичности, приспособливали для «примерки» новых ролей театральные формы. Для крестьян, перемещенных в солдаты, матросы, ученики и рабочие, и для оставшихся в деревне «деятельных и любознательных» крестьян театр становился культурной формой модерности и примерочной кабинкой статусов, эмоций и ролей.

Какие же костюмы и для каких ролей были заготовлены в «костюмерной» народного театра? Имена действующих лиц пьес, на мой взгляд, и являют собой реестр идентичностей и ролей, которые

---

<sup>5</sup> Об обычном праве раздела крестьянского хозяйства и конфликте отцов и детей см.: (Кушкова 2004).

осваивали охарактеризованные выше пользователи. В области изучения фольклорной антропонимики заметны две тенденции: изучение семантики имени в рамках отдельных жанров и общетипологические исследования.<sup>6</sup> Общая семантика имен персонажей народной пьесы «Царь Максимилиан» достаточно хорошо изучена, и без этих работ и кропотливого комментирования тексты были бы практически закрыты для понимания современным читателем. Помню, что пьеса произвела на меня на первом курсе впечатление самого странного и непонятного произведения в рамках университетской программы по русскому фольклору (а, как известно, в этой программе одна диковинка сменяет другую). В данном случае принцип бриколажа реализуется во включении в пьесу искаженных, но узнаваемых специалистами цитат из монологов комедий, авторских и анонимных похвальных, лирических и исторических песен XVIII — XIX вв.,<sup>7</sup> а также фольклорных произведений — духовных стихов (например, стиха про Анику-воина и Смерть). Пока публика и актеры помнили источники цитат,

---

<sup>6</sup> Перечислю наиболее заметные исследования, посвященные различным аспектам изучения антропонимики фольклорных жанров: (Адоньева 2001; Байбурин 2001; Кондратьева 1967; Левкиевская 1993; Митропольская 1974; Черепанова 1983).

<sup>7</sup> «Последняя реплика Племянника Мамаю:

Пуская моя душа идет в ад,  
И там будет нетленна —

является утратившими размер заключительными словами трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец»:

Ступай душа во ад и буди вечно пленна!  
<...>

В монологе племянника Мамаю обращает внимание длинная и совершенно несвязанная с содержанием «Царя Максимилиана» цитата. Это выдержка из стихотворения И. И. Дмитриева «Ермак» (1794)» (Берков 1959: 334–335);

«Хвала, хвала тебе, герой!» — видеоизмененные строки песни в честь графа П. Х. Витгенштейна, включенный в “дивертисмент с пением”, поставленной в 1813 г. в Петербурге под названием “Праздник в стане союзных армий”» (Берков 1959: 335).

Впервые на заимствования в пьесе из «Разлуки» К. Н. Батюшкова и «Гусара» А. С. Пушкина обратил внимание П. Г. Богатырев. См.: (Богатырев 1923).

и персонажи были им интересны, пьеса держалась в деревенском «репертуаре». Н. Е. Ончуков, замечания которого уже цитировались, заметил, что в одной деревне «Царь Максимилиан» был любим и доставлял удовольствие заводилам, а в другой про него уже лет 20 как забыли. «Сначала в Нижмозере играли “Царя Максемьян”, которым очень увлекались и который очень нравился. Но “Царя Максемьяна” давно уже забросили; его не играли уже лет 20; и молодые крестьяне, например Степан Павлович и его приятель Резин “Царя Максемьяна” совсем не знают. Хотя в памяти людей 45–50 лет, эта комедия сохранилась. Я. С. Бородин, рассказавший Ончукову игру “Маврух”, цитировал целые монологи из “Царя Максемьяна”. Маврух нравился гораздо больше Царя Максемьяна и Барина, потому что выходил смешнее, а смешливость, кажется, главное условие успеха деревенской комедии» (Ончуков 1911: XII). Постановка “Царя Максимилиана” требовала привлечения большого количества участников. В пьесе задействовано 20–30 лиц. При постановке на деревенской сцене и при недостатке желающих участвовать в ней актеры были вынуждены играть несколько ролей в разных явлениях. В солдатском и матросском театрах в актерах недостатка не было. Чаще складывалась обратная ситуация: постановщики старались привлечь больше служивых к культурной инициативе, и потому значительное число статистов и «ролей второго плана» было скорее достоинством пьесы. Подобный принцип широкого охвата мы наблюдаем в современных практиках школьных и детсадовских постановок. Воспитателям и учителям важно, с одной стороны, никого не обидеть, оставив ребенка без роли, а с другой, вовлечь в театральную деятельность максимальное количество воспитанников.

Перечисление действующих лиц и исполнителей инварианта «Царя Максимилиана» занимает немало времени. В пьесе участвуют иноземцы (Араб и Персидский рыцарь), боги всех конфессий (Иисус, Венера, Марс), персонажи с именами экзотического происхождения (Змиулан, Максимилиан, Адольф, Брамбеус, Мамай), представители разнообразных профессиональных цехов (Доктора, Кузнецы, Портные, Аптекари, Палачи, Послы и Гробокопатели), военные специалисты (Уланы, Казаки, Скороходы-фельдмаршалы, Гусары), царедворцы и свита. Этнонимы, экзотические имена

собственные, теонимы и номенклатура профессий в фольклорном театре работают как «формулы» типических ситуаций и отношений. А. Ф. Некрылова в статье, посвященной именам в народном театре, объясняет экзотизм номинаций «романтической» атмосферой театрального мира. «Здесь предпочтение отдавалось ситуациям и героям условно-правдоподобным, не “прописанным” в конкретных географических и временных координатах, вечно пребывающим в некоем романтическом мире, который, подобно сказочной и былинной действительности, вполне самодостаточен и относительно замкнут. Оттого и имена здесь скорее приближаются к нарицательным существительным в роли определений-приложений. В этом смысле Дамма, Богиня, Мамай, Максимилиан, Зареза, атаман Буря ближе прозвищам или именам-характеристикам традиционного русского фольклора: Добрыне, Емеле, Волху, Горыне, Кощею, Незнаму, Несмеяне, Одноглазке и т. п.» (Некрылова). Однако особенностью поэтики имен в «Царе Максимилиане» является то, что персонажи с экзотическими именами запросто взаимодействуют с вполне понятными (Послами и Посланниками, Фельдмаршалами и Гусарами) и даже с представителями совсем обычных, на современный взгляд, профессий — докторами, аптекарями и кузнецами (Сорокина 2012: 147–157). Однако при том, что доктора-лекари, аптекари и кузнецы давно входят в обязательный набор персонажей и деревенского ряженья, и театра Петрушки, и прочих народных игровых форм, они отнюдь не всегда входили в обязательный канон костюмирования. Возвращаясь к предпринятому в первой части работы описанию пользователей народного театра, вспомним, что для крестьян, ушедших не по своей воле из деревни в солдаты или на заработки в город, доктора, гробокопатели, палачи и аптекари были ничуть не более близкими явлениями, чем Цари, Богини и Рыцари. Лечение и медицина, наказания и правоприменение, роды и похороны — все это в деревне долгое время оставалось в руках самих крестьян. Народные лекари, деревенский сход и ритуальные специалисты справлялись с потребностями деревенских жителей. При необходимости проучить за проступок или даже жестоко наказать за преступление крестьяне сами находили способы поимки виновных и справедливого, на их взгляд, возмездия. Вылечить, оказать услуги родовспоможения и похоронные услуги могли соседи или признанные деревенские

авторитеты. Первые встречи с врачами, тюремщиками, аптекарями и, к сожалению, гробокопателями для крестьян происходили в городе в государственных структурах. Новые профессии отнюдь не «естественным» образом входили в жизнь крестьян. Новые профессионалы не вызывали доверия, их услуг избегали, и они часто страдали от народного возмущения. Как известно, протест против карантинных и других противоэпидемиологических мероприятий в ходе холерных эпидемий в XIX веке оборачивался против докторов и аптекарей. Даже городские могильщики, пытавшиеся хоронить жертв болезни по медицинским правилам, становились злейшими врагами живущих в другом жизненном укладе низших сословий. Знакомство деревенских парней с институтом академической медицины происходило в условиях рекрутского набора. Доктора проводили медицинское освидетельствование рекрутов, и в их власти было «забрить» или выбраковать потенциального служивого. Новые профессионалы были форпостом государства в новой повседневности, и солдаты пытались преодолеть неприятие вмешательства в сферу приватного, высмеивая представляемых на сцене неумных и корыстных специалистов.

Практики обращений и номинаций в контексте социальных иерархий и речевых ролей на материале фольклорных речевых жанров демонстрируют изысканную систему коммуникативных приемов<sup>8</sup>. Бытовой и ритуальный речевой регистры особенно заметно различаются, если рассмотреть системы обращений и номинаций<sup>9</sup>. Описывая собственный полевой материал А. И. Никифоров отмечал почти полное отсутствие «антропологического материала» в северорусских сказках о животных и в сказках о змееборчестве, понимая под «антропологическим материалом» наличие человеческих персонажей с их антропологическими признаками: «сказки дают понятия только схематические и общие: мужик, мужик да жонка, старик, старик и старуха» (Никифоров 2008: 227).

---

<sup>8</sup> См.: (Адоньева 2001).

<sup>9</sup> В 2014 г. под руководством Ю. Ю. Мариничевой в СПбГУ был осуществлен проект «Коммуникативные параметры жанров русского фольклора: номинации и обращения». Среди публикаций по результатам исследования см.: (Веселова 2016; Мариничева 2016; Куприянова 2016; Семенова 2016).



Интерес, проявленный А. И. Никифоровым к «антропологическому материалу», отнюдь не праздный. Будучи выдающимся полевым исследователем и автором работ о сказочниках и драматургии сказочного перформанса, он уделял особое внимание именам сказочных персонажей. Так, при записи одной из сказок от молодого проезжего сказочника в деревне Вожгора на Мезени, он заметил, что героиня исполняемой сказки — царевна — получила имя присутствующей при записи девушки-фельдшера. Усилия сказочника были направлены на привлечение внимания одной-единственной слушательницы. На этом примере видно, что антропоним как поэтический прием работает на успех речевого акта, в данном случае решавшего задачи флирта. Согласно теории речевых жанров М. М. Бахтина, «каждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами» (Бахтин 1997: 159). М. М. Бахтин различал первичные и вторичные речевые жанры, относя к первым жанры повседневного общения, а ко вторым — сложные жанры художественной литературы и фольклора. Позднее теория речевых жанров или коммуникативных фреймов получила модель описания через систему коммуникативных конвенций, которые соблюдают участники общения, чтобы быть понятыми и успешными. Номинации и обращения относятся к такого рода конвенциям. В народной пьесе «Царь Максимилиан» первичные речевые жанры представлены приказами, рапортами об исполнении, официальными представлениями, обвинениями, перемежающимися песнями и словесными поединками, состоящими из череды угроз и унижений. Представлю эти жанры на примере варианта из Фольклорного Архива СПбГУ (в цитатах сохранена орфография рукописи).

### Официальное представление-приветствие

*Здравствуйте, почтеннейшие господа вот и я прибыл скороход Фельдмаршал*

*Здравствуйте вся почтеннейшие Господа вот и я прибыл из западных стран сюда за кого вы меня признаете Признаетъ за Русскаго или прускаго или короля французскаго я не есть русскій я есть.*

грозный (слово «грозный» зачеркнуто) Король французский я есть **грозный царь Максимианъ** Сяду я на сей трон буду судить

Здравствуйте **всь почтеннейшии господа**, вотъ и я прибыль **при=дворный Кузнецъ** сюда,<sup>10</sup>

Здравствуйте **всь почтенишии господа** вотъ и я прибыль изъ Змиуланскаго царс=тва сюда Ходиль я гуляль повсѣмъ 4.мъ сторонамъ

я небаба я не пьяна я нешлюха деревенская я есть **Прекраснейшая и чесная смерть твоя**

Здравствуйте **все почтеннейшии господа** вотъ и я (прибыль сюда) предворный Док=Торъ прибыль сюда, **я Докторъ** я есть и Лекаръ **приотли=чнейшии Аптекарь** я такъ личу что изъ угла въ уголь

мечу, комнъ приходятъ на ногахъ аувозятъ на дровняхъ.

Здравствуйте **всь почтеннейшии господа** водъ **япридворная Богиня** всь земли покорила одного непокорила Мар-сова поля,

### Вызов подчиненного

**Пажи мои вѣрны по службъ не=изменны** я витесь предъ трономъ

грознаго монарха Царя Максимиана.

**Скорородъ федмаршалъ** явись предъ трономъ грознаго монарха Царя Максимиана.

### Вопрошание о причине вызова

**Великий превелий всему свету покоритель грозный Царь Максимиан** на что так скоро пажей призываете что делать повелеваете

---

<sup>10</sup> Сохранены орфография и синтаксис рукописи. В рукописи знак «=» используется автором как знак переноса.

*Почто так скорохода фельмаршала призываете или что делать повелеваете*

***О великий Император грозный Царь Максимилян** зачем призываете или что делать повелеваете*

***Царь Максимилян** на что так скоро Анику Воина призываете или что делать по велеваете или на мою грозную руку сопротивникъ есть?*

*Какая, **царь-батюшка**, забота (старик-гробокопатель).*

***О Великий Император грозный Царь Максимилянъ**, зачем так скоро придворного Кузнеца призываете или что делать повелеваете?*

*начто такъ*

***Любезнейший мой дядюшка** племянника призываете или что делать повелеваете*

### **Приказ**

***Пажи мои верны** по службе неизменно явитесь пред троном грозного монарха Царя Максимиана*

*Сходите и принесите скипер и державу на главу мою царскую*

***Защитники мои** обнажите сабли*

### **Рапорт о понимании приказа**

*Схожу и возведу по всемъ Сто=ронамъ и пределамъ что воцарился новый Царь недля то гоонъ воцарился что бы делать въ миръ урону; Но для того онъ воцарился что-бы Тишину и Оборону.*

*возму и привяжу его къ конскому хвосту и оправлю его въ змиуланское царство*

## Приветствия

Здравствуй **дражайший мой папенька** влас имеете повелевать и что делать повелеваете

Силы употребляю к **папеньке** поспешаю здравствуйте, **дражайший папенька**

Ну **сын мой любезный** добра желаю на трон сажая

## Испытание-вопрошание

**Любезный сын**, Веруешь ли наши комерческие боги  
**Любезный сын**, одумался ли ты

## Ответ на вопрошание

Одумался **Дражайший мой папенка**,  
**Последняя просьба**  
**Любезнейший мой папенка** позволь мне последний раз спеть  
мою **Любезную песенку**,

## Угроза-похвальба

ах ты **распроклятый грозный царь Максимилиьян победитель ты всех южных и восточных странъ**, много ты побъждалъ, рыцарей, Царей, Королей, и богатырей, но мѣнянепобедить я все твоє царство попалю и **тибя грознаго царя Максимиляна** въ пленъ возму всемо твоемо царствомъ Завладѣю!

Что ты объ моемъ Царстве хлопочешь или ты отъ моей гро=зной руки смѣрти хочешь?

вознесуся вознесуся на чистое небо и опускаюся на Мар=сово поле еслибы Марсѣ явился и тотѣ бы мнѣ покорился мой бы булатный мечь кровью облился

## Ответ на угрозы/похвальбу

*нехвались когда въ полъ идешь а хвались когда и споля и дешъ  
Хвались хва=лись данесвались, хвалился хвалилсясамъ и свалился*

*Ахъ ты **мърская богиня** зачемъ такъ порыцаешь или Марсовой  
храбрости незнаешь я сяду на Тронъ тронъ пока=*

## Хвала

*хвала хвала тебе **герою** что то=бою градъ Антонъ Спасенъ, на  
храбрыхъ воинахъ вѣнки вьются хвала хвала тебе герою, что градъ  
Антонъ тобой спасенъ*

## Надгробное слово

*Спи **герой** въ земли, сырой, заростетъ, твой*

## Суждение

***я нерусский посоль** прежде всехъ сюда пришлоъ посмотритека  
братцы*

*какое въ мире кровопролитіе кровь рѣками льется и гора съ го-  
ройсходится одинъ у царя Макси=мільяна **любезный сынъ** и то го  
хотятъ казнить*

## Эпитафия

*прикажу похоро=нить твое тѣло въ самое чистое мѣсто по-  
ставлю мраморный памѣтникъ и напишу золотыми литерами,  
что Тутъ то лежитъ **покорный послушный палачъ Бранбеусъ.***

Народная пьеса «Царь Максимилиан» состоит из следующих первичных речевых жанров: официальное представление-приветствие, обращенное к публике (8), эпитафия (1), политическое суждение (1), надгробное слово (1), угроза (3), ответ на угрозы/похвальбу (4), хвала герою (1), последняя просьба (2), испытание (3), ответ на испытание (3), вызов (8), вопрос о причине вызова (18), приказ (18), рапорт о понимании приказа (18).

Собственно театральной формой является **приветствие-обращение к публике**, в котором публика неизменно именуется *почтеннейшими господами*, что, во-первых, говорит о предпочтительно мужском составе публики, а во-вторых, о том, что крестьяне, солдаты и матросы в театре становятся «господами». Последнее обращение не соответствует принятому на службе обращению к низшим чинам и практиковавшемуся обращению к представителям низших сословий. Выбор этого обращения в народном театре — прием «примерки» престижных социальных ролей, который льстит зрителям.

Жанры **надгробного слова** и **эпитафии** (с надписью имени почившего «золотыми литерами»), несомненно, являются инновационными для фольклорных ритуальных речевых конвенций. Употребленные в них номинация *Тутъ то лежитъ покорный послушный палачъ Бранбеусъ* и обращение *Спи герой въ земли, сырой* свидетельствуют о знании речевых конвенций парадных похорон и мемориальных военных захоронений.

Самые популярные речевые жанры в рамках пьесы связаны с речевым актом **приказа** — вызов подчиненного, вопрос о причине вызова, приказ и рапорт о понимании приказа. Приказы отдает единственный персонаж — царь Максимилиан. Единожды призывает к себе помощника (племянника) соперник Максимилиана и равный ему по положению — царь Мамай. В этом случае диалог с помощником сопровождается родственными обращениями (*верный мой племянник, Любезнейший мой дядюшка*), что для военного устава совершенно недопустимо. Фамильярность в обращении царя Мамаю с племянником только подчеркивает то, что обращения царя Максимилиана к подчиненным и отзывы последних практически полностью соответствует воинскому уставу: «Если начальник вступит с ним в разговор, то солдат должен внимательно выслушивать то, что говорит ему начальник; на вопросы его отвечать кратко, без лишних слов. Говоря с начальником, а также и со всяким старшим себя, должно стоять смиренно и приложить правую руку к головному убору, держа ее таким образом все время, пока начальник не прикажет опустить руку. На вопросы начальника отвечать смело, почтительно и правдиво, прибавляя при ответах титул начальника. Если начальник даст солдату какое

либо поручение или приказание, которое он не ясно понял, то солдат должен доложить об этом, чтобы верно исполнить приказанное» (Крестовский 1887).

**Вопрошание о причине вызова** всегда содержит пышное титулование вышестоящего лица, например *Великий превелий всему свету покоритель грозный Царь Максимиан*. Исключение из этого правила составляет явление старика-гробокопателя к царю, при котором старик обращается к царю по-сказочному *царь-батюшко*. **Рапорты о понимании** приказа достаточно кратки, как и рекомендует устав. Употребление обращений в блоке «уставных» жанров, встречающихся в пьесе, демонстрирует нюансы коммуникативных конвенций: диалоги царя Максимилиана с большинством персонажей демонстрируют его верховенство в формальной иерархии над ними. Исключение составляет старик-гробокопатель — его обращение к старшему носит отнюдь не уставный характер. Вторым исключением из правила формального обращения являются диалоги с сыном Адольфом, о которых речь пойдет ниже. Противник Максимилиана — царь Мамай — имеет единственного подчиненного, своего племянника, и с тем находится не в уставных отношениях.

Из череды официальных воинских речевых жанров выпадают диалоги царя Максимилиана и Адольфа. Обращения, используемые царственными отцом (*любезный сын*) и сыном (*дражайший мой папенок, любезнейший мой папенок*), приняты в эпистолярных обращениях отца и сыновей. Как мы уже упоминали в тетради из Лешуконского музея со списком «Царя Максимилиана» содержится черновик письма к родителям: *Дражайшие мои родители, татенька и маменька*. Крестьянские эпистолярные, особенно с военной службы, не очень изучены лингвистами и фольклористами, но коллекция цифровых копий солдатских писем в Фольклорном архиве СПбГУ показывает, что эпитет *любезный / любезнейший и дражайший* + термин родства или имя-отчество составляет формулу приветствия. Сами же приветствия и поклоны занимают большую часть текста писем. Ср. с письмами красноармейца Сухова к своей жене *любезной Катерине Матвеевне* в фильме «Белое солнце пустыни» (реж. В. Мотыль, 1970), действие которого относится к 20-м годам XX века.

Жанр последней просьбы заимствован из сказочной поэтики. В волшебной сказке последняя просьба-обращение к царю перед

казнью дает герою возможность спастись при помощи призыва волшебных помощников. В пьесе палач позволяет персонажам, приговоренным к казни, выпить чарочку и спеть любезную песню, но казнь свершается и на сцену выходит старик-гробопатель. Жанр хвалы герою встречается как мотив хвалы-славы в былинных текстах. С эпической поэтикой связаны жанры угрозы, похвальбы и ответа на похвальбу, которые являются устойчивыми былинными мотивами. Фольклорное происхождение прослеживается у речевых жанров, связанных с явлением Смерти. Смерть — второй после мимолетного выступления старухи женский персонаж пьесы. На ее появление Аника-воин реагирует бранной инвективой: *что ты за баба, что ты запьяна что ты зашлюха деревенская я тибя небоюсь*. Смерть в ответной реплике резко меняет стилистический регистр самоназвания, восходящего к поэтике духовного стиха: *я небаба я не пьяна я нешлюха деревенская я есть Прекраснейшая и чесная смерть твоя*.

Третий женский персонаж — Богиня, явление которой завершает пьесу. Начало диалога между Богиней и Марсом, состоящего из угрозы и ответа на угрозу, на первый взгляд похож на эпический мотив похвальбы. Завершение его неожиданно: *Богиня падаеть на колени Сжался жался надомною Милый Марсь Марсь беретъ богиню заруку и идетъ въ белокаменные по латы*. Просьба о пощаде с обращением *Милый Марс* и финальный (для всей пьесы) уход героев в белокаменные палаты возвращает пьесу от цитирования военного устава и фольклорных аллюзий к театральной сцене XVIII века.

Обращения, титулование и номинации, употребляемые в охарактеризованных речевых жанрах, восходят к нескольким источникам: военному уставу, фольклорным жанрам (эпосу, сказке, духовному стиху), эпистолярному этикету и новым литературным жанрам (обращениям к почтеннейшей публике с подмостков, надгробной кладбищенской эпитафии и театральному апофеозу с падающим занавесом). Для того, чтобы появился пользователь, который мог с равным умением ориентироваться в столь изоощренном сплетении речевых компетенций, нужно было, чтобы в истории России случились реформы XVIII века, стронувшие с места социальные, эстетические, государственные, бытовые уклады. Пьеса в многоплановом смешении речевых жанров дает возможности



примерить речевые роли, до XVIII века неизвестные традиционному деревенскому быту и фольклору: солдата и командира, адресата и получателя писем, доктора и пациента, почтеннейшей публики и знатока иноземных богов, почившего на поле битвы героя или царедворца при исполнении государственной службы. Калейдоскоп ролей связан в единое действие эмоциональным лейтмотивом: отношением сыновьей «покорности» Адольфа отцовской воле царя Максимилиана. Многократно проигрываемое в диалогах Максимилиана и Адольфа испытание «покорности», обвинение в «непокорности», стойкое «непослушание» отцовским богам и смиренное принятие сыном наказания с устойчивым ласковым и уважительным обращением друг другу создает диссонанс оценок и особое напряжение. Ни актеры, ни зрители не знают, как разрешить накопившийся межпоколенческий конфликт, поэтому просто проигрывали его из раза в раз, пока очередной социальный катаклизм не свел на нет старые обиды вместе с обидчиками и обиженными.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица действующих лиц по северорусским вариантам  
«Царя Максимилиана»

Народный театр ЦМТ (Виноградов 1905; цит. по: Народный театр 1991: 131–150)	Народный театр ЦМП (Виноградов 1914; цит. по: Народный театр: 151–204)	Народный театр ЦМП (Дружинина 1959; цит. по: Народный театр: 204–219)	Ончуков 1 (Коротких 1911)	Ончуков 2 (Герасимов 1911)	ФА СПбГУ <sup>11</sup>
Царь Максимилиан	Царь Максимилиан	Царь Максимьян	Царь Максимьян	Царь Максимьян	Царь Максимьян
Адольф	Адольф	Адольфа	Адольфа	Адольф	Адольфа
	Богиня				
	Царь Мамай		Король Мамай	Король Мамай	Царь Мамай

Народный театр ЦМТ (Виноградов 1905; цит. по: Народный театр 1991: 131–150)	Народный театр ЦМП (Виноградов 1914; цит. по: Народный театр: 151–204)	Народный театр ЦМП (Дружина 1959; цит. по: Народный театр: 204–219)	Ончуков 1 (Коротких 1911)	Ончуков 2 (Герасимов 1911)	ФА СПбГУ <sup>11</sup>
	Племянник царя Мамая		Племянник короля Мамая		Племянник короля Мамая
					Посланник царя Мамая
Аника-воин	Аника-воин		Аника-воин	Аника-воин	Аника-воин
			Крымский посол		Коталический посланник
			Дахмара		
	Араб		Араб	Черный арап	
	Марец				
Брамбеус	Бранбеул	Палач Брамбеус	Палач Брамбеус		Палач Бранбеус
	Змиулан		Змеулан	Змеюлан	Змиуслан
			Главный министр		
Исполинский рыцарь					
	Гусар		Гусар		
	Казак		Казак		
	Доктор	Доктор	Главный дохтор Фома	Доктор Ульф	Дохтор лекарь аптекарь
	Священник			Патриарх	
	Дьякон				
Скорородмаршал	Скорородфельдмаршал	Скорородфельдмаршал	Скорородфельдмаршал	Скорородфельдмаршал	Скорородфедмаршал
Кузнец	Афонька-кузнец			Кузнец	Придворный кузнец

Народный театр ЦМІ (Виноградов 1905; цит. по: Народный театр 1991: 131–150)	Народный театр ЦМІ (Виноградов 1914; цит. по: Народный театр: 151–204)	Народный театр ЦМІІ (Дружинина 1959; цит. по: Народный театр: 204–219)	Ончуков 1 (Коротких 1911)	Ончуков 2 (Герасимов 1911)	ФА СПбГУ <sup>11</sup>
Старик-гробокопатель	Маркуша-гробокопатель			Максимко-гробокопатель	
		Старик со старухой	Первый старик		Старик-гробокопатель
	Палач			Палач	
	Посол				
Старуха		Старуха	Второй старик	Старуха с лопатой	Старуха
Смерть	Смерть		Смерть	Смерть	Смерть
			Рестант		
			Затюренный сторож		
Два паж	Пажи, два		Пажи		Пажи
Царедворцы	Воины ЦМ		Воины		
	Воины царя Мамая				
		Портные			
					Богиня
					Марс

## Литература

1. Адоньева 2001 — *Адоньева С. Б.* Имя и обращение // Чужое имя. Канун. Альманах. Вып. 6. СПб., 2001. С. 232–245.
2. Байбурин 2001 — *Байбурин А. К.* Заметки о прагматике имени в народной культуре // Чужое имя. Канун. Альманах. Вып. 6. СПб., 2001. С. 205–216.
3. Бахтин 1997 — *Бахтин М. М.* Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М.: Русские словари, 1997. С. 159–206.

4. Берков 1959 — *Берков П. Н.* Одна из старейших записей «Царя Максимилиана» и «Шайки разбойников» (1885) // Русский фольклор. IV. 1959. С. 336–358.
5. Бернштам 1993 — *Бернштам Т. А.* Новые перспективы в познании и изучении традиционной народной культуры. Киев, 1993.
6. Богатырев 1923 — *Богатырев П. Г.* Стихотворение Пушкина «Гусар», его источники и его влияние на народную словесность // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. С. 147–196.
7. Богатырев 1971 — *Богатырев П. Г.* Народный театр чехов и словаков // Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 11–166.
8. Веселова 2010 — *Веселова И. С.* «Сія понятная книшка для выписывания ролей о царе максиміанъ» — новый список народной драмы // Временник Зубовского института. Вып. 5. Петрушка круглый год. СПб., 2010. С. 79–88.
9. Веселова 2016 — *Веселова И. С.* Управление реальностью: имена в ритуальной речи (севернорусское «Виноградье») // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология, Востоковедение, Журналистика. 2016. Вып. 3. С. 15–23.
10. Виноградов 1905 — *Виноградов Н. Н.* Народная драма «Царь Максемьян и его непокорный сын Одольф» // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1905. Т. 10. Кн. 2. С. 301–338.
11. Виноградов 1914 — *Виноградов Н. Н.* Народная драма «Царь Максимилян». Тексты, собранные и приготовленные к печати Н. Н. Виноградовым. С предисл. акад. А. И. Соболевского // Сб. ОРЯС. СПб., 1914. Т. ХС. № 7. С. 97–166.
12. Волков 1912 — *Волков Р. О.* Народная драма «Царь Максимилян и непокорный сын его Адольф». Опыт разыскания о составе и источниках // Русский филологический вестник. 1912. № 1–2. С. 323–343; № 4. С. 280–336.
13. Герасимов 1911 — Царь Максемьян. Записан Н. Е. Ончуковым от крестьянина Н. К. Герасимова 37 лет в с. Тамице Онежского уезда Архангельской губ. летом 1905 г. // Ончуков Н. Е. Северные народные драмы. СПб., 1911. С. 48–69.
14. Гусев 1980 — *Гусев В. Е.* Русский фольклорный театр XVIII — начала XX вв. Л., 1980.
15. Гусев 1991 — *Гусев В. Е.* Истоки русского народного театра. Л., 1977.
16. Гуссерль 2013 — *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию / Пер. с нем. Д. Н. Кузницына. СПб., 2013.

17. Дружинина 1959 — Царь Максимилиан. Записан в д. Погост (Ошевенск) Каргопольского р-на Архангельской области в 1959 г. от А. М. Дружининой. Архив МГУ, 1959. Т. 25. № 1.
18. Иванов 2016 — *Иванов Ф. Н.* Рекрутская повинность на Европейском Севере России в 1831-1874 годах (по материалам Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний). М., 2016.
19. Кондратьева 1967 — *Кондратьева Т. Н.* Собственные имена в русском эпосе. Казань, 1967.
20. Коротких 1911 — Царь Максемьян. С рукописи С. Я. Коротких, волостного старшины. В Онежском уезде Архангельской губ. Перепечатан Н. Е. Ончуковым летом 1905 г. // Ончуков Н. Е. Северные народные драмы. СПб., 1911. С. 1–47.
21. Крестовский 1887 — *Крестовский Л. В.* Книжка для молодых солдат кавалерии и казаков. СПб, 1887.
22. Куприянова 2016 — *Куприянова С. О.* Номинации адресата в колыбельных песнях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология, Востоковедение, Журналистика. 2016. Вып. 3. С. 24–33.
23. Левкиевская 1993 — *Левкиевская Е. Е.* Мифологические имена-апотропеи в карпатском ареале // Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения—II. М., 1993. С. 93–102.
24. Лотман 1992 — *Лотман Ю. М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 248–268.
25. Мариничева 2016 — *Мариничева Ю. Ю.* Имена собственные в сказочной речи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология, Востоковедение, Журналистика. 2016. Вып. 3. С. 34–40.
26. Митропольская 1974 — *Митропольская Н.* Поэтика имен в былинах // Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. Литература. Вильнюс, 1974. Вып. XV (2). Русская литература. С. 7–24.
27. Народный театр 1991 — Народный театр / сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. М., 1991 (Б-ка русского фольклора. Т. 10).
28. Некрылова — *Некрылова А. Ф.* «Дамма» в народной драме. Из наблюдений над именами в фольклорном театре // Сайт «Фольклор и фольклористика в СПбГУ». URL: <http://folk.spbu.ru/Reader/nekrylova2.php?rubr=Reader-articles> (дата обращения: 30.01.2021)
29. Некрылова 1992 — *Некрылова А. Ф.* Значение Петербурга и солдатской среды в становлении русской народной драмы // Русский Север: Ареалы и культурные традиции. СПб: Наука. 1992. С. 196–206.

30. Никифоров 2008 — *Никифоров А. И.* Социально-экономический облик севернорусской сказки 1926-1928 гг. // А. И. Никифоров. Сказка и сказочник: сб. статей / Сост. Е. А. Костюхин. М., 2008.
31. Ончуков 1910 — *Ончуков Н. Е.* Народная драма на Севере // Известия ОРЯС 1909 г. Т. XIV. Кн. 4. 1910. С. 215–239.
32. Ончуков 1911 — *Ончуков Н. Е.* Северные народные драмы. СПб., 1911.
33. Савушкина 1976 — *Савушкина Н. И.* Русский народный театр. М., 1976.
34. Семенова 2016 — *Семенова А. С.* «Прагматика необрядовых песен: номинации и обращения как параметры анализа» // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Серия 9: Филология, Востоковедение, Журналистика. 2016. Вып. 3. С. 41–45.
35. Серто 2013 — *Серто М. де.* Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина и Н. Мовниной. СПб., 2013.
36. Сорокина 2012 — *Сорокина С. П.* Образ доктора в ранней русской драматургии и в народной драме «Царь Максимилиан» // Традиционная культура. 2012. № 2 (46). С. 147–157.
37. Сорокина 2013 — *Сорокина С. П.* Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян (театрально-драматургическая специфика). М., 2013.
38. Тенишевский архив 2004 — Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева / под науч. ред. Д. А. Баранова, А. В. Коновалова. Т. 5. Ч. 1. СПб, 2004.
39. Хайченко 1975 — *Хайченко Г. А.* Русский народный театр конца XIX — начала XX в. М., 1975.
40. Черепанова 1983 — *Черепанова О. А.* Роль имени собственного в мифологической лексике // Язык жанров русского фольклора: Межвуз. науч. сб. Петрозаводск, 1983. С. 74–84.
41. Шютц 2003 — *Шютц А.* Аспекты социального мира // *Шютц А.* Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии / пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; научн. ред. перевода Г. С. Батыгин. М., 2003. С. 114–162.
42. Щербинина 2007 — *Щербинина Ю. В.* Социальная адаптация и правовое положение отставных и бессрочноотпускных солдат русской армии в XIX в.: автореф. дис. ... канд. истор. наук. Воронеж, 2007.

## SUMMARIES AND KEYWORDS

**S. Volkov.** Biblical Anthroponyms in the Prose of Peter the Great's Epoch  
*Keywords:* anthroponym, oratorical prose, biblicalism, 18<sup>th</sup> century, Stephan Yavorsky.

The article offers a description of biblical anthroponyms in the church panegyric oratorical prose of metropolitan Stephan Yavorsky. Attention is paid to the semantic transformation of biblical anthroponyms in the text of the sermon; such a transformation serves to express new cultural meanings.

**A. Trofimov.** The Use Of Ancient Names In The Prosaic Panegyrics of the Early 18<sup>th</sup> Century

*Keywords:* 18<sup>th</sup> century, anthroponyms, antiquity, panegyrics.

The paper analyzes the features of using of antique anthroponymy in Russian panegyric literature of 1710–1720. The research is based on the material of panegyrics in prose by Stephan Yavorsky, Feofan Prokopovich and Gavriil Buzhinskij. The paper demonstrates changing of the authors' attitude to antique historical and mythological names — from acception at the beginning to negation at the end of analyzed period of time.

**D. Rudnev.** “Thomas, the Religious Teacher, Talks about This ...” (Peculiarity of the Use of Anthroponyms in “Conversation between Two Friends on the Usefulness of Science and Schools” by V. N. Tatishchev)

*Keywords:* Russian language, 18<sup>th</sup> century, Tatishchev, anthroponym, name-dropping.

The article analyzes thematic groups, syntactic features and functions of anthroponyms in “Conversation between two friends on the usefulness of science and schools” by V. N. Tatishchev. In Tatishchev's text, anthroponyms are used more than 400 times and, thus, it shows some signs of name-dropping. The analysis identified thematic groups of anthroponyms. These groups include Russian, European and ancient rulers, church teachers, sages and philosophers, scholars, lawmakers, academy founders, etc. Tatishchev appeals to these groups of anthroponyms in developing the main theme of his work — the usefulness of science. As a result of the study of the syntactic features of anthroponyms, it is concluded that in the sentence anthroponyms are mainly used as a subject. Anthroponyms in the grammatical position of complement, attribute and circumstance are presented in the text of Tatishchev much less. In addition, it is investigated the use of anthroponyms in explanatory constructions with conjunction elements *yako* and *kak to*. The article ends with the description of the functions of anthroponyms in the text of “Conversation”: they used with stylistic, integrating, rhetorical and culturally identifying functions. The widespread use of anthroponyms reveals that “Conversation” belongs to a new, post-Petrine culture with its anthropocentric character.

**E. Matveev.** Anthroponyms in Russian Solemn Odes of the 18<sup>th</sup> Century  
*Keywords:* anthroponym, solemn ode, panegyric poem, Lomonosov, Sumarokov, Petrov, Kheraskov, Derzhavin, block odic intellection, semantic transformation of anthroponyms, heroes of the same name.

The article describes, classifies and analyzes personal names in the solemn odes of M. V. Lomonosov, A. P. Sumarokov, V. P. Petrov, M. M. Kheraskov, A. A. Rzhevsky, N. N. Popovsky, in separate panegyric works of G. R. Derzhavin. Four groups of personal names have been identified: 1. Ancient mythological and semi-mythological names. 2. Biblical names. 3. The names of the Christian God. 4. Historical names. 5. Other names. An analysis of the formula elements of the odic poetry of Lomonosov and Petrov, including anthroponyms, clarifies one of the main strategies of Petrov, which he used in reworking Lomonosov's odes. Petrov often borrows names, like other structures, as part of ready-made compositional blocks, but he never borrows them literally, usually choosing a variant of the name, varying the composition of the verbal environment of the name (appellative convoy), changing the type of rhetorical complication of the context, etc. The article analyzes the main types of semantic transformations of anthroponyms in odic poetry: antonomasia, personification, paraphrase, etc. As a special type of semantic transformation of an anthroponym in panegyric poetry, the author considers the assimilation of characters to the same-name heroes, which include panegyric poetry in a certain political or religious context.

**M. Sharikhina.** Heroes of Russian History of the pre-Petrine Period in 18<sup>th</sup>-century Panegyric Poetry: Themes and Images

*Keywords:* 18<sup>th</sup> century, odic poetry, oratory, history of Russia, Russian monarchs.

The article examines the ways of poetic reinterpretation of the pre-Petrine Russia history in the solemn poetry of the 18th century, as well as in oratorical prose of the same period (as a comparative material). In general, the principles of creating poetic images of Russian rulers go back to the literary traditions of previous eras. Their development in the work of individual authors is characterized by a movement from the principle of historical reliability (characteristic of M. V. Lomonosov's poetry) to the formation of poetic generalizations and moral judgements reflecting the individual author's search for the laws of the historical process.

**P. Bukharkin.** Name and Genre Memory

*Keywords:* genre memory, tragedy, figures of speech, ode, A. P. Sumarokov, family, kin, kin responsibility, tragic fault, antonomasia, periphrasis.

The article considers the literary transformation of personal names in Sumarokov's tragedies connected mostly with antonomasia and periphrasis. Due to these figures of speech the actualization of the theme of kin and kin responsibility takes place; the violation of this responsibility endows the character with tragic fault. This thematic line connects the tragedy of classicism with the archaic type of tragedy, thus reviving genre memory.

**A. Shiyan.** The Functioning of Anthroponyms in Russian Fairy-tale Comic Operas (Opéra Féerie) of the 18<sup>th</sup> Century

*Keywords:* anthroponym, opéra féerie, comic opera, national colour, stylization.

This article examines the features of the functioning of anthroponyms in Russian fairy-tale comic operas (opéra féerie) of the 18<sup>th</sup> century. A study has



been conducted that revealed that the names of the characters of operas are the main means of forming the national colour of the analyzed texts.

**P. Bukharkin.** The Historical Name in the Tragedy of Russian Classicism: between Abstraction and Reality

*Keywords:* anthroponyms, tragedy, classicism, history, mythology, reference, artistic world.

The article considers the functioning of historical and mythological anthroponyms in the Russian tragedy of the middle of the 18<sup>th</sup> century — the beginning of the 19<sup>th</sup> century. The major focus is made on the semantic transformation of proper names in the poetic text, where two main trends can be seen. The first one consists in attenuation of referential links of anthroponyms with historical/mythological spheres, whereas the other one is the concretization of their historical credibility. The complex interaction of these two trends contributes to the polysemantism of the artistic world of the tragedy, and at the same time fills the plays with the topical political meaning.

**U. Jekutsch.** The Name of Potemkin in the Odes of V. Petrov and G. Derzhavin

*Keywords:* panegyric ode, family name, naming, G. A. Potemkin, V. P. Petrov, G. R. Derzhavin.

The paper discusses the interpretations of the name “Potemkin”, given in V. P. Petrov’s and G. R. Derzhavin’s panegyric odes to the ‘mightiest man’ in Catherine II’s Russia. It analyzes the strategies which are used by both authors in order to avoid connotations, which are implicated by the etymology of the family name „Potemkin“, and to find fitting names for his praise. Special attention is given to the biographical and historical contexts of the odes.

**M. Ponomareva.** From Historical Personality to Image (Based on Anthroponyms in the Lyrics of G. R. Derzhavin)

*Keywords:* panegyric ode, family name, naming, G. A. Potemkin, V. P. Petrov, G. R. Derzhavin.

The article deals with the use of anthroponyms as a device to create the imagery and with the functions of anthroponyms in Derzhavin’s lyric poetry. The interdependence of the historical name’s form and the genre of a text are being studied (the forms used by Derzhavin may, on one hand, reflect the idea of hierarchy of genres, but on another hand, they may create peculiarities in his texts, raising or lowering their status. Four types of pronominations are described. The use of antique and quasi-Slavonic mythonyms is explored, Derzhavin’s anacreontic poetry revealing a sort of allegorical parallelism between the antique mythonyms and the quasi-Slavonic ones. Also fictional names are being examined, both borrowed from the cultural background as well as the ones invented by Derzhavin himself. A special consideration is given to Catherine II’ designations — her proper name and the mythonyms referring to her. The analysis of the empress’ designations shows the points where Derzhavin sticks to the tradition of onomastic usage of 18<sup>th</sup> century (the proper name in higher-genre works) and where he deviates from it and enriches it (the use of the name “Cypris” towards the empress, the use of a fictional name as a stylistic marker, the role of a fictional name in creating the literary space).

**P. Bukharkin.** The Character's Name: Literature and Sociolect

*Keywords:* letters, 18<sup>th</sup>–19<sup>th</sup> century Russian prose, sentimentalism, literary character, cultural and historical type, mimesis, literary language

The article analyzes the interrelation of a person and his/her name in a literary text and in one of the sociolects of the second half of the 18<sup>th</sup> century, the closest to the sentimental literature. This sociolect reflects colloquial speech characteristic for the cultural and social elite of that epoch. The article considers the letters of Denis Fonvizin and Mikhail Muravyov to their sisters written in the 1760–1770s. The images created in these letters — those of sensitive, morally strong and highly intellectual young girls — indicate the emergence in Russian culture of a new cultural and historical type of heroine which found its embodiment in the literary texts of much later periods.

**L. Rossi.** Understanding the Onomastic World of M. N. Muravyov

*Keywords:* eighteenth-century Russian poetry and prose, names and surnames, intertextuality, Muravyov

M. N. Muravyov (1757–1807) was called “the first in the line of poets intoxicated with names”. This article presents an overview of his use of names, nicknames, patronymics and surnames from the very first recently discovered dramatic attempts to the late prose essays. It retraces their intertextual origins and shows their stylistic function both in epic and lyrical poetry and in prose. Special attention is devoted to the proximity of names of highly literate and very domestic origin, and hence the double effect of cultural estrangement and emotional closeness of Muravyov’s oeuvre.

**D. Rudnev.** The Name of a Person in Documentary Communication in the 18<sup>th</sup> Century (Features of Naming Pugachev in the Documents of the 1770s)

*Keywords:* anthroponym, naming, Pugachev, Catherine II, Russian history, XVIIIth century Russian language, official language.

On the basis of naming Pugachev in various documents of 1770s, where he played various social roles — of the interrogated, of the imposter tzar, of a person under investigation, of the accused — the article examines the dependence of the form of official naming of a person on its position in society, the type of document and the place of the name in the documentary text. In the 18<sup>th</sup> century official anthroponyms began to oppose the naming of a person in unofficial communication, it demonstrates the gradual alienation of official communication from live speech. The correct naming of a person in different types of documents required special skill and training and was a sign of inclusion in the official communication. The article analyzes changes in naming Pugachev in documents related to different stages of Pugachev’s Rebellion, and it is concluded that gradually in the documents of rebels, when choosing the forms of his naming, the number of deviations from the established official forms anthroponyms decreases. The analysis of the documents related to the investigation over Pugachev reveals a number of serious deviations in his naming, which indicated that the authorities considered Pugachev’s crime as a crime of particular gravity and deprived Pugachev of the usual forms of official naming. The investigation documents usually used for his naming the contemptuous diminutive form of the name Emelka or the evaluative noun villain.

**D. Rudnev.** Possessive Adjectives and Possessive Genitive in Works on Russian History of the 18<sup>th</sup> Century

*Keywords:* anthroponym, possessiveness, possessive adjective, genitive, Russian language of the 18th century, works on the Russian history, A. I. Mankiev, V. N. Tatishchev, M. V. Lomonosov, M. M. Shcherbatov, N. M. Karamzin.

The dynamics of possessive adjectives and possessive genitive in the Russian language of the 18<sup>th</sup> century is investigated on the basis of essays on Russian history of the 18<sup>th</sup> century, which, due to their content, included a great number of anthroponyms. The author analyzes the textual use of possessive adjectives and possessive genitive, the cases of their competition with each other, the peculiarities of the compatibility of these forms, the order of the possessive adjectives in relation to the noun being defined, the use of case forms of possessive adjectives and the system of their endings.

**N. Guskov.** Personal Names in A. P. Sumarokov's Poetry

*Keywords:* Russian 18<sup>th</sup>-century literature, A. Sumarokov, anthroponyms, Russian poetry.

The article summarizes the results of study of functions of personal names in A. P. Sumarokov's poetry, analyzes the use of biblical anthroponyms and foreign names of historical persons, notes the stylistic patterns of the use of names. The appendix contains statistical tables.

**A. Warda.** Anthroponyms in "The fairy tale of the Tsarevich Chlor" by Catherine the Great

*Keywords:* anthroponyms, fairy tale, Tsarevich Chlor, Catherine II.

The article analyzes the anthroponyms that appear in the "Tale of Tsarevich Chlor", created by Catherine the Great in 1781 for her grandson, the future Tsar of Russia Alexander. The prototype of her tale was the love-adventure French tale "Florine ou la Belle Italienne, conte de fées" Madame Le Marchand, written in 1713. The tsaritsa used from the original source the allied line from its first part, connected with the motive of the search for a rose without thorns as a symbol of virtue, as well as some anthroponyms that correspond to her literary intention. However, the Russian writer underwent some modification of the anthroponyms from the French fairy tale, changing their sexual form, and also introduced those that are not in the French original. A number of anthroponyms remained outside the attention of the tsaritsa, whose exotic form could complicate the reception of the younger generation and was alien to Russian culture.

**A. Tiraspol'skaya.** The Name Liodor in Two Novels by N. M. Karamzin

*Keywords:* Karamzin, Liodor, novel, name function, "solar" character, Christianity, martyrdom.

The article focuses on consideration of functions, which the name Liodor (Iliodor) acquires in two works of N. M. Karamzin: in the early unfinished story "Liodor" (1792) and in the late parable story "Anecdote" (1802). The research of these works shows that the name of the main character (Liodor, meaning 'the gift of the sun') actualizes the motives of "sunshine", the struggle of light and fire against darkness: from a certain moment the sad hero starts to act in the narrative as a "gift of the sun", overshadowed by the tragic events of his life. In

the story “Anecdote” the name Liodor, given to an even greater sufferer and an unhappy person, creates connections with a wide range of pieces of spiritual and religious Christian culture and allows us to compare the story of the young man, who decided to take a monastic vow, with the hagiographies of the Holy martyrs, who bore the same name.

**A. *Tiraspolskaya*.** About Antique Names in the Sketch of N. M. Karamzin “The Dedication of the Grove”

*Keywords:* N. M. Karamzin, Prometheus, Agathon, Hora (Hersilia), Tallo, Goddess Fantasia (Fantasy), antiquity, mythology, anthroponyms.

The article is devoted to the analysis of a little-known early prose study by N. M. Karamzin “The Dedication of the Grove” (1791). It examines the layer of anthroponyms — the names of gods, titans and heroes of ancient Greek and Roman mythology — used by the writer to saturate the work with ancient allusions. Special attention is paid to the mythological “hypostases”, in which the Goddess Fantasia appears to the narrator in his imagination, in particular, the image of the “gently-smiling Hora”.

**A. *Tiraspolskaya*.** About “Wise” Sophia in the Drama by N. M. Karamzin (Aesthetic Function of the Name)

*Keywords:* N. M. Karamzin, Sofia, drama, anthroponyms, meaning of the name, motive of madness.

The article is devoted to the analysis of the aesthetic function of the name Sofia in the only drama by N. M. Karamzin. In the course of the study, it turns out that the behavior and actions of the main character — from the manifestations of recklessness in the beginning to explicit madness and the disintegration of the personality in the final — completely contradict the meaning of her name (“wisdom, reasonableness”).

**A. *Tiraspolskaya*.** On the Role of Proper Names in “Travel to Kronstadt” by Prince P. I. Shalikov

*Keywords:* Shalikov P. I., Karamzin N. M., Aeneas, Peter I, Catherine II (Ekaterina II), Kronshtadt (Kronstadt), Oranienbaum, Peterhof, voyage, anthroponyms.

The article examines the series of anthroponyms that appear in P. I. Shalikov’s “Voyage to Kronshtadt” and their artistic functions. The first part is devoted to the study of a chain of mythonyms that serve to jokingly compare the hero and his friends with legendary and literary navigators: Aeneas — Argonaut — Robinson Crusoe — Ulysses. In the second part the images of Russian monarchs: Peter I, Elizabeth Petrovna, Peter III, Catherine II, the Dowager Empress Maria Feodorovna and Alexander I are analyzed. Attention is also paid to the role played in the text by the mention of the name of N. M. Karamzin.

**S. *Volkov*.** East Slavic Theonyms in the Texts of M. V. Lomonosov

*Keywords:* theonyms, Lomonosov, ancient and East Slavonic paganism, sources of “Ancient Russian history”, Russian 18<sup>th</sup> century verbal culture.

The article presents the consideration of the Russian and ancient theonyms list in the “Materials for the Russian Grammar” by M. V. Lomonosov. An analysis of Lomonosov’s texts shows that none of the theonyms included in this list

is used in the text of the Russian Grammar. The author makes the assumption that this list is associated with some other text of Lomonosov, possibly with the text of “Ancient Russian history”, in particular, with chapter 7 “On the reign of Duke Vladimir before his christening”. In the second part of the article, peculiarities of the theonym Perun usage in Lomonosov’s poetic texts are analyzed, and the semantic evolution of the mythoanthroponym in the 18<sup>th</sup> century verbal culture is demonstrated.

**I. Veselova.** “Cumeric” Gods, Pharmacians and Blacksmiths on one Stage: the Mimesis of the State Service (on the Material of the Northern Variants of the Folk Play “Tsar Maximilian”)

*Keywords:* Folk theater, theatricalization of everyday life, speech genres, communication conventions, recruits, military service, social transformations.

In the article the folk play “Tsar Maximilian” is considered in several aspects. First, the social context of the play’s transmission is described — the class (soldier’s, sailor’s and then peasant’s) and the territorial vector of spread (at the end of the 18<sup>th</sup> century — the beginning of the 19<sup>th</sup> century it was popular in the capital’s military units and at city factories, by the end of the 19<sup>th</sup> century it began to be staged in remote villages). Secondly, the pragmatic characteristics of the play as a speech genre are analyzed — in its performance and manuscript versions (who staged and rewrote the play and why, the social and emotional connections of the actors). Thirdly, anthroponyms were studied as a part of the primary speech genres, used in the play — stage appeals to the public, orders and reports, funeral epitaphs. On the basis of the identified speech competencies, the hypothesis about the play “Tsar Maximilian” as a kind of “cultural and speech lift” that moves former peasants to the soldier’s / urban estate is confirmed.

## Информация об авторах

**Бухаркин Петр Евгеньевич**, доктор филол. наук, вед. науч. сотр. отдела «Словарь языка М. В. Ломоносова» Института лингвистических исследований РАН, p\_bukharkin@hotmail.com

**Варда Анна**, доктор гуманитарных наук, профессор, директор Института русистики Лодзинского университета (Польша), anna.warda@uni.lodz.pl

**Веселова Инна Сергеевна**, канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета, i.veselova@spbu.ru, veselinna@mail.ru

**Волков Сергей Святославович**, канд. филол. наук, зав. отделом «Словарь языка М. В. Ломоносова» Института лингвистических исследований РАН, sergejvolkov2006@yandex.ru

**Гуськов Николай Александрович**, канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета, n.guslov@spbu.ru, kakto@mai.ru

**Куч Ульрике**, Dr. habil., эмерит-профессор университета Грейфсвальда (Германия), jekutsch@uni-greifswald.de

**Матвеев Евгений Михайлович**, канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (до 2022 г.), ст. науч. сотр. отдела «Словарь языка М. В. Ломоносова» Института лингвистических исследований РАН (до 2022 г.), ematveev@list.ru

**Пономарева Марина Валерьевна**, канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета, m.ponomareva@spbu.ru, marinus.ponomarus@gmail.com

**Росси Лаура**, Dr., доцент русской литературы Миланского государственного университета (Италия), laura.rossi@unimi.it

**Руднев Дмитрий Владимирович**, доктор филол. наук, канд. ист. наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета им А. И. Герцена, rudnev@mail.ru

**Тираспольская Анна Юрьевна**, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка для гуманитарных и естественных факультетов Санкт-Петербургского государственного университета, a.tiraspolskaya@spbu.ru, tiraspolskaja-77@yandex.ru

**Трофимов Артем Евгеньевич**, аспирант кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета, artem\_trofimov\_9@mail.ru

**Шарихина Миляуша Габдрауфовна**, канд. филол. наук, научный сотрудник отдела «Словарь языка М. В. Ломоносова» Института лингвистических исследований РАН, justmilya@yandex.ru

**Шиян Алина Витальевна**, магистрант кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета, lady.shiyan2016@yandex.ru

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . .	3
<b>I. Антропонимы в словесности Петровской эпохи . . . . .</b>	<b>29</b>
<i>Волков С. С.</i> Библейские антропонимы в ораторской прозе Петровской эпохи . . . . .	31
<i>Трофимов А. Е.</i> Употребление античных имен в прозаическом панегирике начала XVIII века . . . . .	63
<i>Руднев Д. В.</i> «О сем Томазий, закона учитель, глаголет...» (особенности употребления антропонимов в «Разговоре дву приятелей о пользе науки и училищах» В. Н. Татищева) . . .	77
<b>II. Имя и жанр в литературе русского классицизма . . . . .</b>	<b>101</b>
<i>Матвеев Е. М.</i> Антропонимы в русской торжественной оде XVIII века . . . . .	103
<i>Шарихина М. Г.</i> Герои русской истории допетровского перио- да в торжественной поэзии XVIII в.: темы и образы . . . . .	161
<i>Бухаркин П. Е.</i> Имя и «память жанра» . . . . .	204
<i>Шиян А. В.</i> Специфика использования антропонимов в рус- ских сказочных комических операх XVIII века . . . . .	216
<b>III. Имя в истории — имя в литературе — имя в документе. . .</b>	<b>231</b>
<i>Бухаркин П. Е.</i> Историческое имя в трагедии русского клас- сцизма: между абстракцией и реальностью . . . . .	233
<i>Екуч У.</i> Имя Потемкина в одах В. Петрова и Г. Державина . . .	254
<i>Пономарева М. В.</i> От исторической личности к образу (на ма- териале антропонимов в лирике Г. Р. Державина) . . . . .	267
<i>Бухаркин П. Е.</i> Имя героя: литература и социолект . . . . .	288
<i>Руднев Д. В.</i> Имя человека в деловой коммуникации XVIII в. (особенности именования Пугачева в документах 1770-х гг.) . .	308
<i>Руднев Д. В.</i> Притяжательные прилагательные и родительный принадлежности в сочинениях по русской истории XVIII в. . .	333
<b>IV. Имя и идиолект . . . . .</b>	<b>371</b>
<i>Гуськов Н. А.</i> Личные имена в поэзии А. П. Сумарокова . . . . .	373
<i>Варда А.</i> Антропонимы в «Сказке о царевиче Хлоре» Екате- рины II . . . . .	448



<i>Росси Л.</i> К пониманию антропонимического мира М. Н. Муравьева . . . . .	457
<i>Тираспольская А. Ю.</i> Имя Лиодор в двух повестях Н. М. Карамзина . . . . .	483
<i>Тираспольская А. Ю.</i> Об античных именах в этюде Н. М. Карамзина «Посвящение кущи» . . . . .	495
<i>Тираспольская А. Ю.</i> О «немудрой» Софии в драме Н. М. Карамзина (художественная функция имени) . . . . .	499
<i>Тираспольская А. Ю.</i> О роли имен собственных в «Путешествии в Кронштадт» князя П. И. Шаликова . . . . .	504
<b>V. Фольклор и мифология в русской словесности XVIII века . . .</b>	<b>519</b>
<i>Волков С. С.</i> Восточнославянские теонимы в текстах М. В. Ломоносова . . . . .	521
<i>Веселова И. С.</i> «Кумерические» боги, аптекари и кузнецы на одной сцене: мимесис государевой службы (на материале севернорусских вариантов народной пьесы «Царь Максимилиан») . . . . .	542
Summaries and keywords . . . . .	572
Информация об авторах . . . . .	579

**АНТРОПОНИМЫ  
В РУССКОЙ СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЕ  
XVIII ВЕКА**

*Научное издание*

Научные редакторы:  
*П. Е. Бухаркин, С. С. Волков, Е. М. Матвеев*

Оригинал-макет: *Е. Е. Кузьмина*  
Дизайн обложки *Е. Л. Бовичева*

Подписано в печать 12.07.2023 г.  
Гарнитура MinionPro. Формат 60×90<sup>1/16</sup>  
Усл.-печ. л. 36,5.

Тираж 1000 экз. Заказ № 0000

Институт лингвистических исследований РАН  
199053, Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 9  
Тел. +7 812 328-16-12  
iliran@mail.ru <https://iling.spb.ru>

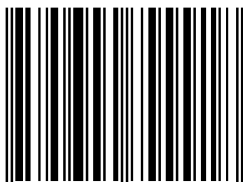
**Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века /**  
под ред. П. Е. Бухаркина, С. С. Волкова и Е. М. Матвеева. —  
СПб.: ИЛИ РАН, 2023. — 584 с.  
ISBN 978-5-6047999-1-8

Коллективная монография посвящена комплексному исследованию антропонимов в русской словесной культуре XVIII века. Исследование имеет междисциплинарный характер: имена изучались с точки зрения разных наук (литературоведения, истории, лингвистики, теории литературы, нарратологии, этнологии). В книге рассматриваются проблемы функционирования антропонимов в различных фикциональных и нефикциональных текстах XVIII века, в художественном мире отдельных писателей (А. П. Сумарокова, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина и др.), в фольклорном дискурсе.

Издание адресовано лингвистам, литературоведам, студентам-филологам, а также всем интересующимся проблемами истории русского языка и русской литературы XVIII века.

**ББК 81.4/84(2=411.2)**

ISBN 978-5-6047999-1-8



9 785604 799918